МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

М. А. КОРФ

ЗАПИСКИ



М. А. Корф

Записки



Москва
Берлин
2019

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)5
К70

Корф, М. А.

К70 Записки / М. А. Корф. – Москва ; Берлин ;
Директ-Медиа, 2019. – 813 с.

ISBN 978-5-4475-9851-8

Модест Андреевич Корф (1800–1876 гг.) окончил курс в Царскосельском лицее, состоял на службе в министерстве юстиции и в комиссии составления законов. В 1861 году барон Корф был назначен главноуправляющим вторым отделением Собственной его императорского величества канцелярии, а в 1864 году — председателем департамента законов Государственного Совета. После вступления на престол императора Александра II (декабрь 1856 г.) на М. А. Корфа и комиссию, созданную под его председательством, было возложено собирание материалов для полной биографии и истории царствования императора Николая I, которые впоследствии были переданы в Императорское Русское Историческое общество. В числе этих материалов были выдержки из записок самого М. А. Корфом, составляющие основу данного издания. Записи представляют собой выборку из дневника, веденного Корфом с 1838 по 1852 гг., в который он в хронологическом порядке заносил все виденное и слышанное, из прожитого и прочувствованного: «…они бегут один за другим в пестрой смеси значительнейшего с маловажным, мелких приключений, анекдотов, празднеств, обыденных слов и проч., с рассказами о государственных событиях, с изображением важнейших дел эпохи и с биографиями и характеристиками ее деятелей, как я знал и понимал их. Но каждый из этих отдельных очерков сам по себе всегда образует нечто целое и часто имеет если не прямо внешнюю, то внутреннюю связь с предыдущим и последующим».

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)5

ISBN 978-5-4475-9851-8

Предисловие «Русской Старины»

Барон (впоследствии граф) Модест Андреевич Корф окончил курс в Царскосельском лицее, служил сначала в министерстве юстиции и в комиссии составления законов. Затем в течение пяти лет состоял при графе Сперанском во втором отделении Собственной его императорского величества канцелярии. С 1831 года управлял делами Комитета министров, с 1834 года был государственным секретарем, а в 1843 году назначен членом Государственного Совета. С 1849 по 1861 год Модест Андреевич, будучи директором Императорской публичной библиотеки, совершенно обновил и преобразовал ее, испросив увеличение средств, облегчил доступ в библиотеку и основал особый отдел иностранных книг о России (Rossica). В 1861 году барон Корф был назначен главноуправляющим вторым отделением Собственной его императорского величества канцелярии, а в 1864 году — председателем департамента законов Государственного Совета. В 1872 году он возведен в графское достоинство.

Вскоре после вступления на престол императора Александра II, и именно в декабре 1856 года, на М. А. Корфа было возложено собирание материалов для полной биографии и истории царствования императора Николая I, и с этой целью под его председательством была образована особая комиссия. Собранные комиссией материалы по повелению в Бозе почившего императора Александра III переданы в Императорское Русское Историческое общество. В числе этих материалов поступили в распоряжение правительства, для пользования ученых, переданные М. А. Корфом и им самим составленные выдержки из его записок, которые с соизволения государя императора и печатаются на страницах «Русской Старины».

I

Предисловие барона М. А. Корфа — Черты характера императора Николая I — Дело Ф. Ф. Гежелинского — Возвышение таможенных сборов — Недоразумение, случившееся в Государственном Совете — Собственноручный рескрипт императора Николая графу В. П. Кочубею

Настоящие тетради содержат в себе выборку из дневника, веденного мною с 1838 по 1852 год, и несколько заметок моих за предшедшие ему годы.

В этот период времени, протекший для меня среди лиц и дел высшего нашего управления и в приближенности к особе почивающего теперь в Бозе незабвенного монарха, каждый день приносил с собою обильную жатву для современных записок. Многое из виденного и слышанного, из прожитого и прочувствованного я тотчас клал на бумагу; но всепоглощающий водоворот жизни и службы не всегда оставлял мне довольно досуга или довольно сосредоточенности, чтобы записывать все: оттого в дневнике моем являются не один перерыв общей нити рассказа, не одна белая страница, оттого же и представляемые здесь извлечения из него имеют характер и форму лишь отрывков.

Впрочем, они не вполне передают его содержание. Для многого не наступило еще время гласности, и может быть, что даже и в том, что внесено теперь в мою выборку, я иногда слишком говорлив или слишком отважен. В полном своем составе заветные мои тетради могут, по самому их назначению, развернуться тогда только, когда уже давно не будет ни меня, ни людей моей эпохи с двигавшими их страстями. Я не хочу быть доносчиком и никогда не умел быть льстецом.

Первоначально я думал распределить мои извлечения по категориям и дать им некоторый систематический порядок. Но потом нашелся принужденным отказаться от такого плана по двум причинам: во-первых, моего материала не стало бы для наполнения всех категорий и вообще для чего-нибудь

всестороннего, в особенности же за время до 1838 года, когда я записывал так мало или почти ничего не записывал; во-вторых, переливать позднейшие заметки (т. е. с 1838 года) в другую, методическую форму, значило бы отнять у них тот характер первого впечатления, ту свежесть современности, в которых, быть может, заключается все их достоинство.

Это решило меня разместить мои отрывки здесь, как и в подлиннике, в порядке хронологическом, в том самом порядке, как лился поток современной жизни. Оттого они бегут один за другим в пестрой смеси значительнейшего с маловажным, мелких приключений, анекдотов, празднеств, обыденных слов и проч., с рассказами о государственных событиях, с изображением важнейших дел эпохи и с биографиями и характеристиками ее деятелей, как я знал и понимал их. Но каждый из этих отдельных очерков сам по себе всегда образует нечто целое и часто имеет если не прямо внешнюю, то внутреннюю связь с предыдущим и последующим.

Читатель, перелистывая их, будет как бы проходить галерею, в которой развешены самые разнородные картины, изображающие то предметы внутреннего, домашнего быта, то высшие исторические сюжеты. Каждая из картин окаймлена своей особой рамкой, имеет свой колорит, иногда мрачный, иногда улыбающийся; одни из них отделаны с большей тщательностью; другие — слегка набросанные эскизы, смотря по досугу и расположению духа живописца или по степени важности самого предмета.

Если принять в соображение, из каких мутных источников часто принужден черпать историк; как трудно последующим поколениям воссоздать изглаженные временем исторические образы со всеми их индивидуальными и характеристическими чертами; наконец, как многознаменательна была та эпоха и как велика та личность, о которых здесь идет речь, — то я могу, кажется, без нескромности ласкать себя

надеждой, что заметки мои, несмотря на мелочность некоторых из них, будут не совсем излишними для истории и для правильной оценки императора Николая с окружавшей его сферой, придворной и правительственной. Эти заметки написаны, как я уже сказал, не по отдаленным воспоминаниям, часто столь обманчивым, не годы спустя, а в самый день, почти в самую минуту событий их очевидцем и участником, который мог сам иногда обманываться в своем воззрении и в своих приговорах, но никого не хотел преднамеренно вводить в обман.

Как некогда было в самой действительности, так и в этих отражающих ее листах средоточием всего является наш великий Николай; его духом, его личностью все здесь проникнуто; он всему придает значение и цвет; к нему одному сбегаются все радиусы многосторонней общественной деятельности; во всякой эпизодической сцене проглядывает его величественный образ; все собранные здесь очерки нашей государственной, придворной и светской жизни, в длинной и разнообразной их цепи, от него одного заимствуют свое единство!

Да сбудется пламенное мое желание: воздать этими листами хотя малейшую лепту благоговейной благодарности тому, которому я стольким, которому я всем был обязан, тому, которому некогда история и потомство воздвигнут один из блистательнейших памятников, сужденных человеку и монарху!

Дополнением к настоящим тетрадям могут служить: 1) историческое описание первого дня царствования императора Николая I, напечатанное в 1854 году (в 25 экземплярах), под заглавием: «14 декабря 1825 года», 2) описание болезни, кончины и погребения великой княгини Александры Николаевны и 3) отдельное обширное сочинение под заглавием: «Император Николай в совещательных собраниях». Мате-

риалы первого из сих трех сочинений означены в его предисловии; оба последние извлечены также из моего дневника.

Одним из пламеннейших, весьма естественных желаний императора Николая, по вступлении его на престол, было — чтобы при коронации в Москве присутствовал и великий князь Константин Павлович; но, давая только угадывать это желание, он не решался облечь его в форму просьбы и тем менее — положительной воли. Князь Любецкий, в то время министр финансов Царства Польского, отважился сделать это за него.

— Отъезжая тогда в Варшаву, — рассказывал он мне впоследствии, — я, при прощании с государем и при выраженном им желании увидеться скорее с братом, осмелился сказать:

— Государь! Нужно, чтобы он приехал к коронации в Москву; надобно, чтобы тот, кто уступил вам корону, приехал возложить ее на вас в глазах России и Европы.

— Это вещь невозможная и невероятная.

— Она будет, государь!

— Во всяком случае, приехав в Варшаву, сходите поцеловать от меня ручки княгини Лович.

— Я понял этот намек, — продолжал князь Любецкий, — и по приезде в Варшаву обратился прямо к княгине Лович. Сильное ее влияние убедило великого князя неожиданным своим приездом в Москву обрадовать государя и успокоить Россию.

* * *

Однажды, в первый год царствования императора Николая, при откровенной беседе князь Любецкий выговорил ему множество истин относительно России и его самого. Выслушав все благосклонно, государь вдруг остановил своего собеседника вопросом:

— Да скажи, пожалуйста: откуда у тебя берется смелость высказывать мне все это прямо в глаза?

— Я вижу, государь, что кто хочет говорить вам правду, не в вас к тому находит помеху, и я действую по этому убеждению. Но власть — самая большая баловница в мире! Теперь вы милостиво позволяете мне болтать и не гневаетесь, но лет через десять, или и меньше, все переменится, и тогда, свыкнувшись с всемогуществом, с лестью и с поклонничеством, вы за то, что теперь так легко мне сходит, прикажете, может быть, меня повесить.

— Никогда, — сказал государь, — я всегда буду рад правде и позволю тебе тогда, как и теперь, если я стану говорить или делать вздор, сказать мне прямо: Николай, ты врешь.

— Года два после того, — продолжал Любецкий в своем мне об этом рассказе, — я опять приехал в Петербург и явился к государю. В этот раз он принял меня чрезвычайно холодно, и даже не в кабинете, как прежде, а в передней зале, и, оборотясь с рассеянным лицом к окошку, встретил самыми сухими расспросами о погоде, о дороге и проч. Не было и тени прежней доверчивости, и я, разумеется, сохранял с моей стороны глубочайший этикет, не позволяя себе ни малейших намеков на прежние беседы.

Вдруг через несколько минут государь обратился ко мне с громким хохотом и с протянутой рукой:

— Что, хорошо ли я сыграл свою роль избалованного могуществом и лестью? — сказал он. — Нет, я не переменился и не переменюсь никогда, и если ты в чем не согласишься со мною, то можешь по-прежнему смело сказать: Николай, ты врешь!

* * *

История управляющего делами Комитета министров Гежелинского наделала в свое время очень много шума. В публике мало было лиц, которые бы его любили: но тягость

осуждения, постигшего его при важности его поста; молва о невероятных злоупотреблениях в Комитете министров, которых он был виной; тайна, с которой ведено было дело; наконец, разные преувеличенные, как всегда, слухи — все это вместе произвело род общего сотрясения, долго и после отзывавшегося в умах.

Вот очерк этого дела по подлинным актам.

Гежелинский всю свою службу, от писца до звания управляющего делами Комитета министров, прошел в канцелярии этого Комитета. Без всякого образования, до такой степени, что он не знал ничего, кроме русского языка, но с большими природными дарованиями и необыкновенной тонкостью, владея притом даром слова и искусным пером, он умел сперва, пока занимал второстепенные должности, входить в милость к своим начальникам, а потом, когда сделался управляющим, приобрести общее расположение членов Комитета, хотя очень часто шел им наперекор. В последние годы царствования императора Александра, быв уже управляющим, он пользовался особым доверием графа Аракчеева, столько же могущественного в то время по делам Комитета, как и по всем другим частям.

По удалении Аракчеева, с восшествием на престол императора Николая, от всех дел, Гежелинский имел личный доклад у государя, но только до коронации, т. е. до того времени, когда личные доклады, за очень немногими изъятиями, вообще совсем прекратились. В два первые года этого царствования дела Комитета имели самый быстрый ход. Множество его меморий, лежавших неутвержденными в кабинете императора Александра, были очищены в первые месяцы, и нельзя поистине не удивляться деятельности и трудам канцелярии Комитета в продолжение 1826 и 1827 годов.

Тут вдруг все изменилось: Гежелинский, увлеченный, как говорили, несчастной страстью к распутной замужней

женщине, которая уносила у него и много времени и пропасть денег и с которой он прижил несколько детей, стал видимо пренебрегать делами, дозволять себе несрочную отсылку к государю меморий и другие упущения. Главная их причина, конечно, лежала в этой страсти: ибо если задержание некоторых дел можно приписать корыстным видам, в которых многие подозревали Гежелинского, то ничем другим нельзя объяснить остановку множества таких, где нисколько уже не мог участвовать личный интерес.

Между тем государь тотчас обратил внимание на эти упущения, и с 1828 года не проходило почти ни одной мемории, ни одной бумаги, по которой не было бы делаемо Гежелинскому собственноручных высочайших замечаний, сначала весьма умеренных, потом с явными знаками неудовольствия и, наконец, в самых уже сильных выражениях справедливого гнева.

В 1829 году, заметив, что по бывшему в Комитете представлению Новороссийского генерал-губернатора графа Воронцова о наградах чиновников справки брались три года, государь спросил о причинах сего, и когда Гежелинский отвечал, что представление отложено было для совокупного рассмотрения с подобными же от министерств, но не мог доказать, чтобы Комитет действительно это приказал, то государь на его докладе написал: «Из сего вы сами должны ясно видеть, что не было никакой уважительной причины откладывать три года сряду рассмотрение поступившего дела, что я вам ставлю на вид, строго подтверждая впредь отнюдь себе не позволять».

Вот некоторые из числа множества других, гораздо еще сильнейших замечаний:

1) Две мемории 30 марта и 30 июля 1829 года поднесены были в октябре. Государь написал: «Подобный беспорядок ничем не извинителен, и я вынужден вам за сие сделать строгий выговор».

2) Четыре дела лежали очень долго без движения. Гежелинский оправдывался множеством других занятий. Государь отметил на его о том записке: «Если б вы лучше знали долг ваш, то не вынуждали бы меня повторять вам столь часто мое неудовольствие. Я предостерегаю вас, что и на всякое терпение есть мера».

3) При несвоевременном поднесении мемории 24 июня 1830 года последовало замечание: «Вам не должно было задерживать мемории 24 числа, а прислать ее сей час по изготовлении; тоже и меморию 28-го числа. Я вам сие неоднократно приказывал и опять в последний раз подтверждаю».

4) На донесение, отчего не было прислано в свое время мемории 23 сентября 1830 года, государь выразил неудовольствие свое следующими словами: «Вам неоднократно приказывал я всегда уведомлять меня, при присылке в положенные дни мемории, будет ли представлена в следующий другой день мемория; но вы этого не соблюдаете; вперед не забывайте, если вы не хотите, чтоб я другими способами вам оживил память и исправность; я до ленивых не охотник: вы это должны знать».

Но убийственные эти замечания не действовали на Гежелинского; не действовали на него также ни напоминания председателя Комитета, князя (тогда еще графа) Кочубея, неоднократно официально ему выраженные, ни усиливавшиеся со дня на день в публике жалобы. Он продолжал, оставаясь при своей должности, нисколько не заботиться об исправлении своих упущений. Независимо отдел в самом Комитете, множество запросов от разных министерств, иногда до десяти раз по одному и тому же делу повторенных, лежали годами без ответов, и с каждым часом несчастный накапливал на себя более и более ответственности. В делах за 1830 год, когда все это постепенно еще усилилось, не видно и следа

малейшего с его стороны стремления выпутаться из этого лабиринта. Было ли то совершенным самозабвением, плодом его страсти или крайней самонадеянностью, внушавшей ему уверенность, что он незаменим, — вот вопросы, которые остались нерешенными и на которые мог бы ответить только он сам.

Между тем мера долготерпения государя исполнилась. Мемория Комитета 12 августа 1830 года о наградах по министерству юстиции представлена была, вместо установленного двухнедельного срока, через два месяца. Она выслана была обратно уже не к самому Гежелинскому, как всегда делалось, а к князю Кочубею, с следующей собственноручной высочайшей резолюцией: «Сегодня — 14-е октября. Мемория слушана 12-го августа, а мне представлена 12-го октября. Как я неоднократно объявлял, что за подобные непростительные протяжки строго взыщу, и, несмотря на то, они опять повторяются, то предписываю г. Гежелинского посадить под арест на сенатскую гауптвахту на трое суток, с занесением в его формуляр и с опубликованием в сенатских ведомостях».

По особому ходатайству князя Кочубея вторая часть этой резолюции была отменена, но первая приведена в исполнение, и Гежелинского выдержали на гауптвахте три дня. И это однако не подействовало. Даже и после такого позорного наказания Гежелинский не подал в отставку, а напротив, не постыдился явиться снова перед министрами и перед своими подчиненными. Он ждал последнего удара гневной судьбы!

25 декабря 1830 года, в день Рождества Христова, все мы, по обыкновению, явились во дворец к выходу, и каждого приезжавшего встречал вопрос: «Слышали ли вы, Гежелинский посажен в крепость?»

Разумеется, что весть эта в одну минуту везде разнеслась по всей столице, и притом сопровождаемая множеством вымышленных рассказов. Говорили, что Гежелинский обличен

в тайном участии в замыслах польских бунтовщиков (польская революция только что перед тем вспыхнула); что он продал бумаги Комитета полякам и проч. Словом, публика осуждала, по обыкновению, и произносила приговор, ничего не зная. А истинное дело было в следующем:

21 декабря государь получил безыменный, мастерски составленный донос, над которым составитель и писец, если это были два разные лица, верно долго трудились: составитель — потому, что слог не имел никакого определенного характера и мог принадлежать одинаково как государственному сановнику, так и низшему чиновнику; писец — потому что на двух с половиною листах почерк, на образец старинного, не только был совершенно однообразно выдержан, но и не представлял никакого следа особенного усилия или даже вида подделки.

Донос начинался так:

«Ваше императорское величество, принимая отеческие попечения к искоренению зла, существующего в делах по гражданской части, изволите назначать частые обревизования губерний через г.г. сенаторов. Таковые благодетельные меры если не вовсе искореняют зло по губерниям, то, по крайней мере, уменьшают оное. Напротив того — зло, существующее подле вас, государь, и в таком месте, которое имеет влияние на все государство, оставаясь многие годы безнаказанно, превосходит ныне всякое вероятие! С того времени, как поручено Гежелинскому управление делами Комитета г.г. министров, злоупотребление и беспорядки водворились в делах Комитета».

Затем очень пространно исчислялись все упущения и злоупотребления обвиняемого. Вот вкратце сущность главных статей:

1) Дела отделяются во множестве из общих журналов в особые не для скорейшего решения, а по небрежению заняться их обработкой, чаще же для задержания их из

корыстных видов. Потом они лежат по нескольку лет и получают по нескольку резолюций. Докладывая их повторительно, в разные заседания, при разных членах, Гежелинский выбирает любую ему резолюцию. Дела эти не показываются им ни в каких отчетах и считаются в виде оконченных, как только раз заслушаны в Комитете.

2) Когда, по дошедшим жалобам, государь потребовал ведомость всем неоконченным делам, то Гежелинский показал в ней только те, по которым надеялся вывернуться из беды.

3) Гежелинский «обманывает» государя и другими путями. По ходатайству цесаревича Константина Павловича военный министр представил, еще в феврале 1829 года, о награждении чином при увольнении от службы 6-го класса Шаганова. Продержав это представление около полутора лет и наконец доложив Комитету только 28 июня 1830 года, Гежелинский отметил его в мемории поступившим в комитет 24 того же июня; по возвращении же мемории от государя приказал писавшему ее чиновнику подчистить это ложное число и выставить настоящее, т. е. 12-го февраля 1829 года; причем подправлен и собственноручный знак государя, сделанный под положением Комитета карандашом в означение высочайшего согласия.

Почти в каждом журнале, после уже подписания его членами, Гежелинский марает резолюцию в желательном для него смысле; после чего журнал приказывает вновь переписать, пришив к нему из прежнего только последний лист, на котором находятся подписи членов.

5) От произвольного распределения занятий одни из чиновников канцелярии Комитета обременены делом, тогда как другие, при большом жаловании, совершенно праздны. Так, чиновник, несущий с 1826 года звание хранителя архива и казначея, занят всегда или перепиской, или другим посторонним делом, а между тем архив и казначейская часть в самом жалком положении. Ордера на выдачу жалованья чиновни-

кам Гежелинский недавно подписал вдруг за несколько лет задними числами, после чего все чиновники за то же время очистили расходные книги своими расписками.

6) Разные требования министров, накопившиеся за год, за два и даже за пять лет, лежат у Гежелинского без всякого ответа и исполнения.

7) Гежелинский, представя государю о необходимости, для успешнейшего хода дел, нанять дом, в котором он мог бы помещаться с некоторыми чиновниками, испросил на это по 15 000 руб. в год; но вместо того нанимает квартиру только для себя и своих родственников за 5000 рублей.

8) Обеспечив себя достаточным состоянием и покровительствуемый необыкновенным счастьем, Гежелинский почитает себя полным властелином всех своих беззаконных действий и, не довольствуясь нанесением зла и притеснениями всякому, имеющему надобность до Комитета, тех просителей, которые на него вопиют, уверяет, что дела их лежат у государя. Сверх того, в особенности представлениям цесаревича Константина Павловича он часто, под прикрытием всего Комитета, дает другое направление или же, задерживая их, наводит великому князю сомнение, что они оставляются государем без внимания. Кроме вышеприведенного примера о Шаганове, доказательством тому может служить другое дело — об уменьшении расходов на земские повинности по Волынской губернии, по которому государь в апреле 1829 года приказал изъявить цесаревичу искреннюю благодарность; но Гежелинский доселе (декабрь 1830 года) сего не исполнил.

9) Подобно сему и по другим делам последовавшие на положения Комитета высочайшие повеления лежат несколько лет без исполнения.

10) Мемория Комитета 10 мая 1830 года до сих пор не поднесена к подписанию членов, и дела, в то заседание выслушанные, лежат без движения, кроме некоторых, выпущенных уже после новыми числами, в особых журналах.

Доносчик заключал свою бумагу так:

«Картина толиких злоупотреблений изображает вашему величеству человека, который столь неслыханно во зло употребляет вашу доверенность! Известно, впрочем, всем, что уже гнев вашего величества постиг Гежелинского: он наказан арестом, но вместе с тем, оставаясь на своем месте, не выпускал даже и на гауптвахте из своих рук дел Комитета. Он страшился, чтобы не поручена была должность его хотя на время другому; страшился, чтобы не потребовали без него отчета в делах Комитета; ибо тогда, если и не могло быть обнаружено все прошедшее зло, прикрытое уже различными изворотами, то, по крайней мере, сделались бы известными все настоящие его злоупотребления и вместе с тем удостоверились бы ваше величество, что производство дел по Комитету не только не потерпело бы без Гежелинского, но напротив, дела приняли бы быстрый ход, сопровождаемый бескорыстием, которым место сие отличалось до вступления Гежелинского в управление делами Комитета.

Но беспримерное счастье Гежелинского, сопровождаемое покровительствами, коими он всегда умел себя окружать, оставило его на поприще прежних его злоупотреблений. Жертвуя, за свою вину, чиновниками канцелярии Комитета, дабы через то избавить себя от беды, и выпустив несколько из старых, давно выслушанных в Комитете дел, обращая всю вину на членов оного в нерешении проектов резолюций, о коих он никогда и не думал им докладывать, прочие старые дела, равно как и все задержанные высочайшие повеления, оставил Гежелинский в прежнем бездейственном положении.

Таковое преступное его противодействие высочайшей власти наводит ужасное изумление! Нельзя не заподозревать, чтобы в поступках его, столь дерзких, не сокрывалась особая цель, к которой он стремится. Долг присяги и чувство верноподданнической преданности к священной особе вашего величества побудили открыть пред вами все сие зло, ибо обязанность верноподданного есть охранять своего государя».

Комитету министров сообщено было об этом доносе только 30 декабря, т. е. уже тогда, когда все распоряжения были сделаны непосредственно самим государем. Открывая в этот день заседание Комитета, председатель его князь Кочубей изъяснил, что государь, «не жалуя безыменных доносов и не удостоивая их даже вообще и прочтения, по вскрытии 21 декабря пакета с таким доносом, усмотрев из первых строк, что дело идет о Гежелинском, и как многократно доходило до высочайшего сведения об упущениях сего чиновника, непосредственно его величеством не только замеченных, но обративших даже особенное монаршее негодование, в собственноручных его величества замечаниях ему изъявленное», то государь обратил внимание на означенный донос и вследствие того велел осмотреть на другой день бумаги в бюро Гежелинского в канцелярии Комитета, на которые донос ссылался. Осмотр этот, произведенный по высочайшему назначению, государственным секретарем Марченко и флигель-адъютантом графом Строгановым (зятем князя Кочубея)[1], открыл, что главные указания доноса были верны.

Тогда государь, призвав Гежелинского в свой кабинет, показал ему помянутые бумаги, начав с той мемории, где подчищено число, выставлен другой год и переправлен собственноручный высочайший знак. При предъявлении этой мемории Гежелинский, бросаясь на колени пред его величеством, сознался в преступном своем действии. За сим государь показал ему и другие бумаги, по которым он, опять пав на колени, также принес сознание. Рассказав все это, Кочубей продолжал, что государю угодно было велеть посадить Гежелинского в крепость, а действия его отдать на рассмотрение Комитета министров для представления его величеству о тех распоряжениях, какие, в порядке дел сего рода,

[1] Ими же 23 декабря осмотрены и запечатаны были и все бумаги на квартире Гежелинского.

сделаны быть могут для предания Гежелинского суду по законам. В заключение председатель предложил Комитету и все бумаги, в доносе означенные[2].

Журнал, состоявшийся вследствие сего в Комитете 30 декабря 1830 года, любопытен и по содержанию, и по тем мерам, которые Комитет, прикрываясь другими причинами, предлагал к облегчению участи Гежелинского, наконец, и по самому даже образу изложения. Он был весь сочинен самим князем Кочубеем.

«По прочтении и рассмотрении всех вышеупомянутых бумаг, — сказано в этом журнале, — Комитет нашел не только запущение дел, небрежением действительного статского советника Гежелинского допущенное, небрежением, которого не могли исправить ни многократно изъявленный гнев его величества, ни многократно всемилостивейше изъявленное ему снисхождение, — но и чрезмерную дерзость в неправильных представлениях его величеству и в тех мерах, кои принимал он для сокрытия вины своей, решась даже на преступное действие подчистки числа и знака, собственноручно его величеством на мемории сделанного.

По сим обнаруженным обстоятельствам Комитет, признавая Гежелинского виновным, полагает, что он может быть предан суду и подвергнуться ответу по следующим статьям: во-первых, в подчистке, сделанной в мемории 28 июня 1830, причем поврежден и переправлен самый знак, выставленный его величеством в изъявление утверждения положения Ко-

---

[2] В том числе находилось и несколько побуждений по делу бывшего советника Подольской казенной палаты Соболевского, которое — как сказано в журнале Комитета, «еще в 1826 г. было в производстве по Комитету и на медленность в производстве коего его величество изволил обратить внимание в мемории 1-го ноября 1830-го г., хотя в ней означенное дело было показано поступившим только в апреле 1830-го г.» Мы увидим ниже, что это неправильное показание послужило главным основанием к произведенному над Гежелинским приговору.

митета; во-вторых, в невыполнении высочайшего повеления, в апреле 1829 года на мемории собственноручно его величеством данного (о благодарности великому князю Константину Павловичу) и в неправильном показании его величеству времени поступления дел в Комитет; в-третьих, в задержании исполнения по делам, Комитету представленным и по коим Комитет постановил заключения свои, так что журналы долговременно не были представляемы к подписанию членов; в-четвертых, в допущении такового же беспорядка в представлении своевременно его величеству мемории по журналам, в Комитете состоявшимся.

Изложив таковое мнение относительно тех действий действительного статского советника Гежелинского, кои могут подлежать суду, Комитет нужным находит его величеству донести: 1) что если его величеству благоугодно будет предать Гежелинского суду, то оный должен быть произведен в Правительствующем Сенате, применяясь к тому, как чиновники высших степеней в министерствах, обер-прокуроры и проч. суду в Сенат подлежат, и 2) что как обозрение действий Гежелинского государственным секретарем Марченко и флигель-адъютантом графом Строгановым не составляет следствия, законом установленного, которое необходимо для судебного производства и составления приговора, то нужно будет учредить следственную комиссию, которая бы по обвинениям, изъясненным выше, произвела дальнейшее исследование и допросы подсудимому.

При таковых заключениях своих Комитет не мог потерять из виду следующих уважений: предание Гежелинского суду, оглашая чрезвычайные упущения и самые злоупотребления его, может произвести невыгодное впечатление насчет всего хода высших правительственных дел, даже и наведет некоторое сомнение на акты, от правительства через Комитет исходившие, высочайше утвержденные и через чиновника сего, по званию его, сообщенные разным местам и лицам к

исполнению, а от оных изданные через посредство Правительствующего Сената во всеобщее известие: ибо за достоверность выписок из высочайше утвержденных журналов Комитета министров ручается единственно скрепа управляющего делами. От предположения, что были иногда подлоги, могут вновь возродиться дела, положениями Комитета оконченные. Сверх того, в сем случае представляются и другие неудобства, с нашею формой суда неразлучные, как то: требование дел из Комитета в Сенат, очные ставки и проч., кои полезно для правительства отклонить. Вследствие рассуждений сих Комитет полагает представить на благоусмотрение его императорского величества, что по мнению его, удобнее было бы наказать Гежелинского как чиновника, достаточно в злоупотреблениях изобличенного, порядком мер правительственных. Впрочем, какой бы вид дело Гежелинского ни получило, во всяком случае, по мнению Комитета, должно обратить внимание и на самого доносителя. В бумаге его есть показание, что Гежелинским делаемы были и другие злоупотребления и даже что злоупотребления сии основываемы были на корыстных видах; Комитет не мог открыть оного из всего того, что было им рассмотрено и тем менее иметь способов к раскрытию, что доноситель остался неизвестным. Наконец, нельзя обойти молчанием и того, что, повидимому, доноситель был столь близок к делам Комитета, что знал совершенно о ходе оных, а потому в непременной обязанности его было тотчас же, как заметил он злоупотребления управлявшего, довести о сем до сведения начальства».

Рассуждения Комитета не убедили государя. Вышеприписанный журнал возвратился с следующей собственноручной высочайшей резолюцией: «г. Гежелинского судить в Сенате, на законном основании, по тем делам, по коим изобличен на самом деле».

Отсюда дело разделилось на три части.

Надлежало привести в известность личность доносчика.

Надлежало, исправя упущения Гежелинского, восстановить порядок в делах Комитета.

Надлежало, наконец, судить Гежелинского.

1. Разыскание о доносчике. Первое подозрение пало на одного из старейших чиновников канцелярии Комитета министров, прежде очень близкого к Гежелинскому, но потом подвергшегося, по разным личностям, его преследованию. Воспользовавшись частыми его просьбами о перемещении его, по расстроенному здоровью, в лучший климат вице-губернатором, Гежелинский в сентябре 1830, т. е. месяца за три до доноса, представил об увольнении его из канцелярии Комитета, на что и последовало высочайшее соизволение, с тем, чтобы об определении вице-губернатором он сам просил подлежащего министра. Тотчас по заключении Гежелинского в крепость этот чиновник обратился с просьбой к князю Кочубею о принятии его опять в канцелярию Комитета. По такой просьбе государь приказал предварительно потребовать от него объяснение: не им ли был написан безымянный донос, а если не им, то не знает ли он сочинителя, или, по крайней мере, не подозревает ли кого? На оба вопроса чиновник отвечал отрицательно и вследствие того снова был помещен в канцелярию Комитета.

Другое подозрение падало или, по крайней мере, должно было пасть на бывшего архивариуса и казначея Комитета — Кабанова, который прежде также был очень любим своим начальником и даже жил у него в доме, но потом, в декабре 1830 года, перед самым доносом, по докладу Гежелинского, был отставлен за нерадение к службе. В феврале 1831 года Кабанов, по представлению князя Кочубея, хотя также снова был определен к прежней должности, но о доносе никогда спрашиваем не был, по неизвестным мне причинам[3].

---

[3] Этот Кабанов, негодяй первой руки, впоследствии положительно уже обличенный в разных беспорядках и даже злоупотреблениях, был вторич-

Прежде еще сего государь велел отобрать у всех чиновников канцелярии Комитета показание под уверением присяги их и чести: не известно ли им, кем был писан донос, или не имеют ли они на кого в том подозрения?

На это все 22 чиновника, составлявшие канцелярию Комитета, отвечали отрицательно; некоторые же присовокупили только, что подробности доноса, очевидно, изложены или объяснимы кем-либо из служивших или служащих еще в канцелярии, а о самом доносе заключить должно, что он написан или, по крайней мере, существенно переправлен лицом посторонним.

Показания сии князь Кочубей представил государю, прибавив, что единственным дальнейшим средством к продолжению разыскания было бы употребить меры высшей полиции. На это последовала собственноручная резолюция: «Оставить ныне дело сие без дальнейшего исследования».

Этим окончилась первая часть дела, без открытия доносчика, который и впоследствии никогда обнаружен не был.

2. Исправление упущений Гежелинского. По неизвестности еще настоящей степени этих упущений, представилось нужным дела прежнего времени отделить от дел, вновь поступивших в Комитет, вследствие чего для последних были командированы временно два старших чиновника из государственной канцелярии, а разбор и окончание всего остававшегося после Гежелинского возложены на состоявшего во II-м отделении Собственной его величества канцелярии статского советника барона Корфа, то есть на меня[4].

но отрешен, но на этот раз с преданием суду, который кончился очень мягко — запрещением определять его впредь на службу. Я всегда имел моральное убеждение, что донос был его работой.

[4] Это промежуточное положение продолжалось четыре месяца. 6 мая 1831 года последовал Указ о назначении меня в должность управляющего делами Комитета.

Бумаги Гежелинского, найденные в бюро и на дому у него, числом свыше 5000, не быв приготовлены к формальной сдаче, представляли совершенный хаос, так что и по точнейшем пересмотре их не было возможности отличить действительно уже оконченное и исполненное от того, что требовало еще производства. Посему надлежало обратиться к справкам с реестрами, журналами и архивом Комитета; но, по крайнему расстройству и запутанности всех частей канцелярии, по совершенному неведению чиновников о положении дел — ибо Гежелинский, сосредоточивая окончательно все в одни свои руки, не посвящал никого в свои тайны — и этого было мало. Пришлось потребовать от самих министров ведомости о делах, числившихся нерешенными за Комитетом. За всем тем, поручение это было окончено менее нежели в два месяца, и к 24 февраля 1831 года не оставалось в Комитете ни одного дела старее сего года. В общем результате оказалось:

а) Что 20 высочайших повелений, из которых два еще 1826 года, были не только не исполнены, но даже и не предъявлены еще Комитету.

б) Что четыре других высочайших повеления не были исполнены по предъявлении уже их Комитету.

в) Что недоложенных и неоконченных дел находилось вообще 65, одно еще с 1813 года, а другие начиная с 1822 года. Все они были или очень важны или, по крайней мере, очень многосложны, но из них лишь самая меньшая часть давала повод подозревать какие-нибудь личные виды.

г) Что, сверх того, 46 дел, также недоложенных или неоконченных, за давно прошедшим временем не требовали уже дальнейшего производства.

д) Что огромное множество министерских запросов, на которые не было в свое время ответствовано, следовало, по изменившимся обстоятельствам и надобности, только приобщить к делам, или, по обыкновенному нашему канцелярскому выражению, принять к сведению.

3. Суд над Гежелинским. До начала еще этого суда Гежелинский, содержащийся все время в крепости, прислал оттуда государю письмо, которое по высочайшему повелению внесено было на рассмотрение Комитета.

Гежелинский писал, что, представ пред государя 22 декабря, он с чистосердечием сознал вину свою в запущении некоторых дел по Комитету и что, чувствуя всю справедливость монаршего гнева и не дерзая приносить оправданий, он предает участь свою милосердию государя, к которому взывает как верноподданный, посвятивший всю жизнь свою на пользу службы его величества. Далее он представлял:

а) Что при вступлении государя на престол в Комитете находилось нерешенных более 1600 дел, и все они были окончены не долее двух месяцев.

б) Что ход меморий он, Гежелинский, успел привести в такой порядок, что с 1826 года они представляются государю при одном заседании в неделю — через 10, а при двух — через 7 дней от времени выслушания дел; исполнения же сообщаются министрам тотчас по объявлении высочайших повелений.

в) Что при таком быстром ходе дел, а главнейше по непомерному числу поступления их в Комитет некоторые, отстав от обыкновенного хода, остались неоконченными. И что из 15 с лишком тысяч дел, поступивших с начала царствования государя, неоконченных не более 50, но и эти он надеялся окончить в том же 1830 году, так как большая часть была уже обработана и оставалась только непереписанною по недостатку писцов.

г) Что председатель Комитета, представив государю проект нового образования канцелярии, повергал с тем вместе его высочайшее внимание, что все замеченные по ней упущения происходят от недостатка правил и от неопределительности обязанностей и ответственности каждого чиновника.

Это письмо свое Гежелинский заключал тем, что он более 30 лет служил беспорочно, с беспредельным усердием и непоколебимой верностью, по мере сил, и что, поверяя все свои действия, все помышления, спокоен в совести и с твердой надеждой на монаршее правосудие умоляет о милосердии и даровании ему свободы, дабы и остальные дни свои посвятить на службу с вящим рвением.

Комитет министров, рассмотрев это письмо 3 января 1831 года, убедился, как сказано в его журнале, что главный предмет оного есть сознание Гежелинским вины его, принесение раскаяния и воззвание к монаршей милости; что же касается до обстоятельств, кои, по мнению просителя, могут преклонять к облегчению его участи, то в них нет ничего, чем изменялось бы мнение Комитета о действиях и виновности Гежелинского, изложенное в прежнем журнале. Но как они заключают в себе прошение об оказании милости, а сие, относясь собственно к высочайшей воле, не составляет предмета суждения Комитета, то оный положил повергнуть все сие на благоусмотрение государя.

На сие объявлено Комитету только, что государь изволил журнал оного читать.

За сим суд воспринял свое начало в 1-м отделении 5-го департамента Сената, которым вытребованы были из Комитета министров все подлинные бумаги, составлявшие акт обвинения; но замечательно, что в числе их не было ни требовано, ни сообщено безымянного доноса. От сего суд совсем не коснулся разных содержавшихся в этой бумаге предметов и основался, во всем производстве дела, на тех лишь обвинительных статьях, которые были выведены в журнале Комитета 30 декабря 1830 года.

Гежелинский, с своей стороны, в ответах на составленные сообразно сим статьям вопросные пункты, прописывая большей частью то же самое, что было в его письме к государю, упирал главнейше на затруднительность его положения

по званию управлявшего делами Комитета министров, происходившего: а) от необыкновенного множества поступавших в Комитет дел; б) от неимения положительных на производство их по канцелярии Комитета правил; в) от неопределения обязанностей и ответственности чиновников и г) от самого их недостатка — что все, писал он, было бы отвращено с изданием составленного уже для сей канцелярии подробного положения, которое открыло бы ему средства заслужить перед государем некоторые безнамеренные его упущения.

Но важнее, можно сказать, невероятнее всего было одно обстоятельство: Гежелинский в ответах своих отрицал то, в чем сознался наедине государю, говоря положительно, что вменяемой ему в вину подчистки в числе и годе поступления дела Шаганова он не делал и делать ее не имел никакого побуждения, а может только статься, что при проверке мемории замечена была в помянутой статье какая-нибудь канцелярская описка, которая поправлена прежде представления мемории государю, но и того он совершенно припомнить не может. К сему он присовокуплял: а) что в замедлении исполнения высочайшей воли о объявлении признательности цесаревичу Константину Павловичу, равно и по другим указанным ему делам, остававшимся неоконченными, он не дерзает приносить никаких оправданий и безмолвно предает участь свою благости и милосердию его величества; б) что последнее представление по делу Соболевского действительно поступило в апреле 1830 года (как и в мемории было показано); но самое дело сие началось еще в 1820 году и потом разрешаемо было Комитетом в разные годы неоднократно.

Сенат, признав запирательство Гежелинского в подчистке на мемории Комитета новым усугублением его преступления, испрашивал по этому случаю особое высочайшее разрешение. Оно было объявлено ему в такой силе, что государь хотя и видит в сем запирательстве дерзость подсудимого в

отрицании преступного действия, несмотря на сделанное им прежде в высочайшем присутствии сознание; однако, обращая преимущественное внимание на строгое охранение судебных форм, кои предписаны законом для улики обвиняемых, повелевает Сенату, при суждении Гежелинского, обойти статью подчистки мемории, а также и дерзкое его запирательство, и оставить оные без дальнейшего рассмотрения, но продолжать начатый над ним суд по прочим пунктам обвинения.

Отстранив вследствие того упомянутое обстоятельство — важнейшее во всем деле — 5-й департамент Сената к осуждению Гежелинского принял следующие главные основания:

а) Гежелинский сам сознался в вине своей по неисполнению высочайшей воли о объявлении признательности цесаревичу Константину Павловичу и по долговременному неподнесению его величеству разных комитетских меморий.

б) Оправдание по делу Соболевского не может быть уважено, ибо Комитет министров, в виду которого был весь ход сего дела, признал уже Гежелинского виновным в неправильном показании времени поступления оного в Комитет.

в) Число и обязанности чиновников канцелярии Комитета определены штатом 1826 года, который испрошен был самим же Гежелинским после несколькoлетнего уже управления делами Комитета. Следственно, Гежелинский совершенно несправедливо показывает о нахождении его в затруднительном положении и должно, напротив, признать, что или собственная его воля, или небрежение, или же, быть может, какие-либо намерения были причиной удержания им у себя дел и даже высочайших повелений без исполнения и без предъявления Комитету.

г) Как число вступавших и решенных дел с 1826 года не только не увеличивалось, но год от году уменьшалось, то ссылка Гежелинского, к оправданию своему, на необычайное множество в Комитете дел есть также несправедливая.

д) На предъявление Комитету высочайших повелений и на исполнение их, как равно и на своевременное поднесение государю меморий, продолжительных занятий не требовалось; следственно, медленность в том показывает только явное и ничем не извинительное небрежение Гежелинского к службе, от которого не могли его исправить ни монарший гнев, ни явленное ему снисхождение и многократные напоминания; приводимые же им причины запущения дел означают одни извороты, придуманные к мнимому оправданию в поступках, ничем не извинительных.

Свода Законов в то время еще не существовало и потому, приложив к упомянутым своим доводам прежние указы и другие постановления, 5-й департамент положил: «Лишив Гежелинского чинов, дворянства, орденов и знака отличия беспорочной службы, написать в рядовые, куда годным окажется, а в случае неспособности сослать в Сибирь на поселение». Только один сенатор (Васильчиков, брат князя Кочубея) не согласился с общим заключением в том, чтобы лишать Гежелинского дворянства, и как он остался при том же мнении и после предложения обер-прокурора о невозможности сослать дворянина в Сибирь, не отняв у него прежде дворянства, то дело перешло в общее собрание Сената.

Здесь голоса также разделились.

Тринадцать сенаторов приняли безусловно заключение 5-го департамента.

Два присовокупили, чтобы, во внимание к долговременной и дотоле беспорочной службе Гежелинского, участь его повергнуть монаршему милосердию.

Один ограничивал меру наказания Гежелинского отдачей его в солдаты, с лишением чинов и знаков отличия.

Наконец, еще один, не видя, чтобы в упущениях Гежелинского открыты были лихоимство или злонамеренность, считал должным, сняв с него чины и знаки отличия, впредь ни к какой службе не допускать, с запрещением и въезда в столицы.

Но как управляющий в то время министерством юстиции (Дашков) согласился с большинством голосов, то дело поступило обыкновенным порядком, в форме доклада Сената, в Государственный Совет.

В Совете состоялось следующее единогласное заключение:

«Государственный Совет, рассмотрев доклад Сената об управлявшем канцелярией Комитета министров[5] действительном статском советнике Федоре Гежелинском (44-х лет), обличенном в пренебрежении своих обязанностей и происшедшем от того запущении дел, в несправедливом показании его императорскому величеству времени вступления в Комитет одного дела и в несправедливом объявлении Сенату о затруднительном будто бы положении его по должности; в непредъявлении Комитету и неисполнении некоторых высочайших повелений, невзирая на многократно изъявленные ему государем императором строгие напоминания, выговоры и самое взыскание, полагает: утвердить приговор Сената, чтобы, на основании таких-то законов, лишив Гежелинского чинов, дворянства, орденов и знака отличия беспорочной службы, написав в рядовые, куда годным окажется, а в случае неспособности сослать в Сибирь на поселение».

Это заключение было конфирмовано государем без всякого изменения 26 июня 1831 года и потом распубликовано повсеместно в печатных указах Сената 18 июля.

Известно, что Гежелинский, по освидетельствованию, оказался годным в солдаты и был отправлен на службу в войска, расположенные в Финляндии, где несколько времени занимал писарскую должность. Вскоре, однако же, по докладу тогдашнего Финляндского генерал-губернатора князя

[5] Замечательно, что в этом приговоре, подлежавшем обнародованию, Гежелинский назван был не настоящим своим титулом: управлявшего делами, а управлявшим канцелярией Комитета. Это было сделано, вероятно, не без намерения.

Меншикова император Николай приказал уволить его в отставку, без возвращения, впрочем, чинов и дворянства, и отдать на попечение сестре его, жившей в деревне, княгине Шаховской; а в 1839 году ему был пожалован чин коллежского регистратора с правом вступить на службу в одно из губернских присутственных мест, кроме обеих столиц.

* * *

19 октября 1831 года получено было в Государственном Совете представление министра финансов графа Канкрина, рассмотренное предварительно в комитете финансов и внесенное в Совет по особому высочайшему повелению, о необходимости, при стесненном положении государственного казначейства, возвысить в росписи на 1832 год некоторые казенные сборы, в том числе и таможенные пошлины на разные товары, с временной прибавкой на все вообще привозные по $12^{1}/_{2}$ процентов.

Совет в то время особенно занимался проектом нового закона о дворянских выборах, который велено было представить к 6 декабря, т. е. ко дню государева тезоименитства. Но Канкрин настаивал, чтобы указ о возвышении таможенных сборов издать непременно в ноябре, потому что в противном случае нельзя было успеть сделать до нового года нужные распоряжения по таможням. Для дела о выборах общее собрание Совета имело заседания 19, 23, 26 и 29 октября, т. е. в 10 дней четыре раза. При всем том, департамент государственной экономии в сие же самое время рассмотрел помянутое представление министра финансов, и 31 октября оно было выслушано и в общем собрании Совета, а 7 ноября все дело отправлено к государю, находившемуся тогда в Москве, где он и подписал указ 11 числа. Указ был простой, форменный, а самые правила и распорядок новых сборов содержались в конце приложенной к нему росписи в виде примечаний, и

тут, между прочим, о времени действия сей меры постановлено было, что сбор прибавочных 12½ процентов должен начаться со дня получения таможенных указов со всех товаров, в таможенном ведомстве без очистки пошлиной еще находящихся и вновь прибывающих.

Указ с росписью по особому высочайшему повелению был напечатан в московских газетах 14 ноября; но петербургский Сенат, получив его 16 числа, обнародовал только 20-го. В этот промежуток времени московские газеты пришли в Петербург с эстафетой 17 числа, и на другой день, естественно, все здешние купцы устремились к очистке своих товаров по старому еще тарифу, до официального получения в таможне сенатского указа о 12½-процентной надбавке. Таким образом, 18-го петербургская таможня успела принять необыкновенное количество денег, именно до 700 тысяч рублей, и прекратила свои действия, по закону, только с наступлением ночи. Но в то же время директор департамента внешней торговли (Дмитрий Гаврилович Бибиков, бывший впоследствии министром внутренних дел) из опасения, чтобы в следующий день не очистили по прежней пошлине еще большего количества товаров, предписал таможне с наступающего утра взимать уже прибавочные проценты, ссылаясь на распоряжение, сделанное министром финансов в Москве о взимании этих процентов с напечатания указа в тамошних газетах.

Между тем, обратное действие указа 11 ноября, т. е. распространение установленных им прибавочных пошлин на товары, находившиеся уже в пакгаузах во время его издания, не могло не возбудить ропота купечества, отозвавшегося и в других классах. Все это очень скоро дошло до сведения государя, и он велел министру финансов представить «о причинах, побудивших к сему постановлению», что Канкрин и исполнил 2 декабря. Объяснение его состояло в том, касательно формы, что первоначальным поводом к жалобам послужило позднее распубликование Сенатом указа, а

касательно самого содержания меры — что купец излишек заплаченной им пошлины во всяком случае выручит с публики, а тот, у которого есть товар, очищенный старой пошлиной, получит даже значительный барыш; следственно, во всех делах сего рода сталкиваются два интереса: публики и торгующих. Засим, ссылаясь на примеры прежних тарифов и на невозможность соблюсти при чрезвычайных финансовых мерах строгие начала общей уравнительности, министр замечал, что и с достоинством правительства едва ли совместно, вняв домогательствам частных лиц, отменить только что изданный закон.

По высочайшему повелению все это было рассмотрено в Совете не далее как на следующий день (3 декабря). Журнал свой Совет начинал изложением причин, бывших поводом к неосмотрительному пропуску им предложенной министром финансов меры, основывая свои оправдания на том: 1) что представление министра получено было в такое время, когда Совет занимался по два и по три раза в неделю законом о дворянских выборах; 2) что министр требовал издания указа непременно в ноябре; 3) что в представлении его не было упомянуто о распространении надбавочных $12^{1}/_{2}$ процентов на товары, находившиеся уже в таможнях; 4) что и расчет министра о усилении доходов по сей части на 1832 год основан был только на годовой сложности, без причисления какого-либо единовременного сбора с товаров, уже сложенных в таможнях; 5) что по всему этому Совет не обратил особенного внимания на примечания к росписи, где обыкновенно излагаются только простой распорядок исполнения и некоторые исключения из общих правил, но где в настоящем случае сверх ожидания оказался, как теперь видно, предмет, требовавший по своей важности и другого изложения и места не в примечаниях, а в самом представлении, чтобы возбудить соответственно тому особые рассуждения.

Перейдя от сего к существу дела, Совет представил в своем журнале сильные опровержения против доводов министра и заключил тем, что подобные меры, противореча справедливости и самой пользе государства, отнюдь не должны быть допускаемы; почему и надлежит изъять от $12^1/_2$-процентной надбавки все товары, поступившие в таможни до получения в них указа 11 ноября, и даже возвратить эту надбавку тем из торгующих, с которых она была уже взыскана.

Составленный на сем основании новый указ был подписан 7 декабря: но перед тем еще, и именно 5-го числа, председатель Совета Кочубей получил следующий рескрипт, написанный весь, от начала до конца, собственной рукой государя:

«Граф, Виктор Павлович!

Вам, как председателю Государственного Совета и Комитета министров, и не только по сему званию, но и по личным вашим достоинствам облеченному всею моею доверенностью, известно в полной мере постоянно обращаемое мною внимание на представления сих мест, учрежденных для совещания о важнейших делах управления и законодательства. Всякое мнение, всякое замечание, клонящееся к охранению справедливости или к пользе общей, я принимаю с живейшим удовольствием как несомненный, лучший знак верноподданнического ко мне и престолу моему усердия. Не вправе ли я надеяться, что Государственный Совет, составленный из людей, заслуживших мое особенное благоволение, никогда не ослабнет в усилиях и старании избегать всего, могущего навлечь на него нарекание в неосмотрительности?

К сожалению, я должен заметить случай, в коем сие справедливое ожидание не исполнилось.

Указ 11-го ноября сего года и приложенная к оному роспись, коими возвышается привозная пошлина на некоторые товары и установляется добавочный таможенный сбор, были рассмотрены в комитете финансов, в департаменте

государственной экономии и, наконец, в общем собрании Совета. Ни в котором из сих мест никто из членов не заметил, что по буквальному смыслу ст. 2-й примечания II к росписи, добавочный $12^1/_2$-процентный сбор распространяется и на товары, привезенные прежде обнародования сего указа, но еще не очищенные пошлиной, на основании законом даруемой для сего 6-месячной отсрочки, и что чрез сие постановлению новому дается обратное действие.

Никто, конечно, не может подумать, чтобы правительство, известное своим уважением к справедливости и доброй вере, имело намерение постановить что-либо противное присвоенным законами правам и священнейшему из всех — праву собственности. Но не дает ли повод к сему ложному заключению вкравшаяся в приложение к указу 11-го ноября ошибка? Она ускользнула и от моего внимания, потому что я был вправе ожидать тщательного рассмотрения проекта Советом. Препровождением оного в Государственный Совет я доказывал, что в сем деле не хотел совершенно доверить одному моему мнению. Сия ошибка должна быть исправлена.

Но не менее того я считаю себя обязанным изъявить через вас всем участвовавшим в суждении сего дела, особенно же заседающим в комитете финансов, возбужденное во мне неосмотрительностью их чувство прискорбия и неудовольствия. Они сами, как мне известно, с благородной откровенностью признали, что не совершенно вникнули в смысл постановления.

Отдавая полную справедливость столь похвальному их побуждению, я в нем вижу новое для себя удостоверение, что никогда уже не буду вынужден поставлять на вид Государственному Совету недостаток внимания, в каком бы то ни было деле. Члены оного не предстанут доказывать усердными трудами, сколь они достойны моего благоволения.

Пребываю к вам благосклонным — Николай».

Рескрипт этот был сочинен вчерне графом Дмитрием Николаевичем Блудовым, что я сам от него неоднократно слышал, но подлинный, хранящийся в архиве Совета, написан, как уже выше сказано, весь собственной рукой императора Николая, и притом не на обыкновенной в делопроизводстве и рескриптах листовой, а на почтовой бумаге, как что-нибудь частное.

В архиве Совета есть и ответный его журнал на этот достопамятный акт от того же числа (7 декабря).

Вот слова его: «Государственный Совет, выслушав с благоговением высочайшую волю, положил: изъявить его императорскому величеству глубокое прискорбие свое и вместе с тем повергнуть к священным стопам его величества чувства живейшей признательности за милостивые выражения, в коих его величеству угодно было справедливое неудовольствие свое Государственному Совету изъявить».

Государственным секретарем во время этого события был Василий Романович Марченко (умерший впоследствии в звании члена Государственного Совета), которого место я заступил в 1834 году.

II

Вопрос о составлении и печатании во всеобщее сведение Свода из отчетов министерств — Противодействие тому графа Чернышева, князя Меншикова и графа Канкрина — Император Николай и доктор Енохин — Принц Петр Георгиевич Ольденбургский — Основание им училища Правоведения — Доктор Мандт — Отъезд барона Корфа за границу — А. Д. Боровков в должности государственного секретаря — Взгляд императора на службу и обязанности — Встреча архимандрита Фотия с государем — Петербургский комендант Мартынов — Обворожительные черты характера Николая I — Кончина графа Новосильцева и назначение графа И. В. Васильчикова председателем Государственного Совета — Выговор императора Николая барону Корфу — Граф Н. С. Мордвинов — Возвращение государя из-за границы в 1838 году — Путешествие на перекладных — Император Николай на лесах Исаакиевского собора — Сватовство герцога Лейхтенбергского — Возобновление Фельдмаршальской залы в Зимнем дворце

Отчеты почти всех министерств печатаются у нас теперь в общее сведение. Косвенной тому причиной был я, или, точнее сказать, работа, сделанная мною и имевшая первоначально другое предназначение. Подробности всего этого дела, едва ли кому-либо даже из современников памятные, представляют довольно любопытную страницу для истории царствования императора Николая и тогдашней нашей администрации.

При первом образовании министерств, в 1802 году, каждому министру велено было отдавать Сенату ежегодный отчет как в управлении частью, так и в ассигнованных на нее суммах. Сенат, с своей стороны, должен был исследовать (подлинные слова закона) отчет в присутствии министра, требовать от него нужных пояснений, сличать его показания с донесениями разных мест и рассматривать все высочайшие указы и повеления, последовавшие по его части в течение года, и затем подносить отчет государю со своим мнением.

Этот, некоторым образом, конституционный порядок в первые два или три года действительно соблюдался, хотя, впрочем, и не по всем министерствам; но потом рассмотрение отчетов Сенатом превратилось в один письменный обряд, а наконец и самый этот обряд временем и силой обстоятельств пресекся.

В 1811 году, при новом образовании министерств (действующем, как известно, еще и теперь), отчеты разделены на три части: 1) отчеты в суммах, которые велено отдавать государственному контролю; 2) отчеты в делах, которые предназначено вносить для рассмотрения в Государственный Совет и потом печатать; и 3) отчеты о видах и предложениях к усовершению каждой части, которые велено министрам подносить непосредственно на высочайшее воззрение, с тем чтобы они оставались у государя.

Оба последние постановления никогда вполне выполняемы не были. Опала и удаление от дел творца министерского образования 1811 года, Сперанского, отозвались и на этом предмете. В 1812 году поступило в Совет только самое малое число отчетов, а с 1813 года доставление их совсем прекратилось. Один граф Канкрин, приняв министерство финансов в 1823 году, внес, вдруг за десять лет, отчеты, остававшиеся от его предместника, и с тех пор постоянно продолжал представлять в Совет такие же по своему управлению. Печатаемо не было решительно ничего[6].

Третья эпоха в порядке министерских отчетов началась с царствования императора Николая.

Рескриптом 30 сентября 1826 года на имя тогдашнего председателя Комитета министров князя Лопухина повелено было, чтобы к 1 января 1827 года каждый министр представил его величеству через сей Комитет отчет о своей части за

[6] Печатание известных отчетов графа Кочубея по министерству внутренних дел относится к эпохе предыдущей и с 1808 года тоже прекратилось.

1826 год, с приложением и счетов денежных сумм. Потом, в феврале 1828 года, велено, чтобы министры поспешили представлением своих отчетов тем же порядком и за 1827 год, соблюдая сей порядок и на будущее время[7].

Таким образом, средоточием отчетов (кроме по министерству финансов) сделался, вместо Совета, Комитет министров. Но как сей последний — ни по составу его, ни по множеству текущих занятий, ни по самому порядку производства в нем дел — не мог рассматривать отчетов, то все ограничилось одной формой: министры (не все, однако же, как ниже видно будет) присылали свои отчеты при самых кратких записках, а Комитет, не читая отчетов и, следственно, не поставляя по ним и заключения, подносил государю в подлинниках. Потом, если были какие-нибудь замечания или приказания от самого государя, они приводились в действие через Комитет, а в противном случае, по возвращении от его величества, сдавались в комитетский архив.

Между тем, еще в 1827 году государь собственноручной резолюцией указал, чтобы в канцелярии Комитета ежегодно составляем был из всех министерских отчетов общий Свод, по форме, в какой представлялись тогда отчеты от управления Царства Польского. Но впоследствии это высочайшее повеление, кажется, было забыто, и как дальнейших подтверждений не последовало, то управлявший делами Комитета Гежелинский, от обыкновенной ли его небрежности или по недостатку средств и времени, ни сам за сказанное дело не принимался, ни другим его не поручал, так что ни тогда, ни

[7] Сроки представления отчетов неоднократно изменялись. Вместо 1 января, как велено было представить их за 1826 год, потом установлено подносить их к 1 марта. Но как и тут опыт показал невозможность общего исполнения, то в 1834 году Комитет признавал за необходимое, для полноты и большего совершенства отчетов, продлить срок представления по 1 июня. Государь, однако же, не изъявил на это согласия и в собственноручной резолюции приказал, чтобы отчеты представлялись не позже 1 мая.

после не было сделано и приступа к исполнению высочайшей воли.

В начале 1831 года, когда, с отрешением Гежелинского от должности, возложено было на меня привести в порядок все им запущенное, в бумагах его отыскалось и упомянутое высочайшее повеление. По докладу моему о нем, высочайше утвержденным журналом Комитета 7 февраля 1831 года определено: «Поступившие от некоторых министерств отчеты до 1830 года, как покрывающиеся уже отчетами собственно за сей год, оставить при делах Комитета без дальнейшего производства; по поступлении же всех отчетов за 1830 год составить из них в канцелярии Комитета для представления его величеству один общий». Но хотя с 6 мая 1831 года должность управляющего делами Комитета была окончательно замещена мною, однако сие положение также осталось без исполнения и не могло даже и быть исполнено, так как за 1830 год поступило в Комитет чрезвычайно мало отчетов.

В начале 1832 года я счел долгом снова напомнить об этом деле, и в феврале председатель Комитета министров, князь Кочубей, объявил, «что государю императору благоугодно было возобновить высочайшее повеление, в 1827 году данное, чтобы из всех отчетов, его величеству за 1831 год представляемых, составлен был в Комитете министров один общий отчет, возложить таковую работу в особенности на управляющего делами Комитета». Вместе с тем поведено было этот Свод отчетов «составить с возможным рачением, на случай высочайшего соизволения предать оный тиснению». Наконец в другом, тогда же состоявшемся, объяснительном высочайшем повелении прибавлено, что «его величество, изъявляя высочайшую волю о составлении и напечатании такового Свода, иметь изволит двоякую цель: во-первых, дабы собственно самому иметь в общем обзоре точное сведение о действиях и состоянии каждой части управления, в том наипаче отношении, что таковые своды доставят его величеству

более удобности обращать внимание на те предметы, кои требовать могут особых распоряжений или поощрений, так как министры имеют обязанность в отчетах своих не только излагать положение частей, им вверенных, но и представлять о видах к улучшению оных; во-вторых, чтобы не оставлять без общей известности той деятельности и того усердного старания, которые начальствующими разных частей государственного управления к усовершенствованию оных прилагаются, согласно воле его величества и постоянным его стараниям, дабы государство процветало и подданные удостоверялись, что таково есть искреннее и непременное желание его величества». Проект этого повеления написал сам князь Кочубей со слов государя, а прежде объявления Комитету еще раз представлял эту бумагу на его утверждение.

Такое изъявление воли государя показало всю важность в его глазах предположенного начинания, и я принялся за работу с пламенным усердием, со всем энтузиазмом молодого человека, с полным желанием произвести что-нибудь не рядовое, а по возможности хорошее и отчетливое. Способы, которых я потребовал для приведения в исполнение высочайшей воли, были очень ограничены: испрашивалось всего только прибавки трех писцов к штату комитетской канцелярии, в чем мне, разумеется, и не отказали. Но первое обозрение материалов, имевшихся в Комитете для общего за 1831 год Свода, тотчас обнаружило, что их очень мало или совсем почти нет. Отчеты были получены лишь от почтового департамента, министерства просвещения, государственного контроля и главного управления путей сообщения. Недоставало, следственно, всего важнейшего: отчетов обоих военных управлений, министерств иностранных и внутренних дел, финансов, юстиции, императорского двора, синодального, жандармской части и множества разных установлений, под особыми начальствами состоящих.

Я немедленно представил об этой скудости материалов, не дозволявшей помышлять даже о первом приступе к работе, и государь — доказательство, сколько это дело привлекало его внимание — в поднесенном мною реестре сделал собственноручно все нужные разрешительные отметки. Таким образом, министерство иностранных дел было им совсем исключено; против министерства финансов отмечено, чтобы объясниться с министром; против жандармской части: «кроме секретной»; к установлениям особых ведомств прибавлены учреждения императриц Марии и Александры. Сверх того, разослано было ко всем начальствам циркулярное повеление: 1) чтобы, для составления предположенного Свода, они не замедлили поднести его величеству свои отчеты, и 2) что, для успешнейшего совершения сей работы, мне предоставляется требовать отовсюду все нужные дополнительные сведения.

Сим положено было решительное начало если еще не самой работе, то, по крайней мере, собранию материалов.

Но и это первое действие должно было встретить огромные, казавшиеся почти неодолимыми, затруднения и препятствия. Некоторые министерства (например, оба военные и юстиции) и разные отдельные начальства до тех пор не представляли никогда никаких отчетов (кроме денежных в контроль); другие ограничивали всю свою отчетность одними перечневыми ведомостями о нерешенных делах. Составление настоящего, систематического отчета о действиях представлялось, следственно, для тех и других трудом совершенно новым, к которому не было ни руководства, ни готовых материалов, ни людей.

Все это крайне замедляло присылку в Комитет частных отчетов, и некоторые были получены уже в позднюю осень, частью даже в ноябре. Сверх того, сам я, по крайне расстроенному здоровью, принужден был провести летнее время на водах в Ревеле. Оттого моя личная работа могла начаться не

прежде августа, и за всем тем, этот, смею сказать, исполинский труд совершен был в четыре месяца, ибо 5 декабря он лежал уже готовый в государевом кабинете. Единственным, но весьма полезным мне помощником был некто Тубель, в то время начальник отделения канцелярии Комитета министров, а впоследствии правивший должность статс-секретаря в департаменте законов, человек очень умный, просвещенный и трудолюбивый. Большая часть предварительной работы была подготовляема им по моему плану, и без его трудов, не ослабевавших при встрече со всевозможными препятствиями, я едва ли бы успел сделать то, чего мы вместе достигли.

При том разнообразии, какое являлось в министерских отчетах касательно большей или меньшей подробности содержащихся в них сведений и самого воззрения на предметы, прежде всего надобно было заняться пополнением материалов. Дополнительные сведения сего рода, во многом, впрочем, не удовлетворявшие требованиям и ожиданиям, получались из министерств в продолжение самой работы, частью же собраны были мною непосредственно в подлежащих департаментах. Этот мелочный труд был крайне обременителен. Незнание и недостаток доброй воли в тех чиновниках, от которых требовались данные, заставляли меня рыться лично в подлинных делах. Множество любопытного отыскано было также в актах Государственного Совета, самого Комитета министров, разных комитетов временных, архивов старых и новых. Все мне было открыто, и я всем пользовался с жадностью, не один раз проходя по алфавитам и все 50 томов «Полного Собрания Законов», чтобы обнять последовательную цепь изменений нашего законодательства и отыскать связь прошедшего с настоящим. Между тем, и текущие дела Комитета должны были идти своим порядком. Разумеется, что в эти четыре месяца я не жил уже ни для семейства, ни для себя: работа брала у меня ежедневно по 15–16 и более часов.

Вторая часть труда состояла в совокуплении собранных материалов в одно целое, с возможным единством плана и редакции. Образцом, как выше сказано, дан был отчет Царства Польского[8]. Но это значило втеснить великана в платье карлика! Сверх того, польский отчет, которому предшествовали многие за предыдущие годы, обнимал события и распоряжения, собственно, одного года, а прежнее состояние каждой части и все постепенные ее улучшения предполагались уже известными. У нас, где, напротив, никогда подобных общих отчетов не бывало, представлялось необходимым, для общей связи и даже для самой вразумительности Свода, на случай его напечатания, обращаться постоянно назад и указывать сперва начало и переходы каждого предмета до настоящего его положения. Это было необходимым условием первого в своем роде отчета, условием, которое еще более меня обременяло, но которого исполнение я сам на себя добросовестно наложил, чтобы дать моей работе характер не только современной статистики, но и последовательной истории.

Затем, для удобства в размещении предметов и в дополнении частных отчетов как взаимно между собою, так и из других источников, я дал главным частям заглавия, заимствованные не от названий и разделений министерств, а от рода предметов. Подразделения истекли сами собою от естественной связи частей и от большего или меньшего обилия собранных материалов. Ученые выводы, сравнения, умозаключения, все вообще формы, чисто ученым творениям свойственные, казались мне в работе такого рода совершенно неуместными, и потому я принял образ редакции чисто повествовательный. Тут не было ни критики существующего, ни желаний лучшего, ни видов и надежд для переду: изобража-

[8] Мне прислан был отчет за 1828 год, поданный в 1830 году: он был последний при конституционном правлении Польши.

лось одно только настоящее и, по связи с ним, прошедшее, без указаний на будущее. Так как Свод предназначался к напечатанию, а в отношении к публике не могло быть ни отчета, ни Свода отчетов, то мы с князем Кочубеем долго также размышляли о приличнейшем для этой работы наименовании. Наконец, по общему совету, решено было назвать ее: «Обозрение всех частей государственного управления в 1831 году».

«Обозрение» состояло из текста и из таблиц[9].

Таблиц было приложено 108; некоторые в колоссальных размерах. При министерских отчетах не было и третьей их части, но и те все пришлось переделать и приспособить к общему плану.

Наружность работы соответствовала внутреннему богатству собранных в ней и частью никому дотоле недоступных

---

[9] Содержание и разделение текста:

I. Духовные дела. 1) Управление церкви греко-российской. 2) Управление иноверных исповеданий.

II. Народное просвещение.

III. Полиция и внутренние дела (в обширнейшем смысле). 1) Общественное благочиние. 2) Повинности. 3) Народное продовольствие. 4) Колонии. 5) Разные отрасли земледелия и домоводства. 6) Пути сообщений. 7) Почты. 8) Медицинская полиция. 9) Общественное призрение (со включением и всех благотворительных заведений разных отдельных ведомств). 10) Государственное благоустройство: а) Устройство местных управлений, б) Народосчисление, в) Состав народонаселения, г) Дворянские общества, д) Города, е) Столицы, ж) Строительная часть в губерниях, з) Селения, і) Ссыльные, и) Российско-американские колонии.

IV. Суд. (Движение судебных дел; новые законы 1831 года; судопроизводство.)

V. Военные силы. (Состояние армии и флота; история и состояние военных поселений; военно-учебные заведения.)

VI. Государственные доходы и расходы: 1) Разные ветви и движение государственных доходов. 2) Государственный кредит. 3) Казначейство или движение и оборот поступивших сумм. 4) Ревизия счетов (контроль).

VII. Уделы.

сведений. Все было переписано и переплетено с невиданной у нас прежде роскошью и даже украшено виньетками работы одного из моих же чиновников (Обыденного, вскоре после умершего). В таком виде я вручил мое произведение 3 декабря 1832 года князю Кочубею, с докладной от меня запиской государю, в которой подробно описывал ход работы, ее расположение и материалы. В этот день я впервые после четырех месяцев насладился бесценным отдыхом!

5 декабря, т. е. накануне именин государя, труд мой поднесен был Кочубеем, при особом и от него докладе, в котором, «свидетельствуя об усердии и особенном прилежании, с коими действительный статский советник барон Корф исполнил возложенное на него поручение, с толикими трудностями по новости и сложности своей сопряженное», он представлял: не угодно ли будет государю повелеть, чтобы отчеты министров военного, морского и финансов в том виде, как они введены в Свод, «были предварительно сообщены им, министрам, с тем чтобы они могли еще ближе вникнуть, не нужно ли чего-либо из оных при печатании исключить или представить иное в другом виде». Он прибавлял далее, что «можно равным образом и к другим министрам отчеты их препроводить, хотя, впрочем, в сих последних, как кажется, не находится ничего, что не могло бы иметь полной гласности».

На сей доклад им же, Кочубеем, объявлено было высочайшее повеление следующего содержания:

1) Свод отчетов — напечатать.

2) Отчеты министров военного, морского и финансового препроводить предварительно к ним, для рассмотрения в вышеозначенном смысле.

3) О напечатании Свода отчетов снестись с начальством типографии II-го отделения Собственной его величества канцелярии.

Сим, казалось, окончательно была определена участь этого важного дела. Но ему предстоял другой, тогда, конечно, совсем непредвиденный исход.

Министры военный (граф Чернышев) и начальник главного морского штаба (князь Меншиков) отвечали, что доставленная им работа совершенно удовлетворительна, но напечатать в общем ее составе отчеты их частей вовсе неудобно. Первый, т. е. Чернышев, причиной к тому приводил, что сколько ни полезно в отчетах самому государю откровенное показание всех сведений о личном составе войск и о военном хозяйстве, столько же обнародование их может вести к разным неблагоприятным суждениям и заключениям, вне и внутри государства; если же исключить сии сведения из отчета, то он потеряет всю занимательность и всякое значение. Последний, т. е. Меншиков, изъявлял опасение, чтобы ежегодное обнародование наших морских сил и способов к увеличению их по видам правительства, особенно в Черном море, не дало повода к разным вопросам со стороны иностранных держав.

Но всего любопытнее и сильнее был ответ министра финансов (графа Канкрина). Обращаясь от своего отчета и к прочим, он доказывал неудобство издания в свет общего их Свода главнейше следующими доводами:

1) Немалая часть Свода состоит из статистических сведений, которые для общего понятия о деле могут быть необходимы, но иногда слишком дробны, иногда неудовлетворительны и вообще могут дать повод к недоразумениям.

2) Нельзя ожидать, чтобы публика судила о сих отчетах хотя с некоторой справедливостью, а скорее должно предвидеть критику и толки о том, что действия правительства были малозначительны. Это свойственно духу нашего времени, а притом, если отделить от отчетов побочную часть статистики и действия текущие, то собственно в разряде высших адми-

нистративных мер они и в самом деле едва ли представляют довольно улучшений, чтобы удовлетворить увеличенным требованиям умов. Посему напечатание отчетов скорее может обратиться к порицанию, нежели к похвале действий правительства. Если же напечатанное сообщить только немногим, то и тогда оно не останется тайной для большей части публики, и многие несправедливые суждения распространятся по одной наслышке.

3) Обращаясь, в частности, к отчету министерства финансов, нельзя не заметить, что много сказано о частях подчиненных, между тем как о главных должно было выговариваться с осторожностью; почему всяк догадается, что сказано не все, а подобные умолчания непременно возбудят и неправильные догадки и неудовольствие.

Вследствие того Канкрин полагал, что если в других государствах сделалось уже неизбежным публиковать отчеты о действиях правительства, то в нашем монархическом правлении обнародование их, так сказать, в массе едва ли еще не преждевременно. Можно, продолжал он, принять, напротив, гораздо полезнейший вид откровенности, печатая отдельно, в полуофициальном виде и в разное время, отчеты по частным предметам, по которым нельзя ни подозревать умолчаний, ни видеть общую связь управления. Таким образом можно будет обходить целые департаменты, не возбуждая в публике неудовольствий.

В заключение министр присовокуплял нечто вроде извинения или очистки передо мною в том, что сказано им было более по случаю, нежели на счет моей работы.

«Впрочем, — писал он, — таковое мнение мое отнюдь не относится к порицанию самого составления Свода, которому я отдаю всю справедливость: труд, поднятый при сем случае составителем, будучи притом для него посторонним, заслуживает вполне уважения».

Все эти ответы князь Кочубей представил государю, и отсюда сделан был первый шаг ко мне прежнего повеления. Комитету объявлено, что государь, по рассмотрении сказанных отзывов, «не отвергая, что в отчетах, собственно лицу его представляемых и служивших главными к Своду материалами, конечно, быть могут предметы, которые неудобно обнародовать во всеобщее сведение, высочайше повелеть изволил: как самый Свод, так и отзывы министров, внести в Комитет министров, с тем чтобы, рассмотрев оные немедленно, Комитет представил его величеству заключения свои о том, какие из частей помянутого Свода могут быть напечатаны, и все ли вместе или отдельно по каждой части».

Для исполнения сего Комитет тотчас собрался в чрезвычайном заседании. Заключение его уже некоторым образом предопределялось вышеизложенными отзывами министров и особенно министра финансов, который и в самом этом заседании был душой всех суждений. Чернышев и Меншиков не приехали, а для прочих членов это дело было совсем новое. Кочубей, с своей стороны, прежде сильно настаивавший на напечатании Свода, прочитав ответы министров, тотчас заколебался, а после личных с ними объяснений и совсем уже переменил свои мысли. Таким образом, вышел примечательный журнал 6 мая 1833 года.

Комитет начинал его замечанием, что дело сие сопряжено в последствиях своих с важнейшими государственными интересами; почему и необходимо вникнуть в оное со всею внимательностью.

Затем вопрос обсуждаем был с двух сторон: 1) вообще касательно отчетов министерских, 2) в частности, касательно составленного мною из них Свода.

В отношении к первому предмету Комитет находил, что воля государя — чтобы движение разных частей государственного управления не оставалось без общей известности и чтобы через гласность их подданные удостоверялись в жела-

нии правительства о возможном их усовершении — в большей части министерств может быть исполнена, без всяких неудобств, печатанием частных их отчетов; причем умолчание о некоторых предметах не нарушит общей связи, и самый отчет не утратит через то существенного своего достоинства.

Но распространить ту же меру на оба министерства военные и на министерство финансов крайне затруднительно и даже едва ли не совершенно невозможно, ибо состав военных сил, или все то, чем государство сможет располагать для внешней обороны и охранения внутреннего спокойствия, всегда составляло у нас одну из важнейших государственных тайн, а ограничиться здесь одними частными умолчаниями, как в отчетах прочих министерств, нельзя.

С другой стороны, если в кругу министерства финансов есть, конечно, целые части, не требующие тайны, и если в нем сосредоточиваются такие сведения, которых гласность даже весьма полезна, то все сие и теперь уже печатается в издаваемых при разных департаментах журналах, следственно, с тою степенью официальности, которая достаточно обеспечивает верность сих сведений. Но есть, напротив, другие предметы, и именно, подобно отчетам военным, самые важнейшие, которых обнародование невозможно. Таковы, например, государственная роспись, обороты казначейства, состояние недоимок, дефициты, ресурсы правительства и проч. Некоторые и из этих предметов, правда, более или менее известны публике по частным слухам и соображениям, но самый сей способ известности отнимает у них всякую достоверность и все суждения обращает в одни лишь догадки.

Вследствие сего Комитет полагал:

1) Годичные по каждой части отчеты вносить на высочайшее воззрение по-прежнему через сей Комитет.

2) Отчеты военных управлений, по возвращении от его величества, хранить в архиве Комитета, без дальнейшей огласки.

3) Из отчетов министерства финансов предоставить министру печатать, как и прежде, в издаваемых при его департаментах журналах те части или статьи, которых обнародование не может, по его усмотрению, сопряжено быть ни с какими неудобствами.

4) Затем отчеты всех прочих министров по возвращении от его величества обращать к ним, дабы за исключением не подлежащего гласности и собственных их предположений к улучшению части, все прочее было печатаемо в общее известие.

В отношении ко второму предмету, то есть к составленному мною Своду, Комитет противопоставлял обнародованию его в общем составе два особенно важные препятствия.

Во-первых, в Своде изображены состояние и действия всех частей управления; следственно, к нему прилагается то, что сказано выше о невозможности печатания отчетов военных и финансовых в частности.

Во-вторых, частные отчеты порознь по каждому министерству, хотя бы они и были напечатаны, всегда сохранят вид и форму отчета, представленного государю его министром. Но в каком виде и в какой форме мог бы быть издан — не для государя уже, а в общее сведение, следственно, для публики — Свод, составленный из совокупности всех отчетов и из многих других актов?

Неудобств сих Комитет считал возможным избежать, обратясь к указанной в высочайшем повелении другой мысли, именно, чтобы разные статьи Свода напечатать по каждой части отдельно. В этом он находил ту выгоду, что, обнародованные таком образом, с нужными пропусками, выписки из работы, собственно для государя составленной, не раскроют того, что должно оставаться в тайне и вместе не возродят и никаких неуместных ожиданий на будущее время.

Посему Комитет полагал:

1) Из составных частей Свода напечатать: а) Управление духовных дел; б) Народное просвещение; в) Полицию и внут-

ренние дела; г) Суд; д) Из части о военных силах — военно-учебные заведения; е) Уделы.

2) Вместе с текстом этих статей напечатать и их таблицы.

3) Все это издать не в общей массе, а порознь, по статьям, соображаясь со сродством предметов, озаглавливая каждую статью так: «О состоянии таких-то частей государственного управления или таких-то заведений и т. п. в 1831 году».

4) Печатание произвести по распоряжению и усмотрению каждого министра, передав для сего каждому же список с его части из общего Свода.

5) Прежде напечатания каждой части поверить в подлежащем министерстве содержащиеся в ней сведения и, буде нужно, дополнить оные, так как некоторые статьи за неимением еще позднейших отчетов, представлены были в Своде по актам не 1831, а 1830 года; вместе же с тем выключить все не подлежащее гласности, если бы, за сделанными уже умолчаниями, еще где-нибудь такие предметы оказались.

6) Так как план, составные части и подробности Свода отчетов ближе всего известны его редактору, то все помянутые дополнения и исключения производить в министерствах не иначе, как по предварительному с ним сношению.

Тяжко мне было, в качестве управляющего делами Комитета, писать самому этот смертный приговор работе, стоившей мне стольких трудов и усилий; но как я тогда, во внутреннем сознании, сам разделял убеждение членов Комитета, против высочайшего повеления выговоренное, так и теперь остаюсь неизменно при тех же мыслях. К тому, что сказано и можно еще было сказать в журнале Комитета, прибавлю здесь два уважения, на которые там только косвенно намекалось:

1) В министре, печатающем свой отчет отдельно, можно предполагать побуждением к тому желание, основанное на благородном самолюбии показать, что вверенная ему часть не бездействует, а идет вперед. Он сообщает публике то, в

чем дал отчет государю; следственно, суд публики может упадать только на него лично. Но что значило бы печатание отчета о государственном управлении в целом его составе, которого главой есть один монарх? Не было ли бы это, некоторым образом, отчетом самого государя своему народу и на кого тут обратился бы суд публики? Ясно, что такой отчет возбудил бы сперва ожидание, а потом, может быть, и требование, чтобы за ним следовали каждогодно такие же: понятия, не свойственные образу нашего правления, новизна, во всяком случае, более опасная, чем полезная. Довольно здесь сослаться на пример известного Compte-rendu Неккера.

2) Каждому мыслящему наблюдателю известно, что в русском народе, особливо в полуобразованных сословиях и в многочисленном классе чиновников среднего и низшего разряда, таится много если не прямо оппозиционных начал, то духа мелочной критики и порицания правительственных мер. Каждое новое постановление, какая бы ни была его цель, тотчас подвергается в канцеляриях столько же строгим, сколько часто и неосновательным пересудам, а посредством многолюдного сонма чиновников они находят свой отголосок и в других сословиях. Как отдать на жертву этому придирчивому разбору картину всех жизненных сил государства, всех мер, принятых в общем составе и ходе его управления, всех сокровенных пружин его движения!

Сколько родилось бы тут нареканий не только против исполнителей, не только против материалов, но, повторяю, и против той власти, которую может судить один Бог, и какая, наконец, была бы польза, если б, сорвав вдруг завесу с организма нашей государственной жизни, Россию, грозную, могущественную Россию, сильную именно преданностью народа, подвергнуть, на непризванном суде, мелочному анализу и разложению во внутренних, не всегда благовидных ее тайнах?

Как бы то ни было, но и император Николай уступил благоразумным и патриотическим убеждениям его советников. Заключение Комитета удостоилось безусловного высочайшего утверждения, и Свод отчетов 1831 года был первым и последним. Согласно сказанному заключению, некоторые части его были напечатаны в газетах и журналах, другие отдельно; но все, будучи выпущены в свет спустя долгое время, отрывочно и без общей связи, прошли почти не замеченные публикой.

В государственном отношении эта работа осталась, однако же, не совсем бесплодной. С одной стороны, в министерствах из примера Свода 1831 года увидели, как надобно составлять отчеты. После истекших с тех пор двадцати пяти лет, в такую эпоху, где я смотрю на свой молодой труд с хладнокровным беспристрастием постороннего наблюдателя, смею сказать это без смешного самопоклонения, ибо множество последующих отчетов представляли, и в системе и в образе изложения, одни живые сколки с сообщенных им выписок из моего Свода. Министерство юстиции, которое во время собирания мною материалов не могло удовлетворить ни одного из моих вопросов, дало за 1833 год первый правильный отчет, содержавший в себе те же самые вопросы, но на этот раз уже и с ответами на них. В министерстве внутренних дел, представлявшем дотоле под именем отчета один исходящий реестр своих предписаний и отношений, возобновилась, по крайней мере, по внешней форме, блистательная эпоха отчетов 1803 и 1804 годов. Наконец, военное министерство и многие отдельные ведомства, которые прежде не давали совсем никаких отчетов, с тех пор стали подносить их государю постоянно, за каждый год. Другим полезным последствием было — печатание с этого времени годовых министерских отчетов, вполне или в пространных извлечениях по всем частям, не требующим особенной

тайны; распространяя массу статистических и исторических сведений, это не могло не оживить некоторым образом и самого хода администрации.

* * *

В поездку государя в 1834 году по разным губерниям при нем находились только генерал-адъютант граф Бенкендорф, управлявший в то время корпусом жандармов и III-м отделением Собственной его величества канцелярии, статс-секретарь Позен и врач Енохин[10]. Вот что на одном из остановочных пунктов Позен слышал из соседней с государевым кабинетом комнаты.

В кабинете с государем один Енохин. Государь весел и разговорчив.

— Ты, Енохин, — говорил он, — из духовного звания и, следственно, верно знаешь духовное пение.

— Не только знаю, государь, но в молодости часто и сам певал на клиросе.

— Так спой же что-нибудь, а я буду припевать.

И вот они поют вдвоем церковные стихиры.

— Каково, Енохин?

— Прекрасно, государь, вам бы хоть самим на клиросе петь.

— В самом деле, у меня голос недурен, и если б я был тоже из духовного звания, то, вероятно, попал бы в придворные певчие. Тут пел бы, покамест не спал с голоса, а потом… ну потом выпускают меня, по порядку, с офицерским чином хоть бы в почтовое ведомство. Я, разумеется, стараюсь подбиться к почт-директору, и он назначает меня на тепленькое местечко, например, почт-экспедитором в Лугу. На мою бе-

---

[10] Между графом Бенкендорфом и Позеном рукой императора Николая в рукописи этих Записок прибавлено: граф В. Адлерберг.

ду, у лужского городничего хорошенькая дочка. Я по уши в нее влюбляюсь, но отец никак не хочет ее за меня выдать. Отсюда начинаются все мои несчастья. В страсти моей я уговариваю девочку бежать со мною и похищаю ее. Об этом доносят моему начальству, которое отнимает у меня любовницу, место, хлеб и напоследок отдает меня под суд. Что тут делать, без связей и без протекции?

В эту минуту вошел в кабинет Бенкендорф.

— Слава Богу, я спасен: нахожу путь к Бенкендорфу, подаю ему просьбу, и он высвобождает меня из беды!

Можно представить себе, какой неистощимый смех произвел в слушателях этот роман ex abrupto (экспромтом), доказывающий, вместе со многими другими анекдотами, веселую, обыкновенно, настроенность покойного государя и игривое его воображение.

* * *

Сын великой княгини, потом королевы Виртембергской Екатерины Павловны, принц Петр Георгиевич Ольденбургский, родившийся в 1812 году и пожалованный, при самом крещении (22 октября) в полковники лейб-гвардии Преображенского полка и андреевским кавалером, прибыл в Россию, по окончании воспитания своего за границей, еще очень молодым человеком, и именно в 1830 году. Сначала служба его была военная, то есть фронтовая, и он был назначен батальонным командиром лейб-гвардии Преображенского полка, при котором оставался и после производства его в 1832 году в генерал-майоры и в 1834 году — в генерал-лейтенанты. Потом он хотя и был назначен (6 декабря 1835 года) шефом Стародубовского кирасирского полка, которому впоследствии (14 апреля 1840 года) повелено именоваться «Кирасирским Его Светлости Принца Петра

Ольденбургского»[11], но это назначение было только почетным, и деятельность была исключительно обращена к гражданской службе, так что военного остался при нем только мундир и чин (с 16 апреля 1841 года генерал от инфантерии). В конце царствования императора Николая главные титулы и обязанности принца были: председатель департамента гражданских и духовных дел в Государственном Совете, председатель Опекунского совета и Главного совета женских учебных заведений и сенатор.

Примечательнейшую страницу в биографии принца, принадлежащую вместе и истории России, составляло, конечно, учреждение — по его мысли и с значительным от него пожертвованием — Императорского Училища правоведения.

26 октября 1834 года принц писал государю: «Всемилостивейшее назначение присутствовать в Правительствующем Сенате, приемлемое драгоценным знаком отеческого обо мне попечения вашего, постоянно доставляет мне случай вникать ближайшим образом в порядок и ход гражданского судопроизводства. Недостаток образованных и сведущих чиновников в канцеляриях судебных мест составляет неоспоримо одно из важнейших неудобств, препятствующих возвести часть сию на ту степень благоустройства, на которой ваше императорское величество желаете поставить все отрасли управления. Учебные заведения, ныне существующие, не удовлетворяют сей потребности государства. Молодые люди, получив в оных образование на собственный счет и потому пользуясь свободой избирать род гражданской службы, обыкновенно стремятся в министерские департаменты, где и виды честолюбия, и способы содержания более льстят их надеждам. По прошествии нескольких лет они перемещаются в

[11] Титул императорского высочества пожалован принцу, вместе с его супругой (принцессой Терезиею Нассаускою) уже позже, а именно в 1845 году.

высшие звания по судебным и исполнительным местам и таким образом минуют канцелярские должности, не получив надлежащего сведения о порядке делопроизводства. Для устройства канцелярий, давно озабочивающего правительство, полагаю необходимым, чтобы улучшение содержания согласовано было с образованием людей, к гражданской службе назначаемых, и чтобы с тем вместе учреждена была правильная для них постепенность в повышениях. Убеждение в сих истинах возродило во мне мысль о пользе учреждения особенного Училища правоведения. Многие из опытнейших и усерднейших слуг ваших помышляли и прежде меня о таком учреждении, но значительные издержки, необходимые для первоначального устройства подобного заведения, могли исполнению сей мысли препятствовать. Вам, государь, принадлежит все, что я имею, и сама жизнь моя! И если б уделением моего избытка мог я содействовать пользе службы вашего императорского величества, мог быть полезен родине, к коей привязан душой, то почел бы себя безмерно счастливым. Побуждаемый сими чувствами, я желал бы пожертвовать сумму, потребную на приобретение дома и на первоначальное обзаведение Училища правоведения».

Затем следовало краткое изложение оснований, на которых принц полагал учредить сие училище и определить обязательную службу оканчивающих в нем курс; в заключение же он предлагал, если мысль его будет принята, приступить к составлению проекта положения и штата.

Письмо это государь передал Сперанскому с следующею записью: «Благородные чувства принца достойны уважения. Прошу, прочитав, переговорить с ним и мне сообщить как ваши замечания, так и то, что с принцем вами условлено будет». Составленные вследствие того по обоюдному их соглашению проекты устава и штата внесены были в Государственный Совет, где подверглись, однако, подробному разбору и многим переменам, пока были наконец

утверждены 29 мая 1835 года и изданы при указе, в котором сказано было, что государь вменяет себе в приятную обязанность воздать справедливость побуждениям, на коих основано предположение принца, приемля оные доказательством примерного его усердия к общему благу и наследственного ему глубокого чувства любви к отечеству». Принц на покупку и перестройку дома (на Фонтанке, против Летнего сада, бывший Неплюева) с нужным обзаведением пожертвовал более миллиона (ассигнациями) рублей. За все это через два дня после подписания указа (31 мая) ему дан был рескрипт, в котором государь говорил, сколь много ценит и достоинство мысли принца и образ ее исполнения — мысли, *внушенной наследственной любовью к отечеству*, тогда как предложенный образ исполнения означает готовность содействовать его пользам, не щадя достояния[12].

В феврале 1837 года, после болезни, едва не положившей меня в гроб, и в продолжение которой император Николай беспрестанно присылал наведываться о моем здоровье и, наконец, поручил меня искусству доктора Арендта, бывшего в то время его врачом, я явился благодарить государя за его милостивое участие. Приняв меня с распростертыми объятиями и с вопросом: «Ну что, оправился немножко, любезный мой Корф?» — он велел рассказать себе весь ход моей болезни подробно, от начала до конца. Когда я коснулся расстроенного состояния моих нервов, государь с усмешкой возразил:

— Полно тебе в наши лета так бабиться!

Но потом опять с участием соблаговолил спрашивать, не болит ли у меня грудь, правда ли, что пострадала моя память и проч., изъявляя надежду, что «все это поправится, на но-

---

[12] Указ был написан мною, а рескрипт Сперанским, и я не без некоторого самодовольствия увидел, что подчеркнутые здесь слова были заимствованы им из моей редакции.

вую, такую же полезную службу мне, как и до сих пор». Далее он обратил речь к плану заграничного путешествия, которое врачи признавали необходимым для полного моего выздоровления.

— Куда же ты едешь: на Рейн или в Богемию?

На ответ мой, что я думаю еще посоветоваться с Мандтом, который, незадолго перед тем приехав из-за границы, пользовал императрицу Александру Федоровну, он сказал:

— И прекрасно сделаешь: Мандт очень искусный человек, и тем больше искусный, что умеет действовать не только на физику, но и на воображение. С моею женой он сделал просто чудеса, и мы оба от него в восхищении. Не верь здешним докторам, если они его бранят: это оттого, что он в тысячу раз умнее и ученее их. Советуйся с ним одним и одному ему доверяй.

Поговорив затем о недоверии своем вообще к врачам и к медицине и о том, что против болезней хронических он считает самыми верными средствами воды, климат и развлечение, сопряженное с заграничным путешествием, государь вдруг спросил:

— Но кто же заступит тебя на такое долгое время (на шесть месяцев) по Совету?

— Государь, мне объявлена уже ваша воля по этому предмету. Вам угодно было приказать, чтобы мою должность исправлял старший по мне в государственной канцелярии.

— Да, да, чтоб не пускать чужого козла в огород. Но довольно ли надежен Боровков? Можно ли поверить ему такие важные обязанности?

— Он — человек надежный и по правилам и по знанию дела, хотя и не совсем отличный редактор, в чем прошу ваше величество иметь к нему милостивое снисхождение. Дела при нем, смею надеяться, пойдут к удовольствию вашего величества. Я вообще очень счастлив товарищами: все они люди благородные, знающие, пользующиеся доверием членов

Совета и публики. Получив уже единожды должное направление, каждый из них будет делать свое дело.

Тут государь удивил меня своим знакомством с личным составом государственной канцелярии. Спрашивая порознь о каждом из высших ее чиновников, он называл их по фамилиям и входил в подробности об их способностях, сведениях и надежности. Я отвечал, отдавая каждому заслуженную справедливость.

— У тебя такой напев, какой я редко слышу от других; каждый как бы похвалить себя, а других понижe. Но полно: я знаю, что все это и держится и идет тобою, и очень боюсь твоего отсутствия, а между тем, еще раз благодарю за то, что ты так поднял и облагородил сперва канцелярию Комитета министров, а теперь государственную канцелярию. Мы с тобою еще не сосчитались!

Когда, между прочими отзывами насчет чиновников, я в особенности рекомендовал Башуцкого (правившего тогда должность статс-секретаря в гражданском департаменте, после сенатора) за благородство правил и высокое бескорыстие, государь возразил:

— Сначала я никак не мог вразумить себя, чтобы можно было хвалить кого-нибудь за честность, и меня всегда взрывало, когда ставили это кому в заслугу; но после пришлось поневоле свыкнуться с этою мыслью. Горько подумать, что у нас бывает еще противное, когда и я и все мы употребляем столько усилий, чтобы искоренить это зло!

— Государь, — отвечал я, — в этом отношении, как и во многих других, Россия в ваше царствование все-таки далеко ушла против прежнего. Служив около десяти лет при императоре Александре, я могу судить по сравнению. Теперь хоть в высших, по крайней мере, степенях, все чисто, как ваши намерения, и если кто из нас когда грешит, то по ошибкам, а, конечно, уже не по злой воле.

— О вас и я так думаю. Но что еще делается внизу, что в середине! Там точно надо еще хвалить за бескорыстие и вменять в достоинство то, что следовало бы считать только за отсутствие зла. Но об этом можно бы толковать еще целый час, а я и так замучил тебя, полубольного, этим длинным разговором.

Остальная часть беседы относилась уже ко мне, к моей жене, к нашим домашним делам и потому могла бы принадлежать скорее к личной моей биографии, чем к предмету настоящих записок.

* * *

В нашей духовной иерархии в первой четверти настоящего столетия явилось лицо, чрезвычайно примечательное в разных отношениях, именно архимандрит Юрьева Новгородского монастыря Фотий. Сын простого дьячка, обязанный всем самому себе, Фотий умел приобрести не простую приязнь, а полную дружбу графа Аракчеева, свергнуть (в 1824 году) — при помощи митрополита Серафима, генерал-адъютанта Федора Петровича Уварова и того же Аракчеева — князя Александра Николаевича Голицына с поста министра духовных дел и народного просвещения; внушить слепое, рабское себе повиновение графини Орловой, дочери знаменитого героя Чесменского; наконец, возвести на высшую степень благолепия и богатства древнюю Юрьевскую обитель, столь славную в наших летописях, но пришедшую от разных причин в запустение и совершенную нищету. Жизнь его была всегда жизнью истинного отшельника, преисполненной всех возможных лишений для самого себя и щедрых даяний бедным новгородским монастырям и церквам, равно как множеству частных лиц.

Несмотря, однако же, на все это, он был почти ненавидим в обществе, которое называло его иезуитом Тартюфом,

волком в овечьей шкуре и проч. Этому нерасположению способствовали, конечно, с одной стороны, общая ненависть к другу его Аракчееву, а с другой — и то несоответственное иноческому званию дерзкое высокомерие, которое Фотий ко всем оказывал, встречая каждого, без различия пола, лет и звания, хотя бы то был и высший сановник, грубым «ты». Император Николай, вероятно, по нерасположению к Аракчееву, может быть, отчасти, и по наговорам приближенных лиц, никогда не благоволил к юрьевскому архимандриту.

В 1835 году, когда государь впервые посетил его монастырь, Фотий лично сам еще более усилил это нерасположение. Он вышел на встречу государя без облачения и протянул неспрошенно руку свою для целования. Государь обернулся к провожавшему его графу Бенкендорфу и сказал по-французски:

— Подтвердите, что я умею владеть собой, — потом поцеловал протянутую ему руку и пошел осматривать монастырь.

Но на другой день велено было вытребовать Фотия в Петербург и здесь наставить его, каким образом должно встречать императора. Его в то время продержали и промучили в Александро-Невской лавре три недели и сказывают, что, кроме смертельной раны, нанесенной его самолюбию, этот урок и разрешение возвратиться в свою обитель стоили ему до 30 000 рублей ассигнациями.

Несмотря на то, в феврале 1838 года, узнав о тяжкой болезни Фотия, государь явил заносчивому архимандриту особенный знак внимания, тотчас отправил к нему из Петербурга лейб-медика Маркуса, на руках которого он и умер.

* * *

В феврале 1838 года скоропостижно, после бала в Аничкином дворце, умер Петербургский комендант, некогда ко-

мандир лейб-гвардии Измайловского полка Мартынов, человек без образования, без высокого ума, но правдивый, честный и добрый. Государь очень был огорчен смертью этого преданного и верного слуги.

— Мы были с ним знакомы тридцать лет, — сказал он, — и я у него брал первые уроки военной службы.

На место умершего Мартынова назначен был Петербургским комендантом генерал Захаржевский, человек до безобразности тучный. На замечание, что такой толстяк едва ли пригоден для должности, требующей беспрестанной деятельности, даже и физической, государь отвечал:

— Напротив, от такого неповоротливого меньше будет дрязг, чем от другого проворного, который стал бы бегать ко мне за всякой безделицей, вместо того чтобы самому расправляться. Мне не нужно знать всех мелочных шалостей молодых офицеров, и не мое это дело, а коменданта.

* * *

Царствование императора Николая было богато бесчисленными чертами, то гениальными и потрясавшими душу, как электрическая искра, то трогательными и умиленными, но всегда проявлявшими высокую, светлую, поэтическую его душу. И телом и духом он был рожден повелевать, но, кроме того, и быть любимым — и едва ли, не говоря уже о монархах, была когда-либо и обворожительная женщина, которая имела бы такое множество фанатических, исступленных обожателей. Но зато как и умел он владеть умами и сердцами!

В феврале 1838 года государь посетил, как делывал часто и прежде и после, Пажеский корпус, где, подобно прочим военно-учебным заведениям, выставляются всегда на одной доске — имена воспитанников, отличившихся добрым поведением, а на другой — имена впавших в какую-нибудь погрешность. Подозвав прежде отличившихся пажей, он

хвалил и благодарил их и заключил словами: «Будьте уверены, что я и впредь ваших имен не забуду».

Потом дошла очередь до провинившихся. Пожурив их отечески, он вдруг берет губку и стирает имена их с черной доски.

— На этот раз, — говорит он, — я отношу ваши шалости к легкомыслию и в надежде, что вперед будете лучше, всю вину вашу беру на себя; но помните же, что уж теперь я за вас отвечаю, и не выдайте меня.

Слова и анекдоты в подобном роде повторялись в продолжение тридцатилетнего царствования ежедневно.

* * *

8 апреля, в 6 часов после обеда, мне, по званию моему государственного секретаря, дали знать о кончине председателя Государственного Совета графа Новосильцева, которую, при тяжкой его болезни, мы уже несколько дней ожидали. Я тотчас поскакал к нему в дом, где, пригласив ближайшего из родных и наследника его сенатора Огарева, запечатал вместе с ним двери кабинета покойного, а оттуда поехал с донесением о моих распоряжениях к государю, который в то время, по случаю возобновления сгоревшего Зимнего дворца, жил в Аничковом дворце.

Почти у ворот последнего нагнал меня фельдъегерь с запиской, собственноручно написанной государем: «Статс-секретарю барону Корфу». Вскрываю и нахожу, что я предварил высочайшую волю. «По случаю кончины Николая Николаевича Новосильцева, — писал государь, — нужным считаю приказать вам[13] немедленно опечатать бумаги, у него

[13] Говоря всем, не только приближенным, но и вообще известным ему «ты», император Николай на бумаге никогда не называл никого иначе, как «вы».

хранившиеся, что вы учините сейчас, вместе с теми из родных, которые при нем; по исполнении мне донести. Н.».

По докладе государю о моем приезде он принял меня в ту же минуту и сказал:

— Я счел нужным запечатать бумаги покойного графа не потому, что между ними могут быть дела Совета или Комитета министров, а более потому, что тут должна находиться переписка его с братьями Александром и Константином, которых доверенностию он долго пользовался, и, может статься, другие еще бумаги в таком же роде. Разбери все это хорошенько и потом представь мне подробные описи по категориям, а я назначу, куда что передать.

Затем после нескольких слов о последних минутах графа, о находившихся при нем родственниках и проч., я спросил, не будет ли каких приказаний относительно погребения, в тайной надежде, что, может быть, это поведет к вопросу о положении, в каком остались дела покойного и родственников его (у них почти ничего не было), а вследствие того будет приказано похоронить его на казенный счет. Но государь отвечал равнодушно и почти холодно:

— Ну, что ж, братец, ведь нам в это не мешаться; пусть родные делают как хотят; впрочем, разумеется, что по наружному церемониалу должно быть соблюдено все приличие, и по нарядам и проч. ты сделаешь, как было при похоронах прежнего председателя Совета князя Лопухина, потому что князь Кочубей умер в Москве и, следовательно, не может тут служить примером[14].

Вообще я предполагал найти более сочувствия или, по крайней мере, вида сочувствия к смерти графа, хотя и знал, что прямого, искреннего расположения к нему не было, а особенного уважения, при гласности в целом Петербурге

[14] Государь потом лично присутствовал при погребении Новосильцева в Невском монастыре.

довольно безнравственной частной жизни покойного, также быть не могло[15]. Но всего замечательнее было заключение этой беседы, при котором государь выразил откровенное свое мнение насчет окружавших его в ту эпоху людей.

— Более всего, — сказал он, — озабочивает меня теперь вопрос о преемнике графу. Есть человек, душевно преданный мне и России, высоких чувств, всеми любимый и уважаемый, но от которого, по слабости здоровья, почти совестно потребовать такой жертвы, да едва ли и сам он согласится, — это граф (после князь) Илларион Васильевич (Васильчиков); беда еще и в том, что он глух, смертельно глух! Всех способнее к этой должности был бы, конечно, во всех отношениях Михайло Михайлович (Сперанский); но боюсь, что к нему не имели бы полной доверенности: он мой редактор[16], и потому его стали бы подозревать в пристрастии ко мне. Граф Литта тоже человек с высокими достоинствами, которым я отдаю полную и душевную справедливость, но у него нерусское имя, и притом он католик. Князь Александр Николаевич (Голицын) не годится ни по способностям, ни по летам. Оставался бы еще граф Петр Александрович (Толстой); но этот тяжел, ленив и тоже не годится. Вообще надо еще хорошенько подумать, а ведь между тем дела не остановятся у вас и в теперешнем промежуточном порядке.

---

[15] Новосильцев был назначен председателем Государственного Совета после смерти князя Кочубея летом 1834 года, и первая мысль о сем назначении его была подана государю великим князем Михаилом Павловичем, как я сам от него неоднократно слышал. Новосильцев, долго состояв при цесаревиче Константине Павловиче, пользовался полной его доверенностью, а известно, что мнение и взгляд цесаревича были всегда законом для младшего из его братьев.

[16] Сперанский управлял в то время II-м отделением Собственной его величества канцелярии, в котором незадолго перед тем окончено было под непосредственным надзором и руководством государя бессмертное создание Свода и изготовлялись разные законодательные проекты.

Когда государь кончил свою речь, я осмелился заметить, что обязанности председателя становятся с каждым днем обременительнее, по множеству и беспрестанно увеличивающейся важности вновь поступающих дел.

— О, подожди только до будущей зимы, — возразил государь, — тогда мы внесем к вам работы самые важные: пояснения и дополнения к Своду, которые надо будет рассматривать с особенной внимательностью, может быть даже в экстренных заседаниях.

В тот же день, вслед за моею аудиенцией, был вечер у вдовы предшественника Новосильцева — княгини Кочубей, на котором присутствовала и вся царская фамилия. Увидя тут Васильчикова, государь отвел его в сторону и, после многих убеждений, согласил принять упразднившуюся должность Новосильцева[17]. Таким образом, по особому стечению обстоятельств, в самый день смерти председателя Государственного Совета был у вдовы его предшественника вечер, на котором назначен ему преемник.

— Я принял это звание, — говорил мне потом граф Васильчиков, — с тяжким сознанием своей малоспособности, с уверенностью даже, что оно разрушит последние остатки слабого моего здоровья; но принял и счел противным долгу совести отказаться от него собственно ввиду тех ничтожностей, которые находил вокруг себя в числе кандидатов.

Из этого заключаю, что в разговоре с ним государь не назвал, как мне, Сперанского, потому что Васильчиков принадлежал к числу ревностнейших почитателей его ума и государственных достоинств.

Разбор бумаг графа Новосильцева был окончен мною в несколько недель, но по своим результатам не оправдал предвидений государя. Переписка с императором Александром I и с великом князем Константином Павловичем и все

[17] Указ о сем был подписан на другой день, 9 апреля.

важнейшие из других бумаг, которые могли бы представить особенный интерес, были расхищены в Варшаве, во время мятежа 1830 года. Затем между оставшимися после его смерти (бумагами) найдено было очень мало: большею частию беспорядочные отрывки, копии, незначащие подлинные дела.

В представленной мною подробной описи государь сделал отметки против каждой статьи: иное велено было сжечь, другое разослать по роду дел в министерства и только три вещи представить ему самому: 1) разные отрывочные материалы, по-русски и по-французски, для «конституционной хартии России» — плод одного из филантропических мечтаний императора Александра в первой половине его царствования, 2) собственноручную записку покойного графа с разбором статьи: «L'Empereur Nicolas», появившейся незадолго перед тем в «Revue de Paris», статьи, которая в то время у нас почти всех восхищала, но в которой Новосильцев видел не иное что как самый едкий пасквиль, прикрытый личиной похвалы и простосердечия, 3) копию с польского письма, которым великий князь Константин Павлович в 1824 году спрашивал кого-то в Берлине о здоровье своего брата, но которого — по содержанию письма не было видно.

* * *

Я имел счастье сделаться лично известным императору Николаю по законодательным работам во II отделении Собственной его величества канцелярии, на которые он обращал в первое время такое заботливое внимание, что ему подавались еженедельно подробные ведомости о занятиях каждого из чиновников отделения поименно. Быв пожалован за сии работы, в один и тот же день, в коллежские советники, в звание камергера и значительным денежным награждением, я впервые представлялся его величеству на Елагином острову в июле 1827 года и могу сказать, что с самой этой минуты при

каждом свидании, при каждом случае к награде государь не переставал осыпать меня милостями и ласками, а позже осчастливил меня и частыми знаками высокого, особого доверия. В длинный ряд следовавших за тем лет его царствования, состояв с 1831 года управляющим делами Комитета министров и с 1834 года государственным секретарем — следственно, в должностях, самых приближенных к особе монарха, — я только один раз имел несчастье подпасть его гневу, и вот по какому случаю.

В первых днях мая 1838 года государь предполагал отправиться за границу, а между тем, 22 апреля окончено было в Государственном Совете рассмотрение огромного проекта учреждений местных управлений государственных имуществ, внесенного министром (тогда еще не графом) Киселевым. Как при поступлении этого дела, а именно 25 марта, председатель граф Новосильцев объявил мне высочайшую волю о рассмотрении его в Совете сколь можно поспешнее, то оно и было окончено, при всей его обширности, менее нежели в месяц, и все эти обстоятельства, представляя 26 апреля государю проект, я изложил в приложенной от меня докладной записке.

Но вместо ожиданного изъявления удовольствия за такую быстроту на другой день возвратилась от государя одна моя докладная записка, с следующей собственноручной его надписью: «Вы забыли, кажется, что я привык читать, а не просматривать присылаемые бумаги, и для того приказал, чтоб все ведомства прислали мне все важные бумаги не позже 15-го апреля, дабы успеть прочесть; вам следовало то же исполнить, ежели же сего невозможно было, то испросить повеление, что делать с сим положением, когда оно будет готово: ибо мне нет никакой возможности его читать за близким отъездом».

Упрек обожаемого государя поразил меня тем более, что я в глазах его являлся тут как бы не исполнившим его волю, и за тем, хотя с уверенностью в своей безвинности, но с стесненным сердцем, я тотчас отвечал следующей запиской.

«Вследствие сей час полученного мною высочайшего вашего императорского величества повеления осмеливаюсь всеподданнейше донести:

1) Высочайшая воля, чтобы все важные бумаги поднесены были вашему величеству не позже 15-го апреля, никем мне объявлена не была, и я узнал о ней впервые из последовавшей сегодня на всеподданнейшей моей записке высочайшей резолюции.

2) Генерал Киселев в подносимом у сего письма от 25-го апреля[18] уведомил меня, напротив, что ваше величество ожидать изволите представление его проекта для сколь можно скорого прочтения до отъезда. Посему, поднеся тот проект тотчас на другой день, я думал в точности исполнить священную волю вашего величества».

И что же? Тот самый Николай, которого невежественные иностранцы и злонамеренные крикуны старались всегда изображать таким непогрешимым и неподвижным в изъявлениях своей воли, возвратил мне эту объяснительную записку в ту же минуту с следующей новой надписью:

«Ежели так, то вы не виноваты, ибо приказание до вас не дошло, видно, по ошибке. Положение сие, по огромности, требует много времени для прочтения, и я никак не надеюсь прочесть до отъезда, ибо и без того дел много, и возьму с собой и пришлю, когда будет можно».

При этом еще замечу один знак нежной внимательности государя: записки мои с его надписями, и первая и вторая, были высланы мне не через 1-е отделение Собственной канцелярии, как в делах Совета всегда без изъятия делалось, а

[18] Следственно, накануне отсылки мною проекта к государю.

прямо в собственные руки, с его фельдъегерем. Государь явно изъявил этим волю свою оставить дело, так сказать, домашним и тайной между нами двумя. Подобные черты драгоценны для историка!

За всем тем это дело, начавшееся так для меня худо, хотя и без моей вины, должно было окончиться еще хуже, и на этот раз, к несчастью, уже прямо по моей вине.

Упомянутый выше проект, или, лучше сказать, целое собрание проектов, содержал в себе около 800 листов, и не видя, при страшной поспешности, никакого средства переписать их, по сделанным со стороны Совета поправкам и переменам, в маленькой государственной канцелярии, я просил Киселева возложить это на многочисленных его чиновников, но с тем, чтобы они приняли уже на себя и всю ответственность за верность переписки: ибо даже перечитать и проверить все эти огромные фолианты мне, среди множества других, тоже спешных занятий, не было никакой возможности. Киселев обещал исполнить это со всею точностью, а правителю его канцелярии при отдаче ему бумаг я повторил еще раз, что верность переписки обратится на личную и непосредственную его ответственность. Таким образом, будучи успокоен в этом отношении и получив переписанные проекты обратно лишь за два дня до поднесения их государю, когда нельзя уже было и помышлять о какой-нибудь поверке с моей стороны, я отправил их не читавши. Но государь, еще до своего отъезда, успел прочесть все и высылал мне тетради постепенно, с собственноручными поправками замеченных описок, которых было немало; наконец 1 мая, накануне выезда из Петербурга, он возвратил мне и последнюю тетрадь с надписью: «Много описок; кто поверял столь небрежно, посадить на сутки на гауптвахту».

Что было мне делать по этой резолюции, мне, который в звании государственного секретаря, ответственного за все, что

происходит и делается в канцелярии Совета, хотя бы и другими, чувствовал и сознавал вполне свою вину в этом случае? Я поехал к графу Васильчикову, только за три недели перед тем, по смерти Новосильцева, назначенному председателем Совета; объяснил ему весь ход дела и просил довести до сведения государя, что в государственной канцелярии нет и не может быть никого виноватого, кроме одного меня; почему я и ожидаю дальнейших повелений его величества на мой счет. Граф в ту же минуту сам отправился к государю и вот что потом мне передал: государь крайне разгневан. Он не хотел принять никаких оправданий спешностию дела и множеством других проектов, также важных, которые были поднесены ему на этой же неделе и где не нашлось ни одной описки.

— Если Корф, — сказал он, — не успел приготовить и прочесть бумаг как следовало, то должен был мне донести, и я дал бы ему отсрочку, а в таком виде бумаг мне не представляют. Я люблю Корфа без души и сам его вывел, с ним никогда этого не случалось, а видно, он теперь подумал, что за скорым отъездом я только прогляжу бумаги и не стану их читать. Я доказал ему противное. Но именно потому, что этого никогда с ним не случалось, надо принять меры, чтоб это было и в первый и в последний раз.

— Уверяю вас, — продолжал Васильчиков, — что пришлось изрядно за вас повоевать, и лишь после многих доводов с моей стороны он решил сменить гнев на милость. Он приказал мне сделать вам завтра (это было в воскресенье, а день общего собрания Совета — в понедельник) замечание в присутствии Государственного Совета, но велел вместе пожурить и Киселева.

Все это было высказано почтенным старцем почти со слезами, и он истинно тронул меня своим участием.

— Что для меня всего тут больнее, — отвечал я, — это то, что такой случай, первый со мною в восьмой год, что я состою при государе, должен был встретиться именно на пер-

вых порах моего с вами сослужения и я так худо вам рекомендуюсь. Впрочем, и несчастье имеет свою хорошую сторону; это мне урок на целую жизнь: не полагаться никогда на других, а чужой опытностью умен не будешь — надо все испытать самому!

В это время явился приглашенный графом (Васильчиковым) Киселев. Побыв с ним несколько минут наедине, граф позвал меня опять в кабинет. Тут я нашел Киселева обратившимся всего в сочувствие. Бледный как полотно, он почти плакал о наведенной на меня неприятности; говорил, что если я могу казаться виноватым перед государем, то передо мною истинно виноват один он, Киселев; проклинал свою канцелярию, прибавляя, что если бы меня послали на гауптвахту, то он сам отдал бы свою шпагу и пришел бы сидеть со мною; превозносил какое-то мнимое мое благородство в том, что я принял всю вину на себя, тогда как так легко мог сложить ее на других; уверял, что если только увидит государя перед его отъездом, то совершенно меня очистит и проч. Все мы трое были крайне смущены и взволнованы.

В понедельник я явился в Совет совсем уже приготовленный к предстоявшей мне неприятной сцене и вместе к ответу, когда сделано мне будет замечание, что вижу в нем одно особенное монаршее снисхождение к непростительной моей вине. Но приехавший вслед за мною граф Васильчиков, отозвав меня в другую комнату, объявил наедине, что берет на свою ответственность не делать мне указанного замечания, ибо не видит моей вины; что Киселев поступил благородно и вчера же в письме к государю принял всю вину на себя; что вслед за этим и он, Васильчиков, собирается сей час послать к государю (который, простясь со всеми перед отъездом, был уже в Царском Селе) нарочного с донесением, что если виноват я, то виноват и он, подписавший проекты без прочтения их; наконец, что он не сомневается в снисхождении государя ко всем этим совокупным объяснениям.

Так и сделалось, и я счастливо миновал первого наказания, которое должно было постигнуть меня после двадцати одного года службы.

Записка к государю Киселева, который имел любезность сообщить мне с нею копию, написана была очень правдиво, но вместе и довольно искусно. Изъяснив ход составления и потом переписки проектов в министерстве, он прибавлял, что, по данному ему от его чиновников заверению о исправности корректуры, он объявил то же самое и мне, прося не задерживать более сих проектов, дабы государь до отбытия в дальний путь удостоверился в окончании дела, высочайшей доверенностью на него, Киселева, возложенного; что при обращении внимания на редакцию переделанных по указаниям Совета статей списки ускользнули от корректоров, на которых окончательно возложено было это дело, и что я, основываясь на его заверении, представил государю проекты, советом уже одобренные, но в которые, к прискорбию, вкрались погрешности в переписке, единственно до его министерства относящиеся. Всю бумагу эту, довольно пространную, Киселев заключал так: «Как министерство сие высочайше вверено моему ведению, то, не изъемля себя от ответственности за упущения по оному и сделав надлежащее с кого следует взыскание, я повергаю сие всеподданнейшее мое объяснение на всемилостивейшее воззрение, осмеливаясь надеяться, что ваше величество, во внимании к сему откровенному объяснению, не поставит в вину барона Корфа упущения, происшедшего по доверию его к моему заверению».

Записки графа Васильчикова я не видал; но на другой день он объявил мне, что государь отменил повеление о сделании мне замечания и что таким образом все это останется между нами одними. И действительно, в городе никто о том не узнал.

* * *

Престарелый граф Николай Семенович Мордвинов, перестав уже несколько лет, за дряхлостью и болезнями, участвовать в собраниях Государственного Совета, в 1838 году стал наконец просить об увольнении его от звания председателя гражданского департамента. Он состоял в службе с 1766 года, полным адмиралом с 1797 года, членом Совета с 1801 года и в этот промежуток времени занимал еще несколько лет пост морского министра. Не входя в рассмотрение, всегда ли он действовал правильно, беспристрастно и даже благоразумно, нельзя, однако же, было не отдать справедливости многим отличавшим его высоким качеством, главное же не иметь в виду, что ему был 87-й год и что из них 72 протекло на службе.

Владея увлекательным пером, он писал очень много в своей жизни, особенно мнений по делам Совета, большей частью в либеральном направлении и в оппозиционном духе против министров, после чего сам распространял эти мнения в публике и успел приобрести через них чрезвычайную популярность, как никто другой в России. Но правительство с своей точки зрения всегда смотрело на Мордвинова, может быть и не без основания, как на опасного болтуна и если иногда его и отличало, то единственно из уважения к его сану и, можно сказать, бесконечной службе. Вообще, не говоря о массе, в высшем нашем административном слое мнения о нем были очень разделены. Тогда как одни видели в старом адмирале человека высшего ума и просвещения, действовавшего, если иногда и ошибочно, то, по крайней мере, всегда добросовестно и с желанием общего блага, с истинной любовью к России, другие, не признавая в нем никаких государственных достоинств, считали его за тщеславного крикуна, дорожившего лишь собственными интересами, и возбуждали даже подозрения относительно его бескорыстия за время, когда он управлял морским министерством.

Как бы то ни было, государь тотчас согласился на его просьбу об увольнении; но согласился вместе и на представление Васильчикова, чтобы угасающему сановнику дать при этом случае, для утехи и оживления его, милостивый рескрипт. Написать его было поручено мне. Имея в виду богатую фактами служебную деятельность графа, а равно высокое мнение о нем огромного большинства публики, я думал, что тут нужно нечто необыкновенное, несколько разительное — такой акт, в котором Мордвинов являлся бы более лицом идеальным, выражающим собою образ почти столетнего слуги царя и отечества и поставленным вне разнообразных о нем суждений.

В этом смысле я почти с плеча написал следующий проект: «Граф Николай Семенович! С истинным прискорбием узнал я о желании вашем сложить с себя должность председателя департамента гражданских и духовных дел Государственного Совета — должность, столь давно вами носимую и в которой вы явили столько новых доказательств вашего высокого усердия к престолу и отечеству и вашей нелицеприятной правоты. Но желая и с моей стороны, при преклонных летах ваших, доставить вам успокоение после многолетнего служебного поприща, всегдашним неизменным моим и моих предшественников доверием ознаменованного, я не мог не удовлетворить вашей просьбе. Вы сохраняете звания члена Государственного Совета, с самого учреждения его на вас возложенное, члена Комитета финансов и, наконец, особого Комитета об усовершенствовании земледелия в России, по мысли вашей воспринявшего свое начало. Мне же остается желать, да продлит благое Провидение маститую и прекрасную старость вашу, на пользу и честь вашей любезной России, привыкшей более семи десятилетий считать вас среди самых ревностных и доблестных сынов своих».

Васильчиков был чрезвычайно доволен этим проектом, который и отправил тотчас к государю. Но государь продержал его у себя до личного свидания с графом.

— Я не могу одобрить этого проекта, — сказал он тогда, — и поведение и служба Мордвинова были всегда двусмысленны, а после таких великолепных фраз что же осталось бы мне сказать в подобном случае какому-нибудь знаменитому фельдмаршалу? Я велел рескрипт переделать.

И точно, рескрипт был пересочинен, вероятно в 1-м отделении Собственной канцелярии, и вышел самым обыкновенным.

* * *

Император Николай чрезвычайно любил море и морские путешествия, хотя они почти никогда не сходили для него благополучно. Так, в турецкую кампанию 1828 года, на переезде его из Варны в Одессу, от жестокой бури корабль «Императрица Мария» едва не погиб со всеми бывшими на нем. Другой раз, в 1838 году, при возвращении из-за границы с императрицей и великими княжнами, на везшем их из Штетина пароходе «Геркулес» сломалось колесо, и они должны были пристать к Ревелю, откуда прибыли в Петербург уже сухим путем. Таких случаев бывало с государем множество, и недаром он говаривал, что он «влюблен в море, но без взаимности».

Упомянутое возвращение из Ревеля совершилось довольно оригинальным образом. На пароходе находилось только три царских экипажа: две кареты и коляска. Одну карету государь назначил под императрицу, другую под великих княжон, а коляску предоставил камер-юнгферам. В чем же ехать самому? Решено — на перекладных.

Но государь непременно требует, чтобы с ним ехал таким же образом и граф Орлов. В 7-м часу вечера — это было в

последних днях сентября — подъехала к Екатеринтальскому дворцу тележка, в которую они уселись вдвоем. Если вспомнить колоссальность этих двух лиц, неширокие эстляндские почтовые тележки и бугроватую каменистую станцию от Ревеля до Иегелехта, то легко представить себе всю прелесть их поездки. Рисковав несколько раз выпасть, они должны были, наконец, сидеть рука об руку и в Иегелехте порешили взять каждому по особой тележке. Так они ехали всю ночь — мрачную, холодную сентябрьскую ночь — вдоль берега моря или вблизи от него, в повозках, которые ничем не защищали их от пронзительного ветра! Только к рассвету, в Иеве, на соединении большого заграничного тракта с Ревельским, в 172 верстах от Ревеля, они пересели в коляску Орлова, возвращавшуюся из Берлина и оставленную тут передовым фельдъегерем государя.

* * *

26 октября государь поднялся на леса новостроящегося Исаакиевского собора для личного обозрения работ и остался всем вполне доволен. Он долго любовался открывавшимися с этой высоты видами на целый Петербург и сожалел только об одном, именно, что памятник Петра Великого стоит несколько в стороне от церкви, чем нарушается симметрия.

— Однако же, — сказал он окружающим его членам комиссии о построении собора, — я никогда не осмелюсь передвигать эту святыню и смею надеяться, что и потомки мои — тоже. Ко мне третьего дня пришел один молодой человек[19], которому я показывал город и указал на эту несообразность. «Я надеюсь, — сказал мне этот юноша, — что никто никогда

[19] Герцог Максимилиан Лейхтенбергский, за несколько дней перед тем помолвленный с великой княжной Марией Николаевной.

не вздумает передвинуть Петра Первого». Я тотчас понял, что он достоин войти в мою семью.

По случаю обручения герцога Лейхтенбергского с великой княжной Марией Николаевной появилась в «Северной Пчеле» статья об этом союзе, в которой доказывалось, что он основан не на политических соображениях и не на видах увлечения и усиления России, в чем она, при могуществе своем, не нуждается, а единственно на обоюдных чувствах и на произвольном сердечном выборе. Статья, разумеется, поднесена была на предварительный просмотр государя, и в одном месте, где сказано было: «наш великий и добрый государь», он вымарал оба эпитета.

В ночь с 9 на 10 ноября государь уехал с нареченным своим зятем герцогом Лейхтенбергским в Москву. Оттуда они воротились 18 числа, совершив путь частью в санях, частью на колесах. Государь приехал в первом часу пополудни, в тот же день перед обедом катался в санях с великой княжной Марией Николаевной, а вечером был в театре, хотя две ночи провел в дороге, и наконец, несмотря на все это, на следующее утро выслал мне огромные фолианты советских дел, отправленные в Москву, но там его уже не заставшие. Деятельность его, и физическая и моральная, всегда превосходила, казалось, силы обыкновенных людей.

17 декабря 1838 года государь имел удовольствие отпраздновать годовщину бедственного пожара Зимнего дворца особенным образом. Пожар начался в Фельдмаршальской зале, и потому, среди изумительной быстроты, с которой вообще наш феникс возрождался из своего пепла, велено было к 17 числу возобновить именно эту залу непременно в прежнем виде. В исполнение царской воли она воскресла опять как была год перед тем, и недоставало только люстр и окончательной политуры на стенах. В день годовщины собрались

туда вся царская фамилия, с небольшой свитой, строительная комиссия и отряд конной гвардии, занимавший тут караул в роковой день, при том же офицере (моем племяннике Мирбахе).

— Прошлого года, ребята, — сказал государь, приветствуя солдат, — вы в этот день были первыми свидетелями начавшегося здесь пожара. Мне хотелось, чтобы вы же были и первыми свидетелями возобновления этой залы в Зимнем дворце.

Потом был совершен тут благодарственный молебен с коленопреклонением.

III
1839 год

Родство всех председателей Государственного Совета — Привилегии Остзейских губерний — Кончина графа М. М. Сперанского — Мнение о нем императора Николая I — Капитан-лейтенант Васильев на дежурстве в халате — Портрет А. Бестужева (Марлинского) — Folle journee в Аничковом дворце — Концерт патриотического общества — Пожар в Обуховской больнице — Князья Юсупов и Щербатов — Три студента под арестом — Освящение возобновленного Зимнего дворца — Медаль рабочим и острота актера Григорьева — Генерал-адъютант Деллингсгаузен — Военный генерал-губернатор граф Эссен, опоздавший на пожар — Разговор о нервных людях — Дело о лаже в Государственном Совете — Спуск корабля «Россия» — Камергер Пельчинский в Петергофском маскараде — Просьба А. П. Ермолова об увольнении его из Государственного Совета — Кадет, просящийся в ссылку вместо отца — Присутствие наследника цесаревича в Государственном Совете — Д. В. Дашков — Болезнь великой княгини Ольги Николаевны — Празднование 14 декабря — Покупка подарков к Рождеству

В начале 1839 года все председатели в Государственном Совете были в родстве между собою. Князь Васильчиков, председатель общего собрания, граф Левашов, председатель департамента экономии, и Дашков, председатель департамента законов и исправлявший ту же должность в департаменте дел Царства Польского, были женаты на родных сестрах (Пашковых). В департаменте военном состоял председателем граф Толстой, их дядя, и наконец, в департаменте гражданском занимал эту должность Кушников, также близкий их родственник. Это дало повод одному шутнику сказать, что Государственный Совет преобразился в семейный совет.

* * *

Князь Васильчиков объяснялся с государем по бывшему перед тем в рассмотрении Комитета министров вопросу о

мерах к распространению в Остзейском крае русского языка; причем речь коснулась и привилегий этого края, которые, вместе со Сводом местных законов, должны были в то время подвергнуться окончательному рассмотрению. Васильчиков был русским в душе, однако русским благоразумным, и потому жарким защитником этих привилегий, освященных царским словом стольких монархов и, как завет предков и старины, дорогих тамошним жителям, всегда отличавшимся преданностью правительству и России.

— Что касается до этих привилегий, — сказал государь, — то я, и теперь и пока жив, буду самым строгим их сберегателем, и пусть никто и не думает подбираться ко мне с предложениями о перемене в них, а в доказательство, как я их уважаю, я готов был бы сам сейчас принять диплом на звание тамошнего дворянина, если бы дворянство мне его поднесло.

Потом, оборотясь к находившемуся тут же наследнику цесаревичу, он прибавил:

— Это я говорю и для тебя: возьми за непременное и святое правило всегда держать то, что ты обещал.

* * *

Предсмертная болезнь Михаила Михайловича Сперанского началась, собственно, еще в 1838 году, и хотя потом он несколько оправился и стал опять заниматься делами и выезжать, но полным здоровьем уже не пользовался до самой смерти, постигшей его вечером 11 февраля 1839 года. Во время первой болезни император Николай несколько раз его навещал, сложил с него ссуду, незадолго перед тем выданную ему из государственного казначейства для покупки дома, и наконец пожаловал его в графы.

Между тем в ту же первую болезнь князь Васильчиков[20] тайно объявил мне волю государя, чтобы, в случае кончины

[20] Ему был пожалован княжеский титул в один день с графским Сперанскому — 1 января 1839 года.

больного, немедленно запечатать его бумаги. Ссылаясь на это повеление, князь повторил мне то же самое и поутру 11 февраля, когда возобновившиеся припадки болезни уже отняли всякую надежду спасти жизнь Сперанского. Но вечером, в ту минуту, когда, по известию, что все кончено, я садился в карету, чтобы ехать в дом покойного, вдруг является ко мне фельдъегерь от Васильчикова с приглашением заехать прежде к нему. Причиной сего зова было сомнение князя, должно ли теперь приступать к опечатанию бумаг, ибо повеление о том дано было в первую еще болезнь Сперанского, и государь с тех пор мог переменить свою волю. В этом колебании он сел было при мне писать докладную записку, но потом, передумав, попросил меня лучше съездить к государю для скорейшего получения ответа. Меня тотчас ввели в кабинет (в Аничковом дворце).

— Знаю уже, к сожалению, зачем ты ко мне приехал, — сказал государь, — и сейчас писал к князю Иллариону Васильевичу, чтобы он передал тебе приказание запечатать бумаги покойного. И я, и ты, по близким к нему отношениям, и все мы понесли потерю ужасную, неизмеримую!

Потом беседа его, очень продолжительная, была вся, можно сказать, исполнена сочувствия к покойному, в разительную противоположность тому, что я видел после смерти графа Новосильцева. Не упоминая о том, что было сказано тут милостивого и лестного собственно для меня, при воспоминании, как именно через Сперанского я впервые сделался известным государю, отмечу здесь только другие главнейшие моменты.

— Сперанского, — говорил государь, — не все понимали и не все довольно умели ценить; сперва и я сам, может быть больше всех, был виноват против него в этом отношении. Мне столько было наговорено о его либеральных идеях; клевета коснулась его даже и по случаю истории 14 декабря! Но потом все эти обвинения рассыпались, как пыль. Я нашел в

нем самого верного, преданного и ревностного слугу, с огромными сведениями, с огромной опытностью. Теперь все знают, чем я, чем Россия ему обязаны — и клеветники умолкли. Единственный упрек, который мог бы я ему сделать, это чувство его к покойному брату; но и тут, конечно…

Государь остановился, не кончив своей мысли, в которой, вероятно, заключалось тайное, невольное оправдание Сперанского.

— А твое дело, — продолжал государь, — оставаться верным его школе: служи по-прежнему; не обращай внимания на то, что слышишь вокруг себя; иди своим путем, как велят честь и совесть; словом, действуй в духе и правилах покойного — и мы останемся всегда друзьями, и ты будешь полезен не только мне, но и Саше.

Была речь и о расстраивавшемся тогда все более и более здоровье князя Васильчикова, и о помощнике Сперанского, статс-секретаре Балугьянском (прежнем учителе государя):

— Я уже Бог знает как давно не видал моего Михайла Андреевича (Болугьянского), — прибавил он, — но слышу со всех сторон, что он совсем уже опустился, даже впадает в ребячество.

Бумаги Сперанского государь велел мне только запечатать, а для разбора их изъявил мысль назначить особую комиссию[21] (как было после князя Кочубея), предполагая в них особенную важность.

— В этих бумагах, — заметил он, — надо будет, вероятно, различить три эпохи: одну — до 1812 года и потом до кончины брата Александра; другая должна содержать в себе бумаги, относящиеся лично до меня и совсем не касающиеся службы: эти особенно важны (ближе на сей счет государь не

[21] Она была впоследствии составлена из статс-секретарей Дашкова, Танеева и меня.

изъяснился); наконец, в третий разряд пойдут его бумаги по вашему Совету, по законодательной части и проч. Все это надо будет подробно разобрать и многое, вероятно, придется мне взять к себе.

Потом, обращаясь еще несколько раз с особенным чувством к этой невозвратимой потере, государь сделал наконец как бы самому себе вопрос: кем бы можно было хоть сколько-нибудь заместить Сперанского?

— К вящему несчастию, — сказал он, — эта потеря застигла нас в ту минуту, когда так много еще оставалось нам с ним доделать. Польша, Финляндия, Остзейский край ждут еще своих сводов; уголовные наши законы необходимо требуют пересмотра, к которому мы было уже и приступили: кем я заменю во всем этом ум, знание и деятельность Сперанского? Покамест мысли мои останавливаются только на Дмитрии Васильевиче Дашкове[22]; он один кажется мне способным к этому делу, да и просто нет больше никого. Но сладит ли и он, возьмется ли даже за такой труд? Посмотрим: надо с ним переговорить, подумать…

Результат, который я вынес из этой аудиенции, состоял в том, что император Николай истинно, глубоко скорбел о Сперанском, как едва ли когда скорбел о другом из своих наперсников. Он чувствовал, как тесно связалось это имя с историей его царствования, как велико было содействие Сперанского к его славе, как высоко он стоял над другими нашими государственными людьми той эпохи. Если бы понадобились другие еще доказательства сокрушения государя, то они представлялись в достопамятной записке его к Васильчикову, о которой было упомянуто в разговоре и с

---

[22] Д. В. Дашков, в то время министр юстиции, действительно и был назначен на место Сперанского; но он умер в ноябре того же 1839 года. Преемником ему государь избрал графа Дмитрия Николаевича Блудова, заступившего сперва место Дашкова в министерстве юстиции.

которой встретил меня князь, когда я воротился к нему из Аничкина дворца. Я тут же попросил дозволения списать ее как величественнейшую эпитафию к надгробному камню покойного. Вот подлинные ее слова:

«Только что я это узнал от нашего почтенного Сперанского, и меня безмерно сокрушает эта невосполнимая потеря. Но Богу было угодно послать мне столь тяжкое испытание — остается только покориться. Надо немедленно послать Корфа опечатать бумаги. Остальное подождет».

Записка эта была подписана «Навеки Ваш» — как всегда подписывался император Николай в частных сношениях с князем Васильчиковым: «Tout a Vous pour la vie. N.».

Прибавлю здесь, что Сперанский умер 68 лет от роду. С ним угас начатый им род, с ним же угасло и пожалованное ему графское достоинство. Сын дел своих, он явился без предков и исчез без потомства![23] После него остались 2900 душ, дом, перед тем подаренный ему государем, и более 600 000 руб. (ассигнациями) долгу!

* * *

Император Николай, более в видах здоровья, чем для удовольствия, очень много хаживал пешком и во время длинных петербургских ночей прогуливался не только днем, но и прежде восхода солнца и по его захождении, притом не по одним многолюдным улицам, но и по отдаленным частям города.

Однажды поздно вечером он вдруг является на Адмиралтейскую гауптвахту, ведя за собою человека в шинели и в фуражке, вызывает перед себя караульного офицера и сдает ему приведенного с приказанием задержать его на гауптвахте

---

[23] Т. е. без мужского. Единственная его дочь была в замужестве за действительным тайным советником Фроловым-Багреевым.

впредь до приказания. Оказалось, что это был главный дежурный по Адмиралтейству, капитан-лейтенант Васильев, которому вздумалось прогуляться по Адмиралтейскому бульвару в фуражке и в халате, поверх которого была надета шинель. В таком виде он был встречен государем, который, узнав его при лунном сиянии, остановил и опросил его. Через час явился на гауптвахту флигель-адъютант, чтобы отвести Васильева к начальнику Главного морского штаба князю Меншикову в том самом виде, в каком его встретил государь.

Этот анекдот я слышал тогда же от командира гвардейских саперов Витовтова, которого батальон занимал в тот день караулы.

* * *

Известно, что Александр Бестужев, один из деятельных участников заговора, обнаружившегося событиями 14 декабря 1825 года, был сослан в Сибирь, а потом, переведенный рядовым на Кавказ, продолжал и во время ссылки писать повести, которые выходили в свет под псевдонимом Марлинского. Многие тогда восхищались произведениями его бойкого, хотя всегда жеманного пера, но никто, однако, не смел печатно поднять завесы с его псевдонима, и фамилии Бестужева в литературном мире, так же как и в мире политическом, давно более не существовало.

Вдруг, в 1839 году, в изданном книгопродавцом Смирдиным, уже после смерти Бестужева, сборнике под заглавием «Сто русских литераторов» при одной из оставшихся после него повестей, напечатанной с прежней вымышленной фамилией Марлинский, издатель приложил портрет автора с выгравированной под ним факсимильной подписью: «Александр Бестужев». Государь, до сведения которого это дошло, крайне разгневался, на что, конечно, имел полное основание: ибо таким образом черты и подпись государственного

преступника, умершего и политически и физически, увековечивались в потомстве, в виде правительства и как бы в насмешку над правосудною его карою. Обратились, натурально, прежде всего к цензору; но он, в отношении к выпуску помянутого портрета, сослался на разрешение, полученное им из III-го отделения Собственной его величества канцелярии, а по справке в III-м отделении оказалось, что разрешение дано было статс-секретарем Мордвиновым, который в то время управлял этим отделением. Государь, и прежде уже не жаловавший Мордвинова, приказал тотчас его отрешить и только по убеждениям главного его начальника, графа Бенкендорфа, это наказание было заменено увольнением от службы[24].

* * *

Император Николай был вообще очень веселого и живого нрава, а в тесном кругу даже и шаловлив (espiegle). С самых первых годов его царствования до тех пор, пока позволяло здоровье императрицы, при дворе весьма часто бывали, кроме парадных балов, небольшие танцевальные вечера, преимущественно в Аничковом дворце или, как он любил его называть, Аничкинском доме, составлявшем личную его собственность еще в бытность великим князем. На эти вечера приглашалось особенное привилегированное общество, которое называли в свете Аничковским обществом (la Societe d'Anitchkoff) и которого состав, определявшийся не столько лестницей служебной иерархии, сколько приближенностью к царственной семье, очень редко изменялся. В этом кругу оканчивалась обыкновенно Масленица, и на прощание с нею

[24] Вскоре затем Мордвинов был определен опять на службу Вятским гражданским губернатором и впоследствии назначен присутствовать в Сенате; но звание статс-секретаря никогда уже более ему возвращено не было.

в «folle journee»[25] завтракали, плясали, обедали и потом опять плясали.

В продолжение многих лет принимал участие в танцах и сам государь, которого любимыми дамами были: Бутурлина, урожденная Комбурлей, княгиня Долгорукая, урожденная графиня Апраксина, и позже жена поэта Пушкина, урожденная Гончарова.

В одну из таких «folle journee», которые начинались в час пополудни и длились до глубокой ночи именно в 1839 году, государь часу во 2-м напомнил, что время кончить танцы; императрица смеясь отвечала, что имеет разрешение от митрополита танцевать сколько угодно после полуночи; что разрешение это привез ей синодальный обер-прокурор (гусарский генерал граф Протасов) и что, в доказательство того, он и сам танцует. За попурри, когда дамы заняли все стулья, государь, также танцевавший, предложил кавалерам сесть возле своих дам на пол и сам первый подал пример. При исполнении фигуры, в которой одна пара пробегает над всеми наклонившимися кавалерами, государь присел особенно низко, говоря, что научен опытом, потому что с него таким образом сбили уже однажды тупей. Здесь кстати заметить, что император Николай рано стал терять волосы и потому долго носил тупей, который снял в последние только годы своей жизни.

14 марта был дан обыкновенный годичный концерт Патриотического общества, в котором исполнителями были одни любители и любительницы, без участия записных артистов. В нем должна была петь и супруга сардинского посланника графа Росси, прежняя знаменитая Зонтаг, не

[25] Впоследствии эти дни праздновались, обыкновенно также в присутствии царской фамилии, у обер-церемониймейстера графа Воронцова-Дашкова.

поступившая еще тогда вновь на сцену, и в этот вечер государь явил опять пример воодушевлявшего его всегда высокого чувства — предпочтения долга всем удовольствиям. Страстный почитатель таланта графини Росси, он перед самым выходом ее на эстраду оставил залу по первому докладу, что загорелось в Обуховской больнице, и от ожидаемого наслаждения поспешил — на пожар!

* * *

Князь Борис Николаевич Юсупов, сперва церемониймейстер высочайшего двора, потом гофмейстер и наконец, в последние годы своей жизни, бывший почетным опекуном, составлял в свое время нечто типическое в петербургском обществе. Кроме хорошенькой жены (урожденной Нарышкиной), одной из самых модных наших дам, которую очень любили и баловали и государь и императрица, несметное богатство, блестящее имя, разные причудливые странности и репутация ограниченного ума усвоили Юсупову какое-то исключительное положение в свете и дали ему особенный колорит, совершенно отличавший его от других наших вельмож — по крайней мере — петербургских. Он ничем не стеснялся в выражении своих мыслей и понятий — ни в свете, ни даже в разговорах с государем — и позволял себе такую непринужденную откровенность изъяснений, которой не спустили бы никому другому.

Одно время он совсем оставил службу, по неприятностям с князем Волконским, министром императорского двора, пользовавшимся всею доверенностию императора Николая. Года уже три спустя по выходе Юсупова таким образом в отставку государь спросил его, зачем он не поступает снова на службу и «долго ли станет еще блажить».

— До тех пор, государь, пока будет при вас Волконский.

— Ну, так подождем.

* * *

К числу наших вельмож-ветеранов, не блиставших гением, но служившим с честию и отличием во всех кампаниях, принадлежал князь Алексей Григорьевич Щербатов, человек, известный военными своими доблестями и притом добрый и любимый в обществе. Быв генерал-адъютантом еще во времена императора Александра, он с 1832 года состоял председателем генерал-аудиториата, как вдруг ему нанесли политический удар: другой, тоже александровский генерал-адъютант, князь Трубецкой, еще уступавший Щербатову по уму и не имевший его военных заслуг и репутации, был назначен членом Государственного Совета. Щербатов не скрыл своей досады и тотчас подал в отставку, которая была дана ему без всяких объяснений.

С тех пор прошло года три, и в продолжение их государь не переставал его отличать: он по-прежнему приглашался на все придворные балы, большие и малые, даже и на вечера, бывавшие в Аничковом дворце; но объяснений между тем все никаких не было, и государь обходился с ним как бы ничего не случилось, никогда даже самыми отдаленными намеками не вызывая князя к выражению причин, побудивших его оставить службу.

Во все салоны Щербатов приезжал во фраке, а во дворец — хотя и в генеральском мундире, но, в качестве отставного, без эполет; лето он проводил в своем имении, а на зиму возвращался в Петербург.

Часто видясь с ним в свете, мы встретились и на большом дворцовом бале 23 апреля (1839 года). Он объявил мне, что через день уезжает в деревню, где останется до глубокой осени, и просил не забывать его по случаю одного его процесса, производившегося тогда в Государственном Совете. Вдруг, спустя несколько дней, я читаю в газетах, что выехал из Петербурга «генерал от инфантерии князь Щербатов, шеф

Костромского пехотного полка». Что значила эта внезапная перемена после недавнего — можно сказать, накануне — свидания и разговора моего с отставным Щербатовым? Мне объяснил это уже потом князь Васильчиков, питавший к нему всегда особенную дружбу[26], и вот подробности дела, мало кому и в то время сделавшиеся известными.

За несколько дней перед сказанным балом был развод на площадке перед Зимним дворцом. Князь Щербатов имел надобность сказать что-то генерал-адъютанту Нейдгардту, и как солдаты стояли вольно, ружье у ноги, то, полагая, что государь еще не прибыл, он вошел в оцепление, куда допускаются одни только военные. Но государь был уже на площадке и, заметив Щербатова, послал военного генерал-губернатора сказать ему, что в статском платье тут никому не место. Встревоженный этим замечанием, Щербатов, но возвращении домой, поспешил написать к графу Бенкендорфу письмо, в котором изъяснил происшедшее недоразумение, прибавив, что без того никогда не отважился бы нарушить известных ему по прежней службе военных правил. На это ему отвечали в очень благосклонных выражениях, что и государь не подозревал никакого умышленного с его стороны нарушения порядка и что его величеству всегда приятно будет видеть князя на разводе, если он станет являться, по общему порядку, в мундире. За этою перепискою непосредственно следовал упомянутый мною выше придворный бал. Государь, увидев здесь Щербатова, сам подошел к нему и, повторив изустно написанное Бенкендорфом, сказал:

— Я знаю, что ты на меня дулся и все еще дуешься; напрасно: надо было тогда же объясниться, и все бы развязалось.

— Государь, я и был готов на такое объяснение, в случае, если бы вы изволили меня к себе призвать; но надежда моя

---

[26] Впоследствии сын Васильчикова женился на дочери Щербатова.

на это не сбылась, и в сознании, что я служил не хуже других, которые меня обошли, я не мог, при таком знаке нерасположения вашего величества, поступить иначе и должен был оставить службу.

— Ну, теперь это статья конченная, а в доказательство, что с моей стороны нет нерасположения, скажу тебе, что искренно порадуюсь, если ты опять пойдешь в службу, и буду только ждать первого твоего слова, чтобы дать тебе то место, которого пожелаешь.

Щербатов поклонился в молчании, чем и пресекся разговор; но на другое утро рано он приехал к Васильчикову за советом и наставлением, хотя и настаивал на том, что ему необходимо ехать по делам в свое имение и что он одурачится перед целым светом, если, дувшись три года, вдруг воротится опять, без всякой причины, к тому же самому, чем был прежде. Однако Васильчиков, пользовавшийся неограниченным над ним влиянием, вразумил его, что все это надо было высказать государю тут же; что теперь слишком поздно раздумывать и что, уклоняясь от вызова государя, он рискует впасть, уже навсегда, в совершенную немилость. И так Щербатов написал государю, что принимает с благодарностью милостивое его предложение и готов на всякую должность, какую его величеству угодно будет назначить — в эполетах или без эполет — лишь бы позволено ему было, по крайней его надобности, отлучиться теперь на некоторое время в деревню.

Вследствие того государь в ту же минуту велел написать о нем особое дополнение к отданному уже на тот день приказу, и таким образом 24 апреля Щербатов был уже снова генерал от инфантерии в эполетах, с почетным званием шефа Костромского полка, но без аксельбанта, потому что при императоре Николае александровские генерал-адъютанты, единожды оставлявшие службу, уже невозвратно теряли прежнее свое звание.

Впрочем, без определенных занятий князь Щербатов оставался недолго. 1 июля того же года исполнилось его давнишнее желание: он был пожалован членом Государственного Совета, а вскоре за тем, и именно 14 апреля 1844 года, государь утвердил его, после смерти князя Дмитрия Владимировича Голицына, в должности Московского военного генерал-губернатора, которую временно он исправлял с июня 1843 года. От этого важного поста князь Щербатов был уволен по болезни в мае 1848 года, за несколько месяцев до своей смерти, последовавшей 15 декабря того же года.

* * *

Три студента из уроженцев Остзейских губерний, только что поступившие в Петербургский университет, плохо знавшие по-русски и почти ни с кем и ни с чем еще не знакомые в столице, встретили на Невском проспекте государя в санях и, не зная его, не поклонились. Государь остановился, подозвал их к себе, назвался и внушил им, что если они и не знали его, то должны были отдать ему честь как генералу, велел всем трем идти тотчас на главную гауптвахту в Зимнем дворце. Там они пробыли несколько часов, в продолжение которых пообедали с караульными офицерами, а оттуда присланным за ними фельдъегерем потребованы были в Аничков дворец. При входе камердинер государя спросил, что едят они: постное или скоромное (это было в Великом посту) и, несмотря на ответ, что они уже поели, им подали целый обед, по окончании которого провели в кабинет к государю. Здесь он их порядком пожурил, сперва по-русски, а потом, видя, что они мало его понимают[27], по-немецки, и наконец, приняв совер-

[27] На вопрос одному, откуда он, тот отвечал: «Из университета», — и государь должен был объяснить ему уже по-немецки, что спрашивает: откуда он родом?

шенно отеческий тон, обнял, расцеловал и отпустил по домам.

* * *

В 1839 году с многознаменательным для христиан праздником Светлого Христова Воскресения соединено было, по поэтической идее императора Николая, торжество и другого еще рода: освящение давно восставших из пепла, менее нежели в полтора года, чертогов русского царя.

Накануне, в Великую Субботу, которая в этом году совпала с днем Благовещения (25 марта), освящен был дворцовый собор, а в самый Светлый праздник в нем уже совершались и «утренняя глубокая», и пасхальная обедня, со всем обычным блеском и великолепием придворного священнослужения.

Предварительно всех нас собрали в походную церковь Эрмитажа, уцелевшего, как известно, от пожара, а потом, у полуночи, оттуда двинулся крестный ход, в сопровождении царской фамилии и двора, через Шепелевский дворец прямо в собор, где немедленно началось богослужение. После обедни та же процессия пошла через все главнейшие залы до внутренних покоев, где государь с семьею своею раскланялись и удалились; всем же присутствовавшим, от мала до велика, числом более 3 тысяч человек, подано было на накрытых в огромных залах столах богатое разговенье, которого для публики во дворце никогда не бывает. Обыкновенного «христосования» с государем в эту ночь не было, но мы и так разъехались из дворца гораздо позже трех часов.

Ночное шествие царственной семьи в сопровождении блестящего двора, многочисленного духовенства с крестами и святою водою и огромного хора певчих по этим сияющим палатам, так недавно еще представлявшим одни обгорелые развалины, было в высшей степени величественно и поразительно. Запустение и пепел сменились ликующей жизнью;

пожиравшее пламя — огнями радости! В Белой зале процессия двигалась между двумя длинными рядами главных мастеровых, участвовавших в возобновлении дворца — большею частью русских мужичков с бородами и в кафтанах. Многие, кланяясь почти до земли, плакали. Государь казался чрезвычайно довольным и веселым.

По случаю этого дня выбита была особая медаль, на одной стороне которой красовалось царское слово «благодарю», а на другой находилась надпись: «Усердие все превозмогает». Три главные члена строительной комиссии: министр императорского двора князь Волконский, обер-шталмейстер князь Долгоруков и дежурный генерал Клейнмихель получили эту медаль, осыпанную брильянтами[28]; чиновникам, архитекторам, художникам и проч., всего двумстам, — пожалована золотая; наконец, всем мастеровым и рабочим, числом до 7000, роздана та же медаль серебряная. Ее установлено носить в петлице на Андреевской ленте.

В тот же день перенесены были торжественно из Аничкина дворца в обновленный Зимний знамена и штандарты гвардейских полков. Императорский флаг, знаменующий присутствие государя в столице и поднятый после пожара на Аничковом дворце, с этой же достопамятной ночи развился опять над Зимним. В час был развод в Михайловском манеже (по случаю лежавшего еще на улицах и на площади перед дворцом снега) и тут государь исполнил частью то, что прежде делал всегда ночью, т. е. перецеловался со всеми генералами и гвардейскими офицерами. За вечернею императрица целовалась, по обыкновению, с дамами. Мне рассказывал ульяновский священник, что вечером того дня возвращавшиеся из Петербурга в Петергоф драгунские солдаты остано-

---

[28] Долгорукову пожалована была еще Андреевская лента, а Клейнмихелю дан графский титул. Медаль Волконского стоила 40 тысяч, а каждая из остальных — 14 тысяч рублей, по тогдашнему счету, ассигнациями.

вили на дороге одного мастерового, уже украшенного новой медалью, расспрашивали его, разглядывали медаль и, с восторгом прикладываясь к ней как к иконе, кричали, что отдали бы последнюю копейку за царское «благодарю».

При всем том эта медаль не избежала и насмешек, раз даже публично, на театре. Актер Григорьев мастерски и совершенно с натуры передавал на сцене бородатых купцов и мещан и к мелким пьесам и фарсам, которые именно для него сочинялись в этом роде, подбавлял еще иногда и от себя. В самый год возобновления дворца поставлена была на сцену подобная безделка под заглавием «Купец третьей гильдии», и Григорьев, занимавший в ней первую роль, вставил с своей стороны следующий диалог, которого не было в оригинале.

Является купец с голубой ленточкой в петлице — сам Григорьев; между разговором один из его товарищей замечает это украшение и с любопытством спрашивает:

— Что это, верно, за Бородино?

— Нет-с, это так-с!

— Как так-с?

— Да так-с, по искусственной части.

— Что ж это значит?

— Да мы вывезли фунтиков тридцать мусору-с.

Хохот публики был, разумеется, неудержимый; но Григорьева послали придумывать другие, более пристойные остроты, на гауптвахту, где он просидел неделю.

После государь сам со смехом рассказывал, что при следующем представлении этой пьесы на вопрос: «Верно, это за Бородино?» — Григорьев отвечал: «Нет-с, это дело постороннее; мое почтение», — и ретировался со сцены.

* * *

Форейтор — тогда все ездили еще четвернею — генерал-адъютанта Деллингсгаузена (находившегося адъютантом при императоре Николае еще в бытность его великим князем)

при каком-то разъезде ударил жандарма, обращавшего его к порядку, плетью по лицу. Форейтора, разумеется, взяли в полицию, а Деллингсгаузен завязал переписку с полицейским начальством для оправдания своего человека. Все это крайне разгневало государя, и вслед за сим происшествием разнесли по всем домам в Петербурге печатное объявление за подписанием военного генерал-губернатора, что государь император, слыша с неудовольствием о неповиновении, оказываемом жандармам при разъездах, публичных церемониях, гуляньях и проч., повелевает жандармов и других полицейских чинов, расставленных по местам, считать наравне с военными часовыми, вследствие чего оказывающих им ослушание курьеров, форейторов и лакеев отдавать в рекруты без зачета.

Вскоре после того, при общем христосовании с военными в Светлое Воскресение, в Михайловском манеже, государь не поцеловался с Деллингсгаузеном и, отведя его рукой, сказал, что он «не целуется с нарушителями порядка».

Несчастие редко приходит одно. На второй день праздника Деллингсгаузен был дежурным, и на разводе лошадь под ним так разупрямилась, что лягнула государеву в грудь. Тут государь опять сказал, что не умеющему ездить верхом лучше бы ходить пешком.

Наконец, спустя два или три дня после того, Деллингсгаузен получил из Эстляндии известие о смерти его отца. Когда он по этому случаю стал проситься в отпуск для устройства своих дел, то государь, соизволив на его просьбу, пригласил его до отъезда к себе отобедать, и здесь последовало примирение — в выражениях, доказывающих, каким даром очарования владел император Николай.

— Тебе, — сказал он, — как вспыльчивому немцу, еще туда-сюда было разгорячиться; но мне, как хладнокровному русскому человеку, отнюдь уже этого не следовало, и я вполне винюсь.

* * *

В конце апреля 1839 года, в 3-м часу ночи, вспыхнул где-то пожар, на который государь приехал гораздо прежде военного генерал-губернатора графа Эссена. Он встретил опоздавшего словами:

— Ну, Петр Кириллович, мы порядком за тебя похлопотали и, благодаря Бога, свое дело сделали; теперь нечего уже беспокоиться: огонь дальше не пойдет.

* * *

Когда я благодарил государя за пожалованную мне Владимирскую звезду, он, между прочим, очень много распространялся в похвалах князю Васильчикову.

— Теперь двадцать два года, — говорил он, — что мы с ним знакомы, и я привык любить и уважать его, сперва как начальника, а теперь как советника и друга. Это самая чистая, самая благородная, самая преданная душа; дай Бог ему только здоровья!

На замечание мое, что князь всегда чувствует себя лучше под вечер, государь отвечал, что это бывает обыкновенно с людьми нервными.

— Вот, в доказательство, моя жена, которая утром никуда не годится, а к вечеру разгуляется и оправится.

* * *

Тогда как во всех государствах исключительным знаком ценности вещей приняты драгоценные металлы, у нас с 1812 года место их заступили представители только сего знака — ассигнации. Их единственно узаконено было принимать в казенные и банковские платежи; только на них должны были совершаться все сделки и условия, производиться купля и

продажа. Отсюда серебро перешло в ряд простого товара и вытеснилось из народного обращения, и у нас не стало и монетной единицы, потому что рубль сделался счетом воображаемым.

К этому неудобству вскоре присоединилось новое: признав ассигнации исключительной платежной монетой и поставив через то все состояния в необходимость приобретать их для взносов в казну и в кредитные установления, правительство в то же время извлекло из обращения почти целую треть их и не открыло ни одного нового источника свободного промена. Отсюда, при недостатке в ассигнациях, произошла зависимость народа от менял и спекулянтов, с чем вместе родилось и зло простонародных лажей, или счета на монету, так долго и так изнурительно тяготевшее над Россией, зло, которого пространству и объему теперь, когда все это живет лишь в предании, едва можно поверить.

Государственные платежные знаки, перейдя из орудий сделок и потребностей общежития в предмет торга, беспрестанно менялись в цене своей, и эти изменения были так многоразличны, что каждый почти город, каждое место имели свой особенный денежный курс ассигнаций, серебра, золота и даже медной монеты. Если при таком порядке вещей для сословий торгового и ремесленного существовала возможность возмещать потери от лажа, более или менее, на покупщиках, возвышая цену товаров и изделий, и если могли еще выигрывать на том откупщики и капиталисты, то все прочие классы — чиновники, жившие единственно жалованьем; владельцы имений, особенно оброчных; крестьяне, которым недоступны были тонкости курсовых расчетов; работники, получавшие поденную плату, и вообще простой народ — терпели ежедневно такие стеснения и потери, которые выразились наконец не только общим желанием благотворной перемены, но даже и общим повсеместным ропотом.

Высшее правительство давно уже обращало заботливое внимание на этот важный предмет; но как, с одной стороны, самое происхождение зла можно было отнести частью к долговременному бездействию министерства финансов, а им пятнадцать уже лет управляло одно и то же лицо — граф Канкрин; с другой же стороны, меры исправления требовали операции весьма сложной и огромной, может быть, даже перестроения всей нашей финансовой системы, то граф Канкрин долго и всемерно старался отклонить всякий коренной пересмотр вопроса, приписывая существование лажа только обстоятельствам временным, преходящим, и вообще смотря на этот предмет или, по крайней мере, стараясь, чтобы другие смотрели на него как на нечто маловажное и второстепенное.

В таком положении, при равнодушии и явном даже противодействии министра финансов, дело оставалось бы, может быть, еще долгое время неподвижным, если бы не явился вдруг равносильный министру боец, поднявший весь вопрос, так сказать, от его корня. Этот боец был князь Ксаверий Францевич Друцкой-Любецкий, до польского мятежа министр финансов Царства, а в это время — член нашего Государственного Совета, без всяких других служебных обязанностей. О личности его и влиянии на ход финансового нашего управления я уже говорил очень подробно в другом месте. Здесь же повторяю только то, что в течение двух лет (1837–1839) он один, без сторонней помощи, без канцелярии, даже без писца, совершил огромные работы, которые навсегда останутся памятником его знаний, трудолюбия и благонамеренного патриотизма.

Многие из его мыслей были опровергнуты, не столько, впрочем, по убеждению, сколько по трудности предписать исполнителю — министру финансов — такие правила, которым он вперед предсказывал решительную неудачу; но все же одному Любецкому Россия была обязана тем, что дело

двинулось с места; одна его настойчивость и энергическая деятельность заставили всех очнуться и самого министра невольно извлекли из апатии.

Окончательные соображения по делу о лаже происходили в конце 1838 и в 1939 году и в сем последнем были приведены в исполнение. Акты дела состояли из письменных мнений адмиралов графа Мордвинова и Грейга и действительных тайных советников князя Любецкого и графа Сперанского[29], из разных записок и замечаний министра государственных имуществ, шефа жандармов, сенатора графа Кушелева-Безбородко (впоследствии государственного контролера) и некоторых частных лиц и из возражений и объяснений министра финансов. Все это составило многие сотни листов и образовало пеструю смесь мнений и взглядов самых разнородных и частию совершенно противоположных, так что одна канцелярская работа — изготовление этих бумаг к слушанию — заняла продолжительное время.

Дело должно было рассматриваться в соединенных департаментах законов и экономии, состав которых, собственно для этого дела, был еще усилен тремя министрами: государственным канцлером графом Нессельродом, начальником Главного морского штаба князем Меншиковым и министром государственных имуществ графом Киселевым; но по какой-то странности, которой я не умел объяснить себе и в то время, к этому рассмотрению не было приобщено главного возбудителя всего вопроса — князя Любецкого. Департаменты посвятили этому делу тринадцать продолжительных заседаний и, несмотря на то, не могли прийти к единогласному заключению.

---

[29] Граф Сперанский скончался 11 февраля 1839 года, а мнение его было подано 7 числа того же месяца. Государственная деятельность не оставляла его и на краю гроба.

Меры, придуманные к отвращению на будущее время лажа, состояли в фиксации курса ассигнаций; в установлении размена их по этому курсу всякому желающему, от правительства; в принятии за монетную единицу серебряного рубля; в переложении затем всех казенных и частных платежей на серебро и в постепенном извлечении из обращения выпущенных дотоле ассигнаций, с заменой их сперва, отчасти, депозитными билетами, а потом, вполне, ассигнациями серебряными. Разногласие состояло в том, что министр финансов и с ним три члена полагали фиксацию курса начать с 1840 года и курс ассигнаций установить по среднему биржевому (он был в то время 349$^1/_2$ коп. за рубль), а девять членов предпочитали приступить к фиксации немедленно и курс определить по существовавшему в то время казенному, т. е. установленному для взноса податей (360 коп.). Сверх того, все вообще члены хотели назначить курс серебряной копейки в 4 медные, а министр финансов требовал назначения ее курса в 3 $^1/_2$ коп.

Составленный на сих основаниях огромный журнал был внесен в начале июня в общее собрание Государственного Совета и там раскрыт для всех тех членов, которые желали предварительно с ним ознакомиться. Сами заседания в общем собрании Совета, по изъявленному государем желанию видеть все оконченным до вакантного времени (оно должно было начаться 15 июня), были назначены чрезвычайные, сперва 10-го и вслед за тем опять 12 июня. Каждое продолжалось часов по пяти, и здесь повторилось опять то же самое разногласие, какое было в соединенных департаментах.

Граф Канкрин, изменив несколько первоначальную свою мысль, именно предполагая курс ассигнаций вместо установления по среднему биржевому за 1839 год, извлечь из бывшего с 1 мая 1838 года по 1 мая 1839 года, давал разуметь, что он этот вопрос считает за вотум доверия и что если его предложение не пройдет, то он бросит министерство. Несмотря на

то, после продолжительных и довольно беспорядочных прений с Канкриным согласились только 7 членов, а 17, в числе их и председатель князь Васильчиков, приняли мнение, имевшее за себя большинство и в департаментах. Хотя между тем наступили уже вакации, но назначено было вновь собраться 19 июня, с одной стороны, для подписания журнала, с другой — для выслушания проекта манифеста, который надлежало представить государю вместе с журналом, на случай утверждения им мнения большинства.

Этот проект, вместе с советской меморией, я отослал к государю 23 числа; но прошло несколько дней, а бумаги все не возвращались. Такое замедление тотчас дало повод к разным слухам. Говорили, что государь не желает принять решение такого важного и щекотливого дела на себя лично; что при убеждении в правильности мнения большинства он останавливается кончить дело против министра, что он соберет особый Комитет перед своим лицом и т. п. На самом же деле было не совсем то.

Подстрекаемый ли откупщиками, или движимый честолюбием и упорством, граф Канкрин в то же время, как от меня была отправлена советская мемория, послал государю личную от себя записку, в которой предлагал для соглашения происшедшего разногласия: 1) непременный курс установить в 350 коп., обнародовав и введя его немедленно; но курс податной, как уже объявленный на 1839 год в 360 коп., оставить в сем размере по 1 января 1840 года, для всех приходов и расходов; 2) на сем основании, с некоторыми другими еще, впрочем маловажными, переменами, завершить дело между ним, Канкриным, Васильчиковым и мною окончательным соглашением в редакции манифеста. Государь, с своей стороны, отозвался (в собственноручной резолюции), что тем более доволен сею мыслию, что для соглашения мнений именно ее сам хотел предложить Совету; почему и предоставляет министру соответственно тому распорядиться. Но

как скоро эта весть дошла до князя Васильчикова, он пришел в сильное раздражение.

— Не быть, — повторял он мне и потом самому Канкрину, — этому без нового рассмотрения опять в Совете. Теперешняя мысль совсем новая, средняя между бывшими там мнениями; она идет не от государя, а от министра, и потому порядок требует предварительного ея обсуждения, которого я никак не намерен брать на себя лично. Пока есть Совет, нельзя им так играть, и министр не вправе самовольно забегать к государю с своими предложениями по делам, решенным в Совете; председатель же должен по таким делам принимать повеления от государя непосредственно, а не через министра.

Словом, князь поехал в Петергоф и возвратился с известием, что государь приказал «сделанное министром новое предложение рассмотреть в Совете и представить его величеству о заключении оного». Вследствие сего разосланы были повестки о назначении собрания Совета на 30 июня, в полдень, так как государь изъявил желание подписать манифест непременно 1 июля, т. е. в день рождения императрицы. Но тут разгневался, в свою очередь, граф Канкрин и при свидании моем с ним накануне заседания разлился передо мною обыкновенными своими фразами.

— Это есть величайшее оскорбление самодержавной власти: государь изъявил уже однажды свою волю, а его заставляют теперь передать ее опять на суд Совета. Совет — место совещательное, куда государь посылает только то, что самому ему рассудится, а тут из Совета хотят сделать камеры и место соцарствующее, ограничивающее монарха в его правах, но этому не бывать — по крайней мере — пока я тут, — и тому подобные родомондаты и брани на Совет, на которые он никогда не скупился ни перед приятелями, ни в публике.

Вместе с тем граф объявил мне, что именно на 30 июня, в 11 часов, ему назначена аудиенция у государя (переехавшего

в это время из Петергофа на Елагин) и потому он, может быть, несколько опоздает в Совет, где, впрочем, «ему нет охоты слушать коммеражи этих господ». Сквозь всю его беседу просвечивало, однако, из-под личины какой-то защиты прав самодержавия — явное опасение, что и новое его предложение будет Советом отвергнуто. То же опасение было, очевидно, и поводом к попытке его кончить дело помимо Совета.

Между тем, 30 июня, к определенному времени, Совет собрался в полном комплекте. Но в ту самую минуту, как князь Васильчиков готовился открыть заседание предложением новой мысли Канкрина к дальнейшему обсуждению, является фельдъегерь с следующей собственноручной запиской к нему государя: «Желательно мне, чтоб принято было среднее между двух мнений, и полагаю, определив курс в 350 коп., ныне же издать о сем манифест с нужными переменами, податной же курс оставить до 1-го января 1840 года». Князь обомлел. Весь его план действия, все, чего он достиг у государя, было разрушено и, вместо предмета к рассуждению, оставалось объявить Совету только высочайшую волю к исполнению. И все это было, очевидно, плодом стараний Канкрина, воротившегося от государя в одно почти время с фельдъегерем!

После жаркой с ним тут же, в другой комнате, сцены, при которой Канкрин старался уверить, что он нисколько не причастен к последовавшей резолюции, Васильчиков открыл заседание прочтением ее, и потом, когда, на его вопрос, все члены признали, что в ней выражена уже прямо воля его величества, требующая одного безмолвного исполнения, Совет перешел к второстепенным подробностям, которые пройдены были очень легко и скоро, так что все заседание продолжалось менее часа. Неудовольствие было общее, потому что многие из членов готовились возражать против означенной средней меры, если б ее предложили от имени министра на суд Совета.

Состояние духа Васильчикова в особенности было таково, что я боялся поражения его нервным ударом. Обманутое желание лучшего; сокрушение, что государь принял лично на себя решение такого важного, жизненного вопроса; огорченное самолюбие; видимое торжество министра финансов; наконец, сетование на наговоры последнего против Совета — все это вместе окончательно потрясло последние силы слабого старца. Вечером, в 8 часов, Совет опять собрался для подписания журнала, который я успел к тому времени приготовить. Потом мне надлежало немедленно отослать к государю меморию и переделанный проект манифеста; но Васильчиков отозвался, что хочет на другой день, т. е. 1 июля, сам везти все эти бумаги к государю.

Сколько я ни убеждал его, по чувству преданности к нему, не делать этого, когда самой вещи пособить уже нельзя, он остался при своем и только уже в полночь, «обдумав хорошенько дело» (как мне писал), выслал опять все бумаги обратно для представления их обыкновенным порядком. Это могло быть исполнено мною, разумеется, уже не прежде следующего утра — и государь тотчас все подписал.

После было объяснение, и письменное и словесное. Первое заключалось в самой лестной и нежной французской записке, в которой государь, называя Васильчикова, по обыкновению, «дорогим другом» (cher ami), благодарил его за окончание этого важного и трудного дела и приписывал весь успех главнейше его содействию и усилиям. Объяснение словесное (князь, отправляясь к государю на Елагин, разъехался с помянутой запиской) было, кажется, довольно жаркое. Донося, с какой готовностью и безмолвной покорностью члены Совета приняли желание государя, вопреки личному их убеждению, и признали его тотчас за положительное изъявление его воли, хотя оно и не было прямо облечено в форму высочайшего повеления, князь особенно настаивал на том, сколько преступны намерения и действия людей, старающихся

внушить своими наговорами подозрение и недоверие к Совету; было говорено, по-видимому, и многое другое, что возбудило отчасти неудовольствие государя.

— Государь! — сказал тогда Васильчиков. — Кой-час (любимое выражение князя) вы начинаете гневаться, я перестаю говорить. Вы сами поставили меня на такую степень, где откровенность перед вами есть мой долг: долг этот я свято исполняю теперь, как и всегда привык исполнять его в 48-летнюю мою службу.

Впрочем, по рассказу князя, к концу свидания они были опять на мирной ноге, и все окончилось новыми уверениями во всегдашней дружбе и уважении. Манифест о лаже и принадлежащий к нему указ о депозитной кассе, подписанные 1 июля 1839 года, были обнародованы Сенатом на другой же день. Перемена монетной системы не могла обойтись без некоторых судорожных колебаний в народе и отозвалась на всех сословиях. Всем нам пришлось учиться новому счету денег, а никакая школа не обходится без дурных учеников.

Первым результатом новой системы было переложение всех счетов на серебро, операция также весьма трудная и сложная, но которая совершена была вполне к концу того же 1829 года. Дальнейшим последствием ее, от установления слишком большой монетной единицы, было, к сожалению, непредвиденное тогда возвышение цен на все предметы; но по крайней мере, народ увидел, как говорится, свет Божий и перестал быть жертвой спекулянтов и ажиотеров. Простонародные лажи были навсегда истреблены.

Того же 1 июля князь Любецкий получил алмазные знаки к ордену св. Александра Невского — знак внимания, тем более его польстивший, что в этот день не было никаких других наград по гражданскому ведомству.

Спустя несколько дней государь, увидясь с графом Киселевым, сказал ему:

— Я очень радуюсь последнему вашему заседанию: оно поставило в надлежащую ясность мои сношения с Советом и показало, как мы должны друг друга понимать.

* * *

5 июля спущено было в Петербурге, в присутствии всей царской фамилии, новое огромное судно, 120-пушечный линейный корабль «Россия». Для постройки судов подобного размера нет или, по крайней мере, тогда не существовало здесь соответственных доков, и по воле государя этот корабль был построен в таком доке, где между его сторонами и ребрами корабля пустоты не более нескольких вершков. Так как поэтому при спуске угрожала очевидная опасность и судну, и долженствовавшему находиться на нем экипажу, то посему наряжена была особая комиссия, которая решила, что «спуск возможен, но сопряжен с чрезвычайным риском». Несмотря на это, государь захотел и — совершилось! «Россия» сошла со стапелей лучше всех прежде строившихся кораблей, а экипаж, спустившийся на ней между жизнью и смертью, был примерно награжден.

* * *

Поляк, камергер Пельчинский, служивший по министерству финансов и известный изданием нескольких брошюр, преимущественно политико-экономического содержания, был на Петергофском маскараде 11 июля дежурным при великой княгине Марии Николаевне, незадолго перед тем вступившей в брак с герцогом Лейхтенбергским. Она послала его пригласить на польский австрийского посла графа Фикельмона, с которым разговаривал в это время государь. Пельчинский, подойдя к послу, сказал ему: «Герцогиня Лейхтенбергская просит вас, господин граф, сделать ей честь

танцевать с нею полонез». Едва только Фикельмон удалился, государь вскричал: «Знайте, сударь, что в России нет герцогини Лейхтенбергской, а есть ее императорское высочество великая княгиня Мария Николаевна!»

И затем, когда Пельчинский стал на месте, как пораженный громом, государь, оборотясь к близстоявшим, сказал:

— Вот какими людьми меня окружают; надеюсь, однако, что этот не будет хвастать моим разговором с ним.

Министру императорского двора велено было сделать Пельчинскому строгий выговор и на будущее время не наряжать его к придворным дежурствам. Вскоре после того было годичное представление через Комитет министров о наградах по министерству финансов. Государь утвердил все и только Пельчинского, который был представлен в статские советники, собственноручно исключил из проекта указа.

* * *

Однажды в марте 1839 года, прохаживаясь по Английской набережной, я встретил государя, шедшего тоже пешком. Остановив меня шутливым вопросом: «Откуда изволите шествовать?» — он прибавил:

— А я скажу тебе преинтересную вещь: я сейчас отослал к князю Иллариону Васильевичу письмо, полученное мною от одного из ваших членов, который просится вон из Совета, приводя в причину, что не чувствует себя способным к этому званию. Предоставляю тебе отгадать, кто сей господин?

С этими словами государь хотел уже идти далее, но я успел назвать Алексея Петровича Ермолова.

— Да, — отвечал он, — вы угадали, — и, отойдя уже несколько шагов, прибавил: — вы попали в самую точку.

Смышленость или догадка моя в этом случае нисколько не была удивительна. Генерал Ермолов, по оставлении им Кавказского края и после жестокого его слова о своем преем-

нике и о начальнике главного штаба[30], совершенно удалившийся с политического поприща и живший постоянно в Москве или в своей подмосковной, на зиму 1837–1838 года приехал в Петербург и здесь вдруг стал постоянно присутствовать в заседаниях Государственного Совета. Каким образом это сделалось, не знаю, но едва ли по доброй воле; по крайней мере, он всем жаловался на неприятность вынужденного своего пребывания в Петербурге и, уезжая опять на лето в Москву, самому мне говорил, что нарочно избегает прощания с государем, чтобы не подпасть затруднительному вопросу: когда он думает воротиться в Петербург?

— Чувствую, — прибавил он при этом разговоре, — что я здесь совсем лишний человек: ко двору не гожусь, а в Совете совсем бесполезен. Говорю это вам вовсе не для того, чтобы напроситься на комплимент: я отжил свой век!

Действительно, в Совете он никогда не возвышал голоса и даже большую часть времени дремал. Соображая все это, зная вообще характер Ермолова и слышав о приезде его опять в Петербург (в Совете в этот раз мы его еще не видали), я без труда мог догадаться, кого разумел государь в своем рассказе.

Письмо Ермолова было весьма странного содержания. Намекнув, с одной стороны, на ничтожность тогдашнего личного состава Государственного Совета, он, с другой, изъявлял удивление свое «благости государя, уполномочивающего нескольких избранных подданных разбирать и оценивать существующие законы и сочинять новые, с предоставлением себе одного утверждения их мнения» и затем заключал просьбой об увольнении его от звания члена сего Совета, как превышающего его сведения и способности. Государь, прислав письмо к князю Васильчикову, в первом порыве неудовольствия приказал, чтобы оно предложено было

---

[30] «Посмотрим, как Россия выедет на Ваньках!» Известно, что и граф Дибич и князь Паскевич оба были Иваны.

общему собранию Государственного Совета, которому надлежит постановить свое о нем заключение, со справкой, бывали ли прежде когда подобные случаи?

Князь, всегдашний оберегатель достоинства Совета и вместе очень не любивший Ермолова, поехав к государю, объяснил, что посредством такой меры первый достиг бы вероятной своей цели: произвести шум и соблазн; что поэтому лучше, не давая делу гласности и не увольняя Ермолова в отставку, объявить ему, что он волен жить где захочет и делать что ему угодно. Князь успел в своих убеждениях, и вследствие того Ермолову было ответствовано, через военного министра, что государь назначил его членом Государственного Совета, имев в виду долговременное его управление обширным и важным краем и, следственно, предполагая в нем соединение сведений и опытности по всем частям администрации и законодательства; но как теперь он сам сознается в неимении нужных для сего звания способностей, то ему и предоставляется полная свобода присутствовать или не присутствовать в Совете, по его усмотрению.

Вследствие этого отзыва Ермолов вскоре уехал в Москву, не быв допущен перед отъездом к личному с государем свиданию. Позже, в том же 1839 году, он присутствовал на знаменитых Бородинских маневрах и во время последнего их момента, изображавшего самую битву, находился, вместе с князьями Михаилом Семеновичем Воронцовым и Дмитрием Владимировичем Голицыным, при государе, который много разговаривал с ними о подробностях сражения. Но в Государственном Совете, сохраняя по-прежнему звание его члена, он никогда уже более не заседал.

* * *

При представлении государю выпущенных из кадетских корпусов молодых офицеров один из них, когда дошла до него очередь, выступил вперед и сказал, что имеет просьбу.

— Говори, что такое?

— Государь! Отец мой за такую-то вину осужден в Сибирь на поселение: он стар и отец семейства, а я молод и одинок — позвольте мне идти за него.

Государь с чувством потрепал его по плечу:

— Ты добрый сын: и ты и отец твой останетесь у меня в памяти!

Дело велено было пересмотреть и вновь доложить.

* * *

В ноябре император Николай объявил князю Васильчикову о желании своем, чтобы наследник цесаревич присутствовал в Государственном Совете, но на первое время без голоса, только чтобы слушать и учиться. К этому он прибавил, что так как заседания Совета бывают по понедельникам — русский черный день, — то ему не хотелось бы, чтобы наследник начал посещать Совет именно с этого дня. И точно, как бы по желанию государя, случилось, что понедельник 20 ноября пришелся в день табельный, и оттого заседание было отложено на четверг, 23 числа.

Мы долго думали с князем Васильчиковым о том, как написать высочайшее повеление, которое известило бы публику, что наследник будет присутствовать в Совете без голоса; но государь рассек этот узел, повелев, чтобы его воля по этому предмету объявлена была Совету князем просто на словах. Наконец, для приема наследника запрещен был и всякий церемониал. Все ограничилось общим оповещением всех членов, которые, в том числе и великий князь Михаил Павлович, съехавшись благовременно, ожидали августейшего гостя в аванзале, тогда как я встретил его на пороге советского помещения.

Государь наследник прибыл в сопровождении князя Васильчикова, принца Ольденбургского и князя Волконского и,

по приказанию государя, занял то место, которое занимал при посещениях Совета сам его родитель, т. е. между докладчиком и председателем департамента законов. Потом Васильчиков, встав, сказал, что его величество велел ему объявить Совету словесно, чтобы государь наследник цесаревич присутствовал в нем, не принимая, впредь до времени, участия в решении дел. Вслед за тем начались чтения журналов и доклад дел в обыкновенном порядке.

* * *

Дмитрий Васильевич Дашков, преемник графа Сперанского в званиях главноуправляющего II отделением Собственной его императорского величества канцелярии и председателя департамента законов, быв назначен в эти должности в феврале 1839 года, занимал их очень недолго. Уже в конце августа того же года, при открывшемся у него сильном кровотечении горлом, врачи предсказали, что оно будет иметь исходом чахотку или водяную, и что больной, при расстроенном прежними недугами здоровье его, не будет в силах перенести этой болезни. С тех пор Дашков уже не выздоравливал. Государь навестил его 20 ноября, а в ночь с 25 на 26 его уже и не стало.

Скончавшийся в цвете мужских лет, на 52-м году, Дашков оставил мало людей, которые его любили; но все, даже имевшие действительные причины его не любить, питали к нему невольное уважение.

В царствование императора Александра он занимал должности советника нашего посольства в Константинополе и потом члена совета комиссии составления законов; но настоящая роль его на государственном поприще началась уже при императоре Николае, познакомившемся с ним через его друга графа Блудова, которого самого свел с императором Карамзин.

Человек с высоким образованием, литературным и ученым, с светлым и обширным умом, в котором было много иронического воззрения на жизнь, с прямодушием, обратившимся у нас в пословицу, с увлекательным даром слова, ставившим его, несмотря на заикание, в ряд истинных ораторов, наконец с прекрасным пером, уступавшим разве только перу Сперанского, Дашков соединял в себе все качества, чтобы быть полезным, и при всем том принес очень мало существенной пользы.

Как, с одной стороны, высокие его достоинства парализовались непреоборимой, классической леностью, останавливавшей все добрые начинания и не допускавшей довести что-либо до конца, так, с другой, вся пленительность его исчезла под оболочкой недоступной заносчивости, высокомерия, редко свойственного людям гениальным, и совершенной дикости или нелюдимости — плода, частью, той же физической и моральной лени, а частью, думаю, презрения к тем пигмеям, посреди которых осудил его жить наш век посредственности.

Проходили дни, недели, даже месяцы, в продолжение которых Дашков сидел или, лучше сказать, лежал в своем кабинете, запершись ото всех, даже самых приближенных, погруженный в чтение романов или других произведений легкой литературы, в полной апатии к делам и к людям. Привычки считаться с мнением общества для него не существовало: он пренебрегал всеми обыкновенными приличиями общежития, не отдавал никогда никому визитов, принимал у себя, даже людей самых значительных, не иначе как с величайшими затруднениями, резко шел наперекор всем мнениям, не совпадавшим с его собственным, не щадил ничьего убеждения и вообще, в нашей придворной и светской жизни поставил себя безнаказанно в какое-то исключительное, ни от кого не зависимое положение. Его не видывали нигде по месяцам, и вдруг он приедет в Государственный Совет, прогремит

сильной, красноречивой речью, увлечет за собою всех слушателей и потом запрется опять в свой кабинет — отдыхать за романами. В десятилетнее почти управление министерством юстиции он был часто превосходным судьей и юристом, но никогда не был хорошим администратором, еще менее законодателем, потому что то и другое требует труда ежедневного, постоянного, усидчивого, а к такому труду Дашков не был ни склонен, ни способен. Судебная часть нисколько в его управление не поднялась.

Местные и высшие суды, канцелярия сената — все осталось при нем как было, если не сделалось еще хуже; порядок делопроизводства нисколько не облегчился и не ускорился; беспорядки, злоупотребления, лихоимства также нимало не уменьшились и, при неприкосновенной чистоте самого министра, все кругом его брало более чем когда либо; наконец, законы наши, как собственно юридические, так и по судебной администрации, не были им подвинуты ни на шаг вперед: он все что-то обещал, что-то сулил в будущем и ленивое бездействие свое прикрывал одними громкими словами. Министр юстиции, по своему званию и кругу действия, должен быть самым популярным из всех министров, а Дашков, напротив, недоступностью, холодностью и высокомерием запугал и отвратил от себя всех, больших и малых. Наконец, в девятимесячное председательство свое в департаменте законов, быв почти все время болен, он, естественно, не мог ничего сделать, а во II отделении даже решительно ни за что не принимался.

Здоровье его, всегда шаткое, в особенности расстроилось после внезапной смерти старшего его сына, умершего в 1838 году, лет 8 или 9, в одни сутки. Сам он, после долгих страданий, угас тихо, потребовав книги еще за полчаса до смерти и изъявляя желание, чтобы наступающее утро было светлое и ясное и дало ему возможность прокатиться. Потеря его, во всяком случае, была потерей государственной, если не

столько по тому, что он действительно был, то по тому, чем он мог бы быть.

Мое личное знакомство с ним началось еще в прошедшее царствование, когда и он и я были политически совершенными ничтожностями; но особенно скрепилось оно и даже превратилось в близкую связь, когда я в 1831 году был назначен управляющим делами Комитета министров и таким образом был поставлен в ежедневные с ним служебные сношения. Его дверь, почти для всех герметически закрытая, мне всегда была отворена; он не отказывал мне никогда в совете и помощи, и, проводив у него нередко по часам в непрерывном разговоре, я всегда восхищался его умной, живой, часто глубокомысленной беседой. Не менее очаровательны были и частные его записочки, которых сохранилось у меня несколько сот: почти каждая содержала в себе какую-нибудь оконченную мысль, и все были образцом слога и даже почерка.

* * *

В конце 1839 года великая княжна Ольга Николаевна, не бывшая еще тогда в супружестве, впала в болезнь, принявшую самый опасный характер. Врачи не раз отчаивались в ее жизни, и только на 28-й день последовал решительный кризис, с которого началось и постепенное, хотя очень медленное, выздоровление. Стоявший во главе многих врачей при ее лечении лейб-медик Маркус с благоговением рассказывал мне о попечениях и заботливости императора Николая Павловича во время этой болезни. Не довольствуясь семью или восемью посещениями в течение дня, он часто и по ночам подходил к дверям больной и со слезами прислушивался к болезненным ее стенаниям.

— Когда, — продолжал Маркус, — при наступлении 28-го дня я объявил, что ожидаю в продолжение его благотворного кризиса, он почти целые сутки не отходил от постели и после

моих слов, что благодаря Всевышнему опасность миновала, тотчас хотел поднести великой княжне давно приготовленный им тайно от нее подарок — две драгоценные жемчужины Sevigne. Опасаясь, однако же, для едва спасенной от смерти всякого волнения, я не позволил этого сделать, и тогда он целую неделю носил свой подарок при себе в кармане, выжидая минуты, когда я сниму мое запрещение. Впоследствии, когда больная уже стала оправляться, я неоднократно был свидетелем, как государь стоял у ее кровати на коленях и кормил ее из своих рук, строго наблюдая, чтобы не перейти за предписанную мною меру в пище.

* * *

Со времени происшествий 14 декабря 1825 года император Николай неизменно праздновал их годовщину, считая всегда это число днем истинного своего восшествия на престол. Все лица, принимавшие прямое или косвенное участие в подвигах достопамятного дня, были собираемы ко двору, где — в малой церкви Зимнего дворца или в церкви Аничкова, совершалось благодарственное молебствие, при котором, после обыкновенного многолетия, были возглашаемы сперва вечная память «рабу Божию графу Михаилу (Милорадовичу) и всем, в день сей за веру, царя и отечество убиенным», а в заключение — многолетие «храброму всероссийскому воинству». Затем все присутствовавшие допускались к руке императрицы и целовались с государем, как в Светлый праздник. Много лет сряду государь приезжал еще в этот день в Конногвардейский и в Преображенский полки, которые, как известно, прибыли первыми на площадь к охранению правого дела, и эти царственные посещения он прекратил тогда лишь, когда в составе упомянутых полков не осталось уже

никого из ветеранов 14 декабря[31]. В прежнее время в это число бывал всегда и маленький бал в Аничковом дворце.

* * *

Перед праздником Рождества Христова в 1839 году государь неожиданно зашел в английский магазин и в известную тогда кондитерскую a la Renommee — купить подарки близким. В английском магазине, хотя он и накупил там немало, ничто особенно его не соблазняло. Он находил, что все ему показываемое есть уже у императрицы, и, уходя, поручил хозяину (Плинке) передать великой княгине Елене Павловне, когда она приедет, его упрек в неаккуратности, потому что она опоздала к условленному между ними часу свидания. Кондитерская a la Renommee более его удовлетворила, и он купил в ней множество вещиц, в том числе статуйку славившейся у нас в то время французской актрисы Бурбье.

[31] При этих посещениях государь обыкновенно спрашивал, сколько остается еще в полку из людей, бывших в его рядах 14 декабря 1825 года. В 1839 году в Конной гвардии, как рассказывал мне полковой командир Эссен, считалось их всего уже только 11 унтер-офицеров и 8 рядовых.

IV
1840 год

Римско-католический митрополит Павловский на дворцовом выходе — Расправа с будочником и извозчиком — Девиз на гербе князя Васильчикова — Император Николай на публичных маскарадах — Дело калмыков в Государственном Совете — Капитан Шульц — Дело о дворовых людях — Секретный комитет для обсуждения управления финансовой частью по поводу болезни министра Канкрина — Рассмотрение положения о товарищах министров в особом комитете — Подробности пожалования аренды князю Васильчикову — Братья Пашковы — Мнение императора Николая о Государственном Совете и об Европе — Дело в комитете о распространении на западные губернии общих русских законов — Созвание князем Васильчиковым в отсутствие государя и без его разрешения экстренного собрания министров по поводу повсеместного неурожая в России и беспорядков, от того происшедших — Кокошники придворных дам

Митрополит римско-католических церквей в России, при дворцовых выходах в торжественные дни, всегда видел царскую фамилию и был ею видим, наравне с другими особами, имеющими приезд ко двору, т. е. при шествии ее через парадные залы. Но в первый день нового, 1840 года, занимавший тогда эту должность Павловский по окончании литургии подошел к государю, к общему удивлению, в самой церкви, вслед за нашими архиереями и прочими членами Синода. Такое нововведение произвело неприятное впечатление на умы нашего духовенства.

Киевский митрополит Филарет при свидании со мною вскоре после того изъяснялся об этом как о вещи совершенно неслыханной и неожиданной, которую, по его мнению, можно было приписать только особенной протекции к римско-католическому духовенству герцога Лейхтенбергского, незадолго перед тем вступившего в брак с великой княгиней Марией Николаевной. Дошло ли это неудовольствие до

государя, или по другим причинам, только подобное приравнение в православном храме главы римско-католического духовенства с нашими иерархами впоследствии никогда уже более не повторялось.

* * *

Во время пребывания императора Николая в Петербурге обер-полицеймейстер ежедневно, в час, являлся к нему с донесениями и за приказаниями. Раз, прочитывая при такой аудиенции дневную записку о случившихся накануне происшествиях, государь спросил: дошло ли до полиции сведение о собственных его в тот день похождениях? На отрицательный ответ он рассказал, что во время вечерней прогулки (это было в декабре, следственно, в ночную темноту) встретил ехавшего в извозчичьих санях будочника. И последний, и извозчик спорили и кричали во весь голос и, завидев офицера (т. е. неузнанного ими или им неизвестного государя), обратились к нему с просьбой их рассудить.

Дело состояло в том, что извозчик проезжал мимо будки погруженный в сон, что заставило бдительного стража разбудить его, но разбудить по-полицейски, т. е. толчками в бок, а это так не полюбилось очнувшемуся извозчику, что он, с своей стороны, стал отвечать кулаками; конец же драмы был тот, что они ехали на расправу к ближайшему квартальному надзирателю.

— Не знаю уж, — прибавил государь, — распорядился ли я в точную силу Городового положения, но поступок извозчика показался мне нарушением дисциплины и вместе двойным нарушением порядка, так что, выдав себя за принадлежащего тоже к полиции, я велел будочнику тотчас отвезти извозчика к частному приставу, уже не на расправу, а просто для наказания.

* * *

Известно, что знаменитая французская фамилия Монморанси — из первых аристократов в христианском мире — имеет в своем гербе древний девиз: «Душа моя принадлежит богу, тело — королеве, а честь — мне самому».

Когда Васильчиков возведен был в княжеское достоинство и вместе с дипломом надлежало составить для него герб, князь советовался о девизе в гербе со Сперанским, который предложил ему принять Монморансиевский. На совете с родственниками и друзьями нашли, однако, что в полном русском переводе он был бы как-то неловок, и потому придумали следующее подражание: «Жизнь царю, честь никому». Этот девиз не совсем нравился только зятю князя, министру юстиции Дашкову, который находил его «чересчур уже либеральным», что, однако, не остановило ни князя его принять, ни государя его утвердить.

* * *

Император Николай чрезвычайно любил публичные маскарады и редко их пропускал — давались ли они в театре или в Дворянском собрании. Государь и вообще мужчины, военные и статские, являлись тут в обычной своей одежде; но дамы все без изъятия были переряжены, т. е. в домино и в масках или полумасках, и каждая имела право взять государя под руку и ходить с ним по залам. Его забавляло, вероятно, то, что тут, в продолжение нескольких часов, он слышал множество таких анекдотов, отважных шуток и проч., которых никто не осмелился бы сказать монарху без щита маски. Но как острота и ум, составляющие привлекательность разговора, не всегда бывают уделом высшего общества, да и вообще русские наши дамы, за немногими исключениями, малосродны к этой особенного рода игре, то и случалось

обыкновенно, что государя подхватывали такие дамы, которые без маски и нигде не могли бы с ним сойтись. Один из директоров Дворянского собрания сказывал мне, что на тамошние маскарады раздавалось до 80 даровых билетов актрисам, модисткам и другим подобных разрядов француженкам, именно с целью интриговать и занимать государя.

* * *

В 1839 году, когда Василий Алексеевич Перовский был только еще Оренбургским военным губернатором, производилось в Государственном Совете одно дело по этой губернии, само по себе не весьма важное, но которое прибавило, однако же, разные любопытные черты к характеристике окружавших императора Николая сановников и к его личной, послужив вместе с тем новым доказательством, что даже и при монархе самом энергическом и самостоятельном оборот и направление дела могут иногда зависеть от образа доклада. По случаю споров между бузулуцкими калмыками и занявшими часть их земель казенными крестьянами Сенат в 1836 году предписал тех из крестьян, которые окажутся действительно уже поселившимися на калмыцких землях, оставить там без перевода на другие места.

Вследствие того Оренбургский военный губернатор предположил оставить на калмыцких землях 41 семейство крестьян как прочно уже водворившееся, а 108 семейств перевести в другие места. Но Сенат, усмотрев из представления главного начальства государственных имуществ, основанного на полученной им надворной описи, что и из числа этих 108 семейств почти все обзавелись на калмыцких землях домами и хозяйством, в 1837 году новым указом предписал перевести на другие места только тех крестьян, которые не имеют еще

хозяйственного заведения, или живут в чужих домах, всех же прочих оставить на местах их водворения.

Вопреки сему Перовский распорядился о своде с калмыцких земель всех предположенных им первоначально к переводу 108 семейств; причем (как они показывали) были разобраны в их домах печи, порезана дворовая птица и захвачены засеянные поля; когда же крестьяне, войдя с жалобой на сие в министерство государственных имуществ и известясь, что по ней заведена переписка, опять было возвратились на прежние жилища, то Перовский снова велел их выслать.

Между тем по упомянутой жалобе крестьян министр государственных имуществ собрал нужные сведения и, увидя из донесения палаты, как равно и их отзыва самого Перовского, что в числе высланных с калмыцких земель 108 семейств у 99 были уже там собственные жилища и разработанные поля, признал распоряжения военного губернатора противными сенатским указам; почему и представил Сенату об отмене сих распоряжений и о возвращении тех 99 семейств попрежнему на занятые ими калмыцкие земли.

Сенат, согласясь с таким заключением министра, вошел о том с докладом, который поступил по порядку в Государственный Совет в начале 1839 года, в то время, когда находился в Петербурге и сам Перовский, не имевший еще тогда звания члена Совета. Таким образом, предлежавший рассмотрению факт заключал в себе обвинение военного губернатора в действии, противном указам Сената, которые по нашим законам считаются равносильными именным.

Подсудимым являлся государев генерал-адъютант и, что еще более, бывший некогда адъютант великого князя Николая Павловича, которому всегда открыт был свободный доступ к государю. Судьями надлежало быть, в первой степени, членам департамента экономии Государственного Совета, председателем которого состоял незадолго перед тем назна-

ченный граф Левашов, обнаруживший с первой минуты облечения его в это звание весьма упорный и самовластный характер и, так сказать, один решавший дела в своем департаменте. Другим еще, в некотором отношении также подсудимым, был граф Киселев, ибо предлежало решить, кто из двух виноват: Перовский ли в неисполнении сенатских указов или Киселев в неправильном его в том обвинении? Всякое среднее решение, которое оправдывало бы обоих, представлялось, по свойству дела, невозможным, а Киселев был первый друг Левашова, во многом его руководитель. Наконец, под рукой мог еще действовать и, без сомнения, и действовал, человек, хотя не принадлежавший к составу департамента экономии, но не совсем посторонний делу, ибо им пропущено было определение Сената, обвинившее Оренбургского военного губернатора. Говорю о министре юстиции Дашкове, личном враге Перовского, как он нисколько в том не таился, и зяте Левашова[32].

При такой обстановке Перовскому трудно было выиграть свой процесс, даже если бы он был и прав. Департамент экономии не только вполне утвердил доклад Сената, но и прибавил еще, чтобы, «во внимание к убыткам, понесенным крестьянами, как от неправильно допущенного двукратного их переселения, так и от притеснительных действий со стороны отряженных для переселения их чиновников, произведено было на законном основании исследование и по оному сделано крестьянам на счет виновных надлежащее за убытки их вознаграждение».

В общем собрании Совета это заключение прошло единогласно, без малейшей перемены. Князь Васильчиков был весь вооружен в его пользу, и я не припомню дела, в котором он имел бы такое сильное убеждение. Некоторые члены шептали

---

[32] Они были женаты на двух сестрах, рожденных Пашковых, третья была за председателем Государственного Совета князем Васильчиковым.

даже что-то о выговоре военному губернатору, но это было обойдено.

Между тем и Перовский не терял времени. Зная заключение Сената, узнав, разумеется, тотчас и о заключении Совета, он предварил поднесение советской мемории подачей государю обширной записки, в которой, изложив подробности дела (с своей точки), описал руководившие его виды и побуждения и оперся, главнейше, с одной стороны — на неудобство и невозможность исполнения последовавших от Сената указов, а с другой — на то, что возвращение крестьян снова на калмыцкие земли совсем уронило бы в общем мнении власть главного местного начальника и поощрило бы каждого из жителей к самовольному впредь упорству. Потому, продолжая оправдывать свои действия, Перовский просил, если бы они за всем тем были признаны неправильными, подвергнуть его какой угодно ответственности, но крестьян оставить там, куда он перевел их тому назад уже два года.

Последствием этого было, что меморию советскую государь остановил, а записку Перовского прислал частным образом к Васильчикову с надписью, свидетельствовавшей, что она вполне убедила его величество в правоте Перовского, и изъявлявшей надежду, что она таким же образом убедит и его, Васильчикова.

После долгих колебаний князь решился на средний путь, не противоречивший его личному убеждению, не прекословивший прямо высочайшему мнению и, наконец, не унижавший достоинства Совета. Он послал государю докладную записку, в которой изъяснил, что хотя главный факт, именно неисполнение местным начальством сенатских указов, остается и после всех новых объяснений очевидным и неопровергнутым; однако, как записка Перовского содержит в себе разные подробности, могущие ближе пояснить сущность дела; как его величеству благоугодно уже было удостоить его изъяснения высочайшего внимания; и как Оренбургское ка-

зачье войско, к которому бузулуцкие калмыки принадлежат, ведется военным министерством, то для возможного обеспечения правильности решения удобнее было бы предоставить военному министру, потребовав от Перовского все нужные объяснения и снесясь потом с министром государственных имуществ, *представить Государственному Совету окончательное их к развязке сего дела заключение* [33]. На этом докладе государь написал своею рукой: «Будет совершенно справедливо». Вследствие чего князь объявил Совету написанное соответственно резолюции высочайшее повеление, а я как государственный секретарь сообщил его военному министру для исполнения и министру юстиции для сведения. Таким направлением дела к числу действовавших лиц присоединилось еще новое — военный министр.

Князь (тогда еще граф) Чернышев бывал у государя с ежедневным докладом и, чтобы не являться с пустыми руками, возил нередко, за недостатком материалов, не только всякие мелочи, но иногда даже и такие бумаги, которые в общем порядке не подлежат совсем его непосредственному докладу. Так — и, вероятно, из тех же побуждений, потому что с его стороны не было видно никакого особенного расположения к Перовскому, — он поступил и в настоящем случае, не взвесив личной важности этого дела и не объясняясь даже предварительно с председателем Государственного Совета, в одно утро. Вместо ожидаемого общего от Чернышева и Киселева представления в Государственный Совет князь Васильчиков получил бумагу одного первого, который сообщал ему (буквально), что «государь император, рассмотрев с особенным вниманием вытребованные им, Чернышевым, по положению Государственного Совета объяснения Перовского, поручить ему изволил уведомить князя, что его величество, по зрелом

[33] Слова эти подчеркнуты мною здесь потому, что к ним, или к содержанию их, относится все последующее.

обсуждении сего дела, изволит находить, что рассмотренным в Государственном Совете решением общего собрания Сената очевидно было бы нарушено неоспоримое законное право собственности Оренбургского войска на занятые казенными крестьянами ему принадлежащие земли.

В ограждение сего права, которое необходимо и во всех случаях должно быть неприкосновенным, его величество повелеть изволил: 1) оставить на землях калмыцких только те 41 семейство, которые военным губернатором признаны были прочно поселившимися, причислив их навсегда к казачьему войску; 2) остальных крестьян, уже выведенных, не переводя обратно, оставить в настоящем положении; 3) впредь воспретить строжайше казенных крестьян и вообще выходцев из внутренних губерний допускать к поселению на казачьих землях иначе как по истребовании предварительного заключения военного губернатора и по испрошении высочайшего разрешения и 4) дело о переселении упомянутых крестьян по всем местам, где оно производится, считать за сим решительно оконченным». Этой бумаге, столь уже щекотливой для князя по ее содержанию, Чернышев или чиновники его канцелярии сочли нужным придать, как бы нарочно, не менее щекотливости и по внешней форме, заключив ее так: «монаршую волю сию сообщая вам, милостивый государь (отчего же именно ему, а не подлежащим министерствам?), для зависящего исполнения, имею честь быть» и проч.

Я сказал выше, что не помню дела, в котором князь Васильчиков имел бы такое сильное убеждение; теперь прибавлю, что не помню и случая, в котором видел бы его до такой степени раздраженным. Из всегда доброго, кроткого и незлобивого он превратился в разъяренного льва.

— Совет заплеван! — кричал он. — Я заплеван; сам государь себя уронил, а мне его честь и слава дороже, чем мои собственные, не так, как тем, которые играют его волей и его

священным словом. Или я научу этих господ вперед меня бравировать там, где я действую добросовестно по долгу звания, или тотчас же оставлю службу, которой продолжать на таком основании не могу. Я никогда не позволял себе присваивать своему лицу влияние на решения государя по советским делам; но где идет речь об охранении неприкосновенности собственной его воли и прав Совета, действующего его именем, там я должен вступиться всеми своими силами или все бросить и уйти!

Эта буря запальчивости продолжалась, я думаю, с полчаса. На другой день князь поехал к государю и возвратился в полном торжестве. Беседа их, как он мне рассказывал, была живая и с обеих сторон настойчивая. Главным убеждением послужили, кажется, три вещи: 1) что государя ввели тут в заблуждение через смешение формы с существом дела — неисполнения сенатского указа, о чем одном только и судит Совет, с самою правильностью сего указа, которая могла бы подлежать суждению только впоследствии, по получении объяснений Перовского; 2) что сообщенное Чернышевым высочайшее повеление поставило бы Васильчикова в самое двусмысленное положение перед целым Советом, который, не имея сведения о прежней докладной его, Васильчикова, записке, ни о последовавшей на ней резолюции, знает только объявленную им высочайшую волю и теперь вдруг увидит объявляемую Чернышевым, совершенно прежней противоположную, следственно, как бы уничтожающую достоверность слышанной прежде от него, Васильчикова, и 3) что от государя, разумеется, всегда зависеть будет решить это дело по его благоусмотрению, но тогда, когда оно придет к нему в порядке, им самим указанном, и со всех сторон обсужденное, а не по одноличным изъяснениям Перовского.

Как бы то ни было, но в тот же самый день Васильчиков отправил к Чернышеву бумагу следующего содержания: «Государь император, по всеподданнейшему докладу моему об

отношении ко мне вашего сиятельства (касательно того-то), высочайше повелеть изволил дело сие возвратить в тот порядок, какой указан оному был монаршей волей, объявленной мною Государственному Совету и сообщенной вам в отношении государственного секретаря, именно чтобы ваше сиятельство, снесясь по полученным от генерал-адъютанта Перовского объяснениям с министерством государственных имуществ, окончательное к развязке дела сего заключение внесли в Государственный Совет. Сообщая вам о таковой высочайшей воле, для зависящего к исполнению оной распоряжения, имею честь быть» и проч.

Окончательное, по мнению Государственного Совета, решение сего дела, последовавшее уже в 1841 году, было, так сказать, примирительное. Решено: 1) оставить на калмыцких землях те семейства крестьянские, которые находятся там уже водворенными; 2) тех из них, которые пожелают вступить в казачье сословие, наделить 30-десятинной пропорцией, прочих же оставить в прежнем звании, с 15-десятинной пропорцией; 3) выселенным по распоряжению Перовского предоставить все те льготы и пособия, какие вообще даруются переселенцам.

Только один Чернышев остался при том мнении, которое было выражено им в приведенной выше бумаге к Васильчикову, в виде высочайшего повеления; но государь утвердил общее заключение Совета. Вопрос о личной виновности Перовского в неисполнении сенатских указов был обойден молчанием.

* * *

Император Николай, ограничивший представления к наградам за обыкновенные отличия по службе известными сроками, установивший не давать орденов прежде получения знака отличия беспорочной службы и строго наблюдавший

за сохранением постепенности в награждениях, охотно и щедро отступал от всех сил правил, когда шло дело о подвигах чрезвычайных.

Так, между разными другими изъятиями можно упомянуть о тех частых и совершенно выходивших из обыкновенного порядка милостях, которыми в первые годы его царствования, когда созидался бессмертный памятник Свода законов, осыпаемы были употребленные к этому делу чиновники II отделения Собственной его величества канцелярии.

То же самое, и даже в большей еще степени, бывало при особенных отличиях военных. Воспитанник артиллерийского училища, окончивший свое образование в военной академии и перешедший потом в Генеральный штаб, Шульц, в польскую кампанию оказал подвиги львиной, неслыханной храбрости, но еще более проявил ее в делах против горцев. Здесь, получив в одном сражении несколько ран, он, с пробитой челюстью, с вышибленными зубами, не оставил своего поста, пока не упал в беспамятстве. Быв тогда капитаном, он произведен в подполковники; но в том же самом приказе государь приписал своею рукой: «подполковник Шульц в полковники». Не довольствуясь, однако же, сею беспримерной наградой, он пожаловал ему еще Владимира 4-й степени с бантом и велел тотчас предложить о подвиге Шульца в чрезвычайном собрании Георгиевской думы, по удостоению которой дал ему 4-го Георгия. Как между тем Шульцу необходимо было ехать лечиться от своих ран за границу, то он, сверх всех исчисленных наград, получил еще на путевые издержки 1500 червонцев.

* * *

Тунеядный, распутный, не имеющий настоящей оседлости и, при всем том, огромный (свыше 1 миллиона душ) класс дворовых людей — этот зародыш той беспокойной и

всегда готовой к волнениям массы, из которой в Париже составляется сброд, давно уже озабочивал наше правительство, и в царствование императора Николая вопрос о нем несколько раз возобновлялся.

Сперва, в 1827 году, он составлял один из предметов рассуждений известного комитета 6 декабря 1826 года; потом, в 1830 году, им занимался и Государственный Совет; но операция над язвой государственной всегда казалась такой трудной, опасной и даже страшной, что ни одно начинание не было приведено ни к чему положительному. В 1840 году у государя еще настойчивее прежнего возобновилась мысль если не о совершенном уничтожении, то, по крайней мере, о возможном уменьшении сословия дворовых людей. Он приказал статс-секретарю графу Блудову обработать ее и полученные от него записку и проект указа вручил князю Васильчикову, с тем чтобы, пересмотрев еще раз все дело совокупно с Блудовым и с министром юстиции, он поднес указ к подписанию.

Но Васильчиков, как всегдашний ревностный сберегатель достоинства Государственного Совета, не решился принять сей воли к безусловному исполнению. Он возразил, что совершение такой важной государственной меры помимо Совета уронит вес и значение последнего; что если в делах финансовых, по свойству их, необходима иногда тайна, то едва ли она нужна в делах чисто законодательных, где разглашение предполагаемого закона за несколько дней до его обнародования не может иметь никаких вредных последствий; что при известности ему, Васильчикову, взгляда на этот предмет членов Совета он нисколько не сомневается в принятии предлагаемой мысли если не всеми единогласно, то, по крайней мере, огромным их большинством; наконец, что желательно не совращать этого дела с обыкновенного указываемого законами пути уже и для того, чтобы избежать всякого впоследствии противодействия со стороны высшей аристо-

кратии; ибо если мера сия примется в совещании тридцати или более членов Совета, то впоследствии, конечно, никто уже из них не станет говорить против нее, тогда как в противном случае из этого числа много найдется порицателей, даже и из одного чувства огорченного самолюбия.

— Да неужели же, — возразил, с своей стороны, государь, — когда сам я признаю какую-нибудь вещь полезной или благодетельной, мне непременно надо спрашивать на нее сперва согласие Совета?

— Не согласие, — отвечал Васильчиков, — но мнение непременно, потому что Совет для этого и существует; или надо его уничтожить, или охранять тот закон, который сами вы для него издали.

Прение по этому случаю, как рассказывал сам Васильчиков, было длинное и жаркое, и напоследок кончилось тем, что вместо трех лиц государь приказал составить особый комитет из двенадцати членов Государственного Совета (большей частью министров), которому рассмотреть как самую сущность дела, так и вопрос: должно ли потом провести это дело еще через общее собрание Совета?

Меры, предложенные графом Блудовым, были им большей частью заимствованы из предложений, состоявшихся в 1827 и 1830 годах. Но тогда меры сии предлагались не отдельно, а в составе общего закона о состояниях, заключавшего в себе сверх того многие другие, гораздо важнейшие предметы, посреди которых и, так сказать, под их щитом, постановления о дворовых людях прошли бы едва замеченными.

Настоящее положение дела, когда имелось в виду выпустить одну только эту часть упомянутого закона, было другое, и потому большая часть членов сначала думали или совсем ничего не предпринимать, или ограничиться разве одними полумерами. Пока правительство не решалось приступить к коренному преобразованию, говорили они, всякая частная перемена в соотношениях между помещиками и крепостными

их людьми, давая повод к столкновению прав одних с обязанностями других и открывая в крестьянах новые понятия и новый круг мыслей, которого расширения никакая человеческая предусмотрительность угадать не в силах, угрожает самыми опасными последствиями не только для благосостояния одного класса, но и для общественного спокойствия.

После долгих и шумных пререканий возникли постепенно три главных мнения. Одно, графа Чернышева, состояло в том, что в настоящее время безопаснее и полезнее не предпринимать совсем ничего в отношении к дворовым людям. Эта мысль, соответствовавшая и убеждению большинства, была, однако же, отклонена в виду положительно изъявленной высочайшей воли. Другим мнением, графа Киселева, предлагалось учредить по городам цех слуг как притон для класса вольноотпущенных, с присоединением к тому же классу — не теперь, а когда-нибудь впоследствии — и тех дворовых людей, которые остаются еще в крепостной зависимости. Комитет принял часть этой мысли. Наконец, третье мнение, князя Васильчикова, заключалось в том, чтобы принять цифры дворовых людей по последней народной переписи нормой, далее которой не может уже быть увеличиваемо число дворовых людей и, сверх того, употребление впредь крестьян в личную помещичью прислугу ограничить известными условиями и правилами. Это мнение было принято вполне. Образовавшееся из всех сих рассуждений и частных мнений общее заключение Комитета состояло, кратко, в следующем. При сохранении нынешней системы крепостного права два только способа представляются к уменьшению числа дворовых людей: во-первых, облегчить и побудить всеми зависящими от правительства средствами переход их в другие состояния и к другому роду жизни, и во-вторых, пресечь новые перечисления из крестьян в дворовые, сколько то совместно с ограждением прав и власти владельцев.

В отношении к первому предмету полезно будет: 1) дозволить при увольнении дворового человека на волю постановлять в отпускной условия не только о единовременном или срочном платеже известной капитальной суммы, но и об определении взамен того или срочного оброка, или личной, также на срок, службы прежнему владельцу; 2) помещика при отпуске им дворового своего человека обязывать к платежу за него податей не до новой ревизии, а только на один год, в продолжение которого этот человек обязан избрать себе род жизни; и 3) вольноотпущенных, по приписке их к другому состоянию, увольнять от всяких податей на три года, а от рекрутства — до новой ревизии. В отношении ко второму предмету достаточно будет постановить или, лучше сказать, вывести из смысла существующих уже постановлений: 1) что в числе дворовых людей имеют на будущее время оставаться только те, которые самими владельцами показаны в этом разряде при последней народной переписи; 2) что если помещик пожелает впредь употребить в личную свою прислугу кого-либо из крестьян, то сие может быть делаемо не иначе, как брат на брата, т. е. таким образом, чтобы одно тягло из семейства, из которого крестьянин берется, было освобождаемо от всяких на владельца работ и оброка и чтобы его участок оставался в его семье.

Вместе с сим и в виде введения к упомянутым мерам необходимо: 1) учредить во всех городах особый цех слуг и 2) предоставить приписываться к сему цеху, сверх отпущенных на волю вполне или условно, и тем дворовым людям, которые будут отпускаемы из оброка для приискивания себе места в услужении. Все сии меры должно ввести в действие не вдруг, а постепенно, и именно начать с учреждения цеха слуг, потом издать указ о новых правилах для обращения крестьян в личную прислугу владельцев и наконец заключить другим указом — касательно льгот при отпущении дворовых людей на волю. Но как устройство цеха слуг требовало еще

ближайшего соображения подробностей, то Комитет полагал предмет сей предоставить министру внутренних дел соединить с приводившимся уже тогда к окончанию проектом нового образования столичных Дум и цехов вообще и внести все сие вместе в Государственный Совет, проекты же упомянутых выше двух указов (составленные в самом комитете), если они удостоятся предварительного высочайшего одобрения, обратить к тому же министру, для поднесения в свое время к высочайшему подписанию, также через Государственный Совет.

Сим окончились занятия особого комитета. Государь в марте 1840 года утвердил его предположения, и они тогда же были переданы к исполнению в министерство внутренних дел. Но этому делу предлежало опять возобновиться и прийти к дальнейшему своему совершению гораздо уже позже, и именно в 1844 году. Подробности, тогда его сопровождавшие, описаны в сочинении моем: «Император Николай в совещательных собраниях».

* * *

С начала 1840 года здоровье министра финансов графа Канкрина все более и более расстраивалось. Государь почасту утешал и ободрял заслуженного старца своими посещениями и непременно требовал, чтобы он с наступлением благоприятнейшего времени года ехал за границу на воды. Канкрин как-то заикнулся при этом об отставке.

— Ты знаешь, — отвечал государь, — что нас двое, которые не можем оставить своих постов, пока живы: ты да я.

Между тем государственная роспись на 1840 год сведена была лишь при крайних усилиях; дефицит, простиравшийся до $21^1/_2$ млн руб.; необходимость для покрытия его в займе внешнем или внутреннем; повсеместный недостаток в разменной монете и затруднительное положение кредитных ус-

тановлений сильно озабочивали наших государственных людей и, между ними, преимущественно князя Васильчикова. В беспрестанном волнении своего патриотического и преданного царю сердца, не находя покоя ни днем, ни ночью, он, после долгих колебаний, решился наконец подать государю записку о жалком положении наших финансов, чтобы, по крайней мере, говорил он, очистить свою совесть.

В этой записке было изъясняемо, что министерство финансов вместо того, чтобы изыскивать новые источники доходов и разрабатывать прежние, для уравновешивания их с расходами, обращалось всегда к мере, простой в исполнении, но опасной в последствиях, и именно к покрытию дефицитов долгами; что сперва возросли до огромной цифры займы заграничные, потом исчерпана значительная часть капиталов банковых установлений и, наконец, при истощении и этого пособия, ухватились за выпуск векселей, или билетов государственного казначейства; что таким образом система доброго финансового хозяйства заменилась одним заклеиванием щелей, и в то время, как количество одних только процентов, ежегодно уплачиваемых казной, возросло до 88 млн руб., массе билетов казначейства, с каждым годом увеличивающейся, не полагается никаких средств к своевременному их выкупу; что отдельное разрешение важных финансовых вопросов и мер столько же вредно, сколько и поспешность, с которой до сих пор Государственный Совет всегда принужден был рассматривать годичный бюджет; наконец, что необходимо обратить на все эти предметы ближайшее внимание, особенно же теперь, когда болезнь графа Канкрина не дозволяет надеяться надолго сохранить его для государства, а между тем к замещению его не имеется в виду никого опытного и искусившегося в финансовом деле.

Считая, вследствие того, настоятельно нужным приступить к соображению, каким образом устроить управление финансов империи на случай усугубления болезненного

состояния графа Канкрина или его отъезда в чужие края, Васильчиков предлагал составить из небольшого числа членов по высочайшему избранию особый секретный комитет, которому: во-первых, определить, какие именно части министерства финансов должны и впредь оставаться в его составе и какие, напротив, удобнее было бы отделить к другим ведомствам; во-вторых, обсудить, не полезнее ли существующий финансовый комитет заменить особым, независимым от министра, финансовым советом, как для составления общего плана устройства этой части, так и для предварительного обсуждения бюджетов, отчетов и всех вообще важнейших финансовых вопросов и мер, и в-третьих, при представлении его величеству своих о сем предположений, присовокупить и мнение о тех лицах, которых можно и полезно было бы назначить членами нового финансового совета.

Государь долго не решался принять эту мысль, из уважения к Канкрину, и убедился, наконец, только тем, что рассуждения и соображения предположенного Васильчиковым предварительного комитета останутся совершенной тайной и для самого Канкрина, и для всей публики, пока в физическом положении министра не последует такой перемены, которая неизбежно заставила бы их огласить. Вследствие того государь надписал на записке князя: «Составить секретный комитет, под вашим председательством, из графа Чернышева, графа Нессельрода, князя Меншикова, графа Левашова и графа Киселева, не приобщая к нему для производства дел никого, кроме барона Корфа».

Чтобы иметь какое-нибудь основание или исходную точку для дальнейших суждений этого комитета, мною приготовлены были: исторический взгляд на финансовое наше управление, сравнительное обозрение организации сей части в Англии, Франции, Пруссии и Австрии и свод разных суждений по тому же предмету, происходивших в знаменитом некогда комитете 6 декабря 1826 года. Потом наш комитет имел

несколько продолжительных заседаний, которые происходили у князя Васильчикова на дому, по вечерам, в глубокой тайне до такой степени, что велено было каретам нашим становиться на дворе, а посторонним, которые приехали бы в это время к князю, сказывать, что его нет дома. Написано было несколько обширных журналов и проектов, в том числе и проект инструкции для временного управления финансовой частью на случай отсутствия графа Канкрина. Между тем, последний, видимо, стал поправляться в здоровье, а государь, при рыцарском его духе и возвышенном образе чувств, продолжал как бы совеститься, что все это сочиняется тайком от его министра, о чем неоднократно говорил и Васильчикову, и другим. Словом, когда пришлось подписывать составленные по заключениям комитета бумаги, члены вскоре убедились, что многие предметы, легко высказываемые в секретном совещании, трудно и страшно повторять на бумаге и укреплять своею подписью. Как выйти из этого положения, не оставив, однако, без исполнения высочайшей воли, в силу которой комитет был учрежден?

Граф Киселев, сам возбудивший этот вопрос, сам же, в ловком уме своем, тотчас нашел и предложил средство к его развязке.

— Соображения наши, — говорил он, — начались во время опасной болезни графа Канкрина, а теперь ему гораздо лучше, и быть может, что он и долго еще проживет и никуда не поедет; тогда все, что предположено нами на случай его отсутствия, останется втуне. Итак, составим журнал за общим подписанием о том только предмете, который независим от болезни министра и может быть приведен в исполнение во всякое время, именно о лучшем образовании финансового комитета, а все прочее вы, князь Илларион Васильевич, поднесете государю в виде частных, никем не подписанных записок, из которых можно будет сделать употребление в свое

время, если оно когда наступит и если государь уважит наши предположения.

Прочие члены очень обрадовались такому исходу, и бумаги, на сем основании составленные, князь Васильчиков отвез к государю, который оставил их у себя.

Пока таким образом комитет размышлял сперва о целом преобразовании нашей финансовой системы, потом только уже о временном распорядке на случай отсутствия министра и, наконец, единственно лишь о некоторых переменах в устройстве финансового комитета, дело приняло совсем другое направление. Государь и прежде требовал, и теперь еще сильнее настаивал, чтобы министр финансов выбрал себе товарища, который мог бы заступить его во время отсутствия. Канкрин предложил особого рода комбинацию, именно: чтобы по отъезде его за границу управление финансами вверить совокупно двум старожилам его министерства: директору кредитной части Вронченко и директору общей канцелярии Дружинину. Когда же государь с неудовольствием отверг мысль такого двойственного управления как совершенно новую и казавшуюся ему нелепой, то Канкрин послал письмо, в котором довольно прямо высказал, что при таком к нему недоверии и при той всегдашней оппозиции, которую представления его встречают со стороны Государственного Совета, ему лучше бы, может быть, совсем оставить свое место. Письмо это не произвело, однако, того действия, которого он, вероятно, ожидал.

Государь ответил уклончиво, нежно, но в то же время с обыкновенной своею энергией вновь потребовал от министра непременного и немедленного исполнения его воли, т. е. выбора себе товарища. Канкрин, от которого я сам прежде не раз слыхивал, что если ему дадут товарища, то он и двадцати четырех часов не останется министром, должен был покориться. Он предложил на пост товарища двух кандидатов: упомянутого выше Вронченко и бывшего в то время посланником нашим при прусском дворе барона Мейендорфа. Едва

это предложение сделалось известным Васильчикову, как он восстал против Вронченко всеми силами, и тотчас, при мне же, написал государю письмо, в котором в весьма сильных выражениях говорил, что если Вронченко имеет за себя опытность и неукоризненную честность правил, то в замене он не пользуется никаким доверием и уважением в публике, есть больше чиновник в смысле подьячего, чем человек, способный к государственному делу, и, при известной распутности своего поведения, совершенно уронил бы важный сан товарища.

Государь отвечал, что жалеет о позднем получении этого предостережения, потому что выбор его из двух представленных министром кандидатов остановился именно на Вронченко и о нем уже подписан указ. Когда Канкрин с своей стороны объявил Вронченко о новом его звании, то сей последний также написал государю, что никогда не готовил себя к такому посту; что, напротив, по старости и слабому здоровью хотел даже просить о пристроении его к более спокойному месту, чем то, которое он занимал, и что, по всему этому, ходатайствует об отмене сего назначения. Но и это письмо осталось без последствий. Вместо того объявлено было высочайшее повеление, чтобы в случае, когда министр финансов не может лично присутствовать, место его заступал товарищ в Комитете министров по всем делам, а в Государственном Совете — по делам его ведомства. Так как после всего этого министерство финансов восприняло опять обыкновенный свой ход, то предположения нашего секретного комитета сами собою рушились: им никогда и после не было дано дальнейшего движения, а Вронченко в то же лето, по случаю отъезда графа Канкрина за границу, вступил временно в управление министерством.

* * *

Первая инструкция товарищам министров дана была в общем учреждении министерств с 1811 года, и тогда цель

назначения их состояла единственно в том, чтобы управлять министерством в отсутствие или во время болезни министра, при личном управлении которого они были совершенно безгласны и могли действовать только по его поручениям и уполномочиям. Но при вступлении на престол императора Николая, когда личный состав министерств найден был в самом жалком положении и во всех министерских постах состояли отживавшие свой век старцы, оказалось необходимым, из личных собственно уважений, усилить власть и значение товарищей. В должность эту были определены выступавшие тогда на высшее административное поприще: к министру внутренних дел Дашков, к министру народного просвещения Блудов, и с тем вместе изданы (30 декабря 1826 года) дополнительные о должности товарищей правила, которым было уже поставлено в их обязанность облегчать министра в его занятиях и споспешествовать безостановочному ходу дел. При таком новом круге действий товарищи получили и некоторую отдельную самостоятельность, свой особый голос, право совещаний и даже, в некоторой степени, право протеста против своих министров. С течением времени упомянутые личные уважения миновались: бывшие товарищи давно сами стали министрами; ими были довольны, и не предстояло необходимости их сменять; наконец вообще оставался налицо всего один только товарищ, и именно при военном министре.

Вдруг государь рассудил воскресить снова это почти умершее установление и, настояв сперва, чтобы выбрал себе товарища министр финансов, в том же 1840 году приказал последовать его примеру и прочим министрам, в особенности же потребовал сего от министра государственных имуществ графа Киселева, предполагавшего ехать летом в Карлсбад. Киселев отвечал, что готов исполнить высочайшую волю, если сперва пересмотрены и исправлены будут правила о товарищах, совершенно связывающие руки министрам.

Государь на сие соизволил согласиться и для предположенного пересмотра Положения о товарищах министров приказал составить особый комитет из всех министров под председательством князя Васильчикова, назначив меня для производства дел.

Комитет, приняв в соображение, что прежние обстоятельства изменились и что ныне государь не дает уже министрам товарищей, а предоставляет каждому из них избрать самому себе такового, признал полезным и — для избежания всяких столкновений и пререканий власти — даже и необходимым возвратиться к правилам 1811 года.

Противного сему мнения был один только министр юстиции граф Панин, утверждавший, что в таком случае товарищ будет лицом бесполезным и излишним; но против этого мнения, хотя сначала поддерживал его несколько граф Блудов, писавший правила 1826 года, все прочие министры сильно восстали. Говоря, что если над ними поставлен будет в лице товарища контролер, то никто не захочет оставаться министром и всякий предпочтет опуститься опять в товарищи, звание, в котором, пользуясь правами, властью и почетом, будет свободен от всякой ответственности. Граф Панин к следующему заседанию представил свое мнение письменно, но и тут не мог никого убедить. Государь, против своего обыкновения, продержал у себя окончательный журнал целую неделю. Он долго колебался между общим заключением Комитета и особым мнением Панина; но наконец утвердил первое; вследствие чего изданы были новые о товарищах правила 9 апреля 1840 года.

* * *

Однажды, в конце Великого поста 1840 года, государь обедал вдвоем с министром государственных имуществ графом

Киселевым. Зашла речь о князе Васильчикове и о том, что в тамбовском его имении пало несколько тысяч баранов.

— Но вы не знаете, государь, — прибавил Киселев, — что в прошлом году у него пропал и не такой еще баран.

— Как так?

Тут Киселев рассказал, что уж год, как у князя окончился срок двух аренд, приносивших ему вместе 5000 руб. серебром годового дохода, и что он грозил ему, Киселеву, разрывом дружбы, если бы тот осмелился когда-нибудь упомянуть об этом государю.

— Узнаю своего Васильчикова! — отвечал государь. — Однако надо положить этому конец и дать ему гораздо более прежнего — то, что следует по теперешнему его званию.

И вследствие того велено было приготовить указ о пожаловании Васильчикову аренды в 12 000 руб. серебром на 24 года. Киселев, получив это приказание, поспешил обрадовать князя доброй вестью; но старик рассердился не на шутку и объявил Киселеву, что напрямик отказывается от милости, которая только свяжет ему руки, когда он давно уже думает оставить службу или, по крайней мере, сложить настоящее звание. Он написал ему даже в таком смысле письмо, прислал сына для личного объяснения и, когда все это не подействовало, потому что Киселев, считая себя тут только исполнителем высочайшей воли, отказался от всякого дальнейшего вмешательства, то сам поехал к государю и, представя, что состояние его довольно обеспечено, объяснил, что не может принять назначенной милости, тем более, что сам неоднократно докладывал о затруднительном положении наших финансов и говорил о том гласно, в разных комитетах. Такой аргумент не убедил, однако же, государя и даже ему не понравился. Утверждая, что не понимает, откуда князя преследует вечная мысль о затруднительном положении наших финансов и что, впрочем, судить об этом дело не других, а его, он настоял на своем — и указ был подписан в день Пасхи.

* * *

К высшему нашему обществу принадлежали три брата Пашковы, сыновья родного дяди княгини Васильчиковой. Старший из них, Андрей, умный, даровитый, тогда прекрасный музыкант, а впоследствии стяжавший себе большую известность своими магнетическими лечениями, ославил себя вместе большой наклонностью к ябеде и разными действиями, малосвойственными благородному человеку. Служив до генеральского чина в лейб-гусарах, а потом быв назначен в егермейстерскую должность ко двору, он здесь вскоре поссорился с тогдашним обер-егермейстером Нарышкиным, подал на него донос, который не оправдался, и принужден был оставить службу. Два другие его брата, отставные коллежский советник Николай и штабс-ротмистр Сергей, издавна жили в Москве, где прежде вели большую игру и были замешаны в разных неприятных историях. Андрей имел множество сомнительных процессов, и ни личные связи, ни родство его жены, дочери очень приближенного к императору Николаю графа Модена, не могли способствовать ему к выигрышу этих процессов, как равно не были в состоянии поддержать его в общем мнении, в котором он глубоко упал.

Венцом всех этих нечистых дел была многолетняя тяжба между братьями о разделе наследственного после отца имения. С одной стороны Андрей, с другой стороны Николай и Сергей взаимно выставляли себя, с крайним ожесточением, в самых черных красках. Сперва предложен им был мировой разбор, который, однако, ничем не кончился; потом они приступили было к фамильной сделке, но Андрей, добровольно на нее согласившийся, потом отказался ее признать под предлогом, что она написана на гербовой бумаге ниже узаконенного достоинства! Впоследствии и мать, жившая в Москве с обоими младшими сыновьями, принесла государю письменно самые жестокие жалобы на Андрея. Наконец

после ее смерти взаимная ненависть братьев дошла до крайних пределов, и не только все присутственные места, но и сам государь многократно обременяемы были обоюдными их притязаниями и совсем не родственными ругательствами.

В 1840 году дело об их разделе вторично достигло до Государственного Совета, который, видя, что все способы примирения уже истощены, заключил прибегнуть к строгим судебным мерам, именно обратить дело к разбору с нижней инстанции, а спорное имение взять в опеку, устранив от его управления всех трех братьев. Мемория об этом возвратилась в свое время с следующей грозной резолюцией, служившей новым доказательством, сколько император Николай чтил святость и неприкосновенность семейных отношений: «Справедливо; но при сем нужным считаю велеть объявить братьям Пашковым, что мне весьма прискорбно видеть редкий пример раздора семейного в таком звании, которое должно бы служить образцом всех доблестей. Сие касается в особенности до Андрея Пашкова; ему не должно забыть, что на нем лежит *неизглаженное пятно*[34]: жалобы ко мне его матери на неслыханные его поступки. После того я не считаю приличным, чтоб он всюду показывался в благородном обществе, доколе ясно не докажет свою совершенную невинность».

Мемория с этой резолюцией пришла ко мне во время заседания Государственного Совета, и хотя заключение последнего, давшее к ней повод, состоялось под председательством не князя Васильчикова, устранившего себя от обсуждения дела Пашковых за родством, а князя Голицына, однако я тотчас вызвал первого из собрания для прочтения ему вышеписанного. Князя, хотя он и презирал Андрея Пашкова не менее, чем другие, чрезвычайно встревожили как содержание резолюции, так и ее форма, и в нем родилась мысль ехать к госу-

---

[34] Подчеркнутое здесь было подчеркнуто и в собственноручной резолюции.

дарю с просьбой о ее отмене, что мне удалось отклонить лишь с большим трудом, главнейше тем доводом, что при близком его свойстве с Пашковым всякое возражение могло бы быть принято в виде родственного ходатайства. Но тут предстоял другой вопрос: через кого и в каком порядке объявить эту высочайшую волю Пашковым, и в особенности Андрею, ибо должно было опасаться, что если сделать сие в обыкновенном порядке, через Сенат, то он, по своим формам, напечатает все общие сведения, а это, может быть, превзошло бы уже высочайшие намерения. С этим вопросом Васильчиков поехал к государю после заседания и получил повеление: резолюцию всю прочесть непременно в первом собрании Совета в общее услышание и затем объявить ее Пашковым лично у себя, не публикуя через Сенат, только из уважения к дворянскому сословию.

* * *

В бытность мою еще государственным секретарем, осенью 1840 года, я, по возвращении из заграничного отпуска, представлялся императору Николаю в Царском Селе. Во время этой аудиенции он заметил, между прочим, что состав Государственного Совета очень одряхлел.

— Васильчиков, — продолжал он, — тоже все от меня оттягивается; но я настоятельно писал ему, чтобы он воротился (Васильчиков был тогда в отпуску в деревне). Мне решительно некем заместить его: князь Александр Николаевич (Голицын), при всех своих добрых намерениях, никогда не был способен к этой должности, а теперь еще более, чем когда-нибудь, опустился.

При исчислении членов Совета, уехавших (на летнее время) и воротившихся, когда речь коснулась князя Любецкого, государь сказал:

— Этого я страшно боюсь; особенно теперь, в отсутствие Егора Францевича (Канкрина), он совсем нас загоняет!

Много также было говорено о подробностях и последствиях моей поездки, а от этого речь перешла к общему взгляду на Европу:

— Скучно, государь — сказал я, — за границей: меня измучила тоска по отчизне, и я воротился месяцем прежде срока отпуска.

— Это, — отвечал он, — обыкновенный результат того, когда выезжают за границу люди наших лет и наших понятий; посмотришь, порассудишь и убедишься, что если там что и лучше, то у нас оно выкупается другим словом: что наше несовершенство во многом лучше их совершенства. Вообще, если мы и можем поучиться у иностранцев чему-нибудь в жизни внешней, то, конечно, уж не во внутренней, — я разумею семью, дом, «home», как говорят англичане, а тут неволей и потянет домой. Но молодежь может думать и смотреть на вещи иначе, увлекаясь наружностью и живя там более нараспашку. Много ли ты встречал в чужих краях нашей молодежи?

— Чрезвычайно мало, государь, почти никого.

— Все еще слишком много. И чему им там учиться? Не говорю уже о Франции: этот край вне всяких правил, потому что там, по моему понятию, все еще продолжается революция 1789 года. Но посмотри и на Англию: в Лондоне выбирают теперь в лорд-мэры человека, не только оглашенного своим строптивым и беспокойным нравом, не только отъявленного врага всякого законного порядка, но и публично издевавшегося над всем, что должно быть священным в глазах порядочных людей, называвшего даже письменно свою королеву «восковой куклой». На Рейне я не был 18 лет и должен сказать по правде, что теперь нашел там перемену к лучшему; по крайней мере, место мнимолиберальных идей заступила у них осторожная выжидательность, но и это не от

убеждения или чувства, а просто от страха, возбужденного в них примером. Они были ежедневными свидетелями тех бедствий, которые накликала на себя Франция под влиянием тамошнего безрассудного направления умов — и вовремя остановились. Остается Австрия; но об этой для меня задача даже то, как она может идти и как совсем еще не развалилась! Монарх безгласный; совет управления, в котором все члены от сердца друг друга ненавидят и готовы бы один другого разорвать, а во главе этого совета — эрцгерцог Людовик, человек, может быть, умный и знающий, но без всякого характера, без всякой воли — сущая баба. К тому же, если и нет в Австрии класса настоящих адвокатов, людей, по моему понятию, самых вредных и опасных, то есть сильная бюрократия, которая минирует государство и ставит умы в вечную борьбу с правительством.

Был также вопрос, много ли мне попадалось за границей поляков? Я отвечал, что из лиц примечательных видел только в Кракове, на улице, Хлопицкого.

— Да, — отвечал государь, — я знаю, что он живет там в большом уединении и одиночестве, — но более о нем не распространялся.

* * *

Императрица в 1840 году проводила лето на Эмских водах, куда ездил для свидания с нею и государь. В последнее время перед его отъездом было много важных дел по существовавшему в то время особому комитету западных губерний, и между ними одно, самое важное: о распространении на эти губернии общих русских законов, с отменой действия Литовского статуса и конституций и со введением в производство дел повсеместно русского языка и русских форм. Эта мысль, родившаяся первоначально от Киевского генерал-губернатора Бибикова, была схвачена и сильно поддержана

государем, который собрал даже Комитет по этому случаю под личным своим председательством.

Князь Васильчиков, при обыкновенном горячем стремлении к благу России в том смысле, как он его понимал, с своей стороны сильно сопротивлялся введению этой меры, считая ее, во всех отношениях, скорее вредной, нежели полезной, особенно же потому, что ею должно было неизбежно еще более возбудиться неприязненное против нас расположение умов в западных губерниях. Преданный государю и России всеми чувствами и помыслами, прямодушный, правдивый, настоящий рыцарь без страха и без упрека, он часто говаривал мне, что идет всегда от того начала, что государь рассердится, покосится и пройдет, но при тех отношениях, в которых государь поставил к себе его, Васильчикова, противно было бы его совести, из видов сохранения царской милости, жертвовать истинными выгодами России. Следуя тому же правилу и в настоящем случае, он простер свое сопротивление до самой крайней степени, и указ 25 июня, распространивший на западные губернии русские законы и русский язык, был подписан при явной оппозиции нашего председателя, после разных неприятных объяснений и сцен.

Но и доблестный князь имел своих врагов. Кроме слышанного лично от него самого, государю перенесено было и то, что он говорил и делал в Комитете, а все это в совокупности не могло не возродить некоторого огорчения, так что, когда в это время приехал сюда князь Варшавский, то государь прямо жаловался ему на противодействие Комитета его видам.

Вскоре после того государь уехал под этими впечатлениями в чужие края. Вслед за его отъездом начали доходить в Петербург самые неприятные вести изнутри России.

Плодороднейшие наши губернии были поражены гибельным, повсеместным неурожаем, и печальное впечатление, произведенное сим бедствием, выражалось тем сильнее, что государь находился вне империи, следственно, при несу-

ществовании в то время телеграфов рука помощи была далека. Васильчиков, видя необходимость в немедленном принятии хотя некоторых предварительных мер; почитая себя обязанным к тому по самому своему званию председателя двух верховных установлений в империи: Государственного Совета и Комитета министров; наконец, рассчитывая, сколько прошло бы драгоценного при таких обстоятельствах времени, если б писать за границу и ждать оттуда ответа, решился составить у себя чрезвычайное совещание из министров. Тут были положены на меру некоторые не терпевшие отлагательства распоряжения и, по приведении их тотчас в действие, Васильчиков донес о всем том государю с изъяснением и причин, побудивших его к такой решительности.

В этом, очевидно, сделаны были две ошибки. Одна заключалась в самой сей решительности, которая, без особого уполномочия, при всей чистоте побуждений не могла быть угодна государю. Другая состояла в том, что к министерскому совещанию не был призван управлявший в то время, за отсутствием Канкрина, министерством финансов Вронченко — тот самый, против назначения которого товарищем министра Васильчиков незадолго перед тем так сильно протестовал.

Первая ошибка могла показаться государю притязанием непризванно установить в его отсутствие нечто вроде временного правительства; вторая должна была утвердить его в мысли об упорной оппозиции, устранившей избранного им министра от составленного Васильчиковым совещания только потому, что он не нравился сему последнему. Как бы то ни было, но донесение долго не возвращалось, гораздо долее, чем следовало при обыкновенном движении заграничных сношений с государем. Наконец сам он приехал в Петербург, и тогда только бумага была выслана обратно к Васильчикову, с сухой надписью, изъявлявшей единственно удивление, что в сказанное совещание князь не пригласил Вронченко. Затем, не далее как на другой день, созваны были в Царское Село все

министры, кроме Васильчикова, и тут же последовало повеление: дела о продовольствии постигнутых неурожаем губерний из ведения Комитета министров изъять, учредить для них особый временный комитет под председательством военного министра Чернышева.

Таким образом, не только предварительные распоряжения не получили прямого утверждения, не только созыв Васильчиковым министерского совещания остался без одобрения, но и сам он поставлен был на будущее время вне всякого дальнейшего участия и влияния по этому важному предмету, с поручением дела, мимо него, руководству и надзору другого лица.

Прошло несколько дней, и Васильчикова не приглашали в Петергоф. Наступил и его обыкновенный докладной день, вторник; но тут сам он уклонился под предлогом нужных дел по Комитету министров, собиравшемуся в тот же день; вследствие чего последовало ему приказание явиться в четверг. Что именно происходило при этом свидании, осталось для всех неизвестным; но домашние князя рассказывали мне (я был тогда еще за границей), что никогда не видали князя столь расстроенным, как после этой поездки: что он ни о чем другом не говорил, как об отставке и что хотя на следующее воскресенье его позвали в Царское Село обедать, однако он воротился немногим веселье и вслед за тем уехал в деревню, в обыкновенный свой осенний отпуск.

Все это было в июле, а во второй половине октября, уже при мне, князь воротился из деревни. Приехав ночью, он тотчас на следующее утро был приглашен в Царское Село и оставлен там на весь день. Рассказ его мне об этом свидании с государем заключался в следующем. Недели за две перед тем он из деревни прислал государю письмо, в котором прямо и откровенно просился в отставку как потерявший его дове-

рие[35]. В ответ на это его потребовали непременно в Петербург. Тема разговора, происходившего в Царском Селе, состояла, со стороны Васильчикова, главнейше в том, что распоряжения его могли показаться неугодными разве лишь по подозрению в них какого-нибудь тайного замысла (регентства и проч.); но как сердце государево, конечно, неспособно в отношении его, Васильчикова, к подобной мысли, то она и могла родиться единственно от посторонних злонамеренных внушений. Государь отвечал, что никогда подобной мысли не имел, а следственно, и подозрение в каких-нибудь внушениях само собою отпадает. Далее говорено было, что как дела о продовольствии ведались прежде в Комитете министров, под председательством его, Васильчикова, а теперь отделены в особый комитет, под председательством другого лица, то он заключает, что служба его более не нужна. На это ответствовано было фактом: в особом комитете, где председательствовал дотоле Чернышев, велено председательствовать Васильчикову.

Так окончилось это дело, и едва ли отношения между почтенным старцем и императором Николаем не сделались с тех пор еще искреннее, еще теснее. Эти два благородные сердца, неизменно стремившиеся к одной цели, вполне понимали друг друга, и случайные между ними неудовольствия имели всегда более вид размолвки между двумя любовниками. Васильчиков видел в Николае тот идеал, то олицетворение монархического начала, которое в то время считал столь нужным и для России и для Европы — и боготворил его. Николай любил и уважал Васильчикова как преданного друга, как благородную и возвышенную душу, как олицетворение праводушия, столько самому ему свойственного, и прощал своему другу его вспышки и напоминания, зная, что они истекали единственно от желания славы монарху и блага его державе. Вскоре после этой минутной размолвки граф Кисе-

[35] К этому, без сомнения, относились слова государя мне, что Васильчиков от него «оттягивается».

лев сказывал мне, что был свидетелем, как государь, получив при нем упомянутое выше письмо, в котором Васильчиков просил об отставке, сокрушался о том и горевал, что недоразумение может подорвать основания дружбы и приязни, столько лет их связывающей.

* * *

При нашем дворе издавна существовал для парадных выходов особенный дамский костюм, называвшийся русским платьем, но, в сущности, очень далекий от своего названия и составлявший нечто среднее между нарядом польским и татарским. В царствование императора Николая этот костюм был более сближен с народным и единообразен в покрое и вышивках, с установлением также одинаковой формы для кокошников и повязок. Между тем на большом дворцовом бале 6 декабря 1840 года некоторые дамы позволили себе отступить от этой формы и явились в кокошниках, которые, вместо бархата и золота, сделаны были из цветов. Государь тотчас это заметил и приказал министру императорского двора князю Волконскому строго подтвердить, чтобы впредь не было допускаемо подобных отступлений. Волконский же, вместо того чтобы ограничиться распоряжением по двору, сообщил эту высочайшую волю к исполнению С.-Петербургскому военному генерал-губернатору графу Эссену, никогда не отличавшемуся ни особенной рассудительностью, ни высшим тактом. И что же вышло? Через несколько дней все наши знатнейшие дамы и девицы были перепуганы набегом квартальных надзирателей, явившихся к ним с письменным объявлением помянутой высочайшей воли и с требованием, чтобы каждая из них расписалась на том же самом листе в прочтении сего объявления! Государь, до которого это, разумеется, тотчас дошло, сначала очень посмеялся над таким деликатным распоряжением полиции, но потом не оставил сделать строгое замечание и князю Волконскому, и графу Эссену.

V
1841 год

Балет «Зефир и Флора» — Дело Дубенского — Переходная ступень к образованию министерства государственных имуществ — П. Д. Киселев — Внутренность кабинета императора Николая I — Любовная интрига в большом свете — Н. Н. Муравьев — Двойной приговор крестьянину, произнесшему дерзкие выражения против государя — Бал у графини Канкриной — Кн. А. Н. Голицын — Ночлег императора у динабургского коменданта Гельвига — Немецкая просьба — Генерал-адъютант Микулин — Падение потолка Георгиевской залы — Наследник цесаревич — правитель империи во время отъезда государя на маневры в Ковно и Варшаву — Император Николай играет на домашнем театре в Гатчине — Большие дворцовые балы

19 апреля был торжественный спектакль по случаю празднования бракосочетания государя наследника. Давали давно забытый балет «Зефир и Флора», утомительный, скучный, с устарелой музыкой, но назначенный на этот день именно по воле государя потому, что этот же самый балет давали, 24 года перед сим, при собственном его бракосочетании.

* * *

Государственные имущества, до учреждения для управления ими особого обширного министерства, ведались в одном небольшом департаменте, принадлежавшем к общему составу министерства финансов. Начальником этого департамента многие годы, еще со времен императора Александра, был сенатор Николай Порфирьевич Дубенский — человек, немногому учившийся, но с чрезвычайно светлым и верным взглядом на дела. Сверх того, служив до полковника в армейских полках, с которыми часто переходил с одной стоянки на другую, и быв потом долго вице-губернатором, губернатором

и губернским предводителем, он приобрел очень много опытности и знал Россию как мало кто из тогдашних наших государственных людей. Вообще, если он и не был охотником до нововведений и редко помышлял о том, чтобы от частного идти к общему, т. е. от разрешения текущих дел к усовершению законодательства и к улучшению самой части, то, по крайней мере, со стороны критического ума, деятельности, распорядительности и железной энергии он имел мало соперников.

Но все отличные качества Дубенского помрачались его характером. Холодный и надменный эгоист, неумолимый деспот в кругу своих подчиненных[36], не только пользовавшийся вполне своею властью как строгий начальник, но и злоупотреблявший ею для колких и ядовитых насмешек над теми из подчиненных, которые имели несчастье ему не нравиться, он оставался верен той же самой язвительной насмешливости и в отношении к равным, к высшим себя, к администраторам, к правительству, даже к священному лицу монарха. Острый и едкий язык его никого не щадил, и если иногда Дубенский расточал свои насмешки не прямо в лицо, то всегда и предпочтительно перед самыми приближенными к тем, над которыми он издевался.

Все это, естественно, навлекло ему бесчисленное множество врагов; а как к прочим его свойствам присоединялись еще, собственно по службе, под видом охраны казенных интересов, всевозможные притеснения каждому, кто имел до него дело, самое грубое и жестокое обхождение, и, наконец, преднамеренные действия наперекор людям сильным, чтобы доказать свою власть или свое бесстрашие, то я не знал никого, кроме разве, может быть, графа Аракчеева, кто был бы вооб-

---

[36] Вместе с департаментом имуществ Дубенский управлял долго и департаментом податей и сборов, где, быв при нем три года начальником отделения, я имел случай подробно изучить этого чрезвычайно тяжелого, но все-таки примечательного человека.

ще так ненавидим всеми слоями публики. Даже непосредственный начальник Дубенского, граф Канкрин, который держал его и испрашивал ему частые награды единственно по убеждению приносимой им пользы, внутренне его терпеть не мог.

Отголоски этой публичной ненависти не могли не дойти и до престола, а тут к порицаниям заслуженным поспешила присоединиться и клевета. Дубенского выставили в глазах государя человеком, жертвующим государственными интересами для личных своих выгод, предателем благодетеля своего Канкрина, не имеющим ничего святого, осуждающим все, что делает правительство, даже противодействующим его распоряжениям, — словом, в самых черных красках, и именно в таких, которые наиболее должны были взволновать благородную и возвышенную душу императора Николая. Происки эти не остались тайной и для города. Стали говорить, что Дубенского отрешают от должности, предают суду и проч. Небольшое число его доброжелателей советовало ему, в отвращение грозившей бури, добровольно оставить службу. Но полагаясь, вероятно, на чистоту служебных своих действий или, по крайней мере, на ограждение их безукоризненным формализмом, он смеялся над всеми благонамеренными советами и продолжал оставаться при своей должности.

Около этого времени, к вящей пагубе Дубенского, выступал у нас на государственную сцену один новый человек с обаятельным умом, с необыкновенным искусством покорять себе людей, с блестящими формами, человек, исполненный воображения кипучей жизни, дальновидных государственных замыслов и отваги. Быв сперва начальником штаба 2-й армии и потом, после турецкой кампании 1828–1829 годов, полномочным правителем Молдавии и Валахии, где память о нем живет и доныне, Павел Дмитриевич Киселев в

роли рядового члена Государственного Совета[37] не мог находить достаточной пищи своей деятельности. Ему необходим был круг действия более обширный, более выпуклый, особенно такой, где, явясь исправителем старых упущений и вместе вводителем новизны и улучшений, он мог бы стяжать себе блестящую славу. Управление государственных имуществ представляло для всего этого самое пространное поле.

Как в частной жизни бывают иногда лица, против которых особенно устремляются злословие и клевета, так и в администрации всегда есть части, которые, по предубеждению ли, по обдуманному ли плану, или просто по привычке, делаются метой каких-то особенных, систематических нападок. К числу таких общепорицаемых частей у нас издавна принадлежало управление казенными крестьянами, оброчными статьями и проч. Оно действительно шло худо, но едва ли хуже некоторых других частей; только видимость предмета и, так сказать, осязательность его для каждого были причиной, что управление это осуждали более всех прочих.

Еще при императоре Александре, а потом и при его преемнике, неоднократно учреждаемы были высшие комитеты для преобразования этой части, но все, что ни придумывалось ими, встречало противодействие и от Канкрина, по общей ненависти его ко всему, чего не сам он был творцом, и от Дубенского — как врага по системе всяких нововведений и немилосердного критика всех идей, заимствованных из одной теории. При том предубеждении и, можно сказать, нравственном презрении, которое питал император Николай к Дубенскому, и при блестящих качествах Киселева, нетрудно было внушить государю, с одной стороны, что пока эта часть находится в руках у упорного Канкрина и его директора, до тех пор нельзя ожидать ничего хорошего, с другой — что для

[37] Он был возведен в это звание 6 декабря 1834 года, в один день с назначением меня государственным секретарем.

коренного преобразования и улучшения необходим и способен один только бывший правитель княжеств, который из царствовавшего там хаоса успел в несколько лет создать образец порядка и благоустройства.

И вот настал роковой январь 1837 года.

В ночь с 6 на 7 число Канкрина разбудили указом, павшим на него и на массу людей, как снег на голову, но давно предвиденным людьми наблюдательными. Дела о государственных имуществах были изъяты из министерства финансов; для заведования ими учреждено новое, пятое отделение в составе Собственной его величества канцелярии, по которому назначен докладчиком Киселев, а прежним департаментом велено управлять особому Временному Совету, за учреждением которого Дубенский перестал быть директором, хотя указ лично о нем прошел молчанием[38]. С сей эпохи открылось уже прямое и гласное преследование его. Сначала, под видом ревизии дел департамента имущества, приступлено было к обследованию личных действий бывшего его директора. Это обследование возложили на старого подьячего и отъявленного врага Дубенского, сенатора Болгарского, под благовидным предлогом, что он некогда сам управлял тем же департаментом, и на генерал-адъютанта Деллингсгаузена, человека с некоторой военной репутацией, но совершенно несведущего в гражданской части[39].

Естественно, что такая ревизия, под влиянием личной вражды и при стремлении угодить предполагаемому свыше желанию, произведена была не только со всею строгостью и с самой мелочной подробностью, нисходившей до порядка внесения бумаг в реестры, переписки черновых отпусков,

[38] Министерство государственных имуществ было образовано уже позже, в конце года; но Киселев получил портфель, как уже упомянуто, с самой минуты удаления Дубенского.

[39] Позже Деллингсгаузена заместил князь Голицын, назначенный впоследствии статс-секретарем у принятия прошений.

скрепы их и проч., но и со всевозможной придирчивостью. Обвинения ревизоров с первого взгляда представлялись столько же странными, сколько, по большей части, и несовместными. По множеству страстей были сделаны произвольные выводы от частностей к общему, т. е. от беспорядков, усмотренных по нескольким делам, выводилось заключение о бездействии, небрежении или упущении департаментом своих обязанностей вообще. Сверх сего Дубенскому, и всегда только ему одному, вменялось в вину и то, что по закону лежало прямо на обязанности его подчиненных, и то, что делал и предписывал министр, и то, что было разрешено Сенатом, наконец даже такие упущения и действия, которые относились к времени, предшествовавшему его управлению.

Словом, бывшего директора представили каким-то исключительным лицом, на которого одного должна была пасть ответственность по целой части, как будто бы не существовало ни над ним министра, ни под ним чинов департамента, и как будто бы он был не только самостоятельным во всем распорядителем, но и контролером действий своего начальника. В таком виде обвинительные пункты, возросшие до 33 статей, были по высочайшей воле предъявлены Дубенскому, и тут наступило для него новое, самое горькое уничижение. С целью извлечения нужных к оправданию материалов ему открыты были все дела департамента, но не иначе как в самом департаменте. Таким образом, сенатору, александровскому кавалеру и прежнему самовластному и высокомерному начальнику надлежало всякий день являться в департамент, самому приискивать все нужные для него сведения и бумаги, делать лично все выписки и проч.; и все это в глазах и посреди прежних подчиненных, которым не было уже надобности его беречь и которых малоскрываемые глумления так тяжко должны были язвить его самолюбие…

Обвинения ревизоров вместе с оправданиями Дубенского поступили в 1-й департамент Сената. Здесь все выведенные

первыми упущения признаны были или такими, которые, по связи их с мерами общими, не зависели от одного департамента имуществ, или же такими, за которые директор мог бы подлежать разве лишь взысканию административному. Только один предмет обвинения — о приобретении Дубенским от некоторых лиц прав на пожалованные земли — показался довольно важным, чтобы подвергнуть его судебному разбору. Вследствие того Дубенский предан был суду в V-м департаменте, с объявлением секретно высочайшей воли, чтобы до окончания суда он не присутствовал в Сенате[40].

V-й департамент, обвинив подсудимого лишь по весьма немногим статьям, заключил тем, чтобы считать его уволенным от должности директора; но потом, на основании данного министром юстиции (графом Паниным) предложения, изменил свою резолюцию и хотя по десяти статьям совсем отвергнул обвинения ревизоров, а по некоторым другим нашел их маловажными, однако, при общем соображении остальных, признал Дубенского виновным в бездействии власти, невнимании к государственным пользам и употреблении начальнического влияния для своекорыстных видов. Затем, приняв в основание к смягчению приговора недостаток средств бывшего управления столь обширным ведомством, исполненные и предположенные при Дубенском в последние годы улучшения и, наконец, пятидесятилетнюю службу, V-й департамент определил: считать его отрешенным от должности директора, о чем, равно как и о вине его, публиковать повсеместно печатными указами. Граф Панин, с своей стороны, внося это дело в Государственный Совет, прибавил, что, за силой такого приговора, он не считает уже приличным оставлять Дубенского и в звании сенатора.

---

[40] Государь в такой степени обращал внимание на это дело, что приказал доносить себе о ходе его каждые две недели. За всем тем оно пролежало в V-м департаменте и в министерстве юстиции около года, а всего, от начала его до окончания, длилось более четырех лет.

Доклад V-го департамента поступил в Совет в половине марта; но огромность его (в нем было около 1500 страниц) не позволила изготовить дела к слушанию прежде половины мая. В этот промежуток времени последовало бракосочетание государя наследника, сопровождавшееся изданием милостивого Манифеста, которого влияние должно было простираться и на участь настоящего дела. В гражданском департаменте Совета стал на стражу интересов Дубенского один из немногих друзей его, Лонгинов, с которым согласились три другие члена: принц Петр Ольденбургский, Грейг и Оленин; но зато с тем большей запальчивостью вооружился против Дубенского Бутурлин, который оставался, однако же, один.

Между тем как обвинения ревизоров и V-го департамента или, лучше сказать, министра юстиции, которого мнение сенаторы приняли, были в наибольшей части статей слишком притязательны, чтобы согласиться с ними безусловно, даже и при явном недоброжелательстве к обвиняемому, то из числа 33 статей по 31-й состоялось в гражданском департаменте единогласное заключение, которым Дубенский или вполне оправдывался, или извинялся разными обстоятельствами, и разномыслие произошло только по двум статьям. Одна касалась того, что в представлении Комитету министров об отдаче в частную аренду Онежских лесопильных заводов было умолчано о возражениях против сей меры местного начальства, которые, может быть, дали бы другое направление делу, представлявшему важный казенный интерес. Бутурлин относил сие к вине Дубенского, а прочие четыре члена оправдывали его тем, что отдача заводов приказана была собственноручной резолюцией министра, следственно, Дубенскому как исполнителю нельзя было и представление Комитету изложить в ином смысле.

Другая статья была гораздо важнее. Дубенский скупил от разных лиц права на пожалованные им земли (более 180 тыс.

десятин) и вобрал сии последние в таком участке Оренбургской губернии, который за восемь месяцев перед тем предписанием министра финансов за скрепою самого его, Дубенского, велено было оставить для казенных крестьян, с запрещением раздачи в частное владение. При предназначении сих земель Дубенскому некоторые смежные селения изъявили желание оставить их за собою; но ни это желание, ни последующие просьбы и жалобы крестьян не были уважены министерством. Наконец, в представлении министра Сенату об утверждении означенных земель за Дубенским сокрыты были как сии просьбы и жалобы, так и предшедшее запрещение раздавать тот участок в частные руки. Пятый департамент вывел из сего, и Бутурлин вполне с ним согласился, что в действии департамента государственных имуществ по выбору и отводу земель директору оного Дубенскому обнаруживается преступление пределов власти в своекорыстных видах, по которому Дубенский не может уже впредь иметь доверия в поручении ему какого либо государственного управления.

Но тут был и оборот медали. Дубенский имел осторожность совершенно устранить себя от управления департаментом по всему производству этого дела и всегда и везде являлся и действовал в нем как постороннее частное лицо; он подавал только просьбы, а все распоряжения исходили от министра за скрепою вице-директора (Эногольма). Следственно, по строгости, Дубенский мог в качестве частного лица просить и беззаконного, т. е. отвода ему таких земель, которые за 8 месяцев прежде, при участии его в качестве директора, запрещено было раздавать в частное владение, а дело уже министра или департамента было в том отказать, как равно и включить в представление Сенату те обстоятельства, которых пропуск вменен был после в вину, без всякого основания, самому Дубенскому. Выведя подробно все сии обстоятельства в своем мнении и присовокупив еще, что

преступлением и проступком закон велит считать только то, что запрещено им под страхом наказания, а покупка прав на пожалованные земли нигде директору департамента имуществ не возбранена, четыре члена признали Дубенского по сей статье невинным. К этому мнению принц Ольденбургский приписал еще в черновом проекте собственноручно: «Хотя же Дубенскому и надлежало бы отклонить от себя малейшую даже тень подозрения; но за намерения он может подлежать одному суду совести и суду Божьему; суд же человеческий требует доказательств юридических, формальных, а Дубенским по сей статье все формы соблюдены».

Когда дело с таким разногласием перешло в общее собрание Государственного Совета, враги подсудимого и вообще те, которых интересовал исход суда над ним, начали усердно действовать против него. Председатель Совета князь Васильчиков лично совсем не знал Дубенского, а по репутации знал его тоже очень мало. Но тем более знали нравственную сторону самого Васильчикова искавшие предрасположить его. Дубенский был выставлен в его глазах своекорыстным человеком, который пожертвовал для своих выгод казенным интересом, а потом умыл себе руки, сложив всю вину на министра, всегдашнего его благодетеля, и на вице-директора, который был единственно слепым и раболепным его орудием. Этого довольно было, чтобы вооружить все праводушие князя, и при первом моем с ним объяснении я увидел, что Дубенский потерян: ибо именно в этом деле, по направлению суждений в ту или другую сторону, личный взгляд председателя был особенно важен. Так и случилось.

До заседания некоторые из членов в частных разговорах, очевидно, склонялись в пользу подсудимого; но их испугали «соболезнованиями о его судьбе», говоря, что государь крайне против него разгневан и, какое ни последовало бы заключение в Совете, непременно его осудит. Граф Канкрин в то время был за границей, а управляющий за него министерст-

вом Врончено в заседание не явился под предлогом нездоровья, но, без сомнения, избегая необходимости или осудить прежнего товарища (оба долго вместе были директорами), или коснуться действий своего министра. Киселев также не приехал, быв в то утро с докладом у государя. Затем в самом заседании (9 июня), едва прочли дело, председатель, вопреки своему обыкновению, и даже, некоторым образом, вопреки если не законам, то преданиям Совета, первый начал говорить.

— Всем, — сказал он, — довольно, я думаю, известно, что не в моих правилах кого-либо утеснять; но в настоящем случае мне кажется долгом каждого верноподданного, тем еще более каждого из нас, сказать государю правду, а по моему глубокому убеждению, она состоит в том, что сенатор — помните закон: «честность должна быть его дружбой», — что сенатор, который наложил на себя пятно даже в своих намерениях, хотя бы по действиям оградил себя формой, не может уже более оставаться в этом звании. Сверх того я предлагаю Совету другой еще вопрос: должны ли неправильно отданные г. Дубенскому земли, если они окажутся нужными для казны, оставаться его собственностью?

Разумеется, что первая апострофа князя увлекла и тех членов, которые могли еще втайне благоволить к подсудимому. В том же смысле начали тотчас говорить граф Панин, Бутурлин и граф Блудов; четыре члена гражданского департамента защищались слабо, и общим результатом при отобрании, наконец, голосов было, что при высказанном в департаменте мнении остались они одни, а все остальные 19 членов заключили: Дубенского, освободив от наказания единственно силой Манифеста, уволить от звания директора[41]. Относительно же предложенного Васильчиковым

[41] Замечательно одно в этом решении: что не было заключено ни потребовать объяснения от министра финансов, каким образом он мог отдать

второго вопроса сии 19 членов рассуждали, что в смысле юридическом вопрос сей не мог быть разрешен иначе, как отрицательно, за непрошествием еще законной давности от утверждения земель за Дубенским; но в смысле административном необходимо предусмотреть и охранить здесь и другие еще предметы, именно: возможность и удобство выселения тех крестьян, которые могли быть водворены там Дубенским; действительную надобность в этих землях для казенных крестьян или для других потребностей казны, наконец, и следующее Дубенскому вознаграждение, так как самого права на отвод земель в том или другом месте, основанного на законной покупке, отнять у него нельзя. Вследствие того положено было поручить министру государственных имуществ, собрав о всем этом ближайшие сведения, войти с особым представлением в Комитет министров.

Мнение 19 членов было утверждено государем безусловно. Извергнутый, таким образом, из службы Дубенский, и в то время уже весьма престарелый, прожил, однако, еще несколько лет, не выезжая из Петербурга, где у него был собственный дом у Таврического сада. Из этого дома, почти за 30 лет перед тем, и именно в марте 1812 года, ночью, тайно от всех, полицейский офицер вывез Сперанского, в кибитке, в нижегородское заточение. Здесь же, спустя 10 лет, в 1851 году случилось самоубийство товарища министра внутренних дел Сенявина…

Сыновья Дубенского служили с отличием в военной службе, и один из них, уже генерал, пал славной смертью от

Дубенскому такой участок земли, который сам, 8 месяцев перед тем, запретил обращать в частное владение, ни от вице-директора о том, почему допущены были им все умолчания и отступления, давшие делу о сем участке беззаконное направление. В естественном негодовании Совета против главного виновного, который для достижения своих целей употребил во зло нравственное свое влияние над подчиненными ему лицами, все относившееся не к нему лично было оставлено без внимания или обойдено.

раны, полученной им в 1854 году при переправе через Дунай у Браилова.

* * *

Император Николай только в самые последние годы своей жизни переселился в тот маленький кабинет (в Зимнем дворце), где предопределено ему было окончить свои дни смертью праведника. Прежний его кабинет был в самом верхнем этаже над этим маленьким, окнами к Адмиралтейству. При заседании в 1841 году одного из собиравшихся у государя комитетов, в котором и я участвовал в качестве производителя дел, я успел во время продолжительного им самим чтения известных уже мне бумаг подробно высмотреть эту «мастерскую вечного работника на троне», к чему более имел удобства в этот раз, нежели в другие, когда я призывался пред государем один. Немедленно по возвращении из комитета домой я бросил на бумагу изображение этого кабинета, и вот как оно вылилось у меня тогда из-под пера.

Вокруг всей комнаты идут полушкафы, на которых лежат книги и портфели. Посередине ее два огромных письменных стола, в параллельном направлении; третий поперек комнаты, с приставленным к одной оконечности его пюпитром[42]. В целом — порядок удивительный: ничего не нагромождено, не валяется; всякая вещь кажется на своем месте. Заседание комитета было вечером, и на ближайшем ко входной двери столе, на котором хозяин обыкновенно работает, лежало несколько невскрытых пакетов, вероятно только что присланных, потому что император Николай никогда не ложился, не вскрывая всего им полученного. Во всей комнате только два,

[42] Император Александр II, читавший эти записки, делал на полях свои замечания, которые и приводятся здесь в выносках. — Перед словом «пюпитром» он написал «бюро».

но огромных, как ворота, окна и в простенке между ними большие малахитовые часы с таким же циферблатом.

Вся без изъятия мебель, стулья и кресла, карельской березы, обитая зеленым сафьяном; один только диван и ни одного Вольтера. Поданные на стол, у которого мы сидели, подсвечники были серебряные, самые низенькие, в форме подушечек, и сверх того на полушкафах стояли две обыкновенные столовые лампы; небольшая бронзовая люстра не была зажжена. На каминах и на столах расставлены восковые и гипсовые[43] статуэтки солдатиков в полной форме, а на одном из полушкафов четыре такие же фигурки, побольше, под стеклянными колпаками.

На продольной стене, против входа, огромная картина Ладюрнера, изображающая парад на Царицыном лугу; на противоположной стене картина, такого же размера, Крюгера, представляющая парад в Берлине. Затем на поперечной стене, тоже между двумя большими картинами, которых я не мог хорошенько разглядеть[44], грудной портрет Петра Великого, а под ним и вокруг него, на уступах двух каминов и на письменных столах, также множество портретов, больших и миниатюрных, бюстов и бюстиков членов нашего, прусского и нидерландского царственных домов, живых и умерших. Одного только нет, или, по крайней мере, при всех поисках я не мог найти, — изображения Екатерины II. Известно, что император Николай, для которого душевная чистота была высшим из всех качеств, никогда не принадлежал к числу ее почитателей и нисколько не таил своей неприязни к ее памяти.

* * *

Один молодой человек из высшего общества давно уже состоял на замечании тайной полиции по либеральным сво-

---

[43] Император Александр II написал: «свинцовые раскрашенные».

[44] Император Александр II написал: «Полтавского сражения».

им идеям; но долгое время были в виду именно все одни только идеи, а не факты, за которые можно было бы ухватиться. Наконец сделалось известным, что он имеет любовную связь с одной замужней дамой, принадлежавшей также к высшему обществу. И что, кроме свиданий, между ними есть и постоянная переписка. Через подкупленную прислугу эта переписка вскоре перешла в руки тайной полиции. Сначала были все только идиллии; но в одном из последних писем болтливый любовник, рассказывая, как все ему наскучило, как он недоволен правительством, как все у нас худо идет, как необходима перемена, между разными вздорными патриотическими возгласами объявил прямо, что, жертвуя собой для пользы общей, он решается убить государя. Разумеется, что после такого открытия вся переписка представлена была на высочайшее воззрение. Государь отвечал графу Бенкендорфу: «Возврати этому молодцу его письма и скажи ему, что я их читал, да вразуми его, моим именем, что когда имеешь любовную связь с порядочной женщиной, то надо тщательно оберегать ее честь и не давать валяться ее и своим письмам»[45]. Неужели же этим все и кончилось? Именно этим одним.

* * *

Николай Назарьевич Муравьев, пользовавшийся, в звании Новгородского губернатора, особенным расположением графа Аракчеева, был потом назначен статс-секретарем в состоявшую под управлением графа Собственную его величества канцелярию и остался в этой должности и по вступлении на престол императора Николая, но уже без посредствовавшей между ним и государем власти. Но в 1831 году, возвратясь из данного ему отпуска, он повестил всех о

[45] Император Александр II написал: «Никогда об этом не слыхал».

вступлении своем снова в должность, без спроса на то предварительного высочайшего соизволения. Это отступление от того общего порядка, по которому всякий подчиненный после отпуска вступает в прежние свои обязанности не иначе, как с разрешения своего начальства, прогневало государя — и Муравьев был сменен Танеевым. С тех пор он жил без службы, в своем селе Покровском, невдалеке от Петербурга, по Шлисссльбургской дороге, и оттуда не переставал громить публику разными философическими трактатами под названием его «Досугов», публикациями о своих хозяйственных изобретениях и усовершенствованиях, о «ржи муравьевке», колоссальном картофеле, исполинской капусте и проч.; наконец, самого государя — диссертациями и утопиями по разным частям государственного управления. Во всем этом, с притязанием на глубокую мыслительность, являлись всегда одни высокопарные нелепости, выраженные самым диким и неуклюжим языком. «Досуги» Муравьева, не менее чем и хозяйственные объявления, — смесь безвкусия, каких-то почти ребяческих полумыслей и, при крайней самоуверенности, отсутствие всякого такта — морили публику со смеха.

При всем том император Николай, снисходя к «коньку» старика, не запрещал ему писать к себе обо всем, что приходило ему в голову, хотя потом написанный им вздор оставлял без внимания или изредка сообщал кому-либо из приближенных, чтобы вместе посмеяться. Так однажды, в 1841 году, государь вручил князю Васильчикову полученное от бывшего своего статс-секретаря новое произведение, с приказанием, в шутку, передать его мне, в образец слога для государственных бумаг.

Одно вычурное заглавие показывало уже достаточно направление и содержание сочинения. Оно было названо «Созерцание будущего распространения русских народностей» и начиналось так: «Нынешнее отделение народа русского, посвящающее себя службе царской, родовое дворянство, хотя и

распложается, но не в той степени, как народ русский. А состоянием своим оно решительно упадает; смышлением же, язычествуя, очевидно попячивается к смышлению народа, смышлению, быстро вперед подвигающемуся: для этого не нужно более русской грамоты и счета, или природного смышления слушать того, кто се читает». В таком же роде продолжалось все и далее, точно сонный бред спящего. Тут шла речь и о конституции, и о железных дорогах, и о том, что новые законы дурны, и о старике, «всесторонне надломленном порывами вихрей его жизни», и об окружающих государя «льстивых и односторонних должностях», и о «чуждых водаках», и хотя сочинитель заключил произведение свое «искренним желанием, чтоб подобные листы письмен его сохранились в его неотдаленное потомство, дабы прах его был в нем покоен», однако, при всем этом наборе слов, никакой человеческий ум не мог бы понять цели бумаги и вообще того, что мерещилось при ее изложении «всесторонне надломленному старику». А между тем, император Николай имел терпение пробегать такие «листы письмен» или, по крайней мере, не запрещал автору утруждать его ими под страхом заключения в дом умалишенных!

* * *

В конце 1841 года в Государственном Совете рассматривался доклад Сената об одном крестьянине, который в пьяном виде произнес дерзкие выражения против государя. Сенат, присудив его к ссылке в каторжную работу, проставил вместе с тем о помиловании, т. е. о замене каторги, в уважение к невежеству и пьяному состоянию преступника, ссылкой на поселение. Государственный Совет нашел, что в преступлениях такой важности и Сенату и самому Совету следует присуждать наказание по всей строгости законов, а смягчение может зависеть единственно от монаршего милосердия;

почему, с прописанием впрочем и всех этих рассуждений, представил заключение о ссылке того крестьянина в каторгу. По делам подобного рода, когда не было стечения других еще преступлений, император Николай обыкновенно и, можно сказать, всегда даровывал виновным совершенное прощение; но на этот раз мемория, против общего чаяния, возвратилась с безусловным утверждением, которое и было объявлено Совету в присутствии наследника цесаревича[46]. В следующее, однако, заседание его высочество возвестил мне волю государя, чтобы исполнение по этому делу остановить и представить его вновь для прощения осужденного. Вечером, на бале у графа Воронцова, государь, увидев меня, лично подтвердил мне то же самое приказание, прибавив, что не понимает, как это дело могло у него проскочить. Таким образом, уже на самых первых порах обнаружились благотворные последствия присутствия наследника в Совете.

* * *

Граф Канкрин имел системой почти ежегодно стращать всех оставлением им министерства, особенно пока трудно было предполагать, чтобы назначенного ему в товарищи Вронченко сочли способным и достойным занять его место. В конце 1841 года я как-то заехал к графу, и тут он торжественно уверял меня, что ничем уже не убедят его остаться министром; что здоровье его совершенно расстроено, но что еще более побуждают его бросить службу общие против него нападки, происки враждебной партии, интриги его неприятелей и проч.; что он уже купил себе дом (графа Кушелева на

---

[46] Его высочество пожалован был в члены Государственного Совета собственным указом августейшего его родителя 16 апреля 1841 года, в день его бракосочетания, но не утром, а поздно вечером, так что это пожалование можно было считать как бы относившимся к следующему уже числу — дню рождения его высочества.

Дворцовой набережной), чтобы жить в нем частным человеком; что при увольнении не будет просить ни пенсии, ни другой награды, а хочет просто покоя, и тому подобное.

И действительно, он послал просьбу об отставке; но государь сперва лично к нему приехал, а потом прислал, по выражению графа Орлова, «любовное» письмо — и старик остался, даже более чем остался: он объявил гласно своим приближенным, что после всего сказанного и написанного ему государем считает обязанностью служить до последнего его дыхания.

Впрочем, по уверению тех же приближенных, истинной причиной прежней его решимости оставить службу были не столько приведенные им мне обстоятельства, сколько огорченное тщеславие его жены: она давно уже оскорблялась, что ее не жалуют в статс-дамы, чего, однако же, она не удостоилась и до конца своих дней. Графиня Екатерина Захарьевна (урожденная Муравьева, дочь эконома в Смольном монастыре) была женщина добрая, но ветреная и не всегда осторожная на язык, и император никогда ее не жаловал. За несколько перед тем лет граф давал большой бал, и когда государя спросили, будет ли он там, он отвечал:

— Помилуйте, да разве вы не знаете, что графиня терпеть меня не может; она, пожалуй, выгонит меня из дому.

* * *

Князь Александр Голицын, хотя и не пользовался особенно высоким мнением императора Николая относительно государственных его достоинств, однако же всегда был чрезвычайно им любим и уважаем как один из приближеннейших людей к Александру I, как чрезвычайно добрый, можно даже сказать, добродетельный человек и, вместе с тем, как необыкновенно приятный собеседник, обладавший неистощимым запасом воспоминаний и анекдотов о старине.

Полнота доверия к нему выражалась, между прочим, и тем, что при многочисленных разъездах государя и императрицы Голицын всегда — и в детстве, и в первой молодости государя и наследника — оставался главным его пестуном и блюстителем над его воспитанием и воспитателями[47]. Вследствие этого государь избрал день бракосочетания наследника, чтобы ознаменовать свое благоволение к Голицыну особенной милостью. В такую минуту, когда мы не имели ни одного действительного тайного советника 1-го класса, он был возведен в этот чин, обойдя 13 старших (считая в том числе и военных генералов), и притом не обыкновенным, а написанным от начала до конца собственной рукой государя указом. Этот драгоценный знак внимательности глубоко растрогал старика.

— Я полагал, — говорил он, — что для меня уже не может быть никакой награды (действительно, он уже имел и все ордена и государев портрет), а государь не только придумал ее, да и исполнил еще таким образом, что одно уже это исполнение превыше всякой награды![48]

Это мне припоминает, что в 1837 году, при посещении императором Николаем с некоторыми из членов царственной его семьи южного берега Крыма, они были и в Гаспре, замке князя. Под находившимся там его портретом государь подписался собственноручно так:

«Рад видеть портрет; но оригинала здесь видеть никогда не желаю: ибо кого душевно любишь, с тем не расстаешься вечно; не так ли?

Николай.

Гаспра, 18-го сентября 1837».

[47] Впоследствии то же самое было в отношении и к прочим детям царским.

[48] Князь Голицын после этого пожалования завел себе новые визитные карточки, которые показались всем немножко вычурными. На них напечатано было, без фамилии, просто: «Действительный тайный советник 1-го класса». Правда, что он в то время был один в этом чине, но все же титул его был не должностью, а только чином.

Тут же приписались жена и дети:
«Александра. Согласна».
«Александр 18 сентября 1837».
«Елена 18 сентября».
«Мария».

* * *

Динабургский комендант, генерал-лейтенант Гельвиг, был заслуженный, опытный и вообще отличный инженерный офицер, но с тем вместе большой взяточник, что едва ли не дошло, под рукой, и до императора Николая, впрочем, очень его даровавшего. Другим, также известным свойством Гельвига, было чрезвычайное его отвращение к женскому полу. В проезд государя[49] в 1841 году[50], вместе с императрицею и бывшей тогда еще великой княжной Ольгой Николаевной[51], через Динабург, помещение для них отведено было в комендантском доме, как лучшем в целом городе. Приехав туда, государь, с свойственным ему, когда хотел, строгим выражением лица, объявил Гельвигу, что имеет переговорить с ним наедине, и, отведя его в особую комнату, вдруг спросил его, тоже очень строгим тоном:

— Гельвиг, я должен сделать тебе вопрос по совести; но дай честное слово, рука на сердце, что ответишь сущую правду.

Можно себе представить, что «на вору шапка загорелась», и что он, между жизнью и смертью, ожидал грозного допроса и потом приговора за обнаруженное свое лихоимство. Но после минутного молчания государь продолжал:

— Правда ли, что ты ненавидишь женщин?

---

[49] Император Александр II прибавил: «с государем наследником».

[50] Император Александр II исправил: «в 1840 году».

[51] Император Александр II прибавил: «и невестой государя наследника принцессой Марией Гессенской».

— Во всяком правиле есть изъятие, — пролепетал оживший Гельвиг, — и ваше величество, конечно, не изволите подумать…

— Ну, извини же, что я навязал тебе жену и дочь; когда они выедут, ты можешь обмыть и обкурить свой дом, чтобы и духу их не осталось.

* * *

Курляндский помещик, отставной подполковник Фитингоф вознамерился при проезде государя через Динабург подать просьбу по служебному своему делу и, выбрав для того минуту, когда государь выходил из церкви, упал перед ним на колени, держа бумагу в руках.

Государь с гневом приказал ему подняться.

— Разве вы не знаете, сударь, что на колени становятся только перед Богом!

Между тем он развернул, однако, поданную просьбу, но еще более разгневался, увидав, что она написана по-немецки.

— Стыдитесь, сударь, дослужившись в русской службе до подполковничьего чина, не знать довольно русского языка, чтобы подавать мне немецкую просьбу.

— Но, ваше величество, по нашим курляндским правам…

— А по нашим русским правам за такие вещи сажают на гауптвахту, куда и прошу вас сейчас отправиться.

Дело в том, что хотя действительно Курляндия пользовалась правом употреблять в судопроизводстве немецкий язык, однако едва ли могло быть что-нибудь нелепее, как применить такое право к просьбе, подаваемой монарху русским офицером, и гнев государя, при столь вздорном ответе на его замечание, был совершенно естествен. Впрочем, Фитингоф просидел на гауптвахте не более часа.

* * *

В июле умер генерал-адъютант Микулин, еще в цвете лет. Человек желчный и с самым тревожным самолюбием, он командовал при событиях 14 декабря 1825 года 1-м батальоном лейб-гвардии Преображенского полка, потом был долгое время командиром этого полка и наконец выдвинулся несколько вперед по участию своему в усмирении беспокойств, возникших в 1830 году, во время холеры, в Новгородских военных поселениях.

Немногим кому известно, что он был некогда невольной причиной перемены в наших орденских постановлениях. По присоединении ордена св. Станислава к русским кавалеры 1-й степени продолжали носить звезду и по получении 1-й степени Анны, а лента Станислава надевалась в таком случае по камзолу, под мундиром. Так сделал и Микулин, когда ему после Станислава, в 1833 году, пожалована была Анненская лента.

Был ли он первым[52], который в этой форме попался на глаза, или по чему другому, только, увидев его в двух звездах, государь изъявил свое удивление, откуда у него другая, и узнав, в чем дело, приказал, чтобы впредь, по получении Анненской звезды, звезда и лента Станислава были снимаемы и кавалеры заменяли их крестом на шее. Впоследствии это повеление вошло и в орденский статус.

* * *

В ночь с 9 на 10 августа обрушился в Зимнем дворце потолок Георгиевской залы и увлек в падении своем часть стен и колонн, сооруженных из каррарского мрамора. Потолок упал от того, что подломились чугунные балки, на которых

---

[52] Император Александр II написал: «Это было общим обыкновением».

он был утвержден. Утром того же дня собиралась в этой зале кавалерская дума ордена св. Станислава, которой заседание окончилось в половине пятого, а с небольшим за три месяца перед этим происшествием кипел тут народный маскарад, данный в присутствии всего императорского дома по случаю бракосочетания государя наследника… Толкам городским по случаю этого печального события не было конца.

— В нынешнее царствование, — говорили, — сгорел дворец, стоявший семьдесят лет, и возобновленный обрушается, провалилась тронная зала…

Но более всего было вопля против главного строителя, графа Клейнмихеля. Говорили — и громко, во всех сословиях, — что если успех построения дворца обращен был в личную ему заслугу, то и неудачу должно точно так же обратить на личную его ответственность, и что если прежде он был осыпан наградами, то теперь надо подвергнуть его наказанию.

Впрочем, Георгиевская зала не впервые уже подвергалась подобной участи. Года за два или за три до пожара в ней осыпалась с потолка штукатурка, и притом тотчас после собрания Георгиевской думы, в которой присутствовал великий князь Михаил Павлович.

* * *

Великий князь Николай Павлович никогда не знал положительно ни об отречении Константина Павловича от своих прав на наследование престола, ни о том, что преемником Александра будет он, Николай Павлович. При сохранении в глубокой тайне тех актов, которыми приготовлена была эта перемена в порядке наследия русского престола, великого князя хотя и мог наводить иногда на мысль о том разговор с ним императора Александра I в 1819 году в Красносельском лагере, но ничто во внешнем образе действия императора не

обнаруживало намерения привести в исполнение выраженную тогда мысль. Великий князь не был приобщаем ни к каким высшим правительственным соображениям, не был ознакомливаем с делами государственными и вообще был совершенно удаляем от всего, что выходило из официальной его сферы — дивизионного командира в гвардейском корпусе и начальника инженерной части.

Наученный опытом, император Николай начертал себе совсем другой образ действия в отношении к своему сыну. Цесаревич Александр Николаевич с первой молодости присутствовал при всех министерских докладах, прочитывал все восходившие к его родителю акты государственных установлений и присутствовал — сперва слушателем, а потом и членом — в Государственном Совете и в Комитете министров. Наконец в августе 1841 года, при отъезде государя на маневры в Ковно и Варшаву, последовал рескрипт, которым возлагалось на князя Васильчикова объявить Комитету министров, что решение по его делам в высочайшем отсутствии поручается наследнику. Этот пример некоторым образом соцарствия, едва ли не первый в нашей истории, свидетельствовал вновь и о высокой предусмотрительности императора Николая, и о святой чистоте того сердечного союза, который связывал его с сыном-преемником.

Упомянутый рескрипт объявлен был Комитету в чрезвычайном собрании, созванном в четверг, тогда как заседания его бывают всегда по вторникам. Преднамерение государя содержано было так тайно или родилось так внезапно, что и для приближеннейших представило совершенную неожиданность. Так, например, военный министр князь Чернышев, всякий день видевший государя, перед самым тем заседанием Комитета, к которому члены были приглашены особыми повестками для выслушания высочайшего повеления, сказывал одному из своих чиновников, что оно касается, вероятно,

отобрания недвижимых имений у католического духовенства, о чем тогда шла речь.

Вот подлинные слова рескрипта, подписанного в Царском Селе 20 августа: «Князь Илларион Васильевич! Признав за благо в отсутствие мое поручить любезнейшему сыну моему, наследнику цесаревичу и великому князю Александру Николаевичу решение по делам Комитета министров, предлагаю вам о сем объявить Комитету. Те дела, по коим следовать будут указы, представлять особо на мое рассмотрение».

Рескрипт этот, впрочем, никогда не был публикован и содержался всегда в некоторой тайне. В утверждаемых наследником цесаревичем и передаваемых к исполнению в подлежащие министерства положениях Комитета попрежнему означаемо было, что они «высочайше утверждены», и весь этот временный распорядок оставался только домашним, так сказать, делом. Под заключениями Комитета, где государь в случае утверждения их ставил под каждой журнальной статьей особый знак, цесаревич вместо того выставлял букву А; после чего, в конце всего журнала, он писал: «за отсутствием государя императора цесаревич Александр».

* * *

Во второй половине октября двор провел неделю в Гатчине, и петербургскую публику очень занимали слухи о готовившемся там на это время спектакле. Предполагалось играть две пьесы: забавный фарс Каратыгина «Ложа 1 яруса на последний дебют Тальони» и французскую старинную комедию «L'hotel garni», в которой император Николай в 1820 году, в бытность еще великим князем, но уже супругом, исполнял на домашнем спектакле у императрицы Марии Федоровны роль трактирщика. В обеих пьесах — так гласила городская молва — должен быть играть сам государь: во французской прежнюю роль, а в русской — роль немца, сби-

ваемого с ног у кассы русским купцом и потом просящего у него же в этом прощения.

На репетициях, действительно, государь занимал эту роль (русского купца представлял флигель-адъютант Катенин)[53]; но в настоящий спектакль было иначе. Сначала, в субботу, 18 октября, играли одну вышеупомянутую французскую пьесу, в самом тесном кружке, составленном, сверх царской фамилии, только из княгини Барятинской (матери), графини Бобринской, графов Орлова и Бенкендорфа и генерал-адъютанта князя Лобанова-Ростовского. Тут, в воспоминании юношеских забот, государь действительно занимал прежнюю роль трактирщика. Затем русскую пьесу играли в воскресенье 19-го, при публике несколько более многочисленной; но в этом представлении государь уже не участвовал. И роль, которую он исполнял на репетициях, была передана адъютанту наследника Мердеру. Прочие важнейшие роли выполняли: мужские — придворные кавалеры Никита Всеволжский и два брата графы Виельгорские и Преображенский офицер Вонлярлярский[54], а женские — фрейлины графиня Тизенгаузен, Бартенева и Нелидова.

* * *

Большие дворцовые балы, бывавшие при императоре Николае обыкновенно в Николин день (6 декабря), а иногда и в другие высокоторжественные дни, из году в год имели одинаковый, строго классический, но именно потому и чрезвычайно грандиозный характер. Танцы, ограничивавшиеся в прежнее время только одними полонезами, к которым впоследствии присоединились вальс, кадрили и проч., происходили в той

---

[53] Император Александр написал: «Не помню».

[54] Вместо слов «Преображенский офицер Вонлярлярский» император Александр писал: «Ив. Матв. Толстой и многие другие».

зале, которая до пожара называлась Белой и потом переименована в Золотую галерею[55]; в карты играли в Георгиевской зале, а ужинали в большом Аванзале (теперь Николаевская зала). Приглашения на эти балы были по классам, и все, военные и статские, являлись на них в парадных мундирах и в башмаках. В 1841 году бал, данный для празднования государева тезоименитства, на другой день его (7 декабря), отличался от предшедших ему в двух отношениях: во-первых, играли в карты в Портретной галерее, а не в Георгиевской зале, где незадолго перед тем обрушился свод и дверь в которую была заставлена роскошным буфетом из старинного золота и серебра; во-вторых, не танцующим военным впервые позволено было явиться в сапогах, с некоторыми, однако же, очень небольшими изъятиями, лично указанными самим государем, более для шутки. Так, например, дивизионному генералу старику Дохтурову, которого государь называл не иначе, как «мое пузо», — именно велено было приехать на бал попрежней форме, в башмаках.

— Я думал, — сказал ему государь, — что ты станешь танцевать, и соответственно тому определил и твой наряд.

[55] Император Александр зачеркнул слова «Золотую галерею» и написал «Гербовую».

VI
1842 год

Подметные записки поручика Филиппова — Богоявленская церемония — Депутация от купцов по случаю утверждения проекта Московской железной дороги — Статс-секретарь Вилламов — Статья парижского журнала «Minerve» об императоре Николае — Церемониальная пикировка с французским двором — Афросимов и «Саша» — Граф Толь — Кончина герцога Орлеанского

Назначенный на 1 января 1842 года большой выход был отменен повестками, разосланными только накануне, уже поздно вечером, и государь в этот день не был, против обыкновения, ни на бале у обер-церемониймейстера графа Воронцова, ни на публичном маскараде в театре. Придворные приписывали это случившемуся у императрицы нервическому припадку, а лица, считающие себя за глубоких мыслителей и политиков, утверждали, что выход, к которому приглашается в Новый год и весь дипломатический корпус, отменен в избежание повторения со стороны французского посольства такой же неприятности, какая последовала 6 предшедшего декабря[56]. Истинная причина была совсем другая, и ее — и в то время, и после — узнали лишь очень немногие.

31 декабря фельдфебелями четырех гвардейских полков были получены по городской почте безыменные записки возмутительного содержания, в которых обращалось их внимание «на худое вообще управление, на расточительность государя, занявшего 200 миллионов Бог знает на что и бросающего деньги на содержание немцев, тогда как гвардия остается без своевременного удовлетворения жалованьем». В этом духе, и притом в очень сильных выражениях,

[56] Об этом будет говорено ниже.

гвардейскому корпусу напоминалось 14 декабря 1825 года и чины его приглашались к бунту.

Фельдфебели, однако, тотчас представили полученные ими записки полковым командирам, а эти — корпусному командиру, великому князю Михаилу Павловичу, который вместе с ними поехал к государю. Здесь, после приказания о строгом розыске, положено было отменить выход 1 января, чтобы, на всякий случай, офицеры оставались при своих полках. Тем, впрочем, все и кончилось, и никакого действительного покушения к возмущению не обнаружилось, а сам государь ни с кем из посторонних о том не говорил и обедавшим у него на другой день Васильчикову и Левашову сказал, что не поехал на бал Воронцова просто «из лени»[57].

Дерзкого или, лучше сказать, несчастного, отважившегося нарушить покой царственного нашего дома своими безыменными письмами, вскоре открыли. Это был отставной поручик Филиппов, сын одного петербургского архитектора, воспитывавшийся в 1-м кадетском корпусе, выпущенный оттуда в 1832 году, за болезнью, в статскую службу, но перешедший потом в военную и, наконец, уволенный по просьбе в отставку только перед самым этим происшествием. Он был открыт по тождеству почерка в письме его к одному из товарищей (о совершенно постороннем предмете) с почерком записок, отправленных к фельдфебелям, и схвачен по указанию лавочника, в лавке которого отдавал свои пакеты на городскую почту. По неосторожности, с которой он написал безыменные свои записки обыкновенным своим почерком и даже сам отнес их на почту, тотчас было выведено заключение об его помешательстве, которое подтвердилось потом и при допросе его в III отделении. Сначала он запирался, но

[57] Против этих слов император Александр II написал: «Все это действительно было; но выход был не потому отказан, а действительно по нездоровью матушки».

когда разложили перед ним и стали читать вслух его записки, он закричал, что их «надо читать совсем с другой интонацией», и, принявшись сам за чтение в самом патетическом тоне, во всем повинился. На вопрос о побуждениях к такому гнусному поступку он не умел привести ничего иного, как чувство мести за то, что его выпустили из корпуса и после перевели в военную службу с низшим, чем будто бы следовало, чином, и за то, что при отставке не дали ему пенсии, на которую, по числу лет службы, он не имел ни малейшего права. После кратковременного заключения — единственно для ближайшего удостоверения в умственном его расстройстве — в крепости он был переведен в больницу умалишенных. Впоследствии один из врачей этой больницы сказывал мне, что сумасшествие Филиппова было уже давнее и началось едва ли не с самого выпуска его из корпуса; но что, впрочем, он вел себя очень тихо и скромно, занимаясь почти исключительно математическими выкладками.

* * *

При императоре Александре I 6 января, в праздник Богоявления, всегда бывал, несмотря на степень мороза, большой парад[58], с пушечной пальбой и с беглым ружейным огнем во время погружения креста в «Иордань», которая устраивалась на Неве, против посланнического подъезда. При императоре Николае сохранилось только последнее, т. е. «Иордань» с выходом двора на Неву; а парад заменен сбором военно-учебных заведений и небольшого отряда войск внутри дворца.

В 1842 году, однако, государь приказал возобновить в день Крещения Господня прежний обычай и собрать к церемонии все войска, если будет менее 5° холода; но как мороз в этот день возвысился до 7°, то ограничились опять внутренним

---

[58] Император Александр II прибавил: «В первые годы царствования».

парадом. В этот раз была и одна новинка по духовной части. К процессии на «Иордань», для которой собирается все приходское духовенство, прежде приносили от каждой церкви лучшие, какие где были, ризы, что производило неприятную для глаз пестроту. В 1842 году к празднику Богоявления по воле государя изготовлено было[59] для всего духовенства, впрочем на собственный счет каждой церкви, совершенно единообразное облачение, чем чрезвычайно украсилась процессия. Это облачение, в котором ризы и подрясники из серебряного, а оплечье из золотого глазета, впервые тут показавшееся, с тех пор стало уже постоянно употребляться при всех церемониях, на которые является духовенство от разных церквей.

* * *

25 января ознаменовалось редким в нашей административной истории событием. По случаю утверждения проекта железной дороги между столицами С.-Петербургский военный генерал-губернатор представлял императору Николаю депутацию, состоявшую из семнадцати почетнейших купцов, избранных из среды торгующего сословия для принесения его величеству всеподданнейшей благодарности за этот новый знак монаршего попечения о пользах и процветании коммерции. К краткому о том известию и к поименному списку лиц, составлявших депутацию, газеты наши присовокупили следующее:

«Государь император, благоволив всемилостивейше принять искреннее выражение чувств всеподданнейшей благодарности, изволил в то же время отозваться купечеству, что построение железной дороги будет произведено в действо успешно, быв поручено ближайшему и непосредственному

---

[59] Император Александр прибавил: «По примеру Москвы».

попечению его императорского высочества государя цесаревича наследника престола. Слова сии возбудили во всех, слышавших оные, искреннюю, душевную радость».

Газеты, разумеется, и не могли сказать более; но чего они не в силах и не вправе были передать, это — того поэтического приема, который государь сделал депутации; того отличавшего его в высшей степени дара сердечного красноречия, который он снова проявил тут во всей полноте; того восторга, которым одушевились все эти добрые русские люди при его мощном и истинно русском слове; тех слез благодарности, которые лились у них даже и после, при пересказывании подробностей этой аудиенции, продолжавшейся более четверти часа. На другой день я виделся с некоторыми из них, и они все еще были в каком-то восторженном состоянии.

Император Николай знал и любил Русь, как знал и любил ее до него разве один только Петр Великий, а знание народа, согретое любовью, всегда действует с электрической силой. Он принял депутацию в своем кабинете — в сюртуке, запросто, по-домашнему, что с первой уже минуты произвело самое приятное впечатление. Прежде чем кто-нибудь успел выговорить слово, он начал с изъявления своей благодарности за внимание купечества к попечениям его об этом деле.

— Мне надо было, — продолжал он, — бороться с предубеждениями и с людьми; но когда сам я раз убедился, что дело полезно и необходимо, то ничто уже не могло меня остановить. Петербургу делали одно нарекание: что он — на конце России и далек от центра империи; теперь это исчезнет; через железную дорогу Петербург будет в Москве и Москва в Кронштадте.

Потом, обратясь к цесаревичу наследнику, он прибавил:

— Но человек смертен, и потому, чтобы иметь уверенность в довершении этого великого дела, я назначил председателем комитета железной дороги вот его: пусть он и доделает, если не суждено мне.

Аудиенция заключалась призывом к купечеству содействовать благодетельным попечениям правительства своею деятельностью и честностью.

* * *

7 февраля умер статс-секретарь по делам учреждений императрицы Марии, Григорий Иванович Вилламов. Сын директора Петропавловской школы и известного в свое время немецкого стихотворца, несмотря на звуки своей фамилии — немец и лютеранин, он достиг высших степеней и чинов в империи, а что еще более — десятки лет пользовался полным доверием императрицы Марии Федоровны, которым был, как бы преемственно, удостоен и от императора Николая. При глубокой старости он сохранял еще вид человека средних лет, в полном цвете сил и здоровья; но, быв поражен в первой половине января апоплексическим ударом, после того целый месяц уже не жил, а только мучился.

Некоторые из наших государственных людей, особенно граф Канкрин, считали его чрезвычайно умным человеком; но, быв с ним семь лет в Государственном Совете и в разных комитетах, я не видел в нем ни одного проблеска высшего ума, ни одной мысли, которая походила бы на гениальную, а в совещаниях о важнейших государственных интересах был свидетелем совершенного его равнодушия и невнимательности, так что в Совете упорное его хладнокровие и молчание были замечены даже великим князем Михаилом Павловичем, неоднократно и с негодованием мне о том говорившим. После этого ум Вилламова не заключался ли преимущественно в некоторой тонкости и — в особенности — в искусстве заставить многих верить в существование такого ума?

По своей специальной части он, через сорокалетние занятия ею, приобрел, разумеется, огромную рутину и при отличной памяти знал ее, как свои пять пальцев; но и тут имел

еще особенную странность: все, исходившее из его канцелярии, — не только доклады государю и императрице, но и записки в Совет и Комитет министров, форменные отношения, словом, всякую бумагу — он всегда переписывал всю собственной своею рукой! По моральному характеру Вилламов стоял — но тут уже не в одном моем личном, а в общем понятии — также невысоко. Под личиною какого-то добродушного простосердечия у него была холодная и черствая душа. Ежедневные сношения с императрицей Марией — этим ангелом доброты и высшего сердоболия — остались без всякого симпатичного на него влияния. У самого истока добра, со всеми средствами изливать его ежедневно, он умел оттолкнуть от себя умы и сердца всех и, кроме семейства, едва ли кто пожалел об его смерти.

Жена Вилламова, а по ней и их дети, были православного исповедания, и это побудило его, чтобы некогда лечь им вместе, присоединиться, уже на смертном одре, к нашей церкви. Император Николай, посетивший его за несколько дней до кончины, пожелал, чтобы переписка его с императрицей Марией была передана его величеству. Сверх того, после Вилламова остались и мемуары, которые также взяты были государем к себе.

* * *

В парижском журнале «Minerve» явилась в марте 1842 года статья под заглавием: «Взгляд на Петербург», содержавшая в себе взгляд на наш двор, на некоторые значительнейшие лица в составе нашего управления и на петербургское высшее общество.

Сочинитель этой статьи (оставшийся мне неизвестным), иностранец, по приезде в Петербург пожелал представиться императору Николаю и был допущен к тому при публичном выходе, в рядах дипломатического корпуса. Потом он

напечатал (в упомянутой статье) следующий отчет о своих впечатлениях:

«Я ждал минуты выхода императора, признаюсь, не без некоторого внутреннего волнения. В зале царствовало какое-то тревожное молчание, будто предвестие великого события. Для меня увидеть императора было делом великой важности. Я не умел отделить в моих мыслях человека от идеи о его власти, ни идеи власти от человека, и потому ожидал в Николае как бы олицетворения его исполинской монархии. Он вошел. Я увидел черты, какими изображают нам героев древности: высокий лоб, проницательный взгляд, исполненный достоинства, рост и формы Алкида. Сделав несколько шагов вперед, он поклонился на обе стороны, одним протянул руку, других приветствовал милостивой улыбкой, с некоторыми стал беседовать то по-русски, то по-французски, то по-немецки, то по-английски, и все одинаково свободно. Когда пришла моя очередь, он много и долго говорил со мною о чужих краях. Ему все было известно: мысль и речь его переходили от востока к западу, от юга к северу; замечания его о разных странах и о различных их отношениях были так тонки и обличали такое глубокое знание, что, забыв монарха, я дивился в нем только мыслителю. Откуда находится у него время, чтобы иметь обо всем такие верные и положительные сведения и о каждой вещи произносить такое справедливое и основательное суждение? Целая администрация колоссальной империи в нем сосредоточивается; ни одно сколько-нибудь важное дело не решается без него; просьба последнего из его подданных восходит на его усмотрение; каждое утро с ранних часов он работает с своими министрами, каждая ночь застает его опять за рабочим столом!..»

Все, что можно сказать об этом портрете, это то, что он был все еще ниже истины. Француз, и притом тогдашний француз, привыкший к конституционным королькам, не мог вполне судить о бремени, лежащем на самодержавном мо-

нархе огромной России; а кто нес это бремя добросовестнее, благоразумнее, могущественней Николая! Независимо от высших качеств, которые могли быть оценены одними русскими, и из них, преимущественно, одними приближенными, в наружности, в осанке, в беседе, во всех приемах императора Николая были, действительно, какое-то обаяние, какая-то чаровавшая сила, которых влиянию не мог не подчиниться, увидав и услышав его, даже и самый лютый враг самодержавия.

* * *

С самого вступления на французский престол короля Людовика Филиппа император Николай, первый и постоянный охранитель законности, не таясь, оказывал во всех сношениях с парижским двором неприязнь свою и к лицу монарха и к его династии. Так, при формальных там траурах из числа всех посланников один наш освобождал себя от их соблюдения; после повторявшихся несколько раз покушений на жизнь короля все дворы изъявляли — через нарочных или, по крайней мере, посредством писем — радость свою о неудачах преступных замыслов, а наш всегда безмолвствовал; то же самое было при рождении графа Парижского, при браках дочерей и сыновей королевских и проч. В противоположность сему, Людовик Филипп, с своей стороны, не изменял никогда уважительного поведения в отношении к нашему двору, несмотря на вопли сильной партии, видевшей в поступках русского императора оскорбление национальной гордости, и вопреки настояниям Тьера и других министров.

В конце 1841 года наш посол граф Пален оставил Париж и приехал в Петербург незадолго до дня рождения короля. В газетах тотчас нашли этому причину. Принято было в этот день являться перед королем всему дипломатическому корпусу, причем старший из наличных послов приветствовал его

поздравительной, от имени всех, речью. Роль эту издавна исполнял австрийский посол граф Аппони; но в 1841 году он был в отпуску, и место его приходилось заступить, по старшинству, графу Палену, а он вдруг оставил Париж: следственно, уехал, чтобы не поздравлять короля, что истолковано было как новое оскорбление, нанесенное лично последнему, а с ним вместе целой Франции. Того же мнения было и министерство, и при необходимости, ввиду приближавшегося открытия камер, поддержать его, Людовик Филипп нашелся вынужденным, уступив общим настояниям, выйти из своего пассивного положения. 6 декабря, в день тезоименитства императора Николая, дипломатический при нашем дворе корпус приглашен был собраться во дворец для принесения поздравлений, после обедни, т. е. к 12 часам. Не ранее как в 10 часов утра того же дня в министерство иностранных дел принесли записку французского поверенного в делах Казимира Перрье (посол Барант был тогда в отпуску), которой он извещал, что по случаю «внезапного недомогания» как сам он, так и все чины французского посольства не могут явиться ни к поздравлению, ни к назначенному на следующий день придворному балу, — что действительно и было ими исполнено, хотя потом, 8 числа, Перрье и все его чиновники гуляли публично по Невскому проспекту, а вечером явились даже в театр. Разумеется, поскольку этот случай был неприятен государю, столько же он произвел шуму и толков в нашей публике, и что чины французского посольства этим невольным с их стороны действием тотчас исключили себя из круга нашего высшего общества, т. е. что все единодушно согласились никуда их более не приглашать. Одна только графиня Воронцова[60], это своевольное и шаловливое дитя, говорила, что «она не смешивает политики и приглашает на свои вечера

[60] Жена обер-церемониймейстера, урожденная Нарышкина, которой дом считался в то время одним из первых в нашем высшем кругу.

лиц, которые доставляют ей удовольствие, не обращая внимания на их дипломатическое поведение».

Этот остракизм не мог, однако же, разумеется, простираться на публичные места, куда доступ свободен всякому. Так, Перрье явился на бал Дворянского собрания, бывший 16 декабря. Государь, который стоял с статс-дамой баронессой Фредерикс, увидев его, сказал ей по-немецки: «Это он!» — и потом прошел мимо с тем царственным, самодержавным величием, в которое так умел при случае облекаться, не удостоив его ни одним взглядом. Дальнейшие известия об этом неприятном столкновении публика наша — разумея тех ее привилегированных членов, для которых нет цензуры, — получала только через иностранные газеты.

Первый заговорил «Moniteur Parisien», журнал хотя и неофициальный, однако принадлежавший министерству. «Сказывают, что г. Киселев, русский посланник (т. е. поверенный в делах) в Париже, — писали там, — в Новый год не явился в Тюльери к общему представлению дипломатического корпуса. По собранным нами сведениям, оказывается следующее. Русский посол во Франции, граф Пален, в ноябре был отозван в Петербург, и предполагаемая, неоспариваемая причина (motif non conteste) сего отозвания заключалась в нежелании императора, чтобы граф как старший член дипломатического корпуса приветствовал короля. 18-го (16-го) декабря, в день рождения императора, г. Перрье и прочие чины французского посольства занемогли и не явились в Зимний дворец. 1-го января занемог в свою очередь г. Киселев и не явился в Тюльери».

«Preussiche Staats-Zeitung», поместив на своих страницах означенную статью, прибавила, что, по общим слухам, она была последствием весьма горячего объяснения между Киселевым и Гизо. «При всей важности предмета, — продолжала прусская газета, — отданное обоим посольствам приказание быть в известный день больными и, еще более, публичное

оглашение этого приказания кажутся всем частью очень забавными, частью же недостойными державы столь могущественной, какова Франция. Дипломаты говорят, что если такие вещи иногда и приказываются, то никогда однако же не публикуются. Утверждают, впрочем, что помянутая статья до того прогневила русское посольство, что г. Киселев тотчас отправил курьера в Петербург за новыми инструкциями и известил г. Гизо, что в ожидании их прекращает все дипломатические сношения с французским кабинетом».

На другой день после вышеприведенной статьи «Moniteur Parisien» напечатано было в «Journal des Debats»: «Мы прочли вчера известие, сообщенное одной вечерней газетой, о причинах, воспрепятствовавших русскому поверенному в делах явиться в Новый год в Тюльери, и не придаем ему никакого особенного значения. Нам не верилось и теперь не верится в его официальность. Что графа Палена отозвали в Петербург, чтобы не приветствовать короля июльской революции, это очень вероятно; что его наместник, г. Киселев, занемог в тот день по приказанию, это тоже возможно. Но мы не знаем и не верим, чтобы французское правительство, в виде возмездия, прибегло к той же системе и велело и своему агенту в Петербурге занемочь в день рождения императора. Подобная война между могущественными державами была бы для нас непонятна. Если бы Франция сочла себя оскорбленной поведением русского кабинета, то отозвала бы своих агентов, на что имеет и право и обязанность; но к такой мелочной тактике не обращаются для ратоборства между собою два сильных правительства: это было бы ребячеством и уничижением. Мы понимаем заботу и подозрения, возбужденные в Европе июльской революцией; понимаем также и опасение, которое должен был ощутить русский император при перемене нашей династии, и потому в первую минуту не могли требовать от него ни доверия, ни приязни.

Но время взяло свое: Пруссия, Австрия, Англия, все державы при каждом случае доказывают ту высокую доверенность, которую внушает им наше правительство и наш король. Зачем же только русскому императору оставаться при прежнем своем нерасположении? Зачем ему одному упорствовать в непризнании заслуг, оказанных нашим правительством делу монархизма и общего мира? Зачем ему одному систематической неприязнью протестовать против нашей славной и неизбежной революции? Но чем более мы жалеем, что монарх великой державы идет таким путем, тем более мы должны избегать совпадения с ним на этом пути. Если, чего мы, впрочем, не думаем, дружественная и взаимно вежливая связь с русским кабинетом впредь уже невозможна, то, повторяем, Франции не останется ничего иного, как прервать всякое официальное сношение. Лучше совсем отозвать от чужестранных дворов наших агентов, чем, вместо назначения их быть вестниками мира и доброй приязни, оставлять их при одной только роли переносчиков обоюдной щекотливости. Такой разрыв не был бы еще войной, тогда как нынешние двусмысленные отношения беспрестанно грозят миру. А мы только и желаем мира, мира постоянного и честного, равно охраненного как от страстей народных, так и от капризов владык».

Но между тем, пока французские журналы так ораторствовали, дело улаживалось само собою. 7 января 1842 года на бал в концертный зал приглашены были, в составе дипломатического корпуса, и приехали Перрье с женой. Естественно, что после целого месяца опалы общее внимание было обращено на них. Государь, проходя мимо Перрье, сказал: «А, теперь вам *лучше!*» — и только. Императрица спросила, скоро ли возвратится Барант. Впрочем, одно обстоятельство, которое в другое время прошло бы незамеченным, в этот вечер всех поразило: Перрье с женой уехали хотя после ужина, но во время продолжавшихся еще в присутствии государя и

всей царской фамилии танцев. Пока это происходило у нас, подобное же и в то же время повторилось и в Париже. Сперва Киселев приехал на вечер к Гизо и был принят самым предупредительным образом. Спустя день он явился и на Тюльерийский бал, причем во французских журналах тотчас провозгласили, что «король, увидев русского поверенного в делах, который, как кажется, совсем оправился от последнего своего нездоровья, подошел к нему и несколько минут с ним беседовал».

Еще до этого парижские газеты писали: «National»: «Окончания нашей этикетной расприи должно ожидать в непродолжительном времени, отозванием г. Перрье, который перешел данные ему инструкции. Ему приказано было только проехать верхом мимо дворца во время торжественного там выхода, а он показался и в театре; поэтому г. Гизо совсем от него отречется, ибо никогда не имел в виду нанести формальное оскорбление русскому двору, а хотел только произвести маленький «scandale»; теперь же, видя, какой серьезный оборот приняло это дело, сам перепугался, а «в страхе господин Гизо ужасен», и бедному Перрье придется дорого поплатиться. Впрочем, совершенного примирения, даже и при пожертвовании господином Перрье, ожидать еще нельзя. Известно, что в высшем петербургском кругу об орлеанской династии отзываются в таких выражениях, которых ни один французский журнал не отважился бы повторить, и что именно оттуда все европейские дворы заражены «брачной блокадой» (blocus conjugal) против принцев нашей младшей линии».

В «La Presse» писали: «г. Перрье не употребит, без сомнения, никаких новых репрессий в день Нового года, и мы надеемся, что положение вещей, только посрамляющее оба двора, не продолжится».

«А мы, — возражал «National», — этого не надеемся или, по крайней мере, не желаем: ибо если в теперешнем поло-

жении вещей посрамление обоюдно, то никак не должно отступать; иначе весь ущерб падет на долю одной Франции».

Перрье оставался, однако же, в Петербурге еще до следующего сентября (1842 года), да и тогда не был отозван, а сам отпросился в отпуск, за болезнью своей жены, и при увольнении получил орден Почетного Легиона и обещание первого вакантного министерского поста.

* * *

За отсутствием начальника 2-й гвардейской пехотной дивизии Гурко должность его в зиму с 1841 года на 1842 год исправлял генерал Афросимов, а с наступлением весны она была поручена наследнику цесаревичу. Объявляя об этом на разводе, государь шутя сказал Афросимову, что надеется, что он не вызовет за то «Сашу» на дуэль, и во всяком случае теперь же заявляет, что он, государь, с своей стороны, отказывается быть секундантом.

* * *

23 апреля умер главноуправлявший путями сообщения и публичными зданиями генерал-адъютант граф Карл Федорович Толь. В нем Россия потеряла одно из примечательнейших в военном отношении и, конечно, исторических лиц. Не распространяясь здесь о тех обстоятельствах славной его жизни, которые можно найти и в послужном его списке и в разных печатных биографиях, ни об участии его в окончании печального восстания 14 декабря 1825 года, уже рассказанного в другом месте[61], передам здесь преимущественно то, что слышал о нем из достоверных источников и что знал лично из моих с ним сношений в течение почти девяти лет, по Комитету министров и Государственному Совету.

[61] «14 декабря 1825 года». С.-Петербург, 1854.

Наружность графа Толя очень мало обещала. Невысокого роста, но плечистый и ширококостный, так что казался довольно объемистым; с лицом, хотя не безобразным, однако очень простым, которое оживлял лишь огненный его взгляд; в полурыжем гладком парике, который он снял только после поразившего его в 1839 году апоплексического удара; наконец, с ухватками и приемами, заимствованными несколько от старинного хвастовства; ничто в его фигуре не намекало на что-нибудь гениальное.

Между тем все, следившие за его военным поприщем, все, видевшие его на поле сражения, единогласно называли его одним их первостепенных полководцев нашего века. При львиной личной храбрости он был отличный стратег, обладал огромными сведениями тактическими и имел весь огонь, весь гений истинного военачальника. В 1812 году, по отступлении армии от границы к Дриссе, он, еще в полковничьем чине, назначен был генерал-квартирмейстером главной действующей армии, а по прибытии князя Смоленского — генерал-квартирмейстером всех действовавших против неприятеля войск. Знаменитое движение на Калугу было плодом его соображений; Мюрат был разбит при Чернишной по начертанному им плану; наконец, в Польскую кампанию Толь решительно содействовал к одержанию победы под Остроленкой искусным расположением главной батареи, а в деле под Варшавой, после полученной князем Паскевичем в самом ее начале контузии, 26 августа один командовал армией до самого утра 27-го числа и после заключенной капитуляции один же ввел войска в город. Вспыльчивый до бешенства в обычной жизни, он в начале дела становился вдруг ледовито-хладнокровным, и это хладнокровие не оставляло уже его ни на минуту во все продолжение сражения; но с последним пушечным выстрелом возвращалась к нему опять и вся запальчивая его горячность.

Князь Смоленский был всегда искренним его другом и почитателем его дарований; но не таковы были отношения к нему графа Дибича и потом Паскевича. Князь Васильчиков, один из усерднейших ценителей талантов Толя и близко знавший и его и Дибича, рассказывал мне, что они оба издавна соперничествовали друг с другом и не таили взаимной своей ненависти. Перед началом Польской кампании государь собрал у себя род военного совета из него, Васильчикова, князя Волконского и графа Толстого. Тут, когда положено было послать главнокомандующим Дибича, родился вопрос: кого дать ему в начальники главного штаба? Государь сам предложил Толя; но общее мнение было, что это значило бы соединить воду с огнем, т. е. в самые тесные, требующие совершенного единодушия отношения, поставить двух отъявленных врагов. Государь ответил, что он призывал уже к себе Толя и что последний, в сознании опасности отечества, обещал не только безусловно подчиниться Дибичу, но и действовать во всем как вернейший и преданнейший его друг. И действительно, он рыцарски сдержал свое слово![62]

Но с преемником Дибича, Паскевичем, Толь не сошелся с первой минуты и до конца жизни оставался в явной вражде. Толь считал Паскевича ниже себя по военным достоинствам, а тщеславный Паскевич ненавидел в нем нескрываемое превосходство. Вскоре по вступлении Паскевича в командование армией, действовавшей против польских мятежников, Толь писал к графу (теперь князю) Орлову (я слышал это лично от графа), прося его довести до высочайшего сведения, что новый главнокомандующий действует не в своем уме, что все его поступки и распоряжения превратны и что, если так

[62] Император Александр II написал: «Не совсем, ибо в самое тяжкое время войны просил увольнения от должности, на что ответ государя был получен уже после смерти графа Дибича и прочтен самим графом Толем, в присутствии незадолго перед тем присланного в армию графа Ал. Гр. Орлова».

продолжится, то нельзя отвечать ни за исход кампании, ни даже за спасение армии. Письмо это Орлов представил государю, и Толю сделан был, по выражению графа, «строгий нагоняй». После это заглушилось удачами кампании и взятием Варшавы; но современная лесть[63] несправедливо отнесла последнее к заслуге Паскевича[64]; сам же Паскевич, достигший между тем апогея величия, еще более возненавидел соглядатая его действий и соперника в разделе славы. Толь, впав если не в явную немилость, то, по крайней мере, в полузабвение, никогда уже не мог оправиться при дворе, где, говоря, что отдают справедливость его достоинствам, наблюдали в отношении к нему не более как одно холодное уважение[65].

---

[63] Император Александр написал: «Не лесть, а беспристрастная справедливость, хотя честь последнего штурма во многом принадлежит графу Толю».

[64] Я помню, что вскоре после того показывали в Петербурге панораму с объявлением в афишах, что она представляет «взятие Варшавы графом Толем»; но и афиши эти и самую панораму тотчас запретили.

[65] В 1839 году, когда делались сборы к Бородинским маневрам и все лица, участвовавшие сколько-нибудь в славной Бородинской битве, особенно были туда приглашаемы, граф Бенкендорф в разговоре об этом в Петергофском дворце спросил Толя почти с удивлением: «А разве и вы туда собираетесь?» Я случился возле них, и Толь, отойдя от своего собеседника, излил мне все нервное свое сердце. «Вот, — сказал он, раскрасневшись, — как трактуют нас люди, которые сами не оставили по себе странички в истории; в Бородинском деле я, в чине полковника, был генералом-квартирмейстером всей армии и первый занял позицию, а спрашивают: собираюсь ли я на маневры; и кто же? Тот, кто был тогда ничтожным поручиком, кто сам, однако, считает долгом туда ехать и кому поручено заведовать приглашениями!»

При этом случае сильно также досталось Данилевскому за его историю войны 1812 года. «Это не история, — продолжал рассерженный старик, — а просто придворный календарь: кому теперь хорошо при дворе, того имя гремит на каждой страничке, хотя бы он не получил и царапинки, а о других действователях, сошедших по обстоятельствам со сцены или не пользующихся особенной милостью при дворе, и помину нет. Так время затемняет историю, а лесть совсем ее стирает». Действительно, о блистательных подвигах Толя в Отечественную кампанию в сочинении Данилевского упоминается везде только очень кратко и как бы вскользь и нехотя.

Получив за штурм Варшавы Андреевскую ленту, граф Толь вслед за тем, и именно 5 сентября 1831 года, был уволен «по расстроенному здоровью и собственному желанию» от звания начальника Главного штаба действующей армии и спустя два года, 1 октября 1833 года, перешел на гражданское поприще, быв назначен главноуправляющим путями сообщения и публичными зданиями. С сего времени почти прекратились для него и внешние почести. В восемь с половиною лет он получил только алмазы к Андреевскому ордену (7 апреля 1835 года) и майоратство в Царстве Польском (1 января 1837 года). Но что еще хуже, в новой своей должности он помрачил прежнюю свою славу. Не имея никаких сведений в порученной ему части, он с самого начала вступления в должность слепо вверился одному из генералов того же корпуса Девятину, которого потом возвел в звание своего товарища и который был человек очень умный и тонкий, но нечто вроде военного подьячего.

Ненавидимый подчиненными за вспыльчивое и грубое обращение, водимый по произволу своих любимцев, со всех сторон обманываемый, Толь доказал на опыте, что можно быть отличным полководцем и очень плохим администратором. Кругом его и возле него все воровало и мошенничало, как ни по какой другой части, а он, сам в высшей степени честный и благородный и потому не подозревавший лжи и в других, везде и перед всеми запальчиво отстаивал офицеров своего корпуса именно со стороны чистоты их правил! В Совете и в Комитете министров Толь был тоже всегда совершенно рядовым членом. По-русски он и говорил и писал прекрасно, даже так, как мало кто из современных ему государственных людей наших; но, мало знакомый с гражданскими делами, он возвышал свой голос в тех лишь редких случаях, когда обсуживались дела его ведомства, и тут горячился обыкновенно до такой степени, что после заседания должен был отхаживаться и отпаиваться водой, пока мог

сесть в карету, не опасаясь простуды. Впрочем, в последнее время и этого уже более не было. Удрученный тяжким недугом, он сидел, не только не говоря сам, но, кажется, и не слушая других.

Отец трех сыновей и двух дочерей (жена его была дочь генерала от инфантерии Штрандмана), граф Толь был отличный семьянин, обожаемый женой и детьми. В домашнем своем хозяйстве, при очень небольшом состоянии, он отличался не только бережливостью, но даже и скупостью. Занимая присвоенный его должности казенный дом (бывший Юсуповский), он сберегал значительную часть суммы, отпускавшейся ему на содержание и ремонт этого дома, и, обитая в истинно царских палатах, вел образ жизни более чем скромный. Рассказывали, будто бы из находящихся при том доме обширных садов и оранжерей ни одна ягодка не шла к его столу, и все продавалось на Щукин двор.

Замечательно, что смерть постигла графа Толя именно в день Георгия Победоносца, столько раз покровительствовавшего ему на поле брани. Он дожил до 66-го года.

* * *

Весть о страшной кончине герцога Орлеанского — он, как известно, умер от ушиба, полученного при падении из разнесенной лошадьми коляски, — пришла в Петербург с газетами 13 июля; но двор и приближенные узнали об этом происшествии еще 11 числа, сперва через варшавский телеграф, хотя еще в довольно неопределительных выражениях, а потом через курьера, присланного от нашего посольства на гаврском пароходе. Несмотря на неприязнь свою к Людовику Филиппу, государь принял живое участие в несчастий, столь неожиданно поразившем королевскую фамилию. Симпатия родительских, высших чувств одержала верх над политической антипатией. Назначенный уже на 11 число, по случаю

именин великой княжны Ольги Николаевны, бал в Знаменском был немедленно отменен. На другой же день, т. е. 12-го, последовало повеление наложить придворный траур на 12 дней. Наконец, в первый раз с Июльской революции, государь отправил к королю французов письма с изъявлением своего участия и, сверх того, отъезжавшему от нас в то время во Францию живописцу Горасу Верне, который находился в весьма близких отношениях к Людовику Филиппу, поручено было еще лично передать последнему душевное соболезнование к постигшему его тяжкому удару.

VII

Граф Киселев отказывается от господарства Валахского — Княгиня Варшавская и контрабанда — Царскосельский карусель — Двадцатипятилетие шефства — Псаломщик Никоныч — Статья «Водовоз» — Фельдъегерь из Берлина, фрак и брюки — Плачущий чиновник на Дворцовой набережной — Граф Огинский, безвинно посаженный в крепость — Император Николай, переписчик резолюции барона М. А. Корфа — Генерал-губернатор граф Эссен

С тех пор как граф Киселев, после турецкой кампании 1829 года, управлял от имени нашего правительства Молдавией и Валахией, государь приказал все депеши по делам этих княжеств, по мере их получения, передавать из министерства иностранных дел предварительно графу и потом вносить в доклад, всегда с его мнением.

На этом основании поступлено было и с депешей нашего генерального консула в Букаресте Дашкова, которой доводилось до сведения, что, за последовавшим лишением князя Гики господарского сана, все мнения избирателей склоняются в пользу Киселева, и испрашивалось дальнейших на сей предмет инструкций.

Киселев дал мнение такого содержания, что как Гика свергнут по влиянию русского правительства и это влияние, гласное в целом крае, осталось небезызвестным и прочей Европе, то было бы несовместно и противно политическим видам заместить его русским кандидатом; а как притом в господари может, по местным законам, выбран быть только коренной валахский бояр или, по крайней мере, сын получившего индигенат бояра, он же, Киселев, получил этот индигенат первый из своего рода, то об избрании его не может быть и речи. По одобрении государем сего мнения оно было принято за основание и к отклонению самого выбора, и к отзывам на запросы о том разных европейских дворов, начинавших уже, по сведениям о расположении умов в Букаресте,

обнаруживать некоторую тревогу. Спустя несколько дней после такого «отречения» Киселева императрица на маленьком вечере во дворце спросила у него:

— Итак, вы не хотели царствовать?

— Он не мог бы, если бы даже и захотел, — ответил государь и рассказал сохранившееся у него в памяти обстоятельство об индигенате.

— На это возражение, однако, — передавал мне потом сам Киселев — я, в первом жару, тут же отозвался, что не принял господарства только потому, что не хотел; обстоятельство же об индигенате послужило лишь отговоркой, так как это правило относится только до возведенных просто в боярский сан, а я, получив так называемый «grand indigenat», стою выше этих ограничений и, хотя и первый из своего рода валахский бояр, мог бы тотчас быть выбран в господари. Впрочем, — продолжал он, — ошибаются те, которые думают, что пост, или, пожалуй, престол валахского господаря позволяет, лежа с трубкой, предаваться кейфу. В теперешних обстоятельствах, при совершенной деморализации и вельмож и народа, при упадке края, между владычеством и влиянием Турции и России, под подозрительным лазутничеством всех кабинетов Европы, — это одно из труднейших управлений, требующее полного самопожертвования и самоотвержения. И Гика главным образом от того упал, что хотел сибаритничать, а не работать. Если б мне было еще лет 30, я, может статься, и согласился бы надеть на себя это ярмо; но теперь, когда мне близко 54-х, скорее можно думать о том, чтобы освободиться и от настоящего бремени, чем налагать на себя еще новое. К тому же у меня нет детей, да и достоинство господарское не наследственное, а пожизненное. Словом, Бог с ним: мое здоровье без того плохо, а в мои лета здоровье гораздо дороже, чем удовлетворение тщеславию.

Как бы то ни было, но очевидно, что направление умов в Валахии, общий газетный шум и, наконец, роль добровольно

отрекшегося от господарского сана очень льстили самолюбию графа Киселева, и он никак не захотел бы, чтоб эта великолепная страница выпала из его биографии. И действительно, она одна уже упрочила за ним место в современной истории.

* * *

Княгиня Варшавская (супруга генерал-фельдмаршала) прислала в Петербург из чужих краев двум зятьям своим — Балашову и князю Волконскому — разного гостинцу, т. е. накупленных там для них вещей. На пограничной таможне, по нередкому в подобных случаях снисхождению, ящики были запломбированы, с тем чтобы подвергнуть их таможенному досмотру в Петербурге. Но Балашов и Волконский или по незнанию, или понадеявшись на свои связи, по получении ящиков вздумали сами снять пломбы и вскрыть посылку без таможенного чиновника, так что, когда последний явился для досмотра, то узнал, что дело обошлось без него, и министр финансов нашелся вынужденным войти об этом с докладом, прибавив, что по коносаментам следует пошлинных и штрафных денег 17 000 руб. серебром. Государь приказал непременно взыскать эту сумму, говоря, что чем выше звание, тем более должно подавать пример уважения к законам.

* * *

В Великий пост 1842 года, в котором, по сравнению с предшедшими годами, было и концертов как-то чрезвычайно мало, и раутов в большом свете всего лишь два или три, государь для развлечения устроил у себя домашний карусель. Во время поста происходили, впрочем, только репетиции, а настоящее представление дано было уже в конце апреля. Карусель состоял в изображении верхом на лошадях

фигур разных танцев. Кавалерами были государь, цесаревич наследник и все другие члены царской фамилии (кроме великого князя Михаила Павловича)[66]; дамами — великие княжны (кроме также великой княгини Елены Павловны и ее дочерей, о которых великая княгиня отозвалась, что они не довольно еще хорошо ездят верхом) и несколько придворных дам и девиц. Репетиции происходили иногда по утрам, иногда по вечерам, в Михайловском манеже, где после дан был и самый карусель, разумеется, без всякой посторонней публики.

Потом, 23 мая, подобный карусель повторился в Царском Селе, но с той разницей, во-первых, что в нем участвовала и императрица, во-вторых, что он был не в манеже, а на площадке перед Александровским дворцом, и в-третьих, что кавалеры, вместо обыкновенных своих костюмов, явились в полном наряде старинных рыцарей и притом не в каких-либо подражаниях, а в подлинных доспехах, взятых из арсенала и пригнанных только на мерку каждого. Всего было 16 пар, которые в предшествии музыкантов, таким же образом одетых, черкесов в блестящих кольчугах и оруженосцев[67], конных и пеших (роль пажей исполняли младшие великие князья), сперва проехали торжественным маршем, а потом составили кадрили, шены и проч., что продолжалось от семи часов вечера за половину девятого. Императрица участвовала только в марше, после которого села вместе с своим кавалером (генерал-адъютантом графом Апраксиным) между зрителями. Последних было очень мало, и почти одни только родственники участвовавших в каруселе лиц, а посторонних никого не впускали на площадку, хотя, впрочем, несколько любопытных и нашли себе потаенные местечки, откуда все видели.

---

[66] Император Александр написал: «Кажется, напротив, и он участвовал».
[67] Император Александр II написал: «Выдумка».

Шествие открывал герольд, состоявший при наследнике генерал Юрьевич, а за ним ехали императрица с своим кавалером; черный рыцарь (генерал Мейендорф)[68]; наследник с одной из великих княжон; государь с графиней Воронцовой; герцог Лейхтенбергский[69] и так далее — фрейлины, придворные дамы и флигель-адъютанты. Государь и наследник в рыцарском одеянии были величественно-бесподобны[70]. Непривычный по своей тяжести наряд, однако же, очень утомил некоторых из кавалеров. У самого государя шла кровь носом[71], а герцог Лейхтенбергский, сходя с лошади, едва не упал в обморок[72].

Великий князь Михаил Павлович провел этот день в Новгороде, где осматривал расположенные там войска, а великая княгиня Мария Николаевна оставалась по нездоровью в Сергиевке.

* * *

5 апреля праздновались два совокупленные в один день торжества, именно двадцатипятилетие со дня обручения государя[73] и двадцатипятилетие же со дня назначения его шефом прусского Кирасирского полка его имени[74]. Празднество началось обеднею, впрочем, в малой дворцовой церкви и без

---

[68] Император Александр II написал: «С великой княгиней Александрой Николаевной».

[69] Император Александр II прибавил: «Принц Александр Гессенский».

[70] Вскоре после того был награвирован и везде продавался эстамп, изображавший их величества и высочества в нарядах этого каруселя.

[71] Император Александр II написал: «Вздор».

[72] Император Александр II написал: «Потому что был болен».

[73] Император Александр II написал: «Неправда. День обручения был 25-го июня 1817 г., а день помолвки 23-го октября 1815 г.»

[74] Назначение великого князя Николая Павловича шефом этого полка последовало, собственно, не 5 апреля, а 18 марта; но при дворе оба празднества были отправлены в один день.

торжественного выхода; затем состояло в разводе и в обеде и кончилось тем, что вечером играл во дворце, в присутствии довольно многочисленного собрания, знаменитый пианист Лист, за несколько дней перед тем приехавший в Петербург.

Всему этому, впрочем, придан был особенный характер прибытием сюда из Берлина депутации от помянутого полка, состоявшей из полкового командира фон Ганнекена, двух штаб- и двух же обер-офицеров, которые все находились уже в полку в день назначения государя его шефом. С ним приехал еще и один вахмистр, единственный из нижних чинов, оставшихся налицо от того времени. Всех их поместили в частной гостинице, но на полном содержании от двора, и на время пребывания в Петербурге были назначены к ним один из генералов государевой свиты (Гринвальд) и еще один конногвардейский офицер (граф Крейц), которые ездили с ними везде как при осмотрах, так и при визитах. На обеде 5 числа был посажен за придворный стол и вахмистр, между двумя нашими дворцовыми гренадерами. В тот же день государь вручил депутации для передачи в полк великолепную вазу, сделанную на казенном фарфоровом заводе. Сверх портрета покойного прусского короля, на ней изображены были фамилии всех офицеров, находившихся в полку как за 25 лет перед тем, так и в 1842 году.

Двадцатипятилетие начальствования государя прусским Кирасирским полком было праздновано особенным торжеством и в самой Пруссии, в городе Бранденбурге, где стоял тот полк и куда к этому дню приехал сам король. От нашего двора был послан туда с рескриптом на имя Ганнекена генерал-адъютант Мансуров.

* * *

При церквах Зимнего дворца в продолжение 60 лет (с 1782 года) состоял, все в одной и той же должности, псаломщиком, Никоныч, который, несмотря на свои 80 лет,

продолжал отправлять обязанности своего звания наравне с младшими товарищами. Чтение его, при спавшем голосе и сбитом языке, походило уже более на какой-то невнятный перелив по камням далекого водопада или, лучше сказать, ни на что не походило; но в уважение к его многолетней службе, все еще он один имел привилегию читать в присутствии царской фамилии в церкви паремии, стихиры и проч.[75], хотя это чтение возбуждало иногда невольные улыбки государя и других слушателей.

Император Николай никак не хотел огорчить и, так сказать, уничтожить старика, лишив его этой привилегии, пока наконец Великим постом 1842 года сам он, почувствовав совершенное расслабление, добровольно отпросился от чтения. Этот в своем роде исторический Никоныч был, несмотря на маловажную его должность, человеком примечательным по своей образованности. Он воспитывался некогда в Петропавловском училище, вместе с Вилламовым, впоследствии статс-секретарем и членом Государственного Совета, очень хорошо говорил по-французски и по-немецки и превосходно знал древние языки. При дворе Никоныч пользовался особым уважением. Император Николай и все члены царского дома всегда отличали старика, сколько и чем можно было в его звании, а придворное духовенство почитало его как бы своим старшиной и головой. Зато и Никоныч имел своего рода честолюбие и никогда, например, не целовал руки ни у одного архиерея, говоря, что если бы в свое время пошел в монахи, то сам уже давно был бы митрополитом.

* * *

В числе начавших появляться у нас с сороковых годов иллюстрированных или, как их тогда называли, роскошных из-

[75] Император Александр прибавил: «И псалтырь во время великопостных служб».

даний, одно из первых мест, и едва ли даже не самое первое, занял сборник под заглавием «Наши», начатый, в подражание «Les Francais peints par eux memes», служившим в то время помощником статс-секретаря в Государственном Совете Башуцким — человеком с очень приятным литературным и артистическим талантом. Сочинитель нескольких романов, издатель двух или трех журналов и проч., он, по стечению разных неблагоприятных случайностей, всегда подвергался во всех своих литературно-меркантильных предприятиях каким-то особенным несчастьям и наиболее потерпел их при издании замечательной своей книги «Панорама С.-Петербурга», от крушения корабля, везшего в Россию изготовленные для нее в Лондоне доски и оттиски гравюр.

Такое же особенное несчастье остановило почти в самом начале и упомянутое издание его «Наши». В первых выпусках помещена была статья «Водовоз», в которой верными и живыми, но именно оттого и очень резкими красками описывалась труженическая, каторжная и сопряженная со всевозможными лишениями и бедствиями жизнь этого класса людей. Эта статья, несмотря на пропуск ее цензурой, возбудила против себя большое неудовольствие государя. Граф Бенкендорф, призвав Башуцкого, объявил ему, что государь, хотя любит и уважает его талант, но велел сделать ему строгое замечание за упомянутую статью, изображающую такими мрачными красками бедственное положение нижних слоев народа, в такую эпоху, когда умы и без того расположены к волнению.

Спустя несколько дней появилась в «Северной Пчеле» статья «Водонос», которую велено было сочинить Булгарину в виде антидота «Водовозу» и в которой он, стараясь парализовать впечатление, произведенное сею последней, представил жизнь и занятия своего героя в самых розовых и идиллических красках.

* * *

В половине 1842 года последовало всем заграничным нашим миссиям строжайшее, от высочайшего имени, подтверждение прежнего запрещения не отправлять с фельдъегерями, везущими в Россию казенные депеши, никаких частных вещей и посылок. Несколько месяцев спустя, в октябре, когда царская фамилия имела пребывание в Гатчине, несоблюдение этого приказания со стороны берлинской миссии дало повод к следующему трагикомическому происшествию.

В то время совершился брак наследного принца Веймарского с принцессой Нидерландской, и по прибытии молодой четы в Веймар великая княгиня Мария Павловна отправила к нашему двору с известием о том нарочного фельдъегеря, который на пути через Берлин заехал в тамошнее наше посольство; здесь его навьючили пятью тяжеловесными тюками, адресованными на имя графа Нессельрода, но «по канцелярии», т. е. для вскрытия непосредственно в сей последней, без передачи графу. Приехав прежде в Гатчину и поднимаясь с пакетом от великой княгини на дворцовую лестницу, фельдъегерь случайно встретил сходившего государя, который спросил, есть ли еще другие пакеты?

— Есть.

— Сколько?

— Пять.

— На чье имя?

— Графа Нессельрода.

— Давай сюда.

И вдруг в первом из этих пакетов или тюков, вскрытом тут же самим государем, оказались фрак и брюки!

Тогда, оставив и этот тюк и прочие у себя, государь вытребовал в Гатчину, через того же фельдъегеря, начальника петербургской таможни Ильина с двумя досмотрщиками. По

прибытии туда все тюки были вскрыты ими в присутствии государя. Добыча заключалась в разных нарядах и других вещах, которые под прикрытием надписи «по канцелярии» были адресованы на имя двух очень близких ко двору дам: вдовы генерал-адъютанта князя Трубецкого и фрейлины Адлерберг, дочери главнокомандующего над почтовым департаментом.

Таможенные правила подвергли все это конфискации и, сверх того, провозителя — штрафу в 630 руб. серебром. Так точно государь и приказал распорядиться, обратив взыскание штрафа на посланника нашего в Берлине, барона Мейендорфа. На графа Нессельрода за слабую команду государь тоже очень разгневался, и вице-канцлер, имевший в обыкновенном порядке еженедельно по два доклада, после этого две недели не был призываем.

Что же касается до роковых фрака и брюк, то назначение их осталось вечной тайной: второго адреса на них не было, а неизвестный их владелец не рассудил за благо явиться на ними.

* * *

В конце 1842 года государь, гуляя по Дворцовой набережной, увидел идущего перед собою человека — судя по верхней его одежде, порядочного, но который, продолжая свой путь, казалось, всхлипывал. Государь нагнал его и увидел, что, точно, все лицо у него омочено слезами.

— О чем вы плачете? — спросил он с участием.

Спрошенный, не подозревая, что за ним идет государь, и еще менее ожидая удостоиться его беседы, сперва оробел, но потом, ободренный дальнейшими расспросами, отвечал, что он чиновник сенатской канцелярии, получающий всего 500 руб. жалованья, и что у его сестры, при четырех детях, 1500 руб. долгу, за который грозят посадить в тюрьму. Отчаяние его происходило от невозможности ей помочь.

— Хорошо, — сказал государь, — ступайте ко мне наверх, напишите там все, что вы мне говорили, и ждите, пока я приду.

— Но, ваше величество, кто же меня туда пустит? Да я и не знаю, куда идти.

Тогда государь подозвал жандарма и приказал проводить чиновника во дворец, от его имени. При возвращении своем, найдя записку уже написанной, он отпустил просителя с милостивым обнадеживанием, а записку тотчас отослал к министру юстиции, с приказанием по ней справиться. Обнаружилось, что чиновник сказал и написал одну правду и что он на хорошем счету у своего начальства. Государь приказал выдать ему 1500 руб.

* * *

После открытия заговора Канарского в западных губерниях внимательность правительства к расположению там умов усилилась, разумеется, еще более, а от сего родились новые доносы, новые изыскания и новая строгость, которая, при излишнем усердии местного начальства, а иногда и из других побуждений, менее чистых, переходила не раз за пределы умеренности и даже справедливости.

Так, при назначении генерал-губернатора в Литву, на смену князю Долгорукову, Мирковича, взведено было обвинение на некоторых помещиков Виленской губернии, что они очень худо обходятся с расположенными в их поместьях солдатами, всячески их утесняют и подвергают разным истязаниям, имея в то же время непозволительные сношения с лицами, живущими за границей. Обвинение сие показалось столь важным, что один из числа тех, которые наиболее ему подпали, камер-юнкер, коллежский асессор граф Ириней Огинский, был схвачен, привезен в Петербург и заключен в крепостной каземат, а для ближайшего исследования дела на

местах отправили находившегося в то время при наследнике цесаревиче флигель-адъютанта Назимова.

Но тут обнаружилось совсем другое. Один солдат, умирая, на духу покаялся священнику, что им и его товарищами взведены были на помещиков небылицы; что последние никогда ни в чем их не утесняли: что, напротив, сами войска делали помещичьим крестьянам всякие прижимки, и что все противные сему показания солдат были или вынуждены, или куплены. Священник поспешил довести о том до сведения Назимова, который с своей стороны явил пример всякого гражданского существа. Вместо того, чтобы из угодничества скрыть это показание, как сделали бы, вероятно, многие другие, он произвел новое, по содержанию его, разыскание и представил в Петербург о результатах его, подтверждавших безвинность помещиков.

При таком направлении дела, противном прежним удостоверениям местного начальства и видам многих сильных, против следователя тотчас вооружилась могущественная партия, которая умела так оклеветать его «в приверженности к полякам», что государь при проезде в то время через Ковно, где дожидался Назимов, даже не удостоил его принять. Между тем свидетельство Назимова было слишком настойчиво, чтобы не дать ему дальнейшего хода; поэтому для нового на местах преследования командирован был в конце 1841 года генерал-адъютант Кавелин, которого донесения вполне подтвердили все показанное Назимовым. Мирковичу на сем основании сделано было строгое внушение, а дело передано на судебное рассмотрение, окончившееся в 1842 году совершенным оправданием подсудимых. Тогда на Огинского, тотчас, разумеется, освобожденного из его заключения, излился от правосудной души императора Николая целый поток милостей, который не мог не удивить массы, не знавшей вышеизложенных подробностей. В одном и том же номере «Сенатских Ведомостей» были напечатаны три о нем указа:

один 11 ноября, о производстве его «в вознаграждение за долговременное нахождение под следствием и судом» в надворные советники; другой 24 ноября, о пожаловании его в коллежские советники; наконец третий, 29 ноября, о пожаловании его, «не в пример другим», в камергеры, в которые, незадолго перед тем, установлено было не жаловать никого прежде достижения чина статского советника.

* * *

В продолжение долговременной моей службы однажды был и такой случай, что император Николай сделался моим переписчиком.

В мае 1842 года слушалось в Государственном Совете дело об устройстве каспийских рыбных промыслов, весьма важное и для государственных и для частных интересов. Оно слагалось из множества разнородных и трудных вопросов; но во главе их стоял один, от которого зависело, прямо или косвенно, разрешение всех прочих, — вопрос о праве собственности прибрежных владельцев на земли, а оттуда и на рыбные ловли. Указами 1802 и 1803 годов поведено уже было отобрать эти земли в казну и рыболовство сделать общим или вольным. Но указы сии, за множеством местных затруднений и неудобств, оставались еще без исполнения, и в 1831 году последовало даже высочайшее повеление пересмотреть дело во всех его отношениях; вследствие чего оно и поступило из Сената, как сказано, в 1842 году, в Совет.

Здесь, в соединенных департаментах гражданском и экономии, одни члены отозвались, что как вопрос решен уже положительно в указах 1802 и 1803 годов, то и должно земли и воды признать имуществом государственным, оставив их только во временном пользовании нынешних владельцев, до приискания удобнейших и выгоднейших способов к устройству каспийского рыболовства; другие члены, напротив, при-

знавали, что как в 1831 году велено пересмотреть дело во всех его отношениях, то указы 1802 и 1803 годов, через сие самое, уже потеряли свою силу; а как права прибрежных владельцев основаны все на законных способах укрепления, то и должно оставить их неприкосновенными. В общем собрании Совета мнения также разделились, и 19 членов (в том числе председатель князь Васильчиков) стали за неприкосновенность прав собственности, а 8 — за неприкосновенность силы указов.

Затем, для уразумения нижеследующего, я должен сказать, что мнение 19 членов состояло из трех частей, и означить, хотя кратко, содержание каждой из них. В первой объяснялось, что Государственный Совет всегда не только вправе, но и обязан представлять о неудобствах или затруднениях, встречаемых в законах, и что если сии последние, пока они существуют, должны быть свято исполняемы, то, однако, одно существование закона никогда не почиталось препятствием к упомянутому представлению о его неудобствах, в чем, напротив, заключается, отчасти, самое назначение Совета. Во второй части 19 членов приводили, что в настоящем собственно случае вопрос этот представляется еще в теснейших пределах или, лучше сказать, совсем отпадает, ибо решен уже повелением 1831 года. Когда сим повелением указан пересмотр дела во всех отношениях, то ясно, что должны быть пересмотрены и указы 1802 и 1803 годов, а если требовать приведения их в действие, без убеждения в их пользе и справедливости, потому лишь, что они законы существующие, то останется неисполненным повеление 1831 года — закон, точно так же существующий и еще более обязательный, потому что он позднейший. Наконец, в третьей части доказывалась важность тех помещичьих прав, которые потрясены были указами 1802 и 1803 годов, и необходимость охранить эти права в полной их силе.

На сих основаниях 19 членов полагали: пересмотреть дело и постановить нужные к его разрешению меры, единственно

в видах справедливости и общественной пользы, не стесняясь упомянутыми указами. Мемория о сем разногласии возвратилась от государя на другой же день с следующей собственноручной резолюцией: «Права помещиков немедля пересмотреть, с тем чтобы дело было непременно кончено к 1-му сентября. Касательно же обязанности Совета представлять о неудобствах существующих законов, нужным нахожу заметить, что решение, которое по сему последовать может, разрешает сей вопрос только для будущих случаев, представиться могущих, но никогда не должно и не может изменить решения дела, возбудившего подобного рода представление, которое рушиться должно по точному смыслу существующего в то время закона. Обратного действия никакой закон иметь не может».

Эта резолюция не могла не поставить и меня и князя Васильчикова, которому я тотчас о ней донес, в крайнее недоумение. Обе ее части, взятые отдельно, были вполне логичны и правильны; но совокупное приложение их к настоящему собственно делу, очевидно, представлялось невозможным, ибо пересмотреть права владельцев нельзя было иначе, как не стесняясь указами 1802 и 1803 годов, а решить дело по закону существующему значило оставить означенные права без пересмотра, так как они были уже уничтожены теми указами, составляющими еще покамест закон существующий. От сего объявления этой резолюции Совету грозило новым разногласием, уже не о существе дела, а о собственном ее (резолюции) значении. Ее могли бы истолковать в свою пользу: по первой ее части 19, а по второй 8 членов, и обе стороны были бы некоторым образом правы. Васильчиков находился в совершенной нерешимости, рисковать ли на такое непристойное новое разногласие, по которому дело опять пошло бы к государю уже с вопросом: в чем, собственно, состоит его воля, — или же, остановив объявление резолюции Совету, лично передоложить снова дело. Наконец князь решился на

последнее и с стесненным сердцем поехал в Царское Село; но все обошлось гораздо легче, чем мы предполагали. По первому слову князя государь сказал, что сам заметил возможность недоразумения от его резолюции, но тогда уже, когда она была отослана.

— Впрочем, — продолжал он, — сам я имею очень ясную мысль по этому предмету. Сколько я ни уважаю память и волю покойного брата (в указах 1802 и 1803 годов), но здесь не могу с ним согласиться и хочу, чтобы каждому отдано было свое; следственно, по этому делу совершенно разделяю мнение 19 членов; а что я написал далее, то относится не сюда, а к той части (второй) вашего заключения, где вы рассуждаете о порядке представления касательно неудобств законов вообще. Одно идет прямо к настоящему делу, а другое к общему порядку.

Отозвавшись, что Совет в предметах тяжебных всегда так и поступает, Васильчиков прибавил, что хотел только сперва удостовериться в точном разуме высочайшей воли, чтобы при объявлении ее Совету сообразно тому вразумить членов.

— Нет, этого мало; резолюцию надо переменить, чтобы в ней самой не было неясности.

— Так не угодно ли вашему величеству прибавить только наверху, что вы соглашаетесь с 19-ю членами?

— Опять-таки нет: это дело надо хорошенько сообразить; пришли мне, что вы придумаете с Корфом, я то и напишу.

Возвратясь из Царского Села, князь прислал за мною и, рассказав вышеприведенный разговор, поручил написать новую резолюцию взамен прежней, и притом тут же, у него в кабинете, для немедленной отсылки к государю. Дело было нелегкое, и князь клал меня на прокрустово ложе. Надлежало сказать теми же словами — другое, сохранив, по возможности, прежнюю редакцию, не укорачивая и не распространяя ее и придав вообще всему тот вид, как будто

бы оно вытекло из-под быстрого государева карандаша. После долгого размышления я придумал написать так:

«В отношении к настоящему делу соглашаюсь с мнением 19 членов; почему и рассмотреть немедля права помещиков, не стесняясь указами 1802 и 1803 годов, с тем, чтобы дело было непременно кончено к 1-му сентября. Касательно же обязанности Государственного Совета представлять о неудобствах существующих законов вообще, нужным нахожу заметить, что заключения его об исправлении или пополнении сих законов должны всегда разрешать встретившийся вопрос только на будущее время, но никогда не должны и не могут иметь влияния на решение дела, возбудившего подобного рода представление: ибо как никакой закон обратного действия иметь не может, то и всякое такое дело должно решиться по точному смыслу существовавшего в то время закона».

Эту редакцию, чтобы придать делу возможно меньшую формальность, я переписал на листке почтовой бумаги своею, известной государю, рукой, и она была отправлена в Царское Село при коротенькой записке Васильчикова.

Ответ не заставил себя долго ждать. Государь выслал меморию со стертой прежней резолюцией и написанной взамен ее новой по моей редакции, в которой он сделал одну только перемену, и именно вместо слов: «касательно же» написал: «но касательно», без сомнения, для большей противоположности с первой частью. В таком виде резолюция была объявлена Совету и не дала уже повода ни к какому сомнению; но важнейшее здесь — черта для истории.

Император Николай, самодержавный, безотчетный властелин полусвета, доступен был всякой правде, всякому добросовестному убеждению, любил первую (как неоднократно высказывал то и перед Советом, и перед разными комитетами) и покорялся последнему. И любовь его к правде была не одним словом, а делом и истиной! Многие ли и из министров наших согласились бы так уничтожить произнесенное еди-

ножды приказание и заменить его другим, не от них самих вышедшим? И что сказали бы иностранные газетные врали, узнав такую черту к характеристике ославленного ими деспота Николая?

* * *

Высшее управление Петербургской столицы при императоре Николае находилось весьма долгое время в руках такого человека, которого менее всего можно было признать к тому способным. Я говорю о военном генерал-губернаторе графе Петре Кирилловиче Эссене.

Послужной список этого, в то время уже старца, представлял такие блестящие страницы, что, перейди в потомство одни эти страницы, история должна была бы поставить Эссена в ряд самых примечательных людей его века. Изумительно быстрая карьера, важные назначения, самые щедрые милости, изливавшиеся на него во все продолжение его службы, — все это намекало на необыкновенные дарования и доблести, на испытанные опытом искусство и знание дела, даже почти на некоторую гениальность.

А между тем мы, современники, которым вполне известна была степень его умственной высоты, искали и находили причину этой необыкновенной карьеры единственно в счастливом стечении обстоятельств и в своевольной игре фортуны, так часто отворачивающейся от людей истинно даровитых и дельных и осыпающей своими дарами ничтожность и пустоту. История должна быть неумолима и беспощадна, и потому, при всем уважении к памяти человека, по своему характеру доброго и незлобивого, может быть отчасти и храброго воина, не могу не сказать со всею искренностью, что Эссен, в сущности, был самой злой карикатурой на письменный его формуляр, а карьера его была самой язвительной

насмешкой над людьми, которые мечтают приманить к себе счастье одними достоинствами.

Родом из бедной и незначащей лифляндской фамилии (совсем другой, нежели известная эстляндская фамилия Эссенов), наш Петр Кириллович был в 1777 году, пяти лет от роду, записан по тогдашнему обыкновению вахмистром в Лейб-Кирасирский батальон — игрушку, отданную Екатериной II в полное распоряжение наследника престола, великого князя Павла Петровича, и послужившую рассадником так называемым Гатчинским, его любимцам и созданиям. Кратковременное царствование императора Павла, заставшее Эссена секунд-майором, оставило его, в 28 лет от роду, генерал-лейтенантом, Выборгским военным губернатором, инспектором Финляндской инспекции и шефом гарнизонного полка, с Анненской лентой, и владельцем пожалованных ему двухсот крестьян. Все это он получил без других видимых заслуг, кроме маловажного участия в Швейцарском походе 1799 года.

Замечал ли Павел в человеке, которого так быстро возвышал, что-нибудь необыкновенное или только желал вознаградить в нем Гатчинскую преданность и, с тем вместе, возвышением его уничижить Екатерининских временщиков? Последнее гораздо более вероятно: ибо от умного императора не могла укрыться совершенная бездарность и ограниченность человека, который притом ничему никогда не учился и ничего не знал, кроме немецкой и русской грамоты, обе — в самой жалкой степени.

Весьма примечательно еще одно обстоятельство: в эти четыре года столь же быстрых падений, как и возвышений, когда никто почти из известных императору лиц не избегнул исключения и отрешения, хотя бы на короткое время, Эссен шел своим путем-дорогой, не быв даже ни разу отставлен. Ему, в отрицательности его, вероятно, нечем было даже и прогневить Павла.

После перемены царствования, быв назначаем сперва шефом разных, попеременно, полков и потом начальником разных дивизий, он участвовал в первой Французской, в Турецкой и в начале Отечественной кампании и во все это время также был осыпаем непрерывными наградами, доведшими его, не далее февраля 1812 года, до Владимирской ленты. В конце 1816 года он был отчислен состоять по армии, но ненадолго: 19 января 1817 года его назначили на важный административный пост, именно Оренбургским военным губернатором, командиром Отдельного оренбургского корпуса и управляющим гражданской там частью и пограничным краем. В том звании Эссен был пожалован: 1819 года января 1-го в генералы от инфантерии и декабря 31-го «за сбережение более 1 300 000 руб. от продовольствия войск» милостивым рескриптом и 10 000 десятин земли в Оренбургской губернии, а в 1826 году еще арендой в 3000 руб. серебром на 12 лет. Наконец, в 1830 году февраля 7-го карьера Эссена была блистательно увенчана назначением его С.-Петербургским военным генерал-губернатором и вслед за тем (апреля 18-го) членом Государственного Совета.

В этих званиях он пожалован: в 1831 году табакеркой с портретом государя, в 1832 году перстнем также с портретом, в 1833 году «в ознаменование особенного благоволения за долговременную, отлично усердную и ревностную службу государю и отечеству» графским достоинством, в 1834 году орденом св. Андрея, в 1839 году производством, вместо аренды, в течение 12 лет по 5000 руб. серебром и, наконец, в 1841 году алмазами к Андрею. А между тем этот человек, без знания, без энергии, почти без смысла, упрямый лишь по внушениям, состоял неограниченно в руках своего, привезенного им с собою из Оренбурга, правителя канцелярии Оводова, человека не без ума и не без образования, но холодного мошенника, у которого все было на откупу и которого дурная слава гремела по целому Петербургу. Эссен лично ничего не

делал, не от недостатка усердия, а за совершенным неумением, даже не читал никаких бумаг, а если и читал, то ничего в них не понимал; Оводов же, избалованный долговременной безответственностью, давал движение только тому, что входило в его интересы и расчеты. Приносить просьбы или жалобы военному генерал-губернатору по таким делам, по которым его правитель канцелярии не был особо заинтересован, ни к чему не вело, и в таком случае можно было ходить и переписываться целые годы совершенно понапрасну.

Зато едва ли и встречался когда-нибудь в высшем нашем управлении человек с такой отрицательной популярностью, какую приобрел Эссен, сделавшийся постепенно метой общего презрения и явных насмешек, выражавшихся иногда — разумеется, иносказательно — даже и в печати[76]. Все это, однако, относясь более к распорядку внутреннему или, так сказать, бумажному, оставалось, по-видимому, сокрытым от государя, который в отношении к внешнему порядку столицы входил сам во все и при бодрственной внимательности своей представлял своим лицом истинного высшего начальника Петербургской столицы.

В 1829 году, когда в Оренбургской губернии впервые появилась холера, болезнь, в то время еще совершенно новая и неслыханная в России, туда командирован был флигель-адъютант Игнатьев. По возвращении в Петербург он донес государю о совершенной неспособности Эссена к управлению столь важным краем, для администрации которого преимущественно потребна была умная и сильная воля. Государь подумал и назначил Эссена С.-Петербургским военным генерал-губернатором, зная, что здесь мало куда годный старик будет под его рукой и непосредственным

[76] Так, в издании «Сплетни», выходившем в 1842 году, была статья: «Всевидящее око» — прямая сатира, направленная против Эссена.

надзором, а затем только терпел его, по уважению к его летам, бесконечной службе и Андреевской ленте.

Сверх того, внутренние действия Петербургской полиции, известные дотоле лишь их жертвам, начали подвергаться более строгому контролю и обследованию только со времени вступления в управление министерством внутренних дел Перовского. Обревизовав лично управу благочиния, новый министр удостоверился в невероятных в ней беспорядках и злоупотреблениях и написал очень строгую по этому поводу бумагу обер-полицеймейстеру Кокошкину. Потом он обратился к самому Эссену и, ссылаясь на дурную репутацию Оводова, изъяснил, сколько необходимо было бы для отвращения дальнейших нареканий удалить последнего от должности. Наконец, по докладу Перовского об оставлении без ответа со стороны военного генерал-губернатора семнадцати, по одному и тому же делу, отношений министерства, государь в июне 1842 года приказал сделать Эссену строгий выговор, а Оводова посадить на гауптвахту на три дня, из числа которых он просидел, впрочем, только один, ибо на следующий день праздновалось рождение императрицы (1 июля), что послужило поводом его выпустить. Дело стало проясняться. Вскоре на образ управления столицы должен был пролиться, по крайней мере, в отношении к одной его части, судебной, — новый еще, всех ужаснувший свет.

По замеченному в обоих департаментах С.-Петербургского надворного суда чрезвычайному, от собственной их вины, накоплению дел, в 1837 году признано было за нужное определить в сии департаменты новый комплект членов и секретарей, а из прежних учредить два временных департамента, 3-й и 4-й, на таком основании, чтобы они окончили все старые дела в течение двух лет, если же сего не исполнят, то продолжали бы свои занятия до совершенного окончания тех дел, без жалованья.

Двухлетний срок истек в апреле 1839 года, и хотя по оставлении затем членов и секретарей 3-го и 4-го департаментов

при прежних их должностях без окладов надлежало ожидать, что дела будут скорее окончены, однако вышло совершенно противное. В 1840 и 1841 годах оба департамента были обревизованы вновь назначенным в Петербург гражданским губернатором Шереметевым и одним из высших чиновников министерства юстиции, и ревизия их, внесенная графом Паниным в конце 1842 года в Государственный Совет, представила такую картину, которую достаточно будет изобразить здесь и в одних следующих главнейших и наиболее разительных чертах ее.

В 3-м департаменте оказалось нерешенных дел 375, а неисполненных решений и указов более 1500. Из числа трех присутствовавших судья, по старости лет и слабому здоровью, занимался чрезвычайно мало, один заседатель умер, а другой постоянно рапортовался больным и почти никогда не бывал в суде. Из числа двух секретарей один также умер, а другой, видя себя обреченным служить неизвестное время без жалованья и не находя никаких средств к пропитанию большой семьи, упал духом и притом решительно не мог ничего делать, как от бездействия и недостатка членов, так и от неповиновения канцелярии, которой безнравственность, по выражению ревизоров, превзошла всякое вероятие.

В 4-м департаменте нерешенных дел оставалось до 600, а счета неисполненным решениям и указам никто не знал; поверить же их число не было возможности, потому что все реестры, книги и проч. находились в совершенном расстройстве. Секретарей не было совсем, должность их правили повытчики: нравственность канцелярии была едва ли лучше, чем в 3-м департаменте: члены, хотя и находились налицо, но ревизоры замечали, что они «нимало не стесняются обязанности служить без жалованья и готовы оставаться в сем положении еще на весьма долгое время».

В обоих департаментах несколько двигались те дела, по которым просители имели ежедневное и настоятельное хож-

дение, прочие же лежали без всякого производства и разбора вокруг канцелярских столов. В делах конкурсных публикации делались, вместо того же самого дня, когда признана была несостоятельность, через несколько после того лет, а между тем департаменты распоряжались имуществом должника по своему произволу и с таким же произволом делили деньги между кредиторами, так что некоторые успевали исходатайствовать себе полное удовлетворение, тогда как другие, при тех же самых правах, не получали ничего. Денежная отчетность была в таком порядке, что находившейся в суде частной сумме до 650 000 руб. потерян был всякий след, кому именно она принадлежала, и вследствие того ее хранили под названием суммы «неизвестных лиц»! Наконец, за все эти действия члены 3-го департамента были преданы суду три, а члены 4-го — двадцать четыре раза!

Картина эта, здесь только очерченная, была тем ужаснее, что действие происходило в столице, в центре управления, почти окно в окно с царским кабинетом и еще в энергическое правление Николая; и после взгляда на нее, конечно, уже трудно было согласиться с теми, которые находили явившиеся незадолго перед тем «Мертвые души» Гоголя одной лишь преувеличенной карикатурой. Сколько долговременный опыт ни закалил престарелых членов Государственного Совета против всевозможных административных ужасов, однако и они при докладе этого печального дела были сильно взволнованы и, так сказать, вне себя. Что же должна была ощущать тут юная, менее еще ознакомленная с человеческими мерзостями душа цесаревича наследника! Слушая наш доклад с напряженным вниманием, он беспрестанно менялся в лице… Общее негодование увеличивалось еще тем, что виновные за все грехи их до 16 апреля 1841 года покрывались щитом милостивого манифеста, и кара закона могла коснуться их только за позднейшие их действия.

Граф Панин, доводя о всем вышеизложенном до сведения Совета, предлагал: 1) 3-й и 4-й департаменты соединить в

одно присутствие, наименовав его временным надворным судом (он мотивировал это тем, что в одно присутствие легче приискать людей, чем в два); 2) членов их и секретарей уволить от службы, с преданием за все их действия после манифеста суду; 3) увеличить штат, а назначение новых членов и секретарей предоставить губернатору; 4) канцелярию составить из прежних чиновников (чтобы не вверить дел лицам новым, вовсе с ними незнакомым), уполномочив губернатора увольнять от службы тех из них, которых новые члены найдут неспособными или неблагонадежными; 5) временному суду о ходе своих занятий доставлять месячные ведомости в министерство и в губернское правление; 6) для окончания всех дел назначить ему трехгодичный срок, и если поручение сие окончено будет с успехом, то поместить чиновников в свое время к другим соответственным должностям и представить об их награде.

Департамент законов принял эти меры безусловно, а общее собрание Государственного Совета прибавило к ним только, чтобы министр юстиции, во-первых, удостоверясь, были ли со стороны губернского правления и губернского прокурора употребляемы должные настояния к прекращению описанных беспорядков и, в случае безуспешности таких настояний, ограждали ли они себя от ответственности надлежащими донесениями по начальству, довел об открывшемся до сведения Совета, и во-вторых, сообразил, не нужно ли принять особенных мер для ближайшего надзора за действиями нового суда — определением ли к губернскому прокурору особого товарища или иначе.

Во все время происходивших об этом суждений наш простодушный военный генерал-губернатор, по обыкновению своему, совершенно безмолвствовал; но это никого не удивило. Что мог сказать старик, всякий день и отовсюду обманываемый, менее знавший о своем управлении, чем многие посторонние, никогда не помышлявший о мерах исправле-

ния и, может быть, тут лишь впервые услышавший об этих ужасах? Уже только после заседания, когда большая часть членов разъехалась, он заметил мне наедине, «что мог бы сказать многое, да не хотел напрасно тратить слов; что и во всех других здешних судах такие же беспорядки; что главной причиной — недостаток чиновников, которые не являются даже по вызовам через газеты, и что в управе благочиния, может статься, еще хуже».

Между тем журнал был написан мною со всем жаром того справедливого негодования, которое выразилось между членами, и я с горестным любопытством ожидал, когда и как сойдет мемория от государя, скорбя вперед о впечатлении, которое она произведет на его сердце. Действительно, посвятить всю жизнь, все помыслы, всю энергию мощной души на благо державы и на искоренение злоупотреблений; неуклонно стремиться к тому в продолжение 17 лет; утешаться мыслью, что достигнут хотя какой-нибудь успех, и вдруг — вместо плода всех этих попечений, усилий, целой жизни жертв и забот — увидеть себя перед такой зияющей бездной всевозможных мерзостей, бездной, открывавшеюся не сегодня, вчера, а образовавшеюся постепенно, через многие годы, неведомо ему, перед самым его дворцом — тут было от чего упасть рукам, лишиться всякой бодрости, всякого рвения, даже впасть в человеконенавидение… Это глубокое сокрушение и выразилось, хотя кратко, но со всем негодованием обманутых чаяний, в собственноручной резолюции, с которой возвратилась наша мемория.

«Неслыханный срам! — написал государь. — Беспечность ближнего начальства неимоверна и ничем не извинительна; мне стыдно и прискорбно, что подобный беспорядок существовать мог почти под глазами моими и мне оставаться неизвестным».

Сверх того, в проекте указа, где говорилось (пункт 3-й), чтобы прежних членов и секретарей «уволить» от службы,

государь заменил это слово: «отставить». За всем тем, при характере государя, мне казалось, что эта резолюция — как-то без конца, т. е. без полного результата или развязки и что за нею должно последовать еще что-нибудь другое, независимо от окончания дела по Совету. Так действительно и было. Государь, получив советскую меморию 2 декабря и прочитав ее вечером, в ту же минуту послал за военным министром князем Чернышевым и велел ему внести в приказ об увольнении графа Эссена от должности. Все это сделано было еще в тот же вечер 2-го числа, так что, когда мемория дошла до меня на следующий день, Эссен был уже всемилостивейше уволен от должности военного генерал-губернатора, с оставлением только членом Государственного Совета: причем не употребили даже обыкновенных смягчающих выражений: «по просьбе» или «по болезни». Гнев государя был очень понятен, как равно и то, что он обрушился собственно на Эссена. Шереметев состоял губернатором всего только еще второй год, и по его именно ревизии и были открыты все эти ужасы; главные виновники, члены и секретари, без того уже отставлялись и предавались суду, а степень ответственности губернского прокурора могла определиться только через предназначавшееся Государственным Советом исследование. Государь говорил многим, что винит не Эссена, а себя, за то, что он так долго мог его терпеть и оставлять на таком важном посту. Бывший военный генерал-губернатор после увольнения своего являлся во дворец два раза, но был допущен только во второй.

— Я ничего не имею против тебя лично, — сказал государь, — но ты был ужасно окружен.

Между тем 6-го числа, в день своего тезоименитства, государь, добрый и в самой строгости и всегда признательный к долговременной, не омраченной никакими произвольными винами службе — глупость и бездарность не от нас зависят — утешил бедного старика пожалованием ему, при милости-

вом рескрипте, своего шифра на эполеты и оставлением при нем всего прежнего содержания, т. е. по 6000 руб. в год.

Рассказывая мне сам обо всем этом 6 числа во дворце, Эссен заключил так:

— Признаюсь, что милость царская искренно меня порадовала, сняв тот срам, которым я был покрыт перед публикой. И скажите, ради Бога, зачем все это обрушилось на мне одном, когда есть и губернское правление, губернский прокурор, и министр юстиции? При моей аудиенции я объяснил мою невинность и вместе трудность, в которой находился действовать без чиновников, которых, как я вам сказывал, нельзя было дозваться даже через газеты. Вероятно, государь нашел мои доводы достаточными, потому что восстановил теперь опять мою честь. Но представьте, какие есть злые люди на свете: государю донесли, что когда это дело слушалось в Совете, то я ничего не говорил. «Видно, — сказал он мне, — ты ничего не нашел к своему оправданию, потому что смолчал в Совете»; а ведь вы сами вспомните, что я говорил с вами после заседания; Совету же что ж мне было еще объяснять, когда я сам обо всем представил министру юстиции и он лично тут находился? Впрочем, слава Богу, что моя должность перешла к доброму и честному человеку (генерал-адъютанту Кавелину), настоящему христианину, а мне уж и так жить недолго.

Невозможно передать на бумаге того простодушного тона, с которым все это было сказано, но разговор был бесподобен своею наивностью.

— Теперь, — прибавил Эссен, — на свободе я могу прилежнее читать ваши советские записки, к чему до сих пор у меня недоставало времени.

Я советовал ему не приезжать на следующий день в Совет, где должна была объявляться резолюция государева. Он, однако ж, не согласился.

— Как же мне это сделать? Ведь можно бы только под предлогом болезни; если же сказаться больным, то нельзя приехать и на дворцовый бал вечером (он был назначен, вместо 6-го числа, 7-го), а тут, пожалуй, подумают, что я обижаюсь.

На бале 7 декабря, куда Эссен не преминул явиться, и императрица, и супруга наследника цесаревича, и все великие княжны ходили с ним польское, а государь в виду всех почтил его продолжительною и милостивою беседою.

Этим окончились судьбы графа Эссена, вскоре после того (в 1844 году) умершего; и как бы для сохранения послужному его списку до самого конца вида фантасмагорического призрака, столь противоположного действительности, надо же было, чтобы он заключился милостивым рескриптом и важной наградой (шифр на эполеты) в ту самую минуту, когда героя его удаляли от места за признанной неспособностью.

VIII
1843 год

Пятидесятилетие службы князя Васильчикова и князя Волконского — Балы в Концертной зале — Маскарадные разговоры — Маскарад у князя Волконского — Уголовное дело Лагофета — Второе издание Свода законов — Министр внутренних дел Перовский — Сумасшедший полковник Богданов — Постройки в Петербурге

1 января 1843 года исполнилось 50 лет службы в офицерских чинах двум государственным сановникам: министру императорского двора князю Петру Михайловичу Волконскому и председателю Государственного Совета и Комитета министров князю Иллариону Васильевичу Васильчикову.

Последнему некоторые члены Государственного Совета думали дать в этот день обед от лица сего учреждения; но государь отклонил их мысль, отозвавшись, что таким образом праздновались до тех пор юбилеи только врачей и ученых. Засим все должно ограничиться лишь одним церемониальным поздравлением. К 10 часам утра вся государственная канцелярия и вместе с нею я, как ее начальник, собралась у председателя, в парадной форме. В вестибюле был поставлен, по приказанию государя, почетный караул от Ахтырского гусарского полка[77] (состоявший из отряда образцового полка, расположенного в Павловске), которым некогда командовал юбиляр. Мы были первыми поздравителями, и князь, приняв приветствие чиновников канцелярии, удалился со мною в свой кабинет. Вскоре, пока мы оставались еще вдвоем с ним, доложили о фельдъегере от военного министра. В привезенном им пакете находился приказ, которым Ахтырскому полку велено было именоваться впредь полком «князя Васильчикова». Тут почтенный старец, уже и при нашей

[77] Император Александр прибавил: «коего князь Васильчиков был шефом».

встрече боровшийся с умилением, не мог более удержаться от слез. Действительно, быть свидетелем и деятелем этого полустолетия, которое по важности совершившихся в нем событий равнялось нескольким векам; отслужить полвека неукоризненно, с честью, популярностью и славой, достигнуть этой редкой в человеческой жизни грани с не совсем еще угасшими силами, всеми уважаемому и любимому; видеть, наконец, среди общего сочувствия, выразившегося еще накануне многочисленными поздравлениями, дань признательности могущественнейшего монарха в мире — во всем этом было много высокой, истинной поэзии!..

Около половины 11-го бегут с известием, что едет государь. Он прибыл вместе с наследником цесаревичем, великим князем Михаилом Павловичем, обоими младшими своими сыновьями и многочисленной свитой андреевских кавалеров, со всем, что было в то время занятнейшего и почетнейшего в нашей администрации. Владыка полвселенной, окруженный своими детьми и сановниками, пришел сам приветствовать старшего из своих подданных с полувековым совершением славного поприща. Князь встретил его на лестнице, а я с канцелярией в аванзале. Вслед за приездом государя комнаты мгновенно наполнились генералами, всеми офицерами гвардейского корпуса, которым некогда также начальствовал юбиляр, и множеством сторонних посетителей. Некоторые после мне сказывали, что принуждены были воротиться с лестницы, за невозможностью пробраться наверх.

Улица перед домом представляла тоже любопытное зрелище: множество экипажей густо покрывало всю широкую Литейную, а на тротуарах толпилось еще большее число любопытствовавших зрителей. Все имело вид какого-то народного торжества...

Государь пробыл у князя минут десять, разговаривая то с хозяином, то с гостями, а перед отъездом несколько раз обнял и расцеловал первого. Прием гостей, беспрестанно вновь

приезжавших, продолжался все утро. Обедать Васильчиков зван был к государю, и в этот день младшая его дочь, лет десяти, пожалована во фрейлины, а один из сыновей переведен из кирасиров в конную гвардию.

Нечто подобное было и с другим юбиляром — князем Волконским. За теснотой помещения, которое он занимал в Зимнем дворце, гвардейский корпус приветствовал его в Гербовой (Белой) зале, а высшие особы прочих ведомств — в зале Петра Великого. Государь сам привел его туда, перед тем, как ехать к Васильчикову. У него тоже был почетный караул от Белозерского полка, которым он некогда командовал[78] и который тоже назван в этот день полком «князя Волконского». Внук его по дочери, шестилетний сын камергера Дурново, пожалован в камер-пажи, а дочь старшего сына, дитя трех месяцев, получила звание фрейлины. Разумеется, что и этот юбиляр обедал у государя.

Спустя несколько дней появилась в газетах небольшая статейка, описывавшая оба юбилея, — к сожалению, очень ничтожная и сухая. Недурного было в ней только несколько слов о том, как князь Васильчиков принял поздравление государя. «Слезы на лице поседелого воина, бесстрашно встречавшего смерть в тысячах битв, несвязные выражения признательности из уст, красноречивых и смелых, когда надлежит сказать правду другу или врагу, были единственной данью в ответ на милостивое внимание государя». И что довольно оригинально: князь сильно негодовал на эту статью за то, что в ней было сказано, будто бы у него появились «слезы на лице».

— Вот еще выдумали, — сказал он мне, — слезы: точно будто я расплакался; желал бы знать, кто видел эти слезы!

[78] Император Александр II прибавил: «и заслужил св. Георгия 3-й степени, ведя его лично в атаку под Аустерлицем».

Можно было бы поверить словам старика, если бы он уверял в том других, а не меня, который точно видел эти слезы, и притом очень крупные, — и прежде прибытия государя, и во время его посещения, и после!

Король прусский, узнав о юбилее обоих князей, прислал им бриллиантовые знаки к ордену Черного Орла, при собственноручных рескриптах на французском языке, очень лестных и прекрасно написанных. Это дало повод к презабавному анекдоту со стороны Васильчикова, начинавшего в последние годы своей жизни страдать частыми припадками рассеянности и забывчивости. Волконский показал свой рескрипт императрице, которая пожелала видеть затем и пожалованный Васильчикову. Одним уроком, получив сперва призвание явиться к князю для объяснений по некоторым делам, я позже был уведомлен, что он сейчас отправляется к императрице, а оттуда сам ко мне заедет. Он точно и приехал, но в положении самом расстроенном, проклиная свою рассеянность, отсутствие памяти и проч.

— Что такое?

— Представьте себе, что, приехав к императрице, чтобы показать ей мой рескрипт, я, уже на половине дворцовой лестницы, вспомнил, что оставил его дома. Ради Бога, пошлите за ним к моей жене, а я покамест у вас посижу.

Так и было сделано, но, разумеется, что в этих пересылках прошло много времени, в продолжение которого императрица все напрасно ждала приглашенного ею к себе гостя.

* * *

При императоре Николае давались, обыкновенно по несколько раз в зиму, балы в Концертной зале (это был официальный их титул), составлявшие середину между большими парадными балами и домашними вечерами аничкинского общества. На эти балы приглашались не по выбору, озна-

чавшему степень милости или приближенности, а по званиям и степеням службы. Сверх дипломатического корпуса, гвардейских генералов и нескольких полковых офицеров, назначавшихся по наряду, в списке лиц на балы Концертной залы стояли: первые и вторые чины двора, министры, члены Государственного Совета, статс-секретари и первоприсутствующие сенаторы департаментов и общих собраний. Из числа камергеров и камер-юнкеров приглашались только назначенные в дежурство при дамах императорской фамилии. Все званые приезжали в мундирах.

Балы начинались полонезами, в которых ходили государь с почетнейшими дамами, а императрица, великие княгини и княжны — с почетнейшими кавалерами, и оканчивались, после всех обыкновенных танцев, ужином (иногда танцы продолжались еще и после ужина), с музыкой, в большой аванзале (Николаевской зале), или в Помпеевой галерее, Арапской комнате и ротонде, но в таком случае уже без музыки. Особенную прелесть таких балов, кроме возможной непринужденности, составляло то, что на время их открывались и все внутренние комнаты императрицы: кабинет, почивальня, купальня и проч., верх роскоши и вкуса.

На последнем публичном маскараде в Дворянском собрании перед постом одна дама, интригуя государя, спросила:

— Какое сходство между маскированным балом и железной дорогой?

— То, что они оба сближают, — отвечал он, ни на минуту не задумавшись.

Находчивость императора Николая в частном разговоре была вообще очень замечательна, и молодые женщины не могли не находить особенной прелести в его беседе. Какой-то иностранец сказал о нем, что он никогда не искал нравиться. Если бы и признать это правдой, то нельзя не сознаться, что сама природа действовала за него, и он не только нравился,

но и обворожал каждого, кто видел и знал его в коротком кругу, тем более в семейной и домашней жизни.

Сверх балов, собственно в государевых дворцах, при императоре Николае бывали еще и полупридворные балы у министра императорского двора князя Волконского. В техническом языке нашего большого света их называли «bals des appanages», потому что они давались в доме министра уделов, где в прежние годы жил министр финансов граф Гурьев, соединявший в своем лице и звание министра уделов. В его время эти палаты бывали полны гостей 364 дня в году, потому что Гурьев принимал всякий день, кроме Страстной субботы. Но когда, после его смерти, министерство уделов вошло в общий состав министерства императорского двора и князю Волконскому отведено было помещение в Зимнем дворце, прежний дом остался только для чрезвычайных приемов, а прочее время стоял пустой и только что не наглухо заколоченный. Впрочем, на удельных балах князь Волконский хотя и давал свой титул и свою фамилию для пригласительных билетов и разыгрывал роль хозяина, но, понастоящему, принадлежал также к числу гостей; ибо все тут было на иждивении двора: угощение, освещение, музыка, прислуга, даже и надетая на прислугу фамильная ливрея Волконских.

Прежде подобные балы повторялись каждую зиму, но впоследствии они прекратились и уже только лет через семь или восемь возобновились, в 1843 году, блестящим маскарадом, для заключения ряда масленичных празднеств, в тот год необыкновенно многочисленных. Мы были званы — число всех приглашенных простиралось до 500 — к 8 часам в домино и масках; но потом это было отменено, и те, которые не участвовали собственно в маскировании, явились в обыкновенном бальном наряде.

Маскарад состоял из полонезов, разных кадрилей — индейцев, маркизов, швейцарцев и смешанных, всех в костю-

мах, но без масок, — в заключение которых шли все царственные дамы и, наконец, сама императрица, в богатейших средневековых нарядах, осыпанных бриллиантами и жемчугом. Этот полонез прошел несколько раз по залам, и потом начались танцы, впрочем, не характерные, а обыкновенные, и не по кадрилям, а в пестрой смеси.

Из кавалеров были костюмированы только статские, потому что военным общий наш порядок запрещает другую одежду, кроме форменной. Впрочем, государь и наследник были также в полукостюме, если не прямо маскарадном, то, по крайней мере, редко на них виданном: первый — в пунцовом жупане линейных казаков (собственного его конвоя), наследник — в пунцовом же с синим жупане казаков черноморских. Оба младшие великие князя были одеты пажами средних веков и, вместе с несколькими другими мальчиками в таком же наряде, участвовали в характерном полонезе. Таким образом, из всех членов царской фамилии в обычном своем костюме были только великие князья: Михаил Павлович в артиллерийском мундире и Константин Павлович в уланском.

Танцевали в двух смежных залах, но с особым в каждой оркестром. Кроме того, в сенях перед лестницей играл еще военный оркестр для приема гостей. Звуки этой разнохарактерной музыки; ослепительные наряды дам, которые в маскарадных своих костюмах казались другими и новыми; роскошно рассыпанные везде цветы и зелень; великолепие буфетов, убранных царским золотом и серебром, — все это вместе придавало особую жизнь и особый колорит. Чтобы не затанцеваться в пост, государь уже во время бала вдруг велел тайно переставить все стенные и столовые часы часом назад; таким образом, ужинать подали в половине 12-го, а разъезжаться стали в начале 1-го, но в сущности все это происходило часом позже. Для ужина пробит был проход в смежное здание удельного училища и, сверх того, были еще накрыты

столы в нижнем этаже главного дома, так что все 500 приглашенных ужинали сидя.

Забыл сказать, что много позабавил на этом вечере и царскую фамилию, и всю публику находившийся тогда в Петербурге знаменитый французский живописец Горас Верне. Уже во время полного разгара бала он вдруг явился в вывезенном из Египта[79] одеянии тамошнего солдата, с подкрашенными лицом и шеей, с ружьем, трубкой, манеркой и запасом лучинок, хлеба, моркови и проч. Как живописец он умел мастерски гримироваться, а костюм его так полюбился Михаилу Павловичу, что Верне тут же упросил великого князя принять после маскарада этот наряд.

* * *

В Государственном Совете производилось дело об отставном корнете Лагофете, который, живя и распутствуя у себя в деревне (в Тульской губернии), растлил 16-летнюю крепостную свою девку. Три члена, не находя требуемых законом доказательств, чтобы при растлении употреблено было насилие, полагали: Лагофета за нарушение помещичьей власти и развращенную нравственность лишить чина и дворянства, с отдачей в солдаты или с ссылкой, в случае неспособности, на поселение. Но 28 членов (в том числе и наследник цесаревич) находили, что, если не доказано прямого насилия при самом акте растления, то, однако же, вполне доказана насильственность действий, предшедших этому акту и его приготовивших: увлечение девки из дому после сопротивления ее родителей, не упорствовавших долее лишь из покорности к помещику, побои отцу и угрозы всему семейству, наконец, уклонение девки, — и потому они полагали: подсудимого, лишив чина и дворянства, сослать в каторгу.

[79] Император Александр II исправил: «Алжира».

Первое мнение было написано мною (в звании государственного секретаря) со всею силой юридических доводов, которые действительно склонялись в пользу Лагофета: ибо буква закона требует доказательств насильственного растления, а здесь ничего этого не было, хотя, впрочем, по отношениям крепостной к помещику едва ли и быть могло. Но второе мнение я написал со всем сердечным увлечением, внушенным мне омерзением к гнусному поступку Лагофета. Тут упоминалось, между прочим, что «если не было с его стороны прямого посягательства силы физической, то было, очевидно, преступление едва ли еще не важнейшее — употребление во зло власти, вверенной помещику для охранения благосостояния своих крепостных, а не для удовлетворения преступных его похотей». Далее говорилось, что эти члены «признают вполне соответственным цели и разуму закона подвергнуть подсудимого высшей степени определенного наказания, считая сие необходимым и в виде примера: ибо подобные случаи обращения помещиками беззащитных крестьян в жертву их сладострастия, к стыду человечества, все еще нередко повторяются».

По образу мыслей императора Николая и известному взгляду его на дела этого рода, я ни минуты не сомневался, что он утвердит последнее мнение. Так и случилось, но форма утверждения еще превзошла мои ожидания. Мемория возвратилась с следующими собственноручными его заметками — против первой из вышеприведенных фраз: «Святая истина, и это обстоятельство одно составляет важность преступления» — и против последней: «Мне весьма приятно видеть, что Государственный Совет взирает на дело с настоящей точки. При существующем положении нашего гражданского устройства необходимо, чтоб помещичья власть обращена была единственно на благо своих крепостных; злоупотребление же сей власти влечет за собою унижение благородного звания и может привести к пагубнейшим последствиям».

Наконец, на мнении Совета, поднесенном к собственноручной конфирмации, без которой никто не может быть лишен дворянства, государь написал: «Мнение это переписать таким образом, чтоб злоупотребление помещичьей власти было поставлено главной причиной приговора».

* * *

Первоначальное издание Свода законов (1832 года) было рассмотрено или, по крайней мере, обсуждено в его идее Государственным Советом, в присутствии государя и с необыкновенной торжественностью, как рассказано в сочинении моем «Император Николай в совещательных собраниях».

Новое (второе) издание (1842 года) не имело этой торжественности и было ведено другим порядком. Только некоторые отдельные законодательные вопросы, встретившиеся при ближайшем соображении статей, были внесены в Государственный Совет, и также только некоторые отдельные уставы и учреждения обращены, прежде напечатания, на рассмотрение подлежащих министерств; все прочее делалось исключительно в стенах II-го отделения Собственной его величества канцелярии, от которого, помимо Совета, поднесены были и проекты указов, подписанные 4 марта 1843 года. Долго работали над этим изданием, хотя, в сущности, оно составляло лишь свод продолжений с первоначальным текстом; долго также и печатали его, хотя типография II-го отделения, по составу своему, есть многолюднейшая в империи.

В техническом отношении второе издание вышло, впрочем, гораздо лучше и особенно компактнее первого. Указы, как я уже сказал, были подписаны 4 марта 1843 года, и с того же времени началась рассылка экземпляров; оно названо «изданием 1842 года», потому что все источники заключены этим годом, хотя и из числа вышедших в продолжение его указов очень многие, за разновременным и частью уже дав-

ним отпечатанием некоторых томов, не могли войти в это издание.

Таким образом, если бы даже на другой день после его выпуска собрать вышедшее в продолжение его печатания, то составился бы порядочный том. Это особенно было заметно в тех частях, где именно в то время шла совершенная ломка, например, в уставах по главному управлению путей сообщения и публичных зданий. Второе издание Свода представляло образование этого ведомства, как оно существовало еще при графе Толе, тогда как при его преемнике, графе Клейнмихеле, в истекшие с тех пор полгода все было сызнова перестроено.

* * *

Лев Алексеевич Перовский, по назначении его (в 1842 году) министром внутренних дел, обратил неутомимую, можно сказать, лихорадочную свою деятельность преимущественно на Петербургскую столицу. Вникая во все не только подробности, но и мелочи, он стал установлять таксы на хлеб и мясо; заводить торговую и рыночную полицию, независимую от городской; следить за будочниками, мясниками, аптекарями и даже лавочниками и подвергать их беспрестанным штрафам; ревизовать ремесленные управы; расценивать скот на скотопригонной площадке; запрещать продажу товаров, к увеличению их веса, в толстой обертке; выгонять органы из трактиров; раздавать извозчикам номера и даже обязывать подписками ломовых извозчиков взнуздывать лошадей, — словом, входить во многое, что должно было лежать собственно на квартальном или городовом, так что многие недоумевали, остается ли у министра за этими мелочами сколько-нибудь времени для высших государственных его обязанностей. Если от всех этих распоряжений и истекала какая-нибудь польза, то, разливаясь на один класс, она

парализировалась и подавлялась для него другими, противодействовавшими ей мерами, которые имели в виду опять пользу второго класса, точно так же стеснявшегося предназначенными для третьего, и так далее.

Таким образом Перовский, оказавший важные заслуги по управлению уделами, как министр внутренних дел успел, напротив, составить себе в короткое время огромную отрицательную популярность. Начальствующие ненавидели его за старание отнять у них хотя и противозаконный, но как бы освященный временем хлеб, а промышленники — за то, что он стеснял их промысел. В Петербурге же, в низших слоях его населения, почти каждый потребитель есть вместе и промышленник, а высшие сословия слишком мало расчетливы, чтобы оценить такие добрые намерения и начинания, и невольно приходило иногда на мысль сказанное как-то, задолго еще перед тем, слово Канкрина, что если в других государствах революции происходили от финансов, то в России они когда-нибудь родятся от полиции…

Надобно, впрочем, прибавить, что Перовский действовал во всех этих распоряжениях не через обыкновенную городскую полицию, которую он терпеть не мог и всячески преследовал, а через свою контрполицию, составленную им, неофициально и негласно, из разных чиновников особых поручений и мелких послужников, между которыми он успел, как думал и всем говорил, найти много людей честных и дельных. Но и они, однако же, были люди, а Перовскому не было дано волшебной силы одним велением своим пересоздать целое поколение. «Это, бачька, лишний с нас баран», — сказал один мордвин, когда в земский суд, для удобства местных действий, прибавили нового заседателя, а в Петербурге было тогда, вместо одной полиции, целые три: прежняя, по городскому штату, полиция III-го отделения Собственной канцелярии и контрполиция министра внутренних дел.

Военный генерал-губернатор Кавелин, старинный приятель Перовского, бывший с ним на «ты» и между тем низведенный его действиями на степень лица без образа, говорил всем и каждому, что военный генерал-губернатор в Петербурге — власть совершенно ненужная, которая правительству стоит только денег, а для дел и просителей составляет одно промедление, образуя лишнюю инстанцию.

Обер-полицеймейстер Кокошкин был у Перовского не только не в милости, но и в явном гонении, и после всевозможных придирок, почти ежедневно повторявшихся, министром было заведено, наконец, в 1843 году, такое дело, которое направлялось, по-видимому, к решительным последствиям. Если воровство и мошенничество не дошли еще в то время в Петербурге до такого классического развития, как в Париже и Лондоне, то, однако же, сии промыслы быстро распространялись и совершенствовались, а между тем к их пресечению или противодействию им не принималось никаких энергических мер.

От городской полиции мало было помощи: она обыкновенно не находила ни похитителей, ни похищенного, и призвание ее помощи вело обокраденного только к новым тратам и хлопотам. В публике она потеряла всякое к себе доверие, особенно со времени разнесшихся по городу анекдотов, истинных или вымышленных, о том, что некоторые из числа краденых вещей находимы были позже в квартирах или на самих чинах полиции. Перовскому удалось открыть, посредством тайных его агентов, целые шайки мошенников, давно уже промышлявшие своим делом, если не прямо под покровом, то, по крайней мере, при терпимости полиции. По распоряжению и докладу его схвачено и заключено было в крепость, впредь до следствия и суда, около ста человек подозрительных и учреждена особая комиссия, под председательством жандармского генерала Полозова (честного и благороднейшего человека) из трех флигель-адъютантов и

нескольких чиновников со стороны министерства и военного генерал-губернатора. Ей поручено было удостовериться в степени виновности каждого из числа захваченных, разведать их связи и сообщников, стараться получить от них путеводную нить к дальнейшим открытиям и привести в ясность, на каком основании некоторые из этих людей, уже содержавшиеся в полиции по явному изобличению в воровстве, были выпущены оттуда без всяких последствий.

Этими действиями, несмотря на их самовластие, Перовский приобрел более благодарности публики, чем распоряжениями касательно промышленности, и должно сказать, что агенты министерства действовали смышленее и успешнее полицейских.

В том же 1843 году обокрали магазин ювелира Шенка на 100 000 руб. Друзья советовали ему, разумеется, заявить об этом полиции; но он махнул рукой и пошел прямо к министру внутренних дел. Перовский позвал его к себе в кабинет и, отобрав у него тут же разные нужные сведения, велел явиться через день; и — через день все украденное было возвращено ему в целости и сполна. Таких анекдотов рассказывалось много.

* * *

Полковник Богданов, служивший прежде в корпусе путей сообщения, а потом перешедший в департамент военных поселений, человек очень умный и со сведениями, постепенно потерял рассудок от несправедливостей и притеснений, истинных или казавшихся ему такими, перенесенных им еще во время управления путями сообщения графа Толя. Это в апреле 1843 года дало повод к трагикомической сцене с министром внутренних дел Перовским. Богданов явился к нему с двумя пистолетами и кинжалом.

— Ваше превосходительство, — стал он говорить, — преследуете и истребляете мелких мошенников, а между тем терпите безнаказанно главных государственных воров, как то: Клейнмихеля и тому подобных. Я пришел предложить вам мои услуги и содействие против них, и вот оружие, которым намереваюсь действовать; примите меня только поскорее под ваше начальство.

По самому свойству предложения Перовский, разумеется, тотчас догадался, с кем имеет дело, но не бежал, а очень искусно обезоружил Богданова.

— Душевно рад воспользоваться вашим предложением и сейчас же вручу вам записку к вашему начальнику (директору департамента военных поселений генералу барону Корфу), чтобы он поскорее уволил вас для причисления к моему министерству. Отнесите ее к нему сами. Только, чтобы не угадали ваших намерений и чтобы не подвергнуться неприятностям, если вы явитесь на улице с запрещенным оружием, советую вам ваши пистолеты и кинжал оставить пока здесь.

Богданов согласился и прямо отправился к Корфу с мнимой запиской о скорейшем своем увольнении; но дорогой ему вздумалось ее прочесть, и он увидел чистый лист бумаги! Тогда Богданов в бешенстве отправился на первый унтер-офицерский караул, потребовал там, именем государя, часового с заряженным ружьем и прибежал с ним к Перовскому; когда же дежурный не пустил его в кабинет, а Перовский, выглянув оттуда на произведенный их перемолвкою шум, заперся, то Богданов, протолкав дежурного в другую комнату, затворил его на ключ, часового же приставил к кабинету с приказанием стрелять по каждому, кто попытается туда войти или оттуда выйти. Устроясь таким образом, сам он побежал в Зимний дворец и по дороге мимо Энгельгардтова дома, перед которым, по случаю концерта в нем, находилась полиция, забрал — опять именем государя — четырех жандармов и в сопровождении их явился на главную гауптвахту,

требуя немедленного допуска к государю. Только после долгих переговоров, явно обнаруживших его помешательство и имевших последствием посылку за обер-полицеймейстером, а потом за комендантом, удалось совладать с ним и положить конец всей суматохе отсылкой его в больницу. Между тем Перовскому стоило величайших хлопот высвободиться из-под ружья приставленного к нему часового, и потом он сам очень живо и комически рассказывал мне все подробности этой проделки.

* * *

Часто, ходя и ездя по Петербургу, я ставлю себя на место приезжего иностранца и, смотря на все его глазами, не могу довольно налюбоваться нашим великаном-красавцем. Но когда возвращаюсь опять на свою русскую точку, на точку зрения Петербургского старожила, то к восторгу моему от этих художественных чудес присоединяется и удивление всему тому, что выросло тут в наше время, на наших глазах, в одно продолжение 17-летнего царствования императора Николая.

Петербург конца 1825 и Петербург начала 1843 годов — два другие города. И в 1825 году, конечно, Петербург уже изумлял своими размерами и некоторыми сооружениями. Зимний дворец, Академия художеств, гранитная одежда Невы и каналов, решетка Летнего сада и разные другие публичные здания и в то время поражали всякого. Но дом княгини Лобановой-Ростовской, где теперь военное министерство, считался чудом и по огромности, и по архитектуре, а дом Зверкова у Кокушкина моста — чуть-чуть не египетской пирамидой, теперь же едва ли кто об них и упомянет в числе чрезвычайного. Не говоря о том, что еще предположено или частью и начато, о том, что кончится через пять лет, через год, завтра — не станет ни бумаги, ни памяти для одного только исчисления всего уже оконченного в этот коротенький

период времени, не равняющийся по числу лет даже периоду одного человеческого поколения, а между тем славный, кроме произведений зодчества, и столькими колоссальными событиями. Постараюсь перечесть лишь кое-что важнейшее, вспадающее мне теперь на память, расположив мой перечень, для какого-нибудь порядка в нем, по фамилиям архитекторов:

Монферан. Александровская колонна.

Исаакиевский собор, хотя еще не оконченный, но подвинутый так далеко, что он составляет уже нечто целое.

Мельников. Старообрядческая церковь Святителя Николая на Грязной (ныне Николаевской).

Такая же церковь на Волковском кладбище.

Стасов. Преображенский собор, возобновленный после пожара.

Троицкий собор в Измайловском полку.

Собор всех учебных заведений в Смольном монастыре.

Триумфальные ворота на Московском шоссе.

Такие же у Нарвской заставы.

Дворец принца Ольденбургского.

А. Брюлов. Михайловский театр.

Евангелическая церковь св. Петра на Невском проспекте.

Здание Главного штаба и министерства иностранных дел на Дворцовой площади.

Пулковская обсерватория.

Сверх того, совокупными трудами его и Стасова — баснословное возобновление Зимнего дворца.

Росси. Александринский театр.

Здания Сената и Синода.

Огромные два здания от Александрийского театра до Чернышева моста, вмещающие в себя министерства внутренних дел и народного просвещения и театральные дирекцию и школу.

Александр Тон. Дом военного министра на Малой Морской.

Константин Тон. Церковь Введения в Семеновском полку.

Церковь св. Екатерины близ Калинкина моста.

Церковь Вознесения на Аптекарском острове.

Памятники Кутузову и Барклаю перед Казанским собором.

Набережная с пристанью перед Академией художеств.

Щедрин. Пересооружение здания 12-ти коллегий под университет и проч.

Императорская публичная библиотека.

Павлов. Совершенная перестройка зданий Воспитательного дома, составляющих почти целый город.

Штакеншнейдер. Дворец великой княгини Марии Николаевны.

Жако. Дом Дворянского собрания.

Кавос. Перестройка Большого театра.

А если причислить еще к этому списку обстройку целой улицы, какова Михайловская, с принадлежащей к ней площадью; Аничков мост; таможенные пакгаузы и весь квартал около биржи; множество зданий для больниц, богоугодных и учебных заведений; дома Петровской и Голландской церквей и частные дома, вроде: Жако, на углу Большой Морской и Кирпичного переулка; Лесникова, наискось оттуда; Лерхе, на углу Большой Морской и Гороховой; Безобразова, на Фонтанке у Симеоновского моста, и множество других, больших и меньших, разместившихся по всем концам и углам Петербурга, то поистине не верится, чтобы все это возникло в одном городе, и притом всего в 17 лет!

IX
1843 год

Моя аудиенция у императора Николая I — Алексей Николаевич Оленин — Больные статс-дамы и фрейлины — Записка императора Николая I — Кончина князя Витгенштейна — Александровский парк — Полюстровские и невские омнибусы — Шлиссельбургские пароходы — Путешествие государя в Берлин — Семь выстрелов по экипажу императора в Познани — Присяга трех великих князей у колыбели новорожденного великого князя Николая Александровича — Две императорские свадьбы и брачные венцы — Жених, привязанный к елке — Армянский патриарх Нерсес — Граф Илинский — Новые каски на выходе 25 декабря — Обручение великой княжны Александры Николаевны

11 апреля я был пожалован в члены Государственного Совета и вскоре затем удостоился благодарить государя за эту милость в общей аудиенции с преемником моим в звании государственного секретаря Бахтиным и с назначенным на его место управляющим делами Комитета министров Ханыковым. Когда мы вошли, государь, обратясь ко мне, с пожатием руки сказал:

— Ваше превосходительство, нижайше поздравляем; надеюсь, что ты и в новой своей должности будешь тем же и таким же, как в прежних, а тебе (к Бахтину) желаю быть таким же государственным секретарем, каким был твой предместник. Кроме добросовестности и отличной редакции, я должен еще особенно отдать ему справедливость в том, что, при изложении им разногласий в Совете, я нигде не видел и не мог заметить собственного его мнения, а это и большое мастерство, и большая победа над самим собою, потому что и не имеющему голоса нельзя же не иметь своего убеждения.

На эту тему государь распространился еще несколько минут, вращая ее с разных сторон и изъявив, между прочим, как такое беспристрастие канцелярии было полезно и для него самого, оставляя его при окончательном решении дела

свободным от влияния сильнейшего или слабейшего изложения мнения той или другой стороны.

— Это делает тебе, — прибавил он, — главную честь, и за то тебе мое особенное искреннее спасибо.

Потом, протянув руку Ханыкову, он сказал:

— Ну, а ты — мой старый слуга, мы с тобой уже 18 лет работаем, и нам не вновь знакомиться[80].

От него государь перешел опять ко мне:

— Что, как теперь твое здоровье?

— Слава Богу, ваше величество.

— Ну так, стало, тебе нынче никуда не надо ехать… А ты (к Бахтину), мне сказывали, что ты собираешься в путь, — и на ответ, что ему предписан Мариенбад, распространился о пользе тамошних вод, о благодетельном влиянии, которое они производили на него самого, и о том, как и теперь он жаждет начать опять поскорее летний свой курс.

Бахтин заметил, что эти воды (государь намеревался пить их в Петергофе) гораздо действительнее, если употреблять их на местах.

— Не знаю, — отвечал государь, — мне они и здесь чрезвычайно полезны, а может статься, лучше пить в самом Мариенбаде оттого, что там нет деловых забот, которые, признаюсь, не способствуют никакому лечению… А ты (ко мне) пивал ли мариенбадские воды?

— Нет, государь, я употреблял только эмские и карлсбадские.

— Эмских не пробовал, а карлсбадские для меня не годятся. Я их начал было пить, но принужден был оставить: от них слишком бросается кровь в голову.

---

[80] Ханыков служил еще при императоре Александре в Собственной канцелярии, откуда и поступил в новую свою должность. Впоследствии он был назначен, прямо из нее, членом Государственного Совета, но по болезни, вскоре кончившейся его смертью, ни разу в Совете не присутствовал.

Этот предмет дал повод еще к нескольким фразам, после чего государь перешел к делам и спросил Ханыкова, много ли их в Комитете.

Тот отвечал, что много и беспрестанно вновь прибывает.

— Да, — продолжал государь, — и я с 1826 года не запомню ни одного, где бы так доставалось бедным моим глазам, как нынче; пропасть дел и в Совете, и в Комитете, и в разных временных комитетах, и прямо из самих министерств. Последние слишком стали мучить меня непосредственными докладами, и оттого — это было еще при тебе (обратясь ко мне) — я подтвердил, чтобы о всех законодательных предметах они представляли впредь не иначе как через Совет. В совершении от этого порядка виной, впрочем, отчасти, я сам; но меня вынуждала к тому необходимость. Некоторые части, получившие новых начальников, оказались в таком запущении, что всякое представление о перемене или исправлении, обнаружив прежнее состояние, само собою приняло бы вид укора или нарекания прошедшему, а этого мне не хотелось оглашать из личных уважений. Так, например, по путям сообщения мне необходимо приходилось все рассматривать и поправлять самому непосредственно. Покойный граф Толь был человек честнейший, благороднейший, с самыми лучшими намерениями, но окружающие бессовестно пользовались его добродушием и поставили все вверх дном. Надеюсь, что теперь, при Клейнмихеле, этого уже не будет.

При прощании государь отпустил нас с общей фразой:

— Прошу же и надеюсь, господа, что вы будете помнить, о чем я вас просил.

* * *

17 апреля умер, 78 лет от роду, один из наших вельмож, который, подобно графу Эссену, по формуляру был едва не великим, а в сущности, весьма мелким и пустым человечком,

с той, однако, разностью против Эссена, что умел или успел стяжать себе, сверх всех внешних почестей, некоторую репутацию, даже некоторую популярность.

Я говорю об Алексее Николаевиче Оленине, лилипуте и ростом, и высшими административными дарованиями. Мать его была сестра известного в двадцатых годах своими причудами и карикатурным подражанием странностям Суворова генерал-аншефа князя Григория Волконского. Но отцом, под именем и прикрытием статского советника Оленина, был церемониймейстер екатерининского двора Кашталинский, славный в свое время распутством, картежной игрой и маленьким ростом, перешедшим в наследство к его сыну. Последний был не выше 12-летнего ребенка, так что у стула его в Государственном Совете всегда ставился табурет для его ног, без чего они болтались бы на воздухе. При всем том черты лица его были довольно оригинальные и, во всяком случае, многозначительнее обитавшего в нем духа. Кроме множества бюстов и портретов, физиономия его довольно верно сохранена на одном из фронтонов Исаакиевского собора, рядом с чертами князя Петра Михайловича Волконского.

Быв зачислен еще в 1774 году в пажи, наш Оленин обучался с 1780 года в Дрезденской артиллерийской школе «воинским и словесным наукам», числился потом, с 1788 года, капитаном по артиллерии, в 1788 году вышел в отставку майором, а спустя несколько дней опять поступил подполковником в Псковский драгунский полк; с 1795 года, перейдя, по пожаловании его в полковники, советником в ассигнационный банк с чином коллежского советника, при покровительстве Волконских, так быстро, что к концу царствования Павла I был уже действительным статским советником, оберпрокурором в Сенате, управляющим юнкерской школой, кавалером ордена св. Анны 2-й степени и командором Иоанна Иерусалимского, с пожизненной пенсией.

При переводе же его, в самом начале царствования Александра I, экспедитором в канцелярию Государственного Совета удостоился звания статс-секретаря. А в 1803 году он был определен товарищем министра уделов; с 1806 по 1808 год исправлял должность дежурного генерала в тогдашнем земском войске (милиции), за что дано ему право носить милиционный мундир (с обер-офицерскими эполетами), которым он и заменял до конца своей жизни все другие, и пожалована Анненская лента. 1 января 1810 года, при преобразовании Государственного Совета, его назначили статс-секретарем в гражданский департамент, а в 1811 году, при той же должности, и директором Императорской публичной библиотеки. Взяв тут мимоходом бриллианты к Анненской звезде и 2-го Владимира, он в 1812 году, после падения Сперанского, был возведен на его место в звании государственного секретаря, которое носил до пожалования его, к 1827 году, в члены Государственного Совета, продолжая забирать по дороге и другие места, и все возможные награды. Так, в 1816 году ему дали единовременно 50 тыс. руб. ассигнациями и аренду в 1500 руб. серебром, а в 1824 году — Александровскую ленту; в 1817 году назначили президентом Академии художеств и в 1822 году — членом комиссии о построении Исаакиевского собора.

Все эти места, вместе с званием директора библиотеки, он удержал за собою до своей смерти, не утомляясь в получении наград и после пожалования его в члены Государственного Совета. Через два всего месяца от этого пожалования ему дали единовременно оклад по прежнему званию государственного секретаря; потом, в 1828 году, новую аренду в 4231 руб. серебром; в 1830 году чин действительного тайного советника; в 1834 году опять новую аренду в 4000 руб. серебром; в том же году алмазы к Александровской звезде, наконец в 1842 году — Владимирскую ленту.

Вот рамка, в которой вмещались подвиги Оленина; но в чем заключались самые эти подвиги? В 15-летнее отправление должности государственного секретаря он доказал вполне свою бездарность. Страшно и смешно посмотреть, как тогда велись дела Совета и как писались его журналы и другие акты! Старожилы помнят, что при докладе сколько-нибудь затруднительного дела государственный секретарь всегда хватался за шляпу и под предлогом необходимости быть в Библиотеке или в Академии оставлял дело на попечение глухого председателя князя Лопухина и своих подчиненных, между которыми малоспособность и особенно безнравственность были в то время вещью самой обычной.

Император Александр смотрел на все это с равнодушием, которое отличало вторую половину его царствования; всемогущий Аракчеев мало думал о том, как решаются дела в Совете, потому что окончательное решение все же зависело от него одного; публика терпела и безмолвствовала, а Оленин в Совете также безмолвствовал — и словом, и пером, но очень бойко возвышал голос тогда, когда дело шло о личных ему наградах и отличиях. Он умел рисовать карандашом легенькие эскизы, выдавал себя за знатока и мецената в художествах, написал какое-то археологическое рассуждение о Тмутараканском камне, и за это его пожаловали президентом Академии художеств, которой он управлял почти так же, как государственной канцелярией, т. е. сам ничего не делая, отдал всю власть секретарю академической конференции Григоровичу, который, с своей стороны, даже в публичных собраниях Академии нисколько не скрывал, что истинный президент Академии — он, обходясь с носившим это звание, в глазах всех посетителей, как с мальчишкой.

Оленин покровительствовал Крылова, Гнедича и Греча, которые почти жили на его хлебах, был немножко библиофилом и выдавал себя библиографом, любил собирать у себя литераторов более из тщеславия, чем по вкусу к литератур-

ным занятиям, и его назначили директором Императорской публичной библиотеки, которой, при слабой и малоразумной его администрации, не было дано ни жизни, ни общеполезного направления, и в 30-летнее его заведование не успели составить каталогов, а в написанных напоследок по строгим настояниям императора Николая для некоторых частей забыли безделицу — означить места, где стоят внесенные в каталог книги!

Наконец, как член Государственного Совета Оленин всегда был совершенной, полной, отчаянной ничтожностью. Если из числа других членов не все говорят в заседаниях Совета, то, по крайней мере, они рассуждают между собою о делах и прилагают, каждый по своим силам, некоторое старание вникнуть в них; Оленин, напротив, никогда не рассуждал и не думал ни об одном деле, даже не одного и не слушал. «Во многоглаголании несть спасения» — было его любимой поговоркой, которую он усердно прилагал от глаголания о делах и к слушанию их.

Вообще, за исключением некоторой приятности в легкой беседе, некоторой начитанности и большой памяти на старые анекдоты и коммеражи, он был человек в высшей степени отрицательный, с какими-то опрокинутыми понятиями и суждениями о вещах, без энергии, без рассудительности, тем более без государственного ума. И этот человек, повторю, умел, однако, составить себе нечто вроде репутации, так что наши газеты воспели ему после его смерти следующий панегирик: «Просвещенный любитель и знаток изящных искусств, отечественной литературы, истории и древностей; ревнитель добрых и общеполезных дел в отечестве; доступный, приветливый и гостеприимный покровитель дарований и усердных трудов; чадолюбивый и нежный семьянин; пламенный сын России, верный слуга своих государей; истинный христианин — Оленин вечно будет жить в благородной памяти своих приближенных, друзей и подчиненных, и не одна слеза искренней признательности взысканных и облагодетельственных

им падет на его надгробный камень». В этом пышном наборе слов все — за исключением разве достоинств Оленина в частной жизни — или преувеличение, или ложь, и писавший эти строки сам, я думаю, вместо «своей искренней признательности» внутренне смеялся над своим хитросплетенным похвальным словом.

Вскоре после смерти Оленина стерт был с лица земли и знаменитейший из оставленных им по себе памятников: сочиненная им надпись на цоколях под тридцативековыми гранитными сфинксами, вывезенными из Египта и поставленными на Невской набережной перед Академией художеств. Она начиналась так: «Сии огромные сфинксы», хотя то же самое было повторено на каждом из пьедесталов. Лет десять эта надпись возбуждала раздумье, насмешки и остроты каждого проходящего и обратилась в Петербурге даже в поговорку. Это известно было и государю, который, однако же, по всегдашней нежной бережливости к старым слугам, щадил в надписи ее сочинителя. Со смертью Оленина, когда все личные уважения прекратились, творение его исчезло вслед за сочинителем, и взамен под «сими огромными сфинксами» явилась другая, приличнейшая надпись.

* * *

В Вербное воскресенье наши придворные дамы как-то заленились, и к дворцовому выходу явилось очень мало не только статс-дам, но и фрейлин. Государь сильно за это разгневался и тотчас после обедни послал спросить у каждой о причине неявки. Все, разумеется, не нашли никакой другой отговорки, кроме нездоровья. Тогда, начав с понедельника, ежедневно стали являться придворные ездовые, чтобы наведываться о здоровье: к фрейлинам по одному, а к статс-дамам даже по два раза в день, и, таким образом, все эти бедные дамочки поневоле принуждены были засесть дома, пока приличие позволило каждой отозваться, что болезнь ее прошла.

* * *

Граф Киселев рассказывал мне, что у него не раз заходила речь с императором Николаем о том, как интересно и полезно было бы записывать его действия, равно как и замечания и наблюдения о всем происходящем и о всем его окружающем, созидая таким образом если не историю его царствования, то, по крайней мере, самые полные и достоверные для нее материалы. Без подобного подготовления многое забывается и пропадает, с людьми умирают предания, а что и уцелеет, то явится потомству в искаженном или неполном виде. Государь отвечал, что он несколько раз принимался за такие современные, разумеется, самые коротенькие заметки, но принужден был отказываться от ведения их, даже и в таком виде, за недостатком времени и досуга. Было время, что он хотел употребить к этому великую княжну Марию Николаевну, но она вышла замуж, пошли дети, и, таким образом, и этот план не осуществился. Думал он также поручить Первому отделению Собственной своей канцелярии вести по крайней мере современный реестр всему важнейшему, что случается и выходит у нас в мире законодательном и административном; но после ему показалось, что такая голая номенклатура была бы слишком суха и даже бесполезна, представляя одни лишь результаты, а не пружины, не тайные нити, которые часто гораздо интереснее результатов. Между тем время утекает, и до сих пор все ничего не сделано, так что у государя остается всего только написанный им самим подробный рассказ о событиях и первых последствиях 14 декабря 1825 года.

* * *

Летом 1843 года смерть постигла одну из знаменитостей 1812 года, князя Петра Христиановича Витгенштейна, «защитника града», того героя, который в свое время был

увенчан столькими лавровыми венками, который воспевался в народных песнях, был кумиром всей России — и умер, уже давно полузабытый, уже давно удаленный со всякого деятельного поприща, хотя и числившийся еще, для почета, членом Государственного Совета. Достигнув 80 лет от роду и пережив свою славу, Витгенштейн скончался в Лемберге, на возвратном пути в богатые свои поместья в Подольской губернии.

По получении известия о его смерти государь почтил минувшее его величие всеми возможными знаками внимания. Отдан был приказ, чтобы «в ознаменование памяти к знаменитым заслугам князя престолу и отечеству всем войскам сухопутного ведомства носить трехдневный траур», и вдове его пожалован прекрасный рескрипт, в котором, изъявляя «сердечное участие в понесенной ею потере», государь, между прочим, говорил: «знаменитое поприще вашего супруга и, в особенности, славные его подвиги в незабвенную эпоху 1812 года останутся одним из лучших украшений нашей отечественной истории; я же с своей стороны сохраню навсегда искреннюю признательность к его доблестному служению престолу и отечеству и истинное уважение к высоким добродетелям, его украшавшим». Полку его имени велено, однако же, принять прежнее название Мариупольского.

* * *

Тем же летом петербургские жители были обрадованы разными новинками. Прежде, при переезде на прелестные наши «острова», в глаза всегда очень неприятно бросался крепостной гласис, обширное нивелированное поле, заросшее низкой травой и испещренное во всех направлениях тропинками, которые были проложены пешеходами. Место этой безобразной пустыни занял обширный парк, устроенный по мысли и под непосредственным надзором министра

финансов графа Канкрина, с обширным зданием для нового заведения искусственных минеральных вод, которое открылось 6 июня.

* * *

Другая новинка касалась удобств загородных сообщений. При постепенно усиливавшемся в Петербурге навыке переселяться на лето за город, навыке, проникшем почти во все классы, многие, особенно из числа мелких чиновников, для которых дачи во всякой другой местности были бы слишком дороги, стали нанимать крестьянские домики в деревне Полюстрове, на Неве, близ Безбородкинской дачи. Прежде они принуждены были ездить туда на гадких наших извозчиках, за дорогую цену. С лета 1843 года учредился красивый омнибус с надписью: «Невский проспект — Полюстрово», который стал ходить туда и назад, в определенные часы по несколько раз в день, с платой по 15 коп. с каждого пассажира. Это был праотец всех наших, впоследствии столько размножившихся, загородных омнибусов.

Наконец, в то же самое лето началось впервые пароходное сообщение по Ладожскому озеру, от Шлиссельбурга до Сердоболя, с остановками в монастырях Коневском и Валаамском. Первый пароход, который совершил этот рейс, назывался «Валаам». Путь в оба конца требовал трех дней, и за переезд до Сердоболя положена была плата — в первых местах по 3, а во вторых по 2 руб.

В следовавшую за сим зиму — с 9 декабря — появились и первые омнибусы внутри города. В то время это были огромные кареты с надписью «Аничков мост — Васильевский остров», на 20 человек, заложенные четвернею и возившие всякий час, за 10 коп. с пассажира, от Гостиного двора к углу 5-й линии у Среднего проспекта на Васильевском острове. Но быв начато зимой, когда город без того наполнен множеством

дешевых извозчиков, это предприятие не удалось, и карсты ездили всегда почти пустыми.

* * *

В конце августа государь уехал в Берлин, для отдачи визита прусскому королю, приезжавшему в 1841 году в Варшаву и в 1842 году в Петербург, и вместе для присутствования на тамошних маневрах. По случаю этой поездки всем главным начальствам сообщено было повеление, чтобы в высочайшем отсутствии «во всех непредвидимых случаях испрашивать разрешение государя наследника». Прощаясь с военным министром князем Чернышевым, государь сказал, указывая на цесаревича: «В случае, если я не возвращусь, вот ваш командир». В это отсутствие государя велено было представлять на разрешение и утверждение цесаревича, сверх дел Комитета министров, впервые и дела Государственного Совета, которые прежде, при отлучках государя, всегда были отсылаемы непосредственно к нему.

По окончании прусских маневров государь на возвратном пути из Берлина в Варшаву (там еще не было в то время железной дороги), в Познани, 7 (19) сентября узнал, что хоронят генерала Грольмана, который был ему лично известен. Пожелав отдать ему последний долг, он вышел из коляски и приказал всем экипажам ехать далее и ждать его на известном пункте, а сам пошел пешком к кладбищу[81]. Между тем, при переезде через какой-то мост, экипажи были встречены ружейными выстрелами, и семь пуль попали именно в тот, в котором, по предположению, должен был сидеть государь. В

[81] Император Александр II заметил: «Несправедливо. Государя, для избежания стеснения на улицах, по случаю похорон генерала Грольмана, провезли кружной дорогой; прочие же экипажи следовали обыкновенным путем, при чем и последовали выстрелы в коляску, в которой сидели Суковкин и чиновник походной канцелярии Кирилин».

таком виде первое известие о сем разнеслось 13 сентября в Царском Селе и на другой же день передано было мне обер-шенком графом Виельгорским, присутствовавшим при бывшем там, у императрицы, благодарственном молебствии за дивное, Богом посланное помазаннику его, спасение. Но эти вести были преувеличены.

20 сентября (2 октября) первая печатно заговорила об этом происшествии «Allgemeine Preussiche Zeitung», в статье из Познани, очень смышленой, дипломатической, накидывавшей какой-то таинственный на него покров, но все однако ж подтверждавшей самый факт. Вот она:

«Несколько лишь дней тому назад сделалось здесь известным, что 19 (7) сентября, спустя несколько часов после проезда русского императора, поздно вечером, в то время, как одна из принадлежавших к императорской канцелярии карет проезжала через предместье Валлишей, поблизости от нее раздался выстрел. Это дало повод к исследованию, которое производится подлежащими властями с особенной деятельностью. Но, сколько известно, этим исследованием не открыто еще до сих пор ни того, кто выстрелил, ни таких обстоятельств, из которых можно бы с достоверностью заключить, был ли произведен этот выстрел с предумышлением, или из шалости, или же по одной неосмотрительности. Некоторые из обывателей соседних домов, хотя и слышали его, но в предположении, что это так называемый «Vicatsbhuss», не обратили на него внимания. Оттого и все происшествие сначала оставалось здешней публике совершенно неизвестным; между тем, в других местах разнеслись о нем слишком, как кажется, преувеличенные слухи, изменившие притом сущность самого факта, слухи, которым настоящий простой рассказ может служить наилучшим опровержением».

Вслед за тем публикован был в Познани приказ тамошнего обер-президента следующего содержания: «Известно, что

19 сентября, при проезде одного из экипажей, принадлежавших к свите его величества русского императора, сделан был, на углу Валлишейского предместья и Малой улицы, ружейный выстрел. Для пояснения этого события допрошены были разные лица, находившиеся в то время на улице. Показания их не привели, однако же, ни к какому положительному результату. По словам некоторых, во время выстрела стояли близ водоема на том углу три прилично одетых человека, которые, когда раздался выстрел, отошли к домам. В предположении, что от этих трех человек можно было бы получить самые определительные сведения о сопровождавших выстрелы обстоятельствах, полиция употребила все меры к их отысканию, но до сих пор безуспешно. Будучи уверен, что каждому из жителей нашего города весьма желательно прояснить такое происшествие, которое уже породило многочисленные толки, я избираю настоящий путь гласности, для вызова к добровольному о сем деле показанию как упомянутых трех человек, так и всех тех, которые, оставшись еще недопрошенными, могли бы дать какое-нибудь пояснительное сведение».

Между тем, в Аугсбургской «Allgemeine Zeitung» появилась статья «С польской границы», в которой уверяли, что в экипажи государя и его свиты произведено было до двадцати выстрелов; что этот град пуль, как бы чудом, никого не ранил, и что, впрочем, ночная темнота не допустила схватить ни одного из виновных. Вследствие того в прусской газете было напечатано: «Ссылаясь на обнародованный приказ познанского обер-президента, мы можем положительным образом удостоверить, что означенное известие не имеет никакого основания. Выстрел, как мы уже и прежде говорили, был всего один, и тот вблизи экипажа с государевой канцелярией, проследовавшего через Познань спустя несколько часов после проезда государя».

Наконец, несколькими днями позже, та же прусская газета напечатала еще следующее:

«Аугсбургская «Allgemeine Zeitung» уведомляет, по письмам из Познани, что император Николай проехал через этот город восемью часами прежде своей свиты; что поэтому во время покушения его не было в императорской карете; что все выстрелы в нее попали в то место, которое он обыкновенно занимает, и что сидевший там адъютант его величества ранен в ногу. Это известие почерпнуто, очевидно, из очень мутного источника. Во-первых, не может быть речи о «выстрелах». Всего был лишь один, да и тот не по императорскому экипажу, а вблизи коляски, следовавшей спустя несколько часов после государя и его свиты, и не с его адъютантами, а с чиновниками канцелярии. Раненых не было никого. Во-вторых, по всем произведенным доныне изысканиям, отнюдь еще нельзя назвать этого события покушением (attentat), так как неизвестно, был ли выстрел последствием легкомыслия, шалости или злого умысла».

Вот все, что было напечатано об этом таинственном событии в газетах; а вот самые достоверные известия из первых рук, в том виде, как тогда же передал их мне, по возвращении в Петербург, сопровождавший государя граф Орлов.

Государь приехал в Познань с Орловым, сидевшим в одной с ним коляске, перед сумерками. На городской черте их встретил уланский офицер, присланный от обер-президента для указания пути не через Вышгород, где идет обыкновенный тракт, а через нижнюю часть города, потому что в первом, по случаю погребения в это время генерала Грольмана, столпилось много народа. Смена лошадей была приготовлена перед домом обер-президента, который вышел на крыльцо и с которым государь, при огромном стечении людей всех сословий, кричавших «виват», разговаривал минут десять, не выходя из коляски. Отсюда экипаж, непосредственно за городской заставой, свернул на объездную дорогу, потому что

шоссе в это время чинили. Начало смеркаться, и государь скоро задремал.

— Но мне, — продолжал Орлов, — при известной неприязни против нас познанского населения, было не до сна. Я не переставал дрожать за ту драгоценную жизнь, которую считал вверенной моей защите, и готов был охранить ее всякую минуту собственной кровью, не предвидя, однако, к тому средств в случае внезапного нападения. Беспокойство мое увеличилось еще от тех мер предосторожности, которые, как я не мог не заметить, приняты были со стороны прусского правительства, показывая, что и оно не без опасений. Кругом нашей коляски скакали четыре жандарма, которые были тут, очевидно, не для почетного караула. Сверх того, из перелесья, по сторонам дороги, беспрестанно промелькивали на поляны какие-то фигуры, в пальто, верхами, которые тоже нимало меня не успокаивали; наконец, две или три из числа этих фигур подъехали к самой нашей коляске, и внушенный мне ими страх миновался тогда только, когда они стали перешептываться с нашими жандармами: это были полицейские агенты, рассеянные на разных пунктах по распоряжению местного начальства, со стороны которого, повторяю, взяты были самые бдительные меры. Наконец все, благодаря Бога, кончилось одним страхом, и то с моей только стороны, потому что государь, продолжая дремать, не обнаружил ни малейшего беспокойства.

На другой день, в шестом часу пополудни, мы были уже в Варшаве, и государь, отобедав втроем с князем Паскевичем и со мною, занялся высланными к нему туда бумагами. Но едва я успел несколько отдохнуть в моей комнате, как был вдруг опять потребован к государю. «Лешка, Лешка, — закричал он, бросаясь, в слезах мне на шею, — Бог дал Саше сына!»[82]

---

[82] Великого князя Николая Александровича, родившегося 8 сентября, в седьмом часу утра, в Царском Селе. Об этом вожделенном событии, по

Это известие безмерно обрадовало государя, и он тотчас велел мне отправить нарочных для сообщения о том в Берлин и Дармштадт, а Адлербергу написал приказ о производстве 50 полковников в генералы. Пока я успел кончить письма к нашим посланникам в Берлине и Дармштадте и отправить с ними фельдъегерей, наступила уже полночь, и я лег спать.

Вдруг меня, в первом сне, будят известием, что приехал Суковкин (чиновник военно-походной канцелярии, принадлежавший к государевой свите, теперь статс-секретарь, управляющий делами Комитета министров) и что ему непременно нужно сейчас со мною увидеться. Отстав от нас еще на переезде из Берлина в Познань, он с товарищем своим, чиновником Кирилиным, проезжал через Познань уже ночью, как вдруг, в предместье, возле их коляски раздался выстрел, и Кирилин закричал, что он ранен. Почтарь, однако, не быв никем задержан, продолжал скакать, и уже когда отъехали несколько верст за город, Суковкин велел остановиться. Раны на Кирилине не оказалось, но три осколка шевротина, или того, что называется заячьей дробью, сидели в вате его шинели. Они пробились сквозь железную клетку, вату и сукно колясочной стенки, и выстрел (как думали, из тромбона) был так силен, что если б не ослаб от железа коляски, то, несомненно, убил бы Кирилина, сидевшего именно на левой стороне, той, на которой всегда сиживал и государь.

Я поспешил к нему с этим известием. Он еще не спал, потому что всегда долго молился по вечерам, а в этот день, после полученной радостной вести, молился еще долее. Нисколько не смутившись от опасности, грозившей, по всей вероятности, ему лично, он велел мне позвать на следующее утро прусского консула в Варшаве с тем, чтобы я, осмотрев

неизвестности в точности места, в котором государь находился тогда в заграничном своем путешествии, дано было знать по телеграфу в Варшаву; но телеграфы были в то время еще не электрические, а старого устройства.

при нем простреленную коляску и шинель и отобрав все нужные показания, предоставил ему самому донести о всем том его правительству; с этим вместе, однако, по моему напоминанию государь приказал мне сообщить о всех подробностях происшествия и Мейендорфу (тогдашнему нашему посланнику в Берлине), на случай вопросов со стороны прусского правительства. Между тем, государь сам тотчас написал обо всем императрице. В конце письма было приписано, чтобы она прочла его одна и никому не показывала; но как это говорилось в приписке, то императрица, начав читать вслух при всех, дошла до нее, когда уже сделано было иначе, а как, таким образом, дело само собою огласилось, то велела отслужить благодарственный молебен. Государь, узнав об этом после, был недоволен, потому что, таким образом, давался вид, будто бы покушение обращено было именно против него, в чем нет никакой достоверности и в чем ему не хотелось даже и возбуждать какое-нибудь подозрение.

— Но какие, однако же, — спросил я у графа Орлова, — собственные ваши мысли об этом?

— Нельзя, кажется, сомневаться, — отвечал он, — что был злой умысел на жизнь государя; но когда исполнение его сделалось невозможным от бдительности полиции, не оставлявшей нас ни на минуту, то злоумышленники решились, как бы из безумной мести, ознаменовать свое намерение, по крайней мере, каким-нибудь злодеянием, и потому бросились на коляску Суковкина, которую полиция, утомясь и от похорон Грольмана и от хлопот целого дня о нас, вероятно, уже не оберегала такими мерами, как наш экипаж. Впрочем, это одни только догадки. Очень, однако, любопытно одно обстоятельство, именно, что прусское правительство и, как кажется, даже само познанское местное начальство, узнали об этом происшествии только уже по вестям, полученным из Варшавы. Кто виновные, едва ли когда откроется; по крайней мере, до сих пор (этот разговор происходил в половине ок-

тября) никого не найдено. Сам государь, кажется, убежден в том, что все это было простое мошенническое нападение для грабежа, а отнюдь не покушение против его лица…[83]

Несколько дополнительных к сему сведений я слышал тогда же, еще от самого Суковкина. Как все почтовые лошади были разобраны под экипажи государя и непосредственной его свиты, то коляску, в которой сидел он, Суковкин, с Кирилиным, везли на обывательских. По приезде в Познань им захотелось есть, и они остановились спросить о гостинице. Им указали ее, и когда они поехали туда, то один прохожий закричал на них. И путешественники наши, и везший их крестьянин думали, что он повторяет указание гостиницы, и последний, закричав: «Знаю, знаю», — поехал далее. В гостинице, пока они ели, несколько человек в разное время подходили к Кирилину с вопросом, когда проедет государь (между тем давно уже проехавший). Кирилин отвечал, что не знает (ему точно не было известно ни о проезде государя, ни вообще о его маршруте). Поев, они отправились из Познани, также на обывательских, с сидевшим на запятках их коляски писарем военно-походной канцелярии. Когда раздался выстрел, Суковкин, ничего не подозревая, стал хвалиться делаемым им салютом. Но тут Кирилин закричал, что он ранен.

— Молчи, молчи, — отвечал Суковкин, уже догадавшись, что тут далеко от салюта, — слава Богу, что так вынесло!

Больше ничего не было, и их повезли по тому же отъезду, по которому проехал и государь; но крестьянин, мало знакомый с дорогой, заплутался и принужден был, уже в нескольких верстах от Познани, остановиться. Только тут они могли осмотреться и убедились — рана нанесена не Кирилину, а его

[83] Этот разговор или, лучше сказать, рассказ я прочитывал князю Алексею Федоровичу Орлову 9 января 1857 года, и он признал мое изложение вполне соответственным его словам, произнесенным в 1843 году.

шинели. Сидевший на запятках писарь отвечал, что видел только, как в темноте блеснул огонь, но больше ничего рассмотреть не мог.

Во всем прочем рассказ Суковкина был совершенно сходен с слышанным мною от графа Орлова.

Впоследствии, и именно в январе 1844 года, было еще напечатано в прусских газетах объявление познанского обер-коменданта, что как все еще не открыто лица, выстрелившего по экипажам свиты русского императора, то тому, кто навел бы достоверно на следы виновного, обещается в награду 1000 червонных. И это, однако же, осталось без результата. По этому делу ничего более не было обнаружено. И оно (как подтвердил мне в 1857 году князь Орлов) осталось навсегда покрытым прежней тайной.

* * *

По возвращении из Берлина в Петербург государь подвел к колыбели новорожденного своего внука, великого князя Николая Александровича, трех младших своих сыновей.

— Присягайте, — сказал он им, — будущему своему государю. Жизнь моя и вашего брата всегда на волоске, и Бог знает, не скоро ли вы будете подданными вот этого!

* * *

Государь желал, чтобы предстоявшие в зиму с 1843 на 1844 год в царственной нашей семье два бракосочетания — великой княжны Александры Николаевны с принцем Гессенским и великой княжны Елизаветы Михайловны с герцогом Нассауским — были совершены в один день и вместе; но министр императорского двора, князь Волконский, противопоставил этому одно, хотя и довольно оригинальное, однако решившее участь дела препятствие, именно, что по церемо-

ниалу великие княжны должны быть, при брачном обряде, в коронах, а у нас — всего только одна такая корона; подобный же случай двух свадеб вдруг, может статься, никогда более не повторится, почему изготовление второй еще короны было бы напрасным и, между тем, довольно значительным расходом.

Другую подобную же проделку хозяйственной расчетливости князь Волконский прикрыл, по крайней мере, благовиднейшим предлогом. При браке наследника цесаревича в 1841 году[84] венец над ним держал генерал-адъютант граф Петр Петрович Пален[85], как старший в чине из холостяков при дворе. Императрица в разговоре с ним упомянула, что и при браке Александры Николаевны, вероятно, ему же придется исполнять эту обязанность. Пален отвечал, что вменит себе то за счастье, но как товарищем его, должно думать, будет великий князь Константин Николаевич, то надо бы сделать новые венцы, по чрезвычайной тяжести прежних, которые и он, Пален, при всем высоком своем росте, едва мог сдержать в продолжение церемонии[86]. Против этой, тоже немаловажной издержки, Волконский нашел отговорку в том, что прежние венцы употребляются при всех царственных браках еще со времен Бориса Годунова[87], следственно, сколько они ни тяжелы, имеют историческое значение, которым едва ли можно пожертвовать из каких-нибудь личных уважений.

---

[84] Император Александр II отметил: «При браке великой княжны Марии Николаевны в 1839 году».

[85] Император Александр II написал: «Неправда. — Надо мной держал венец наследный, теперь царствующий, великий герцог Веймарский».

[86] При браке великой княжны Александры Николаевны Пален не держал, однако же, венца. Над невестой держал его герцог Нассауский, а над женихом великий князь Константин Николаевич. Но Пален исполнял прежнюю свою обязанность при бракосочетании великой княжны Елисаветы Михайловны.

[87] Император Александр II написал: «Это едва ли справедливо, ибо, судя по украшениям, они принадлежат к прошедшему столетию».

* * *

При императоре Николае постоянно соблюдался обычай устраивать во дворце елки накануне Рождества. В 1843 году к той, которая была назначена для великой княжны Александры Николаевны, государь, между другими подарками, приказал привязать и ее жениха[88]. Можно представить себе, сколько смеху, при входе в залу, возбудила собою эта оригинальная идея!

* * *

На выходе 25 декабря во дворце два лица и одна вещь привлекли на себя общее внимание. Одно из лиц был армянский патриарх Нерсес, оказавший нам, еще в сане архиепископа, большие услуги во время присоединения Армении, потом подпавший немилости князя Паскевича, вследствие того долго остававшийся в забвении и на невыгодном счету у правительства и уже только после многих представительств утвержденный государем, по народному избранию, в патриаршем сане. Вскоре за сим пожалованием Нерсес приехал, летом 1843 года, в Петербург, где паралич лишил его движения всей правой стороны и, вместе с другими недугами, положил на смертный одр, так что собранные на консилиум врачи решили, что ему остается жить не более суток. Тут камергеры братья Лазаревы, постоянные покровители и представители армянского народа, написали от имени сего последнего письмо к известному нашему магнитизеру Андрею Ивановичу Пашкову[89] с просьбой испытать его силы для спасения их архипастыря.

---

[88] Император Александр II заметил: «Никогда об этом не слыхал; впрочем, меня здесь не было».

[89] Я имел уже случай говорить о нем по случаю его процесса с братьями.

Пашков посредством советов и предписаний (гомеопатических) главной из своих ясновидящих, г-жи Висковатовой, в каких-нибудь шесть недель восстановил силы патриарха до такой степени, что возвратилось употребление разбитой параличом стороны, и он стал опять писать, говорить и ходить по-прежнему, — словом, что он выздоровел, как только можно было желать при глубокой его старости, а 25 декабря мог даже явиться во дворец. Желание его было присутствовать при литургии в алтаре; но по справке с архивами оказалось, что присутствовавшие при коронации императора Николая два армянских архиерея стояли в Успенском Соборе вне алтаря, с публикой, что государь приказал сделать и в этот раз.

Таким образом, Нерсес поставлен был в церкви перед двором, непосредственно за великими князьями, в сопровождении своего спутника и пестуна — одного из братьев Лазаревых[90]. Эта черная с головы до ног фигура, в остроконечном своем клобуке, производила, посреди блестящих придворных мундиров, необыкновенно поразительный эффект.

* * *

Другим замечательным лицом на выходе 25 декабря являлся сенатор граф Илинский, девяностолетний старец, который, не присутствуя в Сенате уже лет тридцать и живя с тех пор постоянно в богатых своих поместьях на Волыни, приехал в это время в Петербург по срочным своим делам. Длинный, едва движущийся, сгорбленный, с впавшим брюхом, с огромным седым париком, кажется, и нарумяненный, он, в красном сенаторском мундире, обвешанный весь орденами, чрезвычайно походил на те куклы, которые выставляются в кабинетах восковых фигур. Хотя поляк и католик, он

[90] При следующих выходах патриарху велено было, однако же, находиться в алтаре с нашим духовенством.

счел за нужное простоять всю обедню в церкви, и присутствие его там было тем страннее, что его ввели и все время поддерживали с обеих сторон под руки два придворных лакея.

Илинский, в то время старейший между всеми сенаторами и по летам и по чину, носил это звание с 1797 года. История его первоначальной карьеры сопряжена была с очень примечательным анекдотом. Известно, в каком стеснении и в какой почти опале жил великий князь Павел Петрович в Гатчине. Однажды в тамошних садах встретился ему польский магнат, бывший уже в то время (с 1793 года) действительным камергером, наш Илинский. Великий князь казался погруженным в мрачную задумчивость. Илинский, знакомый ему по двору, осмелился при разговоре спросить о причине грустного расположения духа. Павел Петрович излился в горьких жалобах на свою участь и заключил тем, что денежные обстоятельства его таковы, что он лишен даже возможности рассчитаться с частными своими кредиторами, настоятельно домогающимися удовлетворения.

— Ваше высочество, — отвечал Илинский, — я почту себя счастливым, если вы изволите располагать всем моим состоянием; у меня есть теперь наличными деньгами 300 тысяч рублей; осчастливьте меня их принятием.

Великий князь принял предложенное ему с удовольствием и признательностью, а две недели спустя смерть Екатерины возвела его на престол. Разумеется, что Илинский не был забыт. Новый император произвел его в тайные советники, с повелением присутствовать в Сенате, пожаловал ему Анненскую, а потом и Александровскую ленту, и наградил несколькими миллионами, все в одном и том же 1797 году. В действительные тайные советники он был произведен уже при императоре Николае, в 1829 году. Появление Илинского вновь при дворе было оригинально и тем, что он, по старинному обычаю, другими в то время уже совсем оставленному,

носил свои три звезды не только на мундире или фраке, но и на фиолетовой бархатной шубе[91].

* * *

Наконец, вещью, обратившей на себя общее внимание 25 декабря, были новые каски, в которых впервые в этот день явились отряды лейб-гвардии Преображенского и Егерского полков, находившиеся во дворце. Взятые с прусского образца, они с первого раза показались всем красивее и воинственнее прежних киверов, которых были и одной третью легче; но великий князь Михаил Павлович сопротивлялся еще в то время общему их введению, находя, что они двумя вершками убавляют вышину строя.

* * *

Государь изъявил свою волю, чтобы обручение великой княжны Александры Николаевны было непременно 26 декабря, и потому приказал генералу князю Суворову, отправленному на встречу к нареченному ее жениху, принцу Фридриху Гессенскому, привезти его сюда 23 числа. Но, по положению дорог, они не могли прибыть прежде 24-го, что, впрочем, не помешало совершиться обручению 26-го. После духовной церемонии следовал торжественный обед для первых трех классов, а вечером был камер-бал, продолжавшийся не более часа. Датский посланник (граф Ранцау), которому следовало сидеть за обедом против государя, опоздал к столу целым получасом, так что за ним принуждены были послать нарочного и потом еще второго. Следуя церемониалу, надлежало митрополиту, при входе императорской фамилии в

[91] Илинский умер очень скоро после этого своего появления, а именно в феврале 1844 года.

столовую, прочесть краткую молитву и благословить трапезу; но вместо того, по ошибке распорядителя, только что государь показался в дверях, загремела увертюра, и митрополит совершил духовный обряд — при звуках Веберовой «Евриანты».

На лицах новообрученных сияло счастье, но государь казался необыкновенно пасмурным, и все заметили угрюмое выражение его лица, которое не прояснилось во весь день ни одной улыбкой. К балу явился и жених другой великой княжны, герцог Нассауский. Он успел бы приехать и ранее; но его нарочно остановили ночевать в Луге, чтобы в течение дня первое место и весь почет предоставить принцу Гессенскому. Последнему отведены были покои великой княгини Марии Николаевны, которая переселилась на бывшую половину прусского короля[92]. Герцог остановился у своего зятя, принца Ольденбургского.

[92] Император Александр II написал: «Прежние комнаты императрицы Екатерины II».

X
1844 год

Бракосочетание великой княжны Александры Николаевны — Большая ектения с наименованием всей царской фамилии — Княгиня Кугушева и ее дочь — Бал у великой княгини Елены Павловны — Кадет Порецкий и ложный донос его — Кончина Мятлева — Игра макао и «я сам козырь» — Князья Гагарин и Долгоруков — Иван Головин и Бакунин в чужих краях — Пересмотр правил о заграничных паспортах — Экзамен великого князя Константина Николаевича — Князь Дмитрий Владимирович Голицын — Два анекдота о цензуре — Увольнение графа Канкрина и назначение Вронченко управляющим министерством финансов

16 января совершилось бракосочетание великой княжны Александры Николаевны. Вместо назначенных по церемониалу 12 часов двор вышел к церемонии, по случаю незначительного нездоровья жениха, уже около половины 2-го. Государь, войдя, перед выходом во внутренние покои, спросил у него, оправился ли он после болезни, но приближенные говорили, что это было просто расстройство желудка. Обряд венчания совершал престарелый, но в то время еще бодрый силами духовник государя Музовский, который некогда венчал самого его, был наставником императрицы в православном законе и крестил всех августейших их детей[93]. Императрица в продолжение венчания и молебствия сидела, но не в фонарике, как случалось при обедне, а у правого крылоса. Государь и наследник цесаревич были в казачьих кафтанах[94], которые они обыкновенно надевали при таких парадных торжествах.

[93] Император Александр II заметил: «Ее, кажется, венчал духовник императрицы Марии Федоровны Криницкий; он же, полагаю, крестил и нас, всех старших. Проверить это легко в придворном журнале».

[94] Император Александр II исправил: «в генеральских мундирах».

Во время церемонии я стоял между членами дипломатического корпуса.

— Где же, — спрашивали они, — голуби, которые были пущены в церковь при свадьбе герцога Лейхтенбергского и которых видел тогда Кюстин?

— Они родились и остались в его воображении, — отвечал я, — вы видите, что сегодня нет ничего подобного, как не было и в тот раз, и поэтому можете судить об основательности и прочих его наблюдений.

Трогательна была минута взаимных, после венчания, поздравлений царственной семьи, в глазах представителей России и целой Европы; но еще гораздо трогательнее, по словам несших шлейф камергеров, была другая минута предбрачного расставания во внутренних комнатах, где кроме членов семьи, находились только эти камергеры и присутствовавшие при одевании невесты статс-дамы. Государь сперва приказал, по народному обычаю, всем сесть, а потом, когда опять встали и каждый перекрестился, вместе с императрицею, в слезах, благословил невесту. Особенно много, рассказывали, плакал при этом наследник цесаревич. Вслед за брачным обрядом по чиноположению православной церкви совершен был лютеранский вице-президентом евангелической генеральной консистории Пауфлером, в одной из зал запасной половины — той самой, где некогда бывали маленькие балы у императрицы Марии Федоровны и где, после ее кончины, выставлено было, до устроения парадной комнаты, ее тело. При венчании по лютеранскому обряду присутствовала одна семья; и хотя двери в залу были отворены, но в них стояли гофмаршалы с жезлами, и, таким образом, не было хода для публики.

При обратном шествии примечателен был вид Фельдмаршальской залы, в которой стояла многочисленная толпа купечества, русского и иностранного, с женами в богатых национальных нарядах. Как во время церемонии, так и за парадным трехклассным обедом, присутствовали все без

изъятия члены императорского дома, большие и малые; не явилась к обеду только другая невеста, великая княжна Елисавета Михайловна, которая перед тем ушибла себе затылок, незначительно, но так, однако же, что понадобилось прикладывать ей лед для избежания синего пятна. В публике говорили, что ей сделалось дурно, а между приближенными, видевшими прикладывание льда, говорили, что она стукнулась об стол, но относительно свойства этого «bureau» шептали другое. На вечерний бал она явилась совершенно опять здоровая. 19-го числа совершилось и ее бракосочетание, с соблюдением во всем того же церемониала. В этот раз, после камер-бала, вся царская семья в сопровождении графа Палена, как эдакого полуночного пажа, отправилась в Михайловский дворец, где брачное торжество заключилось фамильным ужином. В день бракосочетания, хотя и будничный, все военно-учебные заведения, состоявшие в то время под начальством великого князя Михаила Павловича, были распущены, а Сенат поставил определение, что «по случаю такого-то бракосочетания и высочайшего повеления находиться при оном» присутствие отменяется.

* * *

В то время, как поименное провозглашение на ектениях при нашем церковнослужении всех членов царской семьи, по мере увеличения ее, становилось с каждым годом труднее, император Николай чрезвычайно строго наблюдал, чтобы придворное духовенство не делало тут ошибок и взыскивал за каждый промах. Однажды в доказательство, как нетрудно упомнить этот ряд имен и их порядок, он в семейном кругу сам стал читать многолетие и все перемешал.

— Хорошо, — сказал он в шутку, — что нет здесь Волконского, а то он этого протодиакона тотчас отправил бы на гауптвахту!

Между тем на многолетии при благодарственном молебствии по случаю бракосочетания великой княжны Александры Николаевны впервые была введена перемена, несколько сократившая длинноту ектений, без изменения их сущности. До тех пор при имени каждой великой княгини и княжны повторялось порознь: «благоверной государыни», а с того времени установлено произносить, перед поименным их исчислением, одно общее: «благоверных государынь». Синодальный обер-прокурор граф Протасов рассказывал мне, что эта перемена сделана была государем, в поднесенном ему проекте ектении, собственноручно.

* * *

Княгиня Кугушева подарила дочери своей, в замужестве Томилиной, часть своего имения, но потом между ними родились взаимные неприятности и распри, при которых дочь позволила себе, в бумагах и перед судом, разные дерзости и колкости против матери. Последняя стала вследствие того требовать обратно подаренное имение, основываясь на предписании закона о возвращении дара к дарителю в случае явной неблагодарности одаренного лица.

В Сенате одни сенаторы полагали Кугушевой отказать, считая отдачу его имения дочери не даром, а выделом; другие, напротив, и с ними министр юстиции, видя тут один дар, подводили его под действие упомянутого закона.

В Государственном Совете первое мнение приняли только 5 членов, а последнее — 18. Мемория возвратилась от государя со следующей собственноручной резолюцией: «Искренно благодарю 18 членов за правильный взгляд на сие постыдное дело. Что может быть священнее обязанностей детей к родителям, и не прискорбно ли быть должно, когда в высшем сословии оказываются подобные примеры бесстыдной неблагодарности и дерзости! Потому, разделяя в полной ме-

ре мнение 18 членов, нахожу, сверх того, нужным велеть призвать Томилину в совестный суд и, в присутствии губернского предводителя и уездных предводителей, сделать от меня строжайший выговор за поступки против матери и потом отдать на год на покаяние в монастырь».

* * *

В ряду многочисленных празднеств, сопровождавших обе свадьбы в императорском доме, самым великолепным и изящным было, без сомнения, данное великою княгинею Еленою Павловною 2 февраля. Подобного соединения в одно прекрасное целое всех обаяний богатства, роскоши, изобретательного воображения и изящного вкуса мне никогда не случалось видеть даже при нашем блестящем дворе, и для достойного описания этого праздника надо было бы совокупить живопись с поэзиею, кисть Брюллова с пером Пушкина! «Неужели мы до сих пор варвары в его глазах?» — спросили бы мы у Кюстина и других чужеземных наших порицателей, если б они прогулялись с нами по этим цветущим залам — цветущим и в прямом и в переносном смысле, потому что тут были целые рощи деревьев, перемешанных с цветами и всякою зеленью во всей могучей растительности юга и, вместе, живой цветник прелестнейших женщин нашего двора, и высшего общества, еще более очаровательных под теми фантастическими маскарадными и балетными костюмами, в которых они нам предстали.

Праздник начался маленьким пантомимным балетом, в котором мелькали последовательно двор халифа Багдадского, Оберон со своею свитою и двор Карла Великого, пока все это слилось в одно гармоническое целое, и действовавшие лица, числом 190, предшествуемые огромным, тоже костюмированным хором военной музыки, обошли попарно в торжественном марше все залы и лестницу бесподобного

Михайловского дворца. В балете, поставленном старым нашим балетмейстером Огюстом, так же, как и в шествии, участвовали все великие княгини и княжны, оба младших великих князя и вся молодежь обоего пола высшего петербургского общества, разумеется, без всякой примеси артистов и проч.

Потом все, и действовавшие в балете, и простые зрители, числом до 850, были введены в другую залу, где певцы Итальянской оперы разыграли в совершенстве Россиниевскую «Сандрильону» в компактном издании, т. е. с выпуском большей части речитативов и некоторых арий, и эта зала представляла совершенно магический эффект. Освещенная снизу доверху китайскими фонарями, развешенными на пальмовых деревьях и венцах, и огромными фестонами из граненых шкаликов, вившимися по стенам и отделявшими сцену от партера, она казалась целым морем огня, а это море отражалось тысячекратно в другом — бесчисленных брильянтах, рассыпанных на дамских и мужских нарядах: ибо все, кажется, что нашлось в Петербурге брильянтов, и своих и чужих, снесено было на этот праздник.

Дамы, даже не участвовавшие в балете, были все в маскарадных костюмах, мужчины, действовавшие в балете, тоже, все остальные — в парадных мундирах. Но в оперной зале случилась непредвиденная беда, которая, не причинив, впрочем, настоящего несчастья, была, однако ж, большою помехою, в особенности неприятною для хозяйки. От нестерпимой жары и от собственного огня шкалики беспрестанно лопались, и как под ними не было устроено сеток, то осколки их сыпались на публику. Помочь этому горю уже не было возможности, и не один мундир, не один изящный наряд воротился домой прожженным или, по крайней мере, засаленным.

После оперы начался бал, в тех же костюмах. Все кипело необыкновенной оживленностью и веселостью, которые уме-

ла вдохнуть феникс-хозяйка, беспрестанно ходившая между танцевавшими и игравшими в карты и дарившая каждого приветливым, умным словом. Во всех концах дворца были устроены великолепные буфеты, тонувшие в зелени и цветах, и адъютанты и придворные чины великокняжеского двора угощали гостей с самой тонкой предупредительностью. В час (праздник начался в 9) подали ужин, при котором до 600 человек село за накрытыми столами, а остальные разместились у буфетов. Главный стол, поставленный на верхней площадке лестницы, с одной, незанятой, стороны его был убран во всю длину, на каких-нибудь пять или более сажен, густою стеною луковиц в полном цвету. Кругом, на хорах, почти под крышею, гремели несколько оркестров музыки и хор певчих. По прочим площадкам той же лестницы также расставлены были длинные столы, а внизу, в огромных сенях между померанцевыми и лимонными деревьями, устроены столы круглые. Весь пол — и на площадках, и на ступеньках лестницы, и в сенях — покрывала цветная парусина, разрисованная золотом и серебром.

Все было так ловко придумано для выигрывания места, так великолепно, так полно вкуса, что нельзя было оторваться от этого зрелища и в 2 часа, когда отбытие царской фамилии подало сигнал к разъезду, никому, при всем смертельном утомлении, не хотелось расстаться с этим очарованным замком, в котором эльфы, гномы, ундины и саламандры, с волшебником Обероном в их главе, казались не гостями, а как бы вечными жителями. Хозяевам весь праздник, вместе с убранством дворца и освещением, обошелся, как говорили, до 200 тыс. руб. ассигнациями, но чего он стоил еще гостям и какой вообще произвел денежный оборот в Петербурге, этого исчислить было невозможно. Сама великая княгиня была залита брильянтами и одета с необычайным вкусом; но царицами маскарада, среди этого роя прелестных женщин, являлись предводительница эльфов — великая княгиня Мария

Николаевна и графиня Воронцова в огненном костюме саламандры, почти более походившая на вакханку, чем на саламандру. Великая княгиня Александра Николаевна была в тунисском костюме, а великая княжна Ольга Николаевна — Ундиною; наконец, Мария Михайловна и Елисавета Михайловна — гномами.

* * *

В числе празднеств по случаю бракосочетаний в царском семействе был дан 4 февраля парадный маскарад в Зимнем дворце, по образцу тех, которые бывали в прежнее время постоянно в первый день каждого новогодия, только без главнейшей и очаровательнейшей части, т. е. без ужина в Эрмитаже. Перед самым выходом царской фамилии к этому маскараду явился во дворец кадет Горного корпуса, некто Порецкий, которого отец служил прежде в корпусе путей сообщения и потом, уже в отставке, докучал всем властям несбыточными проектами о колонизации Сибири посредством обязанных крестьян.

Кадет настойчиво требовал, чтобы его допустили к государю для открытия важной государственной тайны. На все вопросы, сперва полиции, а потом и военного генерал-губернатора, ответ его был один: «Не могу открыть никому, кроме самого государя, а от моей тайны зависит его жизнь». Наконец, по докладу о том государю, он приказал позвать к себе мальчика, и тут была рассказана длинная история.

Порецкий в тот день нашел на Исаакиевском мосту оброненную кем-то французскую записку (самим им после тоже будто бы оброненную), в которой говорилось о заговоре против жизни государя и назначалось в послеобеденную пору сходбище заговорщиков на Смоленском поле (на Васильевском острове); вследствие чего он к определенному в записке часу отправился на указанное место и, засев там в кусты, увидел человек тридцать, сговаривавшихся зажечь во время мас-

карада дворец великого князя Михаила Павловича, а потом и Зимний, чтобы посреди общего смятения лишить жизни государя. Услышав это, он оставил свою засаду, с намерением тотчас бежать во дворец, и хотя заговорщики, по произведенному им в кустах шороху, бросились в погоню и дали даже по нем несколько выстрелов, однако ему удалось спастись — и вот он тут, перед лицом его величества, «с верноподданническим своим донесением». Весь этот рассказ с первой минуты показался государю чрезвычайно нескладным и неправдоподобным, но как мальчик, при всех возражениях, настаивал на своем, то государь наконец снял со стены образ и велел ему присягать перед святынею, что он не лжет.

Ответ был тот же самый: «Перед Богом и перед вашим величеством клянусь, что все, что я сказал, — сущая правда». Тогда государь, позвав обер-полицмейстера Кокошкина, приказал ему строжайше исследовать дело, а сам вышел к собравшейся на маскарад публике.

Кокошкин в ту же минуту отправился вместе с Порецким на Смоленское поле; но здесь последний не умел в точности указать места, на котором будто бы он скрывался, ближайший будочник объявил, что не слыхал никаких выстрелов, и, наконец, доносчик, совсем запутавшись в ответах, должен был сознаться, что весь его извет был чистым вымыслом. Ему надоело учиться и хотелось проложить себе кратчайший путь к карьере, сделавшись лично известным государю через такое важное открытие.

А государь, между тем, не зная еще ничего о последствиях разыскания и имея в виду только клятвенные уверения преступного шалуна, спокойно прохаживался среди толпы… Все эти подробности я слышал тогда же от самого Кокошкина.

* * *

В половине февраля петербургский большой свет, среди множества смертных случаев от господствовавшего в то время

сухого и постоянного холода, лишился внезапно и одного доморощенного поэта, творца «Сенсаций г-жи Курдюковой», «Фонариков-судариков», «Нового года», «Коммеражей» и множества других мелких сатирических и юмористических пьес. Смерть Ивана Петровича, или, по светскому его прозванию, Ишки Мятлева, была каким-то грозным предостережением, которое, впрочем, потряся наше высшее общество на несколько дней, скоро опять пропало на этой сухой, беспамятной и себялюбивой почве.

За десять дней перед тем видели Мятлева в роли рыцаря Шерозмина на празднике великой княгини Елены Павловны; в следующий вечер он сам давал роскошный бал, на котором присутствовал и государь; 12-го числа все еще видели его несшимся на лихом рысаке по Невскому проспекту, а 13-го, перед обедом, его уже не стало. Он умер от повторившейся через несколько часов апоплексии, в ту самую минуту, как ему прикладывали шпанскую мушку и как он, шутя, говорил своему камердинеру: «Ты, верно, давеча подумал, что я умру: нет, братец, мне хочется еще долго пожить на свете». И надо прибавить, что, точно, в целом Петербурге не было человека более жизнелюбивого и весельчака, до такой степени, что не проходило ни одного бала, даже детского, на котором он, несмотря на свои 48 лет, не плясал бы до упаду наравне с самыми молодыми людьми.

Карьеры его, литературная и светская, были совершенно своеобразные, и в этом смысле он представлял лицо типическое, которого летописец общественной жизни в царствование императора Николая не может пропустить в своей галерее. В литературном отношении славе его, как и тогда можно было предвидеть, не было суждено долговечности, хотя он лишь за несколько недель до смерти издал еще вторую часть своих «Сенсаций г-жи Курдюковой» и даже пустил их по целой Европе, раздарив экземпляры всем лицам свиты

обоих молодых в царской нашей семье, без заботы о том, что они поймут в русских его стихах.

Все его произведения имели некоторое достоинство только тогда, когда он сам их читал, а на это дело Мятлев был и мастер и охотник. В обществе он умел поставить себя в исключительное положение. Обладая огромным состоянием, живя уже несколько лет в отставке (на службе он был действительным статским советником и камергером), он окружил себя ореолом «светского поэта» и остряка, которому ради поэтического вдохновения или острого слова прощалось многое, что не сошло бы с рук простому смертному. Мятлев и в свите, и при дворе, наконец, и с самим государем, разыгрывал, в облагороженном роде, роль старинных наших шутов, над которыми, когда они говорили правду, даже иногда и самую колючую, только смеялись.

Гоняясь беспрестанно за остротами, он, разумеется, временами и находил их, хотя часто выдавал за импровизацию придуманное им на досуге, в своем кабинете, хотя каламбуры и насмешки его выходили почти всегда грязными и нередко площадными. Не довольствуясь изустным высказыванием разных злобных диатриб на счет современных событий и лиц, даже и вообще администрации, он часто клал их и на бумагу, все в том же тоне простодушной и более «паяснической» насмешки. Эти эпиграммы, грешившие, однако, всегда растянутостью, читались им бесстрашно в самых многолюдных салонах и почти даже в передних, потому что он был очень неразборчив в качестве слушателей, лишь бы иметь их. Потом они переписывались во множестве экземпляров, разлетавшихся и далее Петербурга. В этом смысле он представлял нечто вроде римских Мархгурия или Пасквина, с тою, однако, разностью, что наш Ишка был не статуею, а очень живым человеком и все-таки осторожнее своих итальянских оригиналов, потому что до особы государя, например, никогда не прикасался и вообще в стихах своих не называл по

именам никого из лиц, выводимых им на сцену. В этом собственно отношении, т. е. как острый и колкий эпиграмматист всей современности, Мятлев оставил большой пробел в высшем нашем обществе, которого он был необходимым звеном, несколько оживлявшим прозаическое его однообразие.

* * *

В зиму с 1843 на 1844 год государь всякий почти вечер, по окончании своих занятий, играл в макао, большею частью с приближенными ко двору молодыми людьми: генералами князьями Лобановым-Ростовским и князем Суворовым, шталмейстером наследника цесаревича Толстым и проч. Раз случился тут и обер-шенк Рибопьер, человек домашний во дворце.

— Хорошо, — заметил он, — что вашего величества не видят за этой игрой Кавелин (военный генерал-губернатор) или Бенкендорф.

— Отчего же?

— Да ведь макао — запрещенная азартная игра.

— Почему она считается азартною?

— Потому что бескозырная.

— Ну, это еще не беда, я — сам козырь!

Так как государь никогда не носил при себе денег, то проигрыш его рассылался по принадлежности на другой день, при напечатанных по однообразной форме записках министра императорского двора князя Волконского.

* * *

В дворянской грамоте Екатерины II сказано было (ст. 19-я): «Подтверждаем благородным дозволение вступать в службы прочих европейских, нам союзных держав, и выезжать в чужие края». В 1798 году Павел I, при тогдашних политических

обстоятельствах на западе, ограничил выезд русских подданных за границу, приказав сперва (июня 6-го) выдавать паспорта на такой выезд не иначе, как по предварительном ему о том докладе, а потом (22 июня) при выдаче сих паспортов объявлять получателям, что «уже они обратно впущены не будут». Александр I немедленно по вступлении на престол уничтожил все эти преграды, повелев (22 марта 1801 года) едущих за границу пропускать на основании прежних указаний.

Затем, в царствование императора Николая, хотя прямого запрещения выезжать из России не последовало, но после французской и бельгийской революции 1830 года, повлекшей за собой польскую, заграничные поездки вновь подвергнуты были весьма важным ограничениям. Прежде всего постановлено (18 февраля 1831 года), что русское юношество от 10 до 18 лет должно быть воспитываемо всегда в России, под лишением, в противном случае, права вступать в службу. Потом (17 апреля 1834 года) срок дозволенного пребывания русских подданных в чужих краях ограничен для дворян пятью, а для лиц прочих состояний тремя годами, с определением за просрочку важных политических и гражданских лишений. Далее (10 июля 1840 года) установлена значительная пошлина с заграничных паспортов. Наконец, указом 15 марта 1844 года, эта пошлина еще возвышена, и положены новые стеснения и в летах выезжающих, и в обряде выдачи паспортов.

Сверх общего нерасположения императора Николая к пребыванию русских, наиболее же молодых людей, за границей, непосредственным поводом к последнему постановлению послужило и несколько особенных случаев. Служивший при нашей миссии в Париже князь Гагарин, молодой человек, даровитый и трудолюбивый, вдруг вздумал, отказавшись от всех служебных видов и от надежд на значительное наследство, перейти в римско-католическую веру и поступить

на послушание в один иезуитский монастырь в Бельгии, чтобы потом ехать в духовную миссию.

Два других молодых человека — князь Петр Долгоруков и Иван Головин, кончивший курс в Дерптском университете, но, впрочем, человек пустой, живя также в Париже, издали там две брошюры: первый, под псевдонимом «графа Альмагро», биографическую историю русских дворянских родов, последний, под анонимом «un Russe», — рассуждение о политической экономии. Долгоруков, представив со своей точки образ избрания на русский престол дома Романовых, откровенно рассказал происхождение о домашних тайнах некоторых высших наших фамилий, а Головин коснулся критически положения крепостного состояния в России.

Обе книги вызвали неудовольствие нашего правительства, и авторы их были потребованы восвояси. Долгорукова, немедленно явившегося по этому вызову, отправили на службу в Вятку[95]; но Головин уклонился от возвращения, сперва под предлогом болезни, а потом без всякого уже предлога, написав дерзкий ответ нашему министерству иностранных дел; за что, в один день с упомянутым выше постановлением 15 марта, дан был указ Сенату о предании его законному взысканию[96]. Наконец, некто Бакунин, молодой человек хорошей

---

[95] Долгоруков, известный в свете под прозвищем «le bancal» — Колченогий, быв потом выпущен в отставку, бросил свои прежние идеи и издал обширное и благонамеренное сочинение под заглавием: «Российская родословная книга».

[96] Быв впоследствии лишен по суду прав русского подданства, с обращением его имения к наследникам, Головин скитался попеременно во Франции, Англии и Италии и добывал себе насущный хлеб множеством более или менее злобных памфлетов против русского правительства и всего русского. Книги эти, теперь давно полузабытые, в то время покупались и читались с жадностью и даже переводились на все языки именно оттого, что творцом их был русский эмигрант, которого партия красных и вообще ненавистников России провозглашала мучеником святого дела.

фамилии, которого дядя был сенатор, явно пристал в Париже к коммунистам и также отказался возвратиться в Россию.

Все это вместе побудило государя учредить особый комитет, из графа Нессельрода, графа Бенкендорфа и Перовского, для пересмотра правил о заграничных паспортах, и вследствие совещаний сего комитета или, лучше сказать, объявленной ему высочайшей воли, явилось постановление 15 марта 1844 года.

Не нужно прибавлять, какое прискорбное впечатление оно произвело в публике, тем более, что для множества лиц, по цене паспортов и другим условиям, равнялось совершенному запрещению выезда за границу. Многие сперва не хотели совсем верить его изданию, и в Петербурге разнесся даже слух, что громкие толки и пересуды побудили правительство взять новый закон назад. Но он был вскоре напечатан во всех газетах, чем и прекратились ложные ожидания, казавшиеся вероподобными лишь для не знавших близко характер императора Николая.

* * *

В начале весны 1844 года был экзамен великого князя Константина Николаевича, продолжавшийся несколько недель сряду, в присутствии, попеременно и по роду наук, князя Меншикова, графа Блудова, адмирала Грейга и некоторых других, преимущественно военных и морских чинов, а при испытаниях во всех важнейших предметах — и самого государя. На экзамене из русской истории, когда зашла речь об Александре Даниловиче Меншикове и великий князь отвечал, что он был одним из деятельнейших и ревностнейших сподвижников Петра Великого, государь вскричал: «Как? Так разве ты не знаешь, что он был обманщик, который обкрадывал и своего царя, и отечество!» (Потомка Меншикова при этом не было.) Вопросы коснулись также участи и кончины

несчастного царевича Алексея Петровича, и великий князь рассказал эти события в том виде, как они представляются обыкновенно в наших учебниках.

— Так, — сказал государь, — так и надо преподавать эти предметы; но нам должно знать наши фамильные дела в истинном их виде. Обратись на этот счет к Блудову, и он расскажет тебе правду.

В руках графа Блудова, в числе исторических бумаг и документов, которые обыкновенно передавал ему император Николай, лишь только они где-либо были вновь открываемы, находились и полные акты этого таинственного процесса, сданные потом для хранения в государственный архив.

* * *

В марте умер в Париже, после продолжительной хронической болезни, князь Димитрий Владимирович Голицын, один из немногих вельмож прежнего времени, которых настоящее уже не производит. Прослужив до генерал-лейтенантского чина в Конногвардейском полку, участвовав с честью и отличием во всех войнах, начиная с польской 1794 года, Голицын окончил военное свое поприще в звании командира 2-го пехотного корпуса и с этого поста был назначен 6 января 1820 года Московским военным генерал-губернатором, которым оставался почти четверть века. В царствование императора Николая он был пожалован орденом св. Андрея (25 декабря 1825 года), алмазными знаками к этому ордену (в 1830 году), вензелевым изображением имени его величества на эполеты (в 1831 году) и украшенным алмазами портретом государя, для ношения в петлице. Наконец, в 1841 году (в день бракосочетания наследника цесаревича) ему присвоен был, потомственно, титул светлости, «в доказательство, — как говорил рескрипт, — постоянного к нему благоволения и совершенной признательности за долговременное,

всегда полезное служение его престолу и отечеству, ознаменованное подвигами отличного мужества и храбрости во время войны и многими опытами пламенного усердия и примерной попечительности на пользу и благоустройство первопрестольной столицы в продолжение двадцатичетырехлетнего управления ею[97] в звании главного начальника».

Москва действительно многим обязана была Голицыну. Он восстановил и украсил ее после пожара и бедствий 1812 года, и в шумливой «первопрестольной» столице нашей, этом пепелище остатков старинного боярства, смешанных с недоварившимися новыми идеями Запада и учениями славянофильства, умел всегда охранить, по крайней мере, внешний мир и тишину. Сверх того, он охотно становился во главе всякого доброго там предприятия и всякого полезного начинания.

Если в других отношениях долговременное управление его не ознаменовалось существеннейшими последствиями, то потому лишь, что никто не может идти далее круга и объема своих способностей. Как Воронцов был менее русский, нежели англичанин, так Голицын, получивший свое образование во Франции, воспитанник старинной французской школы со всеми ее фразами и общими местами, худо даже знавший наш язык, был более француз, нежели русский; при всем горячем патриотизме, мало знакомый с делами и мало ими занимавшийся, не всегда счастливый в выборе людей и окруженный всякими пронырами, либерал более на словах, а в существе приверженец всех предрассудков и поверий высшей касты, он не в силах был произвести ничего великого, монументального. Прекрасной наружности до конца дней, с приятными, хотя несколько надменными формами, с утонченным тоном самого высшего общества, доступный всякому,

---

[97] Здесь редактор рескрипта впал в странную ошибку. В 1841 году минуло со времени назначения Голицына в Москву только 21 год.

хотя и не всегда с пользою для просителя, Голицын был очень любим в Москве, хотя больше по старой привычке, по преданию, тою безотчетною любовью, которую русский человек исповедует к месту начальствующего, независимо от качеств лиц, лишь бы это был не тиран или не пошлый глупец.

Под конец своих дней Голицын, к сожалению, много уронил себя во мнении и Москвы, и вообще всей публики, через любовную связь с одною замужнею женщиною, которую он взял даже с собой за границу, поехав туда лечиться, но которая умерла на самых первых порах их путешествия еще в Берлине. Он был женат на родной сестре князя Васильчикова, одной из добродетельнейших женщин своего времени, сошедшей в гроб несколькими годами прежде него.

После смерти князя газеты наши наполнились, как и должно было предвидеть, «похвальными ему словами». В одной появилась подробная биография, с начислением даже всех его предков и родственников; в другой — история «незабвенных» его подвигов на пользу Московской столицы; в третьей был напечатан плач этой столицы о «великом» ее градоначальнике, и так далее; во всех в этом достойном, но отнюдь еще не великом сановнике, видели и восхваляли какого-то баснословного героя, не имевшего, казалось, ни одного порока, ни одного недостатка, даже ни одной слабости. Известное «о мертвых — ничего или хорошо» было тут приложено уже в слишком преувеличенных размерах. Между тем, современники умрут, предания исчезнут, в историю перейдут одни возгласы газетных статей, и Голицын станет в ней некогда наряду с полумифическими знаменитостями екатерининского века, занявшими свое историческое место, может быть, подобным же образом.

Замечательно, что покойный князь, хотя он при жизни своей был очень равнодушен к религиозным верованиям, смертью своею наиболее облагодетельствовал духовенство! Москва, вообще охотница молиться, разорилась на панихиды по нем. Они были: от имени всех сословий — в Чудовом мо-

настыре; от чиновников генерал-губернаторской канцелярии — в Донском; от московских литераторов — там же, и притом в четверг, как день, в который бывали у князя литературные вечера; от градского общества — в церкви содержимого им Мещанского училища (с «поминальным» обедом на 250 человек).

Сверх того, было множество частных панихид; например, в городской больнице и в других заведениях, основанных в управление князя, и положено еще производить поминовение, в продолжение шести недель, от купечества — в сорока и от мещанства — в двенадцати церквах столицы! Купеческое общество, которое в 1830 году, по прекращении в Москве холеры, поднесло князю мраморный его бюст, после его смерти заказало его портрет для залы своих собраний, чему последовало и мещанское общество, сложившее, сверх того, при этом случае, с беднейших своих членов три тысячи рублей серебром подушной недоимки. Наконец, «в память усопшего» появились в Москве не только стихотворения, но и эмалированные траурные перстни и кольца.

Притворный голос массы всегда сильнее и громче частной искренности. В массе Москва рыдала, как бы потеряла любимого отца, и настал последний ее день, а на вопрос каждому порознь слышался нередко ответ: «Дай Бог, чтобы при новом было лучше, а пора уже было!..»

17 мая тело покойного было ввезено в Москву, а 19-го погребено внутри церкви Донского монастыря, по особенному, высочайше утвержденному, церемониалу. Для поставления к телу часовых, по приказанию государя, отправлена была из Петербурга на почтовых команда с офицером от Орденского кирасирского полка, которого покойный был шефом.

* * *

Цензура есть, несомненно, вещь столько же необходимая и благотворная в каждом благоустроенном обществе, сколько, с

другой стороны, трудная, деликатная и требующая в цензоре высшего образования, в особенности же высшего такта, чтобы избежать всякой нелепой крайности. В царствование императора Николая цензура часто и много грешила, то пропуская статьи с самым дурным и опасным направлением, то впадая именно в сказанные крайности. Вот два бесподобных анекдота, относящихся к действиям ее в 1844 году.

1) В Париже обанкротился один банкирский дом, в котором лишились значительных сумм певец Тамбурини и папа. В переводе статей о том из иностранных газет цензура зачеркнула папу, найдя неприличным ставить имя главы римско-католической церкви наряду с оперным артистом.

2) В газетах наших при объявлении о любском пароходстве на 1844 год возвещено было, что пароход «Николай» отправится в третью субботу мая месяца, «Александра» — во вторую и «Наследник» — в первую. «Отчего же, — спрашивали многие, — так изменен тут естественный порядок и говорится о времени отправления третьего парохода прежде второго, а второго прежде первого?» Оттого, что цензура не допустила назвать наследника прежде императрицы и императрицу прежде государя!

* * *

Неотступные настояния графа Канкрина и совершенный упадок его сил решили наконец императора Николая отпустить его на покой. Указом 1 мая 1844 года он «по неоднократным его просьбам» был уволен от звания министра финансов, с оставлением членом Государственного Совета и при особе его величества, а другим указом, того же числа, повелено товарищу его Вронченко быть «статс-секретарем, управляющим министерством финансов». Таким образом, один из первых и замечательных деятелей нашей эпохи сошел с политического поприща, а место его заступил, вопреки

всем предвидениям и, конечно, своим собственным, такой человек, которому, как, по крайней мере, многие в то время думали, надлежало бы, по дарованиям, образу жизни, формам и самому даже нравственному поведению, окончить свой век во второстепенном разряде подчиненных должностей. Но почему же, — спрашивали те же недовольные, — если уже Врончено окончательно назначен на место уволенного Канкрина, не назвали его прямо министром финансов? Этому, кажется, был причиною сам Вронченко, который, к чести его должно сказать, продолжал постоянно уклоняться от принятия на себя звания министра. Государь успокаивал его тем, что он и впредь останется товарищем, только у другого министра, которым будет сам государь.

Канкрину пожалован был на прощанье рескрипт, и он вслед за тем уехал в чужие края. В публике все единодушно сожалели о добром старике, боясь, что недолго ждать до того времени, когда придется сожалеть в нем и гениального министра, и что преемник его скоро приблизит наступление этой эпохи. Канкрин 21 год управлял русскими финансами и вынес на своих могучих плечах бремя нескольких тяжких войн, нескольких повсеместных неурожаев, холеры, в первом появлении ее столь поразительно ужасной, и разных других народных бедствий. Ближайшая характеристика его находится в сочинении моем «Император Николай в совещательных собраниях».

XI
1844 год

Кончина графа П. К. Эссена — Два высочайших повеления о городских экипажах и лошадях — Граф Петр Александрович Толстой — Граф А. Х. Бенкендорф — Граф Воронцов и Ермолов — почетные члены английского клуба — Князь Александр Николаевич Голицын — Несколько подробностей о Сперанском — Вор, забравшийся к камер-юнгфере Карповой — Новые каски военных, белые брюки статских

В субботу, 23 сентября, умер на 73-м году от роду граф Петр Кириллович Эссен, остававшийся, со времени увольнения его от звания С.-Петербургского военного генерал-губернатора, только рядовым членом Государственного Совета. Совершенно здоровый, он в этот же самый день ездил еще со двора и, воротясь домой часу во 2-м пополудни, позвал повара для рассуждений об обеде на воскресенье, к которому ожидал гостей, а потом велел попросить к себе племянника, жившего в том же самом доме, чтобы сыграть с ним партию в бильярд. Но когда племянник вошел через несколько минут в комнату, старика не было уже на свете. Он сидел мертвый в креслах, с головою, приникнувшею к столу. Отличительными чертами его, как я говорил уже прежде, были добросердечие, личная честность и безмерная ограниченность ума, и если под «нищими духом» разумеется в Священном Писании соединение этих качеств, то никто более Эссена не имел права на Царствие Небесное.

Теперь прибавлю только два анекдота, которые рассказывали в Совете при разнесшейся вести о его кончине. 1) Нередко случалось, что, по прочтении графу правителем его канцелярии Оводовым бумаг и по выслушании им каждой с полным, по-видимому, вниманием, он спрашивал: «А что, эту мне надо подписывать, или она ко мне писана?» 2) Эссен жаловался как-то раз графу Блудову, что худо понимает дела при слушании беглого их чтения в Совете.

— Да ведь против этого есть средство, — возразил Блудов, — стоит вам только вперед прочитывать раздаваемые нам печатные записки.

— Пробовал, — отвечал простодушный старик, — но в том-то и беда, что когда я примусь их читать, то еще хуже понимаю, чем при слушании в Совете.

Император Николай почтил память старого и, по крайнему разумению, всегда верного слуги присутствием своим при печальном обряде. Отпевание происходило в Троицкой церкви Измайловского полка; после чего тело отвезено было в имение покойного в Орловской губернии.

* * *

Однажды в сентябре государю встретился на улице один только что женившийся на очень богатой девице, несносно заносчивый и, впрочем, совершенно ничтожный вертопрах, который уже давно был на его замечании. Молодой, числившийся где-то в службе с очень еще маленьким чином, ехал в карсте, запряженной великолепнейшею четвернею, с двумя лакеями в такой пышной ливрее, какой не было ни у кого из первых наших вельмож. Вслед за тем появился во всех газетах циркуляр министра внутренних дел Перовского, что «государь император, вследствие дошедших до его величества сведений об употреблении некоторыми из служащих лиц количества упряжных лошадей в городских экипажах и ливрей, присвоенных высшим классам, высочайше повелеть соизволил сообщить всем министрам о подтверждении служащим по каждому ведомству не отступать от постановлений, изложенных в ст. 936, тома III, уст. о службе гражд.»

Разумеется, что это повеление возбудило множество толков и пересудов в нашей публике, для которой подобные посягательства на мелочные внешности тщеславия иногда кажутся важнее нарушения самых существенных прав. Но

всего досаднее было на Перовского, который, приняв повеление от государя в общих, без сомнения, словах, не умел выразить его лучше, как ссылкою на статью, Бог знает как попавшую в Свод, потому что она основана на старинных узаконениях (1775 года), уже не соответствующих нынешним обычаям и даже роду упряжи. Там, например, говорится о том, что только особам первых двух классов позволяется ездить с вершниками, что только первые пять классов могут ездить шестернею и проч., тогда как все это вышло у нас из употребления уже целые полвека.

Городские толки, вероятно, вскоре дошли до государя, ибо с небольшим через месяц после сказанного повеления явилось в отмену его другое: «Чтобы употребление количества лошадей в экипажах оставить сообразно надобности и принятым обычаям, относя прежде объявленную высочайшую волю только к ливреям». Государь сказывал потом многим приближенным, что Перовский не понял его и что мысль его всегда относилась только к ливреям. Таким образом, неловкость или непонятливость министра дали повод сперва к насмешливым пересудам, а потом, как бы в виде уступки сим последним, к отмене едва только объявленной высочайшей воли.

* * *

Под конец царствования императора Александра жил в Москве полузабытый, хотя и андреевский кавалер, полный генерал с 1814 года и некогда посол наш в Париже, граф Петр Александрович Толстой. В начале следующего царствования он был вызван в Петербург, назначен главным начальником военных поселений (после Аракчеева) и посажен во все возможные советы и высшие комитеты. Император Николай вскоре, однако же, убедился в его малоспособности. Толстой, которого имя попалось теперь под мое перо по случаю ско-

ропостижной смерти его в сентябре 1844 года, не имел, при некоторой остроте ума, ни основательных суждений, ни высшего взгляда, ни образования государственного человека; главное же, подавлявшее в нем все другие, свойство было неописуемое равнодушие ко всем делам, соединенное с образцовой, можно сказать, баснословной леностью. И в мыслях его, и во всегдашнем их выражении самые важнейшие вопросы и дела составляли лишь «плевое дело» и, знав его с 1831 года по множеству совещательных собраний, я не видел никогда ни одного предмета, который удостоился бы его внимания, даже и минутного. Этой леностью и общим презрением к делам он был в особенности несносен для принужденных иметь с ним ближайшие сношения по службе. Когда он занимал, по титулу, должность председателя военного департамента в Государственном Совете, мне как государственному секретарю бывали величайшие с ним мучения. Хотя в этот департамент приходило всего каких-нибудь пять или шесть дел в год, однако и те залеживались по несколько месяцев, потому что не было никакой возможности допроситься от Толстого заседания, и на все мои убеждения всегдашним его ответом было: «Это, батюшка, плевое дело, и черт ли, что оно пролежит лишний месяц!»

Последние годы своей жизни Толстой проводил опять постоянно в Москве или в подмосковном своем имении Узком, имев позволение не приезжать в Петербург и занимаясь страстно цветами — единственной вещью в мире, которую он не считал «плевым делом».

Впрочем, сказав до сих пор одно невыгодное о Толстом, не могу, по справедливости, не коснуться и блестящей его стороны, именно военных его подвигов. В этом отношении он сделался известным еще при Екатерине, находившись при штурме Праги, при взятии Варшавы и в славном Мациовецком деле, где взят был Костюшко. Военные реляции того времени с отличием упоминают о полковнике графе

Толстом, и он, 24 лет от роду, был украшен орденом св. Георгия 3-й степени из собственных рук императрицы. В знаменитом итальянском походе 1799 года Толстой участвовал уже в звании генерал-адъютанта императора Павла; потом, при императоре Александре, занимав недолго пост С.-Петербургского военного генерал-губернатора, в 1805 году был отправлен начальником десантного войска в шведскую Померанию и в Ганновер и находился в сражении при Прейсиш-Эйлау в качестве дежурного генерала. Тут следовало посольство, вскоре после Тильзитского мира, в Париже, где граф оставался до отъезда Наполеона в Эрфурт. В 1812 году он командовал военной силой в шести губерниях, в 1813 и 1814 годах участвовал в заграничных кампаниях и потом, в последние годы Александра I, командовал 5-м пехотным корпусом, расположенным в то время в Москве.

Наконец при императоре Николае, по отбытии его в турецкую кампанию 1828 года, Толстой назначен был главнокомандующим Петербургскою столицей и Кронштадтом и в 1831 году, в Польский мятеж, заключил военное свое поприще в звании главнокомандовавшего резервной армией в Виленской губернии.

Должно думать, что он в то время был не так равнодушен, беспечен и ленив, как по переходе к гражданским обязанностям.

* * *

11 сентября 1844 года умер на пароходе, на высоте острова Даго, при возвратном переезде из чужих краев в Эстляндскую свою мызу Фалль генерал-адъютант, граф Александр Христофорович Бенкендорф. Смерть его в ту эпоху была окончательным закатом давно уже померкшего за облаками солнца!..

Потомок древней эстляндской фамилии, сам заслуженный генерал-аншеф, отец Александра Христофоровича был женат на баронессе Шиллинг фон Капштадт, в которой покойная императрица Мария Федоровна принимала какое-то старинное фамильное участие. Молодой Бенкендорф, вступив в 1798 году юнкером в лейб-гвардии Семеновский полк, в том же году, еще 14 лет от роду, был произведен в офицеры и пожалован флигель-адъютантом. Дальнейшая карьера его была довольно обыкновенна, и если блестящие внешние формы доставляли ему иногда командировки к разным иностранным дворам, то, однако же, больше этого он не употреблялся ни на что самостоятельное по службе. На военном собственно поприще, он, как отличный кавалерист, действовал преимущественно в аванпостных делах; но подвиги его, кроме доказательств большой личной храбрости, также не представляют ничего исторического[98].

В 1819 году Александр I назначил его начальником штаба гвардейского корпуса — пост, который он удержал за собою недолго. Уже через два года его перевели начальником 1-й кирасирской дивизии, и в этом звании застал его, при вступлении на престол, император Николай. С сей собственно поры начинается блестящая и самобытная карьера Бенкендорфа. 25 июня 1826 года он вдруг возведен был в звание шефа жандармов, командующего императорскою главною квартирою и главного начальника учрежденного в то время III-го отделения собственной полиции и вместе на степень приближеннейшего к императору лица. Ни это важное назначение, ни все милости, которыми государь постоянно его взыскивал (пожалование графского титула, всех высших орденов и значительных денежных сумм), не могли сделать

---

[98] Император Александр II написал: «Несправедливо; он командовал с большим отличием отдельными отрядами и в особенности ознаменовал себя в 1813 и 1814 годах».

из благородного и достойного, но обыкновенного человека — гения. В изданных за границею в 1842 году впечатлениях какого-то французского туриста был помещен следующий портрет Бенкендорфа, который я тогда же для себя перевел:

«Черты графа Бенкендорфа носят на себе отпечаток истинного добросердечия и самой благородной души. В занимаемой им высокой должности, где в одних его руках лежит решение вопросов, покрытых величайшею тайною, характер его представляет лучшее ручательство для всякого, кого судьба ставит в соотношение с ним. За то его вообще гораздо больше любят, чем боятся. Пять лет тому назад, во время вынесенной им опасной болезни, дом его непрерывно был наполнен людьми всех состояний, которые, с живым участием и беспокойством, стекались отовсюду наведываться о его положении. Император посещал тогда графа ежедневно. В одно из таких свиданий, когда опасность была на высшей степени, император с глубоким умилением пожимал ему руку.

— Государь, — сказал больной, — я могу умереть спокойно: эта толпа, которая ждет и спрашивает известий обо мне, будет моею предстательницею; в ней — сознание моей совести!

«Граф имел наружность совершенно немецкую; ловкий и предупредительный с дамами, он вместе и деловой и светский человек».

Впоследствии, по кончине уже графа, некрологическая статья о нем в наших газетах начиналась следующими словами: «В лице его Государь лишился верного и преданного слуги, отечество лишилось полезного и достойного сына, человечество — усердного поборника!» Все это, т. е. и чужие и свои вести, отчасти справедливы, но именно только отчасти. Вместо героя прямоты и праводушия, каким представлен здесь Бенкендорф, он, в сущности, был более отрицательно-добрым человеком, под именем которого совершалось, наряду со многим добром, и немало самоуправства и зла. Без знания дела, без охоты к занятиям, отличавшийся особенно

беспамятством и вечною рассеянностью, которая многократно давала повод к разным анекдотам, очень забавным для слушателей или свидетелей, но отнюдь не для тех, кто бывал их жертвою, наконец, без меры преданный женщинам, он никогда не был ни деловым, ни дельным человеком и всегда являлся орудием лиц, его окружавших. Сидев с ним четыре года в Комитете министров и десять лет в Государственном Совете, я ни единожды не слышал его голоса ни по одному делу, хотя многие приходили от него самого, а другие должны были интересовать его лично[99].

Часто случалось, что он после заседания, в котором присутствовал от начала до конца, спрашивал меня, чем решено такое-то из внесенных им представлений, как бы его лица совсем тут и не было.

Однажды в Государственном Совете министр юстиции, граф Панин, произносил очень длинную речь. Когда она продолжалась уже с полчаса, Бенкендорф обернулся к соседу своему, графу Орлову, с восклицанием:

— Черт возьми! Вот так речь!

— Помилуй, братец, да разве ты не слышишь, что он полчаса говорит — против тебя!

— В самом деле? — отвечал Бенкендорф, который тут только понял, что речь Панина есть ответ и возражение на его представление.

Через пять минут, посмотрев на часы, он сказал: «Теперь прощай, мне пора идти к императору», — и оставил другим членам распутывать спор его с Паниным по их усмотрению.

Подобные анекдоты бывали с ним беспрестанно, и от этого он нередко вредил тем, кому имел намерение помочь,

---

[99] Считаю долгом заметить здесь, что отношения ко мне графа были всегда самые приязненные, и между нами не случилось ни одной неприятности; следственно, в этом очерке его портрета я руководствуюсь не каким-либо предубеждением против него, а одним голосом истины, может быть, даже еще с некоторым послаблением в его пользу.

после сам не понимая, как случилось противное его видам и желанию. Должно еще прибавить, что при очень приятных формах, при чем-то рыцарском в тоне и словах и при довольно живом светском разговоре он имел самое лишь поверхностное образование, ничему не учился, ничего не читал и даже никакой грамоты не знал порядочно, чему могут служить свидетельством все сохранившиеся французские и немецкие автографы его и его подпись на русских бумагах, в которой он только в самые последние годы своей жизни перестал — вероятно, по добросовестному намеку какого либо приближенного — писаться «покорнейшей слуга».

Верным и преданным слугою своему царю Бенкендорф был, конечно, в полном и высшем смысле слова и преднамеренно не делал никому зла; но полезным он мог быть только в той степени, в какой сие соответствовало видам и внушениям окружавших его, ибо личной воли имел он не более, чем дарования или высших взглядов. Словом, как он был человек более отрицательно-добрый, так и польза от него была исключительно отрицательная: та, что место, облеченное такою огромною властью, занимал он, с парализировавшею его апатиею, а не другой кто, не только менее его добрый, но и просто стремившийся действовать и отличиться. Имя его, правда, стояло всегда во главе всех промышленных и спекулятивных предприятий той же эпохи; он был директором всех возможных акционерных компаний и учредителем многих из них; и все это делалось не по влечению к славе, не по одному желанию общего добра, а более от того, что все спекуляторы, все общества сами обращались преимущественно к графу, для приобретения себе в нем сильного покровителя. В жизни своей он много раз значительно обогащался, потом опять расточал все приобретенное и при конце дней оставил дела свои в самом жалком положении.

Между тем, нет сомнения, что лет двенадцать или более граф Бенкендорф был одним из людей, наиболее любимых

императором Николаем, не только по привычке, но и по уважению в нем, при всех слабостях, чувств неограниченно преданного, истинного джентльмена, кроткого и ровного характера, всегда искавшего более умягчать, нежели раздражать пыл своего монарха. Справедливо и то, что во время болезни его в 1837 году император Николай проводил у его постели целые часы и плакал над ним, как над другом и братом. В упомянутой выше некрологической статье наших газет, напечатанной, разумеется, не иначе, как с высочайшего разрешения, сказано, что в одно из таких посещений государь произнес перед окружавшими его следующие достопамятные слова: «В течение 11 лет он ни с кем меня не поссорил, а со многими примирил».

Справедливо, наконец, и то, что в эту болезнь лица всех сословий толпились в его доме и вокруг него, и если бы Бенкендорф умер в это время, то смерть его была бы народным событием: до такой степени он пользовался тогда общею популярностью благодаря своему добродушию и тому, что на его посту не делать зла значило уже делать добро. Но с тех пор он пережил себя. Несколько самоуправных действий, в которые Бенкендорф был вовлечен своими подчиненными и которыми он компрометировал отчасти самого государя, сильно поколебали прежнюю доверенность, и царская к нему милость стала постепенно охлаждаться, даже переходить почти в равнодушие, прикрытое, впрочем, до конца внешними формами прежней приязни.

С тем вместе стала угасать и популярность Бенкендорфа, и в городе гласно заговорили, что он очень нетверд на своем месте, что ему худо при дворе, что ему выбран уже преемник и проч. При всем том, когда в апреле 1844 года, изнуренный новою жестокою болезнью, он отправился на заграничные воды, государь в щедрости своей пожаловал ему на эту поездку 500 000 руб. серебром. Но дела его были так расстроены, что он повез с собою едва 5000 руб., а прочее принужден

был оставить в Петербурге, для покрытия, по крайней мере, самых вопиющих долгов.

Это путешествие не только не доставило графу Бенкендорфу чаянного исцеления, но и раскрыло ему один обман, в который он вдался. При живой, очень почтенной жене (урожденной Захаржевской), у него всегда было по нескольку гласных любовниц; но ни к которой страсть его не доходила до такого исступления, как к одной даме высшего нашего общества, которой муж был посланником за границею и которая напоследок, к общему соблазну, поехала даже за графом в чужие края. Под конец, однако же, видя, что нечего уже извлечь из старика, осужденного на неминуемую смерть, она имела низость бросить его, чрез что горько отравила последние его дни, может быть, и ускорила саму его смерть. Эта непонятная связь одной из прелестнейших женщин в Петербурге с полумертвым стариком была поводом к многоразличным комментариям в нашей публике. Упомянутая дама принадлежала к римско-католическому исповеданию, и говорили, что она предалась Бенкендорфу из религиозного фанатизма, чтобы иметь в нем опору для своих единоверцев в России, представляя в этом случае лишь агента папы; другие уверяли даже, будто бы Бенкендорф, покорный ее внушениям, на смертном одре перешел в католицизм[100].

Все это нелепость. Кокетка просто любила свои интересы и сперва долго влачила за собою старого любезника, а потом и предалась ему, единственно из того, что он тратил огромные суммы на удовлетворение ее прихотей, — история не новая и не редкая. Умирая, как я выше сказал, на пароходе, в полной памяти, он весь гардероб свой завещал камердинеру; но когда он умер, то бессовестный отпустил для прикрытия тела одну разорванную рубашку, в которой покойный про-

---

[100] Император Александр II написал: «Все это преувеличено до крайности и злостная клевета».

лежал и на пароходе, и целые почти сутки в ревельской дом-кирхе, пока прибыла из Фалля вдова. В первую ночь, до ее приезда, при теле того, которому так недавно еще поклонялась вся Россия, лежавшем в этом рубище, стояло всего два жандармских солдата, и церковь была освещена двумя сальными свечами! Это мне рассказывали очевидцы.

Покойный погребен в Фалле, на избранном и назначенном им самим задолго до того месте; последний обряд происходил в оранжерее, потому что в Фалле хотя и есть русская церковь, но нет лютеранской. Пастору передана была высочайшая воля упомянуть в надгробном слове, каким роковым считает для себя государь 1844 год, унесший у него дочь[101] и друга.

При известном недостатке в Бенкендорфе трудолюбия, терпения и пера для меня было совершенной неожиданностью узнать, что после него остались мемуары. Граф Орлов, по воле государя разбирая его кабинет, между прочими бумагами нашел несколько больших портфелей с записками (на французском языке), начинавшимися почти от самого вступления его в службу и доходившими до дня пожара Зимнего дворца, то есть до 17 декабря 1837 года. Может статься, было даже еще и более, но затерялось; по крайней мере, в числе отысканного последняя страница, написанная донизу, оканчивалась началом слова с переносным знаком. В этих записках излагались, между прочим, и все разговоры с покойным императором Николаем. Прочитывая их, государь отозвался Орлову, что находит тут хотя и дурно написанное, но очень верное и живое изображение своего царствования[102].

---

[101] Великую княгиню Александру Николаевну. О болезни ее, кончине, погребении и пр. написано мною особое сочинение.

[102] Император Александр II написал: «Совершенно справедливо».

Все это я слышал тогда же от самого графа (ныне князя) Орлова.

После графа Бенкендорфа осталось и духовное завещание. По нашим законам, акты сего рода, когда они не собственноручные и писаны более чем на одном листе, должны быть скреплены завещателем по листам, и хотя в духовной Бенкендорфа эта формальность была упущена, однако, как на ней подписались свидетелями графы Нессельрод и Орлов и содержание ее было не только известно государю, но и утверждено им еще при жизни покойного, то он велел привести ее в действие независимо от несоблюдения помянутого условия.

Вдовствующей графине назначена была пенсия в 5 тыс. руб. серебром. Сыновей у графа никогда не было, но он имел трех дочерей, которые находились в замужестве: старшая за австрийским графом Аппони, вторая — за сыном министра императорского двора князем Григорием Волконским и третья — за богатым, жившим в отставке Демидовым. Бесподобная приморская мыза Фалль, созданная покойным и в которую он положил огромные суммы, обратив ее притом в майорат, перешла в наследство к княгине Волконской, потому что старшая дочь потеряла, через брак с иностранцем, право владеть недвижимым имением в России.

* * *

Один умный человек сказал, что Ермолов, в понятиях русских, не человек, а популяризованная идея. Когда в верхних слоях давно уже наступило в отношении к нему полное разочарование, масса все еще продолжала видеть в нем великого человека и поклоняться под его именем какому-то воображаемому идеалу. Общее мнение о нем при всяком случае выражалось весьма явственно. Осенью 1844 года, когда приехал в С.-Петербург, на возвратном пути из-за границы, Ново-

российский генерал-губернатор граф Воронцов (тогда еще не князь и не наместник кавказский), в Английском клубе задумали дать в честь ему обед; но когда уже были сделаны все приготовления и сам он приглашен, вдруг вспомнили, что у него есть в Петербурге собственный дом; законы же клуба запрещают допускать в залы гостями здешних домовладельцев. Чтобы поправить ошибку, решились поднести ему билет на звание почетного члена.

— Но, — заговорили все, — нельзя же выбрать в почетные члены Воронцова, не избрав и Ермолова.

И, действительно, Ермолов, давно сошедший с политической сцены, живущий в уединении в Москве, удаленный от всякого влияния и связей, удостоился очень редкой в летописях Английского клуба чести быть выбранным в почетные его члены, как бы какое-нибудь яркое современное светило!..

* * *

В 1844 году смерть собрала обильную жатву с нашего высшего общества и высшей администрации. В числе многих других лиц она похитила в этом же году князя Александра Николаевича Голицына.

Камер-паж блестящего двора Екатерины II, при ней же поручик лейб-гвардии Преображенского полка и вместе камер-юнкер, князь Голицын в следующее царствование был сперва пожалован в камергеры, а потом отставлен собственноручным указом Павла I (от 1 мая 1799 года). Служба его возобновилась не ранее сентября 1802 года, и император Александр I двинул его вперед исполинскими шагами. С небольшим через год Голицын был уже статс-секретарем и синодальным обер-прокурором, а 1 января 1810 года, в чине тайного советника, назначен членом Государственного Совета и главноуправляющим духовными делами иностранных исповеданий; в 1817 же году велено ему быть министром

духовных дел и народного просвещения, а в 1819 году, сверх того, главноначальствующим над почтовым департаментом, которую должность он занимал более 22 лет, управляв многократно, пока не существовало еще министерства императорского двора, и придворною частью и быв членом или председателем во множестве особых комиссий и комитетов. Не нужно прибавлять, что в этих высших званиях он достиг постепенно и всех высших знаков отличия, удостоясь получить, при первом праздновании дня рождения императора Николая, Владимира 1-й степени и вслед за тем, в день священного его коронования, Андреевскую ленту, а 21 апреля 1834 года портрет государя для ношения на шее.

При доверчивости, происходившей от большого добродушия, и при отсутствии глубоких государственных соображений, князь Голицын часто был обманываем и теориями и людьми, часто выводил недостойных, нередко, особенно в увлечении своем к мистицизму, давал ход превратным и небезвредным для государства идеям; но, вопреки эпиграммам Пушкина, всегда был вернейший и преданнейший слуга царский, всегда имел одни добрые намерения, действовал по убеждению и совести, более же всего был, в истинном высшем значении слова, человек добрый.

Имя Голицына, несмотря на высшие степени, которых он достиг в государстве, и на почести, которыми он был окружен при жизни, не займет важного места в истории; но оно долго будет жить в памяти многих современников, им облагодетельствованных, и едва ли кто-нибудь помянет его лихом. Долгое время единственный в России действительный тайный советник 1-го класса, он несколько лет всем говорил, что выйдет в отставку и переселится навсегда в поместье свое, Александрию-Гаспру, на южном берегу Крыма; но никто ему не верил, полагая, что служба и двор необходимы для него, как воздух. Он доказал, однако же, что и в придворной жизни может иногда быть искренность. На склоне лет, полуслепой,

чувствуя ослабление и в моральных силах, князь не захотел последовать примеру разных других ветхих наших вельмож, которых и при чахлом остатке жизни все еще не покидало честолюбие. Он решился оставить службу, двор и свет, не дожидаясь, чтобы они сами его оставили.

Пока другие, в теории, многословно рассуждали о том, как бы не остаться им на служебном поприще, пережив себя, и не замечали, что роковая минута для них давно уже настала, Голицын без витийства, без самохвальства, скромно и тихо исполнил их теорию на практике. Указ об увольнении его от всех должностей был подписан 27 марта 1842 года. Подобно древним нашим боярам и князьям, которые перед смертью, отлагая всякое житейское попечение, постригались в монашество, Голицын, хотя и без клобука и схимы, оставил весь окружавший его в Петербурге блеск, чтобы перейти в уединение, равнявшееся любому монастырю. Указ об его отставке сопровождался пенсиею в 12 тыс. руб. серебром, пособием на путевые издержки в 10 тыс. руб. серебром и рескриптом, в котором было изъяснено, что долговременное полезное служение князя престолу и отечеству останется для государя незабвенным по достоинству многочисленных его заслуг и по чувствам личного его величества уважения, внушенного неизменною к князю доверенностью блаженной памяти императора Александра I и утвержденного всегда отличающими его превосходными качествами души и сердца. В скромности своей князь никогда не напечатал этого рескрипта, оставшегося таким образом безгласным.

В отставке он сохранил, для почета, звание члена Государственного Совета. Проводы его из Петербурга были очень трогательны. Он прощался порознь даже с каждым из людей своих и, садясь в карету, плакал, как ребенок. Последнее свидание с государем происходило в Москве, где князь остановился на пути и куда император Николай приехал под осень 1842 года. В двухдневное его там пребывание князь один день

у него обедал вместе с другими, а на другой провел более часа в уединенной беседе и тут же с ним и простился.

С тех пор протекли два года, в продолжение которых Голицын окончательно ослеп на оба глаза. Время его в Александрии-Гаспре проходило в слушании чтения и в прогулках, пешком или в экипаже, по очаровательному крымскому взморью, которого красоты он угадывал воображением. Читали ему, одну половину дня, книги духовного и назидательного содержания, а другую — сочинения исторические, большею частью на русском языке, для чего он взял к себе молодого князя Козловского, служившего перед тем почтмейстером в Ялте. Соседей почти не было, а те, которые и были, своим посещением могли доставлять мало удовольствия отшельнику, состарившемуся в обществе совсем другого рода.

При всем том, когда летом 1843 года приехал к нему на время один из преданнейших людей, состоявший при нем прежде вроде и домашнего, и служебного секретаря, Г. С. Попов, князь на вопрос его отвечал, что никакие блага в мире не могли бы перевлечь его опять в Петербург. В этом уединении, между молитвою, чтением и прогулками, князь любил передавать обильные и разнообразные свои воспоминания окружавшим его и, сверх того, собственно с целью сохранить их на бумаге, давал постоянные сеансы находившемуся при нем старому чиновнику Бартеневу. К сожалению, последний отнюдь не обладал нужными для такого дела качествами. Вся прелесть, весь юмор живых рассказов князя пропадали под вялым пером этого человека прежнего воспитания, который заменял их пустословным фразерством.

Между тем, советы одной ясновидящей, которая из Москвы безуспешно лечила нашего слепца, соединенные с советами внушавшего ему доверие другого рода киево-печерского схимника Перфения, у которого он исповедовался при про-

езде через Киев в Крым, решили его испытать над своими глазами хирургическую операцию. Осенью 1844 года выписан был пользовавшийся известностью не только у нас, но и за границею, профессор Киевского университета св. Владимира Караваев, и операция была совершена с полным успехом в 28 секунд. Вскоре после того князь писал первому своему другу, статс-даме Наталье Федотовне Плещеевой, в выражениях неизъяснимого восторга, что, имев до тех пор возможность только чувствовать прелести своей Гаспры, он теперь сподобился и созерцать их уже не одним умственным глазом. В то же время он приглашал к себе Попова и на будущее опять лето, прибавляя, что, как при прошлогоднем посещении только слышал его, то ему приятно будет снова и повидаться с ним…

Вдруг к государю пришла эстафета из Крыма о кончине князя. Почти вслед за сказанными письмами у него открылась водяная, положившая 22 ноября конец его жизни, на 71-м году от роду, быстро и без затмения памяти, так что еще накануне он сам сделал все распоряжения о своем погребении. Государь ознаменовал внимательность свою к памяти покойного немедленным пожалованием во фрейлины двоюродной его внучки, княжны Екатерины Голицыной как ближайшей к нему из его родства, и в камергеры упомянутого выше Попова как ближайшего к князю в последние 15 лет его жизни человека. Сверх того, по высочайшей воле, послан был в Гаспру для разбора его бумаг и доставления части их в Петербург чиновник 1-го отделения Собственной его величества канцелярии, камергер Ковальков, облагодетельствованный князем от детства и бывший у него домашним. Тело предано земле, по собственной воле покойного, в монастыре св. Георгия, близ Балаклавы.

Вот разные заметки о предсмертных распоряжениях князя и извлечение любопытнейшего из бумаг его и о нем:

1. К завещанию, составленному еще в Петербурге, был приложен реестр, в котором значились, между прочим: а) крест золотой, со многими мощами, в футляре. Он пожалован был царицею Наталиею Кирилловною князю Борису Алексеевичу Голицыну (бывшему дядькою Петра I) во время стрелецкого бунта, когда князь взял Петра на руки, чтобы увезти в Троице-Сергиевскую лавру. Царица вручила крест Голицыну с тем, чтобы он был ему благословением, а если князь несет сына ее на погибель, то «сей крест да поразит его». В реестре прибавлено: «Родитель мой сим драгоценным крестом благословил меня при рождении, а я, грешный, благословил им государя моего императора Николая Павловича в день отъезда его в поход против турок, 1828 года, апреля 25, с тем, чтоб я сохранил его до кончины моей, а потом да будет он вручен его величеству, яко достояние предков его, и данное предку моему на спасение Петра I. Я молю Господа Иисуса Христа, да послужит сей крест государю императору Николаю Павловичу щитом против его видимых и невидимых врагов и да почиет на главе его и в сердце Святый Дух, для внутреннего его возрождения»; б) образ Богоматери, в лайковом мешочке, найденный в бумагах императора Александра и подаренный князю императором Николаем, назначен императрице; в) письма императора Александра и всех лиц императорской фамилии — государю; г) шлафрок и «прочие вещи», принадлежавшие императору Александру, — тоже государю; д) часы большие, на пьедестале, стоявшие в кабинете императора Александра в Зимнем дворце и подаренные князю его преемником, — наследнику цесаревичу. «Сии часы, — сказано в реестре, — покойный государь император Александр Павлович очень любил». Из денег 25 тыс. руб. ассигнациями назначено в С.-Петербургский институт глухонемых, причем в завещании сказано: «Императрица Мария Федоровна, за несколько времени пред кончиною ее, узнав о намерении моем положить мое заве-

щание в Опекунский совет и дать в пользу его заведений некоторую сумму, просила меня дать оную для института глухонемых, так как он имеет менее других капиталов, что я священною обязанностью почел исполнить».

2. За несколько дней до кончины, чувствуя неминуемое ее приближение, Голицын продиктовал следующее письмо к названному нами выше князю Козловскому: «Зная вашу ко мне привязанность, считаю, что вы не почтете себе за труд сделать, что я сим возлагаю на вас по кончине моей: 1) уведомить генерал-губернатора (графа Воронцова) о моей кончине; чтобы приказал опечатать мои бюро, столы и шкафы в спальне и кабинете и уведомил бы государя императора, кому прикажет разобрать мои бумаги; 2) до тех пор вы наблюдаете, чтобы никто ни до чего не касался; 3) как скоро испущу я дух свой, то прикажите перенести тело мое в другую комнату, для омовения, а кабинет со всех сторон вы заприте и оставьте ключ у себя, приложа печать ко всем его дверям, до присылки от государя императора доверенной особы; 4) тело мое не анатомить, но после омовения одеть в ту сорочку, которую пожаловал мне государь император Николай Павлович, сняв ее с себя[103]; она хранится в запечатанном пакете у моего камердинера; и никакого платья, сверх означенной сорочки, на меня не надевать; потом вынести в домовую мою церковь, положить на стол и покрыть покровом до шеи, так что неприметно будет одеяние; 5) гроб отнюдь не делать богатый: мое грешное тело того не стоит; а сделать гроб деревянный, чистой работы, покрыв лаком, без серебра и позолот; на крышку не класть ни шляпы, ни шпаги; я бы желал, чтоб на крышке было приделано распятие и проч.».

[103] В этой сорочке император Николай короновался, и князь, присутствовавший после священного обряда при раздевании государя, выпросил ее себе на память.

3. Очень любопытно — как характеристика покойного в ближайшем его кругу — письмо к Попову (20 декабря 1844 года) от сестры князя, Кологривовой. Вот из него выписка: «Я до сих пор нечувствительна ко всему, даже к попечениям, которые обо мне прилагают; одно меня теперь утешает: молитва ежедневная в храме о спасении его души. По его смирению, я не дерзаю равнять его с праведными: это бы его оскорбило; но не сомневаюсь, что Господь примет его в свои объятия. Вся жизнь его была — молитва и благие дела! При телесных страданиях здесь, на земле, он не роптал, принимал все с благодарением, считая себя великим грешником. Вся жизнь его была — живая проповедь. Эта мысль в жестокие минуты уныния меня утешает. Блаженни почиющие во Господе! — сказал Иисус Христос. Нам остается просить у Господа во всем ему быть подобными».

4. Князь еще при жизни своей успел испросить известному Сергею Глинке, бывшему некогда издателем «Русского Вестника», пенсию в 3000 руб. ассигнациями, с продолжением ее на жену и дочерей, до смерти последней. Потом, за два года до отъезда из Петербурга, он узнал и полюбил другого известного литератора — Николая Полевого. Изданная им «История Петра Великого» особенно обратила на него внимание князя, который не один раз в неделю призывал его к себе для чтений. По посмертному ходатайству князя ему назначена негласно пенсия в 1000 руб. ассигнациями.

Наконец 5. Вот список некоторых сделанных императором Николаем, кроме упомянутых уже выше, назначений по случаю смерти князя Голицына:

Сестре его, Кологривовой, пожалована пенсия в 4000 руб. серебром.

Сверх того, как князь недовладел арендою в 8000 руб. серебром еще четыре года, то за счет сего источника пожаловано единовременно:

Кологривовой 6000 руб. серебром.

Ковалькову на поездку 2286 руб. серебром.

Пользовавшему князя доктору Шмидту 1000 руб. серебром.

Князю Козловскому 2643 руб. серебром.

* * *

Когда Франция и Германия благоговейно сохраняют дома, в которых жили или окончили свое земное поприще их великие люди, когда вся Европа, более нежели через полвека после смерти Фернейского развратителя, сходится на поклонение его спальне; когда и мы ставим памятники нашим воинам и поэтам, — о Сперанском, одном из самых ярких светил нашей народной славы, остаются напоминать потомству только скромный надгробный камень на кладбище Александро-Невской Лавры и великие его дела! Мне пришло это на мысль, когда, в Екатеринин день 1844 года, я играл в карты у мужа одной из именинниц, Эммануила Нарышкина, сына покойного обер-егермейстера Дмитрия Львовича и знаменитой некогда Марии Антоновны, и играл в том же доме (на Сергиевской, близ Летнего сада), почти на том же месте, где в 1839 году испустил дух граф Михаил Михайлович, но в комнате, которой, после переделки всего дома, нельзя было узнать под новою ее формою.

Я говорил уже где-то, что при императоре Александре I, до 1812 года, Сперанский, быв на посту государственного секретаря, в существе, первым министром и любимцем своего монарха, жил в собственном скромном домике у Таврического сада, на углу Сергиевской. Могущественный временщик, всех чаще бывавший во дворце и всех долее там остававшийся, жил от него всех отдаленнее.

Перейдя впоследствии к сенатору Дубенскому, этот домик так распространен и перестроен, что в новом огромном здании не осталось и следов прежнего. По возвращении из

опалы Сперанский поселился в доме Неплюева на Фонтанке, близ Летнего сада, позже перестроенном под Училище правоведения. Указ 1826 года, которым учреждено было 2-е отделение Собственной его величества канцелярии и первым главным начальником над ним поставлен Сперанский, застал его в доме Армянской церкви, на Невском проспекте. Здесь родились, созрели и были приведены в исполнение две колоссальные идеи: Полного Собрания и потом Свода законов; здесь также произведены им устав коммерческих судов, положения о духовных завещаниях, о казенных подрядах, обширный проект нового закона о состояниях (не восприявший своего действия) и множество других важных законодательных работ, о которых едва ли многим уже теперь и известно, что они были плодом его гения. Этот дом также перестроен, с возведением третьего этажа. Отсюда Сперанский переехал на правый берег Фонтанки, между Аничковым и Чернышевым мостами, в дом, принадлежавший тогда одной из грузинских царевен, и, по переходе его во владение купца Лыткина, совершенно изменивший свой вид. Наконец, остаток своих дней творец Свода провел в упомянутом выше, купленном им незадолго до его смерти доме на Сергиевской близ Летнего сада, который после был продан его дочерью Нарышкиным и сохранил от прежнего только часть своих стен[104].

Таким образом, все дома, в которых жил Сперанский, перестроены, и, повторяю, ничто более не напоминает в них о великом их жильце.

Заговорив однажды о графе Сперанском, не могу не передать еще несколько воспоминаний об этой примечательной личности. Полная биография его могла бы быть великим уроком для истории и для человечества, но она требовала бы

[104] Позже этот дом перешел во владение генерал-адъютанта графа Сумарокова.

многотомного сочинения, а цель моя здесь собрать лишь несколько отрывочных подробностей о внешней и внутренней его жизни за время императора Николая, в которое я пять лет (1826–1830) почти не выходил из его кабинета, оставаясь и впоследствии всегда в ближайших к нему отношениях. Подробности эти не все одинаково важны, но все будут иметь свою цену и свое значение для потомства как память о великом человеке.

Целый день, целая, можно сказать, жизнь Сперанского проходила в работе. Вставая очень рано, он работал до 10 часов утра, ложился опять спать на какой-нибудь час и потом снова работал до предобеденной прогулки, которую делал пешком или верхом. После обеда, посидев недолго с дочерью и с небольшим кругом гостей, собиравшихся у него особенно по воскресеньям, он принимался опять за работу, которая продолжалась уже без перерывов до ночи. Выезды его ограничивались Государственным Советом, разными комитетами, редким появлением на обедах и балах князя Кочубея и некоторых других вельмож и постоянным посещением обедов по пятницам, у старинного его друга, известного богача Алексея Ивановича Яковлева. Все остальное время, за исключением разве некоторых необходимых визитов, посвящено было труду, и этою только изумительною деятельностью, не охлаждавшеюся до последних его дней, можно объяснить громадную его производительность.

Один только каталог творений его, по всем почти частям человеческого ведения, превзошел бы своим объемом все, что многими из наших государственных людей написано в целую их жизнь. Сперанский творил вместе и очень легко и с большим трудом. Легкость состояла в чрезвычайно быстром создании плана и исполнении его; труд — в отделке подробностей. Не употребляя почти никогда пера и чернил, он писал всегда карандашом, на бумаге самого большого формата, перегибая ее в пол-листа, и тут — особенно в

работах важнейших — и поля были исписываемы, и самый текст беспощадно перемарываем, так что иногда стоило большого труда разобрать его, впрочем, мужественный и прекрасный почерк.

Со всем тем, работа кипела под его рукою, и, при огромном запасе сведений, при отличной памяти, он нередко писал, полагаясь на нее одну, то, для чего другому пришлось бы потратить множество времени на справки. Никакие трудности — ни в развязке самых сложных вопросов и дел, ни в глубоком исследовании и изучении их, ни в обороте для ясной и точной передачи своих мыслей — не существовали для Сперанского.

Могучий ум, живое и цветистое воображение, необыкновенная ловкость в изложении превозмогали все препоны, помогали вдохнуть жизнь и интерес в самые сухие предметы, дать не только светлую, но и приятную форму тому, что у другого не уложилось бы ни в какие рамы и, если можно так выразиться, даже и не додумалось бы. Все, что писал Сперанский, отличалось необыкновенною игривостью слога, соединенною с обилием неожиданных мыслей и оборотов и с языком, хотя не всегда вполне правильным, но всегда чрезвычайно изящным. Я берусь из тысячи страниц, написанных тысячью перьев, отличить ту, которая принадлежит Сперанскому, — до такой степени у него были свое особенное построение фразы, свой тон, свои образы, свои даже слова, и все это — превосходное!

Но если Сперанский как редактор далеко превзошел всех предшественников и современников, то даром живого слова он обладал едва ли не в примечательнейшей еще степени. Не было ничего занимательнее его частной беседы и ничего увлекательнее, убедительнее его речей в Совете и в других официальных совещаниях. Необыкновенная вкрадчивость, составлявшая общую черту его характера, особенно проявлялась в этих речах. Привыкнув с первой молодости к профес-

сорской кафедре, он не имел, однако, в тоне своем ничего докторального; напротив, по мягкости и, так сказать, двойственности сего тона видно было, что эта кафедра была — духовная. Не раз в Совете, оспаривая противное мнение, он начинал с панегирика ему, повторял все те же доводы, развивал их еще сильнее, вполне, казалось, сочувствовал и сомыслил своему противнику, не позволял себе ни одного прямого возражения и наконец однако, приходил — теми же, повидимому, путями — к совершенно противоположному результату.

В последние годы жизни орган его потерял всю звонкость и принял какой-то гробовой звук, а сверх того, по расслаблению груди, он говорил в Совете гораздо реже; но и тут речь его по внутреннему своему содержанию все так же была глубока и напитана полным знанием предмета, а по внешней форме все так же легка, свободна, красноречива. Я знал в России только четырех истинных ораторов: Сперанского, Дашкова, Канкрина и Блудова. У каждого свой отличительный характер: у Сперанского мягкость и тонкая вкрадчивость, у Дашкова — сжатость и энергическая жесткость, у Канкрина — необыкновенная пластичность и позволяющийся лишь одному ему юмор, переходивший нередко в цинизм; наконец, у Блудова — противоположная Дашкову велеречивость, не чуждая иногда иронии и даже сарказма, а сверх того особенная, можно сказать чудесная, находчивость в возражениях.

Но Сперанский стоял едва ли не выше всех их, сколько по искусству, с которым умел охранять личные самолюбия, столько же по дикции и оборотам своих речей, всегда оригинальным, не менее чем и в письменных его произведениях. Сперанский был, за редкими изъятиями, вообще нелюбим нашими магнатами, некоторыми даже ненавидим (в особенности Дашковым и Блудовым) и при всем том, когда только не действовали страсти или предубеждения, т. е. когда был суд хладнокровный и нелицеприятный, всегда увлекал с

собою всю массу, не исключая и этих противников. По-видимому, без всяких притязаний, с чрезвычайною скоростью, простотою, даже иногда будто бы простодушием, он пленял их, против их воли, могуществом своего гения. Многие — разумеется, однако, не из сих противников — называли его, и с полным основанием, нашим Златоустом.

С этими высокими достоинствами ума Сперанский соединял и прекрасную наружность. Высокий ростом, с огромным лбом, который уже с первых лет мужеского возраста обнаружился свободным от волос, он во всех чертах своего лица носил отпечаток глубокой думы и истинной гениальности; особенно же бесподобны были его глаза, всегда покрытые некоторой влажностью, и многие женщины, объясняя по-своему его взгляд, говорили, что у него «влюбленные глазки». Лучший из его портретов есть написанный Дауом (Daw), коленный, оставшийся у его дочери, но и он не совсем схож; бюст, снятый уже после его смерти Лемольтом, еще менее удался.

Примечательно, что не только в характере, но и во внешних формах и приемах Сперанского нигде не отражалось его происхождение и воспитание: он был далек от всякой надутости, ласков и обходителен со всеми, но умел всегда сохранить все приличие своего звания и если не обладал тою вельможескою грациозностью, тем изящным тоном, которыми отличался, например, князь Кочубей, то везде, однако же, не исключая ни самого высшего общества, ни дамского круга, был на своем месте. В частной беседе он имел особенный дар очарований. Не избегая разговоров на французском языке, в котором у него отзывался только легкий недостаток произношения, он вообще предпочитал говорить по-русски, и все, мужчины и женщины, тоже предпочитали слышать его на этом языке, который в его устах становился, истинно, совсем иным и новым. Кончу эти заметки тем, что Сперанский, всегда чистый, опрятный, даже по летам щеголеватый, чрез-

вычайно любил цветы, особливо чайное деревцо, прекрасные экземпляры которого в полном цвету во всякое время года красовались в его кабинете, постоянно дышавшем их благоуханием.

* * *

Перед самым праздником Рождества Христова в комнату к камер-фрау[105] Карповой, спавшей возле императрицыной почивальни[106], вкрался ночью вор с ножом в руках и стал требовать от нее денег. Та, при всем испуге, не потеряла присутствия духа и, изъявляя полную готовность удовлетворить его, сказала, что ей надо только взять деньги из другой комнаты, а между тем, выйдя туда, затворила свою спальную извне ключом, находившимся в замке, и бросилась за дежурною прислугою. Созванные люди сбежались, однако, уже слишком поздно; они нашли дверь выломанною и вора скрывшимся. По словам камер-фрау, которой показалось, что она по голосу узнала одного придворного лакея, последний тотчас был схвачен и хотя на допросе у гофмаршала графа Шувалова, а потом у самого государя, начал запирательством, но после во всем сознался, утверждая только, что имел при себе нож вовсе не в преднамерении смертоубийства, а единственно для острастки. Оказалось, что он служил при дворе уже лет пять и горький пьяница, который, пропив все, что у него было, и даже заложив свои парадные штаны с галуном за 3 рубля, отважился, для выкупа их перед праздником, на упомянутое покушение. По высочайшей воле он был предан военному суду, которым приговорен к прогнанию сквозь строй через 2000 человек и обращению потом

[105] Император Александр II исправил: «камер-юнгферы».
[106] Император Александр II прибавил: «в Зимнем Дворце».

в арестантские роты. Государь смягчил приговор отменою телесного наказания.

* * *

6 декабря на дворцовом выходе все генералы[107] впервые явились, вместо прежних треугольных шляп[108], в касках вновь установленного образца. Следующий выход 25 числа ознаменовался другими еще переменами в костюмах. Во-первых, за отменой чулков и башмаков, оставленных впредь для одних балов, все гражданские и придворные чины явились уже в белых брюках с золотыми галунами. Эта перемена встречена была общей радостью, особенно со стороны людей пожилых. Даже и у придворных певчих штаны заменены брюками по цвету их мундира, и вообще чулки с башмаками сохранены только для официантов и лакеев. Пудра, составлявшая в прежнее время необходимую принадлежность придворного наряда, была отменена императором Николаем в самом еще начале его царствования; во-вторых, у всей придворной прислуги белые штаны заменены были плисовыми, пунцовыми.

[107] Император Александр II написал: «офицеры всей гвардии».
[108] Император Александр исправил: «киверов».

XII
1845 год

Болезнь ног у императора Николая — Освящение дворца великой княгини Марии Николаевны — Несколько перемен в военной форме — Адмирал Грейг — Кончина великой княгини Елисаветы Михайловны — Князь Репнин-Волконский — Публичные лекции военных наук — Живые картины Раппо — Необыкновенные награды по поводу крещения великого князя Александра Александровича — Перечень всех наград князя Васильчикова — Прапорщик Янкевич, толкнувший государя на улице — Разговор о религиях в России — Экзамены для производства в первый офицерский и первый классный чин и указ 11 июня 1845 о чине статского советника и майора — Кончина и похороны графа Канкрина — Дмитрий Павлович Татищев — Александр Иванович Тургенев

Император Николай в зиму с 1844 на 1845 год страдал какою-то загадочною и упорною болью в ногах, особенно в правой. В праздник Рождества (1844-го) он всю обедню просидел в комнате за фонариком, в Новый год отказал выход, а в Богоявление в половине обедни принужден был опять удалиться за фонарик, но к водосвятию снова вышел и даже следовал за процессиею на Иордан. Став, в ожидании ее, перед войсками в портретной галерее, он громко сказал князю Васильчикову, что накануне чувствовал себя лучше, так что мог выстоять всю обедню; работавшие же с ним за день перед тем рассказывали, что он во весь доклад держал правую ногу на стуле.

В публике многие приписывали этот недуг героическому лечению отважного Мандта, в это время уже пользовавшегося неограниченным доверием государя, которого он заставлял постоянно пить битер-вассер, употреблять ежедневно по несколько холодных промывательных и ставить ноги в воду со льдом. При всем том государь, по обыкновению, нисколько не жалел себя в исполнении своих обязанностей и, не довольствуясь кабинетной работой, продолжал даже выезжать.

В половине января ему сделалось гораздо хуже; стали пухнуть ноги, и к боли в них присоединилась желтуха; он вынужден был прилеживать на диване и начинал таинственно поговаривать о водяной ....![109]

Но могущественная его натура в этот раз взяла верх, и к концу месяца мы были обрадованы совершенным его выздоровлением, по крайней мере, по виду.

* * *

Дворец для великой княгини Марии Николаевны у Синего моста, воздвигнутый на месте[110] прежнего дома Чернышева, обращенного впоследствии под школу гвардейских подпрапорщиков, окончен был отделкою и убранством к 1845 году. 1 января происходило в нем освящение церкви, и потом допущены были к осмотру его избранные, а 7 января и вся публика, хотя по билетам, но которые раздавались всем желавшим без разбора, кроме черни, отчего стечение любопытных доходило даже до давки. Указом 8 января дворец сей, с службами при нем и со всем убранством, пожалован был великой княгине в вечное и потомственное владение и поведено именовать его Мариинским; а вслед за тем молодая чета, жившая до тех пор в Зимнем дворце, переехала на свое новоселье.

* * *

Немедленно по вступлении на престол императора Николая I у всех штаб- и обер-офицеров[111] белые панталоны с

[109] Точки в подлиннике.

[110] Император Александр II исправил: «перестроенный из» (дома Чернышева).

[111] Император Александр II исправил: «кроме гвардейских кирасирских полков».

ботфортами были заменены брюками, и прежняя форма сохранена только для генералов[112], с обязанностью носить ее в известные праздники в продолжение целого дня. Таким образом, в то время, когда молодежи дано было это важное облегчение, люди более или менее пожилые, дослужившиеся до высшего звания, оставались при прежней тягостной форме, равнявшейся для многих почти невозможности показываться в праздники на улицах и в обществе. Комитет, существовавший под председательством великого князя Михаила Павловича, — о пересмотре устава строевой службы, в 1843 году представлял об уничтожении такой несообразности; но государь тогда на это не соизволил, и перемена формы последовала уже только в 1845 году, главнейше по настояниям наследника цесаревича.

В самый день Нового года состоялся приказ, чтобы генералам в определенные праздники быть в парадной форме только до развода. В этот же день сделаны были и разные другие перемены в военном обмундировании: так к каскам, заменившим прежние треугольные шляпы, даны металлические кокарды; гусарам, вместо имевшихся у них вицемундиров, велено носить всегда венгерки и проч.

* * *

18 января скончался, 69 лет от роду, член Государственного Совета Алексей Самойлович Грейг, англичанин родом и подданством, сын знаменитого в Екатерининский век адмирала и сам стяжавший себе славу как моряк и как ученый. Всю карьеру свою он сделал во флоте или, по крайней мере, в флотском мундире. Быв зачислен в службу в самый год своего рождения (1775) и трижды послан потом, в отроческом и юношеском возрастах, в Англию, для усовершенствования в

[112] Император Александр II прибавил: «и флигель-адъютантов».

морском деле, участвовав во всех кампаниях, Грейг с 1816 по 1833 год нес звание и обязанности главного командира Черноморских флота и портов и Николаевского и Севастопольского военного губернатора.

В продолжение этого времени он произведен в адмиралы (1828) и получил императорский шифр на эполеты (1829), а в 1833 пожалован в члены Государственного Совета, где перебывал во всех департаментах, кроме только департамента законов; в 1834 году внесен в список состоящих при особе его величества и, наконец, 6 декабря 1843 года пожалован андреевским кавалером. Из морских его подвигов самыми блестящими были: покорение в 1828 году Анапы, содействие в том же году к завоеванию Варны и взятие в 1829 году крепостей: Миссемврии, Ахиоло, Ниады и Мидии. За отличия под Варною, «не знавшей еще, — как сказано в рескрипте, — силы русского оружия», он получил 2-го Георгия, которого знаки император Николай сам возложил на него 29 сентября 1828 года на корабле «Париж».

Между гражданскими или административными его заслугами важнейшею должно назвать возбуждение мысли об учреждении Пулковской астрономической обсерватории и жаркое содействие к ее осуществлению.

Грейг был человек добрый, кроткий, благородный, притом очень скромный, без свойственной его нации холодной надменности. В отношении к умственным его силам мнения различествовали. Сперанский называл его «ученым дураком». Думаю, что тут было преувеличение. Не имев, конечно, дарований гения, Грейг был, однако же, человек рассудительный, и если в ежедневном обиходе жизни он отличался чрезвычайным простосердечием, то при вопросах государственных у него проблескивали нередко основательные, иногда и оригинальные мысли.

Так, например, когда в 1839 году, при рассмотрении дела об уничтожении простонародного лажа на монету, одно

предположение сменялось другим, он представил очень, как мне казалось, дельный проект о том, чтобы за монетную единицу взять кружок, равный четвертаку, назвав его рублем, — мысль, едва ли не основательнее той, которая была тогда принята (обращение в монетную единицу целкового) и в последствиях своих повлекла страшное возвышение цен на все предметы. Затем не Грейгова вина была, что в Государственном Совете его поместили в Гражданский департамент, где он, нисколько не приготовленный к делам этого рода, сделался совершенно бесполезен и точно мог казаться ограниченным.

Пользовавшись в прежнее время общим почетом, уважением и отличаемый государем, наконец, всеми любимый, Грейг утратил много из того через брак с пронырливой жидовкой, дотоле его наложницей, которая во время его управления Черноморским флотом позволяла себе, в роли адмиральши, как по крайней мере все тогда говорили, разные неблаговидные поступки. С тех пор, потеряв расположение к себе государя, бедный старик сделался для публики более или менее предметом насмешек и почти пренебрежения, так что пожалование ему Андреевской ленты возбудило общее порицание против исходатайствовавшего ее князя Васильчикова.

В последние годы, изнуренный более еще болезнью, нежели летами, одряхлевший, оглохший и действительно уже выживший из ума, Грейг только прозябал, и каждого невольно брал смех при уверениях его жены, все еще тревожимой видами честолюбия, будто бы ее «Алексей Самойлович» проводит целые ночи за чтением советских записок. «Видно, — говорили шутники, — эти-то бессонные ночи он и старается вознаграждать в Совете», где в самом деле Грейг постоянно дремал — и иногда предавался даже глубокому сну.

Обряд отпевания тела Грейга происходил в Англиканской церкви (на Английской набережной), которая впервые еще

отдавала последний долг члену Государственного Совета. В противоположность с другими вельможами, у которых на похоронах обыкновенно бывает менее людей, нежели стекалось на их вечера, к бездыханному телу бедного Грейга собралось несравненно более, чем видывали на его балах, называвшихся в городе «жидовскими». С скромным и отчасти застенчивым характером своим, он, если бы тут очнулся, умер бы, я думаю, во второй раз при виде, с одной стороны, как для него собрались весь Совет, весь флот, вся Академия наук, вся военная свита государева, множество англичан и проч., а с другой стороны, как неистово посреди этого многолюдного собрания завывала и ломалась его вдова. Наследник цесаревич и великий князь Михаил Павлович также присутствовали при церемонии, и чтобы начать ее, ожидали только государя, которого и лошадь уже была приведена (для командования войсками), как вдруг он прислал сказать, что не может быть. Никто из нас не мог разгадать причины этого внезапного отказа; но она, к несчастью, объяснилась слишком скоро.

В то время со дня на день ожидали из Висбадена вести о разрешении от бремени великой княгини Елисаветы Михайловны, сочетавшейся в прошлом году с герцогом Нассауским. И вдруг, именно в то время, когда должен был начаться печальный обряд, прискакал флигель-адъютант герцога, граф Боос, с известием, что великая княгиня, разрешась дочерью, вместе с нею вслед за тем скончалась. Разумеется, что после этого государь, к которому первому Боос явился, уже был не в силах ехать на похороны Грейга, где присутствовал несчастный отец, ничего не подозревавший[113].

[113] Император Александр II надписал: «Государь узнал это от меня, а я от гр. Нессельрода, который, получивши горестное известие, приехал ко мне, боясь прямо объявить о том государю. — Это было именно в ту минуту, как я шел к батюшке, чтобы с ним ехать на похороны».

Выждав конец церемонии, государь отправился в Михайловский дворец. Видевшие, как он входил к брату, рассказывали потом, что на нем не было лица и что даже губы его тряслись.

— Только что пришла почта, Миша.

— Отлично! — отвечал радостно великий князь, который еще накануне, на маленьком вечере у великой княгини Марии Николаевны, где праздновалось ее новоселье, был необыкновенно весел и часто, среди шуток, говорил, что в эту минуту он, может статься, уже дедушка: «Что, я дедушка? Мальчик или девочка?»

У государя, так недавно еще сраженного собственною утратою[114], недостало сил отвечать. Он мог только броситься на грудь брата, всегда столь свято ему преданного........[115]

Великой княгине-матери он еще менее чувствовал себя в состоянии нанести этот удар; роковая весть была передана ей Мандтом.

Примечательно, что, по известиям Бооса, слышанным мною от него самого, великая княгиня разрешилась дочерью, которая прожила менее дня; газетная наша статья, сопровождавшая манифест, уверяла, что это был принц, не проживший и одних суток, а прибывшие сюда в тот же день прусские газеты, в статье из Нассуского герцогства, рассказывали, будто бы великая княгиня скончалась, разрешившись накануне мертвою дочерью, так что публика наша долго сомневалась, что же, наконец, считать правдою.

Великая княгиня Елена Павловна долго просила и настаивала, чтобы траур по покойной был только домашний; но

[114] Потерею великой княгини Александры Николаевны. — Елисавета Михайловна скончалась 16-го января, в самый день бракосочетания Александры Николаевны, предшедшей ей и на брачное ложе, и в гроб.

[115] Точки в подлиннике.

государь никак на это не согласился, и все было сделано так, как при кончине собственной его дочери[116].

Простой наш народ рассуждал по-своему об этих плачевных событиях, говорил, что иного и ожидать нельзя было, потому что младших дочерей выдали замуж прежде старших и притом в високосный год.

Впоследствии сам великий князь Михаил Павлович рассказывал мне, что, приехав на похороны Грейга в каком-то особенно грустном настроении духа, которого не мог сам себе объяснить, он был встречен наследником цесаревичем (знавшим уже все от государя) с совершенно изменившимся лицом, почти со слезами на глазах, и хотя он избегал всякого ответа, однако вид его не мог не усилить еще более тревожного чувства великого князя. Воротясь домой, Михаил Павлович нашел у себя Мандта, и если посещение государева лейб-медика его не удивило, потому что в последнее время Мандт очень часто к нему приезжал для бесед о расстроившемся здоровье государя, однако и в выражении его лица, и в направлении разговора он заметил что-то необыкновенное, мрачное и только что хотел спросить о причине, как вошел государь. Появление его часом ранее обыкновенного времени его посещений, а потом и самый вид его, недолго оставили великого князя в недоумении…

От самого же великого князя я слышал, что дочь его понравилась герцогу еще в 1840 году, во время пребывания в Эмсе, когда ей было всего 14 лет, и что герцог тогда же получил втайне согласие великой княгини-матери, которое в 1843 году было подтверждено и формальным соизволением государя. Начало нервической болезни, выразившейся очень сильно при отъезде Елисаветы Михайловны после брака из

---

[116] Траур был впоследствии снят несколько прежде срока, только по случаю разрешения цесаревны великим князем Александром Александровичем.

Петербурга и не оставлявшей уже ее до кончины, относилось к тому же 1843 году, когда она вместе с матерью и сестрами жила в Бингене. Тут, прогуливаясь однажды верхом, она от внезапного движения лошади почувствовала сотрясение в затылке и спинной кости, за которым тотчас последовал нервический припадок.

* * *

В январе скончался в своем имении, Полтавской губернии, местечке Яготине, внук по матери и воспитанник знаменитого генерал-фельдмаршала князя Николая Васильевича Репнина, бывший член Государственного Совета и генерал-адъютант князь Николай Григорьевич Репнин-Волконский. Первая из этих фамилий присвоена ему была по кончине деда, когда погас род Репниных в мужской его линии. Отец его, генерал-аншеф князь Григорий Волконский, был человек тоже очень известный в своем роде. Ездя по Петербургским улицам без мундира или сюртука, в одном камзоле и с непокрытою головою, он заходил на пути в каждую церковь прикладываться к иконам и вообще старался подделываться во внешних приемах под все причуды и странности Суворова. Князь Николай Григорьевич служил и на поле брани, и на поприщах дипломатическом и гражданском, был посланником при дворах братьев Наполеоновых, Иеронима и Иосифа, после лейпцигской битвы управлял Саксонским королевством и потом, состояв 18 лет Малороссийским генерал-губернатором, был назначен, с увольнением от этой должности, членом Государственного Совета.

Вдруг открылось расхищение за время его управления Малороссиею, с громкою, главною молвою о личном его в том участии, сумм Полтавского приказа общественного призрения, и Репнин был уволен (кажется, в 1835 или 1936 году) без прошения вовсе от службы. Остаток своей жизни,

посрамленный таким образом после долговременной и отчасти блестящей карьеры, он влачил за границей и в Яготине, не достигнув уже никогда восстановления гражданской своей чести. Репнин, человек умный и просвещенный, отличался, однако, всегда чрезвычайным легкомыслием и большою расточительностью. Он был женат на сестре жены министра народного просвещения Уварова и дочери графа Алексея Кирилловича Разумовского, бывшего тоже некогда министром просвещения.

* * *

Зимою 1845 года, сверх многих публичных чтений, происходивших в Академии наук, Вольном экономическом обществе и проч., впервые учреждены были в Петербурге по воле государя и публичные безмездные лекции военных наук — для всех желавших заняться ими военных офицеров. Эти лекции, обнимавшие тактику, артиллерию и фортификацию, читались офицерами гвардейского Генерального штаба, артиллерийскими и инженерными в обширной зале Энгельгардтовского дома на Невском проспекте и с самого начала их привлекли многочисленных слушателей.

* * *

На углу Большой Морской и Кирпичного переулка, там, где теперь огромный дом Руадзе[117], стояло очень еще недавно небольшое деревянное здание, в котором прежде приезжею труппою игрались преимущественно пьесы для детей и которое от этого времени сохранило название Детского театра. В начале Великого поста в 1845 году афиши объявили, что со второй недели иностранец Раппо со своею труппою будет

[117] Ныне Елисеева.

представлять в этом Детском театре опыты индейского жонглерства и «живые статуи». Последние заключались в группах или отдельных статуях, представлявшихся, в верных снимках с произведений знаменитейших древних и новых художников, живыми людьми, которые появлялись на сцене, мужчины и женщины, если и не совершенно нагие, то прикрытые только прозрачным, плотно прилегавшим к телу трико, обрисовывавшим все формы, как бы его совсем не было. В прибавку, трико было телесного цвета, и только на нескольких мужчинах, представлявших отдельные статуи, оно имело цвет мрамора.

В первое представление, когда никто еще не знал, что тут будет, приехало в ложи множество дам; но разумеется, что при первом появлении этого, уже слишком разительного подобия живой натуре, все принуждены были бежать. Представления в таком виде продолжались, однако, очень недолго. Присутствовавший на одном из них военный генерал-губернатор Кавелин, скандализированный в высшей степени выводимыми пред публику возбудительными наготами, представил о запрещении их. Государь отозвался, что в таких делах надо поступать очень осмотрительно, чтобы не разорять понапрасну бедных людей, приехавших к нам издалека, и что для произнесения окончательного решения он сперва сам посмотрит это зрелище. Действительно, в субботу той же второй недели поста государь приехал к Раппо вместе с наследником цесаревичем, и этот день был последним в летописях нагих статуй под телесным трико. Впоследствии женщинам позволили показываться только уже в платьях или туниках, а мужчинам хотя и без покровов, но не иначе, как в белом трико под мрамор.

* * *

Крещение великого князя Александра Александровича, совершенное с большим торжеством, ознаменовалось

многими наградами — не только важными, но в некотором смысле даже и государственными. Не перечисляя всех пожалований чинами, орденами и проч., назову только те милости этого дня, которые выходили из ряда обыкновенных.

Принцу Петру Ольденбургскому, имевшему до тех пор в качестве внука императорского по женской линии — титул только светлости, пожалован был, вместе с его супругою, титул императорского высочества — за то, как говорил указ, что он «посвящает все время и труды свои на службу и в знак монаршего внимания к сим его трудам и достоинствам».

Граф Нессельрод, носивший с 1828 года титул вице-канцлера, был пожалован в государственные канцлеры, — звание, которого никто не имел у нас со смерти в 1834 году князя Кочубея, пользовавшегося им всего, впрочем, лишь несколько месяцев, с особою прибавкою: «по внутреннему управлению», изобретенною тогда для означения, что влияние его не простирается на дипломатическую часть; последним же канцлером иностранных дел был граф Николай Петрович Румянцев.

Эта важная награда, возводившая Нессельрода в уровень с князем Варшавским и выше всех гражданских чинов, потому что, за смертью князя Александра Николаевича Голицына, он становился единственным действительным тайным советником 1-го класса в целой империи, была встречена сочувствием всей публики, редко несправедливой в своих приговорах. Управляв министерством иностранных дел более тридцати лет; проведя Россию через все политические бури этого длинного периода не только здраву и невредиму, но и в сиянии славы; пользуясь общим уважением и в России и во всех кабинетах Европы, столько же искусный и опытный дипломат, сколько вообще полезный государственный муж, давно уже вписавший свое имя в историю, граф Нессельрод действительно вполне заслужил эту награду, и кто же, в самом де-

ле, достойнее этого знаменитого ветерана мог стать в главе наших государственных сановников!

Со всем тем, быв во 2-м классе еще с 1823 года, Нессельрод через повышение свое обошел трех статских — графа Головкина, Татищева и графа Строганова, двух военных — князя Волконского и Ермолова, и еще одно лицо, представлявшее в нашей администрации нечто вроде амфибии, именно графа Мордвинова, который, при титуле адмирала, носил всегда фрак. Но первые три были — слепцы, давно уже удалившиеся с поприща гражданской деятельности, хотя и продолжавшие числиться членами Государственного Совета; Ермолов и Мордвинов точно так же состояли лишь в списках, первый — находясь в бессрочном отпуску, а последний — не оставляя, по старости и дряхлости, уже несколько лет своей комнаты[118].

Итак, из всех шести обойденных, в действительной службе, и притом очень тяжкой, по званию министра императорского двора, с которым соединялось и несколько других должностей, состоял один только князь Волконский, произведенный в генералы от инфантерии еще в 1817 году. Ему по этому случаю пожаловано было единовременно, из сумм удельного ведомства, четыреста тысяч рублей серебром, и хотя едва ли кто прежде него получал у нас такую огромную денежную награду, однако почтенный старец худо скрывал свое огорчение.

— На что мне деньги, — говорил он, — когда я и так живу на всем готовом от двора, дочь моя замужем, оба сына женаты, и не только состояние их обеспечено, но все они даже богаты.

Кроме его самого, были и другие, которые за него обижались.

---

[118] Крестины происходили 17 марта, а 30 того же месяца граф Мордвинов скончался.

— Если б у нас были в обычае и в праве народные адреса, — говорил мне безрукий старик Скобелев, столько же известный своими военными подвигами, как и литературными трудами, — то вся армия подписала бы адрес о пожаловании князю Петру Михайловичу фельдмаршальского жезла.

— Действительно, — прибавляли другие, — начальник Главного штаба и сподвижник всех военных действий покойного императора имел бы не менее, может статься, права на титул фельдмаршала, нежели дипломатический статс-секретарь Александра на титул канцлера, а пожалование этого высшего военного сана в мирное время бывало нередко в прежние царствования[119].

Князю Васильчикову, который был хотя и не старше Нессельрода, однако произведен во 2-й класс в один с ним день, пожалован майорат, состоявший из местечка Тауеррогена с восемью другими еще ключами и оцененный, по казенному аншлагу, в 20 000 руб. серебром ежегодного дохода, но приносивший, как уверяли, еще гораздо более — награда, напоминавшая щедроты Екатерины к ее любимцам. Имение Тауерроген куплено было, собственно, с этой целью, у графа Зубова; с освобождением, для обеспечения Васильчикову полного дохода, от всех долгов кредитным установлениям и с обращением крестьян из крепостных в обязанные.

По общему, изданному в 1842 году положению о жалуемых в западных губерниях майоратах, оно должно было после смерти князя перейти нераздельно к старшему сыну; но этот сын был от первой жены (рожденной Протасовой), а князь имел еще нескольких сыновей и от второй (рожденной Пашковой); вследствие того граф Киселев, приискивая по приказанию государя имение для майората, выбрал именно такое, которое со всем удобством могло быть разделено на

[119] Известно, что князь Волконский и был пожалован в генерал-фельдмаршалы, но уже гораздо позже, именно в 1850 году.

две части, на случай, если бы князь пожелал просить о предоставлении одной в пользу старшего от второго его брака сына, что впоследствии точно и случилось.

В тот же день Вронченко утвержден был министром финансов, что, впрочем, после самостоятельного управления им этим министерством не удивило уже более нашей публики.

Наконец, одна еще награда, обратившая на себя общее внимание, заключалась в пожаловании митрополиту Антонию, очень незадолго перед тем возведенному в этот сан, Андреевской ленты мимо Владимирской.

— Хорошо, — говорили завистники, — шагнув в восемь лет из капитанов в Андреевские кавалеры!

Этим хотели намекнуть на то, что преосвященный Антоний всего лишь за восемь лет до этой эпохи был пострижен из белых священников в монашество.

* * *

Кстати, о наградах и о необыкновенной щедрости в них императора Николая к лицам, осчастливленным его благоволением.

Вот, для примера, перечень того, что Васильчиков, в собственном лице своем или в членах своего семейства, получил со времени назначения его председателем Государственного Совета и Комитета министров, т. е. с 9 апреля 1838 года по апрель 1845 года, или в продолжение всего семи лет: 6 декабря 1838 года старшая дочь его пожалована во фрейлины; 1 января 1839 года он с потомством возведен в княжеское достоинство; 14 апреля 1840 года аренда в 12 000 тыс. руб. серебром на 24 года; 14 апреля 1841 года портрет государя для ношения на шее; 1 января 1843 года пожалована во фрейлины вторая, 10-летняя дочь его, и Ахтырскому гусарскому полку велено называться его именем. В том же 1843 году один из его сыновей пожалован в флигель-адъютанты, а два его внука,

сыновья полковника Лужина, записаны в Пажеский корпус, в который постановлено законом принимать сыновей только генерал-лейтенантов. Наконец, 17 марта 1845 года — Тауеррогенский майорат.

Кроме этих наград, государь беспрестанно, можно сказать, ежедневно, осыпал князя знаками милостивого своего внимания и благорасположения, драгоценнейшими для подданного всяких внешних отличий. Между множеством случаев, служивших тому доказательством, приведу теперь один. Для постоянных докладов князя назначены были вторники; но на Страстной неделе в 1845 году он не поехал во дворец, отозвавшись неимением дел; в пятницу той же недели я случился у князя в то время, когда готовились служить в домовой его церкви вечерню, на которую съехалось несколько родственников и друзей.

Вдруг входит камердинер:

— Ваше сиятельство, сейчас был здесь государь; но, увидев у подъезда много экипажей, подозвал швейцара и спросил: нет ли какого семейного праздника; когда же швейцар отвечал, что это гости, съехавшиеся к вечерне, то сказал: «Ну доложи князю, что я заезжал потому, что мы не виделись во вторник, но не хотел его беспокоить и мешать молиться, а завтра опять заеду».

* * *

Если кто зимою и в начале зимы 1845 года (и еще несколько лет после) хотел наверное встретить императора Николая лицом к лицу, стоило только около 3 часов перед обедом пойти по Малой[120] Морской и около 7 часов по Большой[121]. В это время от посещал дочь свою в Мариинском дворце и,

---

[120] Император Александр II исправил: «по Большой».
[121] Император Александр II исправил: «по Малой».

соединяя с этой целью прогулку пешком, или шел к ней, или от нее возвращался.

Однажды кто-то мимоходом сильно толкнул его.

— Это что?! — спросил государь, увидев в дерзком молодого офицера путей сообщения.

— А что? — возразил тот.

— Как что, милостивый государь: по улице надо ходить осторожнее, а если случится кого задеть, то должно по крайней мере извиниться, хотя б то был мужик.

С этим, спустив с плеча шинель, чтобы показать генеральские эполеты, государь велел молодому человеку идти под арест на главную гауптвахту и ждать там приказаний, а сам, воротясь во дворец, послал за графом Клейнмихелем, в присутствии которого вытребовал перед себя офицера. Он оказался прапорщиком Янкевичем, из поляков, обучавшимся еще в то время в Институте путей сообщения, никогда прежде не видавшим государя в глаза и так мало знакомым даже и с Петербургом, что, вместо главной гауптвахты, пришел сперва на адмиралтейскую; когда же он явился на главную, то его не хотели туда допустить, как арестованного, по его рассказам, каким-то неизвестным генералом, и приняли только уже тогда, когда по дальнейшему расспросу несомненно открылось, к ужасу его, кто был этот генерал. Государь сделал ему отеческое увещание и потом сдал Клейнмихелю, «на условии, чтобы эта история осталась для Янкевича без всяких последствий».

* * *

Летом, в бытность в Петербурге принца Карла Прусского, за обедом, при котором и принц присутствовал, речь коснулась новокатоликов, которых учение было тогда в полном ходу в Германии и составляло общий предмет и газетных статей, и разговоров.

— Я должен признаться, — сказал государь, — что не считаю ни удобным, ни нужным прикасаться к делам совести: для меня совершенно все равно, к какому из христианских исповеданий принадлежат мои подданные, лишь бы они оставались верноподданными. Одно только исключение из этого правила я позволил себе — в отношении униатов — потому единственно, что всегда считал их принадлежащими к нашей церкви и только от нее отторгнутыми.

* * *

Приняв в основание, что не одна только выслуга узаконенных лет может давать право на производство в первые офицерские чины по военному ведомству, но что удостаиваемый должен иметь и познания, этому званию необходимые, император Николай в 1843 году велел унтер-офицеров производить впредь в офицеры не иначе, как по выдержании особо установленного испытания в науках, и, применяясь к сему, составить новые правила о производстве в первый классный чин и по гражданскому ведомству. Для исполнения сего учрежден был особый комитет, под председательством управлявшего в то время делами Комитета министров, Бахтина, из чиновников разных ведомств, и написанный им проект, вместе с замечаниями всех министерств, передан во II отделение Собственной его величества канцелярии, для внесения, с его мнением, в Государственный Совет.

Здесь, в департаменте законов (куда я был назначен с самого пожалования меня членом Совета), составлен был уже в 1844 году новый проект, основанный на трех главных началах: во-первых, чтобы для первоначального поступления в гражданскую службу сохранить уже прежде существовавшее испытание в умении читать и писать и в знании первой части грамматики и первых четырех действий арифметики, так как требовать более значило бы отнять возможность иметь чер-

норабочих, т. е. писцов, без которых, пока не изобретено еще машины для переписки бумаг, ни одно ведомство обойтись не может; во-вторых, чтобы в первый классный чин производить только окончивших с успехом полный курс в гимназиях или выдержавших соответственное ему испытание; в третьих, чтобы затем, в продолжение службы, никаких уже дальнейших экзаменов в науках не делать, но в 8-й класс производить, при прочих условиях, лишь окончивших успешно полный курс в университетах или соответственных им заведениях, а из числа прочих — только тех, которые, по крайней мере, три года занимали, с одобрением начальства, одну из должностей, положенных в 7-м классе.

Журнал о сем департамента законов был напечатан и разослан ко всем членам Совета; но князь Васильчиков, остановив доклад его в общем собрании, представил государю записку, в которой, доказывая необходимость положить хотя некоторую преграду беспрестанному приливу нового дворянства через чины, предлагал узаконить, на будущее время, чтобы: 1) военным офицерам, не из дворян, до майорского чина, присвояемо было одно дворянство *личное*; 2) в гражданской службе чиновникам до 9-го класса предоставить одно *личное* почетное гражданство, а от 9-го до 4-го также одно только *личное* дворянство; 3) достигшим в военной службе майорского чина, а в гражданской 4-го класса, дозволить просить о пожаловании им дворянства потомственного.

В одно с этим время подоспело особое дело по Комитету министров, давшее случай распространить подобные же предложения и на ордена. По тогдашнему статусу ордена св. Станислава право на получение 3-й его степени давалось, между прочим: «отличным исправлением, сверх настоящей по службе должности, еще другой, высшей, вообще не менее года, хотя бы то было и в разное время». На этом основании Сенат удостоил к ордену Станислава вдруг 60 человек, в том числе несколько чиновников даже 14-го класса, которым

список, прежде внесения в орденскую думу, был представлен по установленному порядку Комитету министров. Здесь такое огромное представление встретило сильную оппозицию, и государь велел пересмотреть орденские статуты в особом комитете, назначив в него князя Васильчикова, князя Волконского (по званию орденского канцлера) и графа Блудова. Комитет заключил: 1) уничтожить совсем 2-ю и 3-ю степени ордена св. Станислава, сохранив одну 1-ю; 2) по 2-й и 3-й степеням Анненского ордена давать одно дворянство личное, и 3) по орденам св. Георгия и св. Владимира оставить потомственное дворянство для всех степеней, но с тем, чтобы низшие давались не иначе, как по статутам, через орденские думы.

Все эти предположения — и департамента законов, и особого комитета — состоялись еще в апреле 1844 года; но, по их важности, дело не было кончено до вакантного времени Государственного Совета, в продолжение которого поступило множество замечаний и возражений на журнал департамента законов. Предмет сам по себе был так популярен, так доступен каждому, что замечания возникли даже и со стороны таких членов, которые прежде никогда не выражали своего мнения в Совете. Одни находили, что мы слишком затрудняем службу, другие — что делаем слишком мало; одним казалось необходимым оставить все по-прежнему, тогда как другие пользовались этим случаем для закрытия почти всех путей к приобретению вновь дворянства.

Словом, диаметральная противоположность мнений и принятый ими неожиданно широкий размер так испугали Васильчикова, что он, отказавшись от прежней своей мысли, счел нужным, прежде окончательного рассмотрения дела в общем собрании Совета, о всем происшедшем доложить лично государю, а государь, со своей стороны, признав, что члены, введя в свои мнения предметы, совсем не входившие в состав предложенного Совету дела, зашли слишком далеко, предпочел совсем отстранить и эти мнения, и тот журнал де-

партамента законов, по которому они были представлены. Вследствие того он велел передать все дело министру юстиции, графу Панину, для составления другого проекта в прежних границах вопроса, т. е., собственно, об экзаменах на первый классный чин гражданской службы, без перемены в других отношениях существующего порядка.

Таким образом, дело, которое при самом скромном начале приняло было такое важное направление, на этот раз возвратилось снова к прежним ограниченным своим размерам, и возникавшая при сем важная государственная мысль была возобновлена и приведена в действие уже только в 1845 году. Честь возобновления ее принадлежала князю Васильчикову. Изложив в пространной исторической записке все перемены по этому предмету, происшедшие со времен табели о рангах Петра Великого, он старался доказать необходимость дальнейшего, существеннейшего преобразования.

Государь вначале принял это дело холодно и даже с некоторым неудовольствием, кажется, по двум причинам: во-первых, что оно пошло не от него непосредственно, и во-вторых, что тут предлагалось ограничить право на приобретение дворянства и для военных офицеров, которых он всегда считал и называл своими[122], уступил, однако же, повторенным настояниям князя и велел представить себе проект, который и был написан государственным секретарем Бахтиным по соглашению с графом Блудовым и внесен потом в Государственный Совет, просто по высочайшему повелению, без упоминовения имени Васильчикова. В Совете все прошло в одно заседание, не только без сопротивления, но почти и без рассуждений, и, таким образом, минуя всякую огласку и почти неожиданно, явился достопамятный манифест 11 июня

[122] Помню, что на одном частном бале, где как-то случилось более статской, чем военной молодежи, я, стоя возле государя, слышал, как он спросил у одного генерала: «Что тут так мало наших?»

1845 года, перенесший право приобретения потомственного дворянства в гражданской службе на чин статского советника, а в военной — на майорский[123].

* * *

Граф Егор Францевич Канкрин, возвратившись из чужих краев после безуспешного лечения, скончался на 73 году от рождения, на нанятой в Павловске даче, в ночь с 9 на 10 сентября, после тяжких страданий, от поднявшейся вверх подагры. В моем сочинении «Император Николай в совещательных собраниях» я старался изобразить личность и характеристику этого примечательного человека, к которому потомство и история, верно, будут справедливее, нежели были современники. Истощенный недугами, последствием такой трудовой жизни, в которой мог спорить с ним разве только император Николай, он и на закате ее все еще проявлял искры того гения, которым некогда ярко блестел между своими сподвижниками. Между тем, о предсмертной болезни его, продолжавшейся около трех недель и предвещавшей несомненную кончину, в публике и разговора не было…

С прекратившимся внешним значением, не оставляя после себя никого в семье, в ком стоило бы искать, он пострадал и умер почти ни для кого незаметно. Отпевание тела происходило в реформаторской церкви (в Большой Конюшенной), откуда погребальная процессия двинулась на Смоленское иноверческое кладбище. Десять лент, русских и иностранных, свидетельствовали о заслугах покойного; но малочисленность провожавших доказывала, что он умер не министром финансов. Похороны были не великолепные.

---

[123] Известно, что высочайшим указом 9-го декабря 1856 года, уже к следующему царствованию принадлежащим, право сие, к общему благу, еще более затруднено перенесением его в гражданской службе — на чин действительного статского советника, а в военной — на полковничий.

За отсутствием в то время из Петербурга государя и наследника цесаревича, из членов царского дома в церкви находился и провожал гроб до Исаакиевского моста один великий князь Михаил Павлович.

Из министров не явился почти никто, кроме одного Вронченко, который, надо ему отдать справедливость, шел пешком до могилы; там, посыпав землею гроб своего благодетеля и творца, он усиливался выдавить из глаз несколько слезинок, но все это кончилось не совсем удачной попыткой.

Из числа каких-нибудь ста начальников отделений министерства финансов не было на похоронах и десяти, а Петербургская биржа, считавшая в составе своем около трехсот купцов, явилась на церемонию в числе восьми человек! Эти торгаши в одни миг забыли все, чем были обязаны покойному, и не захотели даже одним последним бескорыстным поклоном покрыть все прежнее свое низкопоклонничество перед сильным министром. По смерти банкира барона Штиглица биржа была закрыта целый день, а по смерти Канкрина не заперли ни на минуту даже мелочной лавочки. Но после Штиглица оставался сын, вступивший в его права…[124]

Очень известный в то время реформатский пастор Муральт, первый и искренний друг покойного, но слабый проповедник, находился во время его смерти за границею, и потому надгробное слово произнес другой пастор, племянник первого, Муральт же, который к малому дару слова дяди присоединял и необыкновенную скудость мыслей. Главное достоинство его речи, немаловажное в дурном ораторе, заключалось в ее краткости.

---

[124] Впоследствии, однако, петербургское биржевое купечество определило отделить из своей кассы 17 500 руб. серебром для воспитания, на проценты с этой суммы, одного или нескольких сыновей обедневших биржевых купцов, под названием «Пансионеров с.-петербургского биржевого купечества, в память графа Егора Францевича Канкрина».

По вечным законам природы, редкая трагедия на свете обходится без комедии. Смерть Канкрина также не избегла этой участи. Современники, вероятно, в память того, что покойник, при жизни, немилосердно обходился с русским языком, заставили его и из гроба казнить наше родное слово. В «Северной Пчеле» напечатана была о нем следующая безграмотная фраза: «Всеми глубоко уважаемый и искренно сожалеемый» и т. д.

Другие газеты наши увековечили, со своей стороны, эту фразу, тиснув ее, разумеется, без перемены, в своих столбцах.

* * *

«Жить — значит переживать», — сказал какой-то французский писатель; и действительно, если не ведущий современного некрологического списка как бы менее замечает разражающиеся вокруг него удары смерти, то набрасывающий свои заметки на бумагу тем более видит, как пустеют ряды и как исчезает одна историческая знаменитость за другою. В сентябре, в одно почти время с Канкриным, скончался Дмитрий Павлович Татищев, бывший долго послом нашим при испанском и потом при австрийском дворе, а впоследствии пожалованный в члены Государственного Совета и в обер-камергеры.

Татищев принадлежал к числу умнейших людей нашего века и занимал блестящую степень в дипломатическом кругу. Было время, что публика предназначала его в председатели Государственного Совета: сам же он простирал свои виды на звание государственного канцлера, даже до такой степени, что возведение в этот сан графа Нессельрода счел для себя смертельным оскорблением. В Государственном Совете, прибыв в Петербург уже полуслепым (после он совершенно ослеп), Татищев не играл, впрочем, никакой роли и не произносил никогда ни одного слова; незнакомый с делами судебными и административными, мало знавший и вообще

Россию, потому что всю почти жизнь провел за границею, он был слишком неопытен в предметах внутреннего управления, чтобы давать по ним полезный совет, и слишком умен, чтобы обнаруживать свою неопытность или выходить на ораторскую нашу арену с чем-нибудь обыкновенным, площадным.

В кругу людей, которые стояли ниже его, Татищев облекался в формы холодного высокомерия, даже некоторой аффектации, гордости; но с равными или с теми, кто ему особенно нравился, он был необыкновенно любезным собеседником, соединяя в себе со многими оригинальными взглядами наблюдения глубокой опытности и близкого знакомства со светом и людьми. В Вене, среди тамошней блестящей аристократии, дом его долго считался первым по богатству, роскоши и вкусу. По переезде в Петербург он не жил открыто, но имел тоже великолепно убранный дом (на Фонтанке, между Аничковым и Семеновским мостами, наискось от Екатерининского института) и потом выстроил еще другое здание с каким-то необыкновенным фасадом (на Караванной улице), для помещения в нем своих богатых и разнообразных коллекций, целого музея, собранного им в чужих краях с большими трудами и издержками. Кроме этих коллекций и домов, едва ли много нашлось после него. При пышном и нерасчетливом образе жизни, без большого личного достатка, он прожил огромное состояние и первой и второй своих жен, после чего, несмотря на огромное также служебное содержание, императоры Александр и Николай не раз уплачивали значительные его долги. Наследником его имени остался после него только его брат, не занимавший никакого поста и живший в деревне; но тем многочисленнее, как гласила злая молва, было его внебрачное потомство.

* * *

Проводя лето 1845 года в Карлсбаде, я ежедневно виделся там с Александром Ивановичем Тургеневым. Кто помнит

последние годы царствования императора Александром, тому не могли не быть известны и оба брата Тургеневы: Александр, любимец князя Александра Николаевича Голицына, член тогдашнего Совета комиссии составления законов, правивший должность статс-секретаря в департаменте законов Государственного Совета и бывший вместе с тем директором департамента духовных дел иностранных исповеданий, находившегося под управлением Голицына, и Николай, который, нося скромное звание помощника статс-секретаря в департаменте государственной экономии, играл довольно значащую роль по связям и влиянию на дела своего департамента, издал очень примечательный для той эпохи «Опыт теории налогов» и втайне замышлял низвержение государственного нашего порядка и царствующей династии, принимав деятельное участие в злоумышлениях, обнаружившихся бунтом 14 декабря 1825 года.

Судьба одного брата не могла не отразиться и на другом, связанном с ним тесной дружбой. Николай, человек, как сказывали, блестящего ума (я лично очень мало был с ним знаком), хотя и с ложным направлением, во время событий 14 декабря и открывшихся против него по следствию улик, находился в чужих краях. По получении известия об исходе возмущения он тотчас бежал в Англию и, уклонившись от вызова нашего правительства явиться к суду, был осужден заочно и причислен к разряду важнейших государственных преступников.

С тех пор, продолжая горячо любить отечество, он влачил печальную жизнь свою то в Лондоне, то в Париже, где наконец женился и существовал единственно пособиями старшего брата. Последний, Александр, несмотря на добродушие, большие сведения, огромную начитанность и необыкновенную память, никогда не был человеком полезным, по крайней мере, в служебном отношении. Высокомерный до нестерпимой заносчивости, ставивший себя выше всех по

уму и познаниям, презиравший всегда и начальников своих, и всех равных, он почасту со всеми ссорился и затевал истории, а что еще хуже, все свои дарования подавлял жестокой, цинической ленью. И за столом, и в обществе, мужском и дамском, точно так же, как за делами и бумагами, Тургенев беспрестанно погружался в сибаритскую дремоту, разделяя свое время под предлогом и прикрытием обременения государственными занятиями, между сном и насыщением, не уступавшим по своим размерам его лени.

После осуждения Николая Александр, хотя и не замешанный лично в заговоре, но разъяренный против правительства, бросил все свои петербургские должности, и быв, по великодушию императора Николая, не хотевшего разлучить его навсегда с братом, отправлен в чужие края для изысканий по части русской истории в иностранных архивах, основал главное свое пребывание в Париже. В этой новой сфере, сделавшись полновластным распорядителем своего времени, он оказал России гораздо более услуг, нежели прежнею своею службой. Плодом его поисков были изданные в Петербурге нашим правительством исторические, частью очень важные, памятники и акты[125].

Но, по его мне уверению, у него, кроме этого, собрано было еще множество других драгоценных сведений и документов, русских и заграничных, частью заявленных правительству, частью же оставленных им про себя. Незадолго до нашего свидания в Карлсбаде он был уволен в отставку с чином тайного советника, а потом, по окончании курса вод, поехал в Россию, кажется, с тайным желанием быть пожалованным в сенаторы и притом с присутствованием в московских департаментах; но в Москве застала его смерть, 5 декабря того же года. Некогда друг Карамзина, Жуковского

[125] Они вышли под заглавием: «Historica Russiae monumenta, Petropoli» 1841–1842 годы, в двух больших томах в 4-ю долю листа.

и Батюшкова, покровитель первых шагов Пушкина, близкий ко всем знаменитостям и значительным лицам своей эпохи, знакомый со всеми ее делами и событиями, оживший всегда в высшем обществе, наконец, одаренный, как я уже сказал, чрезвычайною памятью, Тургенев обладал неоценимым запасом воспоминаний[126].

Беседа его была очень оживлена этими воспоминаниями, к которым он беспрестанно возвращался, но утомляла слушателей тем, что всегда и везде на первом плане являлся он сам. Давно сойдя с театра действительности, мало зная, по отношению к России, современную обстановку и возникших после него новых деятелей этого театра, живя вообще только в прошедшем, он представлял в моральном мире род «бывшего юноши», который все еще кокетничает своим былым, в уверенности, что оно точно так же интересует других, как и его самого. В разговорах о своем брате он часто жаловался мне, что факты о нем в известном «Донесении следственной комиссии» были изложены превратно и иногда даже и совсем ложно. На вопрос мой, отчего же не представить всего этого нашему правдолюбивому государю, он отвечал, что несколько уже раз решались на попытки к тому, но отзыв был всегда один и тот же: «Пусть явится сам и подвергнет себя суду».

— А вы можете представить себе, — прибавил Тургенев, — каков был бы этот суд, при влиянии и власти тех же лиц, которые, естественно, употребили бы все усилия к прикрытию своих тогдашних ошибок, невольных или преднамеренных. Впрочем, — продолжал он, — у брата моего давно уже написано как оправдание во всем этом, так и многое другое о происходящем у нас, и если он удерживается издавать в

[126] После него остался дневник из нескольких толстых фолиантов, из которого он печатал в журналах отрывки под псевдонимом «Эолова Арфа». Дневник этот, говорят, был доведен до последних дней его жизни.

свет свою книгу, то единственно из того, чтобы не компрометировать меня.

Действительно, вскоре после смерти Александра, и именно в 1847 году, появилось в Париже сочинение его брата под заглавием: «Россия и русские», в котором он, среди разных предметов, представил и свои оправдания — на общий суд Европы.

XIII
1845 год

Закавказский край и его управление — Барон Ган, его командировка на Кавказ для соображений по введению нового управления в крае — Главноуправляющий на Кавказе генерал Головин — Меры, принятые правительством для улучшения администрации в Закавказье — Отозвание Головина и назначение главноуправляющим генерала Нейдгардта — Князь Воронцов — наместник Кавказа — Статс-секретарь Позен и его деятельность — Отъезд императрицы на зиму в Палермо

Борьба на Кавказе ознаменовала все почти царствование императора Николая не только рядом непрерывных военных действий, которые, среди всех доблестных подвигов и чудес храбрости, более или менее состояли именно только в борьбе, а не в решительном преоборении, но и рядом непрерывных переворотов в лицах и в учреждениях существовавшего там гражданского порядка. Проходили годы в колебаниях, опытах, соображениях, предположениях, и за всем тем, после истекших из них мер, когда все казалось уже решенным и оконченным, дело возвращалось к прежней точке, т. е. к убеждению, что необходимо отменить и бросить все сделанное и приступить вновь к другим соображениям, которые, в свою очередь, имели опять тот же исход.

Закон, не успевший не только укорениться сознательно в народе, но даже и сделаться ему вполне известным, уступал место новому, который вскоре постигала та же участь; правители сменялись один за другим; издерживались огромные суммы на множество комитетов, комиссий, экспедиций, чиновников и проч.; сыпались, наконец, щедрые награды, и все это обращалось, более или менее, в одни результаты личные, между тем как горячо желаемая правительством польза для края оставалась все недостигнутой. История этих колебаний, этого, так сказать, ощупывания, вместе с историей лиц, принимавших в нем участие и падших его жертвами, представля-

ет много любопытных подробностей, из числа которых не все, по свойству их, могли сохраниться в официальных бумагах.

По присоединении Грузии к России она была образована в виде губернии и в ней введены общий порядок русского управления и одинаковые с прочими губерниями должностные места и лица. Впоследствии, однако же, с переменою главных местных начальников, система сия мало-помалу подверглась изменениям, и в Грузии, равно как и в прочих наших Закавказских владениях, установилось почти столько же различных форм правления, сколько было там уездов, округов и проч.

По окончании в 1829 году войны против турок главноуправлявший тогда этим краем, генерал-фельдмаршал граф Паскевич-Эриванский, впоследствии князь Варшавский, приступив к рассмотрению гражданского учреждения Грузии и других Закавказских провинций, нашел в нем, кроме разнообразия в организации, совершенную неопределенность прав и обязанностей начальствующих лиц, смешение законов русских с туземными обычаями, наконец, крайнюю неуравнительность в податях и неустройство в финансовом управлении.

Для отвращения сих неудобств князь Варшавский в рапорте императору Николаю от 24 апреля 1830 года признавал лучшим и действительнейшим средством: ввести во всех Закавказских провинциях русский образ управления и русские законы, и для сего: 1) разделить эти провинции на две губернии: Грузинскую, из 10 уездов, с губернским городом Тифлисом, и другую, наименовать ее, по высочайшему усмотрению, из 8 уездов, с губернским городом Старою Шемахою, или Баку, и одну область, Армянскую, с областным городом Эриванью; 2) губернские присутственные места установить тоже и с теми же названиями, как в России, соединив только, во второй губернии и в Армянской области, палату уголовную с гражданской; 3) места уездные составить

также по образцу русских, но для примирительного разбора тяжб между магометанами по их законам учредить суды вроде медиаторских (шариат), из туземцев; 4) во всех других местах, губернских и уездных, руководствоваться во всем нашими законами, не основываясь уже ни в каком случае на законах грузинских или на обычном праве; 5) суд военный в гражданских делах отменить.

Проект этот по высочайшей воле был сообщен ревизовавшим в то время Закавказский край сенаторам — графу Кутайсову и Мечникову, которые во всем согласились с мнением князя Варшавского. На общем их с ним совещании предположено было еще сверх того: 1) учредить верховное Закавказское правительство (в Тифлисе) из главноуправляющего, Закавказского военного губернатора и пяти непременных членов, с обязанностями, правами и властью департаментов Сената и с переносом в общее собрание сего последнего только вопросов законодательных;

2) разделить уезды на земские округи и на волости;

3) сделать некоторые, не весьма важные, местные изменения и дополнения против общего губернского устройства. Сии предположения внесены были 22 мая 1831 года в Государственный Совет с тем, чтобы он представил мнение свое «в самом непродолжительном времени, и, если можно, до начатия вакационных дней (т. е. до 15 июня)».

Несмотря на столь положительное высочайшее повеление, дело это оставалось в Совете без движения целые два года. На вопрос о том государя, в мае 1833 года, государственный секретарь Марченко отвечал, что дело о преобразовании управления Закавказского края, с присоединенными к нему впоследствии вопросами, так трудно и обширно, что департамент законов «при многих других своих занятиях не мог еще привести его к окончанию». Государь на это отозвался (8 мая, через статс-секретаря Танеева), «что дело сие откладывать никак нельзя: ибо весь край от сего в

ожидании и напряжении, и кончить оное тем удобнее, что имеется в виду представление сенаторов, очевидцев положения того края, и бывшего там начальника князя Варшавского; а потому его величество изволит находить, что должно сим делом заняться немедленно и никак не откладывая».

Вследствие того департамент законов (Васильчиков, Кушников, Сперанский, Энгель) немедленно приступил к исполнению высочайшей воли и еще в том же мае представил мнение свое, которого главные черты заключались в следующем:

1) Разделение края принять в предположенном Паскевичем виде, назвав вторую губернию Дагестанскою.

2) Признав необходимым учреждение в Закавказском крае высшего места, как для суда, так и для управления, не смешивать, однако, сих двух властей воедино, а разделить их на два установления: а) главный Закавказский суд для окончательного решения дел тяжебных и уголовных, с допущением переноса только в общее собрание Сената, и то единственно вследствие жалоб, по примеру принимаемых на департаменты Сената; б) верховное Закавказское правительство, из главноуправляющего, Закавказского военного губернатора и трех или четырех членов, для дел высшего управления, в котором сие верховное правительство имеет представлять соединенные советы всех министров, исключая военных.

3) Устройство губернских, уездных и волостных мест ввести на предложенных в проекте началах, с тем чтобы все места сии действовали по общему губернскому учреждению.

4) Предположения о введении за Кавказом русских законов сообразить с общим их Сводом (в то время только что восприявшим свою силу) и со всеми мерами, в представлении фельдмаршала и сенаторов изложенными.

Но в заключение департамент, считая дело не довольно еще зрелым для окончательного разрешения и затрудняясь

особенно вопросом насчет удобства ввести общий порядок управления по губернии Дагестанской, населенной мусульманами, полагал все замечания свои передать сперва на соображение вновь назначенного тогда в Грузию главноуправляющего барона Розена.

Общее собрание Совета признало все замечания департамента на проект правильными, но на отсылку дела к барону Розену, как могущую произвести лишь замедление, не согласилось и потому положило:

1) Означенный проект, вместе с замечаниями департамента законов, передать в особый Комитет, который составить из министров: военного, финансов, внутренних дел и юстиции, с приглашением также, для нужных объяснений, возвратившихся в то время из Закавказья графа Кутайсова и Мечникова.

2) Комитету сему определить главные правила, на которых должно быть учреждено Закавказское управление, требуя, в случае нужды, и дополнительные местные сведения, после чего заключение свое внести в Государственный Совет.

3) Когда Советом разрешены будут главные начала, то начертать, сообразно им, в том же Комитете, надлежащие положения, уставы и штаты, которые и внести также в Совет.

Заключение это, по утверждении его государем, в июле 1833 года было передано к исполнению князю Чернышеву как старшему в чине из членов вновь учрежденного Комитета, в котором он с тех пор и занял председательское место. Правителем дел назначен был сперва правивший должность статс-секретаря Теубель, потом статс-секретарь Позен, и наконец, когда последний сам поступил в члены Комитета, помощник статс-секретаря Булгаков.

Особый Комитет окончил свои занятия лишь в 1835 году и тогда же внесли в Государственный Совет проект основных правил Положения для областей, составляющих Закавказский край.

Кроме разных подробностей, проект сей разнился от предположений департамента законов и во многом существенном. Комитет полагал:

1) Все Закавказье, включительно с Армянской областью, разделить на две губернии: Черноморскую и Каспийскую.

2) Между уездными местами и центральным управлением губерний учредить особую соединительную степень, в которую стекались бы распорядительные дела нескольких уездов, и на сей конец губернии подразделить на области: Черноморскую — на Верхнекуринскую, Рионскую и Араратскую, а Каспийскую — на Куринскую и Дербентскую, с учреждением в первых трех областях уездов, а в двух последних — дистриктов, или округов.

3) Главное управление соединить в линии наместника и при нем Совета, составленного из Тифлисского военного губернатора и членов частью от министерств и частью по выбору жителей.

4) Закавказскому высшему суду быть окончательной инстанцией по всем делам, за изъятием только тех, по которым и самые определения Сената или представляются на высочайшее утверждение, или переносятся из департаментов в общее собрание.

5) Губернские, областные и уездные управления, а равно суды 2-й и нижней инстанций, образовать по общему учреждению, с некоторыми только местными изменениями и с тем, чтобы в уездах Черноморской области допущено было соединение власти военной с полицейской.

6) Русские законы признать действующими во всех пределах Закавказского края, но вместе с тем оставить в своей силе все права, могущие проистекать от обычаев и законов местных.

7) Поручить подлежащим министерствам, собрав нужные местные сведения, составить на сих основаниях и внести в

Комитет подробные и полные проекты положений, уставов и проч.

В то время, когда сие заключение Комитета поступило в Государственный Совет, в Петербурге случайно находился и барон Розен[127], которого государь велел пригласить в департамент законов к совокупному обсуждению дела. Розен был крайне сим затруднен, ибо он впервые слышал о сущности предполагаемого преобразования, и притом дело застало его за 2600 верст от всех материалов. Он отвечал, что, не имев дотоле в виду, в чем именно заключаются сии преобразования, не мог сообразить предварительно на месте, что из начертанного в проекте может быть для каждой провинции и области полезно или неудобно, а «без сих соображений и нарочитого собрания необходимых местных сведений не может дать теперь же безошибочного и вполне удовлетворительного объяснения».

Затем, изобразив трудность учредить управление, свойственное краю и духу его обитателей и вместе примененное к общим постановлениям, необходимость упрочить сперва краю совершенное спокойствие и безопасность, действуя, между тем, непрестанно на изменение закоренелых вредных обычаев частными улучшениями; необходимость также, для полного и подробного положения, привести прежде в известность права, преимущества, обычаи и законы каждой провинции; наконец, затруднения и неудобства, которыми в таком крае, каков Закавказский, грозит слишком равновременное введение предполагаемых учреждений, сколь ни были бы они полезны, барон Розен полагал: весь проект сообразить сперва на месте.

Департамент законов (Васильчиков, Сперанский, Энгель) вместе с приглашенными министрами (Канкрин, Дашков, Блудов) нашел, со своей стороны, что такому местному сооб-

---

[127] Тогдашний главнокомандующий на Кавказе.

ражению должны подлежать только разделение и разграничение Закавказского края и назначение городов или мест для разных степеней управления; все же прочее — учреждение управления и суда, быв основано на началах более единообразных и сближенных с общими нашими установлениями, может быть окончено и здесь.

В отношении к первой части дела департамент сделал, на заключении особого Комитета, одно существенное замечание, именно, что, в видах правительственных и экономических, в крае сем не должно быть более двух губерний, с сохранением древних именований их частей, так как некоторые из них внесены в императорский титул (Грузия, Армянская область и проч.), и перемена могла бы иметь даже невыгодное влияние на умы обитателей.

Обратясь затем ко второй части, департамент или, лучше сказать, Сперанский сам составил новый проект образования главного управления и главного суда, более подробный, нежели внесенный из особого Комитета, но согласный с ним в основаниях, и затем положил: 1) предоставить тому же Комитету сочинить на сих началах полное Положение об устройстве означенных частей и 2) утвердив также все заключения Комитета касательно управлений подчиненных, предоставить барону Розену начертать Положение о разделении края на области, уезды или округи и об устройстве в них управления, соображаясь с общим учреждением о губерниях, и проект свой сообщить равномерно сему Комитету.

Общим собранием Совета и государем сие заключение принято было без всякой перемены и, вследствие того, передано военному министру к исполнению 31 мая 1835 года.

Спустя год дело от военного министра опять пришло в Государственный Совет, но в новом виде и со вновь возникшими вопросами. С одной стороны, на требование военного министра о скорейшем окончании Положений об устройстве губернских и уездных управлений и о разделении Закавказского

края, барон Розен, обещая исполнить сие в возможной поспешности, присовокуплял, что введение предполагаемого устройства главного управления и главного суда, при сохранении в прочих частях прежнего, несоответственного им порядка дела, решительно невозможно, а притом все проекты сии, составляя одно целое, должны и в исполнение приведены быть совокупно.

С другой стороны, министры — те же самые министры, которые в 1835 году в департаменте законов подписали образование главного управления и главного суда, в Комитете своем хотя и составили, на тех же началах, подробный проект, но сопроводили его разными сомнениями и возражениями. Главнейшее состояло в том, что если главное управление поставить на одинаковую степень власти с 1-м департаментом Сената, то при такой независимости управления краем от центральных государственных властей (министерств) последуют разные важные неудобства. В отвращение их Комитет предлагал учредить главное управление за Кавказом по примеру действующих в Сибири.

Департамент законов, вновь занявшись подробно всем делом, посвятил ему, совокупно с приглашенными министрами, четыре длинных заседания (14 августа, 16 и 20 ноября 1836 года и 22 января 1837 года). При таком новом пересмотре департамент согласился с бароном Розеном в том, что удобнее отложить еще на некоторое время окончание нового образования, нежели приведением в действие одной лишь его части возродить новые затруднения и сложные вопросы, и с министрами — в неудобстве отдельности Закавказского управления; но не принял мысли, чтобы ввести там образ управления, подобный Сибирскому, — по различию местных обстоятельств. Отклонив, однако же, от себя решительное заключение по предмету, таким образом снова обратившемуся в вопрос, и признав, что нужные для решения его данные нельзя собрать иначе, как на месте, департамент

остановился на том, «чтобы, не приступая ни к каким преждевременным образованиям, соединить предварительное рассмотрение и обработку дела сего в одной точке, дабы правительство, с полной уверенностью, что местные потребности все уже раскрыты и охранены, могло обратиться потом к разрешению дела в видах высших — государственных». Но где и как учредить сию точку, об этом долго было рассуждаемо, ибо предоставить главному местному начальнику судить о том, в какой степени сам он будет впредь зависеть от государственных властей, казалось очевидно невозможным.

Наконец, сочли всего удобнее, для окончательного рассмотрения предположений об устройстве Закавказского края и для составления Положений о его разделении и об управлении разных частей, отправить на места особую комиссию, вследствие чего и было положено: 1) такую комиссию составить, под председательством одного сенатора, из четырех членов от подлежащих министров; 2) передать в нее все бывшие дотоле как здесь, так и на местах, соображения об устройстве Закавказья; 3) комиссию подчинить упомянутому выше особому Комитету из четырех министров, которого существование продлить до совершенного окончания дела; 4) комитету предоставить снабдить комиссию инструкциею на основании принятых при суждениях в нем и в департаменте законов, начал и право разрешать ее вопросы и могущие возникнуть между нею и главным местным начальством споры или недоразумения; 5) начертание оснований, которые будут приняты комиссией для совершения возложенного на нее дела, по рассмотрении их в сем Комитете, предварительно представить через Государственный Совет на высочайшее утверждение и таким же образом внести в Совет, в свое время, окончательно составленные проекты.

Общее собрание Совета вполне согласилось с департаментом законов, выразив только яснее мысль, что предмет комиссии должен заключаться не в ревизии прошедшего или

настоящего, а в одних соображениях о будущем управлении краем. Все сие облечено было в форму указа Сенату, который подписан государем 17 марта 1837 года.

Отсюда началась новая эпоха дела. Для изложения относящегося к ней надобно возвратиться несколько назад.

В десятых годах слушал курс в Дерптском (Юрьевском) университете знатный и, по провинциальным размерам, богатый курляндец, барон Павел Васильевич Ган. В 1814 году он вступил в военную службу, но очень скоро сменил ее на дипломатическую, в которой служил с отличием, состоя почти исключительно при наших заграничных миссиях. Потом, быстрым переворотом его поприща, он в 1824 году вдруг назначен был Курляндским губернатором; но как тут ему трудно было властвовать над своими единоземцами, бывшими с ним большею частью на «ты», то его вскоре переместили на ту же должность в Лифляндию. И здесь, однако, частью продолжались такие же неприятности с дворянством, а частью постигла его немилость тогдашнего генерал-губернатора Остзейских губерний, маркиза Паулуччи, и Ган в первых годах царствования императора Николая вышел наконец в чистую отставку. В этом положении наступила очень интересная эпоха его жизни: отставной губернатор, действительный статский советник, с Анненской лентой, женатый, отец семейства, Ган, бросив на время и родину, и виды честолюбия, отправился на скамью Гейдельбергского университета, где несколько лет сряду «штудировал» как бы молодой студент; после чего, объехав не только всю образованную Европу, но также Турцию и Грецию, воротился восвояси искать снова счастья в службе. Под осень 1836 года его определили членом совета министерства внутренних дел, и все думали, что ему готовится опять губернаторское место, как вдруг, 5 декабря того же года, спустя только несколько месяцев от поступления его вновь на службу, он был пожалован, неожиданно для всех, в тайные советники и сенаторы.

Барон Ган был настоящим выражением, настоящим типом современной эпохи. С большим образованием, с необыкновенной искательностью и еще большей ловкостью, с особенным даром приятной беседы, он соединял в себе все то, что в человеке, посвятившем себя публичной жизни, составляет истинное искусство — стать выше толпы. Угодный всем высшим и сильным, любимый всеми равными, умевший в особенности снискать расположение к себе старушек большого света, которые были всегда самыми жаркими его заступницами, Ган имел, однако, два важных недостатка. С одной стороны, он был чрезвычайно надменен с людьми, стоявшими ниже его, разумеется, когда не было ему причины дорожить их мнением или ждать от них чего-либо в будущем. С другой стороны, его никак нельзя было назвать человеком деловым. Он знал многое в теории, но очень мало был знаком с практикой, и самая теория его вращалась более в сфере западных, несвойственных нам идей. Учившись в Германии и служив исключительно по дипломатической части и в Остзейском крае, он был очень несведущ в русских законах, в русском быте, в формах и подробностях деловой нашей жизни; самый язык наш знал очень несовершенно, как иностранец, выучившийся ему в зрелых летах, и вообще, по всему направлению ума своего более был способен к деятельности дипломатической или придворной, нежели к практической администрации или к законодательным соображениям.

Это отступление прямо входит в наш предмет. Когда состоялось Положение Совета о командировании в Закавказский край особой комиссии, председателем ее, вместо какого-нибудь опытного и изведанного в делах лица, тогдашний министр юстиции Дашков предпочел назначить одного из самых младших сенаторов, и выбор его, по совещанию с князем Чернышевым, пал на барона Гана.

Комиссия отправилась в Тифлис в мае 1837 года и по прибытии туда тотчас открыла свои действия. Естественно, что в таком крае, где вес правителя в глазах народа зависит еще более, чем в Европе, от степени видимой доверенности к нему государя, одного прибытия сей комиссии уже было достаточно, чтобы поколебать власть главноуправляющего и породить интриги. Если высшим властям известно было, что цель комиссии заключается единственно в устройстве будущего, а отнюдь не в ревизии прошедшего и настоящего, то не могли этого знать ни подчиненные лица, ни жители. Они полагали, напротив, что сенатор прислан для обнаружения существующих беспорядков и злоупотреблений, а барон Ган нисколько не старался рассеять в них это убеждение, зная, что барон Розен стоит на невыгодном счету в Петербурге, и предвидя, что ему нельзя будет долго удержаться на месте.

Предвидение это, действительно, вскоре и сбылось. Летом[128] 1837 года, когда комиссия была уже в полном ходу, император Николай, в первый еще раз в продолжение своего царствования, лично посетил Закавказье и остался недоволен столько же состоянием военной части, сколько и всем устройством гражданским. «Посещение Закавказского края государем, — как выразился Ган в одном из последующих своих рапортов, — пробудило со всех сторон надежды, дало голос заглушенным дотоле жалобам, подняло завесу, закрывавшую множество злоупотреблений, поселило ужас в виновных, тесно между собою соединенных общей им опасностью».

Ган, со своей стороны, удаляясь от прямой цели своей посылки, ревностно способствовал обнаружению этих злоупотреблений. Действовав сперва через сопровождавшего государя генерал-адъютанта графа Орлова, а потом, во время пребывания государя в Тифлисе, достигнув и нескольких

[128] Император Александр II исправил: «Осенью».

личных докладов, он умел совершить, между прочим, один истинно дипломатический подвиг. Доложив государю, что считает долгом раскрыть разные местные неустройства и злоупотребления, дошедшие до него при исполнении его поручения, он просил, чтобы дозволено ему было представить эти обвинения непременно в личном присутствии барона Розена, так как он, Ган, не имеет ничего сокрытого и желает действовать во всем совершенно гласно.

Желание его совершилось, и вместе с ним был призван к аудиенции и Розен. Ган читал свои замечания, а государь тут же требовал по ним объяснений от Розена, который не умел или не мог отвечать почти ни на одну обвинительную статью, а между тем, невольно должен был отдать справедливость деликатности и праводушию поступка своего противника. Результатом этой аудиенции и разных личных неудовольствий государя была смена в конце 1837 года Розена и замещение его генералом Головиным, дотоле председательствовавшим в правительственной комиссии внутренних дел Царства Польского. Управление сего последнего, как увидим ниже, не только не принесло пользы, но еще увеличило запутанность и неустройства[129].

В этот промежуток времени Ган и его комиссия продолжали действовать по настоящему их поручению с быстротой столь необыкновенной, что сие одно уже почти могло служить доказательством малоосновательности их занятий. Те труды, для которых барон Розен признавал необходимым собрать разнородные и многосложные местные сведения, и для которых особый Комитет и Государственный Совет предназначали весьма продолжительное время, труды эти совершены были людьми новыми, едва имевшими время

[129] Император Александр II написал: «Напротив того, память о Розене и доселе сохраняется во всем Кавказском крае, и все отдают справедливость благородному его характеру».

взглянуть на местность, столь отличающуюся от всех других частей России, менее нежели в восемь месяцев.

Уже 4 февраля 1838 года Ган донес военному министру, что комиссией составлены подробные и полные проекты об управлении краем по разным его частям, вследствие чего просил дозволения закрыть комиссию и возвратить ее чиновников в Петербург немедленно по прибытии в Тифлис генерала Головина и по передаче ему проектов для представления о них его мнения.

Побуждениями к такому закрытию комиссии Ган выставлял: 1) что новому главноуправляющему в стране, ему незнакомой, обширной, составленной из элементов самых разнородных, можно будет обстоятельно узнать край и его нужды только по прошествии значительного времени; 2) что прежде всего ему предлежать будет открыть истину, уничтожить происки и смуты, установить повсеместно порядок, воздержать и наказать преступных, а во всем этом присутствие на местах комиссии служило бы лишь помехой; 3) что заставить комиссию ждать в Тифлисе замечаний на ее проекты со стороны генерала Головина значило бы только терять время, а между тем цель точно так же достигается, если она вместе со своими проектами сообщит Головину и все принятые в основание их данные, а последний, со своей стороны, при внесении в Комитет личного его мнения, представит и все полученные им материалы, после чего проекты могут быть пополнены или исправлены в Петербурге столь же удобно, как и в Тифлисе, наконец 4) что дальнейшее существование комиссии в Тифлисе не могло бы обойтись без многих неудобств и неприятностей, тем огорчительнейших, что они не вознаградятся ни усовершенствованием, ни ускорением порученного ей дела. Засим, что касается лично до себя, то, получив, между тем, новое поручение заняться образованием финансовой части за Кавказом, Ган просил дозволения

воротиться в Петербург тогда, когда соберет нужные для предположений по сей части сведения.

Представление сие было принято в Петербурге с одобрением, и вследствие того военным министром объявлена 22 февраля 1838 года высочайшая воля: 1) комиссии передать свои проекты генералу Головину, при котором оставить, впредь до повеления, одного из ее членов (полковника Вронченко); всех же прочих чиновников ее, кроме четырех, нужных еще барону Гану, отправить в Петербург; 2) самому Гану оставаться в Тифлисе до окончания особо возложенного на него поручения по финансовой части; 3) Головину, по рассмотрении проектов комиссии, возвратить их ей вместе с своими замечаниями, после чего она откроет вновь свои заседания уже в Петербурге и обработает дело окончательно.

На основании сей высочайшей воли барон Ган воротился в Петербург уже в октябре 1838 года и, вслед за тем, представил Комитету проект Положения об управлении Закавказским краем со всеми к нему штатами, формами и проч. и с отзывом Головина. За это представление одного еще только проекта Гану (6 декабря 1838 года) пожалован был, не только мимо короны к Анненской его звезде, но и мимо 2-го Владимира, орден Белого Орла. Но когда приступили к рассмотрению проекта, то Комитет хотя и признал труд комиссии «соответствующим тем обязанностям, какие были на нее возложены», однако нашел, что предположенное ею развитие вдруг всех частей гражданского за Кавказом управления «не может быть выполнено с успехом, и на первый раз необходимо даровать сему краю особенное устройство, по возможности примененное к общему губернскому учреждению, в большей лишь соответственности настоящему гражданскому состоянию края, действительным нуждам и понятиям жителей». В сих видах Комитет положил: составив вторую особую комиссию из прибывшего в то время в Петербург Головина, самого барона Гана и статс-секретаря Позена, поручить ей

сочинение нового проекта на основании преподанных от Комитета и удостоенных предварительно высочайшего одобрения главных начал.

Эта вторая петербургская комиссия, при желании государя видеть скорейшее совершение дела, окончила его в несколько недель. Прежние проекты Гана оказались совершенно неудовлетворительными, и все, от начала до конца, были переделаны Позеном. Государь признал вполне заслуживающим награды этот труд, и Позену, менее нежели через год после получения Анненской ленты, пожалован был орден Владимира 2-й степени. Но при сем случае не обошли наградами и Головина, и опять также Гана; первому дали бриллианты к Александру, а последнему — очень лестный благодарственный рескрипт. Это дало повод одному из наших острословов применить к Гану известный стих французской трагедии: «Я тебя любил виновного: что бы я сделал, если бы ты был невиновен?»

Сущность окончательного проекта второй комиссии, внесенного в Государственный Совет через Закавказский комитет, заключалась в следующем:

1) Весь Закавказский край разделен на Грузино-Имеретинскую губернию с 11-ю уездами и на Каспийскую область с 7-ю округами, из числа которых два образуют Дербентский военный округ.

2) Высшее управление состоит из главноуправляющего, с генерал-губернаторскими правами, Тифлисского военного губернатора и Совета, образованного наподобие существующих в Сибири. Прежнее предположение об учреждении за Кавказом главного суда совсем отменено, как не соответственное ни общей нашей судебной системе, ни видам правительства о скорейшем сближении Закавказья с Россиею.

3) Местные управления Грузино-Имеретинской губернии и Каспийской области применены, по возможности, к существующим в губерниях внутренних.

4) В окружном управлении главное начальство над городской и земской полициями сосредоточено в одном лице. Уездные суды и магистраты заменены окружными судами. Округ Дербентский подчинен военно-окружному начальнику с особенной властью.

5) Все гражданское судопроизводство подчинено общему русскому порядку, с очень немногими лишь изъятиями и с сокращением, для поддержания в жителях большего доверия к нашему судопроизводству, апелляционных сроков. Сверх того, для магометан, во всех делах семейных, брачных и проч., сохранен духовный суд шариата.

К составленному на сих основаниях учреждению приложены были еще проекты штатов и разных частных положений.

Несмотря на обширность, все эти проекты, в существе, представляли так мало новых мыслей и так были сближены с общим губернским учреждением, что рассмотрение их в таком виде не могло нисколько затруднить Государственного Совета. Департамент законов, в котором не было уже ни одного из прежних членов, особенно не было его души — Сперанского[130], кончил все дело в два заседания, пригласив к ним, по высочайшей воле, и сенатора барона Гана. Признав, что все важнейшие вопросы разрешены Комитетом «весьма удовлетворительно», и одобрив, вследствие того, внесенные проекты, департамент остановился только на нескольких, самых второстепенных подробностях, которые, по согласию министров, тут же и были исправлены. В общем собрании Совета все это было пройдено еще скорее, именно в одно заседание, так что указ со всеми приложениями был подписан государем 10 апреля и обнародован через Сенат 3 мая

[130] Департамент составляли тогда (в марте 1840 года): Блудов, Лавинский, Гурьев и Перовский. Исправлявший прежде должность статс-секретаря Теубель был заменен Масловым.

1840 года, с повелением привести все сие в полное действие с 1 января 1841 года[131].

Таким образом, дело это после десятилетних усилий наконец, казалось, пришло к своему совершению. Но при наступлении эпохи исполнения судьбам его предлежало опять во всем измениться.

Головин, уже и в кратковременное дотоле управление свое Закавказьем, умел обличить свою малоспособность, а участие его здесь в совещаниях комиссии и Комитета еще более ее обнаружило. Потеряв всякое уважение там, он лишился всякого доверия и здесь. Если и удерживались еще уволить его, чтобы не колебать края слишком скорою сменою главных начальников, то все, однако же, были убеждены, что доверить такому лицу введение в столь важном для России крае нового образования невозможно, и потому признали за благо отправить туда при нем, в виде полупомощника и полументора — опять того же барона Гана, как изучившего уже край и положившего основу новому его устройству. Вместе с сим Ган, как бы в задаток новых его действий, сверх полученных уже им двух наград, 14 апреля 1840 года, то есть менее четырех лет после назначения его членом совета министерства внутренних дел и едва через три года после производства в тайные советники, был пожалован членом Государственного Совета.

Оба преобразователя Закавказья уехали к своему назначению в начале лета 1840 года, Головин несколько прежде Гана. Последний окружил себя целым легионом молодых людей из самых аристократических и сильных наших фамилий, отправлявшихся при нем учиться, но более еще — заимствоваться его счастьем.

---

[131] Вместе с сим упразднен и прежний Закавказский комитет; но взамен его, для надзора за введением в действие нового учреждения, образован новый из тех же самых лиц с прибавкою лишь Гана и Позема.

Сначала все шло в добром порядке и под личиною наружного согласия. Ган действовал с обыкновенной своею ловкостью и изворотливостью, а Головин — с робостью человека неопытного, малосведущего и притом неуверенного в своем положении. Новое образование введено было к назначенному сроку (1 января 1841 года) во всех частях и на всем пространстве края. Донося непрестанно о том, «с какой радостью и с каким единодушным восторгом» жители принимают даруемое им новое устройство, Ган в январе 1841 года прислал наконец нарочного с представлением, не благоугодно ли будет государю дозволить предстать пред себя особой депутации от сих жителей, для принесения благоговейной их благодарности. Император Николай вообще не жаловал подобных изъявлений; но, по живому участию в судьбах Закавказья, принял ходатайство Гана особенно милостиво и велел отвечать, что, допуская такую депутацию в виде изъятия на сей только раз, будет ее ожидать. Она, действительно, прибыла, и составлявшие ее лица были награждены чинами и орденами.

Сам барон Ган, окончив свое поручение, воротился в Петербург в мае 1841 года и недолго ожидал нового воздания: в следующем июне, опять прежде окончательного рассмотрения его действий, он получил Александровскую ленту, а в октябре — «во внимание к оказанным им по устройству Закавказского края услугам» — 35 тыс. руб. серебром на уплату долгов.

В том же октябре государь соизволил на доклад князя Васильчикова о помещении нового нашего члена в департамент законов, но отозвался при этом, что он, то есть Ган, может статься, вскоре опять понадобится для посылки за Кавказ. Неделю спустя сам Ган объяснил мне то, что казалось в этом отзыве загадочным. Ему предложено было, через Чернышева, место генерал-губернатора за Кавказом, но в подчинении главноуправляющему Головину. Цель этого назначения, по

личным качествам Головина, понять было нетрудно: не желали его сменять, но между тем не могли оставить без пестуна.

Ган, однако, стремился совсем к другому: ему хотелось сделаться не блюстителем над Головиным, а, с переменою фрака на военный мундир, полным его преемником, — замысел, которого он не открывал никому прямо, но на который намекал всеми своими поступками, нередко и словами. Посему естественно было, что он не мог принять упомянутого предложения, не мог, впрочем, и по разным другим причинам, именно: что он член Совета, а Головин нет; что роли их в таком случае слишком переменились бы сравнительно с прежними; наконец, что в случае личностей между ними в руках Головина как начальника была бы вся нападательная сила, или Гану пришлось бы играть роль доносчика.

Этих причин, разумеется, нельзя было высказать в официальном отзыве, но Ган передал их Чернышеву конфиденциально, а между тем письменно отвечал, что готов принять всякую, даже самую подчиненную должность, какую его величеству благоугодно будет на него возложить, с тем лишь одним условием, чтобы, при отсутствии власти и при зависимости от другого лица, на нем не лежало уже и ответственности. Этим, по докладу Чернышева, и окончилось означенное предположение. Ган остался в Петербурге членом Государственного Совета, а Головин — на месте в Закавказье, предоставленный самому себе.

Но дело Закавказья и судьбы прикосновенных к нему лиц отнюдь еще сим не окончились. Новое образование совсем не произвело в крае того единодушного восторга, о котором прежде свидетельствовал Ган и представителями которого явились сюда депутаты. Многое на деле оказалось не соответствующим местным нуждам, даже невозможным в исполнении; другое, противное нравам и навыкам жителей, возбудило ропот, недоразумения, вящие неустройства; партия приверженцев старого порядка полагала всемерные пре-

грады введению нового, частью из личных видов; определенные после преобразования чиновники выказались, по большей мере, или неспособными, или безнравственными; народу, лишенному прежней быстрой азиатской расправы, опутанному неизвестными и чуждыми ему формами, подверженному новым притеснениям, стало еще хуже и тяжелее, чем когда-либо; наконец, Головин, нерешительный, слабый, игралище партий, вместо энергического рассекателя Гордиевых узлов являлся везде или орудием чужих страстей, или бездейственным зрителем.

С другой стороны, сам Ган, в бытность свою на местах, тщеславною своей надменностью возбудил против себя все умы и не оставил по себе никакой хорошей памяти. Многое, в чем, может статься, он и не был совсем виноват, стали слагать на него, а неприязнь к лицу распространилась и на исшедшие от него распоряжения. Прежнее пребывание его за Кавказом не обошлось и без разных неприятных личностей с Головиным: они при расставании окончились, правда, наружной мировой, но Головин никогда не мог забыть, что Ган отправлен был при нем в качестве пестуна, и вскоре после его отъезда, подстрекаемый еще и другими, явно поднял забрало.

Начались сплетни, секретные и гласные доносы, официальные протесты, и впоследствии нарекания сии сделались обоюдными, потому что Ган, в защиту свою, естественно, стал обвинять Головина. Все эти жалобы, слухи, изветы, при явной безуспешности нового гражданского порядка за Кавказом и при неудаче, сверх того, военных там действий, не могли не обратить на себя тревожного внимания государя, а к этому присоединилось еще одно обстоятельство, маловажное само по себе, но неприятно совпадавшее с прочими поводами к обвинениям. В иностранных журналах стали вдруг появляться самые невыгодные статьи о Закавказье молодого французского путешественника, графа Сюзанне (Suzannet). Получив из Петербурга, при поездке его на Кавказ,

рекомендательные письма и быв принят там многими, как любознательный иностранец, с неосторожной доверчивостью, он имел низость разгласить потом, перед лицом целой Европы, все откровенные разговоры с ним жителей и местных начальников, назвав каждого поименно[132].

Тут, в числе прочего, нашлось многое к предосуждению — правое и неправое — и о Головине, и о Гане, и о новом образовании края, и о военных наших действиях, и проч. Словом, все домашние коммеражи и неладицы вышли наружу и обличили много такого, до чего нельзя было бы дойти формальными путями. После всего этого в совокупности высшему правительству не оставалось иного, как принять самые энергические меры, а для принятия их удостовериться сперва в истинном свойстве и положении вещей. В заботливой попечительности своей государь покушался было снова ехать сам за Кавказ; но, быв остановлен в том предстоявшим празднеством серебряной его свадьбы и ожиданным прибытием прусского короля, предназначил к сей поездке вместо себя князя Чернышева как председателя Закавказского комитета и статс-секретаря Позена как главного редактора всех новых положений. Первому, с большими уполномочиями, вверены были обследование военной части и высший обзор всего управления; последнему — подробная ревизия собственно гражданского устройства. Позен уехал вперед, в конце февраля, а Чернышев позже, 2 апреля 1842 года.

Ожидания и общее мнение в публике при вести о снаряжении сей экспедиции были совершенно единогласны. Все думали, что посылка Чернышева есть, как удаление его от лица государя, близкое предвестие падения; что несомненно также падение Головина, так как вся экспедиция направляется наиболее против образа исполнения нового устройства на

[132] Эти рассеянные по журналу статьи появились потом и отдельной книгою, вышедшей в Париже в 1846 году, под заглавием: «Souvenirs de voyage. Les provinces du Caucase».

местах, следственно, против местного начальства; наконец, что останется в выигрыше один Ган, так как и Чернышев, и Позен очень к нему расположены, да и все проекты были составлены последним; следственно, при местной самим им ревизии, верно, найдены будут хорошими и на деле. Но из всех этих предвидений сбылось только одно: падение Головина. Чернышев по возвращении снова вступил в управление своим министерством, а Ган упал, и упал — при всей своей ловкости — безвозвратно. Вот подробности.

Цель ревизии Закавказского края, по данной Позену инструкции, заключалась в том, чтобы удостовериться на месте: каким успехом сопровождается практическое действие нового учреждения и, если оно оказывается где-либо неудобным, то причины сего неудобства кроются ли в самом учреждении или в образе исполнения?

Головин, который прежде уже доносил о неудобствах нового устройства, на ближайший о сем вопрос Позена отвечал, что они суть более общие для всего края, нежели местные для некоторых его частей; что неудобства сии не обнаруживались, однако, дотоле такими явлениями, которые бы требовали мер чрезвычайных, и что сущность их заключается в умножении числа чиновников, в ограничении власти полицейского разбора и в многосложности и неопределенности форм. Признав затем, что ревизия всего края должна быть подчинена одному общему плану, Позен произвел ее частью сам, а частью через командированных от себя чиновников. В отчете своему государю, весьма искусно написанном, он изобразил принятые к этой ревизии предварительные меры, самое ее производство и состояние, в каком найдена каждая часть. Относительно к главной цели ревизии, отчет его представлял следующие общие выводы:

1) Новое учреждение введено повсеместно и во время ревизии было в полном действии. Им отвращены прежние произвол, разнообразие и безотчетность во всех частях управления, и неоспоримо, что, в основных началах, оно

имеет важные преимущества против прежнего порядка. При самом введении его не было со стороны жителей никаких затруднений: они приняли его если не с полным сознанием его превосходства, то с надеждою, как залог будущего их благосостояния. С того времени учреждение действовало безостановочно и, говоря собственно об исполнении предписанных им форм, действие его, за немногими изъятиями, должно считать успешным.

2) Но на другой вопрос: общий порядок гражданского управления внутренних губерний, на котором основано помянутое учреждение, достигает ли, в применении своем к многоразличным племенам закавказским, основной цели правительства, то есть доставляет ли жителям все желаемые выгоды, — должно, к сожалению, отвечать отрицательно.

Механизм управления, с умножением мест и с отделением суда от полиции, сделался довольно сложным. Чиновников при прежнем управлении было 704, а при новом их 1311. Судебных дел находилось в производстве: в 1839 году — 2461, а в 1841 году — 4846. На расходы края, сверх весьма значительных издержек по военному ведомству, надлежало, ко всем местным доходам, прибавить еще прямо из казны до 1 567 000 руб. серебром в год. Между тем, управление, стоящее столь значительных издержек, не удовлетворяет гражданским потребностям жителей ни в делах полиции, ни в делах суда, ни в делах хозяйства. Они оставили те надежды, которые имели при введении нового учреждения; забыли даже все стеснения и злоупотребления прежнего управления и, приписывая тягости, ощущаемые ими в гражданском быту, новому учреждению, во многих местах словесно, а в иных и письменно, просили о восстановлении прежнего порядка.

Причины сей неудовлетворительности кроются совокупно: в самом учреждении, в образе его исполнения и в не имеющих с ними прямой связи особенных обстоятельствах.

Недостатки самого учреждения заключаются в следующем:

а) Начертанные им распорядок и формы не довольно соглашены со степенью гражданственности жителей, которые, в каждом почти племени, имеют свои различные понятия, верования, привычки и образ жизни. Посему общее устройство Закавказья должно заключаться в единстве власти и цели, но отнюдь не в единстве средств, к достижению последней определяемых.

б) В учреждении нет никаких наказов или подробных инструкций для действия местных исполнительных властей. От сего все управление заключается в письмоводстве, прямого же действия нет и, начиная с высших степеней управления до низших полицейских мест, все оно ограничивается форменной передачей бумаг и подчинением всех частей общему порядку русских губерний, откуда чиновники прибыли на службу. Эта бесконечная переписка утомительна и для европейца, нестерпима для азиата, привыкшего к суду скорому, хотя бы и не всегда справедливому.

в) Слишком ограничена власть, особенно по взысканиям. Сам главноуправляющий не может ни действовать против нарушителей порядка без юридических доказательств преступления, ни даже отрешать ненадежных людей без предварительного следствия; но в том крае собрание формальных доказательств во многих случаях решительно невозможно, а следствия, не обнаруживая обыкновенно ничего, служат лишь новым крайним обременением для жителей. Губернатор и начальник области лично не имеют никакой почти власти, а права начальников уездных городничих и участковых заседателей определены в весьма немногих лишь случаях, и жители, рассуждая обо всем по своим понятиям, заключают, что они новым учреждением преданы в руки мелких чиновников.

г) Порядок тяжебного судопроизводства удовлетворителен, но законы наши бывают иногда недостаточны к разрешению случаев, возникающих от иных условий гражданской

жизни. В уголовном судопроизводстве законы относительно собрания улик и самые роды наказаний не соответствуют своей цели.

д) Управление экономическое, устроенное по примеру внутренних губерний, не может действовать с успехом, потому что самые статьи доходов за Кавказом не подчинены еще общим началам, в России существующим.

Недостатки, при исполнении вкравшиеся, суть:

а) Устранение при первом распределении мест лиц военного звания от занятия должностей по гражданскому управлению, что наполнило все места незначительными гражданскими чиновниками, к которым жители не имеют доверия.

б) Неудачный выбор на многие места — последствие вышеизложенного же правила. Перемещения, удаления и следствия, в свою очередь, много повредили успеху нового учреждения. В управлении участковом, ближайшем к народу, перемены были так часты, что в иных участках при ревизии находился уже шестой чиновник.

в) Отсутствие со стороны губернского и областного начальства после введения учреждения и отъезда барона Гана деятельного личного надзора за ходом нового управления.

Наконец, особенные обстоятельства, не зависящие от учреждения, но в народном понятии с ним смешавшиеся и потому усилившие общее против него неудовольствие, суть:

а) Розыск об отношениях помещичьих крестьян к их владельцам, предписанный с самыми благотворными видами, но произведенный местными начальствами слишком небрежно и возбудивший опасения и неудовольствие в помещиках.

б) Отнятие у агаларов в трех татарских дистанциях их крестьян с заменой пожизненным денежным доходом — мера, принятая с чрезвычайным неудовольствием не только агаларами, но и самими крестьянами.

в) Предварительные соображения о распространении сего и на беков Каспийской области. Слух о том до такой степени взволновал все население, что оно могло быть успокоено только положительным уверением в его неосновательности.

г) Усиление денежной и городской повинности на содержание полиции, что дало повод к самым настоятельным жалобам почти во всех городах.

д) Поверка камерального описания, возбудившая общую мысль, что она делается в видах усиления налогов, мысль, поддерживаемую и чиновниками, которые, действуя не всегда бескорыстно при подобных описаниях, увеличивают через то неудовольствие против нового учреждения, составляющего в понятии народа причину всех новых мер, по какой бы части они ни предпринимались.

Далее Позен, изъяснив, что те частные недостатки и неудобства, которых исправление не выходило из пределов власти его и местного начальства, исправлены уже на месте, все прочие замеченные им недостатки общие разделил на требовавшие высочайшего разрешения, на такие, которые требовали еще предварительного ближайшего соображения и, наконец, на такие, которые подлежали неотложному разрешению и исполнению на местах, чтобы дать гражданскому управлению сколь можно успешный ход и изгладить произведенное им на жителей неприятное впечатление.

Сверх того, по инструкции вменено было Позену в обязанность представить заключение: удобно ли ввести за Кавказом новую финансовую систему (барона Гана), имевшуюся в виду правительства.

«О сущности и недостатках действовавшей дотоле системы государственных доходов за Кавказом, — писал вследствие того Позен, — нельзя сказать ничего нового после важных и обширных изысканий в историческом и статистическом отношениях, представленных бароном Ганом. В прямом смысле там нет никакой системы: ибо источники доходов,

размер налогов, порядок взимания, правила учета — все так разнообразно, неуравнительно и мало ограждено постановлениями, что нет никакой возможности сделать правильное заключение, сколько именно извлекается из народа разными податями и повинностями и соразмерны ли платежи со средствами платящих. При таком положении дела, по мнению его, надлежало обратить неукоснительно внимание:

1) На сокращение расходов в такой степени, чтобы они покрывались, по крайней мере, местными доходами и казна отпускала суммы только на военные потребности.

2) На приведение в правильность оборотов Грузино-Имеретинской казенной палаты и казначейства главноуправляющего. На первой к 1842 году считалось долгу до 680 000 руб. серебром, и в течение года долг сей беспрестанно увеличивался назначением новых расходов без ассигнования на них новых сумм. По казначейству главноуправляющего оказывался также недостаток на удовлетворение расходов и на уплату долгов до 111 000 руб. серебром.

3) На определение размера податей поселян бывшей Армянской области, который был положен в 1836 году, в виде опыта, на 6 лет.

Надеясь, что сими мерами будет до времени поддержано финансовое положение края без дальнейшего расстройства, Позен возвращался к финансовому проекту, составленному Ганом, и в сем отношении писал, что, «не разделяя убеждения ни в пользе, ни в возможности привести в исполнение главные статьи сего проекта, касающиеся прав состояний и установления поземельной подати, он не дерзает, однако же, отвлекать внимание его величества изложением подробных соображений по сему обширному и многосложному предмету, а полагает только необходимым ускорить рассмотрением, где повелено будет, всех предположений по оному барона Гана».

Князь Чернышев и Позен возвратились в Петербург в августе 1842 года, и донесение последнего, представленное мною выше, в общем, очень сокращенном очерке, поднесено было государю на другой день после их приезда, но не самим Позеном, а Чернышевым, и возвратилось с следующей собственноручной резолюцией государя: «Нельзя без сожаления читать: так искажаются все благие намерения правительства теми лицами, на мнение и опытность которых, казалось, положиться можно было. Необходимо прежде всего предъявить сей рапорт Комитету министров, с тем, чтоб все члены убедились как в пользе поездки вашей и С. С. Позена, так и в непростительной неосновательности барона Гана, которого надменность ввела правительство в заблуждение и принуждает безотлагательно приступить к отмене еще столь недавно утвержденного. Финансовый проект, равно все проекты инструкций, наказов и проч., немедля внести в Кавказский комитет».

Резолюция эта была ужасна для Гана; но разговоры об нем государя с Чернышевым и Позеном, при личных их аудиенциях, были еще ужаснее.

— Вижу, — говорил он, — что Ган всегда меня обманывал. Вы его не знаете, а я слежу за ним с тех пор, как был еще бригадным командиром, и всегда убежден был в одном: что он человек с отличнейшими дарованиями, но заносчивый хитрец, недостойный доверия. Если я вел его далее, то потому лишь, что меня всегда окружали такими настояниями в его пользу, которым я не мог не уступить. Между тем выбор Дашкова и твой (обращаясь к Чернышеву), очевидно, был тут ошибочен.

На предложение Чернышева передать в Комитет министров рапорт Позена без подлинной высочайшей резолюции, с изъяснением только общего ее смысла, государь никак не согласился:

— Что ж, разве Ган станет просить суда? Я, пожалуй, готов отдать его и под суд: он так меня взбесил, что хоть бы его повесить!

Когда Позен, стараясь оправдывать Гана, доказывал, что он мог ошибиться в своих заключениях, но ничем не навел сомнения на свою благонамеренность, и когда вместе с тем представлял, что вину Гана в ошибочном взгляде на потребности края разделяли прежде и он, Позен, и Чернышев, и все совещательные власти, предписавшие ему образ действия и рассматривавшие потом его предположения, — государь отвечал:

— Ни ты, ни Чернышев, ни особый Комитет, ни Государственный Совет не виноваты. Кроме Гана, никто не видел и не знал местности. Одних, кто их знал, — Ермолова и Паскевича — тут не было. Еще виню я и себя; но мне умели представить все это в таком виде, что я вдался в обман.

Позен старался еще смягчить гнев государя тем, что Ган, по слухам, всегда желал сам получить место главноуправляющего Закавказьем, и потому трудно думать, чтобы он решился преднамеренно представлять положение и нужды края в ложном виде, когда после ему же самому пришлось бы все развязывать.

— Тогда он стал бы вдвойне меня обманывать, — отвечал государь, — а так ли ты, например, теперь поступил? Повторяю, что ты его не знаешь.

Наконец, государь приказал исключить Гана из числа членов Закавказского комитета, и когда Чернышев заметил, что это, с одной стороны, будет некоторым образом предосудительно для носимого Ганом звания члена Государственного Совета, а с другой — лишит Комитет лица, знающего местности, то государь отвечал:

— Он и так не будет более служить.

— Почему же, государь?

— Ну, это уж мое дело.

Эти слова, указывавшие как бы на намерение удалить Гана от службы, не были, однако же, приведены в действие. Государь говорил о нем, впрочем, в том же смысле и с

некоторыми другими приближенными. Враги и завистники, которых Гану, при всей его ловкости и угодливости, не могла не создать быстрота его возвышения, разносили эти горестные для него вести по городу; немногие истинные друзья сердечно соболезновали, но помочь оказывалось невозможным. Великий князь Михаил Павлович, очень расположенный к Гану, принял особенное участие в его бедствии. Императрица с таким же участием просила Чернышева устранить павшую на Гана опалу, но Чернышев и прежде уже безуспешно истощил все усилия. Сам Ган, находившийся тогда в отпуску и воротившийся, когда все уже было кончено, совершенно был убит духом, но отнюдь не обнаруживал этого в публике. В выжидании будущего он решился являться повсюду, как и прежде, и не показывать никакого вида неудовольствия или сокрушения, а от вопросов отыгрываться общими местами, так как официально ему ничего не было известно или сообщено.

Истинные причины столь сильного гнева государя остались не вполне разгаданными. Под рукою многие знали, что благодарственная депутация была делом Гана; что о ней не нашлось в актах дворянства никакого постановления и что в числе депутатов находились, между прочим, даже становые приставы. Но до сведения государя едва ли что-нибудь из этого дошло.

Позен слышал еще на местах, что один из членов прежней комиссии, оставшийся в Тифлисе членом совета главного управления, поставлял Гана в известность о всех действиях новой экспедиции и даже сообщал ему втайне копии с важнейших бумаг: эта переписка была будто бы вскрываема на почте и, дойдя до государя, сделалась главным источником его неудовольствия. Но Ган сам клялся мне, что ничего подобного не было; что с упомянутым чиновником он во все время обменялся одним лишь письмом, относительно перемены службы последнего, и что он слишком долго служил по

дипломатической части, чтобы доверять какие-либо тайны свои почте.

Наконец, что касается донесений Чернышева и Позена, письменных и словесных, если они и должны были навести некоторое сомнение насчет искусства и опытности Гана, то отнюдь не могли породить мысли о его надменности, заносчивости или лживых действиях. Оба, любя Гана, гласно и тайно старались, напротив, всячески его поддержать. Самый рапорт Позена, на котором последовала страшная резолюция, упоминал о Гане всего только дважды, и то с косвенной похвалой, и замечание о финансовом его проекте (выше мной выписанное) показывало лишь разномыслие между ними, но разномыслие, в котором еще оставалось решить: кто из двух прав.

Итак, повод к гневу государя должно было искать, вероятно, в каких-нибудь тайных наговорах; а в этом отношении и сам Ган и Позен подозревали главнейших двух из высших военных чиновников Кавказского корпуса. С обоими Ган не сошелся в своих экспедициях; оба были здесь в зиму с 1841 на 1842 год, оба имели по несколько аудиенций у государя и оба везде гласно порицали все действия Гана за Кавказом.

К этому, может статься, присоединилось и впечатление, оставленное частыми неприязненными бумагами Головина, наконец, и неудовлетворительное положение Закавказья, положение, отнесенное государем преимущественно к вине Гана, хотя все начертания его составлены были в точности по данным от Государственного Совета началам и все притом впоследствии переделывались здесь Позеном. Как бы то ни было, политическое существование барона Гана с этой минуты прекратилось. Он проволочил его еще несколько лет в звании члена Государственного Совета, но, видя при всяком случае продолжающееся к нему нерасположение и потеряв надежду оправдаться в обвинениях, которые никогда не были ему объявлены, в 1846 году отпросился в годовой отпуск, а в

1847 году прислал просьбу об отставке, по которой и был тотчас уволен от службы.

Между тем и Головин, со своей стороны, в самом поводе и в результате экспедиции Чернышева и Позена не мог не усмотреть несомненных признаков, что и ему не удержаться на своем месте. Предваряя события, он, еще в бытность этой экспедиции за Кавказом, подал просьбу об увольнении от должности и вместе изъявил — хотя и негласно — надежду, что его назначат членом Государственного Совета. Но государь в то время слышать об этом не хотел, и Головин в октябре 1842 года был просто уволен в отпуск на год, для поправления расстроенного здоровья, а главноуправляющим на его место назначен командир 6-го пехотного корпуса Нейдгардт[133].

Еще перед сим, при первой аудиенции Позена через несколько дней после его возвращения из Закавказья, государь сказал ему, что он «не только удовлетворил, но и превзошел его ожидания», и вообще осыпал его милостями и ласками. Потом, при другом опять личном докладе, ему поручено было написать общую программу о будущем ходе и порядке рассмотрения всех предположений касательно Закавказского края, и результатом этой программы был указ 30 августа 1842 года, которым повелевалось:

1) Прежний Закавказский комитет, как совершивший уже свое дело, упразднить[134].

---

[133] Впоследствии Головин был определен сенатором в Москву, а в 1845 году генерал-губернатором Остзейских губерний, в заключение же карьеры, по замене его в последней должности князем Суворовым, пожалован в члены Государственного Совета.

[134] Это была тонкость Чернышева и Позена. Им хотелось охранить Гана перед публикой и не выразить, по крайней мере, гласно, что он исключается из Комитета, а потому они предпочли сказать, что самый Комитет упраздняется, хотя в новом остались все прежние члены с прибавкой лишь,

2) Затем, для предварительного рассмотрения и соображения всех вообще дел по управлению Закавказским краем, подлежащих высочайшему разрешению, учредить другой новый Комитет, а для обработки всех предположений по устройству края быть временному отделению в составе Собственной канцелярии государя, под именем VI-го и под управлением статс-секретаря Позена.

3) Все те дела и случаи, в порядке исполнительном, которые, не требуя новых законодательных мер, превышают власть министров, представлять к высочайшему разрешению через упомянутый Комитет.

4) Производство дел, требующих новых законодательных мер, сосредоточить в VI-м отделении Собственной канцелярии, откуда, обрабатываясь под ближайшим надзором его величества, они будут обращаться в тот же Комитет или для окончательного постановления, или же для предварительного только соображения и внесения потом в Государственный Совет.

В введении указа сказано было, что все сие делается «в видах скорейшего водворения в Закавказском крае прочного устройства, соответствующего его обстоятельствам и действительным потребностям его жителей, и дабы дать более единства и быстроты всем мерам, предпринимаемым по управлению сим краем в порядке законодательном и исполнительном».

На сем основании VI-е отделение было открыто 8-го, а Комитет — 10 сентября 1842 года, и — все пошло сначала…

Но Закавказский край имел, кажется, назначением убивать все репутации и все карьеры. Погубив Ермолова, Розена, Головина, Гана, Граббе и множество лиц второстепенных, он вскоре должен был уничтожить еще и Нейдгардта и самого Позена.

по особой высочайшей воле, наследника цесаревича и графа Бенкендорфа.

Кратковременного управления Закавказьем достаточно было, чтобы убедить Нейдгардта, человека болезненного и не бывшего никогда прежде в делах государственных, что он не в силах долее нести лежавшего на нем бремени. Неудачи и в военных действиях, и в администрации побудили его просить увольнения. Его просьбу приняли в Петербурге не без удовольствия, и не далее как 1 января 1845 года он был назначен членом военного совета, а впоследствии уволен в отпуск и осенью того же года умер в Москве от холеры. В преемники ему предназначен сперва командовавший сводным кавалерийским корпусом генерал от артиллерии Герштенцвейг; но когда он сам решительно отклонил этот пост, выбор государя остановился на знаменитом нашем воине и государственном муже, князе (тогда еще графе) Михаиле Семеновиче Воронцове, в то время Новороссийском генерал-губернаторе. В собственноручном письме, исполненном милости и доверия, император Николай предложил ему это место на самых приятных и почетных условиях, именно, с титулом наместника и главнокомандующего отдельным Кавказским корпусом[135], с сохранением и прежнего звания и с правом жить по временам, по собственному его усмотрению, в том или другом крае. Боялись только одного, что престарелый ветеран не примет важного, но слишком затруднительного поста, сулившего огромные труды и заботы при весьма загадочных еще лаврах, и с историческим, популярным в целой Европе именем своим, предпочтет проблематической славе тот заслуженный покой, которым он наслаждался.

Высшие чувства патриотизма и преданности к государю подавили в нем, однако же, всякое колебание. Шестидесятичетырехлетний старец, обладавший и морально и материально всем, что только может льстить человеческому тщеславию и славолюбию, решился принести себя в жертву

[135] Предшественники его имели только титул командиров.

общему благу и принял сделанный ему вызов. Можно сказать, что вся Россия рукоплескала этому выбору, и князь, по прибытии его в первых днях 1845 года в Петербург, сделался предметом общего благоговения и бесчисленных оваций, частных и публичных. Но с тем вместе должно было окончиться и поприще Позена.

* * *

Михаил Павлович Позен был человек умный, даже необыкновенно умный, и вместе добрый, благородный и благонамеренный. Но он имел против себя два важных обстоятельства: во-первых, свое происхождение, внушавшее недоверчивость к нему в общественном мнении, особенно между аристократией, во-вторых, нажитое им значительное состояние, которого добросовестные источники — несколько смелых спекуляций, участие в золотых промыслах, в винных откупах и проч. — весьма лишь немногим были в точности известны, так что масса, всегда подозрительная и часто несправедливая, относила его богатства к корыстным действиям по службе. Если завистливая толпа могла еще сколько-нибудь перенести неслыханную, по происхождению и роду Позена, карьеру его, то уже никак не могла она простить ему внезапного его обогащения.

Позен, в противоположность Гану, имел несравненно более врагов, чем друзей. Между тем, быв приближен, по покровительству князя Чернышева, к лицу государя, сопровождав его несколько раз в его путешествиях, удовлетворив всем ожиданиям результатами кавказской своей экспедиции, он, через назначение его, наконец, к заведованию временным отделением Собственной его величества канцелярии, стал, казалось, твердою уже ногою в милости царской. Действительно, во все время управления Нейдгардта Позен был душою Кавказского комитета и всех принятых по этому

краю новых мер, имел нередко личные доклады у государя и вел дела к совершенному его удовольствию. Вдруг приехал вызванный сюда по случаю нового своего назначения Новороссийский генерал-губернатор.

Воронцов, воспитанный в Англии, почти лучше знавший по-английски, нежели по-русски, и вообще более походивший на английского лорда, чем на русского вельможу, при всех огромных его достоинствах был напитан многими идеями, малосвойственными духу наших установлений и нашей национальной жизни. Сверх того, его окружали разные люди, состоявшие при нем частью в течение многих лет и уже через сие одно приобретшие особенное над ним влияние. Эти доверенные лица проводили целый день в кабинете князя, в сюртуках, с сигарами во рту, так сказать, нараспашку, и присутствовали даже обыкновенно при всех его приемах и аудиенциях. Но тот же Воронцов, вежливый со всеми и каждым почти до самоунижения, панибратствовавший с близкими к нему, искавший, казалось, такой же популярности, к какой стремился некогда Ермолов, тот же Воронцов, когда дело шло о его правах, о его власти, о чем-нибудь для него существенном, становился в высшей степени щекотлив и заносчив, так что поступки его доходили до дерзости, даже до забвения обыкновенных условий учтивости. Это доказали многократные действия его против министра финансов графа Канкрина, против Сената и против министров юстиции; это же самое должен был испытать теперь на себе и Позен.

Дела по Закавказью сосредоточивались, как уже сказано выше, в VI-м отделении Собственной канцелярии; следственно, начальнику его, тотчас по приезде сюда Воронцова, предлежало поставить себя в непосредственные и ближайшие с ним соотношения. Но репутация, данная Позену завистливыми его врагами и всячески поддержанная приближенными Воронцова, страшившимися опасного соперничества, сделала то, что он с самого начала не сошелся с Позеном.

Последний был принят чрезвычайно холодно и, после трех посещений со своей стороны, государев статс-секретарь и тайный советник не удостоился даже получить на обмен визитной карточки.

Между тем, он имел приказание от государя составить вместе с Воронцовым проект инструкции в форме высочайшего рескрипта, которым определялись бы права и власть нового, не бывшего у нас прежде (кроме Царства Польского), сана наместника. После предварительного словесного соглашения в главных началах Позен составил этот проект и отослал к Воронцову, который возвратил его с предположенными им изменениями через одного из своих чиновников. В проекте Позена, между прочим, сказано было, что наместник действует в Закавказье с властью, предоставленной в обыкновенном порядке министрам. Воронцов, основывавшись на письме государя, обещавшем ему, в случае принятия новой должности, неограниченную власть, заменил сказанное место тем, что наместник разрешает собственной властью все дела, восходящие в обыкновенном порядке к министрам. Позен заметил чиновнику, что эту редакцию надо бы исправить, так как министрам восходят и дела законодательные, и такие из административных, о которых, не имея власти сами их решать, они должны представлять государю. На другой день Позену назначена была личная о сем предмете работа у Воронцова в присутствии и Чернышева, по званию председателя Кавказского комитета. Едва они сели, как Воронцов, обратясь к Чернышеву, сказал:

— Я очень рад, что вы здесь, потому что вы тотчас поставите меня в оборонительное против этого господина (указав на Позена) положение.

И тут новый наместник стал жаловаться, что Позен при рассмотрении перемен в рескрипте сказал присланному чиновнику: «Да что ж, разве он (Воронцов) хочет царской власти?» Отсюда родилась жаркая сцена, при которой Позен

уверял и клялся, что не только не думал говорить этих слов, но не имел к тому и малейшего повода, приписав упомянутую поправку в рескрипте совсем не намеренной, а одной невольной ошибке в редакции.

Воронцов отвечал, что знает своего чиновника 17 лет и не может не поверить его слову. Напоследок, на очной ставке, данной тут же по усиленному настоянию Позена, тот чиновник несколько изменил прежнее свое показание, приведя слышанные им слова в таком виде: «Ведь это будет царская власть».

Но Позен продолжал утверждать, что не сказал и этого и вообще ничего подобного и, наконец, после продолжительного прения объявил, что все это происшествие и еще более настоящая сцена ставят его в невозможность оставаться долее в таких служебных отношениях, где, при частой деловой переписке, ожидающей его с наместником, внушения и наговоры чиновников всегда могут давать иной толк его словам, так что, будучи только исполнителем и передавателем высочайшей воли, он легко может невинно пострадать.

Действительно, возвратясь домой, он тотчас послал Чернышеву просьбу об увольнении его в отставку, может быть, в тайном чаянии, что его будут удерживать и уговаривать. Но судьба его была уже решена вступлением в неравный бой с Воронцовым. Государь мог принять это состояние только в двояком виде: или как оппозицию против сановника, стоявшего в то время, в глазах и правительства и всей публики, на высшей степени гражданского величия, или как неблагодарность за все, чего он, Позен, достиг до тех пор по милости государя, а неблагодарность, в понятиях и чувствах императора Николая, была самым черным из всех пороков.

Указ об увольнении Позена, согласно его просьбе, вовсе от службы был немедленно подписан[136], а многочисленные

[136] Прожив потом еще несколько времени в Петербурге, он впоследствии

враги его возопили, что если бы Воронцову и не удалось ничего сделать на новом его поприще, то одним удалением Позена он уже оказал огромную государственную заслугу государю и России.

Вместе с тем был подписан и тот рескрипт, который дал первоначальный повод к рассказанной здесь катастрофе, но в котором сам Воронцов рассудил замеченное Позеном место пояснить тем, что наместник оканчивает собственной властью все дела, восходящие в обыкновенном порядке на разрешение министров, и прибавил также особую оговорку о делах законодательных. Этим рескриптом, поставившим наместника не только наравне, но некоторым образом и выше министров, положен был надгробный камень над всеми прежними долголетними изысканиями, экспедициями, соображениями, над всеми трудами местных и главных начальников, комиссий, комитетов и самого Государственного Совета. С этой минуты началась для Закавказья новая эра единовластного и почти отдельно-самобытного управления, которое хотя потом, еще при жизни императора Николая, выпало из рук ослабевшего жизненными силами Воронцова, но в той же самой полноте перешло к преемнику его, генералу Муравьеву.

* * *

Петербургские врачи летом 1845 года объявили, что у императрицы — аневризм в сердце, угрожающий ежеминутной опасностью ее жизни. Но всемогущий Мандт, возвратившийся в это время из-за границы, решил своим диктаторским тоном, что все это вздор, что аневризмы и в помине нет; что вся болезнь заключается в биении сердца и что против этого

совсем переселился в полтавское свое имение, которое вскоре довел до самого цветущего состояния, приобретя с тем вместе общее в крае уважение.

лучшее средство провести зиму в теплом, благорастворенном климате.

Приговор Мандта был, как всегда, законом для государя. Несмотря на глубоко расстраивавшую его необходимость продолжительной разлуки, для зимнего пребывания императрицы избрали Палермо и там прелестную виллу княгини Бутеры, урожденной княжны Шаховской.

Сначала предполагалось ехать до Штетина водой, но свирепствовавшие в августе — месяце отправления императрицы — сильные бури изменили этот план, и она поехала на Берлин сухим путем, сопровождаемая, сверх великой княжны Ольги Николаевны, фрейлинами графинею Тизенгаузен, Нелидовой, Столыпиной и Акуловой[137], гофмаршалом графом Шуваловым, генерал-адъютантами князем Лобановым-Ростовским и графом Апраксиным и лейб-медиками Мандтом и Маркусом.

Государь провожал ее почти до Острова, и прощанье их, по рассказам очевидцев, было самое трогательное. Когда экипажи императрицы уже двинулись, он долго стоял на одном месте и глядел вслед за ними со слезами на глазах.

В конце сентября императрица приехала в Комо, где остановилась в Соммариве, вилле прусской принцессы Албрехт.

Вскоре, именно 21 августа, и государь уехал из Петербурга на юг России для осмотра войск. Я в то время был в Париже и, зная нежную привязанность императора Николая к его супруге, по прежним примерам его действий не сомневался, что он в продолжение зимы обрадует ее нечаянным своим посещением; но это последовало еще ранее, чем я и кто-либо могли предвидеть. Прибыв 11 сентября в Севастополь и свидясь там с приехавшим из Тифлиса князем Воронцовым,

[137] Император Александр II прибавил: «и статс-дамой княгинею Салтыковой».

государь 16-го уже был в Харькове, и пока в Петербурге все ждали скорого его возвращения, мы, находившиеся в чужих краях, узнали вдруг из иностранных газет, что он совершенно неожиданно проследовал в ночь с 28 на 29 сентября (употребляю везде наш старый стиль) через Краков, 29-го через Тешен, 30-го по железной дороге из Лейпника через Ольмюц на Прагу, а 3 октября был уже в Инсбруке, откуда после получасового отдохновения отправился прямо на Комское озеро.

По рассказам тех же иностранных газет, в Тешене нагнал государя и поехал вместе с ним наследник, а в свите их находились: генерал-адъютанты граф Орлов и Адлерберг; генерал граф Арманов (вероятно, сам государь, ехавший под фамилией графа Романова), флигель-адъютанты князь Меншиков и князь Васильчиков и лейб-медик Енохин, всего девять экипажей.

Известие о сопутствии государю наследника цесаревича оказалось, однако же, ложным; его высочество с юга России возвратился прямо в Петербург. Сверх того, между особами свиты пропущен был барон Ливен. Государь настиг императрицу 5 октября в Милане, 6-го они отправились вместе в дальнейший путь, 7-го прибыли в Геную, а оттуда переехали морем в Палермо.

Петербургская публика сильно горевала, что о пребывании там императорской четы не было сообщено ей никаких других сведений, кроме выписок из иностранных газет, по обыкновению поверхностных и часто неосновательных. И действительно, в продолжение целых месяцев Россия знала о своем владыке только то, что передавали ей иностранные журналисты… А в какой степени их известия были достоверны, вот один пример из тысячи. Император Николай, — писали они, — купил в Венеции мраморную церковь, которую велел перевезти в Сицилию, в подарок князю Бутере. Во-первых, князя Бутеры в то время уже несколько лет не было на свете; во-вторых, государь точно подарил его вдове цер-

ковь, но какую? Походную, ту, которая привезена была в ее виллу отсюда для императрицы.

Государь возвратился в Петербург 30 декабря, в 9-м часу утра, оставя императрицу на зиму в Палермо. После свидания со своими детьми он тотчас посетил княгиню Бутеро для изъявления ей благодарности, своей и императрицы, за ее виллу в Палермо, а в час был уже на разводе.

XIV
1846 год

Рескрипт наследнику цесаревичу — Кончина принца Нидерландского и помолвка великой княжны Ольги Николаевны — Бал у великой княгини Марии Николаевны с профессорами, академиками и горными офицерами — Граф Юрий Александрович Головкин — Запрещение домино и венецианов для военных на маскараде — Депутация лифляндского дворянства — Графиня Бобринская — Кончина князя Любецкого — Возвращение императрицы из Палермо — Обручение и бракосочетание великой княгини Ольги Николаевны — Особенности покупки имения «Славянка» — Базар русских изделий — 50-летний юбилей шефства императора Николая в Конногвардейском полку — Кончина и похороны великой княжны Марии Михайловны — Переправа через покрытый льдом Неман — Память государя

Отъезжая из России в Палермо, государь облек наследника цесаревича такой властью, что за границу посылались только проекты указов, требовавшие высочайшего подписания, и мемории общего собрания Государственного Совета. Все прочее разрешал цесаревич, и министры докладывали ему, каждый по своей части, на том же основании, как его родителю.

Но эта, так сказать, передача самодержавной власти, быв приведена в действие не манифестом или указом, а одним циркулярным отношением ко всем министрам от 1-го отделения Собственной его величества канцелярии, не была известна, по крайней мере официально, ни Сенату, ни вообще местам и лицам подведомственным. По всем делам, требовавшим высочайших повелений, они объявлялись, как всегда, именем государя, что было, однако ж, как говорят французы, тайной комедии. Все знали, что государь в Палермо, и между тем повеления от него по докладам и представлениям возвращались через несколько дней, а иногда в тот же самый день.

Вслед за обратным приездом государя в Петербург наследник цесаревич удостоен был ордена св. Владимира 1-й степени — первой выслуженной им награды. Государь собственноручно написал весь рескрипт карандашом и, велев потом переписать, прислал августейшему своему сыну вместе с этой копией, обратившеюся через высочайшую на ней подпись в оригинал, и черновой свой подлинник[138]. Вот слова этого царственного акта:

«Любезнейшему сыну моему, государю наследнику цесаревичу!

Отъезжая за границу для сопутствования государыни императрицы, родительницы вашей, поручил я вам управление большого числа дел государственных, в том полном убеждении, что вы, постигая мою цель, мое к вам доверие, покажете России, что вы достойны вашего высокого звания.

Возвратясь ныне по благословению Божию, удостоверился я, что надежды мои увенчались к утешению родительского моего, нежно вас любящего сердца.

В вящее доказательство моего удовольствия жалуем вас кавалером ордена св. Равноапостольного Великого Князя Владимира первой степени, коего надпись: «Польза, честь и слава» укажет и впредь вам, на что Промысел Всевышнего вас призывает для России».

21 января у графа Воронцова-Дашкова давался домашний спектакль, на котором обещал присутствовать и государь. Но почти перед самым началом принесли к хозяину записку от наследника цесаревича, извещавшего, что ни он, ни государь не могут приехать по случаю внезапного известия о кончине сына принцессы Фридерики Нидерландской, сестры императрицы. Этому принцу, единственному сыну, было только

---

[138] Император Александр II заметил: «Оригинальный рескрипт у меня хранится один, чернового никогда не видал».

9 лет от роду, и все очень полюбили его в предшедшее лето, которое он проводил вместе со своими родителями в Петергофе. Государь, с обыкновенной нежностью своих чувств, отозвался, что не может принять участия в увеселениях в самый день получения этого известия, зная, сколько оно огорчит отсутствующую императрицу[139].

За этим печальным известием последовало на другой день радостное. В письмах из Палермо уведомляли государя о помолвке великой княжны Ольги Николаевны с наследным принцем Виртембергским. Государь познакомился с ним в Венеции, где и происходили предварительные намеки и переговоры. Известие было разнесено по городу в особых прибавлениях к газетам; но как оно до вечера не везде еще могло огласиться, то многие очень были озадачены засветившейся вдруг по улицам иллюминацией.

* * *

28 января, в день рождения великого князя Михаила Павловича, был бал у великой княгини Марии Николаевны, первый семиофициальный, потому что запросто у нее уже и прежде нередко танцевали. Я сказал «полуофициальный» оттого, что всех статских звали не в мундирах, а в мундирных фраках. Личный состав бала был, смотря с точки обыкновенных придворных и светских собраний, довольно оригинален. Кроме собственно лиц танцующих, высших придворных чинов, членов Государственного Совета, статс-секретарей и т. п., между этими привычными гостями встречались, немножко как лица без образа, профессора Академии художеств, академики Академии наук и офицеры корпуса горных инженеров. Все они были званы по служебным отношениям герцога Лейхтенбергского, которого и личные вкусы особенно при-

[139] Потом этот спектакль повторился для государя и царской фамилии, в общем опять нашем присутствии.

влекали к их кругу. Впрочем, бал в этих новых, свежих, блестящих чертогах был истинно великолепен. Ужинали в час, но танцы продолжались до пятого.

* * *

Во первых числах февраля 1845[140] года пришло в Петербург известие о кончине в Харькове попечителя тамошнего учебного округа, обер-камергера и члена Государственного Совета графа Юрия Александровича Головкина. Он был одним из умнейших людей — в смысле французского homme d'esprit, человека духовного — и приятнейших собеседников своей эпохи, и император чрезвычайно любил его общество, так что когда граф жил еще в Петербурге, он почти ежедневно обедал во дворце. Говорили, что ему при смерти было далеко за 90 лет; не знаю, насколько это справедливо; по крайней мере, вид его отнюдь не показывал такой старости. Известно только, что он состоял в службе с 1782 года, а в чине действительного тайного советника с 1804 года. Камергером он был еще при Екатерине (1792), сенатором (1797) и обер-церемониймейстером (1799) при Павле, а Александровскую ленту получил в 1801 году (с 1834 он был и андреевским кавалером).

Происходив из той ветви своей фамилии, которая выселилась из России еще при Петре Великом, граф Головкин, с коренным русским именем, был родом — голландец, а религией — реформат и по-русски не только писал, но и говорил очень дурно. Когда он, в царствование Павла, присутствовал в 1-м департаменте Сената, император, разгневавшись по одному делу на этот департамент, приказал отрешить всех сенаторов — кроме Головкина, о котором в указе сказано было, что он изъемлется от ответственности за малым знанием русского языка. Я сам, долго сидев с ним в Комитете призрения

[140] Так в оригинале.

заслуженных гражданских чиновников, которого он был председателем, могу засвидетельствовать, что имя свое он всегда подписывал «Юрья».

После него осталось около 12 000 душ, из числа которых 8000 в 1845 году были им обращены в майорат, составленный в пользу внука его по дочери, находившейся в замужестве за управлявшим некогда министерством иностранных дел князем Александром Николаевичем Салтыковым. Сверх того, продав остальное свое имение, граф, давно уже вдовый, еще при жизни передал два миллиона в руки жившей с ним долгое время самой простой женщины, жены ламповщика одного из петербургских театров. Несмотря на все это огромное состояние, в доме, в минуту его смерти, не нашлось ни копейки, так что для похорон пришлось заложить брильянтовый обер-камергерский ключ.

* * *

Военные генералы и офицеры в прежнее время не могли являться на публичных маскарадах иначе как без шпаг и в домино или венецианах сверх мундиров; и этому правилу всегда подчинял себя и царь. 12 февраля 1846 года, по случаю маскарада, данного в пользу инвалидов, объявлено приказание, чтобы впредь на маскарадах военные были в одних мундирах, но непременно при шпагах. С тех пор венецианы и домино перешли в область предания, и маскарады стали, для военных, отличаться от обыкновенных балов лишь тем, что на первых они должны были носить на голове каски.

* * *

По случаю разных неустройств в Лифляндии предназначен был пересмотр отношений в сем крае помещиков к крестьянам, и для сего в 1846 году учреждены в Петербурге два комитета, один приготовительный, а другой высший, из чле-

нов Государственного Совета; сверх того, для участия в этом деле вызваны были из Лифляндии губернский предводитель дворянства и несколько депутатов.

В марте государь пожелал видеть этих депутатов, и они были потребованы во дворец. При аудиенции их присутствовали, кроме наследника цесаревича, министр внутренних дел граф Перовский, граф П. П. Пален в качестве председателя высшего из упомянутых комитетов, генерал-адъютант барон Мейендорф, в звании председателя евангелической генеральной консистории, генерал-адъютант барон Ливен и, наконец, генерал-губернатор Остзейских губерний Головин как официальный водитель депутации.

Государь, сказав при представлении ее, что, вероятно, не все члены равно сильны в русском языке, спросил, как они желают, чтобы он с ними говорил, т. е. по-французски или по-немецки? На такое милостивое предложение они отвечали, что предпочитают язык немецкий, и государь, попросив в шутку их снисхождения к своей малоопытности в нем, произнес длинную и превосходную речь, от которой, разумея и содержание ее и дикцию, все пришли в совершенный восторг.

Сущность этой речи состояла в том, что, желая улучшить и более упрочить состояние лифляндских крестьян, государь обещает, однако, державным своим словом охранить при этом, как всегда, и привилегии местного дворянства. Спустя несколько дней государь призвал снова перед себя, в секретную аудиенцию, уже одного губернского предводителя Лилиенфельда; но содержание этой второй аудиенции, относившейся, вероятно, до происходивших в то время в Лифляндии религиозных волнений, осталось тайной, вследствие положенной государем на Лилиенфельда печати молчания.

Спустя несколько времени кто-то из лиц, присутствовавших при первой аудиенции, напечатал в Эльбергфельдской

газете подробный отчет о всем ее ходе и всю речь государя вместе с бывшими на нее ответами. Из Эльбергфельдской газеты эта статья перешла в Кельнскую и наконец в «Journal des Debats» (5 июля 1846); но, не знаю почему, хотя все тут напечатанное делало лишь честь нашему правительству, эти номера газет не были пропущены нашей цензурой.

* * *

28 марта скончалась одна из почтеннейших, умнейших и наиболее любимых дам высшего нашего круга, графиня Софья Александровна[141] Бобринская, дочь лифляндского ландрата Унгерн-Штернберга. Замужество с сыном императрицы Екатерины открыло ей доступ ко двору, а высшие качества и пленительный ум не замедлили всех к ней привязать. Ее в особенности удостаивала своего расположения императрица Мария Федоровна, а потом этим же расположением отличал ее и император Николай, очень часто посещавший старушку, хотя она не была ни статс-дамой, ни даже кавалерственной дамой, и называвший ее всегда «Mutterchen» (матушка)[142]. Все знатное, сильное, имевшее притязание на высший тон, стекалось в великолепный ее дом на конце Галерной улицы, почти единственный, где еще держалась беседа без неизбежной, как в других, помощи танцев и карт, хотя, впрочем, и у нее бывали по временам балы, украшавшиеся присутствием императорской фамилии. Положение графини при дворе было как бы исключительное, потому что без всякого, как я уже сказал, придворного звания, не имев особенного значения и по генерал-майорскому чину покойного своего мужа, она не только в домашнем придворном быту, но и на всех це-

[141] Император Александр II поправил: «Анна Карловна».
[142] Император Александр II поправил: «Tante», тетушка.

ремониальных выходах, обедах и проч., шла в уровень со статс-дамами[143].

Муж ее, умерший лет за тридцать прежде нее, был человек малозначащий, так что и Екатерина только обогатила его, но не решилась вывести в люди. В ее царствование он был лишь бригадиром, и уже император Павел пожаловал его в генерал-майоры. Не могу, хотя и не совсем здесь кстати, не коснуться любопытной истории его рождения, рассказанной мне графом Блудовым, который, по имевшимся в его руках бумагам и актам, все на свете знает и помнит.

Плод тайной любви с Григорием Орловым, Бобринский носим был императрицей под сердцем в кратковременное царствование Петра III. Тогдашние огромные фижмы представляли полную возможность скрывать ее положение, но надо было приготовиться и к минуте развязки. Петр III часто входил к императрице в течение дня и мог случайно прийти и в эту минуту, а он без того уже помышлял о расторжении брака с ней, как она со своей стороны замышляла о низвержении его с престола, к чему, однако, не все еще было предуготовлено. В таких трудных обстоятельствах Екатерина призвала к себе одного из своих приверженцев, графа Гендрикова.

— Ты часто уверял, — сказала она, — что готов пожертвовать для меня и состоянием, и жизнью. Теперь настало время испытать тебя, хотя речь идет не о жизни и не о состоянии, а только о части последнего, за которую мне нетрудно тебя вознаградить.

Гендриков повторил свои клятвы в беспредельной преданности, и тогда Екатерина открыла ему свое положение и свой план. У него был дом на Петербургской стороне, из окон которого был виден Зимний дворец. Условились, что при известном сигнале из последнего Гендриков тотчас зажжет свой

---

[143] Император Александр II написал: «Вздор».

дом, так как император присутствовал на каждом пожаре в столице. Так и сделалось. Петр поскакал на пожар, а между тем Екатерина благополучно разрешилась сыном.

Тело графини отвезли в деревню; на выносе его в Петровскую лютеранскую церковь присутствовали и государь, и наследник цесаревич.

* * *

11 мая русская земля лишилась опять одного доблестного сына. Скончался, на 69-м году от роду, князь Ксаверий Францевич Друцкой-Любецкий, человек исторический по своим судьбам и, при всех его странностях и недостатках, чрезвычайно примечательный среди обширного поля нашей прозаической посредственности. В сочинении моем «Император Николай в совещательных собраниях» помещена подробная его биография и характеристика; но, говоря там о нем преимущественно с деловой стороны, я не довольно, может статься, отдал справедливости душевным его качествам. Он был человек в высшей степени добрый, благородный, беспритязательный, надежный друг, наконец, и правдивый судья, умевший примирять правосудие с добродушием. У нас, где и предумышленно и без намерения все так скоро забывается, еще при жизни Любецкого мало кто помнил, что ему собственно Россия обязана уничтожением простонародного лажа на монету — важнейшая заслуга в его политической карьере. Он умер истинным христианином, в полной памяти, с совершенным спокойствием духа, с молитвой на устах.

— Переход в вечность меня не пугает. Страшит лишь разлука с вами!

Перед тем он наставлял детей в любви и почтении к матери, взаимной дружбе между собой и преданности отечеству, прибавляя, что лишь при строгом исполнении этих советов умирающего отца они найдут счастье и покой в жизни. Он

требовал также непременно, чтобы после смерти тело его было вскрыто, как для пользы науки, так и для личной пользы его детей: ибо всегда думал, что болезнь его есть наследственная и что врачи, ближе ознакомясь с ней через осмотр его внутренностей, найдут, может статься, действительнейшие средства к предохранению от нее его потомства. Медикам не очень хотелось приступать к исполнению этой воли покойного, но вдова на том настояла.

На отпевании тела в большой римско-католической церкви присутствовали наследник цесаревич и великий князь Михаил Павлович. Государь находился в то время в Варшаве.

После Любецкого осталось 3300 душ в литовских губерниях — следственно, самых бедных, и 550 000 руб. серебром долгу. Новое доказательство, в случае если бы кто в том усомнился, что на совести покойного не лежало никакого бесчестного дела. Известно, что, кроме многолетнего нахождения министром финансов в Царстве Польском, он был употреблен по важным ликвидационным делам в Австрии и Франции, которые человеку с менее чистыми правилами могли бы доставить миллионы.

* * *

Императрица возвратилась из Палермо в начале лета 1846 года, обновленная в силах. Государь ездил к ней на встречу в Варшаву. 7 июня они вместе впервые приехали из Петергофа прямо в Казанский собор. Обед был приготовлен, на всякий случай, и в Зимнем дворце, и на Елагином острове, и императорская чета предпочла ехать на последний. Вечером город загорелся иллюминацией, выходившей из ряда обыкновенных, при очаровательной летней ночи, ослаблявшей, правда, своим светом блеск огней, но зато такой тихой, что шкалики грели, как в комнате. В 11-м часу показалась на Невском проспекте императрица с великой княжной Ольгой

Николаевной, в закрытой карете. Народ теснился вокруг нее толпами с криками «ура!», местами, перед некоторыми табачными магазинами, стояли песельники из рабочих и пели народный гимн. Все это вместе имело какой-то особенный, необычный чопорному Петербургу характер. Государь на улицах не показывался, предоставя весь почет этой встречи одной императрице.

* * *

25 июня, в день рождения государя, происходило обручение, а 1 июля, в день рождения императрицы и 29-летия брачного ее союза, венчание великой княжны Ольги Николаевны с наследным принцем Виртембергским. Оба празднества совершились в Петергофе, но с тем же торжеством и по тому же церемониалу, как обыкновенно делалось и в столице. Из иностранных принцев прибыли на эти празднества: наследный принц прусский, сын шведского короля Оскар и от датского двора один из принцев Глюксбург-Зондерсгаузенских.

В день обручения предназначенный церемониалом парадный бал, по случаю жары и общего утомления, был отменен; но вечером загорелась обворожительная, совсем новая иллюминация одного верхнего сада. Ее устраивал, по примеру бывшей в Варшаве для встречи императрицы, нарочно выписанный сюда поляк. На деревьях было развешено в форме виноградных лоз 52 000 разноцветных стеклянных фонарей, и, сверх того, сад горел множеством пальмовых деревьев и колонн, увенчанных корзинами с цветами. Для выделки этих фонарей были остановлены все работы на казенном заводе, и за всем тем последние три тысячи поспели только в самый день иллюминации.

В день бракосочетания, 1-го числа, были иллюминованы верхний сад и в нижнем канале, на конце которого горел

шифр императрицы, а 2-го числа — весь сад. Потом следовали всякий день праздники, то в Петербурге, то в Красном Селе, парадный бал в Дворянском собрании и наконец 11-го (день тезоименитства великой княгини) иллюминация в городе и на Елагином. В этот же день (т. е. 1-го) излился поток милостей на служащих как при дворе, так и по всем ведомствам. Здесь не место их исчислять, но из них две были особенно примечательны как очень редкие.

Бывшая воспитательница великой княгини и августейших ее сестер, статс-дама Баранова (вдова действительного статского советника) возведена с потомством в графское достоинство, что представило, кажется, второй лишь пример пожалования у нас титула даме: первый был на воспитательнице сестер государевых Ливен, пожалованной, также во вдовстве, сперва в графини и потом в княгини. Помощница новой графини, фрейлина Акулова, награждена орденом св. Екатерины 2-й степени, что было уже едва ли не первым примером: ибо хотя княжне Волконской в сей же день, а графине Орловой-Чесменской еще прежде пожалован был тот же орден, но они обе имели высшее звание камер-фрейлин.

Новобрачная чета вскоре оставила Петергоф и Россию. Переселяясь на жительство в Штутгардт, она 28 августа отправилась в Штетин — водой, на двух пароходах.

* * *

В сентябре 1846 года вся наша публика была очень занята одной историей, которая ходила по городу, прикрашенная, разумеется, тысячью вымыслов и ложных толков. Вот истинный ход и сущность этой истории по самым достоверным источникам.

Пользовавшаяся в то время у нас большой, хотя и не совсем лестной репутацией, вдова флигель-адъютанта графа Самойлова, скитаясь по чужим краям, вышла наконец за

какого-то итальянца, что, лишив ее прав русского подданства, поставило в необходимость продать состоявшие за ней в России недвижимые имущества. В числе их главнейшее, Графская Славянка, неподалеку от Павловска, имение истинно царское, досталось ей по наследству из рода Скавронских.

Государь, пожелав купить это имение для себя, велел графу Перовскому, управлявшему (за отсутствием князя Волконского) министерством уделов, сторговать его у поверенного Самойловой. Но как сей последний запросил слишком высокую цену, то Перовский, в уверенности, что на такое большое имение нелегко найдется другой покупщик, предпочел отложить покупку до публичных торгов, которые должны были последовать по истечении законного срока. Между тем, мать обер-церемониймейстера графа Воронцова-Дашкова, управлявшая всеми его делами, стала торговать Славянку для своего сына и, условившись в цене, дала 150 000 руб. задатку. Воронцовы, и особенно молодая веструха (жена графа), о которой я не раз уже говорил, были в восхищении иметь такую чудесную мызу под самой столицей, с совсем уже устроенным и даже меблированным дворцом и с богатейшими угодьями, а старуха-мать радовалась своей сделке, тем более, что продавец принимал в счет покупной суммы 3000 душ в Белоруссии, несколько уже лет не дававших дохода и стоивших только денег на их прокормление. Государь об этом ничего не знал. Вдруг, за обедом в Петергофе, кто-то сказал, что акции Царскосельской железной дороги должны значительно подняться в цене.

— Отчего? — спросил царь.

— Оттого, что Воронцовы купили Славянку, и теперь, при их открытом образе жизни, все будут к ним туда ездить.

Государь промолчал, но после обеда приказал Перовскому тотчас кончить дело о покупке Славянки для двора, за предложенную Воронцовыми сумму, с возвращением последним их задатка. Тут старуха Воронцова решилась напи-

сать государю частное письмо по-французски, в котором, изложив все обстоятельства, изъясняла, что как ею заключена уже запродажная запись и дан задаток, то дело по закону должно считать конченным и неприкосновенным для третьей стороны. На это, по высочайшей воле, ответствовано было, тоже по-французски, отказом, с ссылкой на другой закон, по которому государь имел бы право, как родственник Скавронских, выкупить Славянку, и с изъяснением, что, не обращаясь к этому праву, он оставляет имение за собой и потому, что первый на него торговался, и для блага крестьян, которых положение будет выгоднее в руках удела, чем в частной крепостной зависимости.

Как бы то ни было, но молодая Воронцова ужасно разгневалась на такой исход дела и уже никогда, наперекор своему добряку-мужу, не могла простить императору Николаю разрушения розовых ее надежд на привольную жизнь в Славянке.

* * *

12 октября 1846 года открылось в Петербурге совсем новое учреждение: «Энциклопедический базар русских мануфактурных изделий», соединивший в себе постоянную выставку с огромной, так сказать, лавкой. Это была компания почти всех русских фабрикантов, которые хотели добротой произведений и умеренностью цен внушить доверие к нашей мануфактурной промышленности и, вместе, открыть глаза нашей публике, доказав, что мы нередко покупаем в дорогих иностранных магазинах русские изделия под видом и по ценам иностранных.

Компания, в главе которой стоял известный московский фабрикант Гучков, расположила огромные свои склады в тех залах Энгельгардтова дома (на Невском проспекте), где помещалось прежде Дворянское собрание, а потом Соединенный клуб. Все было устроено со вкусом и даже роскошью; на

все установлены определенные цены; вежливость и предупредительность продавцов были чрезвычайные; стечение публики, и притом самой высшей, такое, что в обширных залах происходила настоящая давка.

Государь посетил этот магазин тотчас в первый день, обворожил, как обыкновенно, всех своей приветливостью и обещал опять приехать с целой семьей. Вронченко, восхищенный тем, что все это устроилось во время его управления министерством финансов, в первый день почти не выходил оттуда и подарил компании образ святителя Николая в позолоченной рамке и золотую солонку.

Впрочем, приведению в исполнение этого грандиозного предприятия противопоставлялись сначала все возможные препоны и интриги. Магазин, известный в Петербурге под именем «Английского», больше всех страшившийся его соперничества, предлагал купить у Гучкова все товары разом и за наличные деньги, если он откажется от участия в этой компании; но Гучков отозвался, что лучше бросить пожертвованные им на нее 300 000 руб. в воду, нежели лишить своей помощи такое русское дело.

С другой стороны, министр внутренних дел граф Перовский, враждовавший в это время против Вронченко, самовластно, под предлогом, что Гучков — старообрядец, запретил открытие магазина, хотя и не существовало закона, который давал бы к сему повод. Вронченко нашелся вынужденным войти по сему случаю с особым докладом, и единственно положительная воля государя дала возможность осуществить дело.

* * *

7 ноября минуло 50 лет с тех пор, как император Николай, в сане великого князя, был назначен шефом лейбгвардии Конного полка. Этот юбилей праздновался особен-

ным образом. Сперва, в час, был в Михайловском манеже благодарственный молебен и развод[144], на котором государь сам командовал полком в качестве полкового командира. Перед разводом[145] людям объявили, что государь жалует каждому рядовому по 3 руб., каждому унтер-офицеру по 10 руб., каждому вахмистру по 50 руб. и, наконец, вахмистру лейб-эскадрона 100 руб. Потом в 4 часа был торжественный обед в Мраморном аванзале[146] Зимнего дворца, с приглашением к нему, кроме всех офицеров Конногвардейского полка, и всех ветеранов, служивших в нем 50 лет тому назад. Их нашлось еще до двенадцати, в том числе князь Васильчиков и его брат, граф Нессельрод, государственный контролер Хитрово, обер-шенк Рибопьер, сенатор Данилов (из сдаточных рекрут, бывший в то время полковым писарем) и проч.

Васильчиков, однако, не явился за совершенно уже разрушившимся в это время здоровьем его, а Рибопьер — за пребыванием в своих имениях. Нашлись еще и два рядовых той эпохи, состоявшие во время празднования юбилея сторожами в каких-то казенных местах. Каждому из них государь велел дать по 150 руб., и они сидели также за обеденным столом, между другими ветеранами, смеша всех колоссальным аппетитом и соответственно жаждой, хотя ели и пили все, что подавалось, более, может быть, из дисциплинарного чувства, не смея отказаться. В полк государь прислал на обед деньги, и, наконец, вечером все люди отправлены были на его счет в существовавший здесь в то время цирк Гверра. Полковой адъютант Анненков и другой офицер[147], граф Крейц, пожалованы во флигель-адъютанты.

[144] Император Александр II исправил: «церковный парад».
[145] Император Александр II написал: «парадом».
[146] Император Александр II написал: «в Гербовом зале».
[147] Император Александр II прибавил: «командир лейб-эскадрона».

* * *

Кончина великой княжны Марии Михайловны, последовавшая в Вене в ночь с 6 на 7 ноября, поразила царственный дом наш новой печалью. 13 ноября, еще до манифеста, разнесли по городу афишки об отмене всех спектаклей на три дня, а потом наложен был трехмесячный траур; при дворе ограничились одними панихидами в Царском Селе, в котором пребывала еще в то время императорская фамилия, а для публики совершена была панихида в Казанском соборе, на которую пригласительные повестки разнесли от полиции, по обыкновению — на другой день.

Между тем, еще прежде получения печального известия, по письмам об отчаянном положении больной, отправился в Вену наследник цесаревич. После кончины великой княжны августейшая матерь ее с младшею дочерью осталась в Вене, а великий князь Михаил Павлович выехал оттуда в Петербург[148], куда повезли и тело усопшей. Тут пришла весть, что великий князь занемог в Варшаве, и государь, чуждый всякого утомления, — он только незадолго перед тем возвратился из Москвы, а летом ездил на встречу императрицы в Варшаву — 24 ноября в ночь снова полетел в этот город. Вдруг на рассвете 29 ноября жители Петербурга были крайне удивлены и частью испуганы при виде развевающегося над Зимним дворцом флага — знак, что государь уже опять в Петербурге, не докончив, видно, предположенной поездки. Тотчас пошли расспросы, догадки и, натурально, прикрасы и выдумки. Вот что случилось в самом деле, по рассказу мне тогда же графа Орлова, сидевшего в одном с государем экипаже.

Выехав отсюда по прекрасному санному пути, в первый раз в жизни государевой в закрытой кибитке, они у Вилько-

[148] Император Александр II написал: «в Варшаву, а после двухнедельного пребывания в Петербург».

мир, за недостатком снега, принуждены были пересесть в следовавшие за ними летние экипажи. Прежде того, у Динабурга и потом у Янова, наши путешественники благополучно переправились через не ставшие еще реки на паромах, а у Ковенской заставы, куда прибыли 26 числа в 11 часов темной ночи, были встречены полицмейстером, который на вопрос государя отвечал, что и через Неман, также еще не ставший, переправа совершенно безопасна.

— Вследствие того, — продолжал Орлов, — мы приехали через город прямо к реке, где в присутствии губернатора и всех местных властей отпрягли у нас лошадей, и коляску с поднятым верхом, в которой мы сидели, свезли на руках на паром. Так я думал в темноте, но вышло иначе. От берега шагов на 60 река была покрыта льдом, и на этот лед настлали доски, а паром причалили к тому месту, где он кончался. Едва протащили нас десять шагов, как вдруг доски заскрипели, лед проломился, и коляска начала погружаться. Задние колеса стали твердо на дно, но передние, не доставая уже до него, страшно колыхались, а везшие нас люди ушли в воду почти по горло. Первым делом было велеть скорее спустить верх коляски, чтобы при напоре воды и льда и сильном ветре ее не опрокинуло с поднятым верхом набок, в каком случае мы, с нашей тучностью, могли бы тотчас погибнуть. Когда, после больших усилий, эта первая операция удалась, представился второй вопрос: как выбраться из коляски, в которую уже сильно плескала вода? Придумали положить с края коляски на удержавшийся кругом лед несколько досок, по которым мы, наконец, и вышли на берег, но также с большими усилиями и сильно промокнув, особенно же вымочив себе ноги. Случись все это еще шагов десять далее, где река уже глубже, и Бог знает, что сделалось бы с нами! Увидев на берегу стоявшего еще тут губернатора (Калкатина), государь закричал на него:

— Вы губернатор?

— К несчастью, ваше величество!

Этот ответ так понравился государю, что он оставил губернатора без взыскания, но полицмейстера тут же велел арестовать за неосновательное донесение о безопасности переправы и тому же подвергнул местных чиновников путей сообщения за дурное ее состояние, не приняв отговорки, что о проезде его дано было знать только за пять часов.

— Потому, — сказал он, — что переправа должна быть не для одного меня, а для всех проезжих.

Самую же переправу, состоявшую до тех пор в заведовании управления Царства Польского, он сейчас решил передать в ведение графа Клейнмихеля. С берега мы поднялись назад, в Ковенский дворец, и государь поручил мне наблюсти, чтобы в ночь переезд был изготовлен. Действительно, к рассвету прорубили лед и паром причалили к берегу. Но между тем государь, уступая моим убеждениям, передумал. Впереди, в Царстве Польском, нас ожидало еще несколько переправ, и притом нельзя было предвидеть, в каком положении мы найдем реки на возвратном пути, а государю хотелось быть в Петербурге непременно 3-го или уже, по крайней мере, 4 декабря.

— Брат, — сказал он, — убедится, что в порыве желания обнять его я сделал 1500 верст (считая взад и вперед) и был остановлен только стихиями!

— Мы повернули назад. По приезде сюда он велел мне съездить тотчас к князю Васильчикову, графу Нессельроду и князю Чернышеву, чтобы передать им дело в настоящем виде и через то предупредить какие-нибудь ложные разглашения насчет политических обстоятельств. Впрочем, государь совершенно здоров и не чувствует никаких дурных последствий от ножной ванны в ноябрьской воде.

Наследник цесаревич свиделся с великим князем Михаилом Павловичем на дороге, в Тешене, а с великой княгиней в Вене и возвратился в ночь с 1 на 2 декабря. Михаил Павлович

оставался в Варшаве, больной более духом, нежели телом, и приехал в Петербург 4-го числа. Государь тотчас навестил его и упросил переехать на житье к себе в Аничкин дворец. Тело усопшей великой княжны было привезено в Чесму 10-го, в сопровождении фрейлины княжны Львовой, шталмейстера покойного графа Гендрикова и генерала Ильи Бибикова. Великий князь, со своей стороны, отозвавшись, что его сердцу слишком тяжело было бы присутствовать во второй раз при погребении дочери (она уже была отпета в Вене), удалился на все дни печальных обрядов в Новгородский кадетский корпус.[149]

Государь ездил к панихиде в Чесму и 10-го вечером, и 11-го утром. Печальный кортеж тронулся оттуда в 4 часа после обеда того же дня. Гроб везли в огромной карете, запряженной десятью лошадьми попарно; за ним следовали несколько генералов верхом, потом дамы с дежурными кавалерами и наконец военный конвой, состоявший из конной артиллерии и конных пионеров.

По непрочности еще невского льда назначено было навести для переезда кортежа в крепость Воскресенский мост; но за неисправностью подрядчика, скрывшегося в последнюю минуту от всех поисков, принуждены были ехать кругом, через мосты Исаакиевский и Тучков. При ужаснейшей погоде (9° морозу с такой метелью, которая залепляла глаза)[150], кортеж в таинственной своей мрачности двигался медленной рысью по темным Петербургским улицам, без факелов или других внешних погребальных принадлежностей.

---

[149] Император Александр II прибавил: «Сначала, а потом в Павловск, в любимый свой Константиновский дворец».

[150] За этим последовала немедленно оттепель, так размывшая подъем у крепости, что, вместо прямого пути, все кареты, приезжавшие потом к телу, от спуска у Мраморного дворца должны были прокладывать новый проезд по кочкам и рытвинам к домику Петра Великого.

Из членов царской фамилии не было при нем никого, но государь ожидал в крепости со всеми сыновьями и сам поднял гроб из карсты на катафалк, при котором находилось такое же дежурство, как у тела у великой княгини Александры Николаевны. 12-го числа публика допускалась к гробу от 7 до $10^1/_2$ часов утра и потом снова от часа до 8 вечера.

Но родительское сердце не утерпело… Великий князь Михаил Павлович вернулся из Новгорода и в 9 часов утра 13-го числа приехал дать последнее целование родному гробу. На это время все, не исключая и дежурства (я находился в его числе), были выведены из церкви. После уединенного своего прощания великий князь отправился на несколько дней в Павловск, а в крепости над телом архиепископ Курский Илиодор начал литургию, в присутствии особ первых четырех классов и гвардии штаб- и обер-офицеров.

Вслед за литургиею прибыл государь с наследником цесаревичем, тремя остальными своими сыновьями (императрица простилась с гробом, который стоял все время закрытым, еще накануне за панихидой) и, в присутствии их и всех тех же особ, совершена была последняя панихида митрополитом С.-Петербургским и Новгородским Антонием, с четырьмя другими архиереями. К склепу, устроенному за могилой великой княгини Александры Николаевны, гроб понесли сам государь с сыновьями и генерал-адъютантами.

Во время надгробной литии государь, стоявший в головах возле митрополита, плакал навзрыд, и кровь так приливала ему в голову, что страшно было смотреть. Тяжкие потери брата, одна вслед за другой, не могли не растравить вновь собственной его сердечной раны, едва затянувшейся. По окончании всей церемонии, сняв флер со своей каски, он вручил его дежурному камер-пажу Лашкареву со словами: «Вот тебе на память. Надеюсь, впрочем, что ты и без того бу-

дешь помнить этот день: ты, верно, в первый раз в жизни видел царя в слезах!..»[151]

Когда большая часть публики уже оставила церковь, в ней случилось трагикомическое происшествие. Молодой лейб-гусарский офицер Шеншин, спеша назад в церковь, чтоб объявить сестре своей, фрейлине, что отыскал ее карету, второпях, не заметив остававшейся еще открытой могилы, полетел в нее стремглав и с трудом был оттуда поднят, весь выпачканный посыпанным на гроб песком.

* * *

Под исход 1846 года князь Васильчиков уже совсем истаивал в предвестии предсмертной своей болезни. 2 декабря ему сделалось так худо, что послали предварить государя и графа Левашова (его зятя и ближайшего к нему человека). Государь тотчас приехал[152] вместе с наследником цесаревичем и долго сидел у умиравшего. Потом ему опять немного отдало, и он сам пожелал исповедоваться и приобщиться. Вслед за тем государь работал с графом Киселевым и, по словам последнего, казался крайне расстроенным. Во время доклада он несколько раз перерывал его, возвращаясь все к болезни Васильчикова и отирая слезы.

— И я, — говорил он, — и все вы только с его смертью почувствуете, как он нам был необходим и какую оставит после себя незаменимую пустоту.

Спустя несколько дней князю опять сделалось лучше, по крайней мере, так, что миновалась минутная опасность, и он даже почувствовал в себе достаточно сил, чтобы вступить снова в исправление своей должности.

---

[151] Император Александр II прибавил: «Это выдумка, ибо я все время был при государе и ничего подобного не слышал».

[152] Император Александр II прибавил: «В то самое утро воротившись из Варшавы».

* * *

Император Николай обладал чудесной памятью, в особенности на лица, имена и фамилии. В декабре 1846 года он посетил Пажеский корпус, где дежурным камер-пажом случился в то время один из моих племянников. Государь обратился к нему с вопросом:

— Как фамилия?

— Корф.

— Что ты, сын члена Совета?

— Никак нет, ваше величество.

— Чей же?

— Умершего полковника лейб-гвардии Саперного батальона.

— Не Николаем ли его звали?

— Точно так, ваше величество.

— Славный был человек; желаю, чтоб ты шел по его следам.

А надо знать, что этот полковник Николай (брат моей жены) умер в 1831 году, т. е. за пятнадцать лет перед тем.

XV
1847 год

Образование инспекторского департамента гражданского ведомства — Кончина и похороны князя Васильчикова — Рождение великого князя Владимира Александровича — Особенность характера императора Николая I — Князь Николай Андреевич Долгоруков — Болезнь государя — Майский парад и подметное письмо — Назначение М. А. Корфа временно управляющим II отделением Собственной канцелярии — Колокола Исаакиевского собора — Красносельский лагерь — История генерал-лейтенанта Тришатного — Омнибусы — Приезд невесты великого князя Константина Николаевича — Поручение барону Корфу прочитать курс законоведения великому князю Константину Николаевичу — Присяга великого князя — Болезнь государя — Лекция о престолонаследии — Отметка государя на записке о лекциях

В исходе 1846 года учрежден был инспекторский департамент гражданского ведомства — установление, не имевшее дотоле ничего соответственного в нашей администрации, и это новое дело, которое при своем рождении было совсем не популярным и встречено даже общим неудовольствием, началось, как бы нарочно, рядом ошибок.

В первом высочайшем приказе по гражданскому ведомству, вышедшем 1 января 1847 года, оказалось их целых три, а именно: об одном камер-юнкере сказано было, что он переименовывается (вместо жалуется) в камергеры; другой чиновник назван служащим в канцелярии небывалого Лифляндского военного генерал-губернатора (вместо Рижского военного губернатора), и наконец, третий произведен в чин со старшинством с 31 сентября — числа, которого не существует в календаре.

* * *

Здоровье князя Васильчикова, несколько, как я уже говорил, оправившегося к концу 1846 года, с первых дней

следующего начало быстро клониться к совершенному разрушению. 30 января, на балу у графа Закревского, государь сказал мне, что был утром у князя и нашел его очень плохим.

— Бедный наш Илларион Васильевич, — прибавил он, — всякий раз, как я его увижу, раздирает мое сердце.

— Однако, государь, — сказал я, — навестив его на днях, я остался несколько доволен его положением.

— Не знаю, лучшего в нем разве только то, что воротился голос, но он в какой-то апатии, которая не обещает ничего хорошего.

— И между тем, ваше величество, все говорит с жаром о государственных делах; думаю, что это будет последним его словом даже на смертном одре.

— Да, да, душевно жаль бедного; такого уже мне не нажить, даже если б и лета позволяли думать о новых дружбах.

Спустя несколько дней в положении больного произошел опять некоторый, и даже очень заметный, поворот к лучшему. Государь, получив о том бюллетень (ему присылали их по два раза в день), поспешил с ним к императрице и тут показывал его всем приближенным со слезами на глазах, радуясь, как ребенок. Но дело уже было решено невозвратно.

Предсмертные страдания продолжались очень долго, почти неделю. Врачи по несколько раз собирали всех членов семейства к постели умиравшего, в предвидении его кончины; но он всякий раз снова оживал. Даже и этой чистой душе трудно было расстаться с земной ее оболочкой! Весь, можно сказать, город был в ожидании, в смутной тревоге. По Литейной почти не было проезда; ряды экипажей непрерывно тянулись к подъезду его дома, как в день его юбилея; передняя и приемные комнаты были постоянно наполнены людьми, являвшимися узнавать о развязке. Интересы расчетливого эгоизма, разумеется, уже умолкли перед открывавшимся гробом; но все более или менее сочувствовали умиравшему, а для иных эта нескончаемая агония приняла даже почти характер физиологической задачи…

Государь заезжал наведываться раза по два и по три в день; с угасшим последним лучом надежды все желали скорейшего окончания страданий. Оно последовало 21 февраля в 10-м часу вечера.

Для императора Николая, по чувствам его, эта потеря была тем же, что потеря Лефорта для Петра Великого. Князь Васильчиков был единственный человек в России, который во всякое время и по всем делам имел свободный доступ и свободное слово к своему монарху, человек, которого император Николай не только любил, но и чтил, как никого другого; один, в котором он никогда не подозревал скрытой мысли, которому доверялся вполне и без утайки, как прямодушному и благонамеренному советнику, почти как ментору; один, можно сказать, которого он считал и называл своим другом! С Васильчиковым исчезло, в этом отношении, совершенно типическое и исключительное лицо, которое уже не могло более возобновиться в то же царствование.

Желая предварить сухие газетные объявления, я в ту же ночь написал и рано утром послал государю, при коротеньком письме, следующую некрологическую статью:

«21 февраля, в 10-м часу пополудни, после продолжительной болезни, окончил полезную и славную жизнь свою, на 70-м году ее течения, председатель Государственного Совета и Комитета министров, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, князь Илларион Васильевич Васильчиков. Совершив обширный почти 55-летний круг службы на поле битвы и в советах царских, заплатив долг отечеству, если только кто-либо сполна заплатить его может, он вправе был искать покоя и — не искал его. Один последний, смертельный недуг отторгнул его от дел; но и среди тяжких страданий дух его, все помыслы, все желания, все беседы, все еще обращены были к постоянной цели доблестной его жизни: к славе *обожаемого им* [153] государя и к благу отечества, на алтарь которого

[153] Подчеркнутые здесь и после слова изменены были государем, о чем я ниже упомяну.

он столько раз слагал бытие свое и силы. Память и дела его принадлежат потомству. Россия вправе ожидать и требовать подробного его жизнеописания; но теперь, в первые минуты горестной утраты, может и должна лишь глубоко о нем скорбеть. В князе Васильчикове она потеряла не только мужа государственного, с отличнейшими качествами души и сердца, с светлым разумом, со знанием государства и *нации* и с самыми чистыми намерениями, рыцаря правды, чести и общей пользы; она потеряла еще истинно русского человека, проникнутого и, так сказать, пропитанного всем, что есть лучшего и благороднейшего в духе русском, с родовой преданностью трем коренным началам нашего бытия: православию, самодержавию и народности. *Предместники его могли принадлежать всякой стране;* князь Васильчиков мог родиться только в России! Заслуги, доблести и чувства его имели высокого ценителя в государе императоре Николае Павловиче, как некогда находили себе такого и в августейшем его предшественнике. Сверх публичных изъявлений и законов почестей, коими князь был почтен и возвышен, то, что наиболее было для него драгоценно, — неизменное доверие монарха, — сопровождало его до гроба. Участие и внимание его величества в последние дни земной жизни умягчили страдания того, для которого отныне началась другая жизнь, — жизнь в вечности и в истории!

Князю Васильчикову, в высоком его положении, сужден был удел, редкий и для частных лиц: стяжав общее уважение, общую доверенность к своему характеру, он не имел ни одного врага! Над гробом его со слезами осиротевшего семейства единодушно соединяются и слезы великой семьи народной, отец которой недавно еще говорил: «Государи должны благодарить Небо за таких людей!»[154]

[154] Слова, слышанные мной самим от императора Николая.

Государь немедленно возвратил мне мою статью, изъявив соизволение на напечатание ее в газетах, но с тремя собственноручными в ней поправками.

1) Вместо «обожаемого им государя» он написал «своего»; 2) вместо «нации» — «народ» и 3) слова: «предместники его могли принадлежать всякой стране» он совсем исключил. Я сожалел о первой из этих поправок: именно обожание императора Николая издавна составляло одну из отличительных, типических сторон покойного.

В то же утро я поехал поклониться телу. За неокончанием еще последних приготовлений дверь была для всех заперта; но меня, как полудомашнего, впустили. Покойный лежал на столе, в своем кабинете, где и скончался, в мундире гусарского своего имени полка, мало изменившийся; в ногах читал псаломщик; вдоль стен комнаты безмолвно сидела семья. Все казалось патриархальным, как всегда в этом доме; но сам патриарх лежал с закрытыми навек глазами. Мне стало неизъяснимо грустно, и тем более, что местом действия печальной сцены была та самая комната, в которой сосредоточивались воспоминания о всех долголетних и близких отношениях моих к усопшему…

Государь был у тела также еще в то время, когда оно лежало на смертной постели; за ним, несколько позже, наследник цесаревич и великий князь Михаил Павлович. К вечеру все поспело.

Тело переложили в гроб и перенесли в домовую церковь, где в 8 часов совершена первая торжественная панихида. И на этой и на последующих было такое стечение, какого мне еще не случалось видеть ни на одной подобной церемонии по частному лицу.

Отпевание предполагали совершить в ближайшей к дому церкви св. Симеона; но по воле государя оно 26-го числа происходило в церкви Преображения, как соборе всей гвардии, которой некогда командовал покойный. Литургию совершал

престарелый духовник государев и обер-священник гвардии Музовской с придворным духовенством, а последнюю панихиду, в присутствии государя и великих князей, митрополит Антоний с двумя архиереями.

В перенесении гроба с катафалка на колесницу приняли участие наследник цесаревич и великие князья Константин Николаевич и Михаил Павлович. Несмотря на 15° мороза, государь со всей свитой ехал верхом за гробом от Преображенского собора до Невского проспекта, откуда, пропустив еще перед собой войска, возвратился во дворец. Конвой составляли, сверх артиллерии, весь Конногвардейский полк, в котором покойный начал службу, и весь Образцовый кавалерийский полк, заключающий в себе отряды всех конных полков русской армии в память того, что князь носил звание инспектора всей кавалерии.

Тело отвезли в родовое имение в Новгородской губернии.

Замечательно, что при огромных окладах многих из наших государственных сановников, князь Васильчиков, старший между ними и отнюдь не богатейший, имел всего служебного содержания только шесть тысяч рублей в год. После его кончины это самое содержание было оставлено его вдове с двумя дочерьми, до смерти последней из них.

* * *

В ночь с 9 на 10 апреля пушечные выстрелы разбудили многих жителей Петербурга.

— Что такое? — спрашивали они. — Вероятно, разошлась Нева.

Нет, благодаря ночным морозам и холодным дням она в этот год простояла до 23-го числа. Дело состояло в том, что наследнику Бог дал третьего сына, Владимира. Цесаревна желала разрешиться в Царском Селе, чтобы там встретить весну, и потому 9-го были уже перевезены туда все вещи, а 10-го

хотела переехать она сама со всей семьей, как вдруг за ночь явился новорожденный.

30 апреля были крестины по обыкновенному церемониалу. Трехклассный обед отличался тем, что в это время года всем гостям подавали в изобилии малину, землянику и вишни и что, за разъездом артистов Итальянской оперы еще в начале Великого поста, вокальная музыка впервые составлена была из одних отечественных талантов. В заключение по программе должен был еще следовать «Венгерский марш» под дирекцией его сочинителя, известного композитора и музыкального критика Берлиоза, находившегося в то время в Петербурге; но обед, чтобы не слишком утомить императрицу, подавался так поспешно, что этот номер остался неисполненным.

После крестин, когда младенца понесли на половину его родителей, государь, проходя мимо расположенного там караула от лейб-гвардии Драгунского полка, спросил у людей, не хотят ли они видеть нового своего шефа (им назначен был новорожденный), и, на утвердительный ответ, велел обнести его по рядам.

* * *

По одному делу последовало собственноручное высочайшее повеление. Один из министров признал за нужное войти с разными возражениями против этого повеления, и притом не прямо к государю, а через Комитет министров, который принял и представил его замечания. Государь остался, однако, при прежде изъявленной им воле. В этот самый день, когда заключение Комитета было им рассмотрено, граф Киселев обедал во дворце и нашел государя крайне разгневанным.

— Ты знаешь, — сказал он, — как я терпелив в разговоре наедине и выслушиваю всякий спор, принимаю всякое

возражение. Тут я, пожалуй, позволю сказать себе и дурака, хотя могу этому не поверить. Но чтобы назвали меня дураком публично перед Комитетом или другой коллегией, этого, конечно, никогда не попущу.

* * *

По весне получено было известие о кончине генерал-губернатора Харьковского, Полтавского и Черниговского князя Николая Андреевича Долгорукова, человека очень умного, но крайне расточительного и проживавшего всегда более, чем он получал. Все знали, что дела его в самом расстроенном положении и что, при всем уме и административных дарованиях, он нисколько не отличался особенной строгостью правил там, где дело касалось денежных интересов; но никто, однако же, не воображал, чтобы он мог кончить так, как оказалось после его смерти.

Уже на смертном одре, в Харькове, он призвал к себе тамошнего губернатора Муханова и вручил ему два письма к государю, с просьбой отправить одно, как только он умрет, а другое — несколькими днями позже. Так и было сделано. В первом письме, объясняя горестное положение, в котором остается его семья, Долгоруков поручал ее участь монаршему милосердию. Государь тотчас назначил его вдове пенсию в 4 тыс. руб.

Но неожиданность заключалась во втором письме. Здесь Долгоруков сознавался, что стесненные обстоятельства вынудили его прикоснуться к переходившим через его руки казенным суммам и что, таким образом, он взял из них в последнее время и употребил на свои надобности 43 тыс. руб. серебром. Это последнее письмо государь велел рассмотреть в Комитете министров, который определил: 1) на все оставшееся после Долгорукова имение тотчас наложить запрещение и 2) для приведения в точную известность всего этого

дела, не довольно выясненного в письме, командировать в Харьков особого надежного чиновника. Государь, соизволив на это, не мог скрыть своего неудовольствия.

— Если, — говорил он, — так поступил мой наместник, генерал-адъютант, член, по роду и положению, высшей нашей аристократии, то чего же ожидать от людей обыкновенных, и какое остается мне иметь доверие к людям равным ему, к его товарищам. Гадко, мерзко, отвратительно.

После Долгорукова осталось три брата: Илья — начальник штаба генерал-фельдцейхмейстера, Василий — начальник штаба одного из кавалерийских корпусов[155], расположенных внутри империи (впоследствии военный министр) и Владимир — вице-директор Провиантского департамента, перед тем пожалованный в флигель-адъютанты. В Петербурге, во время получения известия об этой грустной истории, находились только первый и третий. Оба тотчас написали государю, что считают священным долгом сознанную их братом растрату казенных денег взять на себя. Государь принял этот вызов с особенным благоволением и отозвался, что на месте братьев поступил бы точно так же; но самое предложение их отклонил.

* * *

В марте император Николай очень часто жаловался на свое здоровье. Он страдал сильными приливами крови, головокружением и колотьем в боку. Постепенно из соединения этих припадков образовалось нечто вроде горячки, и мы только пиявкам[156] и другим энергическим средствам обязаны

---

[155] Император Александр II исправил: «всей резервной кавалерии в южных военных поселениях».

[156] Император Николай в шутку называл пиявок — сенатскими секретарями. Если он говорил: «Привесить мне полдюжины сенатских секретарей», — то камердинеры сейчас его понимали. Император Александр II против этого примечания написал: «Никогда этого не слыхал».

были спасением его жизни. Мандт, уволенный в заграничный отпуск, собирался уже ехать; но как государь к нему одному имел полное доверие, то он должен был отложить свой отъезд. Дошло до того, что рассмотрение дел, восходящих к высочайшему лицу, было передано наследнику цесаревичу.

Издавна преследуемый мыслью, что в доме Романовых никто не бывает долговечен, государь говорил близким, что болезнь его непременно требовала бы лечь в постель, но он не ложится единственно вследствие убеждения, что если ляжет раз, то наверное уже не встанет. В Светлое воскресенье, случившееся в этом году 23 марта, он не был в силах явиться к выходу, что, при его энергии и железном самообладании, очень много значило. Повестки к ночной церемонии были обыкновенные; но все вперед уже знали, что на ней не будет ни государя, ни императрицы. Вместо них вышли в церковь только наследник цесаревич с великой княгиней Марией Николаевной (цесаревна находилась в последнем периоде беременности) и всеми великими князьями. Выход был, впрочем, по обычному церемониалу: Государственный Совет ожидал в церкви, палата и воинство были размещены в своих залах. Наследник вошел, ведя сестру свою под руку, и потом следовал за крестами; но надо всем лежало какое-то облако грусти, несоответственное «торжеству из торжеств», и сам наследник казался очень мрачным. Целования не было. Члены царской семьи после утрени приложились к крестам и образам и похристосовались с державшим их духовенством, вслед за тем началась литургия. Государь слушал только утреню, сидя в комнатах великой княгини Ольги Николаевны, которые в это время занимал[157].

К концу месяца государь, впрочем, стал поправляться, и лейб-медик Рейнгольд, также участвовавший в лечении, ут-

[157] Император Александр II написал: «Находящихся подле его нижнего кабинета».

верждал, что вынесенная им болезнь может быть очень благодетельна для его здоровья, если не последует какой-нибудь особенной неосторожности или не будет каких-либо внешних причин раздражения, в его положении и при его характере часто неизбежных. 25 марта он впервые несколько прошелся по Дворцовому бульвару, под лучами весеннего солнца; но роль его и в этот день, на празднике Конногвардейского полка, опять занимал наследник. Только в начале апреля здоровье его совсем восстановилось.

* * *

Годичный парад всех гвардейских войск на Царицыном лугу, бывавший при императоре Николае обыкновенно в самых первых днях мая, в 1847 году, за чрезвычайно дурной погодой, постоянно со дня на день был откладываем и состоялся только 22 числа.

Накануне граф Киселев имел свой доклад, при котором государь рассказал, что получил безыменное письмо, предварявшее, что есть злой умысел воспользоваться парадом для посягательства на его жизнь.

— Это, впрочем, — прибавил он, — для меня не новое, и я уже не впервые получаю подобные записочки.

Парад длился пять часов, хотя трудно предположить, чтобы государь, продолживший его, как бы нарочно, долее обыкновенного, был в это время совершенно спокоен.

* * *

В поездку государя в 1845 году в Италию папа вручил ему записку о неудовольствиях римского кабинета на наш по делам римско-католической церкви в Царстве Польском и в западных губерниях. Для предварительных о том переговоров оставался еще в Риме несколько времени после государя граф

Нессельрод, а по возвращении последнего в Петербург был составлен здесь особый комитет из него и графов: Орлова, Киселева, Блудова и Перовского, для положения на меру дальнейших оснований к устройству сего дела. Затем окончательная на этих основаниях негоциация, при содействии посланника нашего в Риме Бутенева, возложена была на графа Блудова, служившего некогда по дипломатической части и управлявшего прежде делами иностранных исповеданий в России. Он отправился из Петербурга 18 августа, и заведование, в его отсутствие, II-м отделением Собственной его величества канцелярии поручено было престарелому и больному статс-секретарю Балугьянскому, но по одним лишь текущим делам и с весьма ограниченной властью.

3 апреля 1847 года я поехал к больной моей теще. Вдруг туда приезжает ко мне фельдъегерь.

— Что такое?

— Пакет от государя, с надписью: «Весьма нужное».

В нем — письмо на высочайшее имя от одной из дочерей Балугьянского с известием, что отец их опасно болен и находится уже при последнем издыхании. На письме надпись ко мне руки государя: «Сейчас только узнал; прошу посетить старика и поклониться от меня; а ежели скончается, поручаю вам принять отделение в ваше ведение, до возвращения графа Д. Н. Блудова».

Я тотчас поскакал к Балугьянскому, но уже не застал его в живых; вследствие чего вступил в должность и, донеся о том государю, испрашивал разрешение: вступить ли мне во все права Блудова, или, по примеру Балугьянского, ограничиваться только текущей перепиской, без присутствования в Комитете министров? Через час государь возвратил записку со следующей резолюцией: «Заведование II-м отделением разумею наблюдение по всем делам, в отделении производящимся или в оное передаваемым, кроме тех, кои отложены до возвращения графа Блудова; почему присутствовать в Комитете министров не считаю нужным, но в Кавказском».

Личные доклады мои по этому временному поручению, с их последствиями, относившись преимущественно к одному важному делу, по которому государь собирал особый Комитет под личным своим председательством, описаны в моем сочинении «Император Николай в совещательных собраниях».

По возвращении наследника цесаревича из-за границы, после продолжительного разговора его со мной о разных делах II-го отделения, я был осчастливлен (в Царском Селе 19 октября) следующими его словами:

— Мне очень приятно было слышать, после моего приезда, от государя, что он чрезвычайно доволен всем вашим управлением и не может довольно вами нахвалиться.

* * *

Достоинство и качество звука колоколов, отлитых для Исаакиевского собора, которые, до окончания строившихся колоколен, висели близ церкви на деревянных подставах, в последних числах мая были испытываемы в личном присутствии государя. Опыт так удался, что духовенство Исаакиевского собора, временно помещавшегося, многие уже годы, в Адмиралтействе, испросило позволение воспользоваться этими колоколами для благовеста в храмовый праздник св. Исаакия Далматского, бывающий 30 мая. Вследствие того обычный звон в определенное время на утренней и литургии был производим в эти колокола впервые, 30 мая 1847 года, по сигналам, дававшимся с Адмиралтейской колокольни.

* * *

Во время расположения войск в Красносельском лагере император Николай, кроме частых туда наездов, обыкновенно и живал там по несколько дней. Приезжавшая вместе с ним императрица занимала небольшой дворец в Красном Селе; но государь останавливался всегда в самом лагере, в

палатке, устроенной на все продолжение лагерного времени впереди Преображенского и Семеновского полков, за которой раскинуты были палатки для великих князей[158].

Свита обоего пола и приглашавшиеся на это время гости, обыкновенно несколько иностранных посланников с их женами, размещались по кавалерским домам в Красном. В течение этой временной лагерной жизни, сверх частых учений и смотров, устраивались увеселительные поездки на Дудергофскую гору, которая при императоре Николае превратилась в сад, с прелестным, посреди истинно альпийских пейзажей, швейцарским домиком, или шале, где обедали, пили чай, нередко и танцевали. Вечером бывала в центральном пункте[159] лагеря великолепная зоря, исполняемая оркестром из музыкантских хоров всех полков, т. е. около тысячи человек. Императрица, окруженная свитой и народом, сидела в тильбюри, государь ходил вокруг пешком, а музыканты играли несколько пьес, аранжированных для колоссального их хора. Наконец по сигналу государя взвивались три ракеты, и по третьей раздавался из главного корпуса лагеря и с раскиданных по окрестным горам частей его заревой залп всех орудий. После того музыка играла гимн: «Коль славен наш Господь в Сионе», государь и весь лагерь обнажали головы и среди общего безмолвия исполинский тамбурмажор читал «Отче наш», чем все и заключалось. Величие зрелища не могло не действовать на душу даже самого равнодушного.

* * *

Весной 1847 года общее внимание петербургской публики занято было историей генерал-лейтенанта Тришатного, ко-

---

[158] Император Александр II исправил так: «стоявшей во все продолжение лагерного времени подле самого Царскосельского шоссе, между Семеновским и Измайловским полками».

[159] Император Александр II написал: «перед ставкой государя».

мандира отдельного корпуса внутренней стражи и александровского кавалера. По донесениям генерал-губернатора князя Воронцова, которые подтвердились исследованием на месте посланного отсюда генерал-адъютанта князя Суворова, Тришатный вместе с подчиненным его, окружным генералом Добрышиным, обвинялся в допущении разных непростительных беспорядков и, вместе, в действиях, дававших повод подозревать их в лихоимстве. Вследствие сего оба по высочайшей воле были удалены от должностей, с преданием военному суду, с содержанием в продолжение дела в крепости и с секвестрованием их имущества.

Все это соответствовало порядку, законами предписанному, и Тришатный как человек грубый, дерзкий и со своими подчиненными жестокий до свирепости, не возбуждал к себе лично никакого особенного сострадания; но в городе распространилось большое неудовольствие на суровость тех форм, с которыми для обнаружения, не сокрыто ли Тришатным чего-нибудь, могущего служить к обеспечению казенного на нем взыскания, произведен был обыск в его квартире и даже над его женой и дочерьми.

Многие порицали также, что военному суду, названному генеральным и составленному из всех наличных в Петербурге полных генералов, под председательством председателя генерал-аудиториата князя Шаховского, велено было собираться в Георгиевский зал Зимнего дворца, т. е., с одной стороны, у подножия трона, от которого, говорили, надлежало бы исходить одним милостям, а с другой — в той самой зале, которая служит главным театром празднеств при брачных церемониях в царском доме.

Особенное сочувствие возбуждала к себе несчастная семья Тришатного, которая, сверх тягости постигшего ее удара, лишена была, через секвестр имущества, всех средств существования. Она состояла из жены, трех дочерей, фрейлин высочайшего двора, и двух сыновей, офицеров в гвардейской

конной артиллерии, и первые уже намеревались снискивать себе хлеб занятиями в частных домах. Но милосердие государя, рассудившего, что обвиняемый не есть еще осужденный, все исправило. Тришатному отвели в крепости пять или шесть заново отделанных и убранных комнат, в которые, сняв стоявший перед ними караул, перевезли также жену его и дочерей и потом, во все продолжение суда, всю семью содержали на казенный счет и даже прислали для нее повара с придворной кухни.

Суд начался 26 апреля и собирался каждую субботу. Тришатного и Добрышина перевозили через Неву из крепости во дворец к допросам, каждого в особом катере. Все члены заседали в парадной форме, т. е. в шитых мундирах и лентах. В продолжение суда государь однажды сказал князю Шаховскому:

— Я очень рад, что председателем в этом деле ты. Ты старик, да и я уже не молод; мы остережемся, чтоб не запятнать нашей совести какой-нибудь лишней строгостью или опрометчивостью, потому что и Тришатный старик, так чтобы нам не совестно было встретиться с ним на том свете.

Суд продолжался весьма долго и окончился, кажется, уже в августе, присуждением, обоих подсудимых наравне, к лишению чинов, знаков отличий и дворянства и к разжалованию в рядовые. Государь при конфирмации приговора сделал в нем ту отмену, чтобы Тришатного, в уважение к прежней отличной службе, не лишать дворянства и за раны производить ему инвалидный оклад пенсии по прежнему чину, с разрешением жить, где пожелает. Впрочем, об этом деле Петербург столько уже наговорился в его начале, что решение прошло почти незамеченным, и в это самое время гораздо более было толков о французских приговорах над Тестом и Кюбьером, оглашенных в газетах со всеми по ним прениями.

* * *

Прежние огромные и неуклюжие омнибусы, ездившие по Невскому проспекту четверкой в ряд почти всегда пустые, очень скоро прекратили свое существование, и Петербург опять остался без общественных карет, пока в 1847 году начальнику[160] 1-го кадетского корпуса[161] барону Шлиппенбаху не пришла счастливая мысль возобновить это дело на других совсем основаниях. С воскресенья 20 апреля стали ходить у нас щегольские экипажи нового устройства под названием карет Невского проспекта, десятиместные, запряженные парой и при том на лежачих рессорах, что тогда в Петербурге было еще большой редкостью, потому что, кроме карет, имевших особое название докторских, все экипажи делались еще на стоячих рессорах. За проезд с каждого пассажира взималось 10 коп. Конечными пунктами движения этих карет были, с одной стороны, Пески, с другой — то место на Английской набережной, откуда начинался строившийся в то время постоянный мост через Неву. Они с самых первых пор очень полюбились нашей публике и были всегда так полны, что с трудом открывалась возможность достать в них место. В начале мая в одной из таких карет вместе со всей публикой прокатился из любопытства и государь. Когда при входе его прочие, сидевшие в ней, сжались, он извинился перед ними, что длинными своими ногами занимает много места.

В том же году, с воскресенья, 14 сентября, открылась и другая линия публичных карет, от Лиговки у конца Бассейной и Садовой.

* * *

8 октября государь, объездив часть южной России, возвратился в Царское Село через Варшаву, откуда ехали наследник

[160] Император Александр II исправил: «директору».
[161] Император Александр II прибавил: «генерал-лейтенанту».

цесаревич с супругой, привезшие с собой из-за границы нареченную невесту великого князя Константина Николаевича, принцессу Альтенбургскую Александру, и прибывший к ней на встречу августейший жених. В ночь с 10-го на 11-е все они ночевали в Луге, а 11-го последовал торжественный въезд невесты в Царское Село, которого, жив там в то время, я был свидетелем. Государь с остальными членами своей семьи встретил дорогих гостей у выходящих на Гатчинское шоссе ворот Царскосельского сада и оттуда, уже с ними вместе, проехал прямо в дворцовую церковь. В саду была расставлена пехота, а на большом дворе перед дворцом — кавалерия; при входе же невесты в церковь происходила пушечная пальба. Мы, т. е. военная свита государева, первые чины двора и принадлежавшие к нему из числа царскосельских жителей, ждали в зале перед церковью, куда вошли вслед за царской семьей. Тут было краткое молебствие с многолетием, и вросший почти в землю от старости духовник государев Музовский сказал принцессе несколько приветственных слов. Минута торжественная! Потом, в зале и в сенях, в нее ведущих, происходили, в виду нашем, представления принцессе всех, оставшихся еще ей дотоле незнакомыми, членов новой ее семьи, целования, обнимания наследником и цесаревной их детей после разлуки с ними. Все в этой домашней картине дышало радостью; императрица обливалась слезами, государь был видимо растроган; мало кто и из нас не плакал…

На другой день, в воскресенье, к придворной обедне невеста не являлась, а вечером, после фамильного обеда, были во дворце французский спектакль и ужин, опять в общем нашем присутствии. В антрактах спектакля императрица сама подводила принцессу к сидевшим в первых рядах дамам, а после ужина точно так же обходила с ней всех прочих; на следующий же день государь представлял ей мужчин.

* * *

Во вторник, 21 октября, был в Царском Селе небольшой бал у наследника цесаревича. Увидев меня тут, государь взял под руку и отвел в сторону. Разговор, начавшись с одного важного дела II-го отделения, слушавшегося накануне в Государственном Совете, после минутного молчания принял вдруг совершенно непредвиденный мной оборот.

— Знаешь ли что, любезный Корф, — сказал государь, — я хочу просить у тебя большой милости. Ты помнишь, что покойный Михаил Михайлович (Сперанский) при конце воспитания Александра Николаевича (наследника) занимался с ним законоведением; хочешь ли ты много обязать меня, взявшись за это с Константином Николаевичем?

Я стоял, как пораженный громом этой неожиданностью, и едва мог сказать:

— Государь, такая милость, такое доверие… но не знаю, способен ли я на это, в силах ли удовлетворить вашим ожиданиям?

— Ну уж это предоставь моей заботе; я знаю, кого выбираю, знаю и уверен, что ты будешь действовать точно так же усердно, добросовестно и умно, как всегда во всех твоих обязанностях, а меня, повторяю, лично и много этим обяжешь.

После того он говорил еще, по крайней мере минут с десять, о свойствах великого князя; о том, что будущий воспитанник мой исполнен дарований, о предубеждении его против нововведений Петра Великого и любви к старой, допетровской России, о желании своем, чтобы я старался опровергнуть это предубеждение и показать великому князю развитие нашего законодательства и государственного устройства преимущественно из элементов отечественных, и т. п. Но я находился еще в таком волнении от внезапности предложенного мне, что слушал более наружным видом, нежели разумением, и оттого мог удержать в памяти только

эти главные предметы его беседы, без слов, которыми они были выражены.

— Но позвольте же, государь, — спросил я наконец, — узнать волю вашу о том, в каком пространстве, в каких пределах должны быть ограничены эти занятия?

— Я даю тебе год времени, т. е., разумеется, учебный год, до каникулярного времени, когда Косте надо будет идти в море. Эта необходимость, к сожалению, всегда останавливала развитие его воспитания; но теперь, когда все настоящие уроки его уже окончились, он будет иметь более досуга для тебя. Что касается до плана, я ни в чем тебя не ограничиваю и не стесняю; ты знаешь, что Сперанский оставил записки о своих, как он их называл, беседах с Александром Николаевичем: тебе надо будет их отыскать; но, впрочем, я и тут не стесняю тебя: делай, как разумеешь лучше.

— Государь, — сказал я после новых еще милостивых изъявлений его величества, — я глубоко чувствую ваше благосклонное доверие, но так поражен этой неожиданностью, что могу отвечать на ваш милостивый вызов только благодарными слезами.

Действительно, глаза мои и голос были полны слез; они навернулись и у государя.

— Ну, спасибо, спасибо, — отвечал он, крепко пожимая мне обе руки. — Повторяю, что ты много меня одолжаешь и не тебе меня, а мне тебя благодарить. Пожалуйста же, как найдешь след записок Сперанского, дай мне тотчас знать, и тогда еще переговорим.

Итак, после тридцатилетней практической жизни, с полузабытыми школьными сведениями, мне предстояло выступить на совсем чуждую мне педагогическую арену, и в каких обстоятельствах! Я вполне чувствовал, что от этого могли зависеть и дальнейшая моя репутация, и мнение обо мне государя, и судьбы мои и моего семейства, более же всего боялся прирожденной мне робости. Выбора, однако же, не остава-

лось, и я безропотно покорился персту Божию, во всю жизнь мою ведшему меня, как мать ведет ребенка, не спрашиваясь бессознательной его воли. Но все это относится уже к личной моей биографии и в подробностях своих совсем здесь не у места.

Записки Сперанского отысканы были через несколько дней, и государь, приняв меня 26 октября в Александровском Царскосельском дворце, в своем кабинете, посадил рядом с собой за письменный свой стол. Разговор был продолжительный, искренний, доверчивый, притом — настоящий разговор, потому что и мне приходилось говорить много, развивая мысли и план, придуманные мной для предстоявших занятий. Возвратясь к тому же предмету, которого он коснулся и в первый раз, государь опять пространно изъяснялся о блестящих умственных способностях великого князя.

Я, с моей стороны, представлял, что, при всем моем благоговении к гению и огромным сведениям Сперанского, не нахожу возможным следовать в моих чтениях его запискам, потому что он, начав и кончив свое образование по устаревшим схоластическим системам и сам долгое время быв учителем, никогда не мог вполне высвободиться из-под их влияния. Далее я изъяснял, что нахожу точно так же невозможным, по краткости времени, да и вовсе ненужным, по предназначению великого князя, приготовить из него магистра прав, а имею в виду, передав ему из области теории одни только общие, самые главные начала, остановиться преимущественно на практической точке, т. е. на исторической и догматической стороне нашего законодательства сравнительно с важнейшими иностранными, словом, на том, что может ему быть пригодно и полезно в высоком призвании помощника русского царя.

— Твое замечание о Сперанском, — сказал государь, — очень справедливо; что он был одним из примечательнейших людей при брате Александре и в мое царствование, в том

никто не усомнится; но он до конца своей жизни немножко школьничал и особенно любил цифры и подразделения: раз, два, три, четыре. Я повторяю, впрочем, что нисколько не стесняю тебя ни им, ни кем- и чем-нибудь другим. Делай, что и как хочешь, и я уверен, что все будет хорошо, и опять вперед много, много благодарю. Просил бы только, если другие занятия тебе позволят, начать поскорее, потому что время коротко. Условься обо всем этом с Литке[162], а между тем, чтобы Костя посмотрел, как делаются дела, я посажу его к вам в Совет, разумеется так же, как сидел сперва Александр Николаевич, т. е. без голоса, простым слушателем.

Затем, когда речь коснулась теории права, государь говорил:

— Совершенно согласен с тобой, что не надо слишком долго останавливаться на отвлеченных предметах, которые потом или забываются, или не находят никакого приложения в практике. Я помню, как нас[163] мучили над этим два человека, очень добрые, может статься, и очень умные, но оба несноснейшие педанты: покойники Балугьянский и Кукольник. Один толковал нам на смеси всех языков, из которых не знал хорошенько ни одного, о римских, немецких и Бог весть еще каких законах; другой — что-то о мнимом «естественном» праве. В прибавку к ним являлся еще Штор, со своими усыпительными лекциями о политической экономии, которые читал нам по своей печатной французской книжке, ничем не разнообразя этой монотонии. И что же выходило? На уроках этих господ мы или дремали, или рисовали какой-нибудь вздор, иногда собственные их карикатурные портреты, а потом к экзаменам выучили кое-что в долбежку, без плода и пользы для будущего. По-моему, лучшая теория

[162] Адмирал Федор Петрович Литке, воспитатель великого князя Константина Николаевича с самого его младенчества.

[163] То есть его и великого князя Михаила Павловича, воспитывавшихся вместе.

права — добрая нравственность, а она должна быть в сердце независимо от этих отвлеченностей и иметь своим основанием — религию. В этом моим детям тоже лучше, чем было нам, которых учили только креститься в известное время обедни да говорить наизусть разные молитвы, не заботясь о том, что делалось в душе. Моими детьми, благодаря трудам почтенного человека, который занимается с ними законом Божиим[164], я могу в этом отношении похвалиться: они все истинно религиозны, без ханжества, по чувству.

Наконец, при разговоре о патриотизме и чувстве народности, изъясняясь, сколько, при всей их необходимости, должно однако ж, избегать крайностей, государь прибавил, что с этой стороны он не может ничего приписать влиянию своих учителей, но очень многим был обязан людям, в обществе которых жил (по тогдашнему официальному названию — кавалеры) Ахвердову, Арсеньеву и Маркевичу (государь назвал их всех по именам и отчествам), и которые искренно любили Россию, а между тем понимали, что можно быть самым добрым русским, не ненавидя, однако ж, без разбору всего иностранного.

27 октября граф Блудов возвратился из римской своей миссии. Спустя несколько дней государь, приказав ему вступить снова в управление II-м отделением, отозвался, что, впрочем, он найдет его в совершенном порядке. 2 ноября, в воскресенье, после обедни, государь благодарил меня в самых милостивых выражениях, с жаркими пожатиями руки, как он выразился, за отдание, и кроме того долго еще беседовал о разных предметах, более же всего о новых моих занятиях. На вопрос о том, должно ли знакомить великого князя с

[164] Протоирей Василий Борисович Бажанов, который после смерти Музовского назначен был духовником их величеств.

конституционными планами, долго занимавшими императора Александра, государь отвечал:

— Разумеется, и непременно. Его надо вводить во все, со всей искренностью, и ничего от него не скрывать. Из твоих рассказов он увидит, что Александр Павлович после сам убедился в невозможности осуществить свои идеи и отошел от них, сожалея даже, что дал конституцию Польше.

Затем 3 ноября я удостоился получить следующий всемилостивейший рескрипт: «Барон Модест Андреевич! Повелев, по возвращении статс-секретаря графа Блудова, вступить ему по-прежнему в управление II-м отделением Собственной моей канцелярии, я с особенным удовольствием объявляю вам совершенную благодарность за всегдашнюю готовность вашу исполнять обязанности, доверием моим на вас возлагаемые, и за неутомимое усердие, оказанное вами в продолжение временного управления вашего II-м отделением Собственной моей канцелярии. Пребываю вам благосклонный».

Фраза о всегдашней готовности и проч., очевидно, относилась не ко II-му отделению, а к занятиям моим с великим князем. Это подтвердилось для меня и рассказом графа Киселева, который, обедав накануне во дворце, слышал от государя, что он «очень признателен Корфу за согласие исполнить его просьбу».

Когда я благодарил государя за рескрипт, он заключил милостивые свои изъявления так: «Надеюсь, что ты всегда и во всем, во всяких обстоятельствах, будешь моим!»

«Надеюсь, с его стороны не было никаких дурацких вопросов?» — спросил он, говоря о моем ученике, и я, по совести, мог отвечать отрицательно, прибавив, что не могу довольно нахвалиться его любознательностью и вниманием.

* * *

26 ноября совершилась торжественная присяга великого князя Константина Николаевича по случаю достижения им

(9 сентября) указанного для лиц императорского дома совершеннолетия. Церемония величественная и трогательная! И присягу в придворном соборе, и другую, перед войсками, у подножия трона, в Георгиевской зале, великий князь прочел громко, явственно с чувством, с жизнью, несмотря на то, что во второй, которой слова он должен был повторять за священником, ветхий днями и силами Музовский заставлял его делать разные пространные расстановки. В церкви, после присяги, государь подвел его (об этом не было упомянуто в церемониале) приложиться к выставленным тут регалиям, и вслед за тем начались царственные лобзания, самые нежные, посреди слез. Взгляд, с которым великий князь бросился в объятия старшего своего брата, наследника цесаревича, был такой, что я тут же упал бы пред ним на колени. Царская фамилия присутствовала вся, кроме великой княгини Елены Павловны, бывшей нездоровой. В Георгиевской зале императрицу, стоявшую на ступенях трона, окружали великие княгини и дети цесаревича, а государь стоял возле присягавшего. Великие князья находились все в строю. После присяги Совет, Сенат, статс-секретари, генерал и флигель-адъютанты приносили Константину Николаевичу поздравления в Концертной зале. Мы стояли огромным полукругом, а он подходил с несколькими приветливыми словами к каждому, кого знал сколько-нибудь в лицо.

— Каково, — сказал он мне потом, — было господам иностранным дипломатам, когда я присягал служить против всякого врага и супостата, и несколько раз, восхищаясь словами молебствия, повторял: «Великий, прекрасный день!»

Имев в виду переданное мне государем предположение посадить великого князя Константина Николаевича в Государственный Совет и, с одной стороны, не зная, когда оно будет приведено в исполнение, а с другой, предвидя, что, по общему плану наших занятий, мы еще не слишком скоро приступим к обозрению истории и образования Совета,

тогда как без всякого ознакомления с сими предметами великому князю неудобно присутствовать даже и простым слушателем, я в конце ноября написал обо всем этом государю, и через четверть часа записка моя возвратилась со следующей собственноручной его надписью: «Полагаю, что лучше не выходить из систематического изложения; присутствие без голоса в Совете не связано с какой-либо эпохой и потому последовать может в то время, когда узнаю, что беседы ваши уже дошли до сего предмета».

В начале декабря государь снова захворал, и притом так, что 6 декабря, в день своего тезоименитства, не мог даже присутствовать у обедни. 7-го он отважился выехать, но от этого выезда еще более разнемогся. Сделался род катаральной болезни, сопряженной с расстройством желчного отделения, и недуг тотчас принял характер если еще не совершенно опасный, то, по крайней мере, очень серьезный. Государь, как в предшедшую зиму, не был в силах никого принимать и должен был бросить все дела; несмотря на то, его никак не могли уложить в постель. Хотя с поникшей головой и в большой слабости, он постоянно оставался в креслах, в сюртуке, даже в галстуке, и притом не в обыкновенном своем кабинете в верхнем этаже Зимнего дворца, а в одной небольшой комнате из числа бывших[165] великой княгини Ольги Николаевны, с тремя окнами, каждым как ворота, двумя дверьми и еще камином[166].

В эту комнату, в нижнем этаже дворца, побудила государя перебраться нежная его деликатность, чтобы не заставлять Мандта, у которого в то время болела нога, беспрестанно подниматься к нему наверх.

---

[165] Император Александр II надписал: «из числа бывших в нижнем этаже подле половины великой княгини».

[166] Эту комнату, одну из самых неудобных во всем дворце, император Николай обратил потом в свой кабинет и вместе в спальню, и в ней наконец последовала его кончина.

Только с 15 декабря, когда у больного открылся сильный пот, его уговорили лечь в постель. В эту болезнь, как и во все прежние, масса публики знала о ней только по городским слухам; но, по крайней мере, для всех, имевших доступ во дворец, в этот раз выкладываем был в передней ежедневный бюллетень. К последним дням года здоровье государя стало ощутительно поправляться; но, вступив снова в дела, он все еще не мог не только выезжать, но и оставлять своей комнаты. 29 декабря я был позван обедать к императрице, в домашнем и самом маленьком кругу; государь, однако же, и тут ни к столу, ни после не показывался.

* * *

Занятия мои с великим князем Константином Николаевичем происходили постоянно по два раза в неделю. В половине декабря предметом одной из наших бесед следовало, по моему плану, быть истории престолонаследования в России, со всеми его многократными коловратностями и внезапными переворотами.

Написав очерк этой истории, со включением в него множества неизвестных публике подробностей, извлеченных мной из государственных актов и, касательно событий 1825 года, из рассказов великого князя Михаила Павловича и воспоминаний, изустных и письменных, некоторых из наших сановников, я, несмотря на полученное мной приказание вводить великого князя во все со всей искренностью, недоумевал, как эту записку, содержавшую в себе немало очень щекотливых мест, прочесть ему без предварительного просмотра государя, о котором, во время тогдашней его болезни, нельзя было и думать.

Посему я решился отослать мою записку к наследнику цесаревичу и испросить его разрешения, можно ли прочитать ее в таком виде Константину Николаевичу или же

отложить это до выздоровления государя, что, впрочем, заставило бы меня остановиться в дальнейших наших занятиях или изменить их план. Цесаревич, вытребовав меня к себе и приняв с обычной своей милостивою благоволительностью, объявил, что хотя, разумеется, не мог представить государю моей записки, но рассказывал ему ее содержание и именем его вполне разрешает меня прочесть ее великому князю. В заключение его высочество спросил о дне и часе, назначенных для ее чтения. На ответ мой, что оно будет в этот же самый день (16 декабря), в половине первого, цесаревич отозвался, что намерен сам при нем присутствовать.

Так и сделалось. Константина Николаевича записка, служившая, впрочем, канвой для более пространных словесных изъяснений, по-видимому, чрезвычайно интересовала; но и цесаревич благоволил слушать ее с таким вниманием, как будто бы не видел уже прежде, хотя предсказывания его при разных статьях ясно доказывали, что он не только все прочел, но и прочел даже с особенной внимательностью.

Когда я кончил, цесаревич объявил нам, что он имеет одну чрезвычайно любопытную бумагу, относящуюся к этому же предмету, а именно: воспоминания о событиях 1825 года, написанные его родителем, в два приема, в 1831 и 1835 годах, и что намеревается их нам прочесть, что вслед за тем и исполнил. Это — записка высшего исторического интереса, излагающая с большой подробностью не только самые факты, но и личные ощущения императора Николая, в которой, к сожалению, недостает, однако, несколько листов из середины, нигде не отысканных[167].

Подлинник, тут же нам показанный, написан был весь собственной рукой императора карандашом[168], но цесаревич

---

[167] Существенное содержание этой записки введено было потом в сочинение мое: «14-е декабря 1825».

[168] Впоследствии покойный герцог Лейхтенбергский сказывал мне, что этот подлинник достался ему. Император Александр II заметил: «Вздор, он никогда не выходил из моих рук».

предпочел, для большей разборчивости, прочесть нам всю пьесу по копии, переписанной частью им самим и частью великой княгиней Марией Николаевной. Записка эта так обширна, что чтение ее, ничем не прерывавшееся, заняло более полутора часов, а весь сеанс наш продолжился от половины первого до половины четвертого. При выходе цесаревич, пожимая мне руку, благодарил, что я «допустил его к нашим занятиям».

Вслед почти за этими, навсегда для меня достопамятными часами, наследник цесаревич также сильно занемог. По выложенным бюллетеням, он страдал ревматическими болями и лихорадочными припадками и принужден был слечь в постель. Вследствие этой болезни, при продолжавшемся еще нездоровье и государя, в Рождество 1847 года не было ни выхода, ни обычного военного торжества во дворце. Болезнь цесаревича была непродолжительна, но, как говорили врачи, сильно подействовала на его нервы. Впрочем, к концу года он еще не оставлял своей комнаты.

* * *

Никто не обладал более императора Николая высоким даром действовать не только на воображение и на рассудок, но и на чувство. В этом отношении искусство его было, можно сказать, волшебное.

В последних числах декабря я, по общему плану моих бесед с великим князем Константином Николаевичем, прочел ему историю и современное образование Государственного Совета. Так как здоровье государя в это время уже несколько поправилось и он снова занимался делами, то, ввиду прежде изъявленной им мне воли посадить великого князя слушателем в Совет, как скоро он ознакомится с устройством этого высшего государственного учреждения, я донес письменно о том, что мы его прошли. Государь принял, однако ж, мое

донесение, кажется, в виде общего отчета о ходе наших занятий, ибо, не дав на этот раз никакого повеления касательно присутствования великому князю в Совете, ограничился высылкой мне моей докладной записки с следующей высокопоощрительной, оживившей меня к новым трудам надписью: «С искренней благодарностью слышал от сына и прошу довершить начатое, мне в одолжение».

XVI
1848 год

Назначение графа Левашова председательствующим в Государственном Совете — Крещенский праздник — Разговор барона М. Корфа с наследником о событиях 14 декабря 1825 года — Пятидесятилетний юбилей великого князя Михаила Павловича — Болезнь императора Николая I — Масленица — Кончина адмирала Папахристо

Еще в продолжение болезни князя Васильчикова, а тем более после его кончины, все разговоры, не только в высшем обществе и в кругу административном, но и во всей петербургской публике, были сосредоточены на разрешении важного вопроса: кто будет его преемником? Между теми лицами, которых этот вопрос интересовал более или менее, непосредственно, произошла настоящая сумятица, почти революция, впрочем, самая мирная, потому что она ограничивалась лишь словами, догадками и вымыслами.

Надо было жить, подобно мне, в этом кругу, чтобы видеть и вполне оценить волнение, произведенное сказанным вопросом, и чтобы, вместе с тем, следить, как всякий выдумывал свое и как рождалось почти столько же разнообразных предположений, сколько было голов.

Первым кандидатом, если и не по степени дарований, то по некоторому виду права, называли графа Левашова; основание же к его праву заключалось в том, что он, в качестве старшего из председателей департаментов Государственного Совета, несколько уже лет, при частых болезнях или в отсутствие Васильчикова, исправлял его должность.

Другими кандидатами публика по своим соображениям назначала князя Варшавского, графа Орлова и графа Блудова; о последнем вести перешли даже и в иностранные газеты.

Наконец, в обществе передавались слова, сказанные будто бы государем, что хотя ему известны городские комбинации, но он сделает такое назначение, которое всех удивит.

Между тем прошли и Пасха, и все весенние и летние царские праздники, а назначения не последовало. Граф Левашов продолжал исправлять должность председателя, но все только по закону, как старший, на что не требовалось даже и особого высочайшего повеления; отзывы же и действия государя, вопреки всем толкам публики, не давали никакого повода заключать, чтобы выбор его уже остановился на ком-нибудь. При известности ему всех носившихся в городе слухов, равно как и общего напряженного ожидания, нельзя не допустить мысли, что он преднамеренно отлагал решение этого вопроса, находя некоторое удовольствие в зрелище разгара страстей и ложных догадок. Под конец лета, когда одна дама, наведя разговор на этот предмет, отважилась, прикрываясь щитом своего пола, на прямой вопрос: кто же будет председателем Совета, государь отвечал:

— Богу одному известно, и ему я и предоставляю решить.

Еще прежде того граф Левашов под предлогом, что занятия по должности председателя Совета поглощают все его время, просил освободить его от председательства в департаменте экономии, и когда на это косвенное напоминание последовало просто сухое соизволение, то наследник цесаревич заметил своим приближенным: «Неудачная попытка!» — Левашов изъяснился перед своими приятелями, что сам он не может говорить об этом с императором, но что однако его величество не раз говорил с ним о разных будущих своих видах по Государственному Совету, как бы о предмете, непосредственно до него, Левашова, касающемся. Таким образом, весь 1847 год прошел, не разрешив задачи, так всех занимавшей.

Между тем к Новому году надлежало, по учреждению Совета, явиться двум высочайшим указам: одному о подтверждении на местах председателей и членов по департа-

ментам, другому — о возобновлении на тот год назначения председателя Совета. Следственно, вопрос, во всяком случае, должен был развязаться: или назначением наконец настоящего председателя, или, ежели бы Левашов оставлен был в звании председателя департамента экономии, указанием, что государь имеет в виду назначить председателем Совета не его, а другого.

В последних днях декабря великий князь Константин Николаевич, разделявший общую неизвестность и общее любопытство, спросил меня, кто будет председателем Совета. Я отвечал, что если не знает он, то еще менее можно знать мне, но в числе городских кандидатов назвал, разумеется, и Левашова.

— Как, помилуйте, из полицейских драгунов?

— Что же, у нас был однажды военный министр даже из рекрутов (граф Вязмитинов).

— Нет, это совсем другое, а уже фактически председатель Государственного Совета из полицейских крючков — тут, право, не было бы никакого приличия.

— Во-первых, ваше высочество, он давно уже председатель, а во-вторых, нисколько еще не доказано, чтобы он служил когда-нибудь в полиции; это одна молва, одно предание, а в формуляре значится только, что он начал службу в штате военного генерал-губернатора.

— Нет, уж извините: мне сам папа сказывал, что он служил в полицейских драгунах.

В моих глазах слова великого князя ужасно роняли акции Левашова, независимо от всего другого, уже и по тому одному, что сказывал это — государь.

И, при всем том, вопрос должен был решиться в пользу этого кандидата…

При воспоследовании упомянутых указов был назначен на 1848 год хотя и не председателем, а председательствующим Совета именно граф Левашов, с оставлением его, однако же, и председателем департамента экономии.

— Не титул важен, — говорил он мне сам, — а прерогативы должности и личное усердие.

— Мое положение, — продолжал он, — было нестерпимо, и лишь теперь, когда у меня развязаны руки, я могу действовать так, как велит мне долг.

Многие из нас не разделяли этого мнения и, дивясь, отчего задача, так долго тревожившая умы в Совете и в публике, не получила той же развязки уже за десять месяцев перед тем, находили, что в сущности ничего не переменилось: ибо и по титулу, и по редакции указа все осталось по-прежнему временным, тем более, что Левашов был оставлен и при прежней должности председателя департамента.

* * *

День Богоявления в 1848 году был празднован особенным образом. Ни государю, ни наследнику состояние их здоровья не позволило сделать большого выхода, и вследствие того они слушали обедню в малой дворцовой церкви, куда были приглашены только военная свита и высшие придворные чины; в придворном же соборе совершал торжественную литургию, почти перед пустыми стенами, архиепископ курский Илиодор. Затем в дворцовых залах размещены были, по обыкновению, отряды[169] гвардейских полков с знаменами и все городское духовенство, которые после совершили парадный выход на Иордан, точно как бы в высочайшем присутствии. За крестным ходом шли великие князья Михаил Павлович и Константин Николаевич и герцог Лейхтенбергский, а государь с наследником и царственными дамами смотрели на церемонию из окон Большой (Мраморной) аванзалы.

---

[169] Император Александр II написал: «Отрядов не было, а были одни только знамена, которые и следовали за церковной процессией».

* * *

В этот же самый день Богоявления 1848 года случайно было положено начало описанию одной из самых ярких страниц в биографии императора Николая. Сверх того, я познакомился со взглядом наследника цесаревича на образ действий августейшего родителя.

Я говорил уже, что в предшедшем декабре, в одну из бесед моих с великим князем Константином Николаевичем, цесаревич прочел нам собственноручную записку государя о происшествиях, ознаменовавших конец 1825 года. В то же время его высочество изъявил желание видеть составленную мной и одобренную государем историческую записку о самодержавии в России. Я поспешил исполнить эту волю, но записка моя пришла к цесаревичу уже накануне того дня, когда началась жестокая его болезнь и вследствие того она была прочитана им и выслана мне обратно только по оправлении его в первых числах января. В заключении записки я поместил известный манифест 1826 года, обнародованный по окончании суда над заговорщиками 14 декабря, и назвал его тут «величественной программой нынешнего царствования».

6 января, подойдя ко мне после обедни в малой церкви, за которой и я находился, и повторив мне благодарность свою за записку, прежде изъявленную весьма милостивой на ней надписью[170], цесаревич прибавил:

— И как превосходен этот последний манифест! Как выразилась в нем вся великая душа государя! Невозможно читать без слез: представьте же, что я до сих пор совсем его не знал!

— Манифест был, однако же, в свое время напечатан.

— Да, но я тогда был ребенком, а после он мне не попадался; к тому же, эти вещи у нас так скоро забываются.

---

[170] «Весьма благодарен; я прочел все с особенным интересом».

Потом, промолчав с минуту, цесаревич продолжал:

— Я просил бы вас зайти ко мне сегодня после церемонии; мне надо с вами переговорить.

Предполагая, что я услышу тут продолжение того же разговора, и нимало не предугадывая, что мне предстоит, я, по разъезде всех бывших во дворце, пошел в переднюю наследника и спокойно там ожидал его прибытия. Он пришел через несколько минут и, взяв меня за руку, ввел в свой кабинет.

— У меня, — сказал он, — есть к вам просьба. Вы, конечно, помните государеву записку о 14-м декабря, которую я вам прочел; в ней есть много такого, что вам прежде не было известно; между тем, и в вашей тогдашней записке (о престолонаследии), которую мы тоже вместе читали, есть такие вещи об этом происшествии, которых нет в государевой. Если бы все это вместе, пополнив одно другим и еще из других материалов, редижировать настоящим образом, то могла бы выйти вещь чрезвычайно любопытная. События эти так важны, что им не должно умирать для истории или, что еще хуже, переходить в нее искаженными от превратных толков. Потому я хочу отдать вам государеву записку и попросить, чтобы вы, исключив из нее все, что, касаясь собственно до его лица, не входит прямо в самую историю происшествия, и дополнив из ваших материалов и вообще всем, что найдете еще нужным, составили по этим данным полный и отчетливый рассказ. Окончив его, мы покажем государю и попросим, чтобы он поправил и дополнил по своим воспоминаниям, и таким образом будет у нас самое достоверное целое, если не для современников, так, по крайней мере, для потомства.

Потом цесаревич вошел в разные подробности относительно главной идеи работы, ее плана, источников, из которых можно было бы извлечь дополнительные еще материалы и проч. и, отдавая мне на выбор, взять ли подлинную записку государевой руки или копию, списанную им и великой княгиней Марией Николаевной (я предпочел последнее, тем бо-

лее, что в оригинале местами уже стерся карандаш), заключил так:

— Мне не нужно просить, чтобы все это оставалось между нами: доверяя вам, я как бы доверяю самому себе.

Рассуждая мысленно о том, достанет ли у меня сил, чтобы вести столько важных и достоверных поручений рядом, я думал, что тем и кончится моя аудиенция; но цесаревич продолжал еще разговор, обратясь к сравнению действий обоих братьев по кончине императора Александра.

— Поступок Константина Павловича, — сказал он, — заслуживал, конечно, всякой похвалы, особенно в том, что он настоял на своем отречении и тогда уже, когда ему присягнула вся Россия; но если взять в соображение положение батюшки, то нельзя не согласиться, что его жертва была еще больше, поведение еще выше.

Затем, развив этот предмет разными подробностями, цесаревич продолжал:

— И нет сомнения, что решимость принять на себя бремя правления уже сама по себе была величайшей из всех возможных жертв. Уверяю вас, что это дело — нелегкое, и только тот, кто видит и знает действия государя, как я, может вполне оценить его тягость. Императора порицают, но я знаю, что придет время, когда история воздаст должное его памяти, и тогда замолчат клевета и неблагонамеренность. Величайший из недостатков батюшки тот, что высокая душа его слишком доверчива, и что он, в благородстве своих чувств и при убеждении, что все, подобно ему, стремятся к общему благу, нисколько не подозревает, как обманывают его иногда своекорыстие и неблагодарность самых приближенных.

Дальнейшее содержание этого разговора, исполненное незабвенной для меня благости и самого лестного доверия, относилось исключительно до моего лица и потому не должно иметь места в настоящих листах.

* * *

Во второй половине января и государь, и наследник цесаревич совершенно выздоровели. Оба возвратились к обыкновенному своему образу жизни и начали снова выезжать и в театр, и на балы и маскарады. Неоднократно видясь в это время с государем, я слышал от него милостивые отзывы о ходе и успехе моих занятий с великим князем Константином Николаевичем, и, кроме того, он часто беседовал со мной о возложенном на меня цесаревичем поручении. В одну из таких бесед речь зашла об известных сочинениях Шницлера и Устрялова, касающихся также частью событий 14 декабря 1825 года. Рассказывая, что в последнем, при просмотре его, он сделал некоторые прибавки и дополнения и вымарал разные «комплименты», государь очень хвалил книгу Шницлера и достоверность его рассказа. Я осмелился возразить, что во многих случаях он лишь приближался к правде, что некоторые из его анекдотов прикрашены и что те материалы, из которых я извлекаю мое сочинение, представляют многие обстоятельства в другом виде. Государь отвечал, что с нетерпением ожидает моей книжки, и желал бы иметь более времени для чтения других моих произведений, т. е. лекций, приготовляемых для Константина Николаевича. В другой раз я получил повеление свезти великого князя в коммерческий суд, чтобы дать ему понятие о производящемся словесном разборе тяжб.

* * *

28 января великому князю Михаилу Павловичу минуло 50 лет, и с тем вместе был празднован пятидесятилетний юбилей его службы в звании генерал-фельдцейхмейстера. К этому дню государь пожаловал своему брату эполеты с изображением двух крестообразно положенных пушек, выразясь

притом, что, не умея ничем достойно вознаградить его заслуги и доблести, старался, по крайней мере, придумать для подарка такую вещь, какой никто ни прежде не имел, ни после иметь не будет.

Кроме того, велено гвардейской артиллерии отдавать впредь великому князю такую же честь, как лицу самого императора, о чем возвещено исполненным благосклонности и сердечного чувства рескриптом, и наконец, пожалованы для его арсенала две пушки, вылитые в год его рождения, которые государь приказал предварительно выставить в Михайловском манеже, на показ для царской фамилии, с прислугой из 15 человек артиллеристов, одетых в полную форму 1798 года, что, при разности ее с современной, имело совершенно вид маскарадного наряда. Затем весь церемониал этого дня был устроен по непосредственному указанию государя.

Утром, выйдя в большой свой кабинет, великий князь нашел в нем наследника цесаревича и великого князя Михаила Николаевича в артиллерийских мундирах, вместе со всеми артиллерийскими генералами. Цесаревич вручил ему упомянутый выше рескрипт, а старший генерал поднес описание всех улучшений, введенных в нашу артиллерию в тридцатилетнее управление ею великого князя, и список всех ее чинов, участвовавших в подписке на сооружение его бюста для Артиллерийского училища[171].

В другой комнате подали ему: фельдмаршал князь Варшавский рапорт о состоянии армии, а военный министр князь Чернышев — высочайший приказ того дня, начинавшийся пожалованием «согласно желанию его высочества» великого князя Михаила Николаевича шефом лейб-гвардии

[171] Бюст этот, работы Витали и Клота, вылит по воле государя из пушек, взятых на стенах Браилова при покорении сей крепости великим князем в 1828 году.

2-й артиллерийской бригады и причислением старшего сына наследника к гвардейской конной артиллерии[172].

Вслед за сим юбиляр принимал Главный штаб и весь гвардейский корпус, в рядах которого стояли все великие князья. К обедне, отправлявшейся в дворцовой его церкви, приехал сам государь со всей царской фамилией. После обедни происходило в Михайловском манеже молебствие с церковным парадом[173], при котором старший брат принял младшего, стоя на фланге, и первый прокричал «ура!». На молебне, за обычным многолетием царственному дому, протодиакон провозгласил вечную память императору Павлу, которым великий князь был пожалован в генерал-фельдцейхмейстеры, и многолетие всему русскому воинству. При последнем раздались выстрелы из пушек, поставленных у памятника Петра Великого перед Инженерным замком, и в эту же минуту должны были греметь такие же выстрелы по лицу целой России, где только имелись пушки.

После молебна и семейного завтрака великий князь продолжал принимать поздравления, что заняло все время до обеда. Тут являлись попеременно: вся артиллерия, весь Государственный Совет (in corpore), депутация от дворянства с губернским предводителем, депутация от биржевого купечества с городским главой и проч.

Всем великий князь повторял, что не знает, как и чем впредь заслужит излитые на него государем милости; всех благодарил от души за оказанную ему честь, говоря, что после расположения государева выше всего ценит эти знаки общей внимательности, возвышающие его в собственных глазах и налагающие на него еще более обязанностей; для каждого находил ласку и приветливое слово и вообще принимал

---

[172] Император Александр II поправил: второго (сына) великого князя Александра Александровича.

[173] Император Александр II прибавил: «от л-гв. 1-й артиллерийской бригады и Конной артиллерии».

поздравления глубоко растроганный, со слезами на глазах. Многих из нас он целовал, а биржевых депутатов числом до сорока перецеловал решительно всех, каждого трижды. В 4 часа был торжественный обед в Гербовом зале Зимнего дворца на 500 человек, впрочем, только для военных[174], и день окончился спектаклями во всех театрах, в которых отведены были даровые места для воспитанников Артиллерийского училища и нижних чинов всех артиллерийских команд.

Как продолжение этого празднества, на другой день был бал у наследника цесаревича, огромный и роскошный, на 800 человек. На этом бале великий князь Михаил Павлович неумолчно рассказывал о том, сколько был осчастливлен видимыми знаками общего к нему внимания[175].

— Теперь только я понял, — сказал он, между прочим, мне, — что жизнь моя прошла недаром, и этот день останется навсегда одним из самых счастливейших моих воспоминаний. Но представьте, как и самые сладкие впечатления могут действовать даже на такую крепкую натуру, какова моя. Сегодня утром мне надо было принять опять новый знак внимательности и ехать в Артиллерийское училище для присутствования при открытии там моего бюста; вдруг в ту минуту, как садиться в сани, мне сделалось так дурно, что я чуть не упал и только с помощью доктора кое-как опять оправился.

Наконец празднование юбилея великого князя заключилось двумя у него обедами: одним, 8 февраля, в присутствии царской фамилии, для всех офицеров артиллерийского ведомства, которых собралось до 600 человек; другим, 10 числа,

---

[174] Император Александр II заметил: «Для всех генералов, штаб- и обер-офицеров всей артиллерии».

[175] К графу Левашову великий князь заезжал лично, с просьбой изъявить членам Государственного Совета, как глубоко он тронут показанными ему участием и привязанностью.

для нижних чинов того же ведомства, которых было по семи от каждой батареи.

* * *

В феврале государь снова был нездоров. Мы уже несколько времени замечали, что он на ходьбе как-то неловко ступал левою ногой, а тут узнали, что на ней рана. По странной привычке, он при панталонах без подкладки не носил и подштанников, отчего натер себе ногу повыше колена, а после продолжая ходить и действовать, как всегда, растравил эту рану до того, что принужден был, для заживления ее, просидеть несколько дней взаперти, без исподнего платья. В публике многие уже в то время кричали против Мандта, утверждая, что государь, с тех пор как находится на его руках, беспрестанно хворает; но известно, что обвинения всегда падают на врачей, а с таким неосторожным больным, каким всегда мы знавали императора Николая, трудно было комунибудь за него отвечать.

* * *

По окончании моей работы о 14 декабря цесаревич в половине февраля представил ее государю, который сделал в ней собственноручно разные, довольно многочисленные перемены и дополнения, относившиеся, впрочем, не к плану или редакции, а к подробностям самого события, вызванным, по мере чтения, новыми воспоминаниями.

— Я думал, — сказал мне цесаревич, — что вам приятно будет сохранить у себя как исторический документ тот экземпляр вашей работы, на котором государь сделал теперь свои отметки, потому я велел покрыть его карандаш гуммиарабиком, и оставьте все это у себя, а для меня, сделав соответ-

ственные отметкам перемены, велите переписать другой экземпляр[176].

Цесаревич прибавил, что государю желательно было бы иметь описанными таким же образом, в виде продолжения, ночь с 14 на 15 декабря и самое 15-е число, как представлявшие также очень любопытные моменты, и что он уже начал приготовлять нужные для того материалы. Действительно, впоследствии цесаревич прочел мне несколько страниц, набросанных с этой целью государем; но император Николай потом, за недосугом, уже не возвращался к прежней мысли — и сохранились ли и где находятся упомянутые первые страницы, мне неизвестно.

* * *

В 1848 году Масленица в Петербурге была проведена шумно и весело по обыкновению. Начало удовольствиям было положено в воскресенье перед этой неделей, 15 февраля, огромным балом для первых четырех классов в Гербовом зале Зимнего дворца. Государь думал устроить бал в меньших размерах в Концертном зале; но императрица предпочла большой бал, с целью дать большему числу людей возможность увидеть августейшую невесту.

Затем, в понедельник следовали: великолепный бал у управляющего двором великого князя Константина Николаевича — графа Кушелева, на который, сверх Константина Николаевича, приехали и цесаревич с супругой, и великая княгиня Мария Николаевна, — и маскарад-аллегри в Большом театре, где присутствовал государь.

---

[176] Не возвращаясь более к этому сочинению, упомяну здесь только, что история дальнейших в нем поправок, его напечатания и пр. рассказана в предисловии во втором издании, вышедшем в 25 экземплярах в 1854 году.

Во вторник был бал для царской фамилии в небольшом обществе, в Михайловском дворце, к которому приглашения рассылались от имени великого князя и его дочери, так как великая княгиня Елена Павловна носила траур по ее родительнице и, участвуя только в приеме гостей, с началом танцев удалилась.

В среду — бал у графа Закревского для государя и цесаревича и бал-маскарад в Дворянском собрании, на который они тоже явились.

В четверг — домашний спектакль и бал для царской фамилии у графа Клейнмихеля. В пятницу — маленький бал для избранных, в собственных комнатах государя, т. е. перед его кабинетом. В субботу — бал у князя Юсупова и снова маскарад-аллегри в Большом театре.

Наконец, в воскресенье 22 февраля folle journee у наследника цесаревича; кроме того, во всю неделю: катанье с гор в Таврическом, утренние и вечерние спектакли во всех театрах, балаганы, блины…

Перечисляю все это подробно в доказательство, как мало Петербург предчувствовал, — можно сказать, уже почти накануне, — страшную политическую грозу, которая должна была разразиться надо всей Европой (я вслед за сим буду о ней говорить) и которая в совокупности с жестоким вторжением холеры в северную столицу надолго погасила все праздничные огни и повергла умы в самое тревожное волнение.

* * *

На большом бале 15 февраля в Зимнем дворце случилось трагическое происшествие. Старый адмирал Папахристо, командовавший в 1828 году кораблем[177], на котором совершился памятный по своим опасностям переезд государя из

---

[177] Император Александр II прибавил: «Париж».

Одессы в Варну[178], следственно, лицо некоторым образом историческое, после ужина почувствовал себя не совсем хорошо и пошел отдохнуть на главную гауптвахту; но там ему сделалось еще хуже, и его перенесли в комнату швейцара половины наследника, где, несмотря на немедленную врачебную помощь и кровопускание, он внезапно умер. Таким образом, из дворца вывезли уже бездыханный труп — еще с конфетами в кармане, которые Папахристо взял за ужином для своих внучат.

[178] Император Александр II поправил: «из Варны в Одессу».

XVII
1848 год

Французская революция — Первые известия об отречении Людовика-Филиппа от престола — Мнение императора Николая о французских событиях — Состояние общества — Вопрос о приобретении крестьянами недвижимых имуществ — Князь Паскевич — Манифест, написанный императором Николаем — Толки в народе — Выступление первых русских войск на Запад — Окончание занятий М. Корфа с великим князем Константином Николаевичем — Учреждение негласного Цензурного Комитета — Рассказы императора о Лицее и А. С. Пушкине — Трио: «Спаси, Господи, люди твоя» — Утреня и обедня во дворце в Светлое Воскресенье — Мнение императора Николая о русской литературе — Открытие Пассажа — Холера — Обер-священник Музовский — Бракосочетание великого князя Константина Николаевича — Сон государя — Фанни Эльслер — Похороны адмирала Моллера и князя Долгорукого — Кончина графа Левашова — Граф Закревский и назначение его Московским генерал-губернатором — Отречение австрийского императора — Награда Виндишгрецу и Иеллашичу

21 февраля, в субботу той же Масленицы и в годовщину кончины князя Васильчикова, к панихиде, совершавшейся в домовой его церкви, собралось почти столько же людей, сколько бывало на панихидах погребальных. Но при богослужении слух всех присутствовавших обращен был к словам лица, редко занимавшего собой общее внимание, именно престарелого статс-секретаря Лонгинова. Он приехал прямо от императрицы, которой докладывал по делам ее учебных заведений, и от него первого мы узнали о телеграфической депеше из Варшавы, принесшей весть, что после беспокойств в Париже, уже известных нам по журналам, король Людовик-Филипп отказался от престола в пользу своего малолетнего внука, графа Парижского, с назначением регентства в лице матери последнего, вдовствовавшей герцогини Орлеанской. Отсюда известие это разнеслось по городу, естественно,

с быстротой молнии; но никто не предугадывал, что так уже близка и окончательная, ужасная развязка или, лучше сказать, что так близко начало грозной развязки.

— Вы увидите, что через два месяца они (французы) будут иметь полную революцию, — говорил всем великий князь Михаил Павлович и ошибся — двумя месяцами!

Между тем, в то же самое утро один из приятелей моих, генерал Александр Дюгомель, незадолго перед сим назначенный в свиту его величества и получивший поручение ехать в Копенгаген для принесения поздравлений новому королю со вступлением его на престол, явился откланяться к наследнику цесаревичу.

— Нет, — сказал ему цесаревич, — вы уже не поедете; государь считает нужным, чтобы в настоящих обстоятельствах военные оставались все здесь, и приказал графу Нессельроде послать в Копенгаген вместо вас кого-нибудь из чиновников его ведомства[179].

21 февраля прошло без дальнейших известий. Телеграф молчал, а иностранная почта не привезла никаких французских газет; в берлинских же рассказ о случившемся в Париже останавливался на той минуте, когда Людовик-Филипп призвал к себе графа Моле для образования нового министерства, вместо министерства Гизо.

* * *

22 февраля, в заключительное воскресенье Масленицы, бал назначен был, как я уже говорил, у наследника цесаревича.

---

[179] Дюгомель впоследствии был назначен секретным нашим агентом в Вену и австрийскую Италию, но эта посылка также не состоялась, за пришедшим накануне его отъезда известием, что и Австрия увлеклась общим потоком революции. Наконец, уже в апреле, он был отправлен в Дунайские княжества, для содействия местному правительству в усмирении там умов.

Танцующие званы были к 2 часам перед обедом, а в 9 часов вечера должны были присоединиться к ним и прочие приглашенные. В 5 часов в залу, где шли танцы, вдруг входит государь с бумагами в руке, произнося какие-то невнятные для слушателей восклицания о перевороте во Франции, о бегстве короля из Парижа и т. п.

Сперва царская фамилия, а потом, мало-помалу, и все присутствовавшие устремились за государем в кабинет наследника. Здесь государь громко прочел депешу, полученную от посланника нашего в Берлине, барона Мейендорфа, а вслед за тем заставил принца Александра Гессенского (брата цесаревны) прочесть, так же громко, чрезвычайное прибавление к Берлинской газете, присланное при этой депеше. В последней было сказано, что из Парижа нет ни газет, ни писем, но что приехавший оттуда в Брюссель путешественник сообщил вести, которые находящийся в этом городе прусский поверенный в делах передал своему двору, а Мейендорф спешит представить государю с особой эстафетой.

Во Франции была республика…

* * *

Вечером, когда и мы все собрались на бал, к которому государь вышел гораздо позднее, первые, кто попались ему на глаза, были стоявшие вместе князь Меншиков, наш посланник в Вене, граф Медем и я.

— Что вы об этом скажете, — сказал он, обращаясь преимущественно к Медему, — вот, наконец, комедия сыграна и кончена, и бездельник свергнут. Вот скоро восемнадцать лет, что меня называют глупцом, когда я говорю, что его преступление будет наказано еще на этом свете, и однако ж мои предсказания уже исполнились; и поделом ему, прекрасно, бесподобно! Он выходит в ту же самую дверь, в которую вошел…

Государь продолжал еще говорить несколько времени в этом тоне и, как я слышал после от других, повторял то же самое в разных концах залы, приветствуя особенно милостиво командиров гвардейских полков, но прибавляя, что «дает слово, что за этих бездельников французов не будет пролито ни одной капли русской крови».

Далее государь говорил нам, как любопытно бы знать, что скажет обо всем случившемся Англия и как желательно было бы, чтоб французы, в минутном неистовстве своем, тотчас устремились на Рейн.

— Тогда, — сказал он, — немцы воспротивятся им из национальной гордости, а не то, если французы завяжут дело у себя и дадут немцам опомниться, то коммунисты и радикалы между последними легко могут, пожалуй, затеять что-нибудь подобное и у себя.

Наследник цесаревич, подойдя к нашей группе, со своей стороны заметил, что если, вообще, нечего много жалеть Людовика-Филиппа, то важен тут принцип и отвратителен тот вандализм, с которым французы посягнули на истребление королевских дворцов, галерей и проч.

Великий князь Константин Николаевич был весь исполнен воинской отваги и говорил, что мы себя не выдадим! Во время танцев он, оставляя их, в несколько приемов подбегал ко мне потолковать о происшедшем; причем, по обыкновению, восхваляема была им допетровская Русь, где, говорил он, мы были так отдалены от Европы и так исполнены преданности и религиозности, что подобное событие прошло бы для нас совсем незаметным.

Не привожу здесь моих возражений против этих мыслей, что составляло в то время предмет всегдашнего, хотя и очень мирного, нашего спора. Императрица, которая, сидя в кабинете цесаревны за особым столиком, кушала чай с несколькими дамами, подозвала меня к себе и, посадив за тот же столик, разговаривала с четверть часа о разных посторонних

предметах. Только что она встала и маленькое наше общество разошлось, Константин Николаевич опять подбежал ко мне с вопросом:

— Вы долго сидели с императрицей: верно, она говорила с вами тоже о сегодняшних вестях?

— Напротив, ваше высочество, ни слова; она, я думаю, уже до того утомилась этими разговорами, где все мы, зная так мало положительного, переливаем понемногу из пустого в порожнее, что нарочно хотела переменить речь и развлечься чем-нибудь другим.

Государь оставался на балу очень недолго и, с восклицанием «ah, voila mon chandelier» (так он называл канцлера Нессельрода), удалился с ним во внутренние комнаты.

Разумеется, впрочем, что среди лихорадочного чувства, которым все были исполнены, самый бал уже имел вид какой-то аномалии. Хотя танцы и продолжались, но, по-видимому, сама же молодежь участвовала в них одними внешними движениями, а из нетанцевавших образовались во всех углах залы более или менее многолюдные кружки, где толковали о случившемся до пресыщения. Все было кончено в четверть первого, и на этот раз никто, кажется, не пожалел, что так рано. «Високосный год взял-таки свое», — говорили многие.

Другие вспоминали, что важнейшие трагические известия приходят всегда на балах царской фамилии, как, например, за два года перед тем весть о Краковском бунте разгласилась на вечере у великой княгини Марии Николаевны.

Были, наконец, и такие, которые до тех пор не понимали движения духа времени, не замечали никаких его признаков, витали как слепые или как бы в другом мире. «Не может быть, — восклицали эти, — статочное ли дело: все казалось так спокойно, мы были уверены, что живем в самой прозаической, пресной эпохе, и вдруг, нечаянно, попали во весь разгар революции 1789 года!..»

На другой день, в Чистый понедельник, было обычное заседание Государственного Совета, но и оно, как бал у цесаревича, вовсе не имело обыкновенного своего характера. Никто не слушал предложенных дел, и шепот с соседями об известиях из Парижа становился почти громким разговором.

Вообще, переход от Масленицы к Великому посту, который всегда знаменуется у нас таким внезапным переломом бешеного веселья на совершенное затишье, в 1848 году прошел совсем незамеченным. Общественное внимание так сосредоточивалось на парижских происшествиях, все так были заняты высшими интересами, так жаждали развязки грозной драмы, что почти не оставалось места ни другим разговорам, ни другим помыслам, и каждый очень легко и скоро забыл о спектаклях, танцах, блинах, балаганах и балах.

В первые дни Великого поста весь город был, так сказать, на ногах; все скакали из дома в дом за новыми вестями, осаждали газетную экспедицию и тем более недоумевали и тревожились, что самые газеты, ожидаемые с нетерпеливой жадностью, приносили одни противоречия, недомолвки или известия малодостоверные[180].

За повреждением железных дорог вокруг Парижа журналисты ничего не узнавали иначе, как из рассказов путешественников или через короткие и неясные телеграфические депеши.

23 февраля государь пригласил к себе французского поверенного в делах Мерсье, которого он очень жаловал и который вдруг сделался лицом без образа. Смотря на него уже как на частного человека, император Николай впервые высказал ему тут, со всей откровенностью, истинные мысли свои о Людовике-Филиппе, и Мерсье во многом должен был

---

[180] Вскоре затем, вместо пяти дней в неделю, в которые до тех пор получалась в Петербурге заграничная почта, установлен был приход ее и в остальные два дня, под названием эстафеты.

согласиться. Июльская монархия рушилась, как и возникла; одного дня довольно было, чтобы ее низвергнуть. Императрица говорила, что бывший король, в бегстве своем из Парижа, верно, не раз вспоминал о нашем государе и что образ императора Николая должен был преследовать его, как страшный призрак.

В тот же день, когда Мерсье имел свою аудиенцию, все находившиеся в Петербурге французы были собраны к шефу жандармов графу Орлову. Он удостоверил их именем государя, что они будут продолжать пользоваться прежним покровительством нашего правительства, разумеется, при соблюдении с их стороны совершенной тишины и спокойствия, но что, впрочем, каждому из них, кто сам пожелает, предоставляется свобода выехать из России.

Между тем, эти огромные интересы, которые в публике поглощали на время участия ко всему другому, для императорской фамилии нисколько не служили препятствием к отправлению дел, даже и второстепенных. Так, например, 24-го числа императрица лично ввела в Патриотический институт новую его начальницу, перемещенную из Полтавского, а государь присутствовал при молебствии, совершенном по этому случаю в институте.

* * *

В книге моей «Император Николай в совещательных собраниях» подробно изложены история и окончательная участь наделавшего в свое время много шума указа 8 ноября 1847 года о предоставлении помещичьим крестьянам выкупаться на волю при продаже имений с публичных торгов. Между тем, в конце 1847 года возникла мысль, принадлежавшая к тому же кругу понятий, но, в существе и по объему ее, гораздо более важная, именно о предоставлении крепост-

ным людям права приобретать в собственность движимое имущество.

Непосредственным поводом к этой мысли послужило рассказанное мной приобретение в казну, у графини Самойловой, Графской Славянки, крестьяне которой объявили, что между землями, принадлежащими к сему имению, находятся и купленные ими для себя на собственные деньги.

Отсюда Комитет министров возбудил общий вопрос, который по высочайшей воле был передан во II-е отделение Собственной его величества канцелярии. Он поступил туда еще в мое управление, но я успел лишь войти в переписку о нем с министром юстиции, а окончательное представление в Государственный Совет пришло уже по вступлении снова в должность графа Блудова.

Государь гласно и неоднократно говорил разным лицам, что если в Совете возникнет хотя один голос против предложенной меры, то это установление потеряет в его глазах всякое к себе доверие, а при таком указании вопрос предлежал уже не о том, быть или не быть делу, а о том лишь, как бы лучше его обставить и привести в исполнение. Проект графа Блудова подвергнулся в департаменте законов разным изменениям, но каждый из нас понимал, что если никакой закон не может иметь полного действия без санкции, то и закон о предоставлении крепостным людям приобретать собственность, пока с ним не будет соединено право охранять эту собственность от притязаний помещика, т. е. судиться с помещиком, останется почти одной мертвой буквой; дать же такое право при сохранении в своей силе прочих отношений владельца к его людям невозможно. Поэтому все более или менее соглашались, что новый закон будет лишь полумерой. Оставался вопрос о форме его обнародования. Граф Блудов и, согласно с ним, департамент законов, полагали закон сей, окружив его, для избежания вопросов, разными подробностями, ввести прямо в продолжение Свода, но в общем

собрании Совета эта мысль была встречена сильной оппозицией и, наконец, единогласно положено: вместо внезапного помещения даруемого крепостным людям права в продолжение Свода, обнародовать его особым указом, но самым коротким, оставя подробности времени и будущему развитию. Так и сделалось, и указ в этом виде был подписан государем.

Во время заседания о сем Совета, происходившего вслед за парижскими известиями, многие члены в частных между собой разговорах замечали, что теперь, в виду таких событий, едва ли время издавать подобное постановление, но это замечание не имело никаких последствий и осталось только в кругу разговаривавших.

* * *

По мере того, как после известия о французской революции следовали, одна за другой, вести о восстаниях в Германии, умы в Петербурге все более и более приходили в напряженное состояние, хотя собственно в России все, благодаря Бога, продолжало обстоять по-старому. При таком расположении умов все, казавшееся еще за две недели до того предметом первостепенной важности, отодвинулось вдруг на последний план и лишилось всякого значения. И интересы, и направления, и мысли, и оценка вещей — все в эти роковые две недели изменилось до такой степени, что настоящее представлялось как бы тяжелым сном, а близкое прошедшее — отдалившимся на целые годы, все ходили озабоченные, в каком-то неопределенном страхе.

Где только сходились два человека, там непременно шла речь о современных событиях на Западе. Публично слышался везде один лишь голос негодования и омерзения. Войско одушевлено было превосходным духом, и все офицеры, вся молодежь, страстно желали одного — войны. Купечество горевало об участи 50 млн. руб., за год перед тем вверенных

нашим правительством французскому. Говорили и кричали более всего в бюрократии, но в ней никогда не было у нас ни единодушия, ни силы.

В училищах являлись разные партии, между ними и партия красных, мечтавших о республике даже и для России, но тут расправа была не трудна. Все это не представляло никаких серьезных элементов для опасений, тем более, что господствовавшие тогда на Западе идеи: свобода книгопечатания, народное представительство, национальное вооружение и проч. составляли для девяти десятых нашего населения один пустой, лишенный всякого смысла, звук. Более других страшился и, может статься, один имел повод страшиться класс помещиков, перед вечным пугалищем крепостного нашего состояния. Но для правительства существовали и другие предметы опасений: наши западные губернии и Царство Польское, где революционные идеи, при посредстве всемирной пропаганды и эмиссаров — парижских, познанских, галицийских — находили для себя более приуготовленное поле.

* * *

В это время я очень часто виделся с двумя лицами, которые, со своей стороны, ежедневно виделись с государем, пользовались полным его доверием, находились у источника дел и первые знали о всем происходившем. Я говорю о графах Орлове и Киселеве, которые, оба согласно, рассказывали, что сначала государь был в самом воинственном расположении духа, но потом благоразумие и государственная предусмотрительность одержали в нем верх над этими порывами личного мужества. Он остановился на том, чтобы отнюдь не предпринимать ничего ни против Франции, ни против других государств, пока они будут ограничиваться одними

внутренними своими делами, но быть всегда готовым на случай, если бы действия их нарушили внешний мир.

— Не поддавайтесь только великодушию в пользу ваших союзников, — говорил ему Киселев.

В этом отношении он был, конечно, совершенно прав, ибо кто же из этих союзников отвечал бы нам взаимной помощью, если б она потребовалась, а поддерживать монархическое начало вне России было уже слишком поздно.

Следуя правилу быть наготове, государь предназначил выдвинуть с весны сильную армию на западные наши границы. В этом же смысле даны были инструкции отправленному к своему посту в Вену графу Медему и находившемуся здесь в то время в отпуску и также возвращенному к своему посту секретарю парижской нашей миссии Балабину, а управлявшему нашим посольством в Париже (брату графа Киселева) велено немедленно выехать оттуда и ждать дальнейшей развязки на Рейне, вызвав из Парижа и всех находившихся там русских подданных. Граф Киселев, к которому очень благоволил князь Варшавский, находившийся в эту эпоху в Петербурге, рассказывал мне, что в фельдмаршале явно отражались те же фазы, через которые прошел и государь. Сперва он дышал самым восторженным, героическим духом и одной лишь войной.

— К весне, — говорил он, — мы можем выставить 370 тысяч войска, а с этим пойдем и раздавим всю Европу!

— Очень хорошо, да где ж возьмете вы на эту армию денег?

— Деньги! Всякий даст, что у него есть, и я сам пошлю продать последний мой серебряный сервиз.

— Ну, не велики еще будут эти деньги; да другой вопрос: кому же командовать вашей армией?

— Кому? А на что ж Паскевич? Кто поправил Ермолова грехи, кто Дибичевы? Кто, во всей новейшей истории, счастливо и с полным успехом совершил пять штурмов? Все тот

же Паскевич. Авось Бог даст ему и теперь не ударить лицом в грязь!

Но прошло несколько дней, и Паскевич совсем переменил тон; он уже начал говорить о бесполезности внешних с нашей стороны действий, о большей необходимости охранять внутреннее спокойствие и проч. Словом, при своем отъезде 29 февраля в Варшаву фельдмаршал уже был настроен совсем на другой лад.

В эти смутные времена положение императора Николая было, конечно, одним из самых тягостных. С его привязанностью к монархическому началу, имея близких ему или его семье почти во всех дворах Германии, а в одном из них и родную дочь, он принужден был бездейственно смотреть, как падали вокруг него цари и престолы, и как от дерзостного буйства народных страстей разрушалась вся святыня исконных политических верований; смотреть и бдительно между тем бодрствовать над покоем собственной своей державы. Но, поистине, тут мы и научились познавать все величие духа нашего монарха, особенно при сравнении презренного малодушия немецких государей с блестящим мужеством и твердостью, явленными Николаем в день 14 декабря 1825 года, или в 1830 году при холере в Москве, или в 1831 году посреди буйной черни на Сенной и кровавого бунта в военных поселениях. И в эту новую страшную годину не только не ослабевали ни на минуту его привычная деятельность и энергия, но он находил еще в себе достаточно духа казаться веселым и даже шутить. Раз за обедом, при мне, он обратился с вопросом к своему французскому метрдотелю:

— Итак, гражданин, послали ли уже ваше одобрение вашему новому властителю и господину Кризопомпу I?

Это шуточное прозвание дано было великим князем Михаилом Павловичем одному из членов тогдашнего временного французского правительства, механику Альберу (ouvriermechanicien Albert).

Известно, как быстро в эту грозную эпоху парижский пожар охватил всю Германию. Вслед за государственными переворотами в маленьких тамошних державах они очень скоро совершились и в больших: Австрии и потом Пруссии. Каждая телеграфическая депеша сообщала, каждый курьер привозил весть о новых требованиях народов, о новых уступках правительств. Революция везде торжествовала.

* * *

9 марта, возвращаясь пешком домой после занятий моих с великим князем Константином Николаевичем, я почти наткнулся в Большой Морской на государя. Он сперва прошел со мной несколько шагов, а потом продолжал разговор, остановясь.

— Ну что, — сказал он, — хороши венские штуки! Я сбираюсь позвать тебя к себе и поручить новую работу. Надо будет написать манифест, в котором показать, как все эти гадости начались, развились, охватили всю Европу и, наконец, отпрянули от России. Все это не должно быть длинно, но объявлено с достоинством и энергией, чтоб было порезче. Подожду еще несколько, посмотрим, какие будут дальше известия, а там позову тебя и надеюсь, что ты не откажешься от этого труда.

Возвращенный призыв последовал не ранее 13 числа, к 12 часам. Еду и беру с собой написанный мной между тем, по упомянутому предварительному разговору, проект манифеста. Наверху, перед кабинетом государя, встречается мне только что вышедший от него граф Нессельрод.

— Император желает поручить вам написать манифест, подходящий к обстоятельствам.

— Я это знаю, — и я рассказал ему как о встрече нашей, так и о приготовленном мной проекте.

Ответом было, что и у государя уже написан свой, которого Нессельрод, впрочем, еще не читал; но что он, Нессельрод, просил государя приказать во всяком случае сообщить ему окончательную редакцию, для соображения ее в видах дипломатических. Тогда я предложил графу выслушать мой проект; и старый наш канцлер не только вполне его одобрил, но и просил доложить государю, что не видит надобности переменять в нем ни одного слова. Спустя несколько минут, когда Нессельрод уже уехал и в секретарской комнате оставался я один, от государя выбегает граф Орлов в каком-то восторженном положении, утирая рукой слезы.

— Ах, Боже мой, — вскричал он, — что за человек этот государь! Как он чувствует, как пишет! Сейчас прочел он мне свои идеи к манифесту, который хочет поручить вам написать; я отвечал, что это не идеи, а уже совсем готовый манифест и что лучше, конечно, никто не напишет. Конечно, вы могли бы употребить стиль более изящный, но никогда никто не будет в состоянии высказаться с такой энергией, чувством и сердцем. Это именно то, что нужно для нашего народа. Невозможно сделать лучше!

Едва граф успел это сказать, как меня позвали к государю. Он стоял в кабинете у письменного стола.

— Это что такое, — было первым его словом, — для чего эта шляпа, я прошу вас от нее избавиться[181]. Что у вас тут?

У меня был в руках мой проект.

— Как вы соблаговолили изложить ваши идеи о сущности манифеста, государь, то я счел своим долгом набросать канву.

— Гм! Ну хорошо, мы увидим это после, а теперь я прочту тебе свои идеи, которые ты потом потрудишься привести в порядок.

---

[181] Государь любил, чтобы к нему входили с докладом без шляпы; но так как я явился в этот раз не для доклада, а за приказанием, то и не оставил шляпы в передней.

И государь начал читать мне свой проект, прерывая несколько раз чтение для словесных объяснений. Многозначительность предмета, торжественность минуты, выражавшиеся в проекте высокие чувства, образ чтения, наконец, может быть, и то впечатление, под влиянием которого от слов Орлова я вошел в кабинет, привели и меня в невольный восторг. Когда государь кончил, я бросился к его руке, но он не допустил и обнял меня.

— Какое счастье, какое благословение неба, — вскричал я, — что в эти страшные минуты Россия имеет вас, государь, вас, с вашей энергией, с вашей душой, с вашей любовью к нам!..

Содержание ответа его состояло в том, что мыслим и чувствуем мы все одинаково, а быв поставлен во главе, он, конечно, не может оставить и никогда не оставит дела. Но моего проекта государь не спросил и более о нем не вспоминал.

— Теперь, — сказал он, — поезжай домой и уложи все это хорошенько на бумагу.

— И потом прикажете прислать к вашему величеству?

— Нет, привези опять сам. Я буду дома в три часа или, пожалуй, и вечером.

В передней камердинер объявил мне волю наследника цесаревича, чтобы от государя я зашел к его высочеству. Цесаревич уже знал, зачем я был у государя, но, кажется, еще не видал проекта; по крайней мере, взяв его от меня, тут же прочел про себя и, прослезившись, сказал:

— Я очень рад, что выбор государев в этом деле пал на вас; вот вам еще одно драгоценное воспоминание на целую жизнь.

Дома, в тиши кабинета и с пером в руке, некоторые из выражений проекта, казавшиеся мне при живом чтении государя и при собственной моей восторженности превосходно-уместными, предстали в другом свете. Иное имело вид вызова к войне; другое как бы указывало на угрозы нам извне,

которых ни от кого не было; третье, наконец, проявляло надежды на победу, когда не имелось еще в виду никакой брани. Но так как собственный мой проект, веденный от другой основной идеи, остался непрочитанным, то мне и надо уже было, в качестве просто редактора, ограничиться одним изложением данного эскиза, с сохранением, по возможности, даже самых его слов.

В три часа я был опять во дворце. Поутру государь принял меня в официальном своем кабинете, наверху, а в это время — в домашнем, о котором я уже упоминал[182], в бывших покоях великой княгини Ольги Николаевны.

— Как, ты уже готов? — спросил он, увидев меня.

— Мой труд, государь, был невелик: мне оставалось почти только переписать написанное вами.

— Ну, нет, я, признаюсь, невеликий мастер на редакторство; посмотрим.

И я вслед за тем прочел привезенную бумагу, а кончив, взглянул на государя. У него текли слезы. Видно было, что он всей душой следил за этим выражением заветных его мыслей и чувств.

— Очень хорошо, — сказал он, — переделывать тут, кажется, нечего.

— Дозвольте, государь, повергнуть на ваше усмотрение одну только мысль.

— Что такое? Говори!

— Не позволите ли включить в манифест хоть два слова о дворянстве: оно всегда окружало престол своей преданностью, и особенный призыв от вас польстит лучшему его чувству.

— Я сам об этом думал, и сперва, в черновом моем проекте, именно сказано было: все государственные сословия; но после мне показалось, что слово «сословие» не совсем уместно

182 Император Александр II прибавил: «внизу».

при теперешнем духе и обстоятельствах. Где же полагал бы ты сказать о дворянстве?

Я указал место. Он перечел раза два или три громко это место и, пробежав потом снова про себя весь проект, сказал:

— Нет, право, и так очень хорошо; если упоминать отдельно о дворянстве, то прочие состояния могут огорчиться, а ведь это еще не последний манифест; вероятно, что за ним скоро будет второй, уже настоящее воззвание, и тогда останется время обратиться к дворянству, а теперь — пусть будет как есть. Я попрошу тебя только съездить к Нессельроду и показать ему наш проект; он очень взыскателен на выражения и, в теперешних обстоятельствах, совершенно в том прав. Если он сделает какие-нибудь замечания, то приезжай опять ко мне сказать о них; если же нет, так отдавай с Богом в переписку, или… знаешь что, перепиши лучше сам, своей рукой; а теперь покуда прощай и большое спасибо.

Нессельрод, прочитав проект, остановился именно на тех же замечаниях, которые и я прежде про себя сделал; но как они относились к основным идеям, от которых, по его предположению, государь ни в каком случае не отступил бы, то он и предпочел оставить как было написано.

Манифест, переписанный моей рукой, был подписан в тот же день, 13-го; но государь, не знаю почему, выставил 14-е. В ночь успели его и напечатать.

Все это происходило в субботу. В воскресенье рано утром у наследника цесаревича всегда собирались полковые командиры и адъютанты всей гвардейской пехоты, которой он в то время начальствовал. Цесаревич сам прочел им манифест. По мере чтения все более и более, видимо для всех, возрастало его волнение, так что последние строки были произнесены совершенно дрожавшим и прерывавшимся голосом. С окончанием манифеста он первый возгласил «ура!». Тут раздался

общий нескончаемый крик. Все бросились целовать ему руки, и сцена достигла высшей степени умиления…

— В нашем восторге, — рассказывал мне один из соучастников, — мы готовы были его качать!

Между тем находившиеся тут же маленькие дети цесаревича, испуганные страшным криком, начали громко плакать, так что пришлось их унести.

В то же воскресенье манифест был прочитан всенародно во всех петербургских церквах и вслед за ним пропет везде тропарь: «Спаси, Господи, люди твоя!» Эта прекрасная идея принадлежала также поэтической душе государя. В Казанском соборе, где по случаю начинавшихся в то время срочных выборов дворянство приводилось к присяге, викарный епископ Нафанаил сказал сочиненное за ночь слово, в котором он соединил оба предмета: и присягу, и манифест.

Посреди превращения прежнего мира в новый, разрушения всего, что дотоле считалось святым и заветным, ниспровержения и попрания тронов, властей, присяги, всех условий и основ общежития, время влачилось какими-то свинцовыми шагами. По виду дни текли, следуя общему закону природы; а между тем эти колоссальные события такими гранями отделяли их между собой, что казалось, будто бы человек и человечество проживают мигом целое столетие.

Разумеется, что шум бурного моря, волновавшего в это время Европу, явственно, несмотря на все вырезки из газет, доносился и до Петербурга. Особенно события в сопредельной и дотоле союзной нам Пруссии возбуждали здесь такой живой и жгучий интерес, что заставили совсем забыть о парижских. Последствием их было появление между нами и преимущественно среди высшей аристократии немалого числа трусливых, которым виделись уже везде и у нас возмущение, поджоги, убийства, и которые нескрытно проповедовали о наступлении времени каждому готовиться к последнему часу и к мученической смерти.

Не было также недостатка в легкомысленных и легковерных, частью, может быть, и в злонамеренных, которые распускали и разносили всякие вздорные слухи с преувеличением еще действительности, как будто бы мало было и ее одной. Манифест 14 марта не способствовал к успокоению умов. Одни видели в нем воззвание к войне, следственно — начало войны, другие — начало беспокойств и смут уже и внутри самой России, многие же признавали его во всяком случае преждевременным. А между тем для людей, ближе знавших императора Николая, как понятно, как легко объяснимо было побуждение или внутреннее влечение, исторгнувшее у него этот акт, полный энергии, огня, силы. Ему хотелось действовать, разить, мощной своей рукой водворить снова везде порядок; ему, так сказать, стыдно и совестно было за прочих монархов; а как не открывалось еще ни поля, ни прямых предметов действия, то его невольно влекло по крайней мере высказаться…

* * *

В числе множества рассказов, ходивших в это время по городу, было и несколько очень забавных, если не совсем правдивых, то ловко придуманных… Так, например, приводили следующее истолкование нашими солдатами значения слова и смысла тогдашней французской республики. «Государь наш, — говорили они, — дал французскому королю денег взаймы. Наступил срок уплаты, король не платит. Нечего делать, государь пишет, пишет, а все толку нет; вот напоследок он и велел написать французскому народу, что, дескать, ваш король занял у меня деньги, и срок прошел, а уплаты все нет, заставьте же его. И народ рассудил, что государь требует дело, и приступил к своему королю: заплати да заплати, а король взял да и убежал с деньгами. Вот народ и рассердился, что король его такой неверный в своем деле; потолковали

промеж себя и положили распубликовать его по всей земле, сделали республику…»

Недурна также была карикатура, которая, уверяли, продавалась тайком в лавках, хотя, разумеется, нигде нельзя было ее купить. Представлены три бутылки: одна с шампанским; пробка вылетела и в искристом фонтане вышибает из бутылки корону, трон, конституцию, короля, принцев, министров и проч. Это Франция. Другая с черным густым пивом; из мутной влаги выжимаются короли, гросгерцоги, герцоги и т. п. Это Германия. Наконец третья бутылка с русским ценником. На этой пробка, обтянутая крепкой бечевкой, и на ней казенная печать с орлом. Не нужно прибавлять, что это — Россия.

* * *

19 марта, в годовщину занятия нашей армией Парижа в 1814 году, выступили из Петербурга к западной границе, на случай возможной войны, первые войска: Гвардейский и Атаманский наследника цесаревича казачьи полки[183].

Они были выстроены на площади у Александровской колонны. Ровно в час государь со своими сыновьями и многочисленной свитой объехал их ряды, после чего полки[184], предводительствуемые своим наказным атаманом, наследником цесаревичем, прошли перед государем и перед императрицей, сидевшей в коляске с августейшей невестой. Еще до того государь вызвал перед себя из фронта всех офицеров и сказал им несколько прощальных слов. Площадь была усеяна многими тысячами народа, и полиция распоряжалась чрезвычайно либерально, так что государь стоял почти

[183] Император Александр II исправил: «дивизионы Гвардейского и Атаманского наследника цесаревича казачьих полков».

[184] Император Александр II исправил: «дивизионы».

посреди толпы. И вдруг эти дивные казаки двинулись мимо него, при безмолвии всех окружавших, с русскими заунывно-удалыми песнями, и весь народ, сняв шапки, начал креститься русским широким крестом.

По мере того, как один взвод подвигался за другим, государь кричал каждому: «Прощайте, ребята», — и люди отвечали: «Счастливо оставаться вашему величеству», — а народ все крестился. Минута была торжественная и многознаменательная. Эта чудная рать, идущая на бой с песнями, эта православная Русь, одна на всем пространстве Европы верная, неподвижная, чуждая и делом и помыслом смятениям Запада, знаменующаяся крестом на спасение своих собратий; весеннее солнце, обливающее своими лучами великолепную картину[185]; наконец, величественная, почти исполинская фигура императора Николая, который один высился над развалинами монархизма, один, недоступный страху и верный призванию совести и долга, господствовал, как несокрушимая скала, над взволнованным морем Европы, — нельзя и незачем было удерживаться от слез! Когда войско прошло и государь повернул ко дворцу, вслед ему загремело единодушное «ура!» многотысячной толпы — явление очень обыкновенное в Москве и чрезвычайно редкое в дисциплинированном Петербурге.

В тот же день был обычный концерт в пользу инвалидов, на котором присутствовала вся императорская фамилия. В то время, как в чужих краях раздавались одни звуки «Марсельезы», у нас четыре раза заставили повторить «Боже, царя храни» при восторженных криках публики. Эти изъявления не могли не быть отрадны сердцу государя в той горестной тревоге, которая, без сомнения, так часто помрачала тогда его думы, хотя он нисколько ее не обнаруживал. Вообще, поведение и его и всей царской семьи в эту эпоху являлось истин-

---

[185] В этот день, вспомним, 19 марта, было 10 тепла в тени.

но геройским. При уверенности в массе народа, трудно было ручаться за каждое отдельное лицо и, при всем том, не только не было усилено никаких внешних мер предосторожности, караулов и проч., не только позволялось свободно, как всегда, входить во дворец и расхаживать по его залам, но и сам государь всякий день совершенно один прохаживался пешком по улицам, наследник также, а царственные дамы катались по целым часам в открытых экипажах. Разумеется, впрочем, что это не ослабляло и не должно было ослаблять тайных мер надзора. Осматривая ежедневно во дворце собранных на службу бессрочных отпускных, государь при одном таком смотре вызвал вдруг из фронта одного солдата по имени и стал упрекать его в каких-то дерзких речах, которые тот накануне позволил себе в кабаке.

— Если б я выдал тебя, — прибавил он, — товарищи сейчас разорвали бы тебя в куски. Но я поступлю иначе и дам тебе средства обмыть твою вину кровью. При первом деле тебя выставят в первый огонь. Помни же эту милость!

* * *

Занятия мои с великим князем Константином Николаевичем окончились 30 марта. На всеподданнейшем донесении моем о том государь благоволил надписать: «Душевно благодарю за сие новое доказательство вашей ко мне привязанности». Сверх того, я удостоился получить золотую табакерку с осыпанным бриллиантами портретом его величества[186].

Об этих обстоятельствах, хотя и относящихся более до моего лица, упоминаю здесь потому, что они показывают, каким искусством обладал император Николай в выборе наград по характеру заслуг. Приобщив меня к отеческой заботе

---

[186] Сам великий князь почтил меня превосходным акварельным своим портретом, писанным с натуры живописцем Гау.

своего сердца, он наградил именно тем, что знаменовало внутреннюю, так сказать, домашнюю услугу, а милостивая его надпись на моем донесении не могла не осчастливить верного подданного выше всякой меры.

* * *

Среди жгучей тревоги, вдруг овладевшей всеми нами вследствие парижских вестей, нельзя было не обратить внимания на нашу журналистику, в особенности же на два журнала — «Отечественные Записки» и «Современник». Оба, пользуясь малоразумием тогдашней цензуры, позволяли себе печатать Бог знает что, и по проведуемым ими под разными иносказательными, но очень прозрачными для посвященных формами, коммунистические идеи могли сделаться небезопасными для общественного спокойствия.

Беспрерывно размышляя о том, чем можно было бы это огранить и упрочить в виду судорожных движений Запада, я набросал несколько мыслей о действиях периодических изданий и цензуры; но долго колебался дать им ход, из опасения явиться в глазах других, а еще более в своих собственных, каким-то доносчиком.

Рассудив, однако, что жертвовать на общее благо ничтожной своей личностью есть священный долг каждого из нас, в такое опасное время еще более, чем когда-либо; что я буду тут действовать не как частный человек, а в качестве члена правительства и что, говоря лишь о фактах, а не о лицах, удалю от себя, в собственной совести, всякое нарекание в презренном доносе, я решился отвезти мою записку к наследнику цесаревичу. Не застав его высочества, я зашел с ней к великому князю Константину Николаевичу, который остался чрезвычайно доволен моей запиской и советовал непременно отослать к наследнику, не теряя времени, что я и исполнил на другой же день после получения известия о

французской республике, т. е. 23 февраля, вечером. На следующее утро явился посланный с приглашением меня обедать к цесаревичу. За утомлением цесаревны от говенья, она не вышла к столу, и нас было тут, сверх хозяина и принца Александра Гессенского, только граф Медем, генерал-адъютант граф Сергей Строганов и я. Едва только мы вошли в первый кабинет наследника, где накрыт был обед, как он приветствовал меня первого словами:

— Искренно благодарю, получили вы уже бумагу?

— Какую, ваше высочество? Я никакой бумаги не получал.

— Ну, так еще получите. Государь учредил особый Комитет из князя Меншикова, вас, графа Александра Строганова (бывшего министра внутренних дел) и Д. П. Бутурлина. Ваша записка пришла как нельзя больше кстати. Вчера вечером у государя был разговор именно об этом, а воротясь к себе и найдя вашу бумагу, я сегодня же отнес ее к батюшке, и он, прочитав, оставил у себя для объяснения с Орловым, которого ждал в эту минуту.

Действительно, 27-го числа я получил от графа Орлова следующую официальную бумагу:

«По дошедшим до государя императора из разных источников сведениям о весьма сомнительном направлении наших журналов, его императорское величество на докладе моем по сему предмету собственноручно написать изволил: «Необходимо составить особый Комитет, чтобы рассмотреть, правильно ли действует цензура и издаваемые журналы соблюдают ли данные каждому программы? Комитету донести мне с доказательствами, где найдет какие упущения цензуры и ее начальства, т. е. министерства народного просвещения, и которые журналы и в чем вышли из своей программы. Комитету состоять под председательством генерал-адъютанта князя Меншикова из действительного тайного

советника Бутурлина, статс-секретаря Дегая[187]. Уведомить о сем кого следует и занятия Комитета начать немедля».

Занятия этого Комитета продолжались с лишком месяц и, сверх некоторого дополнения цензурных правил, заключались во внушениях редакторам журналов и цензорам и проч. Но, в заключение, изо всего этого родилась у государя мысль учредить под непосредственным своим руководством всегдашний безгласный надзор за действиями нашей цензуры. С сей целью, вместо прежнего временного Комитета учрежден был 2 апреля постоянный из члена Государственного Совета Д. П. Бутурлина, статс-секретаря Дегая и меня, с обязанностью представлять все замечания и предположения свои непосредственно государю. Сначала надзор этого Комитета предполагалось ограничить одними лишь периодическими изданиями; но потом он распространен на все вообще произведения нашего книгопечатания. Призвав перед себя Бутурлина и меня, государь объявил, что поручает нам это дело по особому, как он выразился, безграничному своему доверию.

— Цензурные установления, — продолжал он, — остаются все как были; но вы будете — я; т. е. как самому мне некогда читать все произведения нашей литературы, то вы станете делать это за меня и доносить мне о ваших замечаниях, а потом мое уже дело будет расправляться с виноватыми.

Комитет этот, род нароста в нашей администрации, продолжал существовать под именем «Комитета 2 апреля» и с изменявшимся несколько раз личным составом[188], во все остальное время царствования императора Николая. Учреждением его образовалась у нас двоякая цензура: предупредительная, в лице обыкновенных цензоров, просматривавшая все до печати, и взыскательная, или каратель-

[187] Впоследствии к составу Комитета присоединен был еще начальник штаба корпуса жандармов, генерал Дубельт.

[188] Я оставался сперва членом, а потом председателем Комитета до самого упразднения его в 1856 году.

ная, подвергавшая своему рассмотрению только уже напечатанное и привлекавшая, с утверждения и именем государя, к ответственности как цензоров, так и авторов за все, что признавала предосудительным или противным видам правительства. Если в эпоху своего учреждения, когда министерством народного просвещения управлял еще граф Уваров, цель и надобность особого тайного надзора оправдывались тем, что министр утратил прежнее к нему доверие государя, и если, в начале своего существования, Комитет наш, по глубокому моему убеждению, принес большую и существенную пользу, то дальнейшее продолжение этого внешнего постороннего надзора, при преемниках Уварова, когда все постепенно вошло в законные пределы, сделалось уже совершенной аномалией и только парализовало действия и власть самого министерства, вредя косвенно всякому полезному развитию и успехам отечественной письменности. Эти обстоятельства были удостоены высочайшего внимания ныне благополучно царствующего императора[189] и вследствие того «Комитет 2 апреля», по всеподданнейшему докладу моему, закрыт.

* * *

Однажды за небольшим обедом у государя, при котором и я находился[190], было много говорено о Лицее, прежнем и нынешнем, и еще более о Пушкине. Государь рассказывал (слышанное уже мной, впрочем, и прежде от великого князя Михаила Павловича), что и его и великого князя предназначали

---

[189] Императора Александра II.

[190] Такие небольшие обеды, к которым приглашались двое или трое приближенных, бывали у императора Николая чрезвычайно часто, почти ежедневно. Сам он являлся тут обыкновенно в сюртуке без эполет; военные — в Петербурге в мундирах, а в летних резиденциях также в сюртуках; штатские же — везде единообразно в мундирных фраках, белых галстуках и лентах по камзолу.

поместить в Лицей и что только Наполеон, с замышленной в это время против нас войной, побудил оставить этот план неисполненным.

Рассказ о Пушкине, обращенный непосредственно ко мне как к прежнему соученику нашего великого поэта, был чрезвычайно любопытен.

— Я, — говорил государь, — впервые увидел Пушкина после моей коронации, когда его привезли из заключения ко мне в Москву совсем больного и покрытого ранами — от известной болезни. «Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге?» — спросил я его между прочим. — «Стал бы в ряды мятежников», — отвечал он. На вопрос мой, переменился ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пущу его на волю, он наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14 декабря, но очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул руку с обещанием — сделаться другим. И что же? Вслед за тем он, без моего позволения и ведома, ускакал на Кавказ! К счастью, там было кому за ним присмотреть. Паскевич не охотник шутить. Под конец жизни Пушкина, встречаясь часто в свете с его женой, которую я искренно любил и теперь люблю как очень добрую женщину, я советовал ей быть сколько можно осторожнее и беречь свою репутацию и для самой себя, и для счастья мужа, при известной его ревности. Она, верно, рассказала это мужу, потому что, увидясь где-то со мной, он стал меня благодарить за добрые советы его жене. «Разве ты и мог ожидать от меня другого»? — спросил я. — «Не только мог, — отвечал он, — но, признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал в ухаживании за моей женой». Это за три дня до последней его дуэли.

За тем же обедом государь рассказывал, что он поутру (это было в первых числах апреля) получил английское письмо из Лондона, без подписи, в котором выражали надежду, что он не последует примеру прочих европейских мо-

нархов и, в случае каких-нибудь беспокойств у нас, «не будет церемониться».

Наконец после обеда, когда хозяин отошел в сторону с графом Орловым, — Вронченко, также с нами обедавший, рассказал мне, что в это же самое утро, во время его доклада, при речи о каком-то благоприятном биржевом известии государь вдруг запел густым своим басом: «Спаси, Господи, люди твоя», к чему присоединились тотчас присутствовавшие при докладе наследник цесаревич и великий князь Константин Николаевич, и таким образом составилось прекрасное трио.

* * *

Лихорадочное сотрясение умов, возбужденное в России западными происшествиями, продолжалось весьма недолго. Чем более время подвигалось вперед, не производя никакого видимого волнения в нашем общественном спокойствии, тем более и беседы и помыслы стали обращаться снова к обыкновенным интересам. Политика и современные огромные перевороты, когда они не касаются непосредственно нашей личности, приедаются, как и все другое на свете… В Светлое Воскресенье, 11 апреля, все шло уже своим порядком, и если б кто, проспав семь недель поста, приехал вдруг в наш дворец к утрене и обедне, тот, конечно, ни по чему не догадался бы, что в эти семь недель остальная Европа была объята таким всеобщим, все еще и после них с одинаковой силой продолжавшимся, пожаром.

* * *

С открытием навигации в 1848 году великому князю Константину Николаевичу определено было идти в море, на первый раз в Стокгольм[191].

[191] Из Стокгольма он ездил в Копенгаген, а оттуда доходил до берегов Пруссии.

Императорская фамилия в то время имела свое пребывание в Царском Селе, и в день, назначенный для выезда великого князя, именно 7 мая, государь и наследник цесаревич поехали провожать его в Петербург и оттуда в Кронштадт. Перебравшись уже на дачу в Царское Село в первых числах мая, я в этот день также должен был ехать в Петербург и на Царскосельской станции железной дороги нашел государя прохаживавшимся по галерее в ожидании великого князя, несколько опоздавшего. Протянув мне руку, государь продолжал свою прогулку по галерее вместе со мной и начал говорить о делах нашего Цензурного Комитета.

— Последнее замечание ваше об анекдоте в «Северной Пчеле», — сказал он, — неважно; однако хорошо, что и это от вас не ускользнуло.

— Государь, — отвечал я, — мы вменяем себе в обязанность доводить до вашего сведения о всех наших замечаниях, даже и мелочных, предпочитая представить что-нибудь мелочное, чем пропустить важное.

— Так, так и надо; прошу и вперед так же продолжать; ну, а что теперь Краевский со своими «Отечественными Записками», после сделанной ему головомойки?

— Я в эту минуту именно читаю майскую книжку и нахожу в ней совершенную перемену, совсем другое направление, и нет уже следа прежнего таинственного арго. Повешенный над журналистами Дамоклов меч, видимо, приносит добрые плоды.

— Надеюсь; и признаюсь, не могу только надивиться, как прежде допустили вкрасться противному.

Продолжая речь о том же предмете, государь сказал еще:

— Больше всего мне досадны глупые возгласы против Петра Великого; досадно, когда и говорят, а тем больше нестерпимо, когда печатают. Петр Великий сделал, что мог, и даже более, чем мог, и вправе ли мы теперь, при таком отдалении от той эпохи и в нашем незнании тогдашних обстоя-

тельств, критиковать его действия и унижать его славу и славу самой России!

Между тем, приехали цесаревич и великий князь, и государь, входя в вагон железной дороги, велел мне сесть вместе с ним и его сыновьями. Таким образом, нас было в том отделении вагона всего лишь четверо, и 25 минут от Царского Села до Петербурга пролетели для меня, как миг, в неистощавшейся беседе государя, предметами которой были: Сперанский, Новосильцев, Гежелинский, Аракчеев, архимандрит Фотий, мемуары Масона и другая старина. Я тут снова удивлялся и памяти государя на малейшие подробности, и самому знанию им этих подробностей, из числа которых многие, казалось, совсем не могли бы и достигнуть той сферы, в которой развивалась и протекала его жизнь.

* * *

Начало мая в 1848 году было совершенно феноменальным. С первых чисел доходило до 23° в тени, и при благодатных дождях и нескольких грозах растительность развилась так, как бывает у нас обыкновенно только в половине июня. 9-го числа, в воскресенье, после обедни в Царском Селе, присутствовавших при ней придворных пригласили к цесаревичу на завтрак. Он был устроен на площадке Камероновской галереи, и в продолжение его играла внизу, в садовой аллее, военная музыка. Государь, в разговоре со мной коснувшись моего, а потом и своего здоровья, сказал, между прочим, что стоящая на дворе жара очень благодетельно на него действует, а на вопрос мой, каков его сон, отвечал:

— Этим я, благодаря Богу, до сих пор жаловаться не могу — сплю прекрасно, но это для меня и дело первой важности; без еды или с едой самой скудной я могу, пожалуй, обойтись хоть пять дней кряду; но спать мне необходимо, и я свеж и готов явиться на службу только тогда, когда высплюсь,

по крайней мере, семь или восемь часов в сутки, хоть бы и не вдруг, а с перерывами.

* * *

В тот же день, 9 мая, торжественно отрыт был Штейнбоковский пассаж, первый по времени построения в Петербурге, а по размерам и красоте один из первых в целой Европе. После молебствия с водоосвящением, завтрака для приглашенных гостей и обеда для рабочих впустили публику; но этот впуск в первые три дня был только на известные часы, и не даром, а с платой по 50 коп. с человека, за что играли постоянно два оркестра музыки и пел хор московских цыган. Хозяином этого пассажа был граф Эссен-Штейнбок-Фермор, служивший некогда в Конной гвардии и женатый на единственной дочери покойного Петербургского военного генерал-губернатора, которая, вместе с графским титулом и фамилией Эссен, принесла ему и весьма значительное состояние.

* * *

Весь май Петербург веселился напропалую, несмотря ни на приближавшуюся отовсюду эпидемическую холеру, ни на продолжавшую корчить всю Европу холеру моральную, вначале и нас так перепугавшую. Везде, на всех островах, на всех загородных гуляньях гремели оркестры музыки, составленные все, кроме военных, из приезжих иностранных музыкантов. Политика, продолжавшая более или менее занимать только самые высшие классы, для всех прочих отошла далеко в тень, и Петербург, как бы не обращая внимания ни на что внешнее, зажил во всем прежней своей жизнью. 31 мая железная дорога привезла в Павловск необъятные толпы народа. Там у великого князя Михаила Павловича, перед Константиновским дворцом, велись с песнями многочислен-

ные хороводы крестьян из его Федоровского посада и пели московские цыгане, между тем как в вокзале играл обыкновенный оркестр Гунгля, а в саду раздавался еще хор военной музыки. Целое море музыки, и притом самой разнородной, если сравнить попурри Гунгля и марши военного оркестра с пискливым воем, как от несмазанных колес, русских красных девушек и с дикими, фантастическими мелодиями цыган.

Вдруг пробил час холеры…

Первым заболел 4 июня прибывший на лодке из Новой Ладоги дьякон Иванов, который, однако же, выздоровел. 5-го и 6-го новых случаев не было; но с 7-го числа болезнь стала распространяться в виде эпидемии и с 10-го чрезвычайно быстро разлилась по всем частям города. Заболевавшие умирали, большей частью, в несколько часов. 17-го уже занемогло в один день 719 и умерло 356 человек; 23-го — 1086 и 548; 26-го — 1017 и 576. С этого числа эпидемия начала несколько, хотя и незначительно, уменьшаться.

В первые дни газеты, извещая о числе заболевавших, находили еще возможность скрашивать дело фразой: «Больных, имеющих признаки, схожие с признаками холеры»; но вскоре страшная смертность и общий ужас не дозволили более употреблять никаких секретов и успокоительных выражений. Кто только мог, бежал из города, но и за городом, во всех окрестностях: в Павловске, в Петергофе, в Гатчине, даже в славящемся чистотой воздуха Царском Селе, бывали частые холерные случаи; в Кронштадте же и Ораниембауме болезнь действовала очень сильно. Кроме высших классов, Петербург оставили и многие тысячи чернорабочих, пришедших туда на летние работы. Объятые естественным страхом, они, бросая все надежды прибытков, стремились обратно на родину и умирали сотнями на дороге.

Гвардия, по обыкновению, была выведена в Красносельский лагерь, и не в летнем, а в суконном исподнем платье, а военно-учебные заведения переправлены в лагерь Петергофский

прежде срока и не пешком, как всегда бывало, а на пароходах; вступившую же в Петербург, взамен гвардии, дивизию Гренадерского корпуса разместили не по казармам, а также лагерем на Царицыном лугу, Семеновском плацу и проч. Не обошлось, как ожидать должно было, и без народного волнения, направленного, впрочем, не против правительства, как в 1831 году, а прямо против мнимых отравителей[192].

Разумеется, что тут не обошлось также без новых подвигов со стороны нашего героя, нашей ограды, нашего великого государя, везде и всегда себе равного. Приехав немедленно из Петергофа в столицу, он увещевал здесь толпы народные, обращая их к покорности и молитве, обуздывал дикие страсти черни, обхаживал лично мясные лавки, вразумляя о необходимости особенной в них опрятности и проч. Не могу не повторить снова, что во всякой власти все надежды, все чаяния постоянно обращались к энергической и теплой душе государя, и что на нем одном покоились все наши упования.

В Петергофе не было не только празднеств, но и простого приема, ни 25 июня, ни 1 июля. Вследствие холеры, политических обстоятельств и недавней кончины родителя цесаревны, двор провел эти дни в совершенном уединении.

Но постепенно и испуг от холеры миновался точно так же, как испуг от политических событий.

Лишь только унялось народное волнение, — а оно унялось тотчас по появлении государя, — все опять пошло, по наружности, как бы обыкновенным своим порядком, хотя в городе на каждом шагу встречался гроб и над всеми другими одеждами преобладали траурные; однако публичные гулянья стали наполняться не менее прежнего; везде опять раздавалась музыка, и та часть населения, которой не поразил еще

[192] Не касаюсь здесь ни этих событий, ни учрежденного в то время в Петербурге торжественного крестного хода, потому что все это подробно описано в современных газетах.

злой недуг в ее семействах или близких, старалась, по-видимому, забыться в этих мнимых весельях… Официальное течение дел и управления также не прерывалось, и ни одно из присутственных мест не было закрыто, хотя, среди общей тревоги и множества смертных случаев, все это шло очень вяло и большей частью только по имени.

* * *

В августе умер, но не от холеры, хотя она все еще продолжала свирепствовать, а от старческого изнеможения, Николай Васильевич Музовский, протопресвитер, александровский кавалер, обер-священник гвардии и духовник государя, императрицы и великой княгини Елены Павловны — почти столетний старец, о котором мне уже не раз случалось упоминать. Тонкий и ловкий придворный и вообще умный человек, он, однако, не был, как называют наши духовные, из ученых и не отличался ни особенным даром слова, ни блеском пера. Впрочем, самый характер его духовного сына не давал Музовскому никакого над ним влияния, и все значение духовника оканчивалось вместе с исповедью; оттого и публика отдавала ему лишь почет, приличный его сану, отнюдь не считая его за человека случайного.

* * *

По случаю предстоявшего бракосочетания великого князя Константина Николаевича двор переехал 28 августа из Петергофа на Елагин остров, и затем самое празднество происходило в Петербурге, по обычному церемониалу, 30 августа. В публике, впрочем, некоторые сие порицали, говоря, что в этот день, т. е. в праздник Александра Невского, народ издавна привык видеть православный царственный дом у единственных в Петербурге мощей. Обряд бракосочетания впервые

совершал новый государев духовник Бажанов, после чего были трехклассный обед и парадный бал, а на другой день утром развод перед Зимним дворцом и вечером парадный спектакль, в который давали балет «Пахиту».

На меня, как, вероятно, и на многих других, особенное впечатление при брачной церемонии произвели две вещи. С одной стороны, общее, обыкновенное усердие и участие всей большой народной семьи в царственном празднике. Разумеется, что в огромном стечении народа и перед дворцом, и целый день на улицах, участвовало отчасти и любопытство; но все же в ту пору судорожного распадения Европы зрелище этой державы, которая одна устояла неподвижно и неизменно в своих основах, этого народа, везде, толпой, с прежними криками радости и почти богопочтения устремлявшегося на сретенье своему царю; этой иллюминации, зажженной не в честь революционных завоеваний (Errungenschaften — одно из тогдашних модных словечек), а на радость царственную, хотя бы то было и по приказанию полиции; этого дивного порядка и тишины, которых ничем и ни на минуту не нарушало стечение огромных масс; наконец, посреди и над всем этим того могучего морального колосса, той единицы, которой держались миллионы, лежавшие у его ног попрежнему, — все это не могло не действовать чрезвычайно поразительно, и оттого празднество бракосочетания великого князя Константина Николаевича имело совсем другой характер, нежели все ему предшедшие.

Но, сколько это явление было отрадно, столько, с другой стороны, казалась тут печальной роль иностранного дипломатического корпуса, который с тех пор, что правление везде перешло из рук монархов в руки народов, продолжал существовать почти только по имени. Разумеется, что всем этим блиставшим в вышитых мундирах господам и в этот день отдавался обыкновенный внешний почет, но какое же оставалось при них, в то время, внутреннее значение и как жалки и

смешны они должны были казаться себе в собственных глазах, особенно при такой совокупной и публичной их выставке!.. Изъятие составлял разве один только английский министр, лорд Блумфильд, которого вес поднялся в соразмерность с упадком прочих.

Всех жальче был посланник виртембергский, принц Гогенлоэ, приехавший к нам за 24 года перед тем, у нас влюбившийся, вступивший в брак, опять овдовевший, состарившийся, отчужденный, через долговременное пребывание в России, от своего отечества и от всех в нем связей и вдруг, как человек старого режима, de l'ancien regime, лишаемый своего поста, отзываемый восвояси[193], без пенсии и без всякого состояния, потому что он жил почти одним посланническим своим содержанием. Бедный человек, как он печально рассказывал это всем, кому только угодно было его слушать!

Я сказал, что праздник происходил по обычному церемониалу. Это так, но были некоторые изъятия из того, что велось искони в дворцовых преданиях. Так, например, за обедом, по особому повелению государя, не подавали ни стерлядей, ни трюфелей, ни мороженого — из предосторожности против холеры, все еще не прекращавшейся, но не помешавшей, однако, разлиться тут целому морю шампанского, как и вообще незаметной по движению и беззаботному веселью народа, хотя если б свадьба случилась три месяца раньше, при ней присутствовало бы пятнадцатью тысячами зрителей более, — число жертв, унесенных эпидемией в этот короткий промежуток в одном Петербурге. Со страхом исчезли и полезные напоминания смертоносного недуга, хотя на другой день, может быть, и из этой веселой толпы пало несколько десятков новых его жертв.

[193] Он впоследствии, оставив службу, навсегда остался в России.

Другое изъятие состояло в том, что не последовало ни одной награды придворной, как и вообще ни одной, исшедшей непосредственно от государя. Касательно первых он отозвался, что не будет никому ничего, потому что при дворе и без того довольно случаев к наградам, и лица, состоявшие при великом князе, остались только с тем, что каждый из них получил ко дню его совершеннолетия.

* * *

18 сентября за маленьких обедом во дворце государь очень рассмешил всех нас и сам очень смеялся, рассказывая сон свой в предшедшую ночь.

— Я видел, — говорил он, — будто мне кем-то поручено удостовериться: настоящий ли у герцога Веллингтона нос или картонный, и что для этого я щелкал его по носу, который, казалось, звучал, точно картонный!

После обеда государь был бесподобен. Привели детей цесаревича, и он играл, валялся и кувыркался с ними, как самая нежная нянька, приговаривая несколько раз, что не знает счастья выше этого.

* * *

На зиму 1848 года ангажирована была нашей театральной дирекцией знаменитая танцовщица Фанни Эльслер. Государь изъявил желание, чтобы первый дебют ее был перед двором в Царском Селе, что и последовало 19 сентября. Хотя там есть особый и очень хорошенький театр, но император Николай, не знаю почему, не жаловал, чтобы в нем играли, и оттого спектакли, бывавшие в Царском Селе, во время осеннего пребывания императорской фамилии обыкновенно каждое воскресенье, давались в Большом дворце, в особо устроенной для них зале, сцена которой была очень удобна для комедий

и водевилей, но слишком мала для пьес «с великолепным спектаклем», в особенности же для балетов. Оттого дебют Фанни Эльслер ограничился единственно качучею, исполненной между французской и русской пьесами.

В присутствии государя придворный этикет запрещал аплодировать прежде него; но и вслед за ним, по некоторой робости, аплодировали лишь очень немногие и очень слегка. Вследствие того перед появлением нашей танцовщицы объявлено было присутствовавшим, изустно, семиофициальное повеление хлопать погромче, ибо «императору плохо одному». Разумеется, что этого достаточно было для возбуждения самых громких аплодисментов, и Эльслер заставили даже повторить ее качучу.

* * *

В октябре 1848 года одна из прогулок государя, в 7-м часу после обеда, по царскосельским садам, дала повод к забавному анекдоту. При довольно сильном тумане он вдруг заметил сквозь обыкновенную нашу осеннюю мглу огненный шар, носившийся, казалось, высоко в небесах и ежеминутно менявшийся в цвете. По возвращении во дворец государь тотчас послал фельдъегеря на Пулковскую обсерваторию спросить: замечено ли там это явление и обращено ли на него должное внимание? Ответ был, что ничего не видели и что притом густой туман не позволял вообще никаких наблюдений. Позже, когда придворные собрались на обыкновенный вечер у императрицы, государь рассказал перед всеми о виденном им феномене, и что же оказалось? Гофмаршал цесаревича, Олсуфьев, чистосердечно сознался, что это был воздушный шар из разноцветной бумаги, освещенный изнутри несколькими свечами и пущенный им для забавы своих детей! От тумана он принимал разные фантастические формы и притом представлялся по виду гораздо большим в отдалении.

* * *

Осенью 1848 года государю беспрестанно приходилось быть на похоронах. 9 октября он присутствовал на погребении старого адмирала Моллера, занимавшего некогда пост морского министра, а 11-го почтил опять своим присутствием отпевание тела князя Долгорукого, генерал-адъютанта и начальника штаба генерал-фельдцейхмейстера. Последняя церемония едва не сделалась, косвенно, причиной несчастья. Всходя перед похоронами на лестницу в Зимнем дворце, крепко налощенную, государь поскользнулся и упал на то самое плечо, в котором уже прежде была у него переломлена ключица. Ушиб обошелся, однако, без дальнейших последствий, хотя государь и сказывал, что боль от него была в этот раз гораздо чувствительнее, чем тогда, когда он сломал себе ключицу.

* * *

В первой половине сентября у графа Левашова, после съеденной им дыни, сделался жестокий припадок холеры. Этот припадок постиг его в купленном им незадолго перед тем имении Осиновой роще (за Парголовым); но потом признаки холеры миновали, и больного, хотя он и находился еще в смертельной слабости, сочли возможным перевезти в Петербург.

Между тем наступил срок к возобновлению заседаний Государственного Совета после вакантного времени и, по законам Совета, оно должно было последовать, за болезнью Левашова, под председательством старшего из председателей департаментов. Действительно, дней за пять до понедельника, упавшего в тот год на 20 сентября, разосланы были повестки о назначении на этот день заседания, как вдруг, накануне его, мы получили новые повестки, объявившие, что «об от-

крытии заседаний Совета после вакантного времени имеет последовать особое извещение».

Впоследствии государственный секретарь Бахтин сказывал мне, что это изменение состоялось по особому, им написанному, докладу Левашова, имевшего, впрочем, при отдании приказания о том вид человека, которому на следующий понедельник скорее предстоит смерть, нежели выздоровление, особливо в такой степени, чтобы ехать в Совет.

Государь принял этот доклад с крайним неудовольствием, как вещь, выходившую из общего порядка, и хотя возвратил его с надписью: «Совершенно согласен», — но потому, собственно, как он выразился, чтобы не убить окончательно человека, без того уже, вероятно, обреченного на смерть. Вслед за тем Левашову сделалось гораздо хуже. Наследник цесаревич и сам государь нарочно приезжали из Царского Села с ним проститься, и наконец 23 сентября окончились его страдания. Он умер в полной памяти, но не имев утешения видеть себя настоящим председателем Государственного Совета, что, без сомнения, последовало бы, если б он дожил только до нового года.

Отличительными чертами графа, при усердном и безотчетном исполнении воли царской, были: тиранический деспотизм над всем, от него зависевшим, и, несмотря на очень ограниченную способность к делу, безмерное тщеславие. Государь выразился о нем так: «Душевно жалею о Левашове, потому что видел с его стороны всегда самое строгое и ревностное исполнение моих приказаний». В публике он не пользовался ни особым доверием, ни большим уважением. Кто-то дивился, как он мог подпасть холере при своем постоянно умеренном образе жизни.

— Да, — отвечал один из наших остряков, — надо ему отдать справедливость: он всегда был умерен — и не только в образе жизни, но во всем: в уме, в способностях, в правилах…

Замечательно, как тщеславие Левашова выразилось даже в одном из предсмертных его распоряжений. Он завещал

положить себя в гроб — в новом парике, в котором не было бы ни одного седого волоса. «Хочу, — говорил он, — лечь и в землю молодцом». В самом деле, хотя ему следующего 10 октября исполнилось бы 66 лет, он, здоровый, был еще совершенным молодцом, даже со всеми приемами молодого человека, которым вполне соответствовали его фигура и весь наружный вид.

С Левашовым угас последний член того тройственного союза (состоявшего из Васильчикова, Дашкова и его, Левашова), который еще так недавно стоял во главе нашего управления и которому один забавник давал имя фамильного (вместо Государственного) Совета.

При выносе тела из дома в Невскую Лавру присутствовали: государь, цесаревич и великий князь Михаил Павлович, которые и провожали потом гроб верхами до Литейной. На отпевании их не было.

Вопрос о вновь упразднившемся, со смертью графа Левашова, месте разрешился на этот раз гораздо скорее, чем в предшедшем году и притом совсем иначе, нежели предвидела большая часть публики. Вместо, как думали, графа Блудова, председателем Государственного Совета и Комитета министров был назначен 2 ноября военный министр князь Чернышев, с оставлением и в прежнем звании. При этом случае князь рассказал мне об одном, очень примечательном слове, отлично характеризовавшем императора Николая.

— В публике, — сказал он Чернышеву, — думают, что ты мне служишь; ну, пусть себе так и думают, а мы про себя знаем, что оба вместе служим одному общему, высшему монарху — благу России!

* * *

Зимой 1844 года я часто виделся и беседовал с бывшим, в конце двадцатых и в начале тридцатых годов, министром

внутренних дел, графом Арсением Андреевичем Закревским. Состояв прежде дежурным генералом Главного штаба, а потом Финляндским генерал-губернатором, он, при назначении его министром, принес с собой в управление, несмотря на недостаток высшего образования, очень много усердия, добросовестности и правдивости и, сверх того, очень энергический характер, доходивший, в незнании угодливости сильным, нередко до строптивости. Восстановив против себя через эту черту всех пользовавшихся властью (в особенности председателя Государственного Совета и Комитета министров, князя Кочубея), Закревский, естественно, не мог долго удержаться на месте. Начало его опале положено было знаменитым проектом закона о состояниях, рассматривавшимся в Государственном Совете в 1830 году.

— Я не только, — рассказывал он мне, — сопротивлялся всеми силами этому нелепому проекту, но и осмелился даже в Совете, в присутствии государя, собиравшегося тогда за границу, сказать, что первым условием для издания нового закона считаю — присутствие его величества в столице.

— Почему же? — спросил государь с весьма раздраженным видом.

— Потому, — отвечал я, — что невозможно предвидеть, какие последствия будет иметь этот государственный переворот, и я, как министр внутренних дел, не могу принять на себя ответственности за сохранение народного спокойствия в отсутствие вашего величества.

Прямого возражения не последовало, и хотя проект был отложен и потом совсем взят назад, однако с тех именно пор государь видимо ко мне охладел, а Кочубеи, мужчины и женщины, во всех поколениях и во всей их родне, еще более на меня озлобились, потому что проект, как вы знаете, был созданием этой ватаги, вместе со Сперанским. Потом, при появлении у нас впервые холеры, государь командировал меня, как вы тоже знаете, вовнутрь России, для местных

распоряжений, а позже назначил главным распорядителем по всем мерам против болезни в столице. Здесь, увидясь со мной на другой после несчастных июньских (в 1831 году) происшествий на Сенной, он спросил: чему я приписываю народное волнение?

— Единственно распоряжениям и злоупотреблениям полиции.

— Это что значит?

— То, государь, что полиция силой забирает и тащит в холерные больницы и больных, и здоровых, а потом выпускает только тех, которые отплатятся.

— Что это за вздор, — закричал государь, видимо разгневанный, — Кокошкин[194], доволен ли ты своей полицией?

— Доволен, государь.

— Ну и я совершенно тобой доволен.

С этим словом он отвернулся и ушел в другую комнату.

— Тут я еще более убедился, — продолжал Закревский, — что мой час настал: такая очная ставка с подчиненным и такое предпочтение его передо мной ясно доказывали, что мне уже не оставаться министром. Я хотел только докончить некоторые, особо мне данные поручения, а потом откланяться. Между тем дело несколько оттянулось оттого, что государь велел мне ехать в Финляндию[195], для наблюдения за расположением там умов по случаю революции в Польше. Я остался в Финляндии до известия об окончании польского мятежа и, воротясь в конце ноября (1831 года), в самую минуту отъезда государя из Петербурга, послал просьбу об отставке, застигшую его еще в Царском Селе. Отставка дана мне была тотчас же, без затруднений, без объяснений и даже без личного свидания.

---

[194] Обер-полицмейстер, тут же находившийся.

[195] Закревский, при должности министра внутренних дел, продолжал сохранять и звание Финляндского генерал-губернатора.

С моей стороны, думаю, что немилости, в которую впал тогда Закревский, наиболее способствовали слишком крутые меры, принятые им во время объезда России по случаю холеры[196].

Помню, что в то время было много неудовольствий и жалоб, и в числе моих бумаг за ту эпоху встречаю следующие строки князя Кочубея:

«Из докладной записки г-на министра внутренних дел вы увидите, что он наконец и сам почувствовал все неудобство мер, прежде им к охранению от холеры предписанных. Я совершенно разделяю мнение Комитета по сему предмету (эта записка была от 4 июля 1831 года, когда Кочубей жил, по случаю холерного карантина, в Царском Селе). Страшно подумать, что по одному Московскому тракту скопилось в карантинах до 12 тыс. душ. Нет добрее и смирнее нашего народа!»

Как бы то ни было, но с самого своего увольнения Закревский, не доискиваясь утраченной милости, не домогаясь вступления снова в службу, при огромном состоянии довольный своим положением, многие годы проводил то в Москве, то в чужих краях, то в Петербурге, где в сороковых годах перестроил и великолепно отделал и убрал дом свой на площади против Исаакиевского собора. Уважаемый за прямоту характера, любимый по русской приветливости и простоте в обращении, радушный хозяин и приятный собеседник по множеству интересных воспоминаний, он жил в большом свете, не гнушаясь, впрочем, и старинными знакомыми.

— Когда же вы впервые свиделись с государем после вашего увольнения? — спросил я однажды у графа.

— Не прежде как через девять лет. Бывав часто в это время в Петербурге, я всегда избегал свидания с ним и с намерением не являлся даже на те частные балы, где ожидали его

---

[196] Император Александр II написал: «Справедливо, и я то же слышал от батюшки».

присутствия. Но однажды мы встретились на вечере у Юсупова, куда он приехал из театра. Заметив меня за партией, он сам подошел, обнял меня и приветствовал несколькими ласковыми вопросами о здоровье, на которые я отвечал, что чувствую себя лучше, чем когда-нибудь. С тех пор мы уже часто стали видеться, но всегда только в публике. Он говорил мне тут обыкновенно несколько милостивых слов, но покушений к сближению не было никогда ни с его, ни с моей стороны.

Вскоре после того граф Закревский начал давать во вновь отделанном своем доме прекрасные балы, на которые являлся весь большой свет и во главе его великий князь Михаил Павлович, а в 1847 году, неожиданно для публики, если не для самого хозяина, приехали и государь с наследником цесаревичем, что повторилось также зимой 1848 года.

В это время князь Щербатов, единожды уже, как я рассказывал, оставивший службу по оскорбленному честолюбию, снова огорчился пожалованием в статс-дамы, к тезоименитству императрицы, графини Левашовой и Мятлевой, которые обе, по званию мужей, стояли ниже его жены, и вследствие того в мае прислал просьбу об увольнении его от звания Московского военного генерал-губернатора. Она была принята, с оставлением его только членом Государственного Совета. Но кто был назначен на его место? Тот самый граф Закревский, который уже за пятнадцать лет прежде занимал пост министра внутренних дел и, казалось, навсегда отказался от службы… Петербургская публика приняла этот выбор с большим одобрением, и никто не сомневался, что Закревский, честный, энергический, богатый русский барин, придется Москве совершенно по плечу; удивлялись только, как сам он, избалованный долговременной свободой жизни и ни в чем не нуждаясь, согласился взять на себя пост, по сравнению ниже его прежнего, и считали это почти за такую же жертву воле государя, как перед тем принятие Воронцовым кавказского места. Вместе с тем Закревскому возвращено бы-

ло прежнее звание генерал-адъютанта, а 2 ноября того же года он пожалован и в члены Государственного Совета.

* * *

Одновременно с известием об отречении герцога Альтенбургского пришло и другое, в сравнении и без сравнения с первым колоссальное, — о таком же отречении от своей короны австрийского императора Фердинанда, этого бедного юродивого, который, среди тогдашних громадных переворотов, требовавших необыкновенной энергии, ума и характера, сделался, так сказать, невозможным на престоле.

Генерал-адъютант барон Ливен, посланный в Вену с нашими орденами для Виндишгреца и Иеллашича и только что воротившийся с благодарственными от них письмами, ничего не знал о готовившемся, как вдруг в ночь с 26 на 27-е ноября прискакал в Петербург эрцгерцог Вильгельм, с известием о вступлении на австрийский престол 20 ноября (2 декабря), следственно в тот самый день, в который праздновалось восшествие на престол нашего государя, молодого эрцгерцога Франца-Иосифа. Вестник этой перемены остановился в так называемом запасном доме, на Дворцовой набережной, и 27 числа уже присутствовал на большом параде гвардейского корпуса, предназначенном на этот день тогда еще, когда никому не приходило на мысль ожидать приезда эрцгерцога. Привезенное им известие, несмотря на всю его важность, не произвело на нашу публику ни особенного, ни продолжительного впечатления. Она так уже была базирована исполинскими происшествиями того года, что никакое новое событие не казалось ей более ни поразительным, ни неожиданным.

С ответом на миссию эрцгерцога Вильгельма, т. е. с поздравлением нового императора, государь послал в Вену[197] великого князя Константина Николаевича.

Барон Ливен, о посылке которого в Вену я сейчас упомянул, отвез фельдмаршалу Виндишгрецу орден Св. Апостола Андрея с брильянтами и Бану Иеллашичу орден Св. Владимира 1-й степени. Эти награды пожалованы им были императором Николаем за укрощение революционно-анархических движений в Австрии и за взятие взбунтовавшейся Вены. Отправляя Ливена, государь заметил, что как орденские знаки с брильянтами носятся только в торжественных случаях, то Виндишгрецу нужна для обыкновенных дней простая звезда; вследствие чего велел снять такую с надеванного им в тот день мундира.

— Отдай ее князю, — прибавил он, обращаясь к Ливену, — и скажи ему, что я сам носил на себе эту звезду шесть лет.

Виндишгрец отвечал прекрасным письмом, в котором, благодаря государя, писал, что эта звезда будет обращена им в заветный майорат, долженствующий навсегда сохраняться в старшем поколении его дома. Иеллашич, со своей стороны, принимая от Ливена Владимирский орден, сказал, что это ему доказывает, что Петербург был ближе от Вены, чем Ольмюц. В самом деле, и он, и Виндишгрец получили за свои подвиги австрийские ордена уже гораздо позже наших.

---

[197] Император Александр II исправил: «в Ольмюц, где после венских смут находилась тогда вся императорская семья».

XVIII
1849 год

Доктор Карель — Кончина И. Н. Скобелева — Освящение Конногвардейской церкви — Награды Радецкому, пожалованные императором Николаем — Освящение Московского дворца — Празднование Пасхи в Петербурге и Москве — Заговор Петрашевского — Манифест о венгерских делах — Назначение комплекта в университетах — Поездка государя в Польшу и возвращение — Пребывание наследника цесаревича в Ревеле — Императрица в Ревеле — Графиня Нессельрод

Жена лейб-медика Мандта никак не могла переносить нашего климата и оттого уже издавна вместе с детьми жила не с ним в Петербурге, а во Франкфурте-на-Одере, месте ее родины. В феврале 1849 года, Мандт отпросился в отпуск месяцев на пять, отчасти для свидания с женой, отчасти же для поправления своего расстроенного здоровья. Императору Николаю, при частых его хвораниях и при многолетней привычке и доверенности к своему лейб-медику, глубоко изучившему его натуру и вполне возобладавшему над его воображением, эта разлука была чрезвычайно неприятна.

Мандт, по воззрению своему на медицину и в особенности на начало или корни болезней, мог почитаться творцом своеобразной системы, которая, впрочем, по односторонности ли ее, или же по гениальности, находила очень немногих последователей. Два года сряду он читал в Петербурге публичные клинические лекции, на которые, несмотря на общеизвестный вес его при дворе, являлись, большей частью, лишь одни молодые врачи. Из числа их самое благосклонное внимание преподавателя обратил на себя доктор Конногвардейского полка Карель, родом эстляндец, сын тамошнего крестьянина, попросту Карла, и воспитанник Дерптского университета, с отличным образованием и со скромным, беспритязательным характером.

Мандт называл его в то время (после, при заносчивом самовластии Мандта и при зависти, возбужденной в нем успехами собственного его создания, они сделались врагами) «носитель моей системы» («der Trager meines Systems») и рекомендовал его, на время своего отсутствия, государю, которого Карель и сопровождал потом во всех его поездках, даже и в бытность снова здесь Мандта, считаясь вообще как бы помощником последнего.

В начале этого нового поприща Карель, пока он имел еще время заниматься частной практикой, был и моим домашним врачом, и я часто слышал от него разные подробности из внутренней дворцовой жизни. Вскоре по отъезде Мандта государь сильно простудился на маскараде в Большом театре, и эта простуда сопровождалась обыкновенными его болями в правой половине головы и частой рвотой. Со всем тем, во всю болезнь, продолжавшуюся дней пять, Карель, несмотря на жестокие страдания своего больного, никак не мог уговорить его лечь в постель. Лишенный возможности чем-нибудь заниматься, государь позволял себе ложиться только на диван, в шинели, всегда заменявшей ему халат, и в сапогах, которые, вдобавок, были еще — со шпорами! Карель не мог довольно выразить удивления своего к атлетическому, необычайному сложению его тела.

— Видев его до тех пор, как и все, только в мундире или сюртуке, — рассказывал нам Карель, — я всегда воображал себе, что эта высоко выдавшаяся вперед грудь — дело ваты. Ничего не бывало. Теперь, когда мне пришлось подвергать его перкуссии и аскультации, я убедился, что все это свое, самородное; нельзя себе представить форм изящнее и конструкции более Аполлоно-Геркулесовской!

* * *

В феврале умер Иван Никитич Скобелев, приобретший общую известность и даже некоторую знаменитость своей

карьерой, своей львиной некогда храбростью и своими литературными, написанными солдатским языком, произведениями. Дослужась из сдаточных рекрут до полных генералов и александровских кавалеров, он в последнее время жизни был комендантом С.-Петербургской крепости, директором Чесменской военной богадельни, членом Инвалидного комитета[198] и шефом Рязанского пехотного полка.

«Отец и командир» (так сам он называл всякого встречного и поперечного) давно уже начал хилеть в своем здоровье, но окончательный ему удар нанесла история члена генерал-аудиториата, генерала от инфантерии Белоградского, с которым он всегда был очень дружен. Этого Белоградского, 72-летнего старца, родом из турок, взятого в плен в первой молодости под Белградом, по которому и дали ему фамилию, вдруг уличили в особых вкусах. Вследствие того государь отставил его от службы и велел сослать на покаяние в монастырь. Во время производства следствия о гнусных действиях, в которых он обвинялся, его заключили в Петербургскую крепость, и здесь Скобелев, при первой встрече с ним, так разгорячился от упреков и ругательств, которыми осыпал старого своего друга, что немедленно занемог воспалением в боку.

Одаренный бойким словом и владея живым, хотя малограмотным пером (сочинения его всегда переправлялись другими), старик был человек, по самому происхождению своему, без всякого образования, но очень оригинальный в своих приемах и речах, блиставший типическим русским умом, хлебосол, что называется, добрый малый, и петербургская публика очень его любила. По тону своему и всей личности он принадлежал к числу тех исключительных натур, которым, под предлогом свойственной солдатам откровенности и некоторой дерзости, позволяется говорить и делать

---

[198] Александровский комитет о раненых.

многое, чего не вынесли бы от других. Прикрываясь этой суровой простотой, ему нередко удавались разные добрые дела, к чему самый пост коменданта Петербургской крепости представлял широкое поле.

Между множеством примеров вот один, характеризующий как самого Скобелева, так и отношение к нему государя. В 1848 году молодой гвардейский офицер Браккель, только что выпущенный на службу, с гауптвахты, в которой он стоял с караулом, дозволил отлучиться одному арестанту, и хотя последний своевременно возвратился, однако другой, вместе с ним содержавшийся, донес о случившемся, и государь велел посадить Браккеля в каземат. Это дало повод к следующей любопытной переписке:

1) Письмо Скобелева к военному министру от 1 ноября 1848 года: «Заключенный на 6 месяцев в каземат лейб-гвардии Егерского полка Браккель, образуя собой слабого, тщедушного, юного немца, принявший определенное ему наказание с чувством вполне кающегося грешника, все более за нанесение удара родителям, проживающим, по словам его, в Риге, слезами и тоской наводит мне страх. Боже упаси, если ко всему вышеперечисленному присоединится холера и он умрет. Немцы подумают, что его в крепости уморили. Браккель виноват по молодости и неопытности, но он, как вижу, сформирован на благородную стать, с чувствами возвышенными, похвальными, а посему, быть может, и сам я подвергаюсь вашему гневу, но осмеливаюсь просить исходатайствовать ему перевод в место менее грозное — гауптвахту».

2) Собственноручная резолюция государя на этом письме: «Старику Скобелеву я ни в чем не откажу. Надеюсь, что после его солдатского увещания виновному из Браккеля выйдет опять хороший офицер; выпустить и перевести в армейский полк тем же чином».

3) Благодарственное письмо Скобелева его величеству от 4 ноября: «Благотворная резолюция вашего императорского

величества на письме моем дала мне повод и сообщила смелость представить вам настоящее положение души и сердца моего.

Клянусь святой верой и честью русского благородного солдата, что если бы вы подарили мне каменную в крепости палату, золотом и серебром набитую, далеко, далеко не порадовали б меня против этой Божественной резолюции, хотя, впрочем, я никогда не знал Браккеля, вовсе не знаком с его родителями и действовал по долгу и обязанностям стража, долженствующего вникать не только в физическое, но и в нравственное состояние преступника; посему, мог ли я вообразить, чтоб из обстоятельства, столь обыкновенного, на седую мою голову упала благодать и утлая жизнь моя снова озарилась счастьем, но ведь это не ново для меня: все ваше царствование — светлый праздник!

Не удивляйтесь, государь, всеусерднейшей просьбе моей: в случае войны употребить меня в дело; мне стыдно умереть под кровлей; ретивое мое должно перестать биться на полях славы и за вас, в пример и науку преемникам: иначе чаша счастья будет неполна».

На подлинном написано рукой военного министра: «Государь император изволил прочитать с удовольствием».

* * *

20 марта, в воскресенье, происходило освящение новой, прекрасной церкви Благовещения в Конногвардейском полку, выстроенной славным нашим Тоном с поразительной быстротой и достойно ставшей в ряде тех многочисленных и изящных храмов, которыми царствование императора Николая украсило Петербург. Два боковые придела освящены были рано утром гвардейскими протоиереями, а освящение главного — обер-священником армии и флота Кутневичем, с гвардейским и придворным духовенством, происходило в

11-м часу, в присутствии государя и всех великих князей. К обедне, уже после ее начала, приехала и императрица с великими княгинями. Государь во время совершения обряда освящения стоял в алтаре, а потом следовал за крестным ходом вокруг церкви. После обедни подходили к кресту, вслед за царской фамилией, все генералы, штаб- и обер-офицеры Конной гвардии, также лица, когда-либо в ней служившие, и, наконец, находившиеся в ней прежде на службе дворцовые гренадеры; в заключение государь подвел императрицу смотреть образа и милостиво разговаривал со многими, в том числе и с престарелым полковым священником. Тона, пожалованного к этому дню в действительные статские советники, он обнял публично, посреди церкви.

Особенное внимание всех обратила на себя великолепная вызолоченная дарохранительница — приношение графа Орлова, бывшего некогда командиром лейб-гвардии Конного полка. Это изящное произведение русских мастеровых, работающих на петербургский английский магазин, изображает в миниатюре ту же самую церковь со всеми ее подробностями.

При освящении присутствовал, между прочими, и оберквартирмейстер гренадерского корпуса Бруннов, который на другой день умер от холеры!

* * *

Вести о блестящих победах знаменитого старца Радецкого в Италии столько же радовали Петербург, сколько приводили в бешенство анархистов Франции и Германии. Огромное большинство нашей публики, несмотря на все пагубные влияния Запада, вполне одушевлено было священным началом законности, и каждый австрийский победный бюллетень производил у нас самое живое впечатление, как бы победа была одержана нашими войсками. Известие о том славном деле Радецкого, которое имело последствием отречение от

престола Сардинского короля Карла-Альберта и постыдное для Сардинии перемирие, пришло сюда в донесении нашего посланника при Венском дворе, графа Медема, 24 марта.

«Ура герою Радецкому, нашему фельдмаршалу!» — написал государь на депеше и послал племянника моего, Мирбаха, дежурного в тот день при нем флигель-адъютанта, с этим известием к австрийскому в то время у нас посланнику, графу Булю, который расплакался, как ребенок. Сверх пожалования титулом русского фельдмаршала, Радецкий тогда же был назначен шефом Белорусского гусарского полка, с присвоением сему последнему его имени, и в распоряжение его послано, для раздачи по его усмотрению, несколько Георгиевских крестов разных степеней. Все это повез к доблестному старцу сын другого нашего фельдмаршала, флигель-адъютант князь Варшавский[199].

* * *

Великолепный, громадный новый дворец в Московском Кремле был окончен к весне 1849 года, и у императора Николая родилась поэтическая мысль освятить этот новый памятник его царствования в праздник Светлого Воскресенья, дав при том древней столице случай посмотреть на новобрачных и на всю свою семью. Одну минуту думали, что кончина Нидерландского короля, в это время последовавшая и принятая очень близко к сердцу государем, остановит всю поездку; но сделанные уже в больших размерах приготовления и, может быть, еще более, начавшееся огромное стечение в Москву жителей провинций утвердили государя в прежнем намерении.

По значительному числу подъемных средств, требовавшихся для перевозки двора с его принадлежностями, она

---

[199] Император Александр II исправил: «Свиты его величества генерал-майор Яфимович».

началась еще с половины марта, и для этого исполинского передвижения были употреблены и почтовые лошади, усиленные нарядом обывательских, и дилижансы, и даже транспортные заведения. Посланный в Москву для предстоявших церемоний, гвардейский отряд отправлен был также на переменных. Члены императорского дома следовали туда один за другим, начав с 20 марта, а государь уехал 25 числа, тотчас после церковного парада в Конногвардейскому полку.

В Петербурге из всего императорского дома остались только великая княгиня Елена Павловна с дочерью и дети цесаревича и великой княгини Марии Николаевны. Хорошее положение дорог от поздней зимы позволило всем отправиться еще в зимних экипажах, разумеется, со взятыми в запас колесами. Сильные ночные морозы, продолжавшиеся отчасти, в тени, и днем, исправляли в санном пути то, что портило в нем весеннее солнце, и на шоссе он (путь) держался еще в превосходном состоянии.

Пасха в 1849 году была 3 апреля, и хотя императорская фамилия находилась в Москве, однако в «Полицейских Ведомостях», а оттуда и во всех газетах, появилась неожиданно следующая статья: «В день Св. Пасхи божественная служба в соборной церкви Зимнего дворца совершена будет точно в том же порядке, как и во время присутствия в столице высочайшего двора».

Сначала это казалось только простым извещением для желающих; но непосредственно за сим последовало другое объявление, уже совершенно обязательное. По всем ведомствам, каждому через его начальство, разослана была следующая повестка: «Государь император при отъезде своем в Москву изволил объявить, что его величеству приятно будет, если лица, имеющие приезд ко двору, соберутся, и в отсутствие высочайшего двора из С.-Петербурга, ко всенощному бдению на предстоящий праздник Св. Пасхи, в церковь Зимнего его величества дворца».

После столь ясного изъявления высочайшей воли, конечно, уже нельзя было колебаться. Между тем, это странное и никогда небывалое в подобном виде торжество произвело на всех нас очень грустное впечатление. Дворец был освещен, по обыкновению, сверху донизу; везде были расставлены, как всегда, лакеи, скороходы, арапы; все кипело многолюдством, в праздничных нарядах, и все, однако же, посреди этого обычного блеска, было безжизненно и мертво, как бы на большом кладбище. Недоставало главного — хозяев, животворящего духа, и единственные в ту минуту представители царской семьи в Зимнем дворце, дети цесаревича, давно уже спали в своих постельках.

Почти все спрашивали, что значит этот торжественный маскарад в опустелых стенах, и трудно было дать на такой вопрос дельный ответ. Странность впечатления увеличивалось еще совершенным отсутствием вестей о милостях, которых ожидание, объявление и исчисление прежде всегда так оживляло пасхальную ночь. Эти вести можно было получить из Москвы лишь через несколько дней, и Петербург в отсутствие двора обратился почти в провинциальный город.

Впрочем, вследствие упомянутого повеления, к ночному богослужению собралось людей не менее обыкновенного. Совет, Сенат, двор, гвардия и армия, все было налицо. Первую роль разыгрывал, естественно, председатель Государственного Совета, князь Чернышев, и хотя настоящего выхода не было и быть не могло, однако при возвращении князя из церкви все офицеры стояли по полкам, и он, точно архиерей, со своими иподиаконами, почти ведомый под руки многочисленным военным синклитом, раскланивался на обе стороны, поздравляя — с Новым годом! Этот несчастный lapsus linguae (ошибка в речи) насмешил всех не менее того приветствия, с которым министр-председатель несколько раз обращался к офицерам, а именно «что государь в эту минуту верно помышляет о них».

— Что это за славянщина такая, и разве нельзя было сказать того же самого по-русски! — говорила, смеясь, молодежь.

Официального целования не происходило, и вслед за утреней началась обедня; но после обедни прикладывались к кресту, и потом многие подходили на обратном пути к Чернышеву, который целовал по выбору.

— Слава Богу, что не всех, — заметил тут же князь Меншиков, — а то и мы, и он воротились бы домой все в пятнах от его румян!

Это, впрочем, было сказано только для шутки, потому что Чернышев, сколько он ни занимался своей наружностью, румян не употреблял.

Совсем другое происходило, в этот день и в предыдущие, в Москве, где сияло царственное наше солнце, со всеми его лучами.

Не повторяя того, что известно из церемониалов, газетных статей и других печатных, всем доступных, источников, приведу несколько заметок из частной моей переписки и из переданного мне после очевидцами.

Императрицу ожидали в Москву 25 марта, и народ уже с раннего утра стоял по дороге от дворца до самой заставы такими густыми толпами, что едва оставался проезд для экипажей. Около 9 часов вечера эти толпы, потеряв надежду встретить императрицу, стали расходиться, а тут она прибыла в 10 часов.

На другой день после обеда новобрачная великая княгиня Александра Иосифовна хотела прокатиться по городу, но едва только коляска тронулась от дворца, как народ с криками «ура!» бросился на нее. По этому крику сбежалась половина Москвы, и огромные толпы, наполнявшие Кремль, остановили экипаж, так что великая княгиня, за невозможностью ехать далее, принуждена была воротиться во дворец.

Но эти толпы и этот крик не могли идти ни в какое сравнение с тем многолюдством, с теми громкими выражениями народной преданности, которые сопровождали государя в Вербное воскресенье (27 марта), когда он, отслушав обедню во дворце, пошел в соборы. Весь переход был усыпан, унизан народом; в окнах, на крышах, на церковных куполах, на колокольне Ивана Великого — везде лепились люди. Едва царь показался в дворцовых дверях, в казачьем кафтане и в шапке на голове, народ хлынул к подъезду с воплями радости. Забывали все, лезли друг на друга, на двери, на стены, позволяли полиции толкать и бить себя, а прохода государю все-таки не давали, бросаясь целовать ему руки и ноги, так что шестьсот или семьсот шагов до Успенского собора он шел целые четверть часа.

Между тем дамы царской фамилии, в двух каретах, ехали шагом из старого дворца в новый; впереди шли в две линии полицейские, разгоняя кулаками сгустившуюся и тут толпу. Таковы были в ту эпоху общего превращения на Западе наши баррикады!.. На Красном крыльце царскую чету встретило духовенство[200], и она приложилась к кресту. Дойдя доверху, государь обернулся, поклонился народу и несколько минут им любовался…

Новым дворцом, при первом его обозрении, государь остался так доволен, что несколько раз обнимал главного распорядителя работ, гофмейстера барона Боде, и архитектора Тона, и в Москве заговорили, что к Пасхе первый будет — графом. Не понравились только ковры (одно, что к убранству дворца было прислано из Петербурга), которые государь велел заменить другими. Остановясь, до Пасхи, в старом дворце[201], царская фамилия всю Страстную неделю ежедневно

---

[200] Император Александр II прибавил: «придворное».

[201] Император Александр II прибавил: «в Николаевском, что близ Чудова монастыря».

слушала обедню и потом ежедневно же приезжала осматривать новые свои чертоги. 30 марта произошел в них пожар, к счастью окончившийся только тем, что обгорела одна оконная рама во Владимирской зале; причиной огня оказалась труба, проведенная слишком близко к окошку. 31-го был опять пожар, уже в старом дворце[202], в службах, от слишком большого жара в печи, но и этот скоро потушили.

При первом пожаре в Москве стали говорить, что графский титул барона Боде улетел в трубу; последствия показали, однако, что пожар нисколько не сжег прочих беспримерных наград барону. Бывший мой слушатель, флигель-адъютант граф Орлов[203], находившийся в это время также в Москве, изображая мне народный восторг при встрече царской фамилии, писал: «Все ожидания были превзойдены. Ни словом сказать, ни пером написать. Москва сохранила невредимым высокий дух преданности вере и престолу, который искони был отличительным свойством русских. У меня невольно текут слезы, когда вижу искреннюю, непритворную набожность народа к Богу и царю. По-моему, тут вернейший залог величия России и в настоящем и в будущем!»

Действительно, сверх общего, знаменовавшего каждый шаг императорской семьи в Москве, радостного исступления народа, сколько бывало тут и отдельных анекдотов в нашем монархическом, православном духе, один другого умилительнее. Так, однажды государь воротился с пешеходной своей прогулки — без мундирных фалд[204].

Их, в полном смысле, оборвал народ, растерзав потом на тысячи кусков, чтобы каждому сохранить, для передачи из рода в род, хоть клочок этой заветной святыни. В другой раз

---

[202] Император Александр II прибавил: «Николаевском».

[203] Он, по воле императора Николая, присутствовал при моих беседах с великим князем Константином Николаевичем.

[204] Император Александр II написал: «Это выдумка».

государю, также на пешеходной прогулке, приходилось перешагнуть лужу; за ним, вокруг него, валила, как всегда, несметная толпа, и вот из среды ее продирается какой-то купец, сбрасывает со своих плеч богатую шубу и расстилает ее перед государем, прямо в грязь, чтобы батюшке-царю не замочить своих ног; но шуба эта уже не досталась владельцу обратно; народ в ту же минуту растерзал и ее, на память, что к ней прикоснулись царские стопы.

Нельзя было довольно нарадоваться этим изъявлениям наших православных, изъявлениям, которые относились, конечно, более к чтимому ими, как божество, принципу, нежели к лицу; ибо кто же из этого круга имел случай испытать на себе самом или ожидать милости царские; но этим именно в тогдашнюю минуту западного сумасбродства подобные явления были и отраднее, и прочнее, и спасительнее. Поистине, невольно вырывались тут восклицания: «С нами Бог; наш царь — Божею милостию; наша Русь — святая!»

Божественная служба в ночь на Светлое Воскресенье продолжалась в Московском дворце очень недолго, всего часа полтора, потому что обычное христосование не имело при ней места. Прием поздравлений от дам, которых набралось до двухсот, происходил уже на другое утро. Мужчины приносили свои поздравления императрице в светлый вторник. После того были во дворце: в тот же вторник — парадный обед, а в четверг — публичный маскарад, собравший до шестнадцати тысяч человек.

— Вам, кажется, сделалось дурно? — спросила императрица, обходя залы, у одной, очень побледневшей женщины.

— Это от радости видеть тебя, матушка! — отвечала та.

В подобном роде велась тут не одна речь, менялось не одно задушевное слово с царской семьей, которая не без удовольствия двигалась между массами.

Кроме этих придворных празднеств, были еще балы для императорской фамилии у князя Сергея Михайловича

Голицына, у графа Закревского и в Дворянском собрании. Бал Закревского состоял в характерном маскараде, в котором участвовала вся московская знать, разделенная на две части: одна — изображала двор английской королевы Елисаветы; другая — столицы, города, области и народы Русской империи, представителями которых являлось по паре, одетой в богатые местные народные одежды и имевшей перед собой мальчиков, несших гербы города или области.

То же самое повторилось и в Дворянском собрании. Все царственные дамы, в особенности, чрезвычайно забавлялись миловидными мальчиками. Императрица сама поила их чаем и когда потом села в кресла, вся эта шумная ватага расселась и разлеглась вокруг нее на полу. Тут приблизился государь и объявил, что с сей минуты все эти мальчики — пажи, милость, бывшая для многих из них чрезвычайно важной по отношению к чинам их отцов. Суббота Святой недели ознаменовалась еще торжеством особенного рода. Государь пожелал украсить стены в Георгиевской зале нового дворца мраморными досками с именами всех полков, имеющих Георгиевские знамена[205], и начало этому было положено с Преображенского. Церемония происходила перед кадром батальона[206] этого полка, приведенным[207] в Москву. Командовали: всем его составом сам государь, а взводами: 1-м — великий князь Михаил Павлович, 2-м — полковой командир, новый генерал-адъютант Катенин, 3-м — цесаревич и 4-м — новый флигель-адъютант полковник Пушкин. Парад внутри залы начался молебствием; потом, после сказанного митрополитом Филаретом слова и командования государем «на караул», четверо седых дворцовых гренадеров по знаку его

[205] Император Александр II прибавил: «с обозначением года их формирования».

[206] Император Александр II прибавил: «перед двумя ротами 1-го батальона».

[207] Император Александр II исправил: «привезенными».

подняли доску с именем Преображенского полка и начали прибивать ее к стене. В ту минуту, когда они дотронулись до доски, государь, оборотясь к преображенцам, закричал «ура!», которое дружно было принято их рядами, и вместе с музыкой «Боже, Царя храни!», не умолкало до тех пор, пока не прибили доску. По словам очевидцев, минута была так торжественна, что все плакали, от державного хозяина и до последнего солдата…

В заключение государь сказал людям:

— Вы — мой первый полк, и надеюсь, что и останетесь им навсегда; передайте же товарищам, как я вас награждаю за вашу верность.

После громкого «рады стараться» государь сам повел солдат смотреть новые его палаты.

Перед наступлением Светлого праздника я осмелился отправить в Москву, к наследнику цесаревичу, постоянно осыпавшему меня своей милостью, поздравительное письмо. Осчастливив меня 4 апреля длинным собственноручным ответом, исполненным той же милости, его высочество так изволил коснуться в нем московского торжества: «Вчера встретили мы Светлый праздник в древней маленькой церкви Спаса, называемого за Золотой решеткой, перед входом в древние царские хоромы. После окончания обедни крестный ход обошел весь новый великолепный дворец, и перед троном в Андреевской зале была произнесена митрополитом Филаретом им нарочно по сему случаю написанная молитва. Все кончилось общим разговлением всех съехавшихся к выходу. Вся эта церемония имела что-то особенно величественное и торжественное! Я уверен, что память о ней останется неизгладимой во всех присутствовавших».

Празднование Пасхи в Москве, соединенное с освящением нового дворца, сопровождалось множеством щедрых и, частью, весьма важных наград, как например: возведением Вронченко и Перовского в графское достоинство, пожалованием

Андреевских лент: графу Закревскому, обер-камергеру Рибопьеру и обер-гофмейстеру князю Урусову и т. д. Но награды совершенно, как я уже сказал, беспримерные излились на барона Боде и на архитектора Тона. Первый, получивший только 6 декабря 1848 года ленту Белого Орла, пожалован был, обойдя при этом 81-го старшего (в том числе двух министров) в обер-гофмейстеры, т. е. в действительные тайные советники, в президенты Московской дворцовой конторы, Александровской лентой, брильянтовой медалью за сооружение дворца и единовременно 50 000 руб. серебра; сверх того, один из его сыновей награжден был вдруг и чином и орденом, а другой званием камер-юнкера. Летопись моя не лесть, а правда, и потому не могу скрыть, что этот поток милостей возбудил большой ропот в петербургских салонах. Сам Паскевич, говорили многие, никогда не получал такой группы наград, а Сперанскому за построение бессмертного Свода законов дали всего одну ленту, тогда как барона Боде за построение дворца осыпали — и в детях, и лично — семью наградами. Великий князь Михаил Павлович, никогда не пропускавший случая сострить, бесподобно приветствовал Боде в Москве с его наградами.

— Поздравляю, барон — сказал он ему, — надеюсь, что вы можете быть довольны; впрочем, надо и то сказать, что у вас дело — так и горит! (намек на бывший перед тем в новом дворце пожар).

Тон, со своей стороны, награжденный 20 марта чином действительного статского советника, 3 апреля получил ленту Станислава, аренду в 1500 руб. на 24 года и еще единовременно десять тысяч руб. серебром.

Обратный приезд членов царской фамилии в Петербург, эшелонами, начали с 17 апреля. Одним из первых возвратился государь, 20-го приехала императрица, а в ночь с 20-го на 21-е и остальные, так что к утру 21-го, т. е. ко дню тезоиме-

нитства императрицы, августейшие наши путешественники были уже все дома.

* * *

Среди революционного вихря, который после несколько спокойнейшего, как казалось, направления дел, вдруг, весной 1849-го, с новой силой охватил Западную Европу, в Петербурге, во второй половине апреля, все были поражены разнесшеюся, как молния, вестью об открытом и у нас заговоре. К России, покорной, преданной, богобоязливой, царелюбивой России тоже прикоснулась — страшно, больно и как-то оскорбительно, даже уничижительно было выговорить — гидра нелепых и преступных мечтаний чуждого нам мира.

Сокрушительное действие революций везде в течение года оставило по себе одни развалины и потоки крови, не внеся даже тени улучшения в общественный быт, и, несмотря ни на этот живой пример, ни на память событий 14 декабря 1825 года, нашедших так мало сочувствия в массах и такую быструю кару в законе, горсть дерзких злодеев и ослепленных юношей замыслила приобщить и нашу действенную нацию к ужасам и моральному растлению Запада.

Уже с полгода секретные агенты графа Орлова, с одной стороны, и графа Перовского, с другой, следили за этой шайкой и наконец в ночь с 21 на 22 апреля захватили до 40 человек, обличенных в тайных замыслах. Они были немедленно заключены в крепость, и 24 числа учреждена для исследования дела особая следственная комиссия, под председательством коменданта крепости Набокова, из члена Государственного Совета, князя Гагарина, товарища военного министра князя Долгорукова и начальника штаба корпуса жандармов Дубельта, к которым впоследствии был присоединен и начальник штаба военно-учебных заведений Ростовцов.

Сначала в сердце государево запала, по-видимому, мысль, что к числу заговорщиков, кроме захваченных офицеров,

молодых чиновников, литераторов и проч., может принадлежать, втайне, и кто-нибудь повыше. По крайней мере, того же 24-го числа, принимая двух членов Государственного Совета, благодаривших за полученные ими награды, и говоря с ними исключительно об этом предмете, он сказал между прочим:

— Не знаю, ограничивается ли заговор теми одними, которые уже схвачены, или есть кроме них и другие, даже, может быть, кто и из наших. Следствие все это раскроет. Знаю только одно: что на полицию тут нельзя полагаться, потому что она падка на деньги, а на шпионов еще меньше, потому что продающий за деньги свою честь способен на всякое предательство. Это дело отцов семейств следить за внутренним порядком, тем более что это дело их касается и должно их интересовать столько же, сколько и меня.

И здесь, как при всяком подобном случае, мысль каждого русского прежде всего обращалась с молитвой благодарности к небу, за дарование России, особенно в тогдашних смутных обстоятельствах, такого монарха! Если собственное его сердце не могло не биться сильнее при испытаниях судьбы; если сам он являлся везде воплощенной за нас жертвой, атлетом, несшим на своих раменах бремя забот о нашем счастье и о нашей славе; то, взамен, как были спокойны мы, во всякую бурю, с таким кормчим. В 1848 году никакие внешние грозы не могли оторвать его ни на минуту от текущих, даже от самых иногда мелочных, обязанностей его сана; точно так же и в 1849-м печальное открытие грозы внутренней ни на одно мгновение не остановило движения огромной машины, которую он вращал мощной своей рукой, не прервало обычных его занятий и даже развлечений. 24-го числа, в день учреждения следственной комиссии, он прохаживался по улицам, как всегда, совершенно один, а вечером посетил публичный маскарад в Большом театре; 25-го он смотрел рекрут и принимал доклады министров — тоже как всегда.

Далее об этом деле, чтобы не перерывать хронологической нити моих рассказов, я буду говорить в конце моих воспоминаний за 1849 год, когда над преступниками был произнесен и исполнен судебный приговор.

* * *

26 апреля, рано утром, явился ко мне фельдъегерь:

— Государь, — сказал он, — просит вас к себе в 12 часов.

Приезжаю. С государем работает еще граф Нессельрод, а в секретарской ждут граф Клейнмихель и министр статс-секретарь Царства Польского Туркул; но Клейнмихель, бывающий во дворце почти ежедневно, скоро исчезает в боковую дверь, а Туркулу государь, спустя несколько минут, высылает сказать, что слишком сегодня занят и потому просит его приехать завтра. Нессельрод вышел около половины 1-го, и я тотчас был позван в кабинет.

— Здравствуй, любезный Корф, — сказал государь, протянув мне руку, — извини, что я всегда тревожу тебя в чрезвычайных случаях, pour laver mon linge sale (чтобы мыть мое грязное белье). Но нам надо опять написать манифест. Ты знаешь, что делается в Венгрии, но знаешь не все. Сегодня был у меня приехавший вчера из Ольмюца генерал Лобковиц и описывал их (т. е. австрийцев) положение в самых мрачных красках. В их распоряжении всего, по счету, 50 тысяч войска, а на самом деле, кажется, еще менее. По крайней мере, вот что дает мне сейчас знать по телеграфу фельдмаршал Паскевич из Варшавы.

Тут государь прочел вслух депешу, из которой было видно, что у Вельдена в главной его квартире перед Пресбургом, по словам его нашему генералу Бергу, — всего 35 000 человек, против вдвое сильнейшей венгерской армии, и что он считает положение свое крайне затруднительным.

— Как вам это нравится? Австрийский император просит моей помощи, и я тем меньше могу ему отказать, что торжество венгерцев начинает уже чрезвычайно отзываться на расположение умов в нашей Польше. Итак, надо решаться на войну, и вот что я об этом написал; но это — одна канва, которою прошу тебя отнюдь не стесняться.

Затем государь прочел мне проект манифеста, набросанный им карандашом на полулисте почтовой бумаги. Я остановился только на одном месте, где говорилось об обременении австрийского правительства еще другой, внешней войной в Италии, и спросил: угодно ли, чтобы это выражение было в точности сохранено, так как там были, и частью еще продолжаются, и внутренние войны с Ломбардией и Венецией.

— Да, да, конечно, — отвечал государь, — прибавь и эти. Я тут имел в виду собственно войну с Сардинией и, признаться, в первом проекте у меня было сказано: «с вероломным» королем сардинским, но — черт его побери… Ну, теперь дай же всему этому порядок и потом привези опять ко мне; ты застанешь меня в половине восьмого.

Манифест, сгладив несколько редакций и вставив две или три вводные фразы, мне нетрудно было написать, и я, до обеда еще, послал его на просмотр к графу Нессельроду, сказавшему мне утром, при выходе из кабинета, что государь прочел ему свой проект. В моем граф не нашел переменить ни одного слова. Вечером государь принял меня с новыми извинениями, «что меня беспокоит».

— Но кто предвидел бы, — прибавил он, — чтобы, спустя год после первого манифеста, нам пришлось искупать чужие грехи своей кровью!

Проект я прочел сам. Государь казался доволен и потребовал только одной перемены.

— Так хорошо, — сказал он, — и все может идти, но в этой последней фразе: «и Россия, *грядущая, под щитом всебла-*

гого Промысла, на восстановление мира и покоя, исполнит святое свое призвание», прибавленные тобой слова (все выше выделенное) лучше, я думаю, исключить, они похожи на хвастовство, а манифест будет тотчас переведен на все языки и комментирован за границей. Выкинь это и покажи Нессельроду.

Я донес, что это уже сделано.

— Ну, так потрудись переписать опять, как в прошлом году, своей рукой и пришли мне.

Потом, рассуждая о настоятельной необходимости помочь Австрии для собственной нашей безопасности, государь прибавил, что после утреннего его свидания со мной он получил новую депешу, извещающую, что опасность еще увеличилась и уже грозит самой Вене; вследствие чего австрийский император переехал из Ольмюца в Шенбрун, вероятно для успокоения умов. В заключение, взяв меня за руку, государь снова благодарил.

— Дай Бог, дай Бог, государь, — сказал я, — чтоб все это окончилось к вашей славе и покою!

— Да, дай Бог, — отвечал он с чувством, держа еще мою руку, — все в Его святой воле; впрочем, мы за себя постоим.

По приезде домой я немедленно переписал манифест и отправил его к государю.

В тот же вечер был бал у графа Кушелева-Безбородки, на котором присутствовал наследник цесаревич. Увидев меня, он тотчас подошел со словом «Подписан». Догадавшись, о чем идет речь, но приняв это слово за вопрос, я отвечал:

— Не знаю, ваше высочество, я отослал в 10-м часу.

— Я вам говорю, что подписан, государь мне сказывал. Вот, — продолжал цесаревич, возобновляя свой прошлогодний привет, — опять пал на вас жребий поработать, и опять новый листок в вашу биографию!

Спустя десять минут привезли мне, тут же на балу, конверт от государя. Он возвращал мою докладную записку, при

которой отослан был переписанный манифест, с надписью: «Искренно благодарю».

27 апреля утром манифест был напечатан и обнародован.

Впечатление, произведенное этим актом на жителей Петербурга, было грустное. С одной стороны, говорили, что нет нам причины вступаться за других, когда у самих горит (слухи о нашем заговоре были, в первое время, чрезвычайно преувеличены молвой) и когда от Австрии, которой вероломная политика довольно известна по истории, в случае взаимной нужды, конечно, не придет к нам помощь. С другой стороны, хотя все знали, что гвардейский корпус, которому сроком выступления из Петербурга, по эшелонам, назначалось 15 мая, идет на первый раз только для занятия в пограничных губерниях позиций войск, действительно выступивших в поход; однако, по мере того, как радовалась молодежь, воображая уже себе битвы, кровопролитие и славу, маменьки плакали если еще не об опасности, то о разлуке. Наконец, при усиливавшейся неурядице на Западе и при несомненности для всех домашнего заговора, опозорившего землю русскую, немало было и таких, которые горевали о выступлении гвардии, из боязни о том, что станется с ними, остающимися на месте.

Это опасение было, впрочем, напрасное. Государь не бросил своей столицы без защиты. В Петербурге оставлены были от каждого пехотного полка гвардейского и гренадерского корпусов по 4-му батальону, составленному из собранных в 1848 году бессрочно-отпускных, и от кавалерии запасные эскадроны.

* * *

Доступ у нас в университеты всегда был открыт лицам всех свободных состояний, выдержавшим испытание в науках гимназического курса. При всем том, не говоря о праотце наших университетов, Московском, другие, учрежденные или

окончательно преобразованные в 1802 году, долго, кроме Виленского и Дерптского, стояли почти пустые, потому что в общей массе народа, даже в самом дворянстве, не существовало еще истинной потребности учиться. Общее стремление давать юношеству высшее образование возникло лишь вследствие указа 6 августа 1809 года, заградившего производство в коллежские асессоры и в статские советники без испытания в науках и даровавшего кончившим университетский курс важные служебные преимущества. Сперва это возбуждение явилось, так сказать, насильственно, частью с переломом старинных предрассудков; но потом, действием времени и данного единожды движения, оно влилось в нравы и из средства искусственного превратилось в естественный порядок вещей. Все бросилось учиться, и при упомянутой выше свободе доступа в Московском университете находилось более 1000 студентов, в Петербургском более 700, в Дерптском более 600, и т. д.

Вдруг в мае 1849 года разнесся слух, что для университетов установлен комплект студентов, и что цифра их впредь ни в одном не может превышать трехсот. Слух этот вскоре подтвердился напечатанным во всех газетах объявлением ректора Петербургского университета, что по причине полного в нем комплекта в 1849 году приема не будет.

Откуда возникла эта мера и какие были к ней побуждения, — никто положительно не знал. Она не рассматривалась ни в Государственном Совете, ни в Комитете министров, и только по умозаключениям ставили ее в связь с западными происшествиями, а инициативу последовавшего о ней повеления приписывали собственной мысли государя. Но одно несомненно: эта мера возбудила в то время общее неудовольствие и, даже в людях самых благонамеренных, общее сокрушение.

— В других государствах, — говорили многие, — потребность высшего образования родилась из самой жизни

народной и из общественного там быта, а у нас она произведена и развита единственно действием правительства, и вдруг, действием того же самого правительства, отнимаются средства к удовлетворению потребности, им же возбужденной!

— Какие же, — продолжали, — останутся средства воспитывать детей, когда лицеи, училища Правоведения и проч. переполнены, и никто в них попасть не может, а вдруг и в университеты станут принимать только на вакансии? Воспитывать в заграничных университетах? Но посылать туда запрещено. В гимназиях? Но они лишь переходная ступень, при которой воспитание нельзя еще считать оконченным. Дома? Но где взять надежных домашних наставников, и многие ли семейства в состоянии их содержать? Притом, собственно, в видах политических домашнее воспитание без надзора со стороны правительства гораздо вреднее университетского, где направление преподавания всегда в его руках. Своевольство мыслей и порыв в мечтательные крайности находят свой источник не в высшем образовании, а в праздности ума и в буйных страстях. Английские университеты еще гораздо многочисленнее немецких, но на опыте от них нигде не было вреда, да и немецкие студенты шумят и шалят, только пока они студенты, становясь потом, большей частью, самыми скромными и порядочными людьми.

— Да и от чего, — спрашивали, — наконец, тысяча молодых людей будут в университете опаснее трехсот, если только в соразмерность с числом увеличатся средства надзора умственного, нравственного и дисциплинарного? Почему именно триста, а не двести или не четыреста и т. д.

Словом, эта мера была одной из самых непопулярных в царствование императора Николая, и последовавшее вскоре за тем изъятие для факультетов медицинского и богословского (для последнего в Дерпте) не могло ослабить произведенного ею крайне неприятного впечатления.

Впоследствии я слышал от великой княгини Елены Павловны, что истинное побуждение к ограничению числа студентов заключалось не в политических событиях того времени, как все думали, а совсем в другом обстоятельстве. Государю было очень неприятно, что дворянство, по его замечанию, все более и более уклоняется от военной службы, так что в последние два года оказалось необходимым, для наполнения сколько-нибудь офицерских вакансий, выпустить из кадетских корпусов мальчиков, не окончивших курса. Вследствие того он надеялся, стеснив средства к поступлению в университеты, снова побудить через то молодых дворян идти в военную службу.

— По крайней мере, — сказала мне великая княгиня, — я слышала, что император произносил это при мне, и я вам повторяю, что он сказал в моем присутствии.

Я не записываю в настоящих листах ничего ни о поездке государя летом 1849 года в Варшаву и оттуда далее на венгерскую границу, о чем не мог бы рассказать более того, что известно по газетам и историческим документам, ни о болезни и последовавшей 16 июня кончине великой княжны Александры Александровны, потому что в это время я находился в отпуску в Ревеле. Точно так же и описание военных действий наших в Венгрии, отойдя, со всеми политическими его последствиями, в область истории, стоит вне скромного круга личных воспоминаний человека, отдаленного от этих событий и расстоянием и всем практическим направлением его жизни.

Я с семейством моим проводил это лето на морских водах в Ревеле. 4 июля прибыли туда же наследник цесаревич с супругой и августейшими их сыновьями, и мы узнали, что государь возвратился в Петербург 30 июня, сюрпризом для императрицы, ко дню ее рождения. У Луги сломалась коляска, и он, в нетерпении увидеться скорее с семейством, прискакал оттуда на перекладных; но вскоре опять уехал в

Варшаву, как пункт, ближайший и к театру военных действий, и к центру дипломатических сношений.

Пребывание наследника цесаревича в Ревеле, который не видел его с десятилетнего возраста[208], продолжавшееся до ночи с 10 на 11 июля[209], сопровождалось многими трогательными и, в некотором смысле, историческими моментами. К сожалению, описание их также стоит вне круга настоящего моего предмета; но я позволю себе, однако, упомянуть здесь о приветствии, произнесенном государем цесаревичем эстляндскому дворянству, как имеющем непосредственное отношение и к биографии императора Николая.

6 июля его высочество принял в Екатеринтальском дворце сперва духовенство всех исповеданий, магистрат и гильдии, а потом корпус дворянства. Хотя я и имел уже счастье несколько раз видеть цесаревича со времени его приезда, однако, быв причислен эстляндским дворянством к его сословию (еще в 1835 году), почел долгом снова явиться при этом случае, собственно в его рядах. Когда дворяне, числом более ста, собрались в дворцовой зале и стали в ней широким кругом, цесаревич, быстро войдя и остановясь посередине, произнес с необыкновенным достоинством, величием и чувством следующую речь на русском языке:

— Государь император поручил мне, господа, изъявить вам, сколько он доволен чувствами и правилами, которые всегда отличали дворянство Остзейских губерний и в особенности Эстляндской; он всегда отдавал им полную справедливость, видел с живым удовольствием, как много из почтенных ваших сочленов подвизались до сих пор, с честью и славой, на поприще службы, военной и гражданской, и надеется, что

---

[208] Император Александр II исправил: «с одиннадцатилетнего возраста».

[209] Из Ревеля его высочество уехал, через Ригу и Вильну, в Варшаву, для соединения с государем.

те же самые чувства, внушенные от вас вашим детям, перейдут наследственно, вместе с примером вашим, и в следующие поколения. Наконец, государь поручил мне также удостоверить вас, что считает за честь принадлежать сам к этому благородному сословию.

— Что касается до меня, — продолжал его высочество, отступив на шаг, — то я с самого детства привык любить и уважать ваше почтенное сословие и потому считаю себя счастливым, что могу передать вам эти милостивые отзывы государя, которые верно останутся в сердцах у всех и побудят каждого стараться еще более заслужить его милость и благоволение.

Вслед за этим приветом цесаревич начал подходить порознь к каждому из присутствовавших (их называл ему поименно губернский предводитель) и каждому сказал несколько благоволительных слов или сделал несколько вопросов и, обойдя всех, возвратился снова к старшему летами и званием, отставному действительному тайному советнику графу Тизенгаузену и повторил ему, сколько считает себя счастливым, что мог передать дворянству милостивый отзыв государя.

Надо было видеть после этого общий восторг, упоение, слезы преданных от души императорскому дому дворян. Худо понимавшим по-русски (их было очень немного) переводили другие, и все кричали, что эти золотые слова надо записать на память потомству; все спешили передавать их собравшимся перед дворцом дамам, а я, растроганный до глубины души, тотчас по возвращении домой положил слышанную нами речь на бумагу и, отсылая ее к цесаревичу, выразил в докладной моей записке те общие чувства, изъявления которых был свидетелем. Моя бумага возвратилась со следующей собственноручной надписью его высочества: «Повторяю, что я счастлив, что мог передать слова государя сословию, которое столь достойно его милостей и

еще более теперь радуюсь: ибо вижу, что их поняли. — Вами написанное совершенно выражает мою мысль и слова, сколько сам могу припомнить».

На другой день, за обедом во дворце, цесаревич, упомянув о своей речи, велел губернскому предводителю обратиться ко мне, чтобы внести ее в протоколы дворянства по моему изложению. Исполняя сие, я присовокупил в моем сообщении и надпись его высочества на моей записке, как содержавшую в себе вновь столь лестный для дворянства отзыв.

* * *

10 августа Ревель был осчастливлен новым царственным посещением. Прибыла императрица, провожавшая до сего города, вместе с великими князьями Николаем и Михаилом Николаевичами, великую княгиню Ольгу Николаевну, которая с супругом своим возвращалась в Германию. Августейшую гостью нашу встретили цветами, песнями, иллюминациями, фейерверками, факельными процессиями и всеобщим восторгом. Она, со своей стороны, с ее ангельской добротой, с видом радости и веселья, с улыбкой и лаской для каждого, очаровала всех в этом преданном, давно не видавшем ее населения. «Wie ist Sie noch so schon und wie ist Sie gut!» — раздавалось со всех сторон в густых толпах, везде ее окружавших и за нею следовавших, и все сердца — говоря не газетным языком, а в виденной мной истине, — летели ей навстречу!

Днем выезда из Ревеля обратно в Петербург императрица с цесаревной и прочими царственными гостями назначили 16 августа; но этому дню суждено еще было омрачиться одним горестным известием, тем более поразительным, что никто не мог его ожидать или предвидеть. Прежде отправления в путь (со свитой на четырех пароходах) императрица поже-

лала взглянуть днем на местность, на которой ей был дан от города праздник, накануне вечером, при тысяче огней. Пока она с цесаревной ездила туда, во дворец, где мы все собрались, чтобы откланяться, прискакал фельдъегерь из Варшавы. Что нового? Ужасные вести. Великий князь Михаил Павлович присутствовал на учении верхом, вдруг почувствовал себя очень дурно и едва успел закричать, чтобы его сняли с лошади, как его разбил паралич, мгновенно отнявший употребление языка и движение руки и ноги. Государь провел три часа у его изголовья, ему пустили кровь; но вечером, при отправлении фельдъегеря, хотя положение больного и было несколько лучше, однако врачи все еще не подавали надежды…

Между тем как мы расспрашивали фельдъегеря о подробностях, подъезжает возвращающаяся императрица и посреди букетов цветов, подносимых ей со всех сторон, вступает в сени, где мы ожидали, приветствует всех на прощанье, с обычной своей милостью и, радостно приняв подаваемое ей фельдъегерем письмо от государя, спешит с ним наверх. Но едва прошло несколько минут, как уже бегут со всех сторон за докторами. Что такое? Что случилось? Письмо государево извещало, что графиня Нессельроде умерла от удара и что «Michel» тоже на последнем издыхании от такого же удара, который случился с ним сегодня утром.

Императрица, от того ли, что имя было неразборчиво написано, или от волнения своего материнского сердца, беспрестанно тревожившегося за отсутствовавшего великого князя Константина Николаевича, прочла вместо «Michel» «Костя» и при этом страшном известии (она читала письмо стоя) упала всем телом навзничь, почти без чувства…

Благодаря Бога, это падение не имело дальнейших последствий. Ее тотчас удостоверили в ее ошибке и через каких-нибудь четверть часа силы императрицы уже возвратились в такой степени, что она могла отправиться в путь, причем опять с необыкновенной твердостью духа, как бы ничего не

случилось, приветствовала нас ласковым прощальным взглядом и словом. Спустя несколько часов пароходы, увозившие дорогих наших гостей, скрылись из вида, и Екатеринтальский дворец снова опустел.

* * *

Умершая скоропостижно в Гаштейне графиня Мария Дмитриевна Нессельрод, статс-дама и кавалерственная дама, супруга государственного канцлера, дочь покойного министра финансов графа Гурьева и сестра члена Государственного Совета, по необыкновенному уму своему и высокому просвещению и особенно по твердому, железному характеру, была конечно, одной из примечательнейших, а по общественному своему положению и влиянию на высший Петербургский круг, одной из значительнейших наших дам в царствование императора Николая. С суровой наружностью, с холодным и даже презрительным высокомерием ко всем мало ей знакомым или приходившимся ей не по нраву, с решительной наклонностью владычествовать и первенствовать, наконец, с нескрываемым пренебрежением ко всякой личной пошлости или ничтожности, она имела очень мало настоящих друзей и в обществе, хотя, созидая и разрушая репутации, она влекла всегда за собой многочисленную толпу последователей и поклонников; ее, в противоположность графу Бенкендорфу, гораздо больше боялись, нежели любили. Кто видел ее только в ее гостиной прислоненной к углу дивана, в полулежачем положении, едва приметным движением головы встречающей входящих, каково бы ни было их положение в свете, тот не мог составить себе никакого понятия об этой необыкновенной женщине, или разве получал о ней одно понятие самое невыгодное.

Сокровища ее ума и сердца, очень теплого под этой ледяной оболочкой, открывались только для тех, которых она

удостаивала своей приязнью; этому небольшому кругу избранных, составлявших для нее, так сказать, общество в обществе, она являлась уже, везде и во всех случаях, самым верным, надежным и горячим, а по положению своему, и могущественным другом. Сколько вражда ее была ужасна и опасна, столько и дружба — я испытал это на себе многие годы — неизменна, заботлива, охранительна, иногда даже до ослепления и пристрастия.

Совершенный мужчина по характеру и вкусам, частью и по занятиям, почти и по наружности, она, казалось, преднамеренно отклоняла и отвергала от себя все, имевшее вид женственности. Так и самый разговор ее вращался всегда в предметах, обыкновенно находящихся вне круга дамских бесед. Она любила говорить о серьезной литературе, о высшей администрации и политике, — более, однако, внутренней, чтобы не компрометировать случайно своего мужа, — о государственных наших людях, о действиях правительства и о новых его постановлениях, соединяя в себе, впрочем, две противоположности: беспредельную преданность не только монархическому началу, но и царственному нашему дому, с самой взыскательной оппозицией против распоряжений правительства и даже против личных действий его членов, так что великий князь Михаил Павлович, никогда не жаловавший графини, говоря о ней, называл ее в шутку: Ce bon Monsieur de Robespierre. При большой резкости в мнениях и приговорах, графиня была большей частью основательна в своих суждениях и чрезвычайно счастлива на меткие слова, умные наблюдения, тонкие и оригинальные замечания. Но все это она оставляла для своего тесного кружка, а в свете сохраняла редко прерываемое молчание и самое аристократическое спокойствие.

Салон графини Нессельрод, после смерти соперничествовавшего с ней в этом отношении князя Кочубея, был неоспоримо первым в С.-Петербурге; попасть в него, при его

исключительности, представляло трудную задачу; удержаться в нем, при разборчивости и уничижительной гордости хозяйки, было почти еще мудренее; но кто водворился в нем, тому это служило открытым пропуском во весь высший круг. В некоторые зимы она принимала ежедневно; но два приемные дня в неделю были уже постоянно, и только в зиму с 1849 на 1850 год[210] графиня, как бы в намерении дать нам привыкнуть к близкому закрытию ее гостиной навсегда, прекратила общие свои приемы.

[210] Император Александр II заметил: «с 1848 на 1849 год».

XIX

Кончина и погребение великого князя Михаила Павловича — Учреждение секретного правительственного комитета по случаю отсутствия из Петербурга государя и наследника цесаревича — Обед в Царскосельском дворце и разговоры государя — Игра в карты — Смерть Бутурлина и назначение, вместо него, в секретный цензурный комитет Анненкова — Разговоры государя за обедом: о солдатах из поляков и о Публичной библиотеке — Разговоры о Герцене, Сазонове и проч. — Окончание дела Петрашевского — Толки о назначении, за болезнью графа Уварова, нового министра народного просвещения

28 августа кончил земную жизнь свою благороднейший, преданнейший, ревностнейший к своему долгу из людей: 51 года и 7 месяцев от рождения, опочил в Бозе великий князь Михаил Павлович, младший из четырех внуков Екатерины и сыновей Павла, в той самой Варшаве, к которой он так был привязан воспоминаниями об обожаемом им брате, цесаревиче Константине Павловиче. Из четырех братьев пережил один только император Николай, и все три, предшедшие ему, скончались вне Петербурга.

Отступая здесь несколько от порядка чисел, перейду сперва к аудиенции, которою почтил меня 4 сентября в Царском Селе, куда я переехал на осень из Ревеля, наследник цесаревич, возвратившийся из Варшавы в ночь с 31 августа на 1 сентября.

— Какое печальное возвращение! — были первыми словами его высочества, и потом весь разговор обращался все около того же предмета.

— Я лично безмерно потерял с кончиною великого князя, — сказал я между прочим, — он особенно меня жаловал и нередко удостаивал имени своего друга.

— Да, я давно знаю, что он вас чрезвычайно любил.

— Но, ваше высочество, какую сердечную любовь, какое благоговение он питал к вам! Я не раз слышал от него: Бог,

отняв у меня Константина Павловича, послал мне взамен Александра Николаевича; а при известном его обожании к покойному цесаревичу это слово значило все.

Наследник прослезился, что повторялось не раз во время нашей беседы.

— Драгоценнейшим для меня подарком от государя, — сказал он, — было поручение мне теперь военно-учебных заведений, потому что я знаю, как покойный их любил; впрочем, и об этом, и о поручении мне гвардейского корпуса[211] отдано будет в приказах уже только после похорон. А знаете ли, какой бесподобный приказ отдал Ростовцов по корпусам? Я вам его дам.

И, вынув экземпляр из лежавшего на столе портфеля, его высочество громко его прочел и потом мне вручил[212].

— А вот, — продолжал он, указывая на лежавшую возле портфеля почти до конца докуренную сигару в фарфоровом мундштучке, — вот последняя сигара, выкуренная им перед тем, как отправляться на тот смотр, после которого ему уже не суждено было вставать.

Речь коснулась, естественно, и государя и снедавшей его печали.

— Что всего ужаснее, — сказал цесаревич, — это idee fixe, преследующая теперь государя, именно, что этой смертью нарушен закон природы, т. е. Михаил Павлович обошел его в очереди, следственно, и ему недолго уже остается жить.

---

[211] Михаил Павлович был, между прочим, главным начальником военно-учебных заведений и главнокомандующим гвардейским и гренадерским корпусами, и обе эти должности, по кончине его, перешли к наследнику цесаревичу.

[212] Его высочество назвал приказ отданным Ростовцовым, хотя последний занимал только пост начальника штаба, а приказ был подписан исправлявшим должность главного начальника военно-учебных заведений, Клингенбергом; но все знали, что этот добрый и почтенный, но в то время уже едва двигавшийся старичок представлял тут одну подписывавшую машину.

— Избави Боже, — вырвалось у меня, но прежде, чем я успел выговорить, то же самое восклицание произнес и цесаревич.

Я не раскаивался в моем слове: Александр Николаевич был не таким сыном и не таким наследником, перед которым нельзя было бы дать воли чувствам своим к его отцу…

— Теперь, — продолжал он, — государю необходим некоторый покой, и он приказал, чтобы, до времени, доклады министров принимал и дела оканчивал я.

Обстоятельство, что все три брата кончили жизнь свою вне Петербурга и что Михаилу Павловичу суждено было умереть именно в Варшаве, поразило также и государя и цесаревича.

— Сколько, — заметил наследник, — он рассказывал мне и любил всегда рассказывать про Варшаву, да вы и сами это знаете по всему тому, что он рассказывал вам.

В заключение его высочество передал мне многое и о болезни и кончине покойного.

— 11 августа, — говорил он, — по вечеру приехал Костя[213] и был у Михаила Павловича, который очень долго расспрашивал его о подробностях кампании, а 12-го утром мы все втроем сошлись у государя[214], где продолжался опять тот же разговор. Михаил Павлович казался очень веселым и, смеясь над докторами, которые в Петербурге всячески отговаривали его не пускаться в далекий путь, до Варшавы, говорил, что, напротив, поездка вышла для него чрезвычайно полезна, и что он уже многие годы не чувствовал себя так хорошо, как теперь. Потом он вместе с Костею отправился смотреть один из полков[215], а я пошел гулять пешком. На прогулке вижу

[213] Великий князь Константин Николаевич, возвратившийся в это время в Варшаву из Венгрии.

[214] Император Александр II написал: «у меня, а вскоре пришел и государь».

[215] Император Александр II написал: «7-ю легкую кавалерийскую диви-

вдруг скачущего верхом, прямо ко мне, адъютанта генерала Витовтова[216].

— Что такое?

— Великому князю Михаилу Павловичу сделалось очень дурно, и его отвезли без памяти во дворец.

Адъютант предложил мне свою лошадь, и я поскакал в Бельведер, где, при лежавшем без чувств великом князе, нашел уже государя. На смотру, едва проехав несколько шагов, великий князь обернулся к ехавшему за ним командиру гренадерского корпуса Муравьеву, со словами:

— Что это, я как будто не чувствую своей руки.

Муравьев сжал его руку выше указанного места.

— А здесь, ваше высочество?

— И здесь тоже.

— В таком случае вам лучше бы сойти с лошади.

Великий князь хотел послушаться, но уже не мог пошевелить и ноги. Тогда его сняли с лошади окружавшие, но он упал к ним на руки без чувств. Кровопускание[217] возвратило ему, кажется, память, но не могло развязать языка, которым он шевелил только с величайшим трудом, произнося лишь изредка самые короткие и едва внятные слова. Видно было, что он всех узнавал, все слышал, даже все понимал, но не мог выразить своих мыслей и на это досадовал. Несколько дней позже, я пришел рассказать ему о новом успехе наших армий. Лицо его оживилось чрезвычайною радостью. Он жадно меня слушал, но мог только спросить: «Кто командует?» По-

---

зию, принадлежавшую к гренадерскому корпусу».

[216] В то время начальника штаба гвардейского и гренадерского корпусов.

[217] Кровопусканием этим, кажется, несколько запоздали. По крайней мере, впоследствии великая княгиня Елена Павловна рассказывала мне, что случившийся тут полковой врач хотел тотчас же открыть кровь, но сбежавшиеся старшие доктора тому воспротивились, говоря, что надо сперва убедиться: не есть ли этот удар — нервный. Оттого кровь пустили больному уже только по перевезении его в Бельведер.

ложение его с самой первой минуты было безнадежною агониею. Великую княгиню Елену Павловну и Екатерину Михайловну[218] впустили к нему за два дня до кончины. Мне рассказывали, что он и тут видимо обрадовался и даже будто бы говорил: «merci», а потом — «Катя». Доктора уверяли, что он должен очень мучиться, но я не замечал в нем признаков страданий. Наружность его, правда, очень изменилась, но больше от выросшей бороды. Когда, после смерти, его выбрили и вымыли, я нашел, что лицо его сделалось опять прежним.

В дополнение к этому мне были рассказаны потом еще некоторые подробности другими очевидцами. Великий князь скончался 28 числа в $2^1/_2$ часа дня пополудни, в тот самый час, когда за 16 дней перед тем был поражен апоплексическим ударом и через 18 лет после торжественного вступления своего, во главе гвардейского корпуса, в павшую перед нашим оружием Варшаву. После кончины лицо его приняло вид чрезвычайного спокойствия и доброты. В 6 часов вечера была первая панихида, после которой государь остался в комнате, для прощанья с телом, один с цесаревичем. По удалении их, впущены были вся свита, генерал-адъютанты, флигель-адъютанты и проч., каждый кланялся в землю и прикладывался к плечу покойного. Великая княгиня и дочь ее, во время болезни умиравшего и при его кончине, явили много твердости духа и религии.

Государь был, как всегда, бесподобен. Он сидел при брате по часам, навещая его притом беспрестанно, и днем и ночью, из Лазенок, места своего пребывания, в Бельведер, где больной умирал… Во все это время у государя смертельно болела голова, и он, однако ж, не давал себе ни минуты покоя: ему

---

[218] Они, по известию об опасном положении великого князя, поспешили прибыть в Варшаву с острова Рюгена, где находились в то время для пользования морскими купальнями.

беспрестанно поливали голову одеколоном и уксусом, а он — все стоял тут неотлучно как представитель высшей родственной любви, сам за всем смотря и обо всем думая. Нередко он становился возле постели на колени и горячо целовал руки больного, которые тот, в болезненном бессилии своем, тщетно старался отнять… Когда врачи объявили, что настал последний час, государь, видя возле себя Толстого[219], велел ему стать на колени у изголовья:

— Вот, — сказал он, — где принадлежит тебе место.

Между тем смерть еще медлила, и тогда государь, наклонясь к уху стоявшего на коленях, прошептал:

— Не очень ли вы устали, мой милый?

Государь оставил Варшаву в самый день кончины великого князя, после упомянутой выше вечерней панихиды, и приехал в Царское Село 31 августа. На следующий день напечатан был манифест о горестной утрате, омрачившей общую радость при счастливых событиях, которые покрыли новою славою русское оружие. Манифест этот помечен данным в Варшаве и притом 28 августа, в самый день кончины великого князя; но это представляло одну внешнюю формальность. Он был составлен графом Блудовым, жившим в Павловске, в ночь с 31 августа на 1 сентября. Так сказывал мне сам граф, не видавший, впрочем, при этом случае государя, а получивший его приказание и представивший свой проект через посредство князя Волконского.

Как прекрасны, как справедливы были заключительные выражения этого манифеста в отношении к отшедшему! Конечно, вся жизнь его, все труды и попечения были беспрерывно посвящаемы на службу царю и отечеству; конечно, по чистоте сердца, дел и намерений никто более его не был достоин великого имени христианина! При всем том, известие о

---

[219] Генерал-майор Николай Матвеевич Толстой, состоявший при великом князе и не отходивший от него в предсмертную его болезнь.

кончине того, которого ошибки были всегда виною ума и никогда сердца, Петербург принял вообще холодно. Немногие, сквозь жесткую оболочку наружности Михаила Павловича, умели разгадать высокие его чувства и чистоту души; у большей части были в памяти только строгость его к военным, выходившая иногда за пределы дисциплинарные, его придирки, наконец, разные странные поступки его при выступлении весною гвардейского корпуса в поход, которые, точно, можно было объяснить лишь уже развивавшимся в нем в то время болезненным раздражением.

Над свежим трупом обыкновенно забывают слабости и недостатки человека и хвалят, что в нем было хорошего. С Михаилом Павловичем случилось почти совсем противное. Облагодетельствованные им, — а сколь было таких, особенно между бедными офицерами, — и поставленные в возможность оценить его по справедливости, молчали, или голос их исчезал в толпе, а преобладающее большинство вспоминало только все дурное, потому что оно оглашалось и поражало собою умы; добрые же дела покойного творились во мраке тайны.

Не то было с государем. В самую первую минуту после кончины великого князя он сказал окружающим:

— Я потерял не только брата и друга, но и такого человека, который один мог говорить мне правду и — говорил ее, и еще такого, которому одному и я мог говорить всю правду.

Действительно, смерть Михаила Павловича положила незаменимый пробел в сердечной будущности императора Николая. Не осталось никого, кому он мог бы, как равному, как ровеснику, как совоспитаннику, передать все, что лежало на душе; никого, кому в минуты воспоминаний о детстве и юности мог бы сказать: «Помнишь ли, как было то и то, как были мы там и там, как случилось с нами так и так»…

3 сентября государь, вместе с императрицею и младшими великими князьями, поехал, в печальном настроении своей

души, уединиться на несколько дней в Петергоф, чего особенно желала императрица, для некоторого развлечения его производимыми им там постройками. 6-го прибыла из Варшавы и великая княгиня Елена Павловна с дочерью, через Штеттин. Чтобы выиграть время, они совершили эту поездку на почтовом пароходе, на котором, как бы по злой иронии судьбы, спутниками их, посреди жестокой их печали, случились Фанни Эльслер, певцы Итальянской оперы и актрисы французской труппы — все лица, имевшие назначение увеселять Петербург в наступавшем тогда сезоне. Великая княгиня, которую сопровождал брат ее, принц Август Виртембергский, сошла с парохода на берег в Ораниенбауме, где встретил ее государь, а на другой день переехала в осиротелый Павловск.

Оставалось ожидать привоза тела.

Еще прежде его прибытия приехали в Петербург, с изъявлением участия своих дворов, из Вены — эрцгерцог Леопольд, из Берлина — бригадный генерал Мюлендорф. Присылка от родственного прусского двора простого генерала принята была здесь не без неудовольствия.

Тело было везено во всю дорогу на почтовых и прибыло 15 сентября в Чесму, на последнее перед столицею отдохновение. Приезд туда предполагался к 8 часам, но государь и вся царская фамилия ожидали в Чесме уже с половины 8-го. Кроме них, находились тут военные штабы и управления покойного и свита государева, но из гражданских чинов никто приглашен не был, и из собственного усердия явились лишь очень немногие. Вдруг прибегает фельдъегерь с докладом, что кортеж уже приближается.

Государь с сыновьями своими и, вслед за ними, вся свита и многочисленное духовенство сошли из верхнего этажа и остановились в огромной аркаде перед подъездом, где вдоль стен расставлены были в две шеренги седые ветераны Чесменской богадельни. По торопливости фельдъегеря, ожида-

ние тут продлилось около получаса, но хотя в аркаде стояло, по крайней мере, 300 человек, между ними, в виду государя с поникшею головою, царствовали мертвое молчание и ничем ненарушимая тишина. Момент этого гробового безмолвия среди такого множества людей был торжественно-умилителен. Наконец дроги подъехали в сопровождении всей свиты усопшего, частью следовавшей при теле от самой Варшавы, частью же выехавшей навстречу из Петербурга. Гроб, или, лучше сказать, три гроба, заключавшие в себе драгоценные останки, весили до 80 пудов, и эту ужасную тяжесть подняли, разумеется, на штангах, казаки, исправлявшие ту же обязанность от самого выезда из Варшавы. Государь, цесаревич и прочие великие князья поддерживали гроб в головах и по бокам, и, таким образом, он был внесен по крутой лестнице и с большим затруднением в церковь, находящуюся в верхнем этаже. Здесь царственные дамы уже стояли по левую сторону катафалка, а государь со своими сыновьями стал по правую. Упоминаю об этом обстоятельстве потому, что оно производило на присутствовавших очень неприятное впечатление при начавшейся затем панихиде, заставляя священнодействовавшего архиерея (викария петербургского Нафанаила) во время каждения беспрерывно переходить, по старшинству членов царской фамилии, с одной стороны на другую. После панихиды всех нас выслали из церкви, и там осталась одна царственная семья, которая, вслед за облобызанием гроба, уехала в Петербург.

Тогда началась наша очередь.

В крепость тело было перевезено 16 числа, по печатному церемониалу, при огромном стечении любопытствовавших. Шествие занимало более версты, но представляло мало не только выражения какого-нибудь чувства, но даже и простого благочиния. Все шли кое-как, нередко выдаваясь из рядов, пересмеиваясь и раскланиваясь с зрителями и болтая между собою. Истинно величествен и трогателен был лишь один

момент шествия, именно непосредственно за колесницею. Тут в главе ехал государь, за ним следовали цесаревич и потом, в три или четыре ряда, занимавшие всю ширину улиц, военная свита, в которой находились и прочие великие князья — все верхами. В этом небольшом кругу, не говоря уже о глубокой горести, выражавшейся в чертах государя и цесаревича, все было чинно, тихо, прилично. Когда печальная колесница взъехала на Троицкий мост, с придвинутых к нему судов и с крепости загремели пушки, чего не значилось в церемониале. Во время первой панихиды в крепости любопытное внимание большинства сосредоточивалось на французском генерале Ламорисьере, новом посланнике Французской республики, приехавшем к государю еще в Варшаву и тут впервые явившемся перед петербургскою публикою.

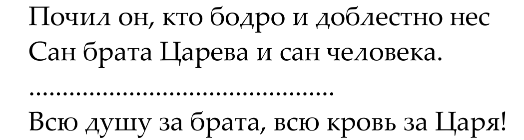
Во весь этот и следующий дни пускали к гробу, наглухо закрытому еще в Варшаве, народ, который валил в крепость густыми толпами. 17-го государь, хотя ему ставили рожки, присутствовал опять и на утренней и на вечерней панихиде. Сколько достоинства, величия и вместе простоты соединялось в этом исполинском человеке! Поистине, в такие высокотрогательные минуты нельзя было смотреть на него без слез, без нервического потрясения… За каждою панихидою, приложась сперва сам к гробу, он оставался в головах и каждой из царственных дам протягивал руку для всхода на ступени катафалка, а вслед за ними, вслед за всеми своими сыновьями снова сам припадал к гробу…

18 сентября происходило погребение, также по печатному церемониалу…

Прежде еще церемонии, часов в 9 утра, приехали августейшие вдова и дочь. Прощание их было без свидетелей. Литургию совершал митрополит С.-Петербургский и Новгородский Никанор с придворным духовенством. Вскоре по ее окончании приехали государь с императрицею, цесаревною,

великою княгинею Александрою Иосифовною и всеми своими сыновьями[220]. Государь подвел своих дам к последнему целованию, после чего они уехали, и тогда только началось отпевание. Печальный обряд совершал тот же митрополит с тремя другими архиереями и многочисленным собором придворного, военного и приходского духовенства. В конце государь приложился первый, а потом, пока и мы все подходили, продолжал стоять на верхней ступени катафалка, у изголовья гроба, в слезах и с поникшею головою. Гроб подняли, сверх казаков, сам он с своими детьми и все, кому достало места прикоснуться.

Вокруг раскрытой могилы произошла теснота ужасная, но мне посчастливилось стать за великим князем Константином Николаевичем и почти рядом с государем и цесаревичем. Холст, на котором спускали гроб, держали, в первой шеренге, дюжие нижние чины[221], во второй, остававшиеся концы — государь и его дети. Во все время отпевания доктор Карель стоял неотступно близ государя, а при несении гроба следовал за ним почти по пятам. Помощь его, однако ж, благодаря Бога, не потребовалась. Сильный дух и в эти раздирающие минуты превозмог плоть. Когда гроб стал медленно опускаться и загремели пушки и беглый огонь, государь так зарыдал, что раз вырвалось у него даже громкое всхлипывание. Потом он посыпал земли и быстро удалился. Все было кончено.


Почил он, кто бодро и доблестно нес
Сан брата Царева и сан человека.
....
Всю душу за брата, всю кровь за Царя!

---

[220] Великая княгиня Мария Николаевна не присутствовала за болезнью.
[221] Император Александр II добавил: «дворцовые гренадеры».

Могила усопшего — первая, по левую руку, у самого входа в собор. Доблестный великий князь лег тут как бы на страже царственной усыпальницы.

21 сентября наследник цесаревич принимал все чины военно-учебных заведений и, прочтя им вступительный свой приказ, произнес несколько слов милости и привета, которые всех глубоко тронули.

— Мы жили душа в душу с покойным великим князем, — сказал, между прочим, цесаревич, — он меня очень любил… — и не мог продолжать далее из-за слез.

* * *

В 1828 году, во время Турецкой войны и пребывания императора Николая при действовавшей армии, разрешение всех дел по государственному управлению, восходящих, в обыкновенном порядке, на высочайшее усмотрение, поручено было, безгласно, особому секретному комитету, который оканчивал их именем государя, испрашивая его разрешения только в некоторых редких, именно указанных случаях; о всех же прочих, по решении и исполнении их, представлял лишь краткие ведомости для сведения. Этот комитет состоял из князя Кочубея, графа Петра Александровича Толстого и князя Александра Николаевича Голицына, а правителем его дел был управлявший в то время I отделением Собственной его величества канцелярии статс-секретарь Муравьев.

Впоследствии, при менее продолжительных или не столь отдаленных отлучках императора, общее течение управления ни в чем не изменялось, и все бумаги посылались к нему как бы в личном его присутствии. Наконец, когда наследник цесаревич достиг совершеннолетия и был приобщен к высшему управлению, государь, в случае дальних или долговременных своих отлучек, назначал его, так сказать, правителем государ-

ства, впрочем, также безгласно для народа, о чем я уже неоднократно говорил в этих листах.

В 1849 году явилась необходимость возвратиться снова к порядку 1828 года. Государь был в Варшаве, а наследник цесаревич, сначала остававшийся здесь по случаю тяжкой болезни своей дочери, после ее кончины также уехал (об этом уже говорено выше), а как ход военных действий не позволял определить заранее времени их возвращения, то в приезд государя в Петергоф, ко дню рождения императрицы, он решил, на отсутствие его и цесаревича, учредить подобный прежнему секретный комитет, из князя Петра Михайловича Волконского, князя Чернышева и графа Блудова, с назначением, для производств в нем дел, государственного секретаря Бахтина.

Комитету этому, или, по официальному его названию, комиссии, определено было действовать, применяясь к инструкции 1828 года, и хотя в Петербурге, естественно, почти все знали о существовании такого установления, однако во внешних своих сношениях комиссия оставалась совершенно безгласною. Бумаги из всех ведомств писались точно как бы государь был здесь, на его имя, и доставлялись обыкновенным порядком, запечатанные, в I отделение Собственной канцелярии, откуда статс-секретарь Танеев, не вскрывая конвертов, но соединяя их все в один, отсылал, вместо государя, под адресом комиссии, к Бахтину. Комиссия, собиравшаяся по три раза в неделю (большею частью в Петергофе, за пребыванием там Волконского при императрице) вскрывала полученные конверты, излагала, по содержанию бумаг, свои резолюции в кратких журналах и выпуски из сих последних обращала к Танееву, для заготовления исполнительных бумаг высочайшим именем, будто бы резолюции последовали от самого государя. Танеев, с своей стороны, изготовленные им проекты исполнений представлял комиссии, как представлял всегда государю и, по одобрении или исправлении их,

рассылал, по принадлежности, в форме высочайших повелений, так что для мест и лиц представлявших не существовало никакого видимого изменения против обыкновенного порядка.

Этим способом разрешались дела не только по министерствам, но также по Государственному Совету, Комитету министров, Кавказскому комитету, Комиссии прошений и проч., с тою только разностью, что комиссия утверждала лишь единогласные заключения сих установлений, или мнение большинства; в случае же неприятия сих заключений или согласия с меньшим числом голосов, обязывалась представлять свои соображения государю. Сверх того, допущены были особые изъятия для некоторых министерств, состоявшие в следующем. В комиссию не поступало ни одной бумаги по двум ведомствам: министерству иностранных дел, потому что государственный канцлер граф Нессельрод сам находился при государе, и по главному управлению путей сообщения и публичных зданий, которого начальнику, графу Клейнмихелю, разъезжавшему в это время по России, было предоставлено все свои доклады пересылать по-прежнему непосредственно к государю. С другой стороны, трем министрам: военному, морскому (т. е. начальнику Главного морского штаба) и финансов, имевшим, в присутствии здесь государя, постоянный личный доклад, одним дано было знать официально о существовании комиссии, и затем дела их ведомств, требовавшие высочайшего разрешения, вносимы были не на высочайшее имя и не через Танеева, а прямо в комиссию, в форме особых записок; потом эти министры приглашались в ее заседания, каждый по своей части (Чернышев и без того постоянно в ней присутствовал), и участвовали в подписании касавшихся до их дел журналов; после чего и выписки передавались уже не Танееву, а прямо каждому министру, для непосредственного заготовления исполнительных бумаг, в той же форме высочайших повелений.

Этот порядок, вообще очень простой и удобный, сопровождался только одною забавною странностью по делам Государственного Совета. Мемории его, в обыкновенном течении дел, всегда отсылаются государственным секретарем в запечатанном конверте к статс-секретарю, управляющему I отделением Собственной его величества канцелярии, который подносит их государю в том же конверте. Первая часть этого порядка точно так же наблюдалась при существовании комиссии, т. е. Бахтин, в качестве государственного секретаря, отправлял конверт с436 мемориями к Танееву, но от Танеева этот же конверт возвращался снова к Бахтину, уже в качестве правителя дел комиссии, в общем, надписанном на имя последней, конверте.

Не могу умолчать здесь еще об одном замечании, сообщенном мне впоследствии Бахтиным. Получая в свои руки все, что в бытность императора Николая в Петербурге поступало к нему, он вскоре убедился в том, каким, среди предметов первостепенной важности, долженствовавших сосредоточивать на себе все внимание государя, обременяли его бесчисленным множеством мелочей, и как просто и удобно было бы облегчить труд императора, без всякого вреда делу, по крайней мере, наполовину, отсечением излишних бумаг, ведомостей и проч.

* * *

26 сентября, за обедом в Царскосельском дворце, при котором присутствовали только граф Киселев, обер-гофмейстер Опочинин, командир Гренадерского корпуса Муравьев и я, много говорили опять о Михаиле Павловиче. Государь с жадностью слушал рассказы Муравьева о первом появлении признаков апоплексии у великого князя, возле которого, как я упомянул, Муравьев в то время находился. Потом, рассказывая о произведенном в то утро смотре

рекрут, обучаемых при Образцовом полку, государь очень хвалил последний и сказал: «Вот и этим я обязан моему покойному». Далее он передал нам слышанное от только что возвратившегося из Константинополя генерала князя Радзивилла о султане, о турецком войске и о тамошнем управлении и упомянул еще о переходе Бема в исламизм и о подкупе австрийцами главных деятелей мятежа за 400 тысяч гульденов, для побуждения их к сдаче Коморна. О действии Бема и о поступке инсургентов, согласившихся принять предложенные им деньги, государь отзывался с крайним омерзением, но одобрял распоряжение австрийского правительства, которое предпочло обратиться к подкупу, вместо того, чтобы рисковать на жестокое кровопролитие.

Когда речь как-то коснулась новых посадок в Петергофе и Царском Селе, государь, затрудняясь в приискании русского слова для vegetation, обратился ко мне за переводом и потом рассказал, что в его царствование насажено в Петергофе до 30 тысяч деревьев; что на Царскосельском дубовом бульваре деревья начали расти вверх только с тех пор, как он приказал подрезывать нижние ветви, и что, найдя бесподобный Лазенковский сад в Варшаве в большом запущении, он велел тамошнему садовнику приехать сюда, чтобы посмотреть и поучиться, как содержать сады. Наконец, при разговоре касательно здоровья, Киселев упомянул о чрезвычайной пользе кегельной игры, чему он видел живой пример на одном человеке, совсем оправившемся с тех пор, что начал ею заниматься.

— Прекрасно, — отвечал государь, приняв это в шутку за совет себе, — вот и я начну ездить всякий день в Английский клуб, или, лучше, стану собирать к себе членов Совета, по департаментам, чтобы потешаться с ними кегельною игрою. Но в чем я уверен, — продолжал он уже серьезно, — это в большой пользе для здоровья от деланья ружьем. Двадцать лет не проходило дня, чтоб я не занимался этим движением, и в то

время не знал ни завалов, ни прочих теперешних пакостей; я старался даже приучить к этому и жену, но, увы, все мои усилия кончались ничем.

Это дало повод к нескольким шуткам со стороны императрицы, которая, с обыкновенною своею грациозностью во всех движениях, стала представлять неудачные свои попытки в ружейных приемах.

Государь за домашними у себя обедами говорил обыкновенно по-русски, и только обращаясь к императрице, или когда у других шел разговор с нею, переходил к французскому языку. Гости вообще не заводили новых материй без особенного вызова, разве только иногда с императрицею; но государь сам был очень разговорчив, и беседа редко прерывалась, кроме именно того обеда, о котором я теперь говорю и при котором грустное расположение духа государя (после свежей его потери) выражалось и в чертах его, и в отрывочности разговора. Перешептывания между соседями за такими обедами случались редко. Стол был вообще очень хорош, хотя не особенно изыскан; вина подавались после каждого блюда, а кофе не за столом, но уже после. Государь сидел всегда возле императрицы, занимавшей первое место, гости же размещались по чинам. После обеда государь обыкновенно становился у камина и подзывал к себе кого-нибудь из общества. Садились тут редко, кроме императрицы. Все, и с обедом, продолжалось обыкновенно немногим более полутора часов.

* * *

Государь после кончины Михаила Павловича долго не обращался ни к одному из обыкновенных, столь вообще малых и редких, развлечений своих. Так, например, он более месяца не брался за карты, хотя до этого печального события очень любил, в осенние и зимние вечера, особенно же в пребывание

в Царском Селе, играть в вист-преферанс. Тем более все обрадовались, когда 29 сентября, после долгих убеждений императрицы, он решился, наконец, сесть за обыкновенную свою партию. На этот раз составляли ее великий князь Константин Николаевич, генерал-адъютант Плаутин и граф Апраксин. Играли по четвертаку.

* * *

В воскресенье (9 октября) после обедни государь, подойдя ко мне в зале перед церковью, сказал:

— Слышал ты? Бедный Бутурлин![222] Я считаю его смерть истинною потерею и сердечно о нем горюю. Это большая беда и для нашего Комитета. Ведь вас теперь всего только двое (т. е. Дегай и я), и решительно не знаю, кого вам дать третьего. В двадцать четыре года я столько растерял близких мне людей, что теперь всегда нахожусь в величайшем затруднении, когда надо заместить доверенное место. Не знаешь ли ты кого?

Я сделал, в молчании, отрицательное движение.

— Есть человек, который и в наших правилах, и смотрит на вещи с нашей точки: это твой товарищ по Совету, Анненков[223]; но у него есть тоже свои занятия, и не знаю, мог ли бы он соединить все вместе.

Как эта фраза была произнесена тоже в тоне вопросительном, то я счел себя вправе отвечать:

— В Комитете, государь, очень много дела: мы теперь, к счастью, редко имеем случай вас утруждать, но для того, чтоб

---

[222] Дмитрий Петрович Бутурлин, член Государственного Совета, председатель нашего секретного Комитета о цензуре и директор Публичной библиотеки, умерший в ночь с 8-го на 9-е число.

[223] Генерал-адъютант Николай Николаевич, незадолго перед тем пожалованный в члены Государственного Совета.

изредка представить вам несколько строк, должны постоянно прочитывать целые кипы.

— Знаю, знаю, что у вас по-прежнему пропасть дела, хоть до меня нынче, благодаря Богу, доходит мало.

Тут подошла императрица, и наш разговор был прерван.

Спустя несколько дней Анненков действительно был определен членом «Комитета 2 апреля».

* * *

Быв назначен, после Бутурлина, директором Императорской публичной библиотеки (18 октября) и явясь по этому случаю благодарить государя (в Царском Селе), я снова удостоился приглашения к его столу. В этот раз, воскресенье, общество было несколько многочисленнее, и именно, сверх императорской четы, обедали тут все четыре ее сына, принцы Август Виртембергский и Петр Ольденбургский, старые князья Волконский и Шаховской, состоявший при нашем дворе прусский генерал Раух и я.

— А, месье библиотекарь, — сказал государь, подавая мне руку, и потом все время был необыкновенно милостив.

Здесь кстати заметить, что император Николай, при всем моральном величии своем, не был нисколько высокомерен и, не роняя никогда своего достоинства, приветливостью и ласкою умел обворожить все сердца. Так, оказывая тем, кто единожды был удостоен его благорасположения, и вообще людям заслуженным, знаки своего милостивого внимания, не только у себя в кабинете, но и везде перед публикою, он через самое обращение свое возвышал и счастливил каждого гораздо более еще, нежели всеми наградами.

За обедом в этот день весь почет отдаваем был принцу Августу, к которому хозяин часто и внимательно обращал слово, что не мешало, однако ж, и общему разговору идти своим чередом. В доказательство обмельчания у нас народа

государь рассказывал, что прежде он был по росту 22-м в первой шеренге Преображенского полка, потом сделался 15-м, а теперь уже стоит 13-м; шутил также над «вытягивающимся» ростом двух младших своих сыновей; жаловался, что начинает чувствовать припадки подагры, прежде совершенно ему незнакомой, которая на днях ночью так щипнула его за ногу, что он, проснувшись, вскочил с постели. Затем, обращаясь к Рауху, он говорил (по-немецки) о разных берлинских своих воспоминаниях, а у меня спрашивал, был ли я уже в Библиотеке, прибавляя, что видел ее впервые еще во времена графа Александра Сергеевича Строганова, «когда ты (то есть я) еще лицействовал». Замечательны были большие похвалы государя солдатам из поляков, т. е. из Царства Польского. Он рассказывал, между прочим, что, по вступлении прошлым летом в Варшаву Гренадерского корпуса, велел распустить этих поляков по местам их родины, с тем, чтобы они привели оттуда перед него своих жен, детей или вообще ближних.

— И вот, — продолжал он, — после смотра окружила меня вся эта команда с толпою своих родных. И все это в присутствии Ламорисиера, который таким образом увидел в полном действии поглотителя поляков.

Вообще, служа в наших войсках, поляки не только теряют свою национальную неприязнь, но даже отказываются от своего происхождения: так, если кто назовет их поляками, они отвечают: «Я не поляк, а русский гренадер». К слову о Ламорисиере, цесаревич рассказал, что в парижском «Journal pour rire» явилось карикатурное изображение казака на лошади, с сидящим за ним Ламорисиером и с подписью: Генерал Ламорисиер, помогающий при усмирении Венгрии.

— И казак, надеюсь, я? — спросил, смеясь, государь.

— Смею думать, государь, — отвечал цесаревич в том же тоне.

После обеда, постояв несколько перед камином с Волконским и Шаховским, государь взял меня под руку и отвел в сторону. Здесь разговор обратился уже непосредственно к новому моему назначению, к составу библиотеки, к продолжению каталогов, начатых при Бутурлине, и к разным внутренним подробностям.

— Я должен, — сказал он, — начать твое управление с того, чтобы тебя ограбить. Ты знаешь, что скоро окончено будет здание нового музея (Эрмитажа); я уже велел взять туда из твоей библиотеки то, что, собственно, не принадлежит ни к ее составу, ни к ее назначению: разные рукописи с миниатюрами и иллюстрациями, а взамен передать тебе все дублеты печатных книг Эрмитажной библиотеки; ты переговоришь об этом с Волконским и Шуваловым, и таким образом каждому из обоих заведений будет отдано свое.

Я осмелился заметить, что при сохранении сказанных рукописей в Публичной библиотеке было бы то преимущество, что они выдавались бы желающим, для ученых и артистических работ, чего в музее не будет.

— Совсем нет, — отвечал государь, — и в библиотеке едва ли многим эти редкости выдаются на руки, а в той степени, как они выдаются там, будет и в музее.

Я коснулся того обстоятельства, что в библиотеке почти все шкафы стоят доступными для похищений, не только без стекол, но даже и без решеток, а отвратить эту беду трудно, потому что одни решетки стоили бы, как сказывал мне некогда Бутурлин, более 20 000 руб. серебром.

— Уф, уф, — заметил государь, — да нельзя ли сделать решетки хоть, — как это называется по-русски? — из fil d'archal (из проволки)?

Я отвечал, что еще не осмотрелся и ничего не знаю. Потом была речь о разных других наших библиотеках и архивах; о хранящихся в Государственном архиве делах о цесаревиче Алексее Петровиче и о Таракановой; о занятиях по этой части Блудова; наконец, о начатом им же издании дворцовых

записок со времен царя Алексея Михайловича, сколько их сохранилось. Я, с моей стороны, рассказывал о виденном мною в Публичной библиотеке подлинном деле касательно содержания несчастного Иоанна Антоновича и его семейства в Холмогорах, деле, где императрица Елисавета Петровна является совсем в другом свете, нежели как изображает ее история. Это видимо интересовало государя, чрезвычайно любившего всякую старину, в особенности касавшуюся его семейства, и я тут же получил приказание препроводить это дело, как нимало не подлежащее хранению в библиотеке, в Государственный архив.

В другой раз, за таким же маленьким обедом в Царском Селе (1 ноября), когда государь снова навел речь на Публичную библиотеку, я, коснувшись разных предположений, которыми можно бы увеличить скудные ее средства, упомянул, между прочим, о возможности обменов с Парижскою библиотекою, которая, верно, пожелала бы иметь в своем многообразном составе и русские книги.

— Да кто ж их там станет читать, — возразил государь, — разве наши изменники и беглецы? Кстати, — продолжал он, — теперь за границею завелись опять два мошенника, которые пишут и интригуют против нас: какой-то Сазонов и известный Герцен, который, пока ваш Комитет забрал этих господ в ежовые рукавицы, писывал и здесь под псевдонимом Искандера; этот уж был раз у нас в руках и сидел; но, по доброте господина Жуковского, употребили тут в ходатайство Сашу (цесаревича) и — вот благодарность его за помилование!

* * *

Государь жаловался на свое несчастие в картах, и из разговора его при этом с императрицею открылось, что, выиграв как-то на днях 21 руб. серебром, он подарил их ей на шляпку.

— Это не будет нечто великолепное, — прибавила императрица, — конечно, без перьев, но во всяком случае это выгодно!

По какому-то поводу заговорили о фамилии Голицыных.

— Покойный князь Александр Николаевич, — вспомнил государь, — рассказывал мне однажды, что вскоре по вступлении на престол брата Александра они заспорили: сколько Голицыных в военной службе, и когда перечли по спискам, их оказалось более полутораста; а теперь посмотрите-ка, куда все это девалось! Нет, я думаю, более шести или семи?

Действительно, когда сам государь тут же принялся считать, и все мы пособляли, припоминая пропускаемых им, всех Голицыных военных, со включением и флотских, вышло — одиннадцать. Между тем я шепнул моему соседу за столом, великому князю Михаилу Николаевичу, что, по крайней мере, нельзя сделать этого упрека Корфам, которые есть во всех чинах и даже почти во всех полках.

— Да, да, — сказал государь, услышав нас, — в самом деле, вот одних военных генералов я знаю из вас пятерых, — и тут же пересчитал их поименно.

* * *

Теперь я буду продолжать и окончу рассказ, начатый об открытом у нас в 1849 году заговоре.

Кроме следственной комиссии в описанном мною составе, учреждена была еще особая приготовительная комиссия, под председательством статс-секретаря князя Голицына, для разбора захваченных у обвиненных бумаг, которых оказалось чрезвычайно большое количество. Следственная комиссия открыла свои заседания 26 апреля, в самой крепости. Манифеста или другого гласного акта об ее учреждении и вообще о всем этом событии не последовало.

Результаты исследования вскоре обнаружили, что дело отнюдь не имело ни такой важности, ни такого развития, какие в начале придали ему городские слухи, обыкновенно все преувеличивающие. Всех замешанных было около 50 человек, и во главе их стоял 28-летний чиновник министерства иностранных дел, Петрашевский, сын отрешенного от должности петербургского штадт-физика и бывший воспитанник Царскосельского лицея, человек полоумный, уже давно признанный таким между своими товарищами, но, может быть, от того именно и чрезвычайно дерзкий. Цель замысла была — изменить общественное наше устройство по образцу западных понятий, приготовив сперва к тому умы посредством распространения коммунистических и социальных сочинений, разных разглашений, речей и порицания всего существующего, предметов и лиц.

Всех участников комиссия разделила на три разряда: главных виновников, ближайших к ним и таких, которых можно бы совсем освободить. В целом списке, в противоположность заговору 1825 года, не встречалось ни одного значущего имени, ни одного лица с известностью в каком-нибудь роде[224]: учители, мелкие чиновники, молодые люди большею частью маловедомых фамилий.

Покушений, или приготовления к бунту в настоящем с достоверностью открыто не было, и все представляло более вид безумия, нежели преступления. Впрочем, заговор имел свои разветвления и в Москве, и даже в Сибири, где скитался отставной подполковник Черносвитов, заподозренный в намерении возмутить Урал, а оттуда распространить мятеж и далее на восток. Действия комиссии продолжались почти пять месяцев, и окончательный доклад ее, подписанный 17 сентября, представлен был без всякого с ее стороны заклю-

---

[224] Кроме только успевшего приобрести себе некоторую известность своими повестями отставного инженер-поручика Достоевского.

чения, которого от нее и не требовалось. Члены называли это дело — заговором идей, чем и объясняли трудность дальнейших раскрытий: ибо, если можно обнаруживать факты, то как же уличать в мыслях, когда они не осуществились еще никаким проявлением, никаким переходом в действие?

Этим комическим преступникам государь не рассудил сделать чести, явленной злоумышленникам 1825 года, т. е. учредить для постановления приговора о них верховный уголовный суд, а вместо того приказал составить нечто новое — суд смешанный: из трех генерал-адъютантов и трех сенаторов, под председательством генерал-адъютанта же, бывшего Оренбургского генерал-губернатора Василия Алексеевича Перовского. Приговор этой, как она была названа, военно-судной комиссии, поступил в генерал-аудиториат, который, руководствуясь полевым уголовным уложением, приговорил 21 подсудимого к смертной казни.

Все в Петербурге знали, что приговор генерал-аудиториата представлен был государю 19 декабря, и все с печальным, иные вероятно и с тревожным любопытством, ожидали решения рокового вопроса. Дело не замедлилось. Государь сложил тяготевшее на великом его сердце бремя скорее даже, чем можно было предвидеть. Он не определил ни одной смертной казни и вместо того велел: прочитав подсудимым приговор и совершив над ними все обряды, предшествующие смертной казни, объявить, что его величество дарует им жизнь, и затем подвергнуть их разным другим наказаниям.

Уже 22 декабря появилась о сем, равно как и о всем ходе и обстоятельствах дела, статья в «Русском Инвалиде», в форме, впрочем, не манифеста или указа, а простого объявления.

В тот же день приговор был приведен и в действительное исполнение, при многочисленном стечении народа, хотя помянутое объявление и не могло еще везде огласиться. В 8 часов утра преступников вывезли из крепости. Все они были

рассажены порознь в извозчичьих возках, и при каждом сидело по рядовому внутренней стражи, а по обе стороны возков и впереди поезда ехали жандармы верхами. На Семеновском плаце, перед самым гласисом[225], возвышались нарочно устроенная платформа и на ней три столба. Лицевая сторона была оставлена открытою, а с трех других ее окружали по одному батальону лейб-гвардии Егерского и эскадрон лейб-гвардии Конногренадерского полков, т. е. тех, к которым принадлежали заговорщики военного звания.

На плаце находились: командир гвардейской пехоты[226] Сумароков, военный генерал-губернатор, обер-полицеймейстер и оба городских коменданта. Преступников, по прибытии их туда, высадили из возков, провели вдоль всего фронта и поставили на платформу, спиною к гласису (валу), после чего прочитан был приговор генерал-аудиториата в первоначальном его виде, т. е. без смягчавшего его высочайшего повеления.

Тут многих из зрителей тронули слезы, покатившиеся по бледному лицу 20-летнего Кашкина (также из воспитанников лицея), имевшего престарелого отца. Священник, выйдя вперед, произнес осужденным последнее увещание и, поставя их на колени, дал каждому приложиться ко кресту. Тогда начались прочие обряды, предшествующие расстрелянию. Палач стал ломать над их головами шпаги, и когда всех одели в белые рубашки с колпаками, комендант повел первых трех с правого фланга: Петрашевского, Момбелли и Спешнева к столбам, к которым их и привязали.

Петрашевский сорвал с себя колпак, говоря, что не боится смерти и может смотреть ей прямо в глаза. Начальствовавший войсками скомандовал «к заряду», и они приступили к испол-

---

[225] Император Александр II исправил: «валом».

[226] Император Александр II исправил: «Командир гвардейского пехотного корпуса».

нению команды. Вдруг прискакал фельдъегерь, и раздался отбой! Привязанных к столбам отвязали и привели на прежнее место, чтобы всем вместе прочесть царскую сентенцию.

Кашкин и Пальм, в порыве безмерной радости, бросились на колени и стали молиться, последний при громких восклицаниях: «Добрый царь, да здравствует наш царь!»

Петрашевскому, осужденному к ссылке в каторжную работу в рудниках, без срока, тотчас же начали надевать кандалы; но как, по неловкости палача, эта операция замедлялась, то Петрашевский сам заковал себе руки и ноги, испросив позволения обнять сперва Момбелли и Спешнева. Закованного, его посадили в заложенные тройкою сани и, в сопровождении жандарма, прямо отправили к окончательному месту назначения. Прочих повезли в Ордонанс-Гауз, для отсылки впоследствии.

* * *

Граф Уваров, разбитый параличом и переставший в последнее время пользоваться доверием императора Николая, уволен был по просьбе от управления министерством народного просвещения высочайшим указом 20 октября 1849 года. Между тем, до конца года, должность его оставалась незамещенною, и ее исправлял, не по особому указу, а в силу общего закона, товарищ министра, князь Ширинский-Шихматов. Это междуцарствие возбудило снова в нашей публике, как и всегда бывало при подобных случаях, бесчисленные толки, догадки и предположения, хотя прежние примеры доказывали, что император Николай любит, с одной стороны, обманывать все догадки, с другой, как бы желая возбудить их, медлит новыми назначениями. В это самое время ожиданий преемника Уварову кто-то рассказал мне, что когда назначенный на место духовника Музовского, не прежде как через два месяца после его кончины, Бажанов явился благодарить,

государь сказал, что остановил выбор свой на нем еще в самую минуту смерти Музовского. Тогда Бажанов осмелился спросить, что же, в таком случае, могло дать повод медлить назначением.

— Как, — отвечал будто бы государь, — да разве не надо было дать пищи толкам!

Впоследствии я как-то передал этот анекдот одному из людей, наиболее имевших случай изучить императора Николая.

— Не верьте, не верьте, — сказал он мне, — Бажанов никогда не отважился бы сделать такого вопроса и никогда не получил бы такого ответа. Я слишком близко знаю государя, чтоб иметь в том малейшее сомнение. Он всегда и везде государь и никому, никогда не дал бы подобного отчета в своем образе действия.

Лицо, сообщившее мне это замечание, был граф Клейнмихель.

Уже в конце декабря другой приближенный передал государю более, кажется, с целью выведать его мысли — городской слух касательно назначения министром народного просвещения графа Протасова (синодального обер-прокурора).

— Не знаю, — отвечал государь, — ничего не слыхал; впрочем, ведь тут есть товарищ, который и может править министерством впредь до назначения министра.

XX
1850 год

Назначение князя Ширинского-Шихматова министром народного просвещения — Перевод Императорской публичной библиотеки в ведомство министерства Императорского двора — Пароход «Граф Вронченко» — Назначение генерал-адъютанта И. Г. Бибикова Виленским генерал-губернатором — Увольнение графа Замойского — Николаевский мост — Падение князя Меншикова с лошади — Взгляд императора Николая на поездки за границу — Праздник в Петергофе — Тост князя Чарторижского в Остенде за здоровье императора Николая I — Отъезд из Петербурга всей царской фамилии — Правительственная комиссия — Сломанная ось в коляске государя — Из разговоров с великим князем Константином Николаевичем — Юбилей князя Варшавского — графа Паскевича-Эриванского — Возвращение государя из Варшавы

27 января 1850 года последовало наконец разрешение задачи, долго тревожившей любопытство нашей публики: назначен был министром народного просвещения князь Платон Александрович Ширинский-Шихматов. Император Николай, в бытность еще великим князем и генерал-инспектором инженерной части, зазнал в инженерном департаменте Шихматова начальником отделения и с тех пор постоянно сохранял о нем хорошее мнение.

Сам Шихматов, быв с того времени многие годы директором канцелярии, а потом департамента министерства народного просвещения, наконец, и товарищем министра, неоспоримо должен был приобрести большую опытность по этой части. При всем том, новое назначение его Петербург встретил едва ли не с таким же неудовольствием и порицанием, как и возведение Вронченко в сан министра финансов.

С одной стороны, бедный князь не пользовался никаким общественным уважением, его считали за человека ограниченного, святошу, обскуранта и жалели, что именно в такую эпоху, при тогдашнем положении дел и настроении умов, к

занятию поста, столь важного для будущности России, выбор пал на подобное лицо.

С другой стороны, удивлялись, как государь, будучи недоволен Уваровым, заменил сего последнего не кем-либо другим, а именно его товарищем, бывшим перед сим многие годы директором департамента, следственно, участником всех действий или бездействия уволенного министра…

Если так думала и говорила та часть публики, которой совсем нельзя было признать неблагонамеренною, то многие другие шли еще далее. Выбор, говорили они, людей таких ограниченных, бесхарактерных и безгласных, каковы Вронченко и Шихматов, вполне доказывает утомление государя: эти, уже верно, не будут утруждать его новыми мыслями и предложениями, но между тем поведут свои части к несомненному упадку.

Повторяя давнишние эпиграммы Пушкина на нового министра, забавники наши сочиняли и свежие, немного переиначивая для того его фамилию. Они называли его вместо Шихматов — Шахматов и говорили, что с назначением его и министерству, и самому просвещению в России дан не только шах, но и мат.

Другие, припоминая прежние литературные труды князя, его опыты духовных стихотворений, оды, академические речи и проч., отличавшиеся всегда строгим классицизмом и бездарностью, злорадостно припоминали, как все это отделывалось в журналах двадцатых годов, когда ни критикам, ни цензорам, конечно, не могло даже и присниться, что сочинитель станет некогда во главе русского просвещения и высшим начальником последних.

Наконец, среди этих насмешек, эпиграмм и общего хохота, всегда столь опасных в самодержавном правительстве, где подданные привыкли верить и должны верить в непогрешимость монарха, выборы последнего времени, так мало удовлетворявшие ожиданиям, приводили на память людям более серьезным достопамятные слова, сказанные некогда Сперанским Александру I.

— Не одним разумом, но более силою воображения действует правительство на страсти народные и владычествует ими. Доколе сила воображения поддерживает почести и места в надлежащей высоте, дотоле они сопровождаются уважением; но как скоро, по стечению обстоятельств или вследствие неудачных выборов, сила сия их оставит, так скоро и уважение исчезает.

Впоследствии мне сделалось известным обстоятельство, послужившее непосредственным поводом к назначению князя Шихматова министром. В продолжение управления своего министерством в качестве товарища, он представил государю записку о необходимости преобразовать преподавание в наших университетах таким образом, чтобы впредь все положения и выводы науки были основываемы не на умствованиях, а на религиозных истинах, в связи с богословием. Государю так понравилась эта мысль, что он призвал перед себя сочинителя записки, и Шихматов устным развитием своего предложения до того успел удовольствовать августейшего своего слушателя, что немедленно по его выходе государь сказал присутствовавшему при докладе цесаревичу:

— Чего же нам искать еще министра просвещения? Вот он найден.

Император Николай, несмотря на все моральное свое величие, был — смертный и, следственно, не чужд человеческих ошибок. Управление Шихматова доказало, что можно быть хорошим казуистом, не будучи государственным человеком; что хороший начальник отделения не есть еще непременно хороший министр, и что мало быть до некоторой степени ученым и писателем, чтобы заведовать и направлять делом общественного просвещения в такой державе, какова Россия.

* * *

Случайное обстоятельство послужило поводом к тому, что Императорская публичная библиотека, принадлежавшая

около сорока лет к министерству народного просвещения, вдруг, высочайшим указом 7 февраля 1850 года, причислена к составу министерства Императорского двора. Упомянутое обстоятельство заключалось в том, что я, в чине тайного советника, имел три года старшинства перед князем Шихматовым, и государь, до сведения которого это дошло, признал неудобным, чтобы старший в чине состоял под начальством младшего. С этих пор Публичная библиотека освободилась от всех бюрократических препон и приобрела все удобство к полезным в ней преобразованиям, потому что для министра Императорского двора не было в то время (так же, как и теперь) никаких посредствующих инстанций, и князь Волконский видел императора Николая всякий день, даже и по несколько раз в день. Таким образом, случайный вопрос чиновного старшинства проложил этому установлению, не только общеполезному, но и принадлежащему к числу памятников народной славы, новый путь к преуспеянию и дал все средства воззвать его из прежней полудремоты к новой плодотворной жизни.

* * *

На казенном заводе ведомства министерства финансов был выстроен новый пароход в 80 сил. Министр финансов, донося о том государю, испрашивал разрешения: кому сдать пароход и как его назвать? Последовала резолюция: «Сдать князю Меншикову, для присоединения к составу Балтийского флота, а назвать — «Граф Вронченко»». Разумеется, что Вронченко пришел в восторг от такого нового знака монаршей милости; но посереди рассказов о том приближенным, вдруг на его морщинистый лоб набежало облако заботы.

— Одна беда: пароход поступит к Меншикову, и он верно уже выдумает тут какую-нибудь колкую шутку на мой счет…

И пошли рассуждения о том, что мог бы сочинить Меншиков при этом случае.

— Чего доброго, — заметил кто-то из близких, пользуясь веселым расположением духа своего начальника, — ведь его станет и на то, чтоб сказать, что на «Графе Врончено» далеко не уедешь.

— Бесподобно, — подхватил обрадованный граф, — лучше и Меншикову ничего не выдумать, а чтоб он этим не воспользовался, так я его предварю и сам стану всем рассказывать.

* * *

На открывшийся пост — генерал-губернатора Виленского, Гродненского, Минского и Ковенского был назначен, совершенно неожиданно для всех, генерал-адъютант И. Г. Бибиков, всю свою жизнь состоявший при великом князе Михаиле Павловиче, но никогда не имевший в своем управлении никакой отдельной части и совершенно чуждый гражданским делам. Явясь благодарить государя, он счел долгом вперед призвать на себя его снисхождение, если по малоопытности своей будет впадать в ошибки.

— Э, братец, — отвечал государь, — кто же из нас в этом не грешен! Я сам не раз ошибался, вероятно, ошибаюсь нередко теперь и, верно, буду ошибаться и впредь; за непреднамеренные ошибки я никогда не взыщу.

* * *

В заседании Государственного Совета 10 апреля все были изумлены при объявлении совершенно неожиданного указа об увольнении от службы члена Совета графа Замойского. Никто не знал и не умел объяснить себе причины такой внезапной немилости, и спустя лишь несколько дней я узнал ее

от князя Чернышева. При вступлении последнего в должность председателя Совета он в представленном ему списке членов тотчас обратил внимание на Замойского, который лет уже более пятнадцати не бывал в Петербурге и постоянно жил за границею.

Князь доложил о сем государю, который повелел отсрочить Замойскому отпуск в последний раз еще на год. Этот год прошел, и о Замойском не имелось никакой вести. Вследствие того поднесены были на выбор два проекта указов; один: «Повелеваем уволить вовсе от службы», другой: «Всемилостивейше повелеваем», и государь подписал последний — тот, который мы слышали в Совете.

По спискам, Замойский имел Александровскую ленту еще с 1815 года, Андреевскую же с 1825 года, а вслед за усмирением Польши пожалован был вдруг в действительные тайные советники, в члены Государственного Совета и алмазами к Андреевскому ордену; но после, кажется, против него возникли какие-то подозрения или сомнения.

По крайней мере, разбирая некогда частный архив князя Кочубея, я нашел в нем следующее собственноручное письмо государя от 17 мая 1834 года: «Я вам возвращаю, дорогой князь, книгу членов Совета, сокращенную на одну цифру (это был адмирал Чичагов, эмигрировавший в Англию и исключенный в то время из списков Совета за разные неприязненные разглашения против нашего правительства); пусть он будет последним исключенным по такой причине; впрочем, я думаю, что граф Замойский последует по той же дороге, о чем я постараюсь в непродолжительном времени убедиться». Сын Замойского, некогда флигель-адъютант[227], быв замешан во все последние беспорядки, принимал участие и в Дрезденском бунте.

[227] Император Александр II исправил: «адъютант цесаревича Константина Павловича».

* * *

В половине апреля государь неожиданно посетил работы постоянного моста, строившегося в то время через Неву, и, обозрев их в подробности, остался в совершенном восхищении.

— Это, — сказал он, — работы не людей, а великанов, тех же, которые поставили Александровскую колонну! — и оттуда же написал карандашом графу Клейнмихелю, чтобы строителя, подполковника Кербердза, немедленно произвести в следующий чин, всем находящимся при нем офицерам объявить благодарность, а нижним чинам и рабочим дать по рублю серебром.

* * *

Начальник Главного морского штаба, князь Меншиков, несмотря на свои 62 года, все еще оставался отличным кавалеристом и позволял себе даже скакать в манеже через барьер. 14 апреля он предавался этому «спорту» в манеже Инженерного замка, как вдруг, во время такого сальто-мортале, у седла, хотя только-то принесенного от седельника, оборвалась подпруга, и ездок ударился со всего размаха головою о барьер. У него тотчас хлынула кровь горлом, а осмотр врача обнаружил еще и перелом ребра. Князя отнесли в находящиеся при манеже комнаты Берейтерской школы, где уложили в постель и пустили кровь; но замечательнее всего было при этом новое проявление бесподобной души государя. Едва только дали ему знать о случившемся, он немедленно прискакал в манеж, присутствовал при перенесении князя с постели в карету и сперва несколько времени сам следовал за нею шагом, а потом, обогнав, приехал в дом и здесь на подъезде ожидал прибытия больного, которого оставил не прежде, как совершенно его уложив, успокоив и

приказав его сыну дать знать себе о положении отца через несколько часов.

* * *

С постепенным усмирением смут на Западе и началом возвращения дел к законному порядку император Николай стал вообще несколько менее строг в разрешении заграничных отпусков, особенно для людей пожилых и тех, которых он не знал сам, но молодым людям высшего общества, лично ему известным, он продолжал отказывать в позволении ехать в чужие края. Так, в мае 1850 года (еще прежде получения известия о сделанном по прусскому королю выстреле) просились туда два молодых камер-юнкера, состоявшие оба на службе во II отделении Собственной канцелярии: Т. и Л., первый для сопровождения престарелой и больной своей матери, а второй — для поправления собственного здоровья, которого расстройство было засвидетельствовано одним из первых врачебных наших авторитетов. Просьбы обоих лично докладывал их начальник, граф Блудов.

— Вздор, — отвечал государь, — Л., если болен, то может ехать на Кавказ, действенный не менее иностранных вод, а Т. и подавно ехать незачем, мать его в таком возрасте, что может ехать одна.

Молодые люди, не удовольствовавшись этим официальным отказом, попытались было искать благоприятнейшего решения своих просьб через дам и придворные свои связи. Это окончательно разгневало государя. Спустя три дня статс-секретарь Танеев объявил высочайшее повеление о командировании просителей: одного в Калугу, а другого в Курск, к ревизовавшим в то время эти губернии сенаторам.

* * *

Празднество в Петергофе дня рождения императрицы в 1850 году происходило, вместо 1 июля, к которому не поспе-

ли приготовить все нужное, 3-го числа. Оно заключалось в иллюминации всех верхних островов и всего пути туда и далее до Бабьего гона, избы которого, окаймленные шкаликами, образовали последний, задний план всего освещенного пространства. На пруду перед павильоном (Самсоном) давали балет в устроенном для того открытом амфитеатре, к которому танцоров подвозили с берега на убранных зеленью небольших паромах, имевших вид плавучих островков. После ужина в раскинутых нарочно с этою целью палатках царская фамилия со всею свитою ездила в линейках до Бабьего гона, и все заключилось колоссальным фейерверком.

При чудесной погоде и необыкновенном изяществе иллюминации и всего убранства, целое походило на сказку из «Тысячи и одной ночи»; но все же это был не прежний Петергофский народный праздник, укоренившийся, так сказать, в наших обычаях и преданиях, подобно бывалым прежде 1 января народным же маскарадам в Зимнем дворце. Многие старожилы сожалели, даже и в политическом отношении, об отмене с некоторого времени того и другого.

— Несколькочасовая жизнь по старине и напоминание о сей последней, — говорили они, — поддерживают народный дух, а он слишком у нас хорош, чтобы желать его изменения.

* * *

Летом на морских водах в Остенде, куда собиралось много польских эмигрантов, один из них, молодой князь Чарторижский, за каким-то торжественным у них обедом, предложил тост, предварив заранее, что его товарищи ему удивятся, и именно: «За здоровье императора Николая, последнего монарха Европы, который еще остается достойным этого титула!» — и этот тост был принят с общей симпатией, почти с восторгом.

Здесь кто-то рассказал о нем государю.

— Черт возьми, — отвечал он, — неужели же я начал случайно опускаться, чтобы удостоиться такой чести со стороны этих господ?»

* * *

В начале сентября в Петербурге не оставалось почти никого из царской фамилии. В ночь с 23 на 24 августа уехал наследник цесаревич, сперва для обозрения губернских военно-учебных заведений, потом — на Кавказ. Великая княгиня Елена Павловна с дочерью находились с половины июня на заграничных водах, а великий князь Константин Николаевич с супругой с последних чисел июля пользовались Добберанскими морскими купальнями. 7 сентября отправился и государь на смотр войск, собранных в Чугуеве и Белой Церкви, а оттуда в Варшаву — через Москву, куда, за несколько дней прежде, выехали и оба младшие его сына.

Наконец 10 числа уехала императрица. Все лето говорили о том, что ей необходимо провести осень в климате, более благорастворенном, нежели тот, который господствует в окрестностях Петербурга, а как ехать в чужие края, при тогдашних политических обстоятельствах, не представлялось еще удобным супруге русского императора, то выбор местности для осеннего ее пребывания колебался между Крымом и Варшавой.

Но в Крыму свирепствовали губительные лихорадки и, кроме того, самый переезд туда осенью принадлежал к числу геркулесовских подвигов. Итак, всеведущий Мандт решил — ехать в Варшаву или, лучше сказать, в Лович, так как местоположение Лазенского дворца он признал слишком низменным и оттого нездоровым[228].

---

[228] Император Александр II заметил: «Несправедливо. Матушка с государем провели только несколько дней в загородном дворце в Скернсвице близ Ловича».

Государь для переезда в Москву воспользовался частью приводившейся уже тогда к окончанию железной дороги. Он доехал по ней сперва до Чудовской станции и, пересев потом опять в вагон у Вышнего Волочка, оставил рельсы в деревне Кольцовой за Тверью. Весь путь в Москву с этими пересадками потребовал 32 $^{1}/_{2}$ часа, и ровно через трое суток от выезда государя из Петербурга был уже от него фельдъегерь из Москвы.

На время отсутствия из Петербурга государя и цесаревича опять была возобновлена правительственная комиссия в том же составе и на том же основании, как в 1849 году. Но как, спустя несколько дней потом возвратился в Петербург великий князь Константин Николаевич, то и он был назначен членом комиссии.

* * *

При отвозе на железную дорогу только что принятой из мастерской государевой коляски в ней, не далее как на Аничковом мосту, переломилась задняя ось. По докладу о том государь велел посадить каретных мастеров Фребелиусов, отца и сына, на гауптвахту: первого как хозяина заведения на два дня, а последнего как заведовавшего работами на восемь дней. Потом, при разговоре об этом, обер-шталмейстер барон Фредерикс рассказал мне любопытную вещь. Экипажи — как государя, так и цесаревича — издавна уже изготавливались в мастерской Фребелиуса. В прежнее время он брал за дорожную коляску 2000 рублей, но за несколько лет перед тем у одной точно так же переломилась ось, и государь точно так же велел посадить каретника на гауптвахту. При следующей поездке коляска стоила уже 3500 рублей.

* * *

Проводя осень 1850 года в Царском Селе, я почти ежедневно ездил оттуда в Петербург по железной дороге с

великим князем Константином Николаевичем, жившим в это время в доставшемся ему по наследству, после Михаила Павловича, Павловске, и тут, среди других разговоров, я нередко слышал рассказы о настоящем и минувшем из внутренней или домашней жизни царской фамилии. Говоря о том, что он и супруга его предпочитают в Павловске Константиновский дворец Большому, уже и потому, что первый не так велик, великий князь прибавлял:

— Мы привыкли к тесноте еще с детства; в Александрии Саша жил в конюшне[229], младшие братья — на гауптвахте, а я — почти в подвале. Вообще, по образу полученного нами воспитания, нам не приучаться к лишениям.

В другой раз зашла речь о письмах:

— Я, — сказал великий князь, — храню все письма, от кого-либо и когда-либо мною полученные, но за то и сам удостоился такой же чести от батюшки: он сохраняет все полученные от меня письма во время Венгерской кампании, и не раз говорил и даже писал мне, что только из них получал прямую и верную идею о ходе дел, которой не могли дать ему официальные донесения. А знаете ли, кстати, что у нас в семействе заведено всегда целовать обоюдные письма? И я, и братья, когда получаем письма от государя или от императрицы, непременно их целуем, а они наши, как будто бы мы сами друг с другом целовались…

Восхищаясь своим первенцем, которому тогда шел восьмой месяц, Константин Николаевич говорил:

---

[229] Император Александр II заметил: «Я не знаю, откуда он (Корф) это взял. Я никогда не жил в конюшне, а на ферме, куда я переехал из так называемого Котега (Коттеджа), в 1831 году. Мои комнаты занял тогда Константин Николаевич. Впоследствии он занял особый домик внизу у въезда из Знаменского; младшие братья жили сначала также в самом Котеге, в моих же комнатах; а с 1843 г. — в здании подле, где прежде помещалась кухня и где они оставались до их свадьбы».

— У нас был только большой вопрос о том, как звать его попросту, в домашнем быту. В нашей семье столько Николаев, что нелегко придумать для каждого уменьшительное имя. Большего брата (Николая Николаевича) до сих пор зовут Низя[230] — имя, которое осталось за ним еще с моего детства, когда я иначе не мог его выговорить; Николая Александровича (сына цесаревича) Никс[231]; Николая Максимилиановича — Коля, пришлось мне назвать моего — Никола.

К речи о том, как покойный великий князь Михаил Павлович, хотя взрос и воспитывался вместе с государем, держал себя перед ним, в присутствии других, дисциплинарно, называя его не только «вы», но всегда «ваше величество», я спросил, соблюдал ли он те же формы и в семейном кругу, в отсутствие посторонних.

— Всегда и непременно, — отвечал великий князь, — не знаю, как бывало у них с глазу на глаз, но когда находился тут хоть один из нас, все шло, как и перед всеми вами. Но странное дело! В письмах Михаил Павлович отступал от этой формы и всегда называл государя не иначе, как «ты» и «любезный Ника».

— А вы, ваше высочество, как называете государя?

— И я, и наследник, и братья — в письмах всегда: «Любезный Папа», а в разговоре тоже «папа!»

* * *

Государь прибыл в Варшаву 3 октября. Там уже ожидали его принцы: Фридрих Нидерландский с супругою, Гессен-Кассельский[232], Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургский[233] и Евгений Виртембергский, сверх того

[230] Император Александр II исправил: «Низи».
[231] Император Александр II исправил: «Никса».
[232] Император Александр II прибавил: «принц Фридрих».
[233] Император Александр II прибавил: «принц Христиан».

приехали: вечером того же дня великая княгиня Ольга Николаевна с супругом, а спустя несколько дней император австрийский и от прусского короля первый его министр, граф Бранденбург. В Варшаве Россия решала судьбу мира, если не совсем так, так некогда Наполеон в Париже, то, по крайней мере, в той степени, сколько позволяли новые конституционные формы Европы и участие в правительственной власти самих народов.

Через день после приезда государя (5 октября) Варшава была свидетельницею торжества особенного рода — пятидесятилетнего юбилея службы ее наместника, знаменитого князя Паскевича. При этом случае император Николай окружил героя своего царствования всем возможным почетом. Вся церемония была подробно описана в современных газетах и, читая тогда это описание, я невольно перенесся за 18 лет тому назад, когда, утвердив в полном собрании Государственного Совета Свод законов, государь возложил на Сперанского снятую тут же с самого себя Андреевскую звезду. Минута эта была тоже глубокоторжественной, но не шла, однако же, ни в какое сравнение с тою овациею, которой удостоился фельдмаршал при праздновании его юбилея.

Кто стоял выше: творец ли Свода или счастливый победитель персиян, турок, поляков и венгров, решит история; но варшавское торжество 1850 года послужило новым доказательством, что между полководцем и государственным человеком слава и блеск — всегда на стороне первого. Румянцевым, Орловым, Суворовым, Кутузовым, Барклаям воздвигнуты памятники, а граф Сперанский, как я уже однажды сказал, живет — только в своих делах!

* * *

Государь пожелал, чтобы к приезду в Варшаву императора австрийского прислано было туда 30 человек нижних чи-

нов из полка его имени, в полной новой обмундировке. Повеление об этом привез фельдъегерь из Белой Церкви; отсюда послали за людьми в Ямбург, где стоял полк и, по обмундировании, отправили их к месту назначения на почтовых, так что от минуты посылки фельдъегеря из Белой Церкви до прибытия людей в Варшаву прошло всего десять дней! Изумительно и почти невероятно; но примечательны были и слова, при рассказе о том, князя Чернышева:

— В течение долголетнего моего управления военным министерством я, быстротою и распорядительностью моею, так избаловал государя, что он теперь ничего не считает невозможным…

* * *

Государь возвратился из Варшавы в ночь на 21 октября, прямо в Царское Село; но на этот раз, в ожидании императрицы, которая намеревалась предпринять обратный путь 25 числа, расположился в старом дворце, а не Александровском, в котором всегда прежде жил. Ему казалось слишком грустным оставаться одному в том здании, которое было свидетелем последних страданий и кончины его дочери. И потому он предпочел поместиться поближе к цесаревне, жившей, также еще в одиночестве, в старом дворце. Это временное помещение, самим им выбранное, было, однако ж, нисколько не великолепно: всего три покоя, с одним антресольным для камердинера, в нижнем этаже, рядом с гауптвахтою.

До возвращения императрицы пребывание государя в Царском Себе было, впрочем, более номинальное. Он почти столько же времени, или еще и более, проводил в Петербурге, оставаясь там часто и ночевать, для Итальянской оперы с Персиани и Марио и для балета с Карлоттою Гризи.

XXI

С.-Петербургский военный генерал-губернатор Кавелин — Открытие Николаевского моста — Празднование 25-летия царствования императора Николая I

Александр Александрович Кавелин, преемник графа Эссена (с 1842 года) в должности С.-Петербургского военного генерал-губернатора, был одним из благороднейших, благонамереннейших и прямодушнейших людей, истинный патриот, душою и сердцем преданный императору Николаю, при котором состоял адъютантом еще в бытность его великим князем, и наследнику цесаревичу, которого некогда был воспитателем. Несмотря на все эти прекрасные качества, он имел, однако же, и разные странности, давно уже доставившие ему в публике репутацию оригинала и некоторым образом человека эксцентричного. Являясь к разным лицам по новой своей должности, он всем жаловался на слабость здоровья и на свое незнание в делах.

— Я, — говорил он, — не имел ни права, ни возможности отказаться от этого назначения, но чувствую, что найду в нем свой гроб. К тому же я должен приготовиться, чтобы первое время меня водили за нос, пока успею несколько ознакомиться и с делами, и с людьми.

Несмотря на такое скромное самосознание степени своих сил, Кавелин принялся за управление со всею ретивостью благородного человека, жертвующего для общей пользы своею личностью. В звании генерал-губернатора он являлся везде исполненным энтузиазма реформатором, пламенным поборником правды и неутомимым преследователем зла, а в звании члена Государственного Совета — бесстрашным защитником того, что ему казалось справедливым. К сожалению, всему этому мешали, с одной стороны, то малое знание дел и форм, в котором он сам каялся, а с другой — большая

вспыльчивость и смесь искусственной энергии с природною слабостью.

От этого Кавелин нередко представлял род административного Дон-Кихота, и хотя, вместо ветряных мельниц и призраков воображения, должен был ратовать с горькою действительностью, однако, подобно Ламанчскому герою, не знал никакой меры в этой борьбе.

Так, однажды он посадил одного частного пристава на две недели на гауптвахту за то, что увидел на нем хорошую шубу, приписав это взяткам, хотя у того, случайно, было собственное хорошее состояние.

В другой раз, еще в начале 1843 года, обозревая Петербургскую гражданскую палату, он перед зерцалом беспощадно разбранил всех членов за беспорядки и злоупотребления, на которые не имел других доказательств, кроме слухов; сказал председателю, что ленивым должно «давать шпоры», одному из заседателей, поднявшемуся для какого-то объяснения, отвечал, что «если это вызов на дуэль, то он готов с ним драться от булавки и до шпаги», и т. п.; словом, дошел до того, что члены палаты положили записать обо всем этом в журнал и представить Сенату, что отвращено было только посредничеством министра юстиции, графа Панина.

Спустя несколько дней я вместе с Кавелиным возвращался из Совета пешком, и во всю дорогу он рассуждал только об этом происшествии. «Ясно, — говорил он между прочим, — что не надобно действовать так и особенно по отношению к смешанным подданным, каковы эти господа, которые придерживаются гораздо более министерства юстиции, чем генерал-губернатора, хотя, впрочем, при истории надворного суда все легло на одного бедного Эссена. Но что ж мне делать. Я всякий день повторяю государю, что не гожусь в генерал-губернаторы, а меня все-таки держат. Термометр генерал-губернатора не должен подниматься выше 10°, и плохо уж и

тогда, если он дойдет до 11, а мой беспрестанно вскакивает на 20 — и я кончил тем, что сжег жаркое. Граф Панин думает, что очень одолжил меня, удержав членов палаты от намерения их донести о моих глупостях Сенату, а я, напротив, счел бы величайшим благодеянием, если б меня хоть за это удалили от должности, которая не по моим силам…»

Постепенно, однако ж, благодаря ли Гатчинской ключевой воде, которую заставляли Кавелина пить всякое лето, или разочаровавшим его неудачам, он пришел в более нормальное положение. О новом генерал-губернаторе стали почти так же мало говорить, как о его предместнике. Вместо плута Оводова, тотчас им прогнанного, он подчинился влиянию определенного им правителем своей канцелярии Жданова, к счастью, честного человека, а в Совете совсем умолк. Но если таким образом Кавелин меньше прежнего выказывал свои странности на деле, то он продолжал обнаруживать их в частных разговорах и, сидев несколько лет рядом с ним в общем собрании Государственного Совета, я был постоянным слушателем его оригинальных наблюдений и замечаний, часто остроумных и метких и всегда проникнутых тем же стремлением к общему благу, но отличавшихся своею резкостью и особенно беспощадностью — к собственному его лицу.

Когда рассматривалась роспись государственных доходов и расходов на 1848 год, он шепнул мне, что взялся бы сейчас убавить последние на 40 млн руб.

— Помилуйте, так вас поскорее надобно бы сделать министром финансов!

— Нет, не министром, а только дать бы волю на этот раз. И вот что я сейчас бы вымарал: во-первых, четыре кавалерийские дивизии, потому что такой бесчисленной кавалерии, какая у нас теперь, некуда употребить даже и во всемирной войне; во-вторых, четыре дивизии пехоты, потому что и ее у нас чересчур много; в-третьих, всю жандармскую часть, как мать одних вздорных камер-пажей и новую лишь, совсем на-

прасную отрасль взяточничества; в-четвертых, все министерство государственных имуществ, которое только сосет казенных крестьян и, вопреки видам правительства, внушает им своими неправдами и притеснениями охоту к переходу в помещичьи; наконец, в-пятых, С.-Петербургского военного генерал-губернатора, потому что в присутствие государя в столице он совсем лишняя спица в колеснице, задерживающая только дела; в отсутствие же государя должен быть не этот взнузданный генерал-губернатор, а наместник с особыми полномочиями.

— Да это пребогатые мысли, и жаль, что их нельзя ни провести, ни даже предложить.

— Особенного богатства тут нет, и лучшее тому доказательство то, что они пришли мне, а я считаю себя дураком и неучем и сознаюсь в том не вам первому: я сказал это и государю, когда он предназначал меня к надзору за воспитанием наследника. Если он не поверил моей откровенности и настоял на своем, то, по крайней мере, грех не на моей совести.

Когда я стал возражать, он продолжал:

— Нет, нет, уж вы меня не разуверите: я столько же государственный человек, сколько и сапожник; но в моей, как вы это называете, скромности есть предел: отдавая себе полную справедливость, я пригласил бы в ту же компанию и немалую толику из этих господ, которые сидят вот тут вместе с нами.

Вдруг, после смерти попечителя Харьковского учебного округа, графа Головкина, Кавелин в феврале 1846 года заговорил со мною о намерении своем проситься на его место. Я принимал это за мистификацию или даже и простую шутку, на которую не обращал никакого внимания. Но спустя несколько дней мой сосед очень серьезно объявил, уже не мне одному, а и некоторым другим членам, что он о своем желании подал государю письмо.

— У меня, — говорил он нам, — девять человек детей и самое скудное состояние; сверх того, я совершенно расстроен

в здоровье, которое с каждым днем еще более разрушается от теперешней моей должности, оставляющей мне на сон едва по пяти часов в сутки, не говоря уже о пожарах и других удовольствиях уличной жизни. Живя со всею скромностью, имея за обедом не более четырех блюд и только раз в неделю, когда собирается у меня несколько приятелей, пять, я за всем тем, кормя всякий день полдюжины адъютантов и чиновников, содержа, по необходимости же, при беспрестанных разъездах, множество лошадей, в прошлом году издержал 98 000 руб. (ассигнациями), а у меня, казенного и своего, нет и 70 000! К чему же это, наконец, поведет, и неужели я должен пустить детей своих по миру? Положим даже, что государь пополнит мой дефицит и что, после всех его благодеяний, я буду иметь бесстыдство наложить на него эту новую тягость — может ли он дать мне в Петербурге харьковское солнце?

Все это я написал ему совершенно чистосердечно, прибавив, что лучшим убеждением в необходимости моего намерения могут служить те жертвы, с которыми оно сопряжено: несчастие лишиться лицезрения его и наследника, который взрос на моих руках; утрата разных выгод и приятностей, которыми я пользуюсь по теперешнему моему званию, разлука и с Петербургом, и со всеми моими знакомыми; наконец, самый промен важного поста на такой по сравнению незначительный и второстепенный. Государь сказывал мне, что уже прочел мое письмо, но что о содержании его объяснится со мною на досуге. Наследник плачет — это утешительно для моего сердца, — но понимает силу моих мотивов.

Весь этот рассказ Кавелин перемешивал, по обыкновению, разными шуточками, преимущественно на собственный свой счет.

— Хорош я, правда, буду попечитель, едва зная грамоту; но ведь на таком же месте есть уж Крафтштрем (в Дерпте), а теперь назначается Траскин (в Киеве); да они же еще и не

знают по-английски, а я третьего дня, на прощальном обеде американскому посланнику Тотту, сказал речь на английском языке; и послушали бы вы какую: то-то была умора и дичь! К тому же, если кто станет называть меня невеждою, у меня всегда наготове ответ: я доктор университета — и какого еще, не шутите, Оксфордского!

В заключение Кавелин сказал, что он просил государя, в случае соизволения на его желание, отсрочить его перевод месяца на два, чтобы успеть провести через Государственный Совет проект, в то время чрезвычайно его занимавший, об учреждении страхования от огня в пользу доходов столицы, и шутил о том, сколько это перемещение произведет толков в публике, как будут говорить о впадении его в немилость, как немногие лишь посвященные проведают настоящую причину, как петербургские откупщики, которых он первый гонитель, отслужат благодарственный молебен за его перевод и проч.

Между тем, в том же самом заседании Совета, в котором он так с нами витийствовал, граф Блудов сильно затронул будущего попечителя. Была речь о новой оценке недвижимых имуществ в Петербурге для сбора в пользу городских доходов. Блудов, оспаривая предположения о сем местного начальства, выражался, однако, так, что его слова представляли некоторое двусмыслие.

— Позвольте спросить, — прервал его вдруг иронически Кавелин, — говорите ли вы в пользу города, или в пользу домохозяев?

— Не в пользу города, не в пользу домохозяев, — отвечал Блудов, — а в пользу одного невидимого, но, надеюсь, всегда здесь присутствующего существа, которое называется здравым смыслом!

Кавелин не нашелся ничего возразить; уже только после, сев опять на свое место возле меня, он сказал:

— Мне следовало бы отвечать, что это невидимое существо не всегда или, по крайней мере, не во всех здесь присутствует, чему лучшее доказательство — сам я!

Мне, искренно и издавна любившему доброго и благородного Кавелина, а вместе со мною и некоторым другим, часто приходило на мысль: не имеют ли все эти странные разговоры корня поглубже, т. е. не суть ли они плод болезненного раздражения мозговых нервов, последствия должности, превосходящей его силы.

Вскоре сомнения наши превратились, к сожалению, в полную уверенность. Расстройство умственных способностей Кавелина стало в особенности проявляться чрезвычайною, необузданною раздражительностью, которая от слов перешла опять и в действия, не только к невыносимому положению его подчиненных, но и к общей, при огромной власти военного генерал-губернатора, для всех опасности. Он весь исхудал, глаза его выкатились и налились кровью, и один уже взгляд их достаточно обнаруживал помрачение рассудка.

Наконец наследник цесаревич, часто его посещавший, в первых днях апреля 1846 года передал ему, разумеется, в самых нежных выражениях, что государь, во внимание к его нездоровью, отдает совершенно на его волю сложить временно свою должность и ехать отдохнуть куда угодно, например, в Гатчину, где он и прежде живал. Кавелин с удивлением отозвался, что никогда не чувствовал себя так хорошо, как теперь. В Страстной четверг, 4 апреля, он и Василий Перовский в качестве прежних адъютантов великого князя Николая Павловича причащались, как и всегда дотоле бывало, вместе с государем в Аничковом[234] дворце. После причастия Кавелин произнес следующую речь:

[234] Император Александр II исправил: «в Зимнем».

— Государь, теперь, к сожалению, с вами нет ни императрицы, ни великой княжны Ольги Николаевны[235]; но у вас есть заступающие их должности: я с Перовским.

При таких поступках и речах нежная внимательность к лицу должна была уступить место общественному благу, и государю не оставалось иного, как сделать самому то, чего бедный больной не хотел исполнить доброю волею.

В ночь на Светлое Воскресенье, 7 апреля 1846 года, Кавелин согласно просьбе (она была только в приказе), вследствие расстроенного здоровья, был уволен от должности С.-Петербургского военного генерал-губернатора, с сохранением звания генерал-адъютанта и с оставлением членом Государственного Совета и сенатором. Его заместил генерал-адъютант Храповицкий. Несмотря на то, Кавелин в эту самую ночь явился во дворец, как бы ни в чем не бывало, только уже после нашего христосования с государем, отслушав службу в своей домовой церкви. Одним из первых, попавшихся ему на глаза во дворце, был его преемник. Кавелин бросился на него и так стиснул в своих объятиях, что едва не задушил.

— Ну, братец, — закричал он, — поздравляю и душевно рад, что на это место попал ты, а не кто другой; только должен сказать, что тебе на нем не прожить и четырех месяцев[236]. Впрочем, ты видишь, что я еще не умер, и даю тебе слово, что хотя уж не генерал-губернатор, однако, покамест жив, не перестану защищать и отстаивать моего проекта о страховании в пользу столицы.

После, став между дамами, он вдруг начал изъявлять им свое опасение потерять свои панталоны, потому что он забыл

---

[235] Они были в Палерме.

[236] Предсказание это сбылось, если не вполне, то довольно близко. Храповицкого еще в том же апреле, на учении войск, в присутствии государя на Царицыном лугу разбил паралич, и хотя в этот раз его еще спасли, однако он умер 30 марта 1847 года.

надеть подтяжки. В то же утро он появился и на развод, а перед тем давал прощальный завтрак чинам полиции своей канцелярии, на котором неумолчно говорил, все повторяя, что Храповицкому не прожить на новом месте и четырех месяцев.

Увольнение от должности военного генерал-губернатора было смягчено для Кавелина пожалованием ему Владимирской ленты. Продолжая ездить в Совет и сидеть там возле меня, он, посреди неистощимой болтовни, рассказывал мне, что никогда не думал проситься в отставку, и что в первую минуту, получив вместе с новою лентою приказ об увольнении, он не мог вразумиться, с чего бы это взялось.

— Только уж после обедни в Светлое Воскресение, — прибавил он, — когда я вошел разговляться с царскою фамилиею, государь сказал мне: «Я нашелся принужденным уволить тебя, чтоб не уморить: видишь, как ты исхудал, какой у тебя цвет, какие глаза! Понимаю, что с твоим здоровьем не понести этой тяжелой должности, и не мог же я взять на свою совесть сделаться убийцею того, кто воспитал моего сына».

Впрочем, Кавелин при увольнении восстановлен был, так сказать, в первобытное положение, т. е. ему дали опять казенную квартиру и экипаж, которые он имел до назначения его военным генерал-губернатором, а на наступившее лето отвели в полное распоряжение стрелинский дворец со всеми принадлежностями.

— Милости просим ко мне туда, — повторял он мне несколько раз, — вас будут ожидать там: радушный прием, линейка, чтобы ехать в Сергиевскую пустыню, ерши, трубка, сигары и халат.

С этого времена моральное здоровье Кавелина стало быстро упадать. Он прибил свою несчастную жену; открыл все окна в комнате, где лежали в кори его дети, и стал опрыскивать их холодною водою; просидел девять часов сряду в торговой бане, откуда могли вызвать его только известием, что к

нему приехал наследник; бросился с ножом на учителя своих детей, потому что будто бы последние мало оказывают успехов; словом, наделал и продолжал делать столько безрассудств, что, по воле государя, нашлись в необходимости приставить к нему жандармского офицера и четырех переодетых жандармов, везде за ним следовавших и наблюдавших. Вскоре, однако, убедились, что сверх этих мер предосторожности нужно и настоящее, очень серьезное лечение, и его, вместо Стрельны, отправили в мае в славившееся в то время заведение для умалишенных в Киле. На эту поездку, при которой больного сопровождали особый врач и жандармский полковник Миркович, государь с истинно царскою щедростью пожаловал 4 тысячи червонных.

Пробыв за границею более года, Кавелин возвратился к нам в июле 1847 года. Умственные его силы, казалось, вполне восстановились, глаза вошли в свою орбиту, огонь взглядов и речей потух, и он сделался как все люди. В это лето и он и я жили в Царском Селе, так что мы часто видались и вне Совета, куда он снова стал ездить, но где, по случаю новых между тем назначений членов, сидел уже не рядом со мною, а напротив меня. О прошедшем своем положении он, очевидно, знал, но касался его лишь полусловами.

— Я восемь месяцев не спал, — говорил он мне при первом нашем свидании, — и естественно, что такая бессонница должна была отозваться на все другое; теперь, когда я опять стал спать, и все другое прошло.

Так продолжалось до конца 1848 года, когда в бедном нашем товарище снова стали проявляться сомнительные признаки. Впервые мы это заметили на бале у наследника цесаревича в Царском Селе 9 ноября, где Кавелин болтал без умолка и не всегда рассудительно, предавался необыкновенным порывам живости и опять ужасно кривлялся, как бывало во время полного его сумасшествия; во время же ужина, сидя между статс-дамами за царским столом, он рассыпался

в разных нелепостях и даже неблагопристойностях. Все это длилось еще, однако, кое-как, года с полтора, хотя многое сходило только по тому уважению, что Кавелина, с последней его болезни, как бы условились считать «уморительным чудаком».

11 июня 1850 года праздновалось с особым торжеством пятидесятилетие назначения государя шефом лейб-гвардии Измайловского полка[237]. Быв некогда в том же полку ротным командиром, Кавелин также участвовал в этом торжестве и в следующий четверг, во время последнего заседания Государственного Совета пред вакантным временем, ему вдруг пришло на мысль описать все происходившее празднество для газетной статьи. Он тут же схватил перо и целое заседание пачкал своими иероглифами (у него был ужаснейший почерк) лежавший перед ним лист бумаги, беспрестанно обращаясь через стол ко мне за советами для редакции.

— Знаете ли что, — заключил он наконец, — вы хорошо пишете, а мне это ремесло не далось, и я в жизни ничего не печатал: я набросаю свои мысли, а в понедельник приеду с гвардейских маневров к вам в Царское Село, чтобы вы все это поочистили.

Привыкнув к проказам моего приятеля, я уверен был, что эта выдумка его точно так же скоро испарится, как и явилась; но случилось иначе.

В понедельник меня будят в 8-м часу.

— Что такое?

— Приехал Кавелин и сейчас вас требует.

---

[237] Государь назначен был в это звание собственно 28-го мая, но как в 1800 году сие число пришлось в Троицын день — Измайловский полковой праздник — то и торжество юбилея отложено было до этого же праздника, павшего в 1850 году на 11-е июня (император Александр II написал: «не от того, а потому что 28-го мая 1850 г. государь был еще в Варшаве).

Воспользовавшись несколькими часами роздыха между маневров, он прискакал ко мне с своею пьесою, прямо из Красного Села.

— Ну, давайте читать, — сказал я.

— Чего читать (между тем он пожирал несколько чашек кофе с ужасною массою кренделей, запивая все это еще сахарною водою со льдом), чего читать, я и сам ничего не разберу в моих иероглифах; прежде всего надо введение.

— Где оно?

— Да его еще нет.

— Ну, так давайте писать, — и, взяв карандаш, я набросал ему несколько вступительных слов.

Точно так же распорядились мы потом и с текстом. В его подготовке оказалось всего лишь несколько отрывочных, безобразных фраз. По мере как он читал их, едва разбирая, я давал содержанию их форму и связь и клал нашу импровизацию на бумагу. Таким образом, вся статья, от первого слова до последнего, была написана моею рукою, хотя, разумеется, и из этой редакции, среди беспрестанных шуток и прибауток, вышло немного дельного, еще менее изящного.

— Я, — говорил мой чудак, — лучше сохраню инкогнито и не подпишусь под моею статьею, а вам — полное мое спасибо за пересмотр; да чего спасибо: вот лучше гривенник на счастье в картах.

И это награждение повторялось в том же размере три раза, так что я наконец стал уже гнать моего гостя, говоря, что иначе он оставит у меня все свое состояние. Работа наша продолжалась с лишком два часа и, когда она была кончена, Кавелин спокойно уложил мои листы в свой портфель и поскакал опять в Красное Село.

— Не правда ли, — говорил он, садясь в карету, — что государь должен остаться очень доволен этою статьею, и что мне будет большое спасибо, если он проведает, что она моя.

— Разумеется, — отвечал я, — и надо признаться, что это спасибо будет вполне заслуженное.

По докладу военного министра, которому Кавелин представил статью, она была одобрена государем и появилась в 140 номере (28 июня) «Русского Инвалида» за подписью «Старый Измайловец». Разумеется, что мое тут участие осталось совершенно безгласным, но Кавелин, получив за свою статью изъявление благодарности от государя и комплименты в публике, совсем увлекся этим первым успехом на литературном поприще. Пустясь напропалую сочинять даже стихами, он в особенности занялся составлением новой газетной статьи о происходившем в то время торжестве по случаю перемены знамен Преображенскому и Семеновскому полкам и лирического воззвания к государю об освобождении из рук неверных Святых мест.

Эти попытки малоопытного писателя приводили его беспрестанно ко мне, как пользовавшемуся, после первой удачи, уже неограниченным его доверием.

Но от литературы письменной его беседы переходили иногда и в литературу пластическую. Так, однажды отобедав у нас, т. е. просидев с нами за столом, не прикоснувшись ни к одному блюду за беспрестанными рассказами, он вдруг схватил шаль моей жены и, драпировав ее около своей головы, стал произносить наизусть целые тирады из Расиновых трагедий, в подражание знаменитой актрисе Сен-Жорж…

Все это носило на себе опять несомненный характер прежнего его положения; но и тут, среди безостановочного потока самых разнообразных мыслей и слов, случались у него минуты истинно умилительные и высокие, именно когда речь касалась наследника престола. При беспредельном обожании к бывшему своему воспитаннику Кавелин, во всех рассказах и воспоминаниях о нем, становился неистощимым повествователем, истинным поэтом, вдохновенным любовником, от слов которого нельзя было оторваться. Во всем про-

чем печальное состояние его рассудка выказывалось не только среди такого маленького общества, как в моей семье, но и везде, во всех многолюднейших собраниях, наиболее жестокою, неумолимою болтовнею, так что даже во дворце, на вечерах у императрицы, все шептали: «Но взгляните на этого бедного Кавелина, он опять сумасшедший!»

Между тем он все продолжал не только выезжать, но, когда кончилось вакантное время, и бывать каждый раз в Совете. 25 сентября докладывался в нем проект нового тарифа: но нам, соседям Кавелина, вместо тарифа приходилось слушать все одни его россказни, не чуждые, впрочем, даже в этом его положении, жизни и мысли, но совершенно эксцентрические, и где он, по обыкновению, щадил всех менее — самого себя. Главным его слушателем и невольным поверенным и в Совете являлся опять-таки я. Чего уж не было тут наговорено, мало того, чего не было и написано! Если он умолкал на минуту, то тотчас же принимался писать на лоскутках бумаги, и что же писать? Без всякого повода и побуждения — биографические и характеристические заметки о своем лице, которые он потом, без просьбы моей, передавал мне «для сохранения в потомстве».

К несчастию, в этот раз ему уже не суждено было выздороветь! В первых днях октября бедного отвезли, почти силою, в Гатчину, где приставили к нему частного пристава Цылова, человека издавна ему преданного, и одного из врачей дома умалишенных, доктора Вертера. Здесь, проводя целые дни в неумолчном говоре, без сна и пищи, он при малейшем возражении, даже если просто перебивали его речь, впадал в бешенство, бил стекла и рвал на себе платье. Из семейства никто не был к нему допускаем, потому что вид кого-либо из своих только еще более его раздражал.

Наконец Бог умилосердился над страдальцем. Беспрестанное ненормальное напряжение духа разрушило его организм. Утихнув только накануне смерти, он скончался

4 ноября 1850 года, на 58 году от роду. 7-го был совершен над телом погребальный обряд в Троицкой церкви Измайловского полка, и потом его отвезли в Сергиевскую пустыню. При печальной церемонии присутствовали государь и великие князья, кроме наследника цесаревича, которому судьба не позволила отдать последний долг бывшему наставнику; его высочество совершал в то время, как уже сказано было выше, многознаменательное путешествие свое по Кавказскому краю.

Мир праху твоему, благородный и добрый человек, верный слуга царский, положивший на службу монарху лучшее достояние человеческой природы — разумные свои силы!

* * *

Известно, что день восшествия на престол императора Николая, с первого года его царствования, установлено было праздновать 20 ноября, хотя Александр Благословенный скончался 19 числа; но это празднование существовало лишь в календаре и, ограничиваясь свободою присутственных мест от заседаний и учебных заведений от классов, никогда не сопровождалось ничем особенным при дворе, так что государь не выходил даже и к обедне. И в 1850 году, когда наступило двадцатипятилетие славного царствования, он заранее всем объявил, что не намерен ничем отличить этого дня от других.

— С одной стороны, — говорил он, — какой тут для меня праздник? 20 ноября 1825 я был просто бригадным командиром[238], и самое восшествие мое на престол могу считать только с 14 декабря. С другой стороны, 20-е число сопряжено для меня с столькими грустными воспоминаниями, по предшествовавшей ему кончине моего благодетеля, что я очень далек от того, чтобы считать его каким-нибудь торже-

[238] Император Александр II отметил: «дивизионным начальником».

ством, и не более вижу причины праздновать за 25 лет, чем за 15 или за 10.

Вследствие того 20 ноября 1850 года не последовало никаких приглашений в Царское Село, где находился еще в то время двор и, по убеждению наследника цесаревича, государь позволил отличить этот юбилей лишь молитвою. В 1 часу был в Царскосельской дворцовой церкви благодарственный молебен с коленопреклонением, но в присутствии только цесаревича[239], его супруги, детей и братьев, государь же и императрица находились при молебне, так сказать, инкогнито, на хорах. В Петербурге сбирались сделать по крайней мере иллюминацию, отличавшуюся от обыкновенных, и везде уже были настроены леса, как 18 числа вдруг пришло повеление их разобрать и все приготовления уничтожить, ограничив иллюминацию, как всегда бывает в царские дни, одними плошками.

Наконец, даже освящение постоянного Николаевского моста, вполне оконченного к двадцатипятилетию царствования, государь не захотел совершить в роковое 20-е число. Оно происходило только на другой день, 21-го, и притом с неожиданною простотою. Освятительный молебен совершал в 10 часов утра священник института корпуса сообщений, при одних чинах этого ведомства; государь же, присутствовав при церковном параде на полковом празднике лейб-гвардии Семеновского полка, приехал к мосту уже в половине 2-го, только с цесаревичем и его братьями, с князем Чернышевым, без другой свиты, так как никому не было послано оповещения. У моста ожидали его граф Клейнмихель со всеми офицерами своего корпуса и граф Вронченко с членами биржевого и городского управлений: кроме того, на улицах, в окнах и даже на крышах кипело бесчисленное множество народа. Как скоро государь вышел из коляски, чтобы пройти по

[239] Император Александр II добавил: «и императрицы».

мосту, вся эта толпа хлынула за ним, и он совершил свой первый переход в торжественном сопровождении половины петербургского населения, занявшей плотно всю ширину моста.

Когда он стал приближаться к противоположному берегу, его встретило громкое «ура!» поставленных там рабочих, которое, будучи подхвачено толпою, не умолкало потом на всем возвратном шествии. На половине его государь поздравил строителя Кербедза, шесть лет перед тем еще капитана, генералом и кавалером ордена св. Владимира 3-й степени, сел с цесаревичем в коляску и, проехав остальную половину моста шагом, немедленно затем удалился. Этим все и кончилось.

Едва государь уехал, как на мосту началось настоящее гулянье пешеходов и в экипажах, двигавшихся шагом, в два ряда. Тут показались и великие княгини Мария Николаевна и Александра Иосифовна. Бывшие перед тем оттепели совершенно согнали снег, и мост, так же как и принадлежащие к нему части площади и улиц, были усыпаны песком, как бы среди лета; но только что открыли проезд по мосту для публики, пошел снег, и к вечеру все приняло совершенно зимний вид. До того и во всю церемонию день стоял самый мрачный, такой, какие редки даже в петербургской осени.

После был обед в Царскосельском дворце, но единственно для офицеров Семеновского полка[240], по случаю их полкового праздника.

14 декабря, тот день, который император Николай считал днем настоящего восшествия своего на престол, в 1850 году имел особенное значение: 25 лет перед тем энергия и присутствие духа молодого царя спасли Россию; но при тогдашних мрачных предзнаменованиях и при общем почти предубеждении против личности великого князя Николая Павловича,

---

[240] Император Александр II добавил: «и для строителей моста».

многим ли в то время дано было предугадать будущее, это будущее, которое мы теперь называем уже прошедшим и которое так славно и величественно разрешило все сомнения и вопросы этой эпохи! Двадцать пять лет рыцарской доблести, высшего государственного и добросовестнейшего самоотвержения — какая славная сокровищница воспоминаний!

Скромный летописец дня 14-го декабря не удостоился чести находиться при праздновании его двадцатипятилетия в чертогах царских; но вот слышанное мною тогда же от очевидцев.

В 11 часов собраны были в малую дворцовую церковь, по обыкновению, все сподвижники 14 декабря 1825 года[241], сколько их оставалось еще налицо, к благодарственному молебствию и к «вечной памяти» рабу Божию графу Михаилу и всем другим, падшим в этот день за царя и отечество, но, сверх всегдашних гостей, приглашены были на этот раз и офицеры гвардейских полков: Преображенского, Семеновского и Лейб-Гренадерского, которых император Николай считал себя с этого числа 25-летним шефом. После молебствия и обычного целования государь вышел в Арабскую залу, где стояли офицеры сказанных полков, и, поблагодарив сперва всех вообще за верную службу, обратился потом с отдельным словом к преображенцам.

— А вас, преображенцы, — сказал он[242], — благодарю в особенности. Вы знаете, каким странным случаем мы более сблизились[243], а потому мы составляем общую семью, и моя семья принадлежит вам, так как вы принадлежите мне. Вот вам три поколения, — он в это время держал за руку

---

[241] Император Александр II добавил: «так как это повторялось каждый год».

[242] В таком виде речь государева записана была, вслед за ее произнесением, общим трудом офицеров.

[243] Намек на 14 декабря 1925 года, когда Преображенский полк первым явился к государю на площадь.

цесаревича и старшего его сына, — теперь вы знаете, кому служить. Служите же им так, как вы служили мне, и ваши дети, надеюсь, будут служить моим так, как вы служили мне.

Слова эти были произнесены тоном резким, отрывочным, в котором слышались слезы. Кругом все рыдало…

После этой умилительной церемонии был на Адмиралтейской площади большой парад всему гвардейскому корпусу. Здесь, проходя мимо 1-го батальона Преображенского полка и заметив, что полковник заботливо приводит людей в порядок, государь сказал ему громко, в общее услышание:

— Оставь, никому не уступлю чести командовать 1-м батальоном Преображенского полка.

К сожалению, двумя полками на этом параде — Кавалергардским и Конногвардейским — он остался чрезвычайно недоволен и тут же изъявил их начальникам свое неудовольствие, приказав сделать им на другой день повторение на Семеновском плацу.

На этот же другой день, т. е. 15-го, был парадный обед в большой аванзале Зимнего дворца, опять для всех принимавших участие в потушении бунта 14 декабря, для военной свиты государевой и для офицеров трех упомянутых полков, в том числе и вышедших в отставку или переменивших род службы. За обедом, на котором присутствовали и все царственные дамы, государь, при громе военной музыки, произнес тост: «За здоровье моих сослуживцев», а после стола разговаривал милостиво со всеми служившими в 1825 году ротными командирами в Преображенском полку, в настоящую эпоху, разумеется, уже генералами.

14-е декабря 1850 года ознаменовалось еще небывалой дотоле у нас наградою. Иподиакон Прохор Иванов, о подвигах которого я говорил в моем описании этого дня в 1825 году, был украшен — первый в дьяконском сане от существования нашей церкви — орденом св. Анны 3-й степени. Императору Николаю и в этом случае не изменила память сердца!

XXII
1851 год

Занятия барона Корфа с герцогом Мекленбург-Стрелицким — Парадный выход на Иордан — Военный министр князь Долгорукий — Разговор с маской — Дело в Государственном Совете об отдаче всех дорог в ведомство путей сообщения — Передача в Публичную библиотеку из Эрмитажной всех латинских книг — Варшавские балетные танцовщицы в Петербурге

В день Новогодия большого выхода не было, и только приближенные собрались к обедне в малую церковь. После Божественной службы государь, по обыкновению, обходил высших сановников и, увидев меня, пожал мне руку и спросил шутя:

— Ну что, много ли у тебя прибывает книг?

Потом, пройдя несколько шагов далее, он вдруг воротился опять назад и со словами: «Кстати, мне надо тебе кое-что сказать», — взял меня под руку и увел в столовую, возле ротонды.

— Жених Екатерины Михайловны[244], — сказал он, когда за нами затворились двери, — как я по всему вижу, прекрасный и образованный молодой человек, желающий и обещающий быть полезным новому своему отечеству. Для этого ему недостает, однако же, двух существенных вещей: знания нашего языка и знания России. Первое будет делом времени и уроков, которые он намерен брать; в последнем я полагаю надежду на тебя. Чтобы ознакомиться с Россиею, ему необходимо начать прежде всего с государственного ее быта и устройства. Я говорил об этом с графом Дмитрием Николаевичем (Блудовым); но сомневаюсь, чтобы он мог мне указать

[244] Герцог Мекленбург-Стрелицкий Георг, незадолго перед тем приехавший в Петербург и помолвленный с единственною из переживших дочерей покойного великого князя Михаила Павловича.

способного человека: тут нужен не один просто ученый, тем менее педант, который набьет с первого раза оскомину, а больше всего государственный человек, который обнимает вещи свыше и знает не только прошедшее, но и намерения правительства. Могу ли надеяться, что ты окажешь мне эту дружбу? Прошу тебя о том в одолжение себе и Елене Павловне и в память покойного брата, который так тебя любил… Пожалуйста же, устрой это дело.

Я отвечал, что почту за счастье, сколько умею и проч., но что тут есть одно затруднение, именно необходимость объясняться с герцогом не на родном языке.

— Помилуй, — возразил государь, — да ты говоришь по-французски и по-немецки так же свободно, как и по-русски!

— Так, ваше величество, но об этих высших государственных предметах и вопросах мы привыкли думать, а следственно, и говорить, преимущественно на своем языке.

— Не принимаю этой отговорки, да не хочу и видеть в твоих словах непривычной от тебя отговорки. Кто-то там из ваших поэтов сказал: Ce que l'on concoit bien s'enonce clairement[245] (Ясная мысль всегда найдет ясное выражение). А ты мне никогда ни в чем не отказывал, и память брата, верно, вдохновит тебя. Повторяю, ты это сделаешь и для меня и для него.

Мне оставалось только припасть к его руке.

Никто не обладал более императора Николая обаятельным искусством просить, тогда как всякое его слово уже и без того — и по долгу, и по чувству — принималось нами за священное приказание.

Дальнейший ход этого дела относился уже только лично до меня — почему ему и не место в настоящих листах.

---

[245] Государь договорил и следующий стих этого известного изречения Буало.

* * *

В 1851 году государю удалось наконец исполнить давнишнее свое желание: именно совершить в праздник Богоявления тот парадный выход на Иордан, которого Петербург, за постоянно препятствовавшею ему погодою или другими обстоятельствами, не видал с 1819 года. В этот раз, при двух всего градусах холода и довольно тихой погоде, дело сошло прекрасно. Первоначальная мысль была разместить все войска на самой реке; но оказалось, что пехотный полк весит до 13 000, а кавалерийский до 45 000 пудов и, при тогдашней теплой зиме, не решились доверить тонкому льду такую ношу.

Вследствие того войска были расставлены густыми колоннами вокруг дворца, по набережной и площадям, а процессия двинулась через весь большой дворцовый двор к главным воротам и оттуда, обогнув дворец направо, по дорожке, усыпанной сверх снега песком, к Иордану, устроенному на всегдашнем его месте.

За многочисленным духовенством шли рука об руку цесаревна и великая княгиня Мария Николаевна, а вслед за ними, попарно, придворные дамы и фрейлины, всего, однако, не более восьми пар, потому что прочие, побоявшись простуды, или остались в залах, или совсем не приехали во дворец.

Государь, цесаревич и проч. ехали возле процессии верхом и во всю церемонию водоосвящения оставались на лошадях. Устраивая перед тем войска, они вообще в этот день совсем не входили в церковь, где за литургиею присутствовали только обе великие княгини, участвовавшие потом в крестном ходе, и герцог Лейхтенбергский. При опущении креста в воду загремели пушки как с крепости, так и со стрелки у биржи, где стояла артиллерия. Все заключилось церемониальным маршем мимо государя, ставшего у наследничьего подъезда.

* * *

Князь Чернышев, при увеличивавшейся его болезненности, а от нее и дряхлости, не мог более переносить совокупно лежавшего на нем бремени должностей председателя Государственного Совета и Комитета министров и военного министра.

По ходатайству его решено было с начала 1851 года всю хозяйственную часть военного министерства отделить в самостоятельное управление его товарища, князя Долгорукова, с тем чтобы последний лишь в некоторых, особенно важных случаях, испрашивал разрешение министра, делая, впрочем, все свои доклады государю не иначе, как в его присутствии. Это был в короткое время уже второй случай, что при живом и действующем министре заведование текущими делами или, по крайней мере, частью их, передавалось товарищу, а при личных докладах последнего министр присутствовал почти лишь как совещательный слушатель. Подобное же распоряжение испросил незадолго перед тем государственный канцлер граф Нессельрод для министерства иностранных дел. И надобно заметить, что в обоих случаях это было последствием не какой-либо немилости к лицу министров, а, напротив, избытка милости, в уважение к их заслугам и преклонным летам.

* * *

Император Николай и в зиму 1851 года все еще продолжал любить и часто посещать публичные маскарады, особенно в Дворянском собрании, где они отличались большею живостью и многолюдством, нежели в Большом театре. На одном из таких маскарадов к нему подошла какая-то женская маска с восклицанием:

— Я тебя знаю.

— И я тебя.
— Не может быть.
— Точно знаю.
— Кто же я такая?
— Дура, — и отвернулся.

Ответ очень меткий на важное открытие, что маска знает государя, произнесенное еще по-русски, следственно, по всей вероятности, какою-нибудь горничною или прачкою.

* * *

Дороги во всем государстве, кроме шоссейных, всегда ведались, через посредство губернаторов, в министерстве внутренних дел, и главное управление путей сообщения и публичных зданий, ведая единственно дорогами искусственными, т. е. шоссе, не имело никакого прикосновения к прочим.

Вдруг в 1849 году по непосредственному, без всякого сношения с министерством внутренних дел, докладу графа Клейнмихеля, государь повелел устройство и заведование всей вообще дорожной части в империи сосредоточить исключительно в главном управлении путей сообщения, утвердив на сей конец и поднесенное графом особое положение, но с тем, чтобы оно имело действие в виде опыта три года, а по истечении их было представлено на окончательное рассмотрение, в установленном порядке.

Лишь только положение сие огласилось, министр внутренних дел, граф Перовский, вооружился против него с крайним ожесточением и в неоднократных записках государю старался оспорить как самое основание меры, так и все подробности нового положения, домогаясь его отмены и восстановления вполне прежнего порядка. Эти возражения и опровержения против них графа Клейнмихеля беспрестанно возобновлялись более года, так что государь приказал

наконец рассмотреть все дело в Государственном Совете, который, со своей стороны, передал его на предварительное соображение во II отделение Собственной его величества канцелярии.

Здесь граф Блудов взял сторону графа Клейнмихеля, а соединенные департаменты законов и экономии, куда заключение Блудова поступило в последних месяцах 1850 года, ограничились лишь рассмотрением вопроса о том, представляются ли довольно настоятельные причины к отмене высочайше утвержденного Положения 1849 года прежде истечения трехлетнего срока, назначенного для испытания его на опыте, и, разрешив этот вопрос отрицательно, разбор возражений графа Перовского против сущности и подробности сего Положения заключили отложить до минования упомянутого срока, т. е. до того времени, когда оно будет представлено на окончательное рассмотрение.

Журнал о сем, возросший, от многих и продолжительных споров обоих министров, до огромной книги, листов во сто, но в котором собственное заключение департаментов занимало всего несколько лишь страничек, они передали сперва, по формам Совета, Перовскому, от которого он воротился с коротеньким отзывом, что министр сей остается при прежнем своем мнении.

В таком виде дело было заявлено к слушанию в общем собрании Совета и выложено в его зале открытым для предварительного прочтения всеми членами. Но, как бы нарочно, целые два месяца от этого времени заболевали поочередно то Клейнмихель, то Перовский, и два чрезвычайные заседания, назначавшиеся для разбора их борьбы, были одно за другим отменены, а между тем все более и более разгорались страсти. Ни тот, ни другой из противников не пользовались особенным расположением публики, но и у того, и у другого были, однако ж, свои приверженцы, и эти приверженцы,

враги и друзья, обратили их дело некоторым образом в общее дело целого города.

Вся публика проведала и о предмете спора, и о подробностях его обстановки, и о заключении соединенных департаментов, и все в обществе, разделясь на два стана, с нетерпеливым любопытством ждали минуты, когда оба соперника выйдут на бой лицом к лицу, и чем он окончится. Наконец в январе 1851 года тяжущиеся выздоровели; ничто более не мешало приступить к развязке драмы, и давно ожидаемое дело было назначено к слушанию на понедельник, 15-го числа.

Накануне наш председатель, князь Чернышев, при частном со мною разговоре, на вечере у себя, отозвался, что совершенно разделяет взгляд соединенных департаментов (я тоже в них присутствовал), придавая даже действиям Перовского как бы значение оппозиции против монаршей воли. Это, кажется, было некоторым отголоском свыше. По крайней мере, министр государственных имуществ, граф Киселев, имевший свой доклад всегда по понедельникам, перед Советом, рассказывал мне после, что в этот день государь отпустил его со словами:

— Ну что, теперь вы идете меня судить? Надеюсь, однако ж, что мне не запретят приказывать.

Сначала заседание было чрезвычайно скучно: ибо, несмотря на то, что все члены предварительно уже прочли журнал соединенных департаментов, князь Чернышев признал нужным соблюсти формальность и велел снова читать его в общее услышание, что заняло более трех часов.

Зато, когда чтение окончилось и граф Перовский выступил вперед, общее внимание напряглось в высшей степени, и половина членов обступила оратора, чтобы не потерять ни слова из его речи. Для людей опытных с первого ее слова заметно было, что она выучена наизусть по написанному, а такая речь никогда не может произвести того эффекта, как

импровизация. Обладав, однако, чудесною памятью, Перовский говорил безостановочно, я думаю, с полчаса и вместо вопроса: есть ли настоятельная причина тотчас отменить действие Положения 1849 года, вошел в подробное рассмотрение частных его недостатков.

Ответ графа Клейнмихеля, произнесенный в большом раздражении и отрывочными фразами, отнюдь не имел силы, соответственной нападению его противника. Он ограничивался наиболее старанием доказать, что новое Положение изменило лишь ведомство управления, но нисколько самые его правила, и ссылался на единодушные похвалы и благодарность, поступающие от всех губернаторов за это Положение.

На первое Перовский возразил развитием обстоятельств, из которых, по его мнению, оказывалось, что Положение 1849 года не только изменило существовавшие дотоле правила, но даже потрясло права губернаторов и самого дворянства, «чего, — продолжал он, — конечно, не могло быть в виду государя императора при утверждении Положения по одностороннему докладу главноуправляющего, так как мы видим теперь, что и сам докладывавший того не знал»…

На второе Перовский отозвался, что если главноуправляющим получаются похвалы за Положение 1849 года, то, напротив, до него, Перовского, доходят со всех сторон единодушные жалобы, доказывающие, что дело не может так продолжаться. За исключением обоих соперников, из числа всех прочих членов сказал несколько слов в защиту Клейнмихеля только граф Блудов, и, хотя они произнесены были без свойственной ему обыкновенно энергии, однако дело, в пределах вопроса, постановленного соединенными департаментами и снова повторенного князем Чернышевым, видимо склонялось в пользу Клейнмихеля, как вдруг встал наследник цесаревич.

— Позвольте и мне, — произнес он среди общего безмолвия, — сказать несколько слов по этому предмету. Что каса-

ется собственно до настоящего дела, то хотя многие замечания министра внутренних дел кажутся мне основательными, однако всякое суждение об них теперь я считаю преждевременным, так как Положение уже утверждено государем императором в виде опыта на три года, следственно, возможность и обязанность постановить наше заключение настанет только по истечении этих трех лет. Но, чтобы не быть нам поставленными в такое же неприятное положение когда-нибудь и впредь, я считаю совершенно необходимым и справедливым ходатайствовать у государя именем Государственного Совета о подтверждении всем министрам и главноуправляющим (последнее слово было произнесено с особенным ударением), чтобы на будущее время, по делам, прикосновенным к другому ведомству, никто из них не мог входить с докладами или испрашивать высочайших повелений, даже и временно, или в виде опыта, иначе, как по сношению и соглашению с теми, до кого предмет касается. Вот мое искреннее мнение, от которого я не могу отступить и которое прошу Государственный Совет повергнуть на высочайшее воззрение.

Нельзя вообразить себе электрического действия, которое эта речь, произнесенная с таким же достоинством и величием, как и спокойствием, произвела на всех присутствовавших. Цесаревич выразил то, что было в мысли у многих, но чего никто, кроме именно его, не мог и, может быть, не смел выговорить.

Клейнмихель не нашелся сказать ни слова; между всеми прочими членами пробежал общий шепот одобрения, а Перовский вырос целою головою и стал предлагать, чтобы, по крайней мере, в тех губерниях, на которые еще не распространен новый порядок, его не вводить.

Цесаревич и тут отвечал с большою силою, что как высочайшая воля была и есть произвести повсеместный опыт и уже по последствиям его прийти к окончательному заключению,

то противно было бы сей воле останавливаться таким опытом или делать его не вполне и не везде.

Далее Перовский пытался еще навести сомнение в том, представит ли главноуправляющий путями сообщения к указанному сроку окончательный проект и, в подтверждение сему сомнению, предъявил печатный экземпляр какого-то другого Положения по тому же ведомству, утвержденного в 1843 году, также в виде опыта, на два года, и все еще остающегося в своем действии. Ответ на это Клейнмихеля, в очень резком тоне, был тот, что как уже есть повеление внести проект, то, при привычке его неупустительно исполнять высочайшую волю, сие, конечно, будет сделано и в настоящем случае. Этим спор завершился, и Чернышев провозгласил окончательно, что «Государственный Совет утверждает заключение соединенных департаментов, со сделанною его высочеством прибавкою».

— На чьей же стороне осталась победа? — спрашивали члены, расходясь из заседания.

Конечно, не на стороне Перовского: ибо, хотя противной стороне поставлен на вид неправильный ее образ действия, однако возражения его, Перовского, признаны несвоевременными, и самое Положение, против которого он протестовал, оставлено в своей силе. Но, конечно, и не на стороне Клейнмихеля: ибо, хотя Положение оставлено в своей силе, но не по внутреннему его достоинству, напротив, весьма оспоренному, а только потому, что оно высочайше утверждено, самый же образ исходатайствования, или исхищения этого утверждения признан неправильным, и Клейнмихелю сделано за то от наследника престола хотя косвенное и осторожное, но тем не менее весьма сильное гласное замечание. Наконец, и не на стороне соединенных наших департаментов: ибо, хотя заключение их утверждено, но упомянутое замечание могло быть отнесено, частью, и к ним, как не выставившим замеченного цесаревичем важного нарушения формы.

Словом, дело было такого рода, что каждая сторона, более или менее, могла сказать, по простонародной поговорке: ненароком, да с оброком!

История этого замечательного заседания немедленно доведена была князем Чернышевым, в предварительном докладе, до высочайшего сведения. Государь вполне одобрил все, сказанное цесаревичем, велев только, вместо внесения его речи, соответственно общему порядку, в журнал Совета, облечь сущность ее в форму высочайшего повеления, как бы непосредственно от государя исшедшего, и в этом виде объявить Комитету министров, с такою прибавкою, чтобы впредь в случае представлений, касающихся предметов двух или более ведомств по совокупности, они были подносимы всегда за общим подписанием начальников каждого из них.

Таким образом, след речи наследника цесаревича остается только в настоящих моих листах. Побуждение, руководившее государя в этом изменении порядка, наблюдаемого в Совете при составлении журналов, представлялось, впрочем, очень естественным. Целью его было и в этом случае охранить всю, так сказать, девственность самодержавия, не допустив примера, чтобы Совет присвоил себе, даже и в лице сына и наследника царского, инициативу в предмете, содержавшем в себе косвенное порицание собственного попущения императора.

* * *

В начале года князь Волконский вдруг сообщил мне высочайшее повеление о том, что в Публичную библиотеку переданы будут из Эрмитажной все вообще книги на латинском языке.

— Что это значит? — спросил я у князя при свидании.

— То, что государь терпеть не может латыни с тех еще пор, когда его мучили над нею в молодости и не хочет, чтобы в новом музее (так, на первых порах, называли иногда вновь

отстроенный Эрмитаж) оставалось что-нибудь на этом, ненавистном ему языке.

Спустя несколько дней после того, при бракосочетании великой княжны Екатерины Михайловны с герцогом Мекленбургским (4 февраля), государь, увидев меня, спросил шутя:

— Ну что, не выпрыгивают ли у тебя книги из библиотеки? А я велел, чтоб к тебе впрыгнули все латинские книги из Эрмитажа: терпеть не могу вокруг себя этой тоски!

— А мне, государь, на днях удалось купить для библиотеки ваш детский автограф на латинском языке: склонения и спряжения[246].

— В самом деле? Поздравляю: желаю, чтоб это обратилось тебе в пользу.

Впоследствии, по представлению начальника музея, что ему необходимы те из латинских сочинений, которые по своему содержанию имеют отношение к предметам его коллекций: археологических, нумизматических и проч., упомянутое повеление было отменено, и государь, вместо того, приказал обратить в Публичную библиотеку все книги по части богословия, правоведения, медицины, философии и проч.

* * *

Государю, в продолжение многократных его пребываний в Варшаве, чрезвычайно понравился тот особенный шик, с которым поляки танцуют мазурку, и он захотел поделиться этим удовольствием с петербургскою публикою. Вследствие того из Варшавской балетной труппы выписали сюда четыре пары, и 2 февраля они дебютировали у нас своею национальною мазуркою, вставленною в Моцартову оперу «Le nozze di Figaro». Публика была приведена в такой восторг этим тан-

[246] После умершего сенатского обер-секретаря Фиалковского, собиравшего всякие редкости и старину.

цем, что рукоплескания перешли наконец в исступленные крики. Но всего интереснее тут был сам государь, всегда столь спокойный и неподвижный в своей ложе, он в это представление махал руками для поднятия занавеса, подавал знаки оркестру, бил такт и проч. Словом, во всем видно было великодушное его желание, чтобы вызванные им из Варшавы танцоры встречены были радушным приемом со стороны петербургской публики.

XXIII
1851 год

Опрокинутые сани — Слова Николая I о герцоге Мекленбург-Стрелицком — Статья о Фанни Эльслер — Князь Петр Михайлович Волконский — Баронесса Фредерикс — Удар с князем Чернышевым — Праздники 1 июля — Мост во Владимире — Генерал-майор Поливанов — Театр в Красном Селе — Маневры — Смерть Френа и Поленова — Открытие Московской железной дороги — Внезапное возвращение государя из путешествия — Рассказы о Брест-Литовском шоссе — 50-летний юбилей графа Вронченко — Варшавская железная дорога — Пьеска «Чему быть, тому не миновать» — Приемные дни русской аристократии в Париже — Присяга великого князя Николая Николаевича — Новые правила для посетителей Публичной библиотеки — Занятия, по воле государя, статс-секретаря барона Корфа с великими князьями Николаем и Михаилом Николаевичами — Разговор государя о Публичной библиотеке, о частных коллекциях, о Луи-Наполеоне, лорде Гренвилле, драме Кукольника «Денщик», о женах сосланных по делу 14 декабря

На Масленице, поздно вечером, государь возвращался в санях в Зимний дворец. Посреди Адмиралтейской площади, застроенной балаганами, его кучер неосторожно задел ехавшие мимо извозчичьи сани, которые опрокинулись. Первым движением государя было выскочить из своих и подбежать к лежавшим на боку извозчичьим. «Не ушиблись ли вы?» — спросил он у поднявшихся уже на ноги седока и извозчика. Первый, узнав тотчас спрашивавшего, отвечал, что ему не сделано никакого вреда, а последний жаловался только на то, что у его саней переломили оглобли.

Между тем государь, не полагаясь на повторенные уверения седока, что он нисколько не ушибся, заставил его, почти силою, сесть в свои, царские сани и ехать в них домой, а сам пошел ко дворцу пешком, велев извозчику следовать за собою. Но последний, тоже узнав, из слов седока, с кем столкнулся, вместо исполнения приказания со страху повернул в

другую сторону. На другой день, однако ж, он, по приказанию государя, был отыскан полициею и приведен во дворец, где за свою гривенную оглоблю получил 25 руб. серебром.

Опрокинутый седок был родственник генерал-адъютанта барона Мейендорфа, некто Вольф, молодой человек, только что выпущенный из школы. Но государь, усаживая его в свои сани, не спросил, кто он таков, и обо всем этом случае узнали уже на другой день, из рассказов самого Вольфа своим родным.

* * *

После уже начатия повеленных мне занятий с герцогом Мекленбургским я случайно встретил государя на обычной его пешеходной прогулке. Остановясь со мною, он милостивее, кажется, чем когда-нибудь, пожал мне руку со словами: «Спасибо за новую дружбу». Затем мимоходная наша беседа, хотя и на улице, но при ярко сиявшем полувесеннем солнце (2 марта) продолжалась минут пять, и государь, в продолжение ее, распространился с похвалою о прекрасных дарованиях нового моего ученика и благородном его характере, живом желании быть полезным России и проч.

«Положение его, — сказал он, между прочим, — трудное, ибо согласись, что благородному человеку нелегко отказаться от родины и посвятить себя новому отечеству, устроенному совсем на других началах, но он, кажется, понял уже, что правит Россиею, и теперь весь наш».

При таких разговорах на улицах или в саду[247] государь всегда приказывал собеседнику тотчас накрываться, хотя бы то было и летом.

---

[247] Быв ими удостаиваем весьма часто, я вношу сюда, разумеется, только те, которые могут служить в каком-нибудь отношении к характеристике императора Николая.

* * *

Если в Петербурге танцовщица Фанни Эльслер всегда вызывала живой восторг, то в Москве, где она давала представления в продолжение зимы с 1850 на 1851 год, этот восторг достиг совершенного неистовства, переступившего даже пределы приличия. Так, из-под ее экипажа выпрягали лошадей и возили на себе, причем должностные лица садились на козлы, на запятки и т. п. Петербургская публика знала, что такие неуместные выходки возбудили большое неудовольствие государя, но что, впрочем, выражению их не препятствовали официально.

Вдруг в «Северной Пчеле» (21 марта № 64) появились стихи, порицавшие и осмеивавшие эту восторженность, но в таком тоне и с такой точки зрения, которые мне представились почти столько же неуместными, как и сама та восторженность. В городе говорили, что эти стихи напечатаны по высочайшему повелению; но как высшему нашему Цензурному комитету (2 апреля 1848 года) ничего не было дано о том знать, то я и счел, по обязанности его председателя, противным долгу нашего призвания удержаться от представления государю замечаний о неприличии сих стихов. В Комитете, по предложению моему, состоялся следующий журнал.

«Комитет, по рассмотрении напечатанных в «Северной Пчеле» стихов под заглавием «Отрывок из Московской жизни», нашел, что, содержа в себе, может статься, и справедливое, но весьма, однако же, резкое порицание всего московского населения по случаю преувеличенного чествования Фанни Эльслер, они едва ли могут быть признаны приличными в том отношении, что сравнивают и как бы ставят в параллель преходящие похвалы нескольких восторженных лиц с теми общими, священными чувствами верноподданнической любви и преданности, за которые вся Москва удостаивалась всегда изъявлений монаршего благоволения.

Считая, что включение в напечатанные для публики стихи подобного сравнения не может не быть огорчительно для самой большей части московских жителей, не участвовавших в этих смешных излияниях восторга, и потому неуместно, Комитет долгом признает такое заключение свое повергнуть на высочайшее воззрение».

Слухи городские оказались справедливыми. Журнал наш возвратился со следующею надписью государя, не показывавшею, впрочем, никакого неудовольствия на Комитет: «Напечатано с моего дозволения, как полезный урок за дурачества части московских тунеядцев».

На другой день граф Орлов, по докладу которого разрешено было напечатать стихи, рассказал мне, что государь пенял ему за непредварение нашего Комитета, что они будут напечатаны по его воле.

— За то, — прибавил государь, — Комитет порядком погонял меня!

* * *

Через присоединение Публичной библиотеки к составу министерства императорского двора я имел случай более сблизиться с начальником этого министерства, князем Петром Михайловичем Волконским, которого до тех пор знал более только по его прежним служебным подвигам и по обществу, и весьма мало по деловым сношениям.

Этот примечательный, исторический старец, которого современная публика не очень жаловала за брюзгливость и еще более за скупость, забывая, что он скупится не на свои, а на царские деньги, тотчас приковал к себе все мое внимание, все глубокое уважение.

Несмотря на жестокую болезнь, выдержанную им в 1845 и 1846 годах, и которую все врачи признавали в то время безусловно смертельною, он до такой степени оправился и ожил,

что в 1850 нельзя было заметить следов этой болезни ни в физическом, ни в моральном отношении. Он был бодр телом и духом до невероятности, и чудесную, часто удивлявшую меня память, сохранил до самой своей кончины. Приезжая к нему часов в 10 утра и ранее, я всегда заставал его уже не только одетым, но даже в мундире, и всегда за бумагами. Взгляд его на предметы, изощренный многолетнею опытностью и проходившею через его руки массою важнейших и разнообразнейших дел, был необыкновенно ясен; он понимал и обнимал все с первого слова, почти прежде, нежели это слово было вполне выговорено; между тем давал докладывающему высказаться, внимательно выслушивал, рассуждал, не перебивая и не смешивая предметов, и хотя обыкновенно начинал с отказа, особливо когда дело шло о новой издержке, но потом склонялся на убеждения или победно отвечал на них самыми логическими возражениями; словом, работать с ним было истинным наслаждением.

Враг, и в себе и в других, всякого пустословия, всякого фразерства, жеманства, всего напыщенного, привыкнув при множестве его занятий дорожить временем, он прямо шел к корню, к основе дела, и бумаги его отличались таким лаконизмом, которому, при нашей бюрократической плодовитости, не встречалось примера ни в каком другом ведомстве. Редкая из них переходила на вторую страницу. Но, по тому же самому, ненавидя всякое шарлатанство и все, не относившееся прямо к делу, он требовал такой же сжатости и от других. Лоск и блестки редакции не производили на него никакого действия: чем короче и проще, тем лучше, хотя бы являлся один сухой скелет.

Человек дела и практики, Волконский был далек от всякой идеологии; но, впрочем, в то время, когда я ближе узнал его, и от всякого энтузиазма. Здравого ума, логики, рассудительности — всего этого было в нем пропасть, но жестоко ошибся бы тот, кто стал бы искать или старался бы возбудить

в нем огонь, воодушевление, поэзию мысли: он был холоден, как воплощенный опыт.

При краткости и сжатости форм изложения, распространявшейся у него равно и на бумаги, и на изустную работу, князь успел отправление дел по своему министерству довести до изумительной степени быстроты, хотя почти по каждому из них требовался предварительный доклад государю, и хотя каждую бумагу, была ли она из Государственного Совета или от простого мужика, он непременно сам прочитывал всю, от начала до конца. Едва проходил один день, много два, от представления или вопроса, и уже являлся ответ с изъяснением испрошенной им высочайшей воли.

Наконец, что касается до внешнего обращения князя, то оно было очень просто, также без фраз, несколько даже холодно, но вообще вежливо. На то, что называется представительностью, он, несмотря на длинную, бесконечную опытность, и, казалось бы, привычку, не был сроден и даже несколько затруднялся при появлении перед большим числом людей.

Как Сперанский любил цветы, как Васильчиков был страстный любитель охоты и лошадей, как Голицын окружал себя миллионом табакерок, так и Волконский имел свою страсть — часы: карманные, столовые, стенные и проч. При нем самом всегда находилось их трое: одни в перстне на руке или иногда в мундирной пуговице и по одним в каждом жилетном кармане; а утром, встав, первым делом его было собственноручно завести часы — всех видов и размеров, рассеянные по его комнатам, числом около тридцати. Припомнив, однако, что целая жизнь старика всегда была поглощена службою, и что даже и тогда еще, несмотря на свои 76 лет[248], он продолжал работать как поденщик, легко можно было помириться с этой невинной странностью.

---

[248] Князь скончался в 1852 году 77 лет.

Один важный упрек, который останется на памяти Волконского, состоит в том, что он не вел своих записок или не заставлял, по крайней мере, других записывать о всем, происходившем перед его глазами или проходившем через его руки. Проведя всю жизнь при дворе и почти неотлучно при лице двух монархов, сложивших историю целого полувека; начальник Главного штаба в 1812 году; спутник Александра во всех его победных шествиях и мирных поездках; свидетель его кончины; 25 лет министр Николаева двора… Какая полная, обильная событиями и предметами для наблюдений жизнь; сколько воспоминаний, сколько анекдотов! И между тем, все это исчезло со смертью действователя, не оставив никакого следа для истории[249].

6 декабря 1850 года доблестный наш старец достиг высшей цели давнишних своих стремлений, осуществления мечты, тревожности которой он не скрывал от приближенных. Князь был пожалован в генерал-фельдмаршалы. Император Николай снисходительно приник к последнему желанию верного своего слуги и накануне своего тезоименитства сам принес ему фельдмаршальский жезл. 8 числа новому фельдмаршалу представлялся в Гербовой зале Зимнего дворца весь гвардейский корпус, под начальством наследника цесаревича и с прочими великими князьями в своих рядах. Все это безмерно радовало Петра Михайловича, переносившегося тут в старину, когда, в звании начальника Главного штаба, он находился во главе армии. Вскоре затем по всему придворному ведомству предписано было в рапортах, представлениях и проч., его светлости вместо прежнего заголовка: господину министру императорского двора, писать впредь: господину генерал-фельдмаршалу, министру императорского двора…

---

[249] Здесь надо, впрочем, сказать, что князь каждый день записывал что-то в памятную книжку, которую тотчас прятал в стол, когда кто-нибудь входил в комнату; но это что-то, как одному приближенному удалось раза два подметить, относилось главнейше и едва ли не исключительно до службы.

В апреле 1851 года, в самый день тезоименитства императрицы, Волконскому, по случаю одного нового назначения ко двору, показалось, что государь хочет поставить его на очную ставку с одним из его подчиненных. Он глубоко сим оскорбился и, в первом волнении, на другой день рано отправил следующее письмо, которого содержание осталось тайною для всех, кроме самого государя и лица, изложившего, со слов князя, это письмо, после, впрочем, собственно им переписанное.

«Прослужив 57 лет, в том числе 25 при лице вашего императорского величества, с чистым усердием и, благодаря Бога, с неукоризненной совестью, я, во все продолжение многолетней моей службы, руководствовался одним чувством — беспредельною преданностью к моим государям и ревностным исполнением возлагаемых ими на меня обязанностей. Воля вашего величества всегда была для меня священнейшим законом, второю моею религиею. Чуждый всякого лицеприятия, я следовал ей неуклонно, и смею сказать, с самоотвержением, и был столько счастлив, что вы, всемилостивейший государь, постоянно удостаивали меня высочайшего вашего благоволения. Осыпанный милостями вашими, я был, наконец, возведен на высшую степень государственных званий. Мне оставалось только усугубить последние, при преклонных летах моих, силы, чтобы заслужить вполне эту великую монаршую милость и окончить остаток дней моих у подножия вашего престола. Но внезапный гнев вашего величества, в котором, к жестокому прискорбию, выразилась для меня и потеря доверенности вашей, каковою столько лет имел я счастье пользоваться, глубоко потряс мою душу. Лишаясь этого драгоценного достояния со вредом для самой службы, я нахожусь вынужденным всеподданнейше просить ваше императорское величество об увольнении меня от управления высочайше вверенным мне министерством».

Что же сделал государь? Он в ту же минуту сам поспешил к князю, объяснил причины и истинный смысл своего

действия, расцеловал его и, объявив, что только смерть может их разлучить, тут же разорвал принесенное с собою письмо Волконского. Старик, увлеченный только первою вспышкою, разумеется, не мог остаться холодным к таким изъявлениям милости — и все было забыто!

* * *

Жена обер-шталмейстера, статс-дама баронесса Цецилия Владиславовна Фредерикс жестоко прохворала весь апрель, и внутренний рак или какой-то подобный тому недуг подвергнул ее всем пыткам соединенного петербургского факультета, даже и самым мучительным операциям. Внимательность государя и императрицы окружала ее всеми возможными попечениями и ласками, и ничто не помогло! Государь перед самым отъездом своим в Варшаву[250] успел еще заехать проститься с нею. Спустя несколько часов страдания ее окончились навеки.

Баронесса Фредерикс, урожденная графиня Туровская, сестра известного политического писателя, полька и католичка[251], принявшая позже православную веру, принадлежала к современной истории нашего двора. Воспитанная вместе с императрицею, будучи старше ее только несколькими годами, она была ближайшим ее другом до того, что в своем кругу они называли себя «ты» и «ты». Женщина добрая, со всеми вежливая, всем доступная, не отказывавшая по возможности никому в помощи, особенно же не делавшая никому преднамеренно зла, — свойство столь важное в приближенных ко двору, — она пользовалась общею любовью и потому уже, что была отражением боготворимой нашей императрицы.

---

[250] Государь уехал в Варшаву на ночь с 28 на 29 апреля, вслед за императрицею, которой так понравилось пребывание там в предшедшую осень, что она решилась повторить снова свою поездку весною 1851 года.

[251] Император Александр II исправил: «протестантка».

Муж ее, некогда командир лейб-гвардии Московского полка и едва не умерщвленный бунтовщиками 14 декабря 1825 года, был тоже человек добрый, но которого жена всю жизнь влекла, со ступени на ступень, за торжественною своею колесницею. Анекдотов о нем ходило по городу множество.

Встретясь со мною за несколько дней до кончины своей жены, он просил меня, как опытного заграничного туриста, составить ему смету для поездки в Кассинген, «так как он имел намерение туда ехать после смерти своей жены». Вслед за этим я свиделся где-то с обер-гофмаршалом графом Шуваловым и не утерпел, чтобы не передать ему этой черты супружеской нежности.

— Ну, что ж, — отвечал граф, — это меня не удивляет, потому что вчера я еще получил от него письмо, если не официальное, то по крайней мере услужливое, где он спрашивает меня, может ли он надеяться, что после смерти его жены ему оставят помещение во дворце, которое они вместе занимали в Царском Селе!

* * *

Летние месяцы 1851 года я провел, для здоровья моей жены, за границею, и потому все, происходившее на родине, становилось мне известным только из писем моих корреспондентов. Вот перечень главных фактов, совершившихся во время моего отсутствия из столицы.

С князем Чернышевым сделался удар, уже не первый в его жизни, но сильнейший прежних. При одном из личных докладов его государю у него отнялся язык. Немедленное кровопускание спасло ему жизнь, но не могло вполне восстановить сил, и его отвезли лечиться в Киссинген.

* * *

1-го июля было праздновано в Петергофе разными воинскими торжествами минование 25 лет от назначения императрицы шефом Кавалергардского полка.

К этому дню весь корпус офицеров — прежних и находившихся еще в полку — поднес ей великолепнейший альбом с разными живописными изображениями, относящимися до истории полка и проч., в серебряном ковчеге и переплете, за которые известному нашему художнику Сазикову заплачено 15 000 руб. серебром. Но наград по полку не было никаких, и причину такой невзгоды приписывали дуэли, бывшей, за несколько дней пред тем, между двумя молоденькими офицерами, почти мальчиками, графом Гендриковым и бароном Розеном. После обеда они повздорили между собою, и ссора кончилась тем, что Розен всадил Гендрикову пулю в голову, — рана, от которой последний умер спустя несколько дней, в жестоких страданиях.

* * *

Во Владимире при крестном ходе провалился только что оконченный новый мост и в падении своем увлек множество людей, следовавших за процессиею. Из числа их до 150 человек погибло на месте, и еще более значительное число было изувечено.

* * *

В Московской комиссариатской комиссии обнаружились какие-то беспорядки и недостаток сумм, вследствие чего начальник ее, генерал-майор Поливанов, был отдан под суд. Прикосновенность подсудимого к делу оказалась, однако ж, неважною, и государь простил его; но пока курьер вез известие о том в Москву, Поливанов, не дождавшись его, застрелился[252].

---

[252] Император Александр II заметил: «Выдумка, он и доселе жив».

* * *

Для развлечения офицеров в Красносельском лагере устроен был там, по представлению наследника цесаревича, временный театр, на который приезжали играть артисты императорских театров. Эти спектакли, довольно часто повторявшиеся, открылись впервые «Белою Камелиею», прелестною пьескою, сочиненною братом жены моей, наделавшею в предшедшую зиму настоящий фурор в С.-Петербурге и Москве и в особенности очень понравившеюся при дворе.

* * *

Красносельскими маневрами командовал в это лето, с одной стороны, граф Ридигер, знаменитый покоритель Гергея. Государь был в совершенном восхищении от искусных его распоряжений и эволюций и тем опять поднял старика, который, от малого знания дел и языка, погибал совершенно безмолвным членом в Государственном Совете, не успев притом стяжать благоволения к себе князя Чернышева, постоянно обходившегося с ним почти как с мальчиком.

* * *

В течение лета всемогущая смерть не коснулась ни одного из государственных наших сановников, но унесла много людей, пользовавшихся известностью в других отношениях. Умерли, между прочим, в глубокой старости, два труженика науки: знаменитый ориенталист Френ, слава нашей Академии наук и один из самых ревностных ее деятелей, и тайный советник Поленов, много писавший и еще более работавший про себя над собиранием материалов для нашей истории XVIII века. В последнее время он управлял всеми архивами министерства иностранных дел и, сверх того, после назначения

князя Шихматова министром, был назначен на его место председателем русского отделения Академии наук. Сверх того, умерли: живописец Егоров, одна из первых артистических наших знаменитостей, особенно по живописи образов; президент медико-хирургической академии Шлегель и архитектор Ефимов, составивший план для учрежденного в то время в Петербурге Ново-Воскресенского женского монастыря и погребенный под основаниями возникавшего его произведения.

* * *

Но важнейшим событием этого периода времени было открытие С.-Петербурго-Московской железной дороги, на первый раз для императорской фамилии. Разумеется, что по всему ее протяжению сперва несколько раз проехали: граф Клейнмихель и, частью, даже обер-гофмаршал граф Шувалов и лейб-медик Мандт, чтобы удостовериться, каждому по своей части, будет ли покоен проезд для императрицы. 18 августа вечером она прибыла на Петербургскую станцию и провела ночь в предназначенном для нее вагоне, состоявшем из трех изящно убранных комнат, с камином, с кухнею, погребом и ледником.

Поезд, в котором находились также государь, цесаревич с супругою и двумя старшими своими сыновьями и оба младшие великие князя[253], тронулся 19 числа в 4-м часу утра, сначала очень медленно, чтобы не потревожить сна императрицы. В движении своем этот поезд был неоднократно останавливаем государем для обозрения разных работ железной дороги и, сверх того, подвергся задержке от неле-

[253] Император Александр II к этому прибавил, что здесь же находились: «Великая княгиня Ольга Николаевна со своим супругом и герцог Веймарский, сын великой княгини Марии Павловны, с своей супругой».

пости одного из строителей, которому вздумалось, для украшения какого-то моста, выкрасить идущие по нем рельсы масляною краскою, от чего, несмотря на все напряжение паров, колеса вертелись бесплодно, нисколько не подвигая локомотива, пока успели отскоблить краску[254]…

Во многих пунктах дороги все окрестное население стекалось к ней, чтобы полюбоваться на царскую фамилию, впервые катящуюся по железным колеям из одной своей столицы в другую.

Но в самой Москве, от позднего прихода поезда, родилась страшная сумятица. Неизвестно почему, рассчитали, что путешественники должны приехать непременно в 7 часов вечера, и с этого часа весь город ждал у станции. Но пробило уже 8 и 9, а их все еще нет; беспокойство и нетерпеливость перешли в волнение. Толпа вообразила себе, что случилось какое-нибудь несчастие. Стали кричать: «Нет государя; уходили его злодеи!» Шум все возрастал и принимал почти размеры бунта, как наконец в 11 часов появился поезд. Тогда не было предела восторгу. Выйдя из вагона, государь, в виду всех перекрестясь и обняв Клейнмихеля, направился прямо к часовне Иверской Божией Матери и приехал в Кремлевский дворец уже в первом часу ночи.

Двадцатипятилетие коронования, 22 августа, подобно двадцатипятилетию царствования, не отличалось ничем особенным при дворе. Государь еще прежде объявил, что едет в Москву молиться и благодарить Бога, а не веселиться, чем и объяснялось отсутствие наград и всяких придворных празднеств. Вообще во все это пребывание в Москве императорского дома было только два бала: у князя Сергея Михайловича Голицына и у военного генерал-губернатора графа Закревского.

Молебствие, совершенное 22 августа в Успенском соборе, речь митрополита Филарета и проч., как описанное в газетах,

---

[254] Император Александр II исправил: «посыпать рельсы песком».

не может иметь здесь места; но о чем умолчали газеты, это о несчастии, случившемся на железной дороге на самых первых порах. Пока государь оставался в Москве, происходило по этой дороге постоянное движение фельдъегерей; но, за неокончанием еще вполне второго ряда рельсов, петербургский имел приказание отправляться в путь каждый раз не прежде прибытия московского. Это правило было, однако ж, нарушено, и около Клина два поезда в туманную погоду столкнулись на всем ходу, так что несколько человек машинистов и кочегаров легло на месте. Вину в этом одно ведомство слагало на другое. Дело, впрочем, осталось без дальнейших последствий.

В начале сентября государь уехал из Москвы для обозрения войск в Луцк, Елисаветград и Киев, а императрица с остальными членами своего дома возвратилась в Царское Село, снова тем же путем.

Открытие железной дороги для публики[255], за тем же неокончанием еще второго ряда рельсов, равно как некоторых станционных домов и проч., могло последовать не прежде 1 ноября.

— Много ли будет охотников прокатиться по новой дороге, — спрашивали в городе в ожидании этого события, и везде почти слышался один отрицательный ответ[256].

С одной стороны, пугала всех не собственно железная дорога, а образ ее устройства и движения по ней в России, где столь многое предоставляется любимому нашему авось.

С другой стороны, в изданном тогда же Положении являлись разные стеснения, не только противные порядку, заведенному везде в Европе, но и мало соответственные свойству

---

[255] Но еще не для товарных поездов, которые стали отправляться лишь с 11 числа.

[256] Возвратясь из-за границы еще в начале сентября, я в это время давно уже был в Петербурге.

и назначению железных дорог вообще. От каждого пассажира требовались и формальный паспорт, и свидетельство полиции на беспрепятственный выезд; всем надлежало быть на станции за час до отправления поезда, а пожитки свои привозить туда за два часа; запрещалось курить не только в вагонах, но и на остановочных пунктах и проч.

— Прибавьте к этому, — толковали в городе, — поспешность, с которою устроена дорога, неопытность кондукторов и прочей прислуги, всю вероятность их пьянства и всяких от них грубостей, и согласитесь, что, в первое по крайней мере время, мало кто отважится на такую головоломную и окруженную столь многими неприятностями поездку!

По городу разнесся даже анекдот, разумеется, вымышленный, будто бы два министра, которых взаимная ненависть была всем известна, находя, что обоим вместе нельзя долее жить на свете, но считая, однако же, неприличным их званию и летам кончить дело поединком на живот или на смерть, решились бросить узелок, кому из них трижды прокатиться по новой дороге между столицами.

Несмотря на все это, та же публика накануне первой поездки утверждала, что за требованием билетов явилось до полутора тысячи человек, но что самой большей части было отказано, так как поезд берет с собою в один раз не более трехсот пассажиров. И это все были одни празднословные вымыслы.

Первый поезд должен был отправиться из С.-Петербурга и из Москвы одновременно, в 11 часов. Ненастное и темное, почти как ночь, утро не помешало огромным массам народа столпиться к этому времени на станции и вокруг нее. То же самое происходило и в Москве, где любопытство возбуждено было еще в высшей степени, ибо у нас, по опыту сообщения с Царским Селом и Павловском, по крайней мере знали уже давно, что такое железная дорога, а там она представлялась совершенною новизною. Публика ждала молебствия или

освящения нового пути, но их не было, за совершением уже этого обряда перед царскою поездкою.

— Да и зачем служить молебен? — говорили остряки. — Скорее придется отслужить в Москве панихиду!

Наконец, вместо 11 часов, поезд, под предлогом новости дела, тронулся в 20 минут 12-го и достиг места назначения совершенно благополучно, но тоже, вместо 5 часов утра, как следовало по положению, только в 9[257]. Московский поезд, со своей стороны, двинулся тоже в 12-м часу и прибыл сюда в половине 10-го. Пассажиров на этот раз было, по соразмерности, конечно, немного, и с обеих сторон почти равное число. Из Петербурга выехало: на первых местах 17, на вторых 63 и на третьих 112, всего 192; из Москвы же приехало всех 134. В противность предсказаниям скептиков, все оказалось прекрасным: и вагоны, и станционные дома, и прислуга. Цены были определены с первого дня следующие: за первое место 19, за второе 13, за третье 7 руб. серебром.

Таким образом, в течение менее года совершились два огромные события, одно многознаменательное для Северной столицы, другое и для нее, и для Москвы, и для целой России: открытие Благовещенского моста, откинувшее все ужасы весенних и осенних сообщений через Неву в область преданий, и открытие С.-Петербурго-Московской железной дороги, перенесшее, как некогда при первой мысли о том выразился император Николай, Москву в Кронштадт и обратно.

После всех исполинских подвигов славного царствования это был достойный венец его двадцатипятилетия!

* * *

По возвращении моем из-за границы, я 23 сентября был приглашен императрицею к обеду в Царское Село. Государь,

[257] Напечатанное Положение назначало для переезда 18 часов; но этот срок, с первого же дня, увеличен до 22.

как я уже писал, в начале этого месяца поехал в Луцк, Елисаветград и Киев, и по маршруту ожидали его возвращения только через день, т. е. 25 числа. За столом, сверх императрицы, цесаревича и его супруги, находились: министр двора князь Волконский, генерал-адъютант граф Пален, прусский министр Рохов и я, всего семь человек; но оставался еще пустым восьмой прибор, поставленный для великого князя Константина Николаевича, который только перед самым обедом прислал сказать из Павловска, что почему-то не может быть.

Итак, мы сели, кончили устерсы и суп и уже принимались за говядину, как вдруг тихо отворилась задняя дверь во внутренние комнаты, и из нее выглянул — государь, которого, хотя он обыкновенно предупреждал маршрутные сроки, в эту именно минуту никто не ожидал.

Императрица вспорхнула, как птичка, с своего места, и все мы, разумеется, тоже тотчас вскочили из-за стола. Пошли семейные объятия, расспросы, точно в частном быту; прибежали немедленно и дети цесаревича и повисли на шее у дорогого дедушки… Впервые еще случилось мне быть свидетелем такой фамильной сцены в царственном доме, и перед величественною простотою этой картины я едва мог удержаться от слез.

Рохова, проведшего лето на франкфуртском сейме, государь также обнял, а нам, остальным, ласково поклонился, назвав каждого поименно.

Потом сели опять за стол, накрытый, как я уже сказал, будто нарочно на восьмерых. Хозяин, как был, в дорожном сюртуке, поместился возле хозяйки, мы спустились каждый ниже на один прибор, и обед начался сызнова. Государь казался чрезвычайно утомленным и прямо в том сознавался, рассказывая, что всего только четверо суток с четырьмя часами как выехал из Елисаветграда, да и из этого времени одни сутки провел еще в Киеве.

— Где не было шоссе и по пескам, — говорил он, — мы (т. е. он с графом Орловым) никак не успевали сделать в сутки более 340 верст; но на шоссе, как посмотрели сегодня при утреннем чае, сколько проехали от вчерашнего, т. е. в 24 часа, вышло 480 верст.

Боже мой! — подумал я, какая беспрерывная нить опасностей для этой дорогой жизни! И когда каждый из нас, после такого полета и стольких бессонных ночей, тотчас залег бы спать, этот человек, составлявший во всем изъятие, едва сев за стол, послал фельдъегеря в Павловск сказать Константину Николаевичу, чтобы отнюдь не приезжал сам, а ждал бы его.

— Когда закончится ужин, — прибавил он, — я приведу себя в порядок и пойду поцеловать малютку (родившуюся в его отсутствие великую княжну Ольгу Константиновну) et la maman.

Разговор за столом носил на себе, однако ж, явные следы усталости новоприезжего. Государь коротко расспрашивал о царскосельском и павловском обществе того сезона, о тамошних увеселениях, о том, где Пален и я провели лето за границею, о здоровье князя Чернышева и фельдмаршала князя Варшавского, которого в Луцке, при смотре, ушибла лошадь; но не входил сам ни в какие подробные рассказы и не предлагал также тех плодотворных вопросов, которыми так всегда умел поддерживать беседу.

Заметно было, впрочем, из его слов, что он в эту поездку остался чрезвычайно доволен тремя вещами: 1) осмотренными им войсками; 2) новым Московско-Бобруйским шоссе, которому, как он тут же отозвался, «никогда подобного не видывал, а лучшего, конечно, никогда и не увидит», 3) весьма уже далеко подвинувшимся в то время постоянным мостом через Днепр у Киева.

Обед шел чрезвычайно скоро; государь кушал очень мало, а за ним спешили или отказывались и другие; после же стола

тотчас подали кофе, а за ним, почти в ту же минуту, без всяких дальнейших разговоров, последовал и прощальный поклон.

Поездка эта, как я слышал после от имевших случай часто видеть государя, если и утомила его более обыкновенного телесно, то чрезвычайно оживила его дух, в котором, в последнее перед нею время, замечали какую-то особенную мрачность, или, что называется, черный номер. Проявление этого дурного расположения духа преимущественно обнаруживалось всегда, когда шло дело о заграничных отпусках, в разрешении которых, кроме значительного возвышения цен за паспорт (250 руб. для здоровых и 100 руб. для больных), он снова сделался в это время строже и разборчивее, чем когда либо.

Одному богатому, неслужащему курляндцу, сродни мне, который просился к водам с больною семьею, было объявлено, что он, вместо чужих краев, может ехать к отечественным водам. Такие примеры, как и простые отказы, повторялись беспрестанно.

Но ни над кем дело не разразилось так плачевно, как над сыном бывшего некогда обер-шталмейстера князя Долгорукова, служившим в Государственной канцелярии и просившимся за границу на год по здоровью, не только расстроенному, но и совершенно разрушенному. На представлении о том государь, к испугу высшего петербургского общества, написал: «Уволить от службы».

* * *

Восхищение государя от Брест-Литовского шоссе, изъявлениям которого я был свидетелем, не осталось без последствий, можно сказать совершенно необычайных и беспримерных. Это шоссе, со всеми к нему принадлежностями, строил по подряду отставной поручик Вонлярлярский,

человек очень хороший, очень умный и гениальный спекулятор, в совершенстве исполнивший в этом случае свою контрактную обязанность, но взявшийся за дело, как и всякий подрядчик, все же имея в виду извлечь для себя выгоды. Вдруг, приказом 25 сентября, он «за примерно-превосходное и совестное исполнение взятой на себя обязанности», был пожалован из отставных поручиков — прямо в статские советники, с назначением состоять при 1-м отделении Собственной его величества канцелярии для особых поручений!

* * *

12 октября совершилось пятидесятилетие службы нашего министра финансов. Это число пришлось в пятницу, всегдашний день его личного доклада; но государь, в нежной предупредительности, велел ему на этот раз явиться к себе, вместо пятницы, в четверг. Едва Вронченко вошел в кабинет, как государь, взяв со стола приготовленные заранее знаки Андреевского ордена, сам их на него возложил и потом прочел ему написанный собственноручно проект грамоты на эту милость.

Вронченко, почти в беспамятстве от такого счастья, припал к его ногам и умолял отдать ему этот черновой проект как драгоценнейшую для него награду; но государь не согласился, говоря, что проект отошлется в 1-е отделение Собственной канцелярии, для заготовления по нем настоящей грамоты.

В городе нельзя было обраться толков и пересудов о новом андреевском кавалере; но едва ли они имели основание. Важнейшее, неожиданнейшее, невероятнейшее, так сказать решительнейшее в карьере Вронченко было — назначение его управлять министерством финансов; все же прочее, как скоро труды и личность его были угодны государю, долженствовало следовать за этим само собою.

* * *

Еще зимою с 1850 на 1851 год учрежден был особый Комитет, под председательством наследника цесаревича, для рассмотрения вопроса: быть или не быть железной дороге из Петербурга в Варшаву. Этот Комитет решил дело, преимущественно основавшись на мнении графа Гурьева, тем, чтобы окончательное рассмотрение его отложить на год со времени открытия Московской дороги, дабы удостовериться из опыта, какие доходы будет приносить сия последняя. Но в пребывание свое в Москве осенью 1851 года государь перевершил этот вопрос, велев приступить к построению Варшавской дороги немедленно и в возможной скорости, не столько для тех целей, для которых обыкновенно сооружаются железные дороги, сколько из видов стратегических.

— В случае внезапной войны, — говорил он, — при теперешней общей сети железных дорог в Европе, Варшава, а оттуда и весь наш запад могут быть наводнены неприятельскими войсками прежде, чем наши успеют дойти из Петербурга до Луги.

Вместе с тем решено было новую дорогу строить на счет казны, посредством займа. Прямого публичного извещения о сем, впрочем, в то время не последовало, но явилось, некоторым образом, косвенное, в приказе 8 октября, которым объявлялось особенное монаршее благоволение товарищу главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями, генералу Герстфельду, за «отличное и вполне удовлетворительное исполнение возложенного на него поручения по изысканиям к сооружению С.-Петербурго-Варшавской железной дороги».

* * *

Смерть короля Ганноверского, этого энергического до упорства старичка, который один в минувшие страшные

годы умел отстоять монархизм в Германии, не осталась у нас без некоторого сочувствия, хотя, впрочем, по его летам, она не могла быть неожиданною. Известие о ней пришло сюда в одну из ноябрьских суббот, когда на воскресенье уже был назначен спектакль в Царском Селе, где имел еще свое пребывание императорский дом. Вследствие того спектакль отменили, но только вполовину, т. е. вместо представления в постоянном театре, устроенном в одной из зал старого дворца, актеры играли в Александровском, где вместо декораций были поставлены простые ширмы.

В этот день давалась новая, не игранная еще тогда на петербургских театрах, русская пьеска, вроде французских «Провербов», под заглавием «Чему быть, тому не миновать». Эта умная, милая болтовня принадлежала также перу сочинителя «Белой Камелии», т. е. брату моей жены. Государь чрезвычайно остался ею доволен и несколько раз принимался хвалить (впрочем, заочно) своего редактора «Инвалида», должность, которую занимал в то время мой шурин.

* * *

Большие собрания в петербургском высшем обществе в течение зимы 1851 года были чрезвычайно редки. При всех препонах, полагавшихся заграничным поездкам, главная часть нашего большого света находилась тогда в Париже, и вместо того, чтобы принимать здесь, распределила между собою вечера там. Посреди политического шума, борьбы партий и ожидавшихся беспокойств граф Воронцов-Дашков, графиня Разумовская, князь Радзивилл, Рибопьер и другие учредили свои приемные дни в запрещенном Париже, как бы у себя дома, в нашем мирном Петербурге!

* * *

26 ноября, в Георгиев день, ровно через четыре года после присяги великого князя Константина Николаевича, принес

такую же — с тем же торжеством и по тому же церемониалу — великий князь Николай Николаевич. Случилось только две разницы в окружавших обстоятельствах: во-первых, Константин Николаевич во время своей присяги был уже женихом и даже сама невеста его уже находилась в Петербурге, а для Николая Николаевича будущее его в сем отношении оставалось еще покрытым совершенною неизвестностью; вовторых, я тогда уже более месяца преподавал Константину Николаевичу законоведение, а брат его еще не приступал ни к каким занятиям по этой части. Накануне этого дня пришли сюда первые телеграфические вести о новом перевороте в Париже, приблизившем Наполеона «le petit», маленького, как его тогда у нас называли, к роли Наполеона «le grand», великого.

* * *

Разные преобразования, предпринятые в Публичной библиотеке со времени вступления моего в управление ею, повели за собою, между прочим, и составление для ее посетителей новых правил. Проект их я отвез в начале декабря к князю Волконскому. Бедный старичок в то время уже около месяца имел ногтоеду на ноге и не выезжал, даже не мог ходить, сколько от боли, столько и от невозможности обуваться. Эти страдания не мешали ему, однако ж, работать и оканчивать дела с обыкновенною деятельностью и быстротою, и вся разница состояла в том, что государь, вместо приема его и выслушивания его докладов у себя, сам к нему приходил[258]. При таком докладе вручен был Волконским и мой проект. На

[258] Князь жил во дворце, близ старого Эрмитажа, и особый подъезд, с которого вела к нему лестница, назывался, частно и официально, «подъездом князя Волконского».

другой день государь встретил меня с моим сыном в Большой Морской.

— Здорово, Корф, — сказал он, остановясь и указывая на моего мальчика, — что, который номер? А все ли у тебя благополучно? Читал я твое Положение для посетителей; все очень хорошо, только не надо пускать в библиотеку кадет. Что им там читать при элементарном их образовании? Нужные по степени их книги есть и в собственных корпусных библиотеках. Нижним чинам тем более нечего там делать. Студенты — дело другое: это прямая их обязанность и назначение. Переделай же, пожалуйста, статью в этом смысле.

* * *

Под конец царствования императора Николая, частью от болезненного состояния императрицы, частью же от увеличившегося в нем самом с летами нерасположения к представительности, то, что называется при нашем дворе большими выходами, т. е. церемониальные шествия в придворный собор, бывавшие в прежнее время раз двенадцать и более в году, становились постепенно все реже и назначались, напоследок, кроме каких-нибудь особенных придворных церемоний (крестин, бракосочетаний и проч.) уже только в Пасху, в Рождество и в праздник Богоявления. Так и 6 декабря 1851 года, в день тезоименитства государя, все ограничилось одним лишь выходом в малую дворцовую церковь, в которую приглашалась всегда военная свита, а из числа прочих особ являлись без зова только некоторые из членов Государственного Совета и из других приближенных. После обедни государь, сказав несколько слов старшим членам Совета, обошел быстро остальных и, остановясь передо мною, стоявшим одним из последних, протянул мне руку и сказал:

— А я к тебе опять с челобитною: за двух последних, понимаешь? Надеюсь, что ты, из дружбы ко мне, и в этот раз не

откажешь. — И он пошел так скоро далее, что я мог только поклониться, не успев ничего выговорить.

Между тем, мне нетрудно было понять, к чему относились эти мимолетные слова, так как еще накануне управлявший воспитанием великих князей Николая и Михаила Николаевичей генерал-адъютант Философов предварил меня об отзыве государя, что и им уже пора бы начать свои занятия по законоведению и что он сам меня о том попросит. Вследствие того, возвратясь домой, я написал записку, в которой, изъявив благоговейную готовность сделаться, по силам, достойным вновь явленного мне знака монаршего доверия, испрашивал разрешение, должны ли занятия с великими князьями иметь то же содержание и тот же объем, какие предначертаны были его величеством для бесед моих с старшим их братом?

Записка эта возвратилась со следующею надписью: «Душевно благодарю; желаю, чтоб занятия ваши были совершенно наподобие бывших с Константином Николаевичем, хотя предваряю, что младшие братья не столь еще приготовлены, как был он».

* * *

Великие князья Николай и Михаил Николаевичи были воспитаны и ведены, как и все дети императора Николая, в самой патриархальной простоте. Половина их в Зимнем дворце, в конце известного большого коридора, возле самой маленькой передней, всего из трех комнат: залы, которая была вместе бильярдною, гостиною и даже столовою (для завтраков, потому что обедали великие князья вместе с августейшими своими родителями); спальни, где стояли почти рядом, имея какую-нибудь сажень между собою, головами к стене, две низенькие и узенькие походные кровати, и где на диване постоянно спал при них многие годы помощник

Философова, дальний мой родственник, теперь генерал-адъютант, барон Корф; наконец учебной, где вдоль всех стен размещена была библиотека. Большою залою, примыкавшею к учебной и посреди которой стояла огромная модель корабля[259], они располагали только в случае чрезвычайных и более многочисленных приемов. Когда начались мои занятия с ними, я при одной из наших бесед чувствовал себя не совсем здоровым и жаловался на лихорадочный озноб.

— Советую вам, — сказал Михаил Николаевич, — напиться на ночь горячего чаю и хорошенько укрыться шинелью.

Этот совет укрыться шинелью содержал в себе целую историю их спартанского воспитания!

* * *

22 декабря за столом у государя присутствовали, сверх цесаревича и его супруги и двух младших братьев, генерал-адъютант граф Пален, обер-шенк граф Виельгорский и я.

— Ну, — сказал государь, подойдя перед обедом ко мне первому, — я, кажется, испытываю твое терпение до конца (намек на новых моих учеников); но за то, уже вперед, огромное тебе спасибо.

За несколько дней перед сим цесаревич и супруга его осчастливили своим посещением обновленную мною Публичную библиотеку и остались всем очень довольны. Как только сели за стол, государь сказал:

— Я слышу от детей, что ты сделал из библиотеки просто чудеса, и кругом виноват, что еще не побывал у тебя; но если б ты знал, как в конце года я завален… Постараюсь, впрочем, скоро исправить свою вину[260]. Виноват еще и в том, что отнял

---

[259] В этой зале прежде, при императоре Александре I и в первые годы царствования его преемника, собирался Государственный Совет, переведенный впоследствии в Эрмитаж.

[260] Государь действительно удостоил библиотеку своим посещением 13 декабря 1852 года.

у тебя твои хорошенькие рукописи, с которыми свиделся, впрочем, в Эрмитаже, как с старыми знакомыми: представь, что они мне памятны, почти совестно сказать, еще с 1805 года, когда их привез Дубровский! Правда, что в тогдашние мои лета они немного доставляли мне удовольствия… Зато я велел передать тебе из Эрмитажа разные другие рукописи и пропасть книг. Надо же нам, наконец, согласиться в цели. Эрмитажная библиотека есть, в моем понятии, семейная, и потому в ней должно быть то, что может понадобиться мне или моей семье; все прочее, вся латынь, все ученое следует в Публичную библиотеку, где будет гораздо полезнее. При том оба заведения состоят теперь в одном главном ведомстве, и все нужное Эрмитажу можно будет тотчас получать из библиотеки.

Далее государь говорил еще о торфяном ее отоплении и прибавил, что запах от него заносится даже в Караванную; хвалил мысль мою иметь во внутренних лестницах деревянные ступени, потому что, в случае пожара, их можно тотчас отломать, а железные так накаляются, что становятся хуже деревянных; рассуждал, тоже с похвалою, о произведенном нами перемещении всех печей в подвалы, о вновь устроенных вертящихся витринах и проч.; словом, изъяснялся обо всех сделанных у нас улучшениях, как бы сам их осматривал, очевидно по рассказам его сыновей. Но когда я упомянул, что во всем этом гораздо более заслуги со стороны моего помощника князя Одоевского с архитектором Собольщиковым, которыми все главное сделано во время заграничной моей поездки, то он замял мои слова и, как бы не расслышав их, переменил предмет разговора. Было также говорено об известной московской коллекции старопечатных книг Карабанова, именно около этого времени перешедшей, после смерти ее владельца, в руки правительства, и об еще более известном московском же «Древлехранилище» Погодина, о

котором в особенности цесаревна отзывалась с чрезвычайным уважением.

— Уполномочиваю тебя, — сказал мне государь, — если Погодин расположится продать свое собрание, при жизни или после смерти, войти с ним в условия для его приобретения в казну. Всегда желательнее, для самого сбережения таких коллекций, чтобы они оставались в руках правительства, а не частных людей[261].

— И однако, — заметила цесаревна, — если бы частный человек не подумал собрать и подобрать эти редкости, они были бы потеряны для науки.

— Это верно, — отвечал государь, — но какова обыкновенно участь этих коллекций? После смерти того, кто собрал их с большими расходами, невежественные или алчные наследники стараются во что бы то ни стало от них отделаться и кончают тем, что коллекция умаляется, если худшее не случается, как со знаменитою коллекциею графа Пушкина, сгоревшей в 1812 году.

Я благодарил за великолепный портрет императрицы Екатерины II работы современного ей художника Левицкого, присланный библиотеке в подарок от государя, и сказал, что он поставлен в Ларинской зале, где производит бесподобный эффект, составляя, однако ж, маленький анахронизм, потому что и Ларинская зала и вся эта часть библиотеки построена при нынешнем государе, которого портрет находится в отделении рукописей.

— Этому легко пособить, — возразил, усмехнувшись, государь, — мою рожу выкинуть, а на ее место поставить портрет Екатерины.

— Позвольте протестовать против этого, государь, — отвечал я, — ваш портрет стоит между знаменитыми трофеями ваших побед: рукописями Ахалцихскими, Ардебильскими и проч. и не может тут никому уступить своего места!

---

[261] После многих переговоров собрание Погодина было куплено осенью 1852 года, за 150 тыс. руб. серебром.

Из числа разговоров, не относившихся до библиотеки, интереснейшие за этим обедом были следующие:

1) Государь спросил у императрицы:

— Прочла ты уже письмо Фрица? Он дошел до того, что говорит, будто до конца будущего года Луи-Наполеон сделается нашим товарищем. Я позволю себе сомневаться в этом. Пусть он сделается чем он хочет, самим великим Муфтием, если это ему нравится, но что касается до титула императора или короля, я не думаю, чтобы он был настолько неосторожен, чтобы посягал на него… Я еще заметил одну вещь в письме Фрица: он утверждает, что Луи-Наполеон, чрез свое поведение, был причиною смерти своей матери; но я никогда не слышал об этом. — И государь обратился с вопросом о том к графу Палену как долго находившемуся нашим посланником в Париже; но и тот отвечал, что никогда ничего подобного не слыхивал[262].

2) Была речь о замене в Англии министерства Пальмерстона министерством Гренвилля; но государь, несмотря на известное его нерасположение к первому, не выразил тут никакого мнения и сделал только Палену несколько вопросов о прежней карьере Гренвилля.

3) Спросив меня, видел ли я новую драму Кукольника «Денщик», государь очень ее хвалил. Когда же цесаревич заметил, что в ней есть хорошие стихи, но, как драматическое целое, она лишена жизни, длинна и скучна (что было и

---

[262] Здесь — одна очень примечательная вещь. На другой день, встретясь с графом Бенкендорфом (племянником шефа жандармов и наследником его графского титула), приехавшим сюда из Берлина, где он состоял в то время военным нашим агентом и, вместе, домашним, так сказать, посредником между обоими царственными домами, я рассказал ему об этом разговоре. «Как, — сказал он, — никто не заметил, что король прусский в своем письме нисколько не думал о настоящей матери Луи-Наполеона и что он выражался иносказательно, желая сказать, что президент республики, будучи ее сыном, нарушил и ограничил конституцию». Действительно, это никому не пришло на мысль.

общим мнением публики), государь согласился, что пьеса слишком растянута.

4) На вопрос императрицы, поедет ли государь в тот вечер в театр, он отвечал, что еще не знает, удосужится ли, потому что должен писать фельдмаршалу (князю Варшавскому).

— Бедный фельдмаршал, — продолжал государь, — мало того, что он сам все хворает и хворают также и умирают его дети; вот теперь сгорел еще его Гомель (имение князя в Могилевской губернии) со всем, что было у него там собрано.

5) Вследствие какого-то обмена репликами с сидевшею возле государя цесаревною, которого я не расслышал, он перечислил всех жен преступников 14 декабря, которые, при ссылке их мужей в Сибирь, добровольно за ними последовали, и прибавил, что, во всяком случае, «это был знак преданности, достойный уважения, тем более, что так часто видим противное».

Во время стола прибежали дети цесаревича и с ними маленький Николай Константинович, которого, вместе с его сестрою, перевезли на время отсутствия их родителей (они проводили ту зиму в Венеции), в Зимний дворец, под крылышко к доброй бабушке, и поместили там, в бывших комнатах великой княгини Ольги Николаевны.

За обедом у императрицы сделался обыкновенный ее припадок биения сердца, и она принуждена была удалиться, что, однако ж, не помешало ей принять нас после стола, лежа на диване, у которого сели государь и все мы.

— Идете вы сегодня к детям? Я хочу сказать, к большим детям: Николаю и Михаилу?

Я отвечал, что это не мой день и что буду у них завтра.

— Постарайтесь сделать из них не юрисконсультов, но людей, знающих настоящие интересы их отечества, — сказала императрица.

(На этом публикация «Записок» в «Русской Старине» прерывается, а в 1904 году журнал печатает отрывки из «Дневника»)

Из Дневника

1838 год

Автобиографическая заметка — Лица, содействовавшие возвышению М. А. Корфа по службе — Заметки и характеристики С. Ф. Маврина, Виттенгейма, барона А. Я. Бюллера, Н. П. Дубенского, М. Я. Балугьянского, Е. Ф. Канкрина, М. М. Сперанского, князя В. П. Кочубея — Внимание государя к Корфу — Переход его в Государственный Совет — Аудиенция в кабинете государя — Акты, касающиеся вступления на престол императора Николая I — Составление Свода законов — Проект о преобразовании С.-Петербургской полиции — Раут у графини Разумовской — Кончина униатского митрополита Булгака и архимандрита Фотия — Чтение лекций наследнику — Великий князь Михаил Павлович и его мнения о М. М. Сперанском — Канкрин и вообще о государственных учреждениях — Кончина председателя Государственного Совета графа Новосильцева — Отъезд их величеств за границу — Кончина Родофиникина — Свидание императора Николая со шведским королем — А. П. Ермолов и М. И. Платов — Князь Лобанов-Ростовский — Граф Васильчиков и назначение его председателем Государственного Совета — Граф Литта — Болезнь М. М. Сперанского и его характеристика, сделанная М. А. Корфом — Возвышение таможенных пошлин на товары — Рескрипт императора Николая графу В. Е. Кочубею — Бал у графа Левашова — Обручение великой княгини Марии Николаевны с герцогом Лейхтенбергским — Возобновление Зимнего дворца

15 февраля

Каким образом сделал я свою, можно сказать, государственную, и во всяком случае блистательную карьеру? Это для меня самого вопрос неразрешимый.

Достоинства в службе могут быть многоразличны, но для достижения высших должностей, а еще более, чтобы в них поддержаться, нужна общая совокупность всех этих достоинств. Познания мои ограничиваются тем, что могло быть приобретено при окончании курса, хотя и в первом тогда заведении нашем, Царскосельском лицее, — но на 17-м году от роду. Чтение и последующие почти беспрерывные занятия

несколько дополнили это; но глубоких познаний я не имею ни по одной части. Воображение мое очень слабо; ум довольно деятельный, но вовсе нетрансцендентальный: особенно нет у меня presence d'esprit — присутствия духа, столь важного во всех почти случаях жизни, а природная застенчивость, хотя скрываемая и подавляемая, отнимает всю возможность где-нибудь блеснуть или премировать, что, при известной дерзости, так часто удастся и людям посредственным.

Настоящей и особенно сильной протекции у меня тоже никогда не было. Батюшка был сенатором, когда это еще более значило, чем теперь; но болезни и уединенный образ жизни удалили его от всяких связей и от всякого влияния. Одно только место и одну только почесть получил я по прямому ходатайству покровителей: место переводчика в министерстве юстиции в 1818 году дано мне было по просьбе бывшего в связи с тогдашним министром, князем Лобановым-Ростовским, барона Андрея Яковлевича Бюллера; почесть — звание камер-юнкера — пожаловано мне в 1823 году по предстательству покойной герцогини Виртембергской, которую просил о том некто Шепинг (Эрнст), курляндец, пользовавшийся особенным ее расположением. Затем в том же 1823 году я был назначен начальником отделения в департаменте податей и сборов, вероятно, потому, что меня издавна рекомендовал с хорошей стороны тогдашнему директору Дубенскому Семен Филиппович Маврин; говорю «вероятно», потому что при самом открытии вакансии обо мне между ними речи не было. Наконец, назначение мое в 1831 году управляющим делами Комитета министров, или, по крайней мере, побуждение к этому, могу отчасти приписать всегдашним добрым обо мне отзывам перед тогдашним председателем князем Кочубеем родного его племянника Александра Васильевича Кочубея; других связей у меня никогда не было; все мои начальники любили и отличали меня.

Начав службу в половине 1817 года, хотя и в чине титулярного советника, но с обязанностей простого писца, и притом на 17-м году от роду, я через шесть лет (в 1823 году) был уже начальником отделения, а меньше чем через четырнадцать (в начале 1831 года) управляющим делами Комитета министров, камергером и в трех орденах; в 1832 году пожалован действительным статским советником, а в 1834 году статс-секретарем и с того же года, то есть с небольшим после 16 лет службы и 34 лет от роду, назначен в должность государственного секретаря — должность, которую занимал некогда Сперанский в апогее своего величия и из которой все мои предшественники переходили прямо в члены Государственного Совета. Теперь не минуло еще 21 года моей службы, нет мне еще 38 лет от роду, а я при этой должности, при звании статс-секретаря, состою уже более года в чине тайного советника и имею две звезды, пройдя все постепенности орденов. И как все это сделалось, без особенных достоинств и без связей? Повторяю опять, что этот вопрос для меня неразрешим.

16 февраля

Я часто составляю мысленно в голове своей список тем лицам, которым считаю себя обязанным, а теперь хочется записать их и здесь.

Первое место в этом ряду после моих родителей занимает Семен Филиппович Маврин. Нежная любовь и попечение обо мне с самого детства, бесчисленные одолжения, которых цена теперь только вполне мне понятна, радушная готовность к ходатайству за меня везде и всегда, когда представлялся к тому случай, наконец, его привязанность и неограниченное доверие — все это вместе стяжало ему священные права на мою благодарность — чувство, которое не угаснет во мне и к его детям. Примеры такой бескорыстной истинно родительской любви в человеке постороннем едва ли даже и встречаются.

Отто Виттенгейм — кроме ласкового внимания ко мне, когда я еще был почти ребенком, а он подвигался уже быстрыми шагами на поприще службы, и многих дружественных одолжений — ревностно способствовал мне в переводе курляндских статутов, работе, которою начались мои успехи. Имея тогда очень мало времени свободного, он с настоящим самоотвержением посвящал целые дни на самый добросовестный просмотр моих трудов, и ни тогда, ни после не напомнил мне, ни самыми даже отдаленными намеками, о своих одолжениях.

Барону Андрею Яковлевичу Бюллеру я обязан получением первого моего штатного места — переводчика в общей канцелярии министерства юстиции, на которое в то время (в 1818 году) было очень много сильно покровительствуемых кандидатов.

Ходатайству Эрнста Шепинга у покойной герцогини Виртембергской я обязан пожалованием меня в камер-юнкеры, — что тогда (в 1823 году) было несравненно труднее и важнее теперешнего.

Мне не было еще 23 лет, и я занимал маловажное место переводчика в министерстве юстиции, как вдруг — не знаю до сих пор, как это сделалось — Николай Порфирьевич Дубенский предложил мне место начальника отделения в департаменте податей и сборов, которым он тогда управлял. Переход был быстрый и внезапный, который вдруг поставил меня на одну из высших ступеней в министерском устройстве, познакомил и сблизил с графом Канкриным, дал возможность чем-нибудь отличиться, открыть путь к наградам. Потом, во все трехлетнее служение мое под его начальством, он осыпал меня всегда ласками, отличал меня перед товарищами и пользовался всяким случаем делать мне добро; отзывами своими обо мне он много содействовал установлению моей репутации. Теперь он в несчастии, и я почел бы за вы-

сокое наслаждение при изменившихся обстоятельствах быть ему в чем-нибудь полезным.

Михаил Андреевич Балугьянский любил и любит меня как сына. Его отзывы на мой счет подкрепили и утвердили то, что начал Дубенский, и в этом наиболее считаю я себя ему обязанным. И теперь дружба этого почтенного старца мне драгоценна, хотя мы редко видимся.

Отношения мои к графу Канкрину, к М. М. Сперанскому и к покойному князю Кочубею были всегда хорошими отношениями подчиненного к умным начальникам. Все три, а особенно два последние, исчерпывали до дна весь запас моего усердия и небольших способностей, но зато и щедро награждали мои труды. Канкрину и Сперанскому я наиболее обязан за то доброе обо мне мнение, которое они внушили государю. Князь Кочубей утвердил его.

17 февраля

Я вступил в так называемый большой свет уже поздно. Родители мои имели свой особенный ограниченный круг знакомства: здоровье батюшки и наклонность матушки к уединенной жизни удаляли их от всяких новых связей. И прежде Лицея и после выпуска оттуда, живя в родительском доме, я, естественно, держался того же круга и очень помню, что в невинности моей не подозревал даже, чтобы существовал еще какой-нибудь отдельный высший круг, отверзтый только своим и закрытый для профанов.

Два или три бала зимою во дворце, на которых я был тоже по службе; один или два обеда в крепости у тогдашнего коменданта Сукина, старинного знакомца моих родителей; три или четыре семейных праздника, рождений и именин у моих или у меня, где обедало несколько коротких друзей и после обеда изредка танцевали, — вот каковы были тогдашние мои рассеяния.

Эти воспоминания более всего относятся к периоду с 1827 по 1831 год. Я был уже тогда женат и жил в Коломне, у самой церкви Покрова на площади.

С 1831 года, то есть со времени перехода моего в Комитет министров, многое переменилось. Я переехал ближе к Зимнему дворцу, в большую и дорогую квартиру, стал выезжать в большой свет, который сделался уже моим светом.

Словом, мои привычки и образ жизни совершенно изменились: я вступил уже более или менее на чреду d'un grand seigneur.

Государь издавна меня считает заносчивым; теперь, может быть, меньше прежнего, но все еще это мнение не совсем в нем истребилось. Когда, в исходе 1834 года, меня предлагали в государственные секретари, он отозвался, что подумает еще об этом, но прибавил:

— Корфа надобно держать в руках: он заносчив.

Это мнение обо мне часто заставляло меня скорбеть. Отчего же родилось такое мнение государя? Теперь, повторяя свои действия до того времени, когда оно мне сделалось известным (в 1835 году), вижу, что от причин довольно естественных; вижу, что многое в моих поступках могло показаться ему заносчивостью. Они были плод или неосторожности, или неопытности, или побуждений всегда чистых, но не всегда довольно обдуманных. Но не могу скрыть от самого себя, что государю они могли казаться не тем, что были, а тем, чем представлялись.

Я имел счастье сделаться лично известным государю чрез работы во II отделении Собственной канцелярии по законодательной части, на которые он обращал тогда самое заботливое внимание. Я первый раз представлялся государю в июле 1827 года на Елагином острову; с того времени, после самого благосклонного приема, он не переставал меня осыпать ласками и самыми милостивыми приветствиями.

Осенью 1833 года случилось, что князь Кочубей, живя в Царском Селе, продержал у себя несколько долее срока посланный к его подписанию журнал Комитета, а оттого и я опоздал представлением его государю. По этому случаю князь Кочубей писал мне из Царского Села 13 октября:

«Быв у его величества, я сознался в невинном упущении моем по случаю доставления журнала Комитета министров не в назначенное время. Его величество принять изволил милостиво объяснение мое, и я имел удовольствие слышать весьма лестный высочайший отзыв на счет ваш; о чем вменяю в приятную для себя обязанность вас не отлагая уведомить». Но в чем именно состоял этот отзыв, до меня никогда не дошло, ибо князь Кочубей ни тогда, ни после ничего мне об этом не говорил, а сам я считал неуместным его расспрашивать.

В марте 1834 года я был пожалован в статс-секретари. Всех статс-секретарей государь всегда принимает в своем кабинете; но я был принят при общем представлении, в числе прочих. Впрочем, государь, как бывало и прежде, благодарил меня за труды мои и успешное движение дел Комитета в самых лестных выражениях.

В начале июня 1834 года князь Кочубей скончался, и Комитет целый месяц оставался без председателя.

При жизни князя Кочубея я многократно представлял ему, что канцелярии Комитета необходим свой врач, сколько для пользования недостаточных чиновников, столько и для надзора, когда чиновники менее надежные сказываются больными; но князь, не отказывая прямо, всегда отклонял это под разными предлогами. После кончины князя, когда не было еще председателя, я послал об этом докладную записку государю, основывая ходатайство мое на примере всех министерских департаментов. Но записка возвращена мне 24 июня с собственноручной его величества резолюцией: «Обстоятельства сии не могли не быть известны покойному канцлеру

(кн. Кочубею); однако он мне о том никогда не говорил; потому и не вижу достаточной причины вводить новое».

В конце августа того же года, когда определен уже был председателем Комитета граф Новосильцев, я представил государю о пособии одному из чиновников канцелярии Комитета, постигнутого стечением разных случайных несчастий и потерь. В этом непосредственном докладе я руководствовался как многократными прежними примерами, так и инструкцией управляющего делами Комитета, поставляющею канцелярию в прямое его подчинение, а его — в прямое по всем делам сношение с государем. Но докладная записка моя возвратилась с высочайшей резолюцией: «Представьте на рассмотрение председателя». Это и было исполнено, и хотя чиновник тот, по докладу графа Новосильцева, получил более еще, нежели я ожидал, но государь, вероятно, принял этот случай в таком смысле, что я отступил от порядка службы.

Как бы то ни было, но когда я узнал мнение государя о моей заносчивости, многое, что прежде мне казалось загадочным, для меня объяснилось. Он не беседовал со мной, не обращал на меня, так сказать, никакого внимания в публике, для того, чтобы не поддержать или не усилить моей заносчивости.

4 декабря 1834 года, после присутствия Комитета министров и без всякого особого повода, граф Чернышев сказал мне: «Мы много говорили сегодня о вас с императором. Жаль, что вы не были спрятаны в каком-нибудь углу комнаты, чтобы слышать, что говорилось на ваш счет».

Дальнейших подробностей он не прибавил, а я не расспрашивал, впрочем, внутреннее сознание говорило мне, что если я навлек на себя неудовольствие государя всем вышеизложенным, то он не может, однако, не быть сколько-нибудь доволен моими трудами и их результатами.

Потом, 6 декабря, в день именин государя, приехав во дворец к выходу, я был поражен совершенно внезапной ве-

стью о моем перемещении из Комитета в Государственный Совет — перемещении в высокой степени мне польстившем, но к которому я так мало был приготовлен, что не верил, слыша от 20, 30 человек, пока не объявил мне сам граф Новосильцев. Никого не просивши, не быв ни от кого предупрежден, я после уже узнал, что обязан этим графу Новосильцеву; но что прежде государь долго останавливался и советовался с разными лицами, в том числе и с графом Чернышевым (вероятно, 4 декабря).

Вечером на бале государь подошел ко мне и самым отрывистым тоном, почти не взглянув на меня, сказал:

— Поздравляю: мне нужно с тобой переговорить; заезжай ко мне в воскресенье (это было в четверг).

В воскресенье я явился во дворец к обедне в комитетском еще мундире. Государь, выходя из церкви, подошел прямо ко мне и, положив мне руку на плечо, сказал:

— Ты не успел еще переменить формы и в прежнем мундире.

— Государь, — сказал я, — ваш указ завтра только объявится Государственному Совету.

Потом государь повернул меня и, осмотрев с головы до ног, прибавил:

— Знаешь ли что: мне теперь некогда подробно с тобой говорить, но приезжай ко мне завтра в три часа.

Подробности этой первой в моей жизни аудиенции в кабинете государя, к несчастию, мною тогда не записаны. Она продолжалась около четверти часа, и государь был чрезвычайно милостив: о заносчивости моей не было и отдаленного намека.

С этого времени государь вообще сделался ко мне гораздо ласковее; стал говорить со мной на балах, если и не всякий раз, то по крайней мере иногда стал принимать не на общих представлениях, а в своем кабинете; а я с моей стороны

сделался осторожнее: не беспокою его уже ни просьбами, ни безвременными представлениями.

На другой день граф Новосильцев был у государя и объявил мне, что его величество отзывался ему с особенным удовольствием обо мне и о нашем свидании. Граф сказал мне, что особенно радуется перемене мыслей государя на счет так называемой моей заносчивости и что его величество между прочим отозвался, что с удовольствием видит, что я сделался солиднее.

21 февраля

До испанской революции здесь был испанским посланником Паец-де-ла-Кадена, который так долго жил в России и так сдружился с нашим климатом, что всегда почти безошибочно предсказывал погоду, не днями и неделями, а на целое время года. Это составляло его главную славу в наших салонах. В Дрездене, где он теперь живет без места и без дела, я встретился с ним в октябре прошлого года и, по старой привычке, обратился к нему с вопросами о предстоящей погоде. Предвещание его и на этот раз сбылось: он предсказал мне самую суровую зиму, не только для нас, но и для всей Европы. На самом деле, Сена, Темза и Рейн замерзли, как наша Нева; из Дании ходят в Швецию через море пешком. В Милане было 5° морозу, в Лионе до 10, в Женеве до 20, и все это, по последним известиям, продолжалось еще и в феврале. У нас декабрь, январь и частью февраль были ужасные, и всего не более разу случилась оттепель. Теперь еще дни стоят самые ясные, но с морозом в тени от 10 до 15° и более. Только в Риме и Неаполе не было зимы, и все зимние месяцы продолжалась самая благодатная весна.

22 февраля

В Совете хранятся чрезвычайно любопытные акты о первых днях, или, лучше сказать, минутах восшествия на престол обожаемого нашего государя.

Не зная, долго ли еще пробуду в Совете и вообще, что вперед будет, выпишу здесь сущность их из журналов Совета, следственно, из таких источников, которых официальность, конечно, уже неоспорима.

Не думаю, в совести моей, чтобы нарушил этим мои обязанности: во-первых, тут только подробности таких событий, которых сущность оглашена была самим правительством во всемирное известие; во-вторых, тут все так высоко и велико, что сердце русское радуется, и только мелочные понятия о канцелярской тайне могли бы оскорбиться снятием покрова с этих дивных дел; и, в-третьих, я записываю это для себя и только исключительно для себя: потому что никто и не подозревает, чтобы я вел свой дневник.

Весть о кончине императора Александра достигла Петербурга утром 27 ноября 1825 года. В тот же день, в два часа пополудни, члены Государственного Совета собрались в чрезвычайное собрание и первым долгом почли исполнить волю покойного государя.

Согласно тому председатель (князь П. В. Лопухин) поручил правившему должность государственного секретаря (А. Н. Оленину) принести в собрание хранившийся в архиве, за замком и за печатью председателя, пакет, присланный от покойного государя 16 августа 1823 года, собственноручно им написанный на имя Оленина. В этом пакете был другой, на имя князя Лопухина, а в том последнем — запечатанный пакет с собственноручной надписью государя. «Хранить в Государственном Совете до востребования моего, а в случае моей кончины, прежде всякого другого действия, раскрыть в чрезвычайном собрании Совета».

Во исполнение этой высочайшей воли пакет, по прочтении надписи и по освидетельствовании целости печати, был тут же вскрыт Олениным, и в нем оказались известные, после того напечатанные, акты о наследии престола и об отречении великого князя Константина Павловича.

По выслушании членами, — как сказано в журнале, — «с надлежащим благоговением, с горестными и умиленными сердцами, последней воли» императора Александра, член Совета граф Милорадович (тогдашний Петербургский военный генерал-губернатор) объявил собранию, что великий князь Николай Павлович торжественно отрекся от права, предоставленного ему манифестом, и первый уже «присягнул на подданство его величеству государю императору Константину Павловичу».

Когда члены Совета, вследствие этого, обратились к графу Милорадовичу с просьбой исходатайствовать у великого князя дозволение Совету явиться пред лицо его высочества, дабы «удостоиться слышать из собственных его уст непреложную его по этому предмету волю», то они приглашены были великим князем в бывшие комнаты великого князя Михаила Павловича, и тут он всему Совету изустно подтвердил, что «ни о каком другом предложении слышать не хочет, как о том только, чтобы учинить верноподданническую присягу государю императору Константину Павловичу, как то он сам уже учинял; что бумаги, ныне читанные в Совете, ему давно известны и не колебали его решимости, а потому, кто истинный сын отечества, тот немедленно последует его примеру». После этого, по усиленной просьбе членов, его высочество, прочитав раскрытые в собрании Совета бумаги, поспешил предложить членам идти в придворную церковь для учинения надлежащей присяги на верное подданство государю императору Константину Павловичу.

Вследствие этого министр юстиции донес великому князю, что, как он имеет в Сенате бумаги, подобные тем, которые хранились в Совете, то уже не будет раскрывать их в Сенате. Потом все члены пошли вслед за великим князем в придворную церковь. Во время принесения ими присяги великий князь оставался в церкви. Наконец, по его приглашению, Совет был введен в собственные комнаты государыни императ-

рицы Марии Феодоровны, где при ней была и вся августейшая фамилия.

«Государыня императрица, — продолжает далее журнал, — несмотря на жестокую свою печаль, почла нужным объявить членам Совета, что бумаги, ныне в собрании оного читанные, ее величеству известны; что все это было учинено по добровольному желанию самого цесаревича; но что она должна по всей справедливости согласиться на подвиг великого князя Николая Павловича. В заключение ее величество подтвердила членам Совета служить верою и правдою».

Все это было записано в журнале, с которого список положено представить «государю императору Константину Павловичу».

Спустя две недели после этого — достопамятные две недели, которые все мы провели в каком-то смутном ожидании, — 13 декабря члены Совета собрались в секретное заседание, по особым повесткам, в 8 часов вечера и были приглашены князем Лопухиным к ожиданию в это заседание личного присутствия великих князей — Николая Павловича вместе с Михаилом Павловичем, которого возвращения в столицу ожидали в самом скором времени.

В 12-м часу ночи первый приказал объявить Совету, что, как Михаил Павлович еще нескоро, может быть, приедет, а дело, которое его высочество имеет объявить, не терпит отлагательства, то он решился прибыть немедленно в собрание Совета, что и было вслед за тем исполнено.

Отсюда я начну уже говорить подлинными словами журнала, с сокращением лишь титулов.

«Его высочество, по прибытии в Совет, заняв место председателя и призвав благословение Божие, начал сам читать манифест о принятии им императорского сана, вследствие настоятельных отречений от сего высокого титула великого князя Константина Павловича. Совет, по выслушании этого манифеста в глубоком благоговении и по изъявлении в

молчании нелицемерной верноподданнической преданности новому своему государю императору, обратил опять свое внимание на чтение его величеством всех подлинных приложений, объясняющих действия их императорских высочеств. После этого государь император повелел правящему должность государственного секретаря прочесть вслух отзыв великого князя Константина Павловича на имя председателя Совета князя Лопухина.

По прочтении этого отзыва его величество изволил оный взять к себе обратно и, вручив министру юстиции читанные его величеством манифест и все к нему приложения, повелеть соизволил немедленно к исполнению и к напечатанию оных во всенародное известие. После чего его величество, всемилостивейше приветствовав членов Совета, изволил заседание оного оставить в исходе 1 часа ночи. Положено: об этом знаменитом событии записать в журнал, для надлежащего сведения и хранения в актах Государственного Совета; причем положено также сегодня, т. е. 14 декабря, исполнить верноподданнический обряд произнесением присяги перед лицом Божиим, в верной и непоколебимой преданности государю императору Николаю Павловичу, что и было членами Совета и правящим должность государственного секретаря исполнено в дворцовом большом соборе».

На этом журнале сверху надписано: «Утверждаю. Николай». Подписан он 22-мя членами (5 мест оставлено в пробеле), из которых теперь, через 12 лет, в живых только 9. Младшим был тогда М. М. Сперанский.

Кроме этого, государь в свое царствование был в Совете еще два раза: 21 декабря 1829 года, при рассмотрении дела о понижении банковых процентов, и 19 января 1833 года, при рассуждениях о введении в действие Свода законов. По последнему вопросу государь сам открыл заседание, изъясняя, что прежде, нежели приступлено будет к суждению о пред-

мете, для коего Совет собран, он желает изложить ход дела, поскольку это относилось к действию, собственно от него зависевшему.

Далее государь продолжал, что, при самом восшествии на престол, он счел долгом обратить внимание на разные части управления, о коих не имел почти никакого сведения.

Первый предмет, к которому его величество, по важности оного, устремил все внимание свое, было правосудие. Его величество в самой молодости своей слышал о недостатках у нас в оном, о ябеде, о лихоимстве, о неимении полных законов, или о смешении оных от чрезвычайного множества указов, нередко один другому противоречащих. Это побудило его с первых дней его правления рассмотреть, в каком состоянии находится комиссия, для составления законов учрежденная. К сожалению, представленные сведения удостоверили его, что труды комиссии этой не имели никаких последствий. Нетрудно было открыть, что это происходило главнейше от того, что всегда обращались к составлению новых законов, а не к основанию на твердых началах старых. Поэтому он признал за благо прежде всего определить, к чему по законодательству правительство должно направлять виды свои, и, вследствие того, обратился к началам, противным тем, коими прежние комиссии руководствовались, т. е. чтобы не созидать новых законов, но собрать и привести в порядок старые.

Засим государь, означив в главных чертах данный им для совершения сего труда план учреждения для оного в Собственной его канцелярии особого (II) отделения и личное свое в этом деле участие, упомянул еще о помещенных в Своде основных законах, собственно до него и до августейшей его фамилии относящихся.

Всем известны, продолжал он, разные превращения, в наследстве престола происходившие; блаженной памяти родитель его установил первый на твердых основаниях права

наследия и издал учреждение об императорской фамилии, которое, так сказать, освятил, положив на престол в Успенском соборе. Так, император Александр I дополнил постановления сии, когда великий князь Константин Павлович сочетался браком с княгинею Лович. Так, сам он дополнил узаконения эти постановлением о правителе государства, — акты, кои также освящены тем, что там же, где и первые, императора Павла I, находятся. Государь счел нужным эти основные законы, впрочем, уже давно изданные и всем известные, соединить ныне вместе.

Достопамятная речь эта, которая в журнале отличена только в кратких очерках, продолжалась около часу. Государь говорил — как все очевидцы единогласно отзываются — с увлекательным красноречием. М. М. Сперанский, которому государь тут же надел снятую с самого себя Андреевскую звезду, сказывал мне после, что он говорит, как профессор.

Это заседание имело последствием указ 27 января 1833 года и обнародование Свода, с той силой исключительного и общего закона, которую он теперь имеет.

24 февраля

Сегодня хоронили жену знаменитого нашего банкира и богача Штиглица. Это тоже можно записать в число происшествий, потому что на похоронах было, я думаю, карет полтораста.

Вчера я обедал у графа Новосильцева втроем с М. М. Сперанским. Но тут больше имелся в виду не обед (впрочем, славный, как всегда у Новосильцева), а переговоры по делу, всех нас теперь много занимающему. Это проект учреждения С.-Петербургской полиции, огромное, многосложное, но вместе и очень незрелое творение, составленное в особом комитете под председательством Сперанского. Сперва принялись было читать его в Совете от доски до доски, но увидели, что так конца не будет и что притом дело слишком

важно, чтобы довольствоваться одним поверхностным слушанием скорого и не всегда внятного чтения. Поэтому испросили высочайшее повеление весь проект напечатать и разослать к членам для представления их замечаний письменно. Таких замечаний поступило устрашающее множество, и не на одни подробности, а на самые основания проекта.

Мы составили из них свод и начали докладывать в прошлый понедельник, но не тут-то было. Никто из членов не захотел останавливаться на мелочах, и все требовали, чтобы прежде решить основные, так сказать, жизненные вопросы дела, которые Сперанский хотел отложить до конца частных замечаний. Споры, по обыкновению, были беспорядочные и шумные; но такого сильного нападения я давно в Совете не помню. Бедный Сперанский, утомленный нескончаемым прением, должен был уступить, и в следующее заседание дело от частностей перейдет уже к общим началам. Вчерашнее совещание наше у графа Новосильцева имело предметом установление этих начал, и Сперанский частью добровольно, а частью склоняясь на наши убеждения, согласился все то, что возбудило споры в Совете, т. е. гораздо более важнейшей половины проекта, из него исключить.

— Уступаю, — сказал он нам, — не по убеждению в том, чтобы мои предположения были дурны, но потому, во-первых, что у нас вообще мало, а в полиции и совсем нет людей, способных вразумиться в новые правила и достойным образом исполнять их, и во-вторых, чтобы избежать нарекания, если дело пойдет худо: ибо неуспех отнесут, конечно, не к исполнителям, как бы следовало, а к недостаткам самого закона, сколько бы ни был он хорош.

— Вообще, — продолжал он, обратясь ко мне, — не нам уже в наши лета писать законы: пишите вы, а наше дело будет только обсуживать. Я слишком уже стар — и чтобы писать и чтобы отстаивать написанное, а всего тяжче то, что пишешь с уверенностью не дожить до плода своих трудов.

И так этот проект, наделавший столько тревоги и в Совете и в публике, в будущий понедельник, вероятно, лопнет, как мыльный пузырь. И слава Богу: тут не полиция учреждается для жителей, а некоторым образом жители предполагаются существующими для полиции. Весь проект в настоящем его виде был бы источником к бесконечным притеснениям со стороны даже самых мелких полицейских клевретов, а от этого к бесконечным неудовольствиям и жалобам, отголосок которых, к несчастью, ложится постепенно и на высшее правительство. Это самое, со всей верноподданнической преданностью и искренностью, говорил я на днях и великому князю Михаилу Павловичу, при беседе его со мной об этом злополучном проекте.

25 февраля

Вчера был у графини Разумовской раут, настоящий лондонский, тесный, удушливый раут, где все кипело народом от первой ступеньки лестницы и где насилу можно было пробраться до хозяйки, чтобы отдать ей поклон, и потом исчезнуть в толпе, или и тотчас уехать домой, как многие делали. Тут были и государь с императрицей, и великий князь Михаил Павлович с супругой. Государь говорил со мной очень ласково. Главным предметом нашей беседы было то, много ли мы успели наделать в Совете в сегодняшнее утро. Я отвечал, что заседания совсем не было.

— Как же во вторник граф Новосильцев мне сказал, что будет, а я считал, что непременно и нужно, потому что теперь полицейское дело берет много времени и опасно, чтобы не остановить текущие дела.

Я объяснил на это, что полицейскому делу заседания до будущего понедельника ни в каком случае быть не могло, потому что М. М. Сперанский вызвался приготовить по возникшим вопросам некоторые объяснения; что текущим делам остановки не будет, ибо мы начинаем ими каждое за-

седание, пока соберутся все члены и что таким же образом было и в прошлый понедельник, в который заседание продолжалось до 4 часу.

— Да, просидели долго, — сказал государь, — да ничего не наделали. Впрочем, объяснения М.М. уже готовы; он был у меня сегодня утром и их читал.

26 февраля

На днях умер униатский митрополит Булгак[263].

1 марта

Опять летопись смерти: на днях умерли архимандрит Юрьевского монастыря (у Новгорода) Фотий и граф Медем в Митаве. Сын простого дьячка в Новгородской губернии, Фотий обязан всем, что он был, самому себе. Жизнь его была жизнь истинного отшельника, преисполненная отречений и добрых дел: все бедные монастыри и церкви новгородские получали от него щедрые пособия, и он явно и тайно благотворил тоже многим частным лицам. И при всем том он был почти ненавидим в публике: все его хулили, называли иезуитом, тонким пронырой, а когда дело шло о доказательствах, их ни у кого не было.

Я познакомился с ним лично летом 1830 года, быв с матушкой в Новгороде на богомолье. Прием его всем и каждому был прием высокомерного прелата, гордого своим саном,

---

[263] Иосафат Булгак, бывший с 1787 года суффраганом и коадъютором епископства пинского и туровского, в 1798 году, при преобразовании устройства униатской церкви, возведен был в епископы брестские, а в 1814 году в митрополиты греко-униатских церквей в России. Он был воспитан в римской коллегии пропаганды и там в 1785 году посвящен в униатские священники. Под конец своей жизни, по старости, он был почти совсем устранен от управления делами и, живя в Петербурге, пользовался одним почетным титулом. Он умер в глубокой старости. Память его особенно уважается католиками за настоятельное сопротивление воссоединению униатов, которое и совершилось уже, как известно, после его смерти.

а может быть, и своим богатством; но зато и принимаемы были все равно: и женщин, и мужчин, без разбора званий, он приветствовал простым «ты». Не от этого ли и не жаловали его наши магнаты? Но сквозь эту грубую оболочку просвечивали искры светлого ума, поэзии, даже чего-то гениального. Те полчаса, которые я с ним провел, оставили во мне глубокое впечатление. Помню и теперь несколько слов его беседы, относящейся к иноческой жизни.

— Мы (монахи) и денно, и нощно, и всякую минуту нашей жизни, — говорил он, — уподобляемся воинам, борющимся со своими врагами; должны, как они, быть на всегдашней страже, если не против внешних, то против опаснейших еще внутренних врагов — наших страстей; и горе изнемогающему! Потому те, которые называют нас празднолюбцами, тунеядцами, горько ошибаются. Если бы было истинно так, то неужели в многолюдном населении России не нашлось бы более охотников к монашеской жизни?

Тут он раскрыл историю Российской иерархии и в доказательство своих слов указал мне, что всех монашествующих обоего пола у нас не более пяти тысяч.

— Дай пройти еще одному, двум десятилетиям, — продолжал он, — и увидишь, что с увеличением суеты мирской никто уже не будет искать этой хваленой жизни, обители наши опустеют, и одни наши могилы напомнят, что были люди, работавшие Богу молитвою и отречением. Но лучше ли будет оттого, что на фабриках ваших, или в рядах войск, или в палатах станет лишних 5000 человек, которые прежде усердно на раменах своих несли бремя ваших прегрешений; что закроют эти спасительные убежища труждающихся духом, растерзанных бедствиями и треволнениями жизни; что желающий обречь себя Богу не найдет больше нигде тихого пристанища от житейского моря?

Таковы были его мысли, но не могу передать красноречия слов, которыми он выражал их во вдохновенной беседе.

Надменное высокомерие Фотия проявлялось при всяком случае, и только сильным покровительством графа Аракчеева можно объяснить, как выносили его современники. В двадцатых годах, когда он был в апогее своего значения, на экзамене в здешней Духовной академии он шел с князем А. Н. Голицыным к завтраку, как вдруг один маленький чиновник, зайдя сбоку, подошел под его благословение; но Фотий отшиб с презрением поднятую к нему руку, продолжая, не оглянувшись, свой путь. На том же экзамене Сперанский, в ленте и звездах, подошел тоже к его благословению.

— Кто ты? Я тебя не знаю, — отвечал ему, с тоном высшего пренебрежения и отвернувшись, дерзкий архимандрит.

И Сперанский, смущенный в высшей степени, должен был назвать себя по имени.

— А, ты Сперанский; ну, Христос с тобою! — И, перекрестив его и дав поцеловать свою руку, он не прибавил ни слова в извинение.

Оба эти анекдота рассказывал мне очевидец, директор канцелярии министра императорского двора Панаев.

При смерти его присутствовали три дамы: графиня Орлова (которую он называл всегда «сестра Анна» или просто «Анна»), Державина, вдова знаменитого поэта, и старая девица Жадовская. Сверх них, находился еще тут князь Платон Александрович Ширинский-Шихматов (впоследствии министр народного просвещения), коего родной брат был монахом в том же монастыре (известный монах Аникита).

2 марта

Сперанский года два занимался уже с наследником наукой законодательства и администрации.

Теперь государь предложил графу Канкрину заниматься с ним финансами и политической экономией. Таким образом первые два государственные человека наши получили новое, высокое призвание.

Гений их довершит то блестящее по всем частям воспитание, которое дано русскому цесаревичу.

Граф Канкрин рассказывал мне, что ездит к наследнику два раза в неделю и читает ему свои тетради о высших видах финансового управления и о финансовой статистике не только России, но и всей Европы, — тетради, которые он теперь же пишет по мере того, как подвигаются его лекции.

9 марта

Возобновление Зимнего дворца после пожара или, по крайней мере, приготовления к возобновлению идут очень успешно. Кругом дворца со всех сторон вырос целый город: это жилье для рабочих, складки для материалов и проч.

На целом дворце наведена временная деревянная крыша. Вся внутренность и часть наружности уставлена лесами и подмостками. При скорости их построения не могло обойтись и без несчастий. На днях некоторые леса обвалились: два человека убито до смерти, а шестерых отвезли в больницу полумертвыми. К счастью, что это случилось в воскресенье, и оттого было немного людей на работе.

9 марта

Сегодня императрица в первый раз была в Артиллерийском училище вместе с государем, наследником, с великим князем Михаилом Павловичем и с двумя старшими великими княгинями. Они пробыли там около часу и осматривали все подробности.

Императрица тут же выпросила всевозможные милости у государя. Состоявшие под наказанием прощены, арестованные выпущены и прочее. Всех воспитанников распустили гулять на два дня.

12 марта

Вчера я был у великого князя Михаила Павловича с некоторыми советскими бумагами и сидел у него, по обыкнове-

нию, предолго. Я высоко ценю благорасположение ко мне этого истинно доброго, благородного, благонамеренного человека, любящего Россию столь же пламенно, сколько он безусловно предан своему брату. Он всегда со мной чрезвычайно откровенен, а я с ним говорю гораздо смелее и искреннее, чем со всеми нашими вельможами: положение его так высоко, так отчужденно от мелочных интересов и соображений людей частных, в какой бы степени они ни были поставлены, что тут отважно можно высказывать разные истины, которые передать другому призадумаешься.

Вот главные моменты нашей вчерашней беседы.

Была речь о председателе Совета графе Новосильцеве.

— Это человек умный, просвещенный и совершенно благонамеренный, — сказал я, — чего ему, быть может, не хватает, это дара слова и способности управлять прениями.

— Скажите лучше, — отвечал он, — полицейских способностей: он не может заставить этих господ молчать и внушить им несколько большее уважение к занимаемому им посту. Посмотрите, как поэтому трудно среди их болтовни уловить суть их дел или просто следить за нитью чтения.

— При всем том, — продолжал он, — страшное бы было затруднение кем-нибудь его заменить.

Я с этим совершенно согласился, но возразил, что в городе неоднократно носился слух, что займет его место его высочество.

— Никак, — отвечал он. — Я не довольно знаю дела, не довольно опытен и не решился бы принять этой важной должности.

— Однако же, — сказал я, — сколько важных жизненных для России дел решено еще в последнее время по указаниям и мнению вашего высочества; без вашей энергии, без вашей высокой привязанности к России было бы, может быть, далеко не то.

От этого натурально перешел разговор к проекту нового образования С.-Петербургской полиции, этому вредному делу, отклонением которого мы точно обязаны великому князю.

— Не могу не отдать при этом случае справедливости Сперанскому, — сказал он. — Согласитесь, что и прочесть эту огромную книгу надобно было месяц, а каково же написать. И при всем том, когда мы указали вред, могущий от нее произойти, он охотно уступил и пожертвовал пользе общей своим огромным трудом, может быть, своим убеждением, без споров, без злых чувств. И вспомните, что ему под 70 лет, что, следственно, для него уже нет будущности, что это, может быть, была его лебединая песнь. Это отречение поставило его еще выше в моих мыслях, и я желал бы, чтобы он уверился, что если я всячески оспаривал его работу, по убеждению в ее вреде, то ничего не имею против его лица.

Тут он сравнил Сперанского с графом Канкриным и отдал предпочтение первому в том, что он действует без страстей, тогда как последний увлекается упрямством, сердясь и осуждая каждого, кто не согласится с его мнением, и употребляя даже для убеждения косвенные угрозы: «что об этом предварен государь, что противное будет ему неприятно и прочее».

— По мне, — продолжал он, — в этом случае все равно: я действую по своей совести и по своей присяге; говорю, как вижу и как думаю, не входя ни в какие посторонние соображения. Мы поставлены, чтобы говорить государю правду, хотя бы она могла возбудить временно гнев. Прикажет, и наше дело слепо повиноваться; но пока не прикажет, мы должны смело и откровенно выговаривать, как бы нам казалось полезным, чтобы он приказал.

Была речь и о знаменитом в свое время проекте закона о состояниях, который в 1830 году был предложен Совету и отвергнут главнейше по настояниям великого князя.

— Я действовал против этого проекта по мере своих сил, — сказал он, — потому что видел в нем готовые элемен-

ты революции. И сообразите обстоятельства: в июле 1830 года произошла французская революция, в сентябре — бельгийская, в ноябре — варшавская; нам этот проект предложен был в предшествовавшем апреле; пока бы его обнародовали и он отозвался во всех частях широкой нашей России, прошло бы несколько месяцев, и наконец к исходу года мы тоже бы созрели к мятежу, как созрела после Франция, Бельгия и Польша. Князь Кочубей и Сперанский сперва крепко сетовали на меня за мою оппозицию, но потом, думаю, сами убедились, что она была не бесполезна.

Между разговорами о государственных наших установлениях великий князь сказал:

— Крепко ошибаются иностранцы в мыслях своих о России. Между тем как все народы Европы копаются в либеральных теориях, мы в полной мере пользуемся либерализмом в его практическом применении. Если нас жмут исправники, на которых есть суд, то тех жмут гораздо больше самовластные палаты, на которые нет расправы. Но где, скажите, есть такое муниципальное правление, как у нас? Где во всех степенях суда и полиции есть выборные от всех сословий? Где солдат, поступивший из моих крепостных людей, может через год сделаться мне равным и иметь сам крепостных людей? В Австрии графиню Бубна, жену знаменитого воина, администратора, писателя, не пускали во всю жизнь ко двору потому, что она была не дворянского происхождения, а муж при всех исторических своих заслугах не мог передать ей своего состояния!

Наконец между многим другим великий князь упомянул, сколько он благодарен за то, что посажен в Совет.

— Здесь только, — сказал он, — мог я познакомиться с людьми и с игрой страстей, — вещь, от которой без того всегда отдалило бы меня мое положение. Я тут узнал и цену людей.

Жаль, что в России мало знают великого князя и что часто сам он скрывает себя под каким-то покровом мелочей, особенно во всем, относящемся до военной службы.

5 апреля

Умер Дмитрий Львович Нарышкин, и занемог опасно наш граф Новосильцев; болезнь его еще в самом разгаре, и нельзя сказать ничего решительного. У нас по статс-секретарству новый товарищ князь Александр Федорович Голицын, состоявший долго при великом князе Константине Павловиче в особой милости, человек добрый, умный и образованный.

7 апреля

Графу Новосильцеву не лучше. Вопрос, кому исправлять его должность временно до решения большого вопроса о том, кто совсем заступит его место?

По общему порядку, в отсутствии председателя Совета или в его болезни, должность его занимает, если не последует особого назначения, старший из председателей департаментов. Теперь здесь налицо старший князь Варшавский, но только на несколько дней, а за ним следует граф Литта, к которому я и обратился.

10 апреля

Только три дня и сколько происшествий! С 7 числа вечера графу Новосильцеву гораздо сделалось хуже; по желанию семейства его исповедовали и причащали в полупамяти; 8-го утром посланному моему отвечали, что доктора произнесли уже смертный приговор и что он не переживет дня. В то же утро я был у графа Орлова и, по общему городскому слуху и разным намекам государя, мы заключили, что председателем будет Сперанский.

В 6 часов после обеда мне дали знать о кончине графа Новосильцева.

Мне хотелось, чтобы погребение председателя сделано было со всем приличием и вместе, чтобы Огаревы[264] не истратили на него последнее, что у них есть. Поэтому от государя я проехал прямо к министру финансов, больше за советом, что делать, чем с просьбой. Но граф Канкрин, с обыкновенным своим добродушием, пошел дальше меня и советовал, чтобы Огаревы обратились к нему письменно с просьбой о пособии, а он тотчас представит об этом государю. Но Огаревы на предложение мое решительно отказались: покойный во всю жизнь свою никогда ничего не просил, и потому они решаются лучше продать или заложить, что можно, чем просить о пособии после его смерти.

Сегодня я являлся уже в полной форме к новому моему председателю (графу Васильчикову), с которым, впрочем, состою уже семь лет в близких служебных отношениях, сперва в Комитете министров, а потом в Совете, где он до сих пор был председателем департамента законов. Он принял меня больше чем ласково, обнимал, просил моего содействия, изъявлял свою доверенность в самых лестных выражениях, которые в устах этого прямодушного и правдивого человека суть не комплименты, а истина.

— Я принял это место с тяжким сознанием своей малоспособности, — сказал он мне, — с уверенностью, что это бремя разрушит последние остатки моего слабого здоровья; но принял его по двум убеждениям: по ничтожностям, которые видел около себя в числе кандидатов, и потому, что вас буду иметь сотрудником. У обоих нас одна цель и одно желание: слава государя и польза России. Будем вместе трудиться

[264] Сенатор Огарев был женат на родной племяннице графа Новосильцева.

и поддерживать друг друга на этом тяжком, но славном поприще.

Почтенный старец был растроган до слез. Умиление его сообщилось и мне. Характеристика его личности и его отношений к государю и к публике — когда-нибудь после при большем досуге.

11 апреля

Сегодня граф Васильчиков в первый раз председательствовал в Совете. Я встретил его в аванзале Совета в ленте, со всеми старшими чинами государственной канцелярии, и тут его приветствовал. Заседание по роду дел было незанимательное, и новому председателю не было случая показаться.

Я рассказывал сегодня графу Литте отзыв о нем государя. Он был в восторге и даже расцеловал меня, как будто бы тут было и какое-нибудь участие и с моей стороны.

— Но, дорогой барон, что я прошу у вас, как знак дружбы, это — рассказать об этом в городе.

И в восемьдесят четыре года это почти ребяческое тщеславие, эта просьба к человеку, который почти на пятьдесят лет его моложе и в котором он не может предполагать необходимой обязанности скрывать, что рассказывает он именно по его просьбе! Впрочем, я потешу старика.

— Верьте, впрочем, — продолжал он, — что не мое имя, не возраст вызвали мое назначение, но что это преимущественно моя религия; я католик, а католик в России по теперешнему времени хуже, чем еврей. Впрочем, совершенно правы: есть вопросы, в которых мое вероисповедание иногда поставило бы меня в оппозицию со всем Советом, я так как я не могу действовать против моей совести или против их истин, которые были моим утешением с детства, все это могло бы кончиться спорами вредными для дел и поэтому и народному благу. Я предпочитаю сохранить мое теперешнее место и давно уже отказался мечтать о титуле председателя Совета.

8 мая

Государыня отправилась в Берлин несколькими днями ранее государя, потому что в дороге ночует, а приехать туда они хотят вместе. С ней поехала одна великая княгиня Александра Николаевна, которой дедушка еще не знает. Сопровождают ее министр императорского двора князь Волконский, граф Бенкендорф, доктор Арендт и фрейлины — графиня Тизенгаузен и Нелидова. Первый едет вперед и съезжается с ними только на ночлегах. С государем поехал наследник; при них: генерал-адъютанты граф Орлов, Адлерберг и Кавелин; флигель-адъютант князь Долгоруков; наставник наследника Жуковский; камергер Толстой и три товарища наследника по воспитанию, гвардейские офицеры: граф Виельгорский, Адлерберг и Паткуль. Прежде всех отправились два младших великих князя: Николай и Михаил, которых Прусский король тоже еще не знает. При них генерал Философов.

Примечательно, что государь уехал в ночь со 2 на 3 мая, а до сих нет еще ни слова об его отъезде ни в одной из наших газет: вероятно, оттого, что без него и без графа Бенкендорфа некому разрешить печатание. Если следовать одним газетам, то мы из прусских узнаем о его приезде в Берлин прежде, чем из наших об его отъезде. Нет, конечно, ничего скучнее, как переписывать газеты, а между тем надо согласиться с тем, что выборка из них составила бы одну из любопытнейших частей современных записок, когда через десятки, через сотни лет все эти газеты исчезнут и все их подробности перейдут в область истории. Теперь во всех них только и речи, что о прибытии нашего царя с его семьей в Берлин, о тамошних праздниках, маневрах и проч.

Государь совершил свой переезд с быстротой почти баснословной. Выехав отсюда в ночь с понедельника на вторник,

он в субботу в 6-м часу после обеда был уже на месте. Ему нет надобности и в железных дорогах!

31 мая

Вчера в ночь с 29 на 30 мая мы лишились опять члена, действительного тайного советника Родофиникина, едва только вступившего в Совет, свежего, крепкого, щеголявшего всегда своими силами и здоровьем, 74-летнего старика, который при этих летах был пободрее нас, молодых. Еще в четверг он был в Совете, еще в воскресенье гулял в Летнем саду, а в ночь с воскресенья на понедельник его уже не стало, от аневризма или какой-то подобной болезни в сердце. За отъездом графа Нессельроде в чужие края он управлял теперь временно министерством иностранных дел, где от внезапной его смерти сделалась страшная суматоха: при отсутствии государя они не знают, как им быть, и не нашлось ничего иного, как вступить в управление министерством его Совету впредь до повеления. Родофиникин во всех отношениях был примечательный человек: родом грек, неизвестного происхождения, пришлец в Россию, он сперва служил в военной службе, а потом одним умом успел достигнуть постепенно настоящих высоких званий. Сделавшись правою рукою графа Нессельроде, особенно по всем сношениям с востоком, он долгое время управлял Азиатским департаментом, и, конечно, во всей России нет человека, который бы так подробно знал Азию со всеми ее большими владыками и маленькими князьками. Ловкий, тонкий, необыкновенно приятный в обществе, услужливый, приветливый, вежливый со всеми без низости, он был любим почти всеми, кто его знал, и хотя некоторые почитали его пронырливым интриганом, но никто не умел представить на это доказательств; у него остался один только законный сын от давнишнего брака, который служит в Грузии. Между тем, когда теперь пришлось его хоронить, то должно было принять это на себя министерство, потому что, кроме дальних и незначащих свойственников, никого здесь нет.

Поездки по Царскосельской железной дороге идут с блистательным, превзошедшим всякие надежды и расчеты успехом. На днях открыта и дорога из Царского в Павловское, где выстроен на счета общества вокзал — чудо вкуса и великолепия. В последнюю неделю с одного воскресенья до другого включительно собрано около 50 000 руб. серебром, и в том числе в одно последнее воскресенье 12 880 руб.! И все это в погоду, хотя и ясную, но совсем еще не настоящую летнюю.

Несмотря на довольно дорогие цены, едут люди всех классов, разумеется, больше из любопытства, чем по действительной потребности. И beau monde наш пока совсем еще не устраняет себя от этого удовольствия. Только малое число трусливых староверов предпочитает еще тихую езду по пыльному шоссе.

— Раз, два, счастливо; а потом и быть какой-нибудь беде; так лучше кататься по-старому: хоть тише, да безопаснее, — говорят они.

Это я слышал вчера между прочим от князя Голицына и Сперанского, которые теперь часто ездят между Царским и Петербургом; один к царским детям, а другой к своей дочери. Но и их мало кто слушает, и доказательство, что в последнее воскресенье недостало в Царском, под конец дня, ни шампанского, ни хлеба, не говоря уже о прочем.

3 июня

Сегодня были в Невском похороны Родофиникина, менее великолепные по наружности, нежели похороны графа Новосильцева, но более оживленные сочувствием. Хоть у нас не принято, чтобы дамы были на похоронах мужчин, когда в остающемся и присутствующем при церемонии семействе нет женского пола, однако тут была графиня Нессельроде.

Примечательно, что покойный при всем отменном уме своем и совершенно европейской образованности был очень суеверен. Когда-то, лет сорок тому назад, бродячая цыганка

предсказала ему всю его будущность, и он часто любил повторять, что все ее предсказания сбылись слово в слово. Между прочим она прорицала ему, что он получит много лент и будет жить и здравствовать, пока они будут с левого плеча; но как скоро получит он затем ленту накрест, т. е. с правого плеча, то это будет предзнаменованием близкой его смерти. В конце прошлого года ему дали Владимирскую ленту, которая носится именно с правого плеча, и я сам помню, как он тогда всем это рассказывал, прибавляя в шутку, что желал бы лучше не получать никакой награды. В прошлый четверг был еще совсем здоровый в Совете; когда, при начале заседания, сели члены за присутственный стол, он сосчитал, что всех их ровно 13 и тотчас шепнул своему соседу (А. С. Лавинскому), что, видно, кому-нибудь из них на днях умереть, — и через три дня его уже не стало.

4 июня

Предчувствие наше сбылось: мы знали, что маневры в Берлине кончились после 20 мая; что маневры в Варшаве должны были начаться 15 июня. По всему этому догадывались, что государь едва ли вынесет так долго скуку непривычного бездействия и, верно, воспользуется свободным до 15 июня временем, чтобы посмотреть на нас и на оставшуюся здесь часть своего семейства. Так и случилось. В ночь с 25 на 26 число государь вместе с наследником и с обоими младшими своими сыновьями выехал из Берлина в Штеттин, оттуда 26-го поехал с ними на пароходе в Стокгольм, куда прибыл совершенным сюрпризом для старика-короля, и наконец 3 июня утром в 10 часов воротился к нам в Петергоф.

8 июня

Насчет свидания этого с королем шведским ходят у нас два сказания. По одному, государь вошел к королю в свите наследника, и когда наследник, представив всех его сопрово-

ждавших, обошел государя, то король с удивлением спросил, отчего не представляют ему этого величественного казацкого генерала (государь был в казачьем мундире), которого он не знает. Тогда государь, выступив сам вперед, сказал: «Государь, это отец молодого человека, которого вы приняли так дружелюбно».

Но по другому сказанию, если менее поэтическому, то, по крайней мере, достовернейшему, потому что мне передал его очевидец (полковник Дюгамель), государь с наследником вошли к королю точно вместе, но государь представил себя тотчас сам словами: «Государь, вы ожидали сына, а приехал отец». Во всяком случае, это посещение было самым неожиданным сюрпризом для короля, и он поражен был до слез: «Это посещение навсегда укрепит мою династию на шведском престоле», — повторял он потом много раз. Не сказать ли после этого, что государь наш первый дипломат в мире и что это минутное свидание сильнее всех возможных мирных трактатов.

11 июня

Генерал Ермолов — эта знаменитая и, конечно, всех более популярная репутация в России, исчезнув давно уже с политического поприща, нынче вздумал опять явиться вдруг ко двору и присутствовать несколько месяцев в Совете. Каким образом это сделалось, не знаю, но едва ли доброй волей; по крайней мере, он едет уже опять на днях в бессрочный отпуск в свою подмосковную и сказывал мне, что нарочно избегает прощаться с государем, чтобы не подпасть под затруднительный вопрос: «Когда он думает воротиться опять в Петербург?»

«Я чувствую, — говорил он мне, — что я здесь совсем лишний человек: ко двору не гожусь, а в Совете совсем бесполезен; и я говорю это не для того, чтобы вымолить комплимент. Я отжил свой век».

Действительно, в Совете он совсем почти не говорит и большую часть времени дремлет. Не берусь судить о других достоинствах потому, что не довольно коротко его знаю, и могу только отдать справедливость его чрезвычайному дару слова в рассказах и вообще в разговорах. В прочих отношениях он для меня совершенная загадка, но едва ли он в уровень со своей репутацией. На днях я слышал от него испытанный им над самим собою примечательный опыт врачующей силы гомеопатии.

Он от рождения лишен был обоняния — по крайней мере, до известной очень сильной степени: «Запахи известны мне были, — рассказывает он, — только по крепчайшим экстрактам; таким образом я мог различить розовое масло от экстракта резеды, но не знал ни запаха розы, ни запаха резеды в естественном их положении; тухлую говядину, от которой все бежали из комнаты, я ел за свежую. В прошлую зиму в Москве я стал лечиться гомеопатически у очень искусного врача, и вдруг родилось для меня новое чувство, чувство самого тонкого обоняния, так что теперь я слышу, если в другой комнате поставлен горшок с цветами».

15 июня

Настали наши вакации, а с ними наш отъезд, на первый раз в Киев, а потом куда Бог даст, может быть, и далее на юг. Я еду с женой и с сестрой и с обоими нашими птенцами, разоряться, подышать другим воздухом, посмотреть на нашу Русь святую. Сейчас отслужим молебен, чтобы испросить благословение свыше на дальний путь.

13 числа я обедал еще у председателя на прощанье, и потом мы подписали полугодовой отчет наш государю: дел за Советом не осталось ни одного; за справками и проч. — только восемь; отчет блистательный, особенно после непомерного множества и относительной важности бывших у нас в это полугодие дел.

У председателя обедал опять партизан-поэт Давыдов, столько же любезный в обществе, сколько острый и умный с пером в руке. Он рассказывал между прочим множество анекдотов о славном Платове, один другого забавнее. Теперь, за уборкой и хлопотами дорожных приготовлений, мне, к сожалению, некогда их уже записывать; но один всех смешнее. Платов обедал с Карамзиными; после обеда, когда первый, по обыкновению, был уже совсем навеселе, последний вздумал спрашивать его об успехах просвещения в Донском войске.

— Я, батюшка, — отвечал Платов, — об этом много не хлопочу, потому что терпеть не могу ученых: они все или канальи, или пьяницы.

Надобно заметить, что это говорил подгулявший Платов ученому Карамзину.

18 сентября

Вот я опять дома, опять в кругу своих, в том Петербурге, который мне иногда так надоедает, когда я в нем и в который опять так хочется назад, когда из него выедешь.

20 сентября

Смерть князя Лобанова-Ростовского возбудила во мне разные воспоминания из времен первой молодости. При вступлении моем после выпуска из Лицея в 1817 году в министерство юстиции, министром был еще Трощинский, но он в том же году сменен князем Лобановым. Я дежурил при нем в числе прочих младших чиновников департамента по разу в неделю и более. Дежурство это состояло в том, что мы часу в 8-м являлись к нему в парадных мундирах, докладывали о приезжающих, подавали ему получаемые бумаги и печатали конверты. Потом дежурный обедал всегда за его столом, а вечером он отпускал нас часу в 8-м или 9-м. Можно представить, что все это бывало не очень забавно и что при

механической работе печатания и докладывания князю трудно было ему ознакомиться с нашими способностями, тем больше, что за обедом, хотя мы и сидим вместе, но дежурный должен был хранить самое глубокое и святое молчание, и князь никогда не обращал к нему ни одного слова. При всем том он как-то меня полюбил и отличал несколько от других.

Между прочим, ему вздумалось поручить мне привести в порядок его библиотеку и составить ей систематический реестр. Я обрадовался этому поручению, надеясь, что оно надолго освободит меня от скучного переписывания набело бумаг в департаменте, — все, чем тогда меня занимали. Но не тут-то было! Вся библиотека его сиятельства оказалась одним небольшим шкафом с сотнями тремя книг, большей частью таких, которые поднесены ему были от авторов или переводчиков, и моя работа, сколько ни старался я ее протянуть, продолжилась не более трех дней.

Между тем, в это время образовалась новая канцелярия при министре, и все мое честолюбие устремлено было к тому, чтобы занять в ней место переводчика — как нечто уже самостоятельное после писарских моих обязанностей. Кандидатов было много, и некоторым, в том числе и мне, задали пробные работы. Мне пришлось перевести какую-то преогромную тетрадь по провиантской части с немецкого на русский язык, и, незнакомый с техническими терминами ни на том, ни на другом языке, тем меньше знакомый с предметом и сущностью дела, — всего 17-ти лет от роду, едва вышед из школы, я, вероятно, Бог знает что такое напутал. По крайней мере, помню как теперь, что «Grutze» — «крупу», я везде переводил без справки с лексиконом как вещь обыкновенную «кашею»; помню по неистощимым насмешкам, к которым подали повод эти «кули и пуды каши» моим служебным товарищам, между которыми я слыл, по тогдашнему выражению, «ученым», что в их понятиях составляло почти синоним с «бестолковым и негодным на службу».

Несмотря на то, перевод мой — по протекции барона Бюллера — оказался лучшим, и я получил желанное место, на котором от безделья чуть было не погиб для службы.

Но навык к занятиям, не погасший еще во мне от Лицея, и добрые советы тогдашнего близкого приятеля нашего семейства Отто Виттенгейма внушили мне мысль заняться чем-нибудь хоть не совсем служебным, то, по крайней мере, близким к обязанностям моей должности. Я перевел с латинского языка на русский курляндские статуты, закон, и теперь еще действующий, но который приводился тогда по делам в Сенате в разных негодных переводах, деланных местными переводчиками по частям.

Эта работа по связи со школьными моими занятиями была мне больше по плечу, нежели «провиантская каша», и я убил ею, как говорят немцы, сразу двух мух. Один экземпляр я поднес князю, и как перевод, по рассмотрении в тогдашней комиссии составления законов, оказался соответственным своей цели, то его велено употреблять в Сенате, а мне, 18-ти лет от роду, дали Анну третьей степени. Другой экземпляр я представил курляндскому дворянству, и оно прислало мне табакерку с вензелевым изображением своего шифра. Сверх того, за эту работу я был причислен к комиссии составления законов, и отсюда началась настоящая моя служебная школа. Но с князем Лобановым я все еще не расставался, продолжая числиться по-прежнему у него переводчиком. От него же я в начале 1820 года был командирован с сенаторами на ревизию Подольской губернии и Бессарабской области и по его же представлениям пожалован в 1821 году орденом Владимира 4-й степени, а в 1823 году — камер-юнкером. Окончательно расстались мы уже в мае 1823 года, когда я был назначен начальником отделения в департамент податей и сборов. Сперва за эту перемену службы, столько во всех отношениях для меня выгодную, он крепко на меня сердился, но потом, с переменой обстоятельств и с постепенным моим возвышением,

этот гнев прошел и, наконец, по назначении меня в Государственный Совет, которого членом он оставался до самой своей кончины, мы жили лучшими друзьями.

24 сентября

Вчера возвратился из деревни наш председатель: свежий и румяный, как обыкновенно после летнего отдыха, с ретивостью к делу и желаниями всего лучшего. При всем том он горюет о том, что пролетели часы отдохновения и праздности и что надобно опять приниматься за работу. «Приехав назад в город, — сказал он мне, — я совершенно вспомнил на опыте те чувства, которые бывали у меня в ребячестве, когда в воскресенье вечером приходилось ворочаться из родительского дома в пенсион».

Вчера я виделся также с многими из членов Государственного Совета и, между прочим, с М. М. Сперанским, который купил себе славный дом на Сергиевской улице за 240 000 руб. Эти деньги или, лучше сказать, весь дом достались ему даром. Дом у прежнего владельца заложен был в банке в 140 000 руб., но где взять остальную сумму? М.М. выпросил у государя, чтобы вместо банка дом заложить на тридцатисемилетних правилах в государственном казначействе с выдачей под оный всей суммы по купчей крепости, т. е. 240 000 руб. Таким образом, он имеет теперь собственный дом и платит за него в казну в продолжение 37 лет по 15 000 руб. ежегодно, тогда как прежде платил за наем квартиры в чужом доме по 14 000 руб.

30 сентября

Новый наш министр государственных имуществ Киселев в нынешнем году совершил большое путешествие по России, чтобы постепенно ознакомиться и с бытом и потребностями казенных крестьян, и с другими частями вверенного ему многосложного управления. На днях мы делились взаимными

нашими наблюдениями и впечатлениями, и посреди многого существенного он рассказывал мне и множество забавных анекдотов. Некогда мне их здесь записывать, но один особенно хорош, это посещение чувашей в Пермской губернии земской полицией.

Когда в чувашском селении сделается известно, что едет земский суд, все селение с женами, детьми и имуществом тотчас выбирается в какой-нибудь глухой и отдаленный лес, как от нашествия неприятеля. Оттуда они высылают своих парламентеров для соглашения с судом о сумме, за которую он выедет из селения. Тут происходит формальный торг: суд требует столько-то; чуваши дают столько-то. Наконец, ударив по рукам, суд выезжает с одного конца селения, а чуваши возвращаются восвояси с другого.

Взамен, однако, и я попотчевал Киселева несколькими не менее драгоценными анекдотами. К одному вновь определенному губернатору является откупщик с ходатайством о его милости и с предложением в благодарность по 10 коп. от ведра, причем клянется всеми святыми, что это останется между ними совершенной тайной и что он натурально никому не расскажет.

— Нет, братец, — отвечал губернатор, — давай-ка по 20 коп. от ведра и рассказывай себе, пожалуй, кому хочешь.

28 октября

В пятницу, 21 октября, М. М. Сперанский почувствовал себя не совсем здоровым, но, несмотря на то, в субботу тотчас после обеда отправился в Царское Село, где в тот же вечер сидел в театре и пробыл во дворце до второго часа, после чего еще целый час дожидал в холодных сенях кареты. Чувствуя уже довольно сильный лихорадочный озноб, он, при всем том, на другой день был еще у обедни и обедал во дворце. Все это вместе увеличило его простуду, и на другой день он слег в постель в сильных лихорадочных припадках, а с четверга,

27-го, открылось у него воспаление в боку. Вчера, в этот самый четверг, выпустили ему утром две чашки крови и вечером приставили 15 пиявок, а сегодня возобновили опять кровопускание рожками. Лечит его, в качестве главного врача, неизбежный Арендт, и сверх того день и ночь дежурит один врач Маргулец. Со вчерашнего дня выходят и бюллетени по два раза в день, которые отправляются в Царское Село к государю. Нельзя еще сказать, чтобы не было надежды, но опасность велика: ему 68-й год, и от такой болезни редко выздоравливают и молодые люди, или, по крайней мере, выздоравливают очень медленно.

Вчера по случаю этой болезни была у нас большая конференция с графом Васильчиковым. Оба мы чувствуем по полной мере неизмеримую потерю, которой грозит России смерть Сперанского. С огромными сведениями по всем частям, с гениальным и быстрым умом, с живым воображением, с пером, какого нет у нас еще другого, этот человек, сын простого сельского священника, проложил себе путь от низших ступеней гражданского общества к высшим его вершинам; был всесильным любимцем Александра, временщиком в полной силе слова, потом испил горькую чашу немилости и падения и, наконец, умел опять воспрянуть и вознестись выше прежнего.

Четыре вещи, несомненно, ставят его в ряд первых исторических лиц России и вообще его времени: учреждение Государственного Совета, учреждение министерств, преобразование делового нашего языка и — выше всего — Свод законов. Сперанский будет оценен в надлежащей мере только по смерти, когда начнется для него потомство и угаснут зависть и личности. При всем изнеможении от преклонных лет и частых недугов, дух его в последнее время был так же бодр и объемлющ, как и прежде. С ним угаснет предпоследний гений в России, — говорю предпоследний, потому что мы имеем еще Канкрина, тоже не вполне оцененного, но стоящего

выше других, как гора над равниной. Где соперники этих двух орлов, кто из завистников и насмешников их, старых и молодых, поравняется с их полетом?

Работав с Сперанским с 1825 по 1831 год почти ежедневно, возобновив с ним самые тесные сношения после назначения меня в должность государственного секретаря, я мог вполне и непрерывно следить за энциклопедическим его умом; но при всем том нисколько не увлекаюсь никаким предубеждением или пристрастием в его пользу, и доказательство: отдавая полную высокую справедливость его уму, я никак не могу сказать того же о его сердце. Я разумею здесь не частную жизнь, в которой можно его назвать истинно добрым человеком, ни даже суждения по делам, в которых он тоже склонен был всегда к добру и человеколюбию, но то, что называю сердцем в государственном или политическом отношении, — характер, прямодушие, правоту, непоколебимость в избранных однажды правилах.

Сперанский не имел (я говорю уже, к сожалению, как о былом и прошедшем) ни характера, ни политической, ни даже частной правоты. Участник и даже, может быть, один из возбудителей — по тогдашнему направлению умов — филантропических мечтаний Александра, Сперанский был в то время либералом, потому что видел в этом личную свою пользу, а когда минул век либерализма, то перешел, в тех же побуждениях, к совершенно противоположной системе. Он был либералом, пока ему приказано было быть либералом, и сделался ультра, когда ему приказали быть ультра. И поэтому я убежден, что Сперанский никогда не мог быть человеком опасным, сколько ни старались в том уверять его ненавистники и люди недальновидные. Чтобы быть опасным, надобно иметь характер и твердую волю, а Сперанский всегда искал более милости, чем славы.

С другой стороны, обещания ему ничего не стоили, точно так же, как комплименты или ласки; но весьма прост был тот,

кто им доверял или кто строил на этом шатком основании. Обворожительное обхождение привлекало ему с первого разу все сердца; но когда постепенно открывалось, что оно было «всем общее, как чаша круговая», что под оболочкой этих гладких слов не заключалось ничего существенного, что это был один обман ловкого и приветливого ума, безо всякого участия сердца, — то естественно, что следовало охлаждение. Я не думаю, чтобы Сперанский имел хоть одного истинного друга и чтобы был на свете хоть один человек, которого бы он искренно любил. Политику и холод деловой жизни он переносил и в свой кабинет, где продолжал постоянно играть роль умного хитреца, даже в самых тех беседах, где — повидимому для не знавших его близко — не могло не принимать какого-нибудь участия сердце. Скольких людей обманул он льстивыми своими обещаниями и ласковым приемом, благодетельствуя истинно только тем, которые нужны были для его видов или когда самые эти благодеяния входили в его виды.

Многое бы мог я сказать еще о нем и хорошего и дурного, быв ежедневным и наблюдательным свидетелем его действий; но теперь, когда он еще между нами, как-то рука не поднимается. Память всего добра, которое я лично испытал от него, память всего добра, которое он делал России, память лучшего и хорошего изглаживает во мне в эту минуту память дурного, и я горячо желаю облегчения его страданий, хотя он, конечно, пропал уже для России даже в случае выздоровления.

Между тем, после всех сожалений разговор наш с графом Васильчиковым, натурально, направлен был к средствам заменить по возможности эту важную потерю, а оттуда и к укомплектованию вообще Совета, совсем одряхлевшего и развалившегося в своем составе.

Сперанский теперь председателем в департаменте законов, членом в польском департаменте и начальником всех

законодательных трудов по II отделению Собственной его величества канцелярии, от которого издан был Свод и где теперь составляются ежегодные его продолжения, а сверх того, особые своды губерний привилегированных — работа столько же важная, сколько и трудная.

Обратясь к Совету, мы признали необходимым сделать хоть какой-нибудь временный распорядок, чтобы не стали совсем текущие дела: ибо за болезнью Сперанского в департаменте законов остаются только два члена, Кушников и Марченко, из которых первый тоже почти умирающий, а в польском — только один, князь Любецкий. Вследствие того, после долгих рассуждений и колебаний, мы придумали сделать двух новых членов Совета: Маврина, о котором и прежде было решено, и графа Гурьева, бывшего Киевского генерал-губернатора (брата графини Нессельрод), человека тяжелого, но блистательного ума, по крайней мере, со сведениями и все лучшего, чем другие возможные кандидаты. С этим усилением мы полагаем Маврина поставить в гражданский департамент, графа Гурьева и князя Карла Ливена (бывшего министра народного просвещения, возвратившегося недавно к нам после пятилетней отлучки) в департамент законов, а в польский департамент командировать временно, до возвращения отсутствующих членов, графа Левашова и адмирала Грейга, оставя их и в тех департаментах, где они теперь. Граф Васильчиков повезет это назначение на усмотрение государя в первый свой доклад.

После того мы перешли к предстоящему замещению Сперанского по председательству в департаменте законов и по законодательным его трудам.

— Надобно же мне и к этому приготовиться, — сказал граф, — потому что несомненно будет речь с государем.

Своим кандидатом на это место он назвал Д. Я. Дашкова, считая, что по своим наклонностям и образу жизни тот

совершенно сроден к занятиям такого рода, а должность министра юстиции можно заместить Блудовым.

30 октября

Граф Васильчиков был вчера у государя. Назначение в Совет новых членов отложено до обыкновенного к тому времени, т. е. до 6 декабря. Затем князь Ливен посажен в департамент законов, а в польский департамент командированы временно, с оставлением и в прежних, Грейг и, вместо Левашова, Вилламов. Графа Литту государь никак не согласился уволить от председательства в исаакиевской комиссии.

— Это исторический памятник, — сказал он, — который приходит уже к концу, а старик тут так давно, что совестно бы было лишить его удовольствия и славы положить последний камень.

23 ноября

Киселев рассказывал мне о разговоре, который он имел на днях с государем о Государственном Совете. Государь жаловался, что Совет «очень устарел в личном своем составе». Киселев со своей стороны нашел, что это нисколько не беда; что Совет, по существу своему и по духу нашего правления, должен быть не provocateur, а conservateur, т. е. больше оберегать существующее, нежели допускать какие-либо нововведения, а если и допускать их, то с крайней осмотрительностью в отношении к главным началам и основным идеям монархического правительства; что для этого лучше годятся старики, естественно привязанные к прежнему, нежели молодые люди с живым воображением; что последних надобно сажать в министры и правители, потому что Россия не может ни оставаться в неподвижном состоянии, ни отставать от века, и тогда уже их дело будет выдумывать и созидать, а Совету останется только умерять их жар и свято поддерживать главный фундамент.

Была также речь о печатании вносимых в Совет проектов. Против этой идеи, принятой уже государем по представлению графа Васильчикова, Киселев сильно восстал теперь перед государем: «Тогда, — сказал он, — главная идея сама собой рушится. Велики ли теперь или слабы способности членов Государственного Совета, дальновидны или ограниченны они в своих соображениях — по крайней мере, при образе доклада дел в Совете не может уже быть никаких суфлеров, и все замечания идут прямо от членов. Начните только печатать проекты, и вся личность этих членов исчезнет: вместо них будут читать проекты столоначальники и секретари и другая молодежь, они станут привозить в Совет уже не свои мысли и замечания, а внушенные им новым поколением, которое при всей осторожности и при всех мерах правительства — все-таки напояется идеями Западной Европы. Где же тогда останется опора монархических понятий, которые теперь так свято стерегутся этими, если не всегда даровитыми, то, по крайней мере, старыми и опытными головами?

24 ноября

Граф Васильчиков имел тоже разговор с государем об устаревшем составе Совета и представил это дело с другой стороны, нежели Киселев. Он думает, что молодые члены в Совете не только не вредны, а необходимы; но, чтобы не уронить этого звания и не лишить его цены в глазах людей старых, которых после придется сажать в Совет не столько для пользы дел, сколько из личных уважений, — необходимо в выборе молодежи быть сколько можно осторожнее, — словом, назначать только таких, о которых вперед можно быть уверенным, что публика единогласно одобрит их назначение.

Сперанский не только вне всякой опасности, но совсем уже выздоравливает. Бюллетени прекратились, и думают, что он скоро уже начнет заниматься делами. Слава Богу, что опасения наши были напрасны; но надолго ли это и каковы

будут его занятия после такой тяжкой болезни и после потери в его лета такого множества крови?

В архиве Государственного Совета хранится собственноручный рескрипт государя, на имя покойного председателя князя Кочубея, на пяти (почтовых) страницах, который чрезвычайно интересен и сам по себе, и по обстоятельствам дела, предшествовавшим и последовавшим ему.

19 октября 1831 года получено было в Совете представление министра финансов о необходимости по отмененному положению государственного казначейства возвысить в России на 1832 год некоторые казенные сборы, в том числе и таможенные пошлины на некоторые товары, с временной прибавкой на все вообще привозные по 12 $^{1}/_{2}$ процентов.

Совет был тогда особенно занят проектом нового закона о дворянских выборах, который велено было представить к 6–7 декабря. Но министр финансов, ссылаясь на скорый отъезд свой в Москву (где тогда государь находился), требовал, чтобы указ о возвышении таможенных сборов издан был непременно в ноябре, чтобы, при краткости времени до нового года, успеть сделать нужные по таможням распоряжения. Совет собирался по проекту о выборах 19, 23, 26 и 29 октября, т. е. в 10 дней четыре раза. Несмотря на то, в это же время департамент экономии рассмотрел помянутое представление министра финансов, и 31 октября оно выслушано и в общем собрании, а 7 ноября дело отправлено к государю в Москву, где и подписан 11 ноября указ с приложением таможенной росписи в том самом виде, в каком она одобрена и представлена была Советом. Указ был простой, форменный, а самые правила и распорядок новых сборов помещены были в конце росписи в виде примечаний, и тут, между прочим, о времени действия оной постановлено: «что сбор прибавочных 12 $^{1}/_{2}$ процентов должен начаться со дня получения в таможнях указа и браться со всех товаров, в таможенном ведомстве без очистки пошлиной еще находящихся и вновь прибывающих».

Указ с росписью, по особому высочайшему повелению, напечатан был в «Московских Ведомостях» 14 ноября, но от Сената здесь, в Петербурге, он опубликован не прежде 20 числа, хотя получен был еще 16-го. Между тем «Московские Ведомости» пришли сюда с эстафетой 17 числа, и, натурально, на другой день обнаружилось среди купцов стремление к очистке товаров в здешней таможне, чтобы избавиться от 12 1/2 процентов, пока в ней не был еще получен указ. 18 числа таможня успела принять необыкновенное количество денег, именно свыше 700 000 руб., и только с наступлением ночи она прекратила по закону свои действия. Но вечером того же дня директор департамента внешней торговли (тогда Бибиков), опасаясь с наступлением следующего дня еще большего стремления к очистке товаров, предписал таможне взимать уже прибавочные проценты, ссылаясь на распоряжение министра финансов в Москве о взимании их процентов с напечатания указа в тамошних ведомостях.

Между тем до государя очень скоро дошел ропот купечества, отозвавшийся во всех классах, на указ 11 ноября, в том отношении, что оным велено взимать прибавочные пошлины с товаров, находившихся уже во время его издания в пакгаузах; вследствие того высочайше повелено было министру финансов представить Государственному Совету «причины, побудившие к этому постановлению», — что он и исполнил не далее, как 2 декабря. Объяснение его было очень обширное, но в сущности он представлял, что первоначальное побуждение к жалобам дано было запоздалым распубликованием указа через Сенат, а касательно самой меры писал, что купец, заплативший за товар более пошлины, во всяком случае выручает свой аванс с публики, а тот, у кого есть товар, очищенный старой пошлиной, имеет даже значительный барыш: следовательно, во всех делах этого рода сталкиваются два интереса: публики и торгующих. Далее он доказывал, что указом 11 ноября охранен интерес публики, и, ссылаясь на

примеры прежних тарифов и на невозможность соблюдения, при чрезвычайных финансовых мерах, строгих начал общей уравнительности, замечал, что и с достоинством правительства едва ли совместно внимать в этом случае частным домогательствам и отменять закон, только что изданный, в справедливости которого он остается, впрочем, постоянно убежденным; если же признано будет полезным принять какую-либо меру собственно в отношении тех купцов, которые до 20 ноября продали товары по определенной цене с принятием платежа пошлин на продавца, то это легко может быть сделано частным распоряжением, посредством особого указа на имя его, министра.

В Совете все это, вследствие высочайшей воли, рассмотрено было не далее, как на другой день (3 декабря). Совет начинал журнал свой оправданием в пропуске означенной меры и оправдывался тем: 1) что представление министра получено было в такое время, когда Совет занимался по два и по три раза в неделю со всей внимательностью законом о дворянских выборах; 2) что министр особенно спешил этим делом, требуя издания указа непременно в ноябре; 3) что ни в представлении его, ни в сопровождавших оное соображениях не было упомянуто о распространении надбавочных 12½ процентов на товары, находившиеся уже в таможнях; 4) что расчет министра об усилении доходов по этой части на 1838 год основан был на годовой сложности без причисления единовременного какого-либо сбора с товаров, находившихся уже налицо в таможнях; 5) что по всему этому Совет не обратил особенного внимания на примечания к росписи, где обыкновенно излагается простой распорядок исполнения и некоторые исключения из общих правил, не входящие в состав закона, для того, чтобы маловажностью предметов не затемнять силы истинного указа; но где сверх ожидания оказался предмет, послуживший поводом к настоящим рассуждениям, предмет, по важности своей требовавший и другого из-

ложения, и места не в примечаниях к росписи, а в самом представлении, где помещение оного, без сомнения, заставило бы Совет требовать изъяснения побудительных к такой мере причин и послужило бы, во всяком случае, предметом особенных рассуждений.

Засим, перейдя к самому существу дела, Совет в журнале своем изложил сильные опровержения против доводов министра финансов и заключил тем, что подобные меры, противореча справедливости и самой пользе государства, не должны быть допускаемы и что на этом основании от $12^{1}/_{2}$ процентов надлежит изъять все те товары, которые, до получения указа 11 ноября в таможнях, поступили уже в ведомство оных; о чем и положил поднести к высочайшему подписанию указ такого содержания, чтобы в виде монаршей единственно милости от платежа этих процентов избавлены были все вообще привозные товары, поступившие в таможенное ведомство до дня получения в каждой таможне указа 11 ноября и чтобы тем из хозяев, с которых такие проценты были бы уже взысканы, оные возвратить.

Указ этот подписан 7 декабря, но перед тем, 5 декабря, последовал следующий рескрипт на имя графа Кочубея:

«Граф Виктор Павлович! Вам как председателю Государственного Совета и Комитета министров, не только по этому званию, но и по личным вашим достоинствам облеченному всей моей доверенностью, известно в полной мере обращаемое мной внимание на представления этих мест, учрежденных для совещания о важнейших делах управления и законодательства. Всякое мнение, всякое замечание, клонящееся к охранению справедливости или к пользе общей, я принимаю с живейшим удовольствием, как несомненный, лучший знак верноподданнического ко мне и к престолу моему усердия. Не вправе ли я надеяться, что Государственный Совет, составленный из людей, заслуживших мое особенное благоволение, никогда не ослабнет в усилиях и старании

избегать всего, могущего навлечь на него нарекание в неосмотрительности.

К сожалению, я должен отметить случай, в котором это справедливое ожидание не исполнилось.

Указ 11 ноября этого года и приложенная к нему роспись, коими возвышается привозная пошлина на некоторые товары и устанавливается добавочный таможенный сбор, были рассмотрены в комитете финансов и в департаменте государственной экономии и, наконец, в общем собрании Совета. Ни в котором из этих мест никто из членов не заметил, что по буквальному смыслу ст. 2 примечания II к росписи, добавочный $12^{1}/_{2}$-процентный сбор распространяется и на товары, привезенные раньше обнародования этого указа, но еще не очищенные пошлиной, на основании законом даруемой для сего 6-месячной отсрочки, и что через это постановлению новому дается обратное действие. Никто, конечно, не может подумать, чтобы правительство, известное своим уважением к справедливости и доброй вере, имело намерение постановить что-либо противное присвоенным законами правам и священнейшему из всех праву собственности.

Но не даст ли повод к этому ложному заключению вкравшаяся в приложение к указу 11 ноября ошибка? Она ускользнула и от моего внимания, потому что я был вправе ожидать тщательного рассмотрения проекта Советом. Препровождением оного в Государственный Совет я доказывал, что в этом деле не хотел совершенно доверить одному моему мнению. Эта ошибка должна быть исправлена.

Но не менее того я считаю себя обязанным изъявить через вас всем участвовавшим в суждении этого дела, особенно же заведующим в комитете финансов, возбужденное во мне неосмотрительностью их чувство прискорбия и неудовольствия.

Они сами, как мне известно, с благородной откровенностью признали, что не совершенно вникли в смысл постановления. Отдавая полную справедливость столь похвальному

их побуждению, я в нем вижу новое для себя удостоверение, что никогда уже не буду вынужден постановлять на вид Государственному Совету недостаток внимания в каком бы то ни было деле. Члены оного не престанут доказывать усердными трудами, сколь они достойны моего благоволения.

Пребываю к вам благосклонным. Николай».

Рескрипт этот, как сказывал мне неоднократно Д. Н. Блудов, писан был им; но списан собственной рукой государя и в таком виде и хранится в архиве Совета.

Что же Совет? Совет отвечал на это журналом того числа (7 декабря) следующего содержания:

«Государственный Совет, выслушав с благоговением высочайшую волю, положил: изъяснить его императорскому величеству глубокое прискорбие свое и вместе с тем повергнуть к священным стопам его величества чувства живейшей признательности за милостивые выражения, в которых его величеству угодно было справедливое неудовольствие свое Государственному Совету изъявить».

2 декабря

28 ноября был бал у сенатора Бутурлина, а вчера, 1 декабря, у графа Левашова — балы званые, блестящие и богатые, как и все балы нашей знати. Трудно выдумать тут что-нибудь новое; но у графа Левашова есть нечто чудесное, принадлежащее, впрочем, не столько к балу, сколько к дому: это огромная, бесконечная оранжерея, примыкающая к бальным залам, с усыпанными красным песком дорожками, освещенная тысячью кинкеток, которых огонь отражается на апельсинных и лимонных деревьях. Кому надоест шум и жара бала, тот может искать тут отдыха и уединения и, когда на дворе трещит мороз, наслаждаться всеми прелестями цветущего лета. Новость нынешней зимы состоит еще в том, что на всех званых вечерах все кавалеры являются опять в белых галстуках.

5 декабря

Вчера было торжественное обручение герцога Лейхтенбергского с великой княжной Марией Николаевной в Эрмитажной церкви. По тесноте этой крошечной временной церкви в нее введены были до церемонии только члены Государственного Совета и дипломатический корпус. Двор, предшествовавший царской фамилии, провели только через церковь в другую залу, а прочих никого и в церковь не пустили.

Церемония была столько же великолепная, сколько и трогательная. Обручение совершал «ветхий деньми» и силами петербургский митрополит Серафим, а в молебне благодарственном участвовали четыре митрополита, два архиерея и придворное духовенство — все в богатейших ризах. Герцог был в нашем генеральском мундире с Андреевской лентой; государь в казачьем мундире; малютки Константин и Николай в мундирах: первый — морском, а последний — уланском; младший Михаил — в русской рубашке. Государь сам поставил новообручаемых на устроенное посреди церкви возвышение, а императрица разменяла им кольца. После обручения начались целования между членами императорского дома, при которых трудно было удержаться от слез. Особенно удивительно было целование обеих сестер, Марии и Ольги Николаевен, которые не могли одна от другой оторваться. После церемонии был у великой княжны общий baisemain, при котором герцог находился возле нее и принимал поклоны.

В то же время прочтен был в Сенате манифест. Вечером вся царская фамилия была в театре, и не в обыкновенной своей ложе, а в парадной, где публика приняла ее с восторженными рукоплесканиями, криком «ура!» и национальным гимном. Чтобы сделать из этой заметки формальную газетную статью, надобно прибавить, что город был иллюминован и — против обыкновения — местами недурно.

18 декабря

Вчера, 17 декабря, минул год со времени бедственного пожара Зимнего дворца. Как теперь возобновление его идет исполинскими шагами, то государю захотелось отпраздновать этот день особенным образом.

Пожар начался, как известно, с Фельдмаршальской залы, и вследствие того приказано было, чтобы к 17-му числу эта зала непременно возобновлена была в прежнем своем виде. Воля царская сильна в России, и все поспело ко времени: зала воскресла опять, как была тому назад год; недостает только люстр и окончательной политуры на стенах. Вчера собралась туда вся царская фамилия с маленькой свитой, строительная комиссия и конногвардейцы, которые прошлого года в этот самый роковой день были тут в карауле под предводительством того же самого офицера (моего племянника Мирбаха). Государь, приветствовав их, сказал:

— Прошлого года, ребята, вы в этот самый день были первыми свидетелями начавшегося здесь пожара; мне хотелось, чтобы вы же были и первыми свидетелями возобновления этой залы в нашем дворце.

Потом был, в присутствии царской фамилии, благодарственный молебен с коленопреклонением. К Святой неделе, которая будет очень рано (26 марта), все важнейшие части дворца будут отделаны, и мы будем праздновать Пасху в возобновленной его большой церкви.

Дверь Сперанского открылась. Я тотчас этим воспользовался и сегодня был у него. Здоровье его совсем восстановилось, кроме большой слабости и совсем пропавшего голоса, который однако со временем, вероятно, тоже воротится. Я не нашел, чтобы он и в лице много переменился. Свидание наше было самое дружеское, даже трогательное, и мы оба поплакали. Я так давно с ним знаком, так обязан ему за благорасположение, которым он всегда меня отличает, так

привык отдавать справедливость великим его качествам и столько считаю его необходимым для России при жалостном нашем безлюдии, что искренне обрадовался, увидев его опять возвращенным нам.

Я сказал, что явился к нему без большой надежды быть допущенным по отказу, который на днях получил его статс-секретарь Балугьянский.

— Совсем другое дело, — отвечал он, — с Балугьянским не связывает нас ничего, кроме отношений службы, и мне не об чем было бы говорить с ним, кроме дел, которыми мне еще запрещено заниматься, а вас я принимаю как друга, которого мне давно уже хотелось обнять.

Вчера был у него государь и сидел с полчаса; старик рассказывает это всем с видимым чувством и радостью. Даже старый его полушвейцар и полукамердинер, который при нем уже более 20 лет, не мог не похвастать мне при выходе этим визитом.

— Государь-батюшка сидел у нас с полчаса, и Михаил Михайлович так уж этим был доволен, так доволен, что глядя на него, и я не мог нарадоваться.

1839 год

Новгородский губернатор Сенявин — Киевский митрополит Филарет — Кончина князя Х. А. Ливена — Характеристика Петербургских балов — Празднование юбилея адмирала Крузенштерна — Граф Орлов — Кончина графа Литты — Маскарад у графа Левашова — Кончина и погребение графа М. М. Сперанского — Его характеристика — Кончина С. С. Кушникова — Статс-секретарь Позен — Выдержки из бумаг М. М. Сперанского — Я. И. Ростовцев — А. П. Ермолов — Граф А. И. Чернышев — Сосланные французы в Иркутске — Новые назначения по министерству юстиции — Фельдмаршал князь Паскевич — Семейство Виельгорских — Кончина В. Тутомлина — Балугьянский — Князь Васильчиков в Бородинском бою — Дело о поселении крестьян на Калмыцких землях

1 января

Важнейшие сегодняшние новости суть те, что председатель наш (Государственного Совета) Васильчиков пожалован князем, а Сперанский — графом. Первому это важно, потому что у него много сыновей, но у последнего одна замужняя дочь.

2 января

В Новгород назначен новый губернатор, служивший прежде в министерстве иностранных дел, камергер Сенявин, человек очень богатый и еще более известный по жене своей, урожденной Агер, одной из самых выдающихся женщин нашего большого света. Первое действие его по приезде в губернию было то, что он пожертвовал своим жалованьем (12 тыс. руб.) на улучшение содержания чинов губернского управления.

Известный богач Павел Демидов, быв назначен губернатором в Курск, не только пожертвовал на тот же предмет своим жалованием, но и беспрестанно сыпал огромные суммы из своего достояния и, при всем том, в два года его управления губерния совершенно расстроилась и стала гораздо ниже прежнего.

15 января

На днях посетил меня киевский митрополит Филарет, соименный московскому. Этого старца, который уже 40 лет в монашестве и 20 лет архиереем, невозможно не любить и не уважать.

Это какой-то отрывок древнего русского мира, инок в настоящем смысле и в том духе, в каком я воображаю себе монахов при основании первых наших обителей. Он невольно привлекает сердца каким-то детским простосердечием, истинным христианским смирением и вообще отличными качествами своей души. В Казани, где он долго был архиепископом, народ провожал его с воплем и стенаниями, как отца; в Киеве, где он занял место покойного Евгения, знаменитого своими учеными трудами, народ тоже привязался к нему, хотя он там еще недавно, и притом большую часть года вынужден проводить здесь (в Петербурге) по обязанностям синодального члена. Он сильно скорбит об этих невольных отлучках из Святого града, где, как он говорит, «и воздух наполнен святостью».

На днях пришло сюда известие о кончине князя Христофора Андреевича Ливена, бывшего долгое время послом нашим в Лондоне, а последние годы занимавшего почетное место попечителя при наследнике — место, в котором он и умер теперь в Риме, сопровождая наследника в заграничном его путешествии. Он был женат на сестре графа А. Х. Бенкендорфа, женщине чрезвычайно умной, которая всегда премировала в нашей дипломатии, и она-то собственно, под именем мужа, была нашим агентом в Англии.

16 января

Вчера был второй бал у княгини Кочубей для царской фамилии. Когда государь, приехав, вышел из внутренних

комнат, я один из самых первых попал ему навстречу, и он, проходя мимо и почти не останавливаясь, сказал мне:

— Я еще не успел поздравить тебя с твоим величием. Оставайся старым Корфом, каким был.

Нынешний карнавал очень короток, потому что пост начинается уже 6 февраля. Зато и спешат натанцеваться и вообще навеселиться досыта. Кроме вчерашнего бала и многих ему предшествующих, сегодня бал у Бутурлина, хотя не собственно для царской фамилии, но на котором ожидают, однако же, государя. Послезавтра, в среду, бал — прямо уже для царской фамилии, у княгини Белосельской, а в четверг все будут на бале Дворянского собрания.

Элементы, из которых составляются все эти балы большого света, довольно трудно обнять какими-нибудь общими чертами. Разумеется, что на них бывает весь аристократический круг; но кто именно составляет этот круг в таком государстве, где одна знатность происхождения не дает сама по себе никаких общественных прав, — объяснить нелегко. В этом кругу есть всего понемножку, но нет ничего, так сказать, доконченного, округленного. Тут есть и высшие административные персонажи, но не все; некоторые отделяются от светского шума по летам, другие по привычкам и наклонностям. Точно так же в этом кругу есть и богатые и бедные, и знатные и ничтожные, даже такие, о которых удивляешься, как они туда попали, не имея ни связей, ни родства, ни состояния, ни положения в свете! Между тем, весь этот круг как заколдованный: при 500 000 населения столицы, при огромном дворе, при централизации здесь всех высших властей государственных — он состоит не более как из каких-нибудь 200 или 250 человек, считая оба пола, и в этом составе переезжает с одного бала на другой, с самыми маленькими и едва заметными изменениями, так что в этом кругу, т. е. в особенно, так называемом *большом свете*, невозможно и подумать дать в один вечер два бала вдруг.

Молодые люди-танцоры попадают легче, но тоже не без труда. Так, например, флигель-адъютанты и кавалергардские офицеры почти все везде; конногвардейских много; прочих полков можно всех назвать наперечет, а некоторых мундиров, например гусарского, уланского и большей части пехотных гвардейских, решительно нигде не видать. Появление в этом эксклюзивном кругу нового лица, старого или молодого, мужчины или женщины, так редко и необыкновенно, что составляет настоящее происшествие. Заключу одним: человеку, не посвященному в таинства петербургских салонов, невозможно ни по каким соображениям угадать a priori, кто принадлежит к большому кругу и кто нет.

Есть министры, члены Государственного Совета, генерал-адъютанты, статс-секретари, придворные чины, — не говоря уже о сенаторах, которых нигде никогда не увидишь, которые решительно никуда не приглашаются; есть люди знатные по роду и богатству, просвещенные, со всеми формами лучшего общества, которые в том же положении; и есть, напротив, как я уже сказал, — люди совершенно ничтожные, которые везде бывают, которых везде зовут большей частью потому, кажется, что они играют в высокую игру, до которой некоторые из наших баричей большие охотники.

22 января

Вчера было празднество 50-летней в офицерских чинах службы адмирала Крузенштерна — первого русского офицера, совершившего путешествие кругом света. Ему дан был торжественный обед морскими генералами и офицерами в огромной зале морского кадетского корпуса, великолепно убранной и освещенной — с двумя хорами музыки и хором певчих. Кроме собственно моряков, на счет которых дан был весь праздник, были званы и посторонние особы — всех участников пира было до 400. Роль главного распорядителя принял на себя вице-адмирал Рикорд, тоже известный в ле-

тописях нашего флота. Начальника нашего морского штаба князя Меншикова, которому надлежало представить главного хозяина праздника, не было: он не охотник до подобных репрезентаций и сказался больным.

В половине обеда принесли Крузенштерну бриллиантовые знаки Александровского ордена, при лестном рескрипте, который прочитан был директором канцелярии Меншикова Жандром. Потом Рикорд сказал Крузенштерну речь довольно кудрявую, но вместе и довольно прозаическую. «Вы первые обнесли русского орла кругом света», — была единственная блестящая фраза.

Во время тоста «в честь виновника празднества» наш славный Петров отлично пропел плохие куплеты прозаического Булгарина.

Наконец, лучшим во всем празднике была та сцена, когда вошли вдруг три покрытые сединами матроса и осенили Крузенштерна колоссальным флагом Американской компании, по почину которой совершено им было путешествие кругом света. Три эти матроса остаются единственными из 52 сподвижников его плавания. Старики очевидно были тронуты, и один из них, которому уже 82 года, заливался слезами.

Надобно, впрочем, сознаться, что, несмотря на плохие речи и стихи, праздник был грандиозен.

Неуклюжесть, которой славится Крузенштерн, напоминает мне слово о нем великого князя Михаила Павловича. Крузенштерн — начальник морского кадетского корпуса и в этом звании должен маршировать перед кадетами на парадах, ученьях и пр., что ему очень худо удается. Это дало повод великому князю сказать про него, что «обойдя несколько раз вокруг света, он не умеет обойти вокруг манежа».

Все это, однако же, не мешает Крузенштерну пользоваться по ученым его заслугам такой репутацией в европейском ученом мире, какую едва ли имеет кто-нибудь из других наших ученых.

Я заезжал сегодня проститься к Орлову[265], думая, что он едет завтра или послезавтра; но выходит, что он отправляется не прежде субботы, 28 числа, и потому что, не имея уже возможности застать наследника в Италии, едет только до Вены, куда наследник прибудет 10 февраля.

Граф Орлов есть нынче едва ли не ближайший к государю человек, и если государь не ценит свыше меры достоинство его в государственном отношении, то по крайней мере видит в нем истинно преданного себе, русского душою, благородного, доброго и столь благонамеренного, сколько любезного и приятного в общественной жизни человека. Проходит редкий день, чтобы Орлов не видел государя, т. е. не обедал или не проводил с ним вечера, и между тем в этих близких, можно сказать, сердечных отношениях он едва ли кому делал зло, не упуская никакого случая делать добро. На его счет один голос в публике, и этот голос — общая приязнь и уважение. Вчера государь изъявлял ему сожаление свое о принужденной их разлуке; «и ты можешь поверить, — прибавляет Орлов, — как я был тронут, когда на глазах его при этом блеснула слеза».

Орлов говорил мне далее, что при всей невольной грусти о разлуке с государем, с своим семейством и со всеми здешними отношениями, ему нельзя было поколебаться ни минуты в принятии той священной обязанности, которую вверяет ему теперь государь. Он жалеет только, что поручение это дастся ему слишком поздно и что наследник совершил уже довольно значительную часть своего путешествия.

23 января

Я был сегодня у графа Сперанского и истинно обрадовался положению, в котором его нашел. Голос и наружность его

---

[265] После смерти князя *Ливена* назначенному состоять при наследнике, бывшем в то время за границей.

очень поправились, и сам он совершенно доволен приметным восстановлением сил. Я пробыл у него часа полтора в неистощимой беседе. Он собирается выехать на днях в первый раз к государю и принялся уже серьезно за дело, так что скоро надобно ожидать движения знаменитому делу о лаже. Зато у нас опасно занемог председатель другого департамента, граф Литта. Водяная, которой давно уже видны были в нем приметы, берет верх, и сегодня были у него на консультации Арендт и Буш. В его лета трудно предвидеть хороший конец, и бедному изнемогающему нашему Совету, вероятно, грозит опять новая потеря!

24 января

Бедного графа Литты уже нет! Он скончался сегодня утром в 5 час., и не от водяной, как мне ошибочно сказывали, а от грыжи. Доктора не решились сделать ему операции, опасаясь, что он умрет под ножом, и этим замедлили его смерть только на несколько часов. Почти до последней минуты он был в совершенной памяти и успел исповедаться и причаститься. Смерть его наделала мне тысячу хлопот, как сейчас расскажу.

Отобедав вчера спокойно в своей семье, я думал несколько отдохнуть перед балом, который назначен был у графа Левашова, как вдруг докладывают мне, что приехал камердинер от графа Бенкендорфа.

— Граф, — сказал он, — никуда не выезжает по случаю семейного своего траура (князь Ливен был женат на его сестре), но, имея крайнюю необходимость сегодня с вами увидеться, просит вас заехать к нему, в котором часу вам угодно.

Так как он живет рядом с Левашовым и очень неблизко от меня, то я велел сказать, что буду перед восемью часами, т. е. перед самым балом. Но между тем это приглашение крайне меня встревожило. Чего хочет от меня так экстренно

секретная полиция, с которою по роду дел Государственного Совета мои отношения так редки?

При всей чистоте моей совести я крепко испугался, поверяя в душе моей, не сказал ли где-нибудь слова, которое могло навлечь на меня неудовольствие государя, и опасаясь еще более какого-нибудь безыменного клеветнического доноса на меня или моих чиновников. Но страх мой рассеялся при первых словах Бенкендорфа.

— Добрый граф Литта очень плох, и император наметил вас для того, чтобы опечатать его бумаги в случае его кончины.

После этого он показал мне докладную свою (французскую) записку, в которой спрашивал разрешения, кому запечатать и разобрать бумаги графа Литты, если он умрет, как то доктора полагают. На записке государь написал своею рукою: «Корф должен сделать это; дайте ему знать».

Между тем, совсем уже одетый к балу, я должен был от Цепного моста ворочаться к Новой Голландии, где дом графа Литты, чтобы узнать все подробности, и велел дать знать себе в случае кончины, а оттуда ехать опять к Цепному мосту, т. е. перекрестить дважды весь город. Едва я приехал на бал и государь заметил меня, как и подозвал к себе. Я рассказал ему все подробности о больном, а он повторил мне приказание, данное в письме:

— Особенно, — сказал он, — посмотри, не найдется ли там каких бумаг покойного батюшки по бывшему Мальтийскому ордену (граф Литта был при Павле Grand-Bailli ордена). Во всяком случае считайте себя обязанным опечатать все, лишь только вы узнаете, что он скончался.

Вся эта беседа была милостива; но, несмотря на то, бал был для меня, — как, вероятно, и для многих других, — очень грустен: мы так привыкли видеть графа Литту в каждом салоне, любоваться его вежливым, приветливым и вместе барским обхождением, слышать его громовой голос, смотреть на

его шахматную игру, за которою он проводил целые вечера, любоваться его бодрою и свежею старостью, — что невозможно было не вспоминать о нем каждую минуту, особенно воображая его мучения. Я приехал домой во втором часу, и пока, по обыкновению, покурил и почитал в постели, а потом от душевного волнения провалялся без сна, пробило уже и три часа. В начале шестого вошли ко мне с запиской, в которой один из племянников Литты, граф Браницкий, извещал меня, что он умер в 5 час., и приглашал тотчас приехать для исполнения высочайшей воли. Вслед за мною приехал туда и другой племянник покойного, князь Юсупов, и мы тотчас принялись за дело; сперва запечатали кабинет, в который снесли бумаги из всех других комнат, а потом вскрыли и прочли тут же вместе завещание, в котором, как известно было, содержалась воля покойного насчет его погребения. Все это заняло несколько часов, и я воротился домой уже в исходе восьмого.

26 января

Вчера не было у меня ни одной свободной минуты, и приходится уже рассказать сегодня покороче, чтобы не запустить происшествий.

Утром 24-го я отправился к председателю, чтобы донести подробнее о всем бывшем, и нашел там государя.

— Тебе немного пришлось спать сегодня, — сказал он, — ты, я думаю, с бала приехал прямо на похороны.

Потом он расспрашивал, что мы нашли, и со всей подробностью рассказывал при мне князю Васильчикову содержание завещания, которое уже было ему представлено. Родственники признали это нужным потому, что граф завещал похоронить себя сколько можно проще, без приглашений и проч.; государь приказал исполнить в точности его волю, изъявив, впрочем, уверенность, что все поспешат отдать ему последний долг.

Завещание г. Литты состоит кратко в следующем: внучке покойной жены своей, известной графине Самойловой, живущей уже давно за границею, он назначил 100 тыс. руб.[266] пожизненной пенсии; затем определены единовременные капиталы: в пользу тюремного общества 100 тыс. руб. для ежегодного выкупа из процентов содержащихся за долги; в инвалидный капитал 100 тыс. руб. для содержания 10 инвалидов, преимущественно морской службы, в которой сам он долго служил; 10 тыс. руб. для раздачи бедным в день его погребения; единовременные выдачи, впрочем, не выше 10 тыс. руб. каждая, всем состоявшим с ним в близких служебных отношениях, в том числе и моему Никитину, который назван в духовной «mon ami»; единовременная же выдача и пенсия всем находившимся при нем людям[267] (например, камердинеру 15 тыс. руб. и 1000 руб. пенсии); наконец, значительные денежные донации в пользу всех находящихся в России (кроме западных губерний) католических церквей. Затем все прочее несметное состояние: дом со всей драгоценной движимостью, бриллиантами, серебром, бронзами и проч., деревни и огромные капиталы завещаны двум родным племянникам его, Литтам, австрийским подданным, живущим в Милане.

Государь боится, что это породит процесс, потому что законы запрещают иностранцам владеть в России недвижимостью, а на покупку такого исполинского состояния едва ли найдутся охотники, но я думаю, что тут опасаться нечего, потому что у покойного было всего только 4 тысячи душ, а все прочее заключается в билетах и акциях, сумма которых, впрочем, достоверно неизвестна.

---

[266] Ассигнациями, как и все нижеследующие суммы.
[267] Которым, сверх того, отданы его экипажи и гардероб.

Тело, по завещанию, будет погребено в Царскосельской католической церкви, где лежит уже другая внучка покойного, графиня Ожаровская.

Покойный всю жизнь свою отличался непомерною скупостью. Характеристический в этом отношении анекдот случился и в последние его минуты. За час до его смерти, когда доктора объявили уже ему самому, что нет надежды на спасение, и когда ожидали священника для исповеди и причастия, он приказал засветить для встречи его свечи в проходных комнатах; но едва кончился священный обряд и священник с дарами удалился, как граф вспомнил о свечах, велел тотчас их гасить, чтобы не горели понапрасну.

27 января

Смертью графа Литты открылись четыре вакансии: обер-камергера, председателя попечительного комитета о богоугодных заведениях, председателя комиссии о построении Исаакиевского собора и, наконец, председателя нашего (Государственного Совета) департамента экономии.

Последние две вакансии уже замещены.

Председателем Исаакиевской комиссии назначен министр императорского двора князь Волконский, который был уже ее членом.

Назначение председателя департамента экономии представляло более трудностей и повлекло за собою множество переговоров и комбинаций, к которым присоединились и комбинации председателя гражданского департамента, на место уволенного графа Мордвинова. По соображениям государя или, лучше сказать, князя Васильчикова, одобренным государем, — на первое место предназначался граф Левашов, зять Васильчикова, а на второе — старик Кушников, стоящий уже одною ногою в гробу, но для исполнения этой комбинации надлежало обойти графа Строганова, который гораздо

старее Левашова, и вступить в переговоры с Кушниковым, чтобы облегчить его в других занятиях.

Первое, т. е. благовидное устранение Строганова, принял на себя сам Васильчиков, а последнее поручили мне. Кончилось тем, что Строганова заставили добровольно отказаться от занятия места Литты, испугав его тем, что он плохо знает по-русски; что между тем ему — как старшему, придется председательствовать и в общем собрании, в случае отлучки или болезни председателя, и пр.; Кушников, со своей стороны, принял сделанное ему предложение с восторгом, но не пожелал отказаться от звания председателя в Опекунском совете, как о том ему предлагали, а вместо того предложил сложить с себя звание председателя комиссии прошений, тем более, что по общему порядку многие дела переходят из нее именно в гражданский департамент. Родившийся от этого новый вопрос: кому быть председателем комиссии прошений, князь Васильчиков разрешил с необыкновенной для него быстротой, предложив на это место нового нашего члена Тучкова, которого никто еще не знает и который моложе многих из нынешних членов комиссии. Обо всем этом указы сегодня уже подписаны.

Вчера был вынос тела графа Литты из дому в католическую церковь, при котором находился и государь, а сегодня торжественное его отпевание, где были все, кого можно только себе представить. Согласно воле покойного пригласительных билетов ни к кому рассылаемо не было, гроб простой, церковь не была обита черным, и вообще весь парад состоял только в соборном служении и многочисленном собрании знати, между которой было и много дам.

Сожаление о кончине графа Литты общее, не как о государственном человеке, каковым он не был, а как о приветливом, обходительном и приятном вельможе, составлявшем необходимую принадлежность всех салонов большого света.

3 февраля

Вчерашний маскарад у графа Левашова был столько же роскошен, сколько блистателен. Сначала между толпами кавалеров и дам в разнохарактерных костюмах явилось и несколько дам в масках, которые, по обыкновению, интриговали мужчин. Мы все были в цветных фраках, без масок, но и без лент, в домино, дававших нам вид немецких пасторов, или каких-то Дон-Базилиев с круглыми шляпами, которых, однако, никто не надевал. Военные были тоже все в домино, и в этом виде оставались мы целый вечер, и танцующие, и играющие, и простые зрители.

После первой французской кадрили музыка заиграла вдруг опять польское, и явилась особая императрицына кадриль. Императрица шла в великолепнейшем новогреческом (албанском) костюме, в предшествии восьми пар, одетых в такой же костюм, — все без масок. Пары эти составляли, сверх великой княжны Марии Николаевны, фрейлины и молодые камер-юнкеры и камергеры.

В этом полуфантастическом наряде, с распущенными волосами, с фесками, в коротких платьях с обтянутыми ножками, залитые золотом, жемчугом и драгоценными каменьями, — все казались красавцами и красавицами. Протанцевав первую кадриль особо, эти избранные смешались потом с толпой, и танцы продолжались от девятого часа до третьего.

Ужин для мужчин был в прелестной оранжерее, чудесно освещенной, где играл особый хор музыки. Весь праздник имел, по крайней мере, вид оригинальности, которым отличался от обыкновенных, однообразных наших балов, хотя можно себе представить, каких огромных издержек стоила вся эта роскошь не столько еще для хозяина, сколько для гостей. Кроме особ царской фамилии, всех великолепнее были одеты: супруга английского посла маркиза Кленрикард, сардинского — графиня Росси (бывшая знаменитая актриса и

певица Зонтаг), жена церемониймейстера Всеволожского, красавица Криднер. Прелестны также были четыре древнегреческие девы: графиня Аннета Бенкендорф[268], княжна Щербатова[269], Карамзина и жена флигель-адъютанта Толстого (урожденная Бенкендорф). Особенно первые три — белизной и изяществом форм казались настоящими изваяниями древних художников.

11 февраля

Сегодня Сперанский очень плох, чрезвычайно плох, почти уже безнадежен!.. Ночью произошел перелом в болезни, повергший его в чрезвычайную слабость, начали делаться страшные приливы крови в голове, и от слабости отнялся язык. Во втором часу утра, когда я там был, употребляли последние средства: облепили его горчицей и шпанскими мухами, поставили за уши пиявки и обложили голову льдом. Доктора объявили, что мало надежды.

Сейчас (три четверти восьмого) прискакали сказать мне, что все кончилось.

12 февраля

Светило русской администрации угасло. Сперанский был, конечно, гений в полном смысле слова, гений с недостатками и пороками, без которых никто не бывает в бедном нашем человечестве, но едва ли не превзошедший всех прежних государственных людей наших, — если в прибавок к великому уму его взять огромную массу его сведений теоретических и практических.

Имя его глубоко врезалось в историю. Сперва ничтожный семинарист, потом всемогущий временщик, знаменитый изгнанник, восставший от падения с неувядшими силами, на-

---

[268] После вышла замуж за графа Аппони.
[269] Вышла после за старшего сына князя И. В. Васильчикова.

конец бессмертный зиждитель Свода законов, столь же исполинского в мысли, как и в исполнении, — он и гением своим, и чудными своими судьбами стал каким-то гигантом над всеми современниками. Кончина его есть историческое событие и вместе бедствие государственное. Многое в его жизни осталось неразгаданным, непонятым; иное объяснят нам, может быть, оставшиеся после него мемуары, существование которых я никогда не подозревал, но которые вчера видел собственными глазами. Жизнь Сперанского, описанная пером Сперанского, — может ли быть что-нибудь любопытнее?

И сколько с этой горестной кончиной разрушилось частных надежд, сколько уничтожилось будущностей! Сколько молодых и старых, начинающих только и продолжающих свою карьеру, ожидало от Сперанского всего, всего! И кто после Сперанского с равной силой, с равным красноречием, будет возвышать свой голос в царской думе, кому завещал он свое золотое перо, свой увлекательный дар слова, свое мастерство в улаживании и рассечении самых запутанных трудных государственных вопросов!

Правящий должность статс-секретаря в нашем департаменте законов, Теубель, человек с отличными дарованиями, но совершенно эксцентрический, не уважающий ничьих достоинств, не отдающий никому справедливости, — в ответ на записку, которой я уведомлял его сегодня о кончине Сперанского, пишет мне: «Я уже успел узнать незаменимую и особенно для нас несчастную потерю сегодня поутру. Не смею сравнивать себя в чувствах скорби с теми, которые могли иметь лично близкие к покойному отношения, но как служащий, никто, без сомнения, глубже меня не был поражен этим гибельным случаем. Бог пусть судит, что теперь будет с департаментом законов».

В доме Сперанского я нашел плач и стон. Дочь его (единственная), жена сенатора Багреева, и дети ее утопали в слезах;

люди тоже. В одной комнате торговались с гробовщиком, а в другой — приготовляли стол для последнего ложа; в третьей — снимали с покойного маску для бюста и слепок с рук его — прекраснейших, какие мне случалось видеть. На умном значительном лице его, нисколько не обезображенном предсмертными страданиями, запечатлелась глубокая дума, как будто выспренний дух его не улетел еще в безвестные пределы!

— Он умер как праведник, а теперь лежит как будто спящий святой, — шепнул подле меня кто-то из людей.

Я плакал, горько и долго, долго не мог отойти от этого величественного трупа. И во мне плакало какое-то двойное чувство: чувство осиротевшего сына русской земли и чувство привязанности к человеку, с которым тринадцать лет состоял я в ближайших связях, к истинному творцу моей карьеры; не знаю, которое плакало больше.

13 февраля

Тело покойного вчера еще было положено в гроб; вчера же приготовлена траурная комната, учреждено дежурство, и начались торжественные панихиды по два раза в день. Народу тут всегда множество, но более второстепенного. Знать и вельможи наши не любят гробов и напоминания смерти. Вообще Сперанский был беден друзьями: он имел множество поклонников, множество почитателей, может быть, столько же врагов; но свойство его характера делало его малоспособным к истинной дружбе.

Сколько мне известно, он состоял в особенно тесной связи только с покойным князем Кочубеем и с нашим Васильчиковым; но в первом он всегда видел более бывшего начальника, содействовавшего блистательным его успехам, а над вторым всегда чувствовал далекое свое превосходство. Я думаю, что они любили и уважали его более, чем он их; но истинной дружбы и тут не было, потому что я нередко имел случай слышать взаимные обоюдные их нарекания. В семействе и

вообще в домашней жизни он был обожаем по ровному, кроткому, незлобивому своему характеру; столько же бы он был любим и своими подчиненными, если бы было в нем более прямодушия.

В день кончины Сперанского паралич разбил другого нового нашего председателя Кушникова, далеко отстоящего от первого во всех отношениях умственных, но всеми любимого старца. Он в памяти, но жизнь его в величайшей опасности. Вчера он исповедовался и приобщался; сегодняшние известия очень нехороши. В роковой день, 11 февраля, увидев Арендта, он спрашивал: каков Сперанский, и на ответ его, что очень худ, с чувством проговорил:

— Ах, Николай Федорович, бросьте меня и идите спасать его: я человек обыкновенный, каких много у государя, а другого Сперанского нет!

В этот же день, посреди всех печалей, случился истинно комический анекдот. Наш физиономист Лемольт, которого позвали снимать бюст с скончавшегося Сперанского, услышав ошибочно, что умер и Кушников (живущий очень близко к дому Сперанского), рассудил, на всякий случай, заехать по дороге и к нему. И вдруг глупые люди Кушникова докладывают ему самому, что приехал какой-то француз снимать с него маску!

14 февраля

Сегодня в 1-м часу после полудня скончался и добрый наш старик Кушников. Итак, с 24 января по 14 февраля мы потеряли трех председателей, всего же с апреля прошлого года, т. е. в десять месяцев, умерло восемь членов Совета, почти по одному на месяц, именно: граф Новосильцев, князь Лобанов-Ростовский, Родофиникин, Нарышкин, князь Ливен, граф Литта, граф Сперанский и Кушников, — в том числе шесть Андреевских кавалеров. Настоящее моровое поветрие!

16 февраля

Вчера происходило торжественное погребение графа Сперанского в Александро-Невской лавре, в присутствии государя императора и великого князя Михаила Павловича, со всей подобавшей высокому сану его почестью. Священный обряд совершал киевский митрополит Филарет, которого покойный очень любил и уважал. Государь и великий князь приехали только в церковь и на дому не были, но провожали гроб из церкви до могилы на новом кладбище и тут оставались до первой горсти земли, посыпанной на гроб.

Сегодня я посещал оставшуюся дочь (Багрееву), которая подарила мне карандаш и листик бумажки. Карандаш есть последний, которым писал покойный при своей жизни; листик бумажки тоже содержит в себе одно из последних начертаний его руки; это сравнительная ведомость суммам, которые правительство издерживало ежегодно на пенсии с 1823 по 1837 год.

У меня сохранилось, сверх этого, множество собственноручных записок ко мне покойного, которые я теперь буду хранить как заветное сокровище.

Сегодня я был на панихиде у С. С. Кушникова. Зала, великолепно убранная, великолепно освещенная и почти пустая. Накануне его кончины, когда была еще надежда на выздоровление, я нашел переднюю его набитой множеством лиц первой руки, и всякую минуту останавливались у подъезда кареты…

17 февраля

Теперь происходят в Петербурге обыкновенные трехлетние выборы дворянства. Между выборными должностями есть несколько членов совета кредитных установлений — звание, в которое выбираются дворяне более для почета.

Вчера в списке кандидатов в эту должность предложен был и известный статс-секретарь Позен; но забаллотирован

160-ю шарами против 40. История его несложная, но интересная.

Поступив на службу сперва в министерство финансов, он долго там прозябал незамеченный, хотя товарищи и ближайшие начальники умели уже оценить его отличные дарования.

Потом взял его к себе нынешний военный министр граф Чернышев, и тут в самое короткое время он умел сделать самую блистательную карьеру.

При тонком уме, живом воображении и хорошем пере он тотчас завладел Чернышевым, умел приобрести всю его доверенность и еще в средних чинах был употребляем ко всем важнейшим мерам и особенно ко всем новым предположениям по военному министерству, и потом, сопутствуя несколько раз государю в его путешествиях, сам объявлял уже высочайшие повеления графу Чернышеву. В 1834 году, когда я был перемещен в государственные секретари, он стоял уже на такой ступени, что вместе с директором канцелярии военного министерства Брискорном был предположен государем кандидатом на мое место в управляющие делами Комитета министров, но Чернышев решительно объявил, что не может обойтись ни без того, ни без другого, и тогда взяли Бахтина, служившего при князе Меншикове. Но когда, года через два после того, Бахтин был пожалован по месту своему в статс-секретари, то Чернышев потребовал этого же звания и для Брискорна и Позена, под благовидным предлогом, что оба они не получали места управляющего делами Комитета потому лишь, что были необходимы в настоящих должностях, и не должны от этого терпеть.

Ходатайство его было уважено государем, и Позен был тогда на апогее милости и силы.

Оставайся он при одной службе, и может быть, эта милость и сила сохранялись бы и росли по-прежнему; но он вздумал сделаться богатым — и этого завистливая толпа уже

не вытерпела. Еще в меньшее время, чем ему нужно было для создания своей карьеры, он создал себе огромное состояние. По словам его — которые и мне кажутся правдоподобными, — ему посчастливились несколько смелых спекуляций, участие в золотых промыслах, в винных откупах и пр. Но многочисленные враги и завистники тотчас обратили обогащение его в сильнейшее против него орудие, приписали оное злонамеренному употреблению власти, нашли неприличие даже в тех его операциях, которые общее мнение дозволяет каждому и, не успев повредить репутации его ума и дарований, успели очернить его характер не только в глазах публики, но и самого государя, которого милость к нему с тех пор быстро уменьшилась.

Неудача при выборах не пройдет без вредных для него последствий, ибо услужливые люди не оставят разблаговестить это в городе и довести до сведения государя. Теперь он давно уже не сопровождает государя в путешествиях и вместе с милостью царской потерял почти и весь вес у Чернышева, который стольким ему обязан. Обеспечив свое состояние, Позен давно уже поговаривает об отставке: исполнит ли он это намерение, не знаю; но ясно, что блистательная его карьера кончилась и — при том гнусном свете, который набросили на него клевета и злословие, — не воссияет уже никогда солнце милости. Я с моей стороны считаю Позена — и по виденным не раз мной опытам — человеком добрым, благонамеренным и благородным.

25 февраля

Для разбора бумаг покойного графа Сперанского назначена комиссия из бывшего министра юстиции Дашкова, статс-секретаря Танеева и меня. Вчера мы приступили к делу вскрытием печатей и отделением всех тех бумаг, которые с первого взгляда оказались совершенно частными и принадлежащими в возврат семейству. Прочие, признанные нами

«provisoirement» казенными, но из которых многие, вероятно, окажутся тоже частными, мы берем к себе для подробного разбора и описи. Жатва богатая, но однако не в той степени, как можно было заключать по слухам и даже по предварительному предположению государя.

1 марта

Все эти дни я занимался с большим напряжением разбором бумаг Сперанского: раскладывал, читал и — благоговел перед этим пером, этой бездной учености, этим необъятным трудолюбием, этим энциклопедическим умом! Чего тут нет, начиная от высших философических истин до самых крайних пределов мистицизма: история, религия, филология, классические и религиозные древности, законодательство в теории и практике, администрация, финансы — о всем тут есть не только материалы, не только отрывочные заметки, но и полные рассуждения и целые книги. И все это своей рукой и таким языком, каким никто никогда не писал у нас о подобных предметах. И как интересна частная его переписка с значительнейшими государственными людьми и учеными его века. И сколько в других бумагах любопытного материала для его биографии. Но настоящих мемуаров не нашлось: то, что я принял за них, оказалось кратким, к сожалению, слишком кратким дневником с 1821 по 1824 год включительно: почти одно оглавление.

10 марта

Я сказывал уже, что частная переписка Сперанского представляет большой и многосторонний интерес: это живая панорама дел и людей того времени, когда Сперанский был в отлучке, ибо по возвращении его сюда те письма, которые он получал из губерний, не имеют уже того общего интереса. Все это государь приказал возвратить семейству; но покамест оканчивается разбор других бумаг, письма остаются у меня.

Не позволяя себе извлекать из них ничего, могущего нарушить священную письменную тайну, даже и за отдаленное время, я выпишу здесь только кое-что, относящееся не к поименованным лицам, а к людям вообще и к делам[270].

От князя Кочубея 4 января 1821 года. «Быв некоторое время в отлучке и не находясь в столь непосредственных отношениях к делам, я не воображал себе, чтобы в сем (в улучшениях по внутреннему положению государства) была столь настоятельная необходимость.

Перемена во всем с 1812 года удивительная! Какое приняло направление публичное мнение! Какие требования или претензии! Но при том какой недостаток знаний и какая трудность искать людей, сколько-нибудь образованных.

Усердие мое томилось непрестанно. Нет никакой помощи. Извелись чиновники; правила забылись; одним словом, нет никакого удовольствия, а трудов бездна. По своему министерству (внутренних дел) сужу и о прочих, хотя, впрочем, министр финансов запасся людьми лучшими, делами части его управляющими. Но если бранят нередко всех министров и довольно непристойно, то нет уже никакой меры в запальчивости против министра юстиции. Может быть, Сенат ведет дела свои и не хуже, но сим недовольны: надобно, говорят, чтобы все шло лучше. Одним словом, труда высшему правительству предстоит премного».

Его же 3 апреля 1820 года. «Мне кажется, что всем нам должно думать не о том, как прежде лет за 50 было, но как сообразно направлению умов и веку расположиться должно, чтобы отвратить бедствия, коими более или менее все прави-

---

[270] Выписки расположены не в хронологическом порядке; но мы оставляем их так, как помещены они в дневнике М. А. Корфа. (Примечание «Русской Старины».)

тельства угрожаемы быть могут. Я знаю, что мы менее других подвержены опасности; что мы можем даже делать и зло без вредных для правительства последствий; но однако же и у нас гораздо более ныне смеют требовать от правительства, гораздо более и гласнее смеют хулить его. И у нас здесь много болтают о конституции и пр. Молодых людей множество заражено полупонятиями о законодательстве и пр. Я не сомневаюсь, что все обойдется у нас хорошо; тем не менее однако желаю искренно, чтобы сделан был приступ к установлению лучшего во всех частях порядка».

Из того же письма. «По мере расположения сего (государя Александра к возвращению Сперанского) обращаются уже все желания наружные к возвращению вашему, к прочному вашему в делах водворению. Я вижу тех, кои самому мне утверждали, что вы не веруете в Христа и что все ваши распоряжения клонились к пагубе отечества и пр., утверждающих ныне, что правила ваши христианские переменились и что и понятия ваши даже о делах управления не суть прежние. Несчастие заставило вас размышлять и пр. Многие забегают ко мне спрашивать, будет ли М.М. сюда? Как вы думаете: надобно бы обратить старание к тому, чтобы его вызвали и пр. На все это ответ мой: не знаю, хорошо бы было и т. д.

Знаете ли вы: история ваша открыла мне новый свет в этом мире, но свет самый убийственный для чувств, сколько-нибудь нас возвышающих. Я до ссылки вашей жил как монастырка. Мне более или менее казалось, что люди говорят то, что чувствуют и думают; но тут я увидел, что они говорят сегодня одно, а завтра другое, и говорят не краснея и смотря вам в глаза, как бы ничего не бывало. Признаюсь, омерзение мое превышает меру и, при слабом здоровье моем, имеет, конечно, некоторое над оным влияние».

От князя А. Н. Голицына 22 апреля 1819 года. «Государь император, видя из ответа вашего к графу Аракчееву предположение ваше о мнении публики насчет вашего назначения, поручил мне вас удостоверить, что оное произвело вообще хорошее действие.

Иные приписывали отличной доверенности к вам поручение края, столь требующего всего внимания государя по многим отношениям; другие находили, что это назначение будет иметь для сибирских губерний самые благодетельные последствия. В рассуждении же просьбы вашей об отпуске, мало и знали о ней, ибо она прислана была от вас к графу Вязмитинову, а им доставлена прямо к его величеству».

О. П. Козодавлева 30 июня 1819 года. «Знаете ли вы, какая редкость при определении вас сибирским начальником случилась? Все были этим довольны; никто в том правительство не упрекал, оно попало на общее мнение…

Вы пишете, что в Сибири, ничего не читая, можно заржаветь. Это в Сибири так, как и везде. Здесь многие и весьма многие ржавчиной провоняли».

От самого Сперанского князю Кочубею 21 сентября 1818 года (когда он был еще Пензенским губернатором).

«При самом отправлении вашем из Петербурга в письмах к его величеству и особенно графу Аракчееву я просил суда и решения. Все опасности этого поступка я принимал на свой страх, а неприятелям своим предоставлял все способы поправить ошибку самым благовидным образом. На случай одной крайности присовокуплял я другое средство: службу. Из двух, однако же, именно выбрали худшее — и меня, ни оправданного, ни обвиненного, послали оправдываться и вместе управлять правыми и, чтобы довершить всю странность этого положения, то примкнули ко мне Магницкого, поставив та-

ким образом мое поведение не только в связи, но и в зависимости от его порывов.

Один Бог сохранил меня от печальных предзнаменований, с коими появился я в губернии. По счастью и единственно по счастью, добрый смысл дворянства и особенно старинная связь моя с Столыпиными мало-помалу рассеяли все предубеждения.

Их советами и их сильной помощью я стал здесь помещиком и хотя вошел в долги, но зато примирился со всеми подозрениями и приобрел почти общую к себе привязанность. Между тем сношениями и делами мирился я и с Петербургом. Д.А. (Гурьев) один из первых ко мне обратился: по его ходатайству получил я продолжение аренды, некогда вами мне испрошенной, и земли в Саратове. Вообще по всем частям министерств я не встретил ничего, кроме приятного. Его величество сверх милостивого внимания ко всем моим представлениям по службе удостоил меня двумя благосклонными и совершенно в партикулярном и от службы не зависящем слоге рескриптами. В них нашел я и то драгоценное мне уверение, что государь не сомневается в искренности и преданности чувств моих.

Таким образом худое начало произвело добрые последствия…

Обращаясь лично к себе, я прошу и желаю одной милости, а именно, чтобы сделали меня сенатором и потом дали бы в общем и обыкновенном порядке чистую отставку. После этого я побывал бы на месяц или два в Петербурге единственно для того, чтобы заявить, что я более не ссыльный и что изгнание мое кончилось».

От него же к О. П. Козодавлеву 5 ноября 1818 года. «В положении моем трудно оградиться от наветов. К сему сделана уже привычка.

Привыкли, например, как слышу, и теперь еще продолжают судить о мне по известиям, из Симбирска привезенным. (Там был в то время Магницкий, удаленный вместе со Сперанским.) Но товарищ мой в несчастии никогда не был мне товарищем ни в образе мыслей, ни в поступках, и без большого самолюбия смею думать, что это слияние столько же само по себе странно, как и несправедливо».

14 марта

Вчера я обедал у очень достойного человека, полковника Ростовцева[271], адъютанта великого князя Михаила Павловича и вместе начальника штаба военно-учебных заведений, весьма многим ему обязанных. Хотя Ростовцев женат, но обед был холостой. В нем участвовали статс-секретари Позен, Брискорн и Бахтин, начальник штаба артиллерийского князь Долгоруков, генерал-аудитор Ноинский, директор канцелярии министра финансов Княжевич. Ростовцеву приятели его заказали совершенно русский обед, который был очень недурен; но чтобы и вино шло в тот же тон, на бутылках с лучшими сортами французских вин вывешены были ярлыки: «сантуринское», «крымское» и пр., на водке «ерофеич», «пенник».

16 марта

Киселев (Павел Дмитриевич), который читал письмо Ермолова, сказывал мне, что в нем, между прочим, Ермолов изъявляет удивление свое «благости царя, уполномочивающего несколько избранных лиц в составе Совета разбирать и изъяснять существующие законы и составлять новые, предоставляя себе одно утверждение их мнения». Ответ ему сделан не через графа Бенкендорфа, а через военного министра, и довольно колко. Там сказано, между прочим, что государь

[271] Якова Ивановича, впоследствии графа.

выбрал его в члены Совета, имея в виду, что он долгое время управлял обширным и важным краем и предполагая поэтому в нем соединение сведений и опытности по всем частям администрации и законодательства; но как теперь он сам сознается, что не имеет нужных для этого звания способностей, то государь и предоставляет ему полную свободу — присутствовать или не присутствовать в Совете и пр.

20 марта

Граф Александр Иванович Чернышев (нынешний военный министр) — страшный охотник хвастать своими прежними воинскими подвигами и рассказывать их всякому, кто готов слушать, а слушателей, при теперешней его силе, разумеется, пропасть. Эту страсть он привил и жене своей (урожденной графине Зотовой), которая сделалась, таким образом, большой распространительницей военной славы своего супруга.

На днях был у них небольшой вечер. В одном углу граф играл в вист. В другом — графиня, в кругу усердных слушателей, трактовала любимую свою материю. Недалеко от них стоял князь Меншиков, столько же острый, сколько колкий и злоязычный. Вдруг графиня среди своего рассказа забыла имя города (Кассель), взятого ее мужем во французскую кампанию. «Вот князь Меншиков нас выручит: скажите нам название города, взятого Александром». — «Но ведь это Вавилон». — «Нет, это что-то другое».

29 марта

Вчера я обедал у М. В. Гурьева в довольно многочисленной компании, которую потешал своими рассказами генерал путей сообщения Дестрем, француз, столько же известный своим остроумием и ученостью, сколько, впрочем, и хвастливостью.

Вчера главный предмет его рассказов составляла ссылка в 1812 году. В числе многих французов, которые тогда удалены были из Петербурга без всякой другой причины, кроме общего подозрения в неприязни к России, находились и четыре воспитанника Парижской политехнической школы, перезванные на нашу службу и имевшие уже тогда у нас майорский чин: Дестрем, Базен, Потье и Фабр — люди, которые впоследствии все приобрели себе имя и общую известность на своем поприще. Они отправлены были сперва в Ярославль, а оттуда прямо в Иркутск, где и прожили два года восемь месяцев, под самым строгим надзором, с запрещением выходить из дому и принимать кого-нибудь к себе. Единственное утешение их было взаимное сообщество, потому что их заключили всех вместе, и занятие науками. Там же Дестрем выучился по-русски и теперь может поспорить в знании нашего языка со многими из нас. Тогдашний иркутский губернатор Трескин, которого Дестрем называет чудовищем (после он был за разные преступления под судом и разжалован), увеличивал еще их страдания самыми деспотическими и превосходившими даже его инструкцию притеснениями.

Наконец, когда они потеряли уже всякую надежду оставить в жизни своей Иркутск, им вдруг объявлена была свобода, с правом возвратиться к службе своей в Петербург. Эту сцену описывает Дестрем самым комическим образом. Городничий явился к ним рано утром с объявлением, что «принес им радостную весть». В ту минуту, как, читая принесенную им бумагу, они впали в немое оцепенение восторга и потом бросались друг другу на шею, — городничий с таинственным видом провозгласил, что имеет объявить им «еще другую радостную весть». В избытке своего счастья, они не могли вообразить себе такой вещи, которая могла бы еще его увеличить. Между тем эта радостная весть состояла в том, что «господин губернатор просит их к себе отобедать».

12 апреля

На счастье Блудова, ему даны отлично надежные помощники в министерстве юстиции. Через назначение Дегая статс-секретарем и Веймарна обер-прокурором I департамента Сената, в департаменте министерства юстиции открылись вакансии директора и вице-директора. Теперь помещены: на первую — обер-прокурор Данзас, а на последнюю — бывший в последнее время в министерстве государственных имуществ Пальчиков — оба люди умные, образованные, отличных правил, служившие долго в губерниях и приобретшие большую опытность, а что всего важнее, люди с твердым характером. Оба они учились в лицее и вышли через три года после меня (второй выпуск 1820 года), так что они не только теперь товарищи между собой по службе, но и бывшие товарищи по школе.

На днях князь Паскевич принимал меня с бумагами по-домашнему: на нем сперва фланелевая фуфайка, потом меховая и наконец, сверх всего, еще шелковый камзол на ватке, чем и оканчивается верхний туалет. Ноги его покоятся в огромном меховом мешке. И все это в комнате, где температура без того выше обыкновенной. Он говорит, что взял привычку к такой теплой одежде за Кавказом, где она предохраняет от внешней жары, а теперь продолжает употреблять ее в предосторожность от простуды. Адъютанты сказывали мне, что во всякую свободную минуту и по несколько раз в день он ложится на диван, и тогда покрывают его шубами, а к ногам прикладывают горячие кувшины.

Фамилия графов Виельгорских (или, как их у нас зовут, Велегурских) издавна очень приближена ко двору: сын одного из них воспитывался вместе с наследником[272], и вообще

[272] Почти в то самое время, как я писал эти строки, этот молодой человек умер в Риме.

они пользуются самой особенной милостью как государя, так и императрицы. Один из них, Матвей, любимый еще более другого (Михаила), теперь в должности шталмейстера у великой княжны Марии Николаевны и вместе директором одного из департаментов министерства иностранных дел. Но как с наступающим браком великой княжны первая должность из синекуры обратится в действительную и притом довольно заботливую, то Виельгорский и принужден оставить последнюю. Граф Нессельрод, докладывая об этом государю, испрашивал Виельгорскому награду; но государь никак на это не хотел согласиться.

— Я слишком люблю Виельгорского, и потому подумают, что даю ему награду из пристрастия.

Несмотря на все убеждения Нессельрода и на отличное его засвидетельствование о службе Виельгорского, государь остался непреклонен.

— Пусть еще послужит и заслужит, — был его ответ.

Итак, Виельгорскому, за то что государь особенно к нему расположен, приходится пробыть еще несколько времени в обеих должностях. Вероятно, что государь отсрочивает его награду до свадьбы[273].

13 апреля

Сегодня первый несколько весенний день. На солнце 16°, а в тени и в воздухе есть уже что-то ароматическое. Лед на улицах, однако, не везде еще стаял, особенно на стороне к северу его очень много, а грязи еще более.

Умер еще один наш член, бывший андреевским кавалером, Иван Васильевич Тутолмин, человек добрый и почтенный. Он уже лет шесть или семь удалился совсем от дел и хотя числился еще в наших списках, но постоянно жил в Москве. Я состоял с ним некогда в ближайшем соотношении,

---

[273] И точно: в день брака он получил ленту Станислава. Но с тех пор и посыпались уже на него награды…

потому что он был председателем комитета призрения заслуженных гражданских чиновников в то время, когда я числился уже его членом. Он умер в глубокой старости.

Наш старик Балугьянский был всегда — и совсем не по своей воле — человек чрезвычайно комический. Глухота его, неловкость, нелюдскость, совершенное отсутствие такта и какое-то простодушие, доходящее иногда до совершенного ребячества, тысячу раз давали повод к презабавным с ним анекдотам.

Вот опять самая свежая уморительная сцена. Эстляндское дворянство — по старинному обычаю своему в отношении к людям, которым хочет оказать особенную почесть или в которых имеет нужду, — причислило его в свое сословие и придало ему диплом на звание эстляндского дворянина, что очень польстило старику. На другой день после того является к нему эстляндский дворянин и ландрат Гринвальд, который ничего не знал о новом своем собрате. Можно себе представить удивление его и смущение, когда старик бежит к нему навстречу с распростертыми объятиями и вдруг, падая перед ним на колени, кричит: «Примите меня в рыцари!» Первая идея Гринвальда была, что он сошел с ума; вторая, что ему дана желанная Александровская лента. «Ваше превосходительство, наверно, назначены кавалером Александровского ордена?» — «Да, да», — отвечает ему глухой Балугьянский, слыша совсем другое, и вот Гринвальд, за отсутствием меча, дает ему легкий удар по плечу попавшеюся линейкой, — и только уже после этой церемонии, когда Балугьянский приветствовал Гринвальда «своим собратом», объяснилось обоюдное недоразумение.

3 июня

Мой Васильчиков большой охотник рассказывать анекдоты из военной своей жизни, которые не всегда равно

занимательны, хотя карьера его, по общему свидетельству, была точно блистательна. Вчера мы говорили о предназначенных на нынешнюю осень маневрах при Бородино, и он рассказывал, что за Бородинское дело был пожалован в генерал-адъютанты, обойдя 30 человек, и что сверх того в этом же деле несколько раз чудесным образом спасена была его жизнь. Мать его, женщина набожная и богомольная, перед отправлением в поход 1812 года подарила ему прекрасную греческую саблю, на клинке которой был изображен лик Богоматери, с просьбой надевать ее во всяком деле.

— Но чудное дело, — прибавляет он, — до Бородинского сражения я совсем забыл об этой сабле, а тут только впервые надел ее, перекрестившись с молитвой за себя и за матушку. И что же: в этом деле убито было подо мною три лошади, меня задело в три приема и в трех местах осколками картечи, я был в двух шагах от плена, окруженный со всех сторон неприятелями, и Божия помощь меня вынесла; от самой же сабли остался один клинок с образом Богородицы: эфес отскочил или его оторвало, не знаю уже как, но он пропал.

8 июня

По случаю споров между калмыками Бузулуцкого уезда и занявшими часть их земель казенными крестьянами Сенат, до которого дошло это дело в 1836 году, предписал тех из крестьян, кои окажутся действительно уже поселившимися на калмыцких землях, оставить там без перевода на другие места.

Вследствие этого Оренбургский военный губернатор Перовский предположил оставить на калмыцких землях 41 семейство как прочно водворившихся, а остальные 108 семей (484 души) перевести в другие места. Но по представлению министра финансов (заведовавшего еще тогда государственными имуществами), основанному на присланной от казенной палаты подворной описи, Сенат, видя, что и эти

крестьяне почти все обзавелись уже на калмыцких землях домами и хозяйством, в 1837 году пояснил, что к числу действительно поселившихся, о которых было упомянуто в первом его указе, не должно причислять только тех, которые не имеют еще хозяйственного обзаведения или живут в чужих домах, а всех прочих следует оставить на месте водворения.

Вопреки этому Перовский распорядился о своде с калмыцких земель всех означенных 108 семей; причем (как они показывают) разломаны в их домах печи, порезана дворовая птица и захвачены засеянные поля. Когда же крестьяне подали на это жалобу министру государственных имуществ и, известясь, что по оной производится переписка, опять было возвратились на прежние жилища, то Перовский снова велел их выслать.

Между тем, по упомянутым жалобам крестьян министр государственных имуществ требовал нужных объяснений и, увидя из донесения казенной палаты и из отзыва самого Перовского, что в числе высланных 108 семей у 99 были собственные жилища и разработанные земли, признал распоряжения военного губернатора несогласными с предписаниями Сената; почему и представил об отмене сих распоряжений и о возвращении означенных крестьян по-прежнему на занятые ими калмыцкие земли.

Сенат, согласно с заключением министра, вошел о том с всеподданнейшим докладом, который и поступил по порядку на рассмотрение Государственного Совета в начале нынешнего года в то самое время, когда был в гостях у нас и сам Перовский.

Теперь надобно сказать несколько слов о действующих лицах драмы, которая нас ожидала.

О подсудимом Перовском я имел уже случай говорить в моем дневнике. С неоспоримым умом, но без высшего образования, самовластный, он не любим в высшем кругу и едва ли более того любим в управляемом им крае.

Судьями его были члены департамента экономии, но с новым уже своим председателем, графом Левашовым, который, при самом начале своего председательства, показал если не высокие финансовые познания, то, по крайней мере, характер и самостоятельность. И тогда и теперь он один решает дела в своем департаменте.

Другой, также некоторым образом подсудимый, был министр государственных имуществ Киселев. Надлежало решить между ним и Перовским: виноват ли последний или первый в неправильном его обвинении? Всякое среднее решение, которое очистило бы обоих, было тут невозможно. Можно себе представить, как действовал в таком случае Киселев со всеми запасами его ума, ловкости, сметливости и блистательного положения в свете и у царя.

Затем под рукою мог действовать и действовал человек, хотя посторонний составу департамента экономии, но не посторонний делу, ибо он пропустил определение Сената, обвинившее Перовского. Я говорю о тогдашнем министре юстиции Дашкове. Личный враг Перовского, Дашков не мог молчать в таком деле, где и он разделял некоторым образом ответственность Киселева.

Департамент экономии не только утвердил доклад Сената, но и сделал еще такую добавку, чтобы «во внимание к убыткам, понесенным крестьянами как от неправильно допущенного двукратного их переселения, так и от притеснительных действий со стороны отряженных для их переселения чиновников, произведено было на законном основании исследование и по оному сделано крестьянам на счет виновных надлежащее за убытки их вознаграждение».

В общем собрании Совета это заключение прошло «par acclamation», без малейшей перемены.

Некоторые члены шептали даже что-то о выговоре Перовскому, но это было обойдено. Князь Васильчиков лично, со всех сторон настроенный, стоял горячо за решение департа-

мента экономии. Я не помню дела, в котором бы он имел такое сильное убеждение.

Но и Перовский не дремал. Зная заключение Сената, узнав тотчас, как само собой разумеется, и заключение Совета, он предварил поднесение государю сенатской мемории представлением от себя обширной записки, в которой, изложив подробно все дело (со своей точки), описал побуждения и виды, которыми руководствовался в своих действиях, и уперся главнейше на том, с одной стороны, что и теперь считает неудобным и даже невозможным исполнить распоряжение Сената, а с другой, что возвращением крестьян на калмыцкие земли значило бы совсем уронить в общем мнении власть и образ действия местного начальника и поощрить как тех крестьян, так и всех других жителей, к самовольному упорству. Потому он просил, если бы действия его признаны были неправильными (в чем он, впрочем, отнюдь не сознавался), подвергнуть его какой угодно ответственности, но крестьян оставить там, куда он перевел их тому назад уже два года.

Последствием этой искусной эволюции было то, что меморию советскую государь остановил, а записку Перовского прислал, частным образом, к Васильчикову, с надписью, свидетельствовавшей, что она вполне убедила его в правоте Перовского и изъявлявшей надежду, что она таким же образом убедит и его, Васильчикова.

Что тут было делать? Уступить безусловно не позволяло Васильчикову его убеждение, честь Совета и интерес тех лиц, которые обвинили Перовского; спорить и идти прямо наперекор представлялось тоже неуместным, особенно потому, что в записке Перовского излагались разные новые обстоятельства и уважения, которых не было в виду ни Сената, ни Совета. И так после долгих совещаний мы решились на средний путь: Васильчиков послал государю докладную записку, в которой изъяснил, что хотя главный факт, именно

неисполнение местным начальством сенатского указа, и после новых объяснений Перовского остается очевидным и неопровергаемым; однако же записка его содержит в себе разные подробности, которые, может быть, ближе пояснят предлежащий рассмотрению вопрос; что, во всяком случае, как его величеству благоугодно уже было удостоить изъяснения Перовского высочайшего внимания, то небесполезным представляется подвергнуть их совокупному с делом пересмотру; но что так как Государственный Совет по правилам своим никаких непосредственных сношений с губернскими начальствами не имеет, а Оренбургское казачье войско, к которому принадлежат и бузулуцкие калмыки, состоит в главном заведовании военного министерства, то всего удобнее было бы для возможного обеспечения правильности решения дела предоставить военному министру истребовать от Перовского подробное объяснение о причинах, побудивших его действовать вопреки указу Сената, и по сношении затем о сущности дела с министром государственных имуществ, внести в Государственный Совет окончательное к развязке этого заключение.

На этой записке государь написал своей рукой: «Будет совершенно правильно», вследствие чего князь Васильчиков объявил Совету соответственное тому высочайшее повеление, а я сообщил его для исполнения военному министру и для сведения министру юстиции.

Таким направлением дела присоединилось к числу действующих лиц еще новое: военный министр граф Чернышев.

Результатом всего этого было, что одним прекрасным утром вместо ожидаемого нами общего от графа Чернышева и графа Киселева представления в Совет, князь Васильчиков получил от первого бумагу, в которой сообщалось ему, что «государь император, рассмотрев с особенным вниманием вытребованные им, графом Чернышевым, по положению Государственного Совета, объяснения Перовского, поручить

ему изволил уведомить князя, что его величество по зрелом обсуждении этого дела изволит находить, что рассмотренным в Государственном Совете решением общего собрания Сената очевидно было бы нарушено неоспоримое законное право собственности Оренбургского войска на занятые казенными крестьянами принадлежащие ему земли. В ограждение этого права, которое необходимо и во всех случаях должно быть неприкосновенным, его величество повелеть изволил: 1) оставить на землях калмыцких только те 41 семейство, которые военным губернатором признаны были прочно поселившимися, причислив их навсегда к казачьему войску; 2) остальных крестьян, уже выведенных, не переводя обратно, оставить в настоящем положении; 3) впредь воспретить строжайше казенных крестьян и вообще выходцев из внутренних губерний допускать к поселению на казачьих землях, иначе как по истребовании предварительного заключения военного губернатора и по испрошении высочайшего разрешения и 4) дело о переселении вышеупомянутых крестьян по всем местам, где оно производится, считать за этим решительно оконченным». Это отношение граф Чернышев заключил еще более неуместной и щекотливой для князя Васильчикова фразой: «Монаршую волю сию сообщая вам, милостивый государь, для зависящего распоряжения, имею честь быть и пр.».

Я сказал выше, что не помню дела, в котором Васильчиков имел бы такое сильное убеждение; теперь прибавлю, что не помню и случая, в котором бы я видел его так взбешенным. В первом пылу своем он тотчас прислал за мной, и тут из доброго старика сделался каким-то ожесточенным, неистовствующим.

На другой день князь Васильчиков поехал к государю и возвратился в полном торжестве.

Беседа их, как мне рассказывал князь, была очень длинная, живая и с обеих сторон настойчивая. Главным убеждением,

кроме сказанного выше, послужили, кажется, две вещи: 1) что последнее высочайшее повеление выставило бы Васильчикова в самом двусмысленном виде перед целым Советом, который, не имея сведения ни о прежней докладной его, Васильчикова, записке, ни о последовавшей на ней резолюции государя, знает только объявленную им высочайшую волю, наперекор которой Чернышев объявляет теперь совсем другую, как бы уничтожая тем достоверность объявленной прежде им, Васильчиковым; 2) что от государя всегда зависеть будет окончить дело это по благоусмотрению, но тогда, когда оно придет к нему по порядку, им самим указанному, со всех сторон обсуженное, а не по одноличным изъяснениям Перовского.

Как бы то ни было, но вот отношение, которое сегодня (8 июня) послано князем Васильчиковым к графу Чернышеву:

«Государь император по всеподданнейшему докладу моему об отношении ко мне вашего сиятельства (касательно того-то), высочайше повелеть изволил дело это возвратить в тот порядок, какой указан оному был монаршей волей, объявленной мной Государственному Совету и сообщенной вам, милостивый государь, в отношении государственного секретаря от 18 прошлого марта, именно, чтобы ваше сиятельство, снесясь по полученным от генерал-адъютанта Перовского объяснениям с г. министром государственных имуществ, окончательное к развязке дела сего заключение внесли в Государственный Совет.

Сообщая вам, милостивый государь, о таковой высочайшей воле, для зависящего, к исполнению оной распоряжения, имею честь быть и проч.»

1839 год

Кончина А. Ф. Воейкова — Бракосочетание герцога Лейхтенбергского — Спуск корабля «Россия» — Балы у великого князя Михаила Павловича и принца Ольденбургского — Лицейские товарищи барона Корфа: И. В. Малиновский, П. Н. Мясоедов, граф С. Ф. Броглио, Ф. Х. Стевен, А. П. Бакунин, А. Д. Тарков, К. К. Данзас, князь А. М. Горчаков, барон А. А. Дельвиг, С. Д. Комовский, С. С. Есаков, М. Л. Яковлев, Н. А. Корсаков, В. Д. Вальховский, И. И. Пущин, Ф. Ф. Матюшкин, А. С. Пушкин, П. Ф. Саврасов, барон П. Ф. Гревениц, А. Д. Илличевский, Д. Н. Маслов, А. А. Корнилов, С. Г. Ломоносов, В. Е. Кюхельбекер, П. М. Юдин и Н. А. Ржевский — Наводнение в Петербурге — Дело о лаже — Взятки — Бородинские маневры — Настоятель Сергиевской пустыни Игнатий Брянчанинов — Мнение Государственного Совета о войсках — Манифест об уничтожении лажа — Закладка храма Христа Спасителя — Васильчиков и князь Голицын — Болезнь графа Толя — Болезнь императрицы — Русский язык в Остзейских губерниях — Мельгунов и Гумбольдт — Чтения Н. И. Греча — Болезнь графа Канкрина

29 июня

На днях умер один из известных наших литераторов Воейков. Он принадлежал еще к старой школе, но пользовался большой известностью, особенно по своим ненапечатанным сатирам, которые у всех в руках в рукописях; по насмешкам, которым он подвергался от современных освистанных им журналистов, и по жестокой полемике, которая была необходимым последствием. В «Литературных Прибавлениях к Русскому Инвалиду», которых он долго был издателем, и в некоторых других своих произведениях он употреблял псевдоним Кораблинского.

3 июля

Вчера отпраздновали мы свадьбу великой княжны, которая предполагалась было в день рождения государыни, 1 июля, но отложена до следующего дня, потому что 1 июля

случилось нынче в субботу. Все происходило по церемониалу, и потому замечу здесь только то, чего в нем нет. Венцы держали: над невестой наследник, а над женихом старик граф Пален (посол в Париже), о котором все мы искренно жалели, потому что жених высокого роста, а церемония продолжалась очень долго. Обряд совершал духовник государев Музовский, а брак по католическому обряду (во внутренних комнатах) новый митрополит Павловский, но при последнем присутствовали только члены царской фамилии и баварский посланник. Невеста была восхитительна: в церковь она вошла с заплаканными глазами; но после обряда водворилась на ее лице улыбка счастья, которая более ее уже не оставляла.

Обед был (для трех классов) вслед за церемонией в Мраморной (большой аванзале) зале — пышный, великолепный, с чудесной вокальной музыкой, в которой отличались все наши сценические знаменитости и пел также актер Венского театра Поджи, теперь только что приехавший огромный тенор. В ту минуту как отворились двери в столовую залу для царской фамилии, поднялась страшная вьюга, загремела гроза, и пошел проливной дождь. Старики говорили, что это счастливое предзнаменование и что «молодым богато жить». Но огромные массы народа, окружавшие Зимний дворец, орошаемые целым водопадом дождя, не разделяли нашей радости и обошлись бы без этого «предзнаменования». Во весь обед раскаты грома сливались с искусственным громом пушек, следовавшим с крепости за нашими тостами. Но к концу обеда погода опять прояснила и восстановились прежние 20° в тени.

5 июля

В день свадьбы вечером на Исаакиевской и Дворцовой площадях и на Адмиралтейском бульваре играла в пяти местах музыка — совершенно новая и невиданная в Петербурге, где музыка под открытым небом бывает слышна только за

городом или перед рядами войск. На бале государь в сопровождении всего двора вывел молодую чету на дворцовый балкон к собравшемуся народу, и тут поднялись восторженные крики радости и «ура!». Город в этот день и в оба последующие был прекрасно иллюминован, и такой иллюминации мы не запомним с коронации 1826 года. Вчера утром был общий baisemain у новой великой княгини, а вечером огромный бал в танцевальной (прежней белой) зале. Бал начался в 9-м часу, и хотя при свечах, но с открытыми окнами и поднятыми шторами, так что с час времени дневной свет боролся с искусственным. До бала на большом дворцовом дворе играла музыка, и народ, которому открыт был этот двор, толпился тут до поздней ночи, любуясь в открытые окошки на бал и на царскую фамилию. Государь и наследник были в казачьих мундирах; все прочие в парадной форме и башмаках, кроме великого князя Михаила Павловича, который при этих случаях давно уже бывает в ботфортах.

Вчера я, по указанию князя Васильчикова, велел доложить государю, что пришел благодарить за пожалованную мне звезду; но ему некогда было меня принять, и мне велено явиться сегодня на Елагин в 12 часов. Это расстраивало несколько мои планы, потому что я собирался ночью ехать назад на свою дачу и утешался надеждой, что государь скажет мне несколько слов на бале, чем все и кончится. Но вместо того государь, подойдя ко мне на балу, сказал: «ожидаю тебя в 12 часов на Елагином; в 11 часов у нас спуск корабля, и потому тебе придется, может быть, подождать с полчаса; но я надеюсь, что ты не будешь за это в претензии», — и так я сегодня туда отправляюсь.

Аудиенция моя кончилась. Государь принял меня на Елагином вместе с управляющим делами Комитета министров статс-секретарем Бахтиным. Приветствия его нам обоим были очень милостивы, исполнены благодарности за прошедшее и

надежды на продолжение в будущем. Потом он перешел к большим похвалам князю Васильчикову:

— Теперь 22 года, — сказал он, — что мы с ним знакомы и что я привык любить и уважать его, сперва как начальника, а теперь как советника и друга; это самая чистая, самая благородная, самая преданная душа: дай Бог только ему здоровья.

На замечание Бахтина, что ему всегда бывает лучше вечером, нежели утром, государь отвечал, что это всегда бывает с людьми нервными:

— Вот вам в доказательство моя жена, которая утром никуда не годится, а к вечеру всегда разгуляется, оправится.

8 июля

5 июля спущено у нас новое огромное судно, 120-пушечный корабль «Россия», в присутствии всей царской фамилии. Для кораблей этого размера нет в Петербурге настоящих доков; но, по воле государя, он был построен в таком доке, где с каждой стороны оставалось от боков его не более нескольких вершков. Затем при спуске корабля угрожала очевидная опасность не только ему самому, но и всему находившемуся на нем экипажу; малейшее колебание или пошатновение судна могло сокрушить громаду и обратить все в прах. Наряжена была по этому случаю особая комиссия экспертов, которая решила, что спуск возможен, но сопряжен с чрезвычайным риском. При всем том государь захотел, и — сбылось. «Россия» спущена лучше, чем какой-нибудь корабль прежде, и экипаж, съехавший между жизнью и смертью, примерно награжден.

9 июля

К числу самых изящных, истинно очаровательных праздников по случаю свадьбы принадлежат балы великого князя Михаила Павловича (6 июля) и принца Ольденбургского (8 июля). Первый был дан в городском его дворце, который

сам по себе уже есть верх вкуса и великолепия, но на этот день изящным вкусом и уменьем великой княгини получил такой фантастический блеск, что превосходит всякое описание.

Довольно сказать, что к балу были свезены все цветы из Павловских и Ораниенбаумских оранжерей, на двухстах возах и пяти барках, которые вел особый пароход. Зато все во дворце цвело и благоухало, и такого обилия редких и многоценных растений мне не случалось видеть. В бальной зале, где купы цветов, исторгался прекрасный фонтан, который вместе с тысячью огнями вторился в бесчисленных зеркалах. Вдоль всех главных зал тянулся, лицом в сад, обширный, собственно на этот случай приделанный балкон, убранный цветами, коврами и фантастической иллюминацией — с чудесным видом на Царицын луг и Неву. Главная ужинная зала была убрана тоже с необыкновенным вкусом: царский стол под навесом больших деревьев и зеркал составлял обширный полукруг, которого вся внутренняя, обращенная к публике, сторона была убрана в несколько рядов цветами. Везде и во всех концах дома раздавалась музыка, которая гремела и в саду, открытом на этот день для публики и всего народа. Всех гостей было до 800, и все в парадных мундирах. Праздник, кроме всего своего, стоил 50 000 руб.

Бал принца, на даче его на Каменном острове, был в другом, более сельском виде. Все подъезды, все решетки, все наружные колонны были обвиты свежей зеленью, с вензелями новобрачных. Танцевали в саду под открытым небом на огромном паркетном полу, окруженном со всех сторон возвышениями и ступенями с коврами. Когда уже совсем стало темно, танцы перешли в залу, а сад и весь дом снаружи загорелись тысячью огнями. На Неве перед домом катались между тем шлюпки с музыкой и с русскими песельниками. Все это по самой уже новизне своей было очаровательно и представляло скорее какой-то итальянский, нежели северный

праздник. Гостей по тесноте места было здесь только 300, и притом все во фраках, как будто на даче, хотя Каменный остров числится уже нынче в городе. Государь и императрица с бала великого князя уехали во время ужина, но здесь оставались еще долго после ужина. Двух подобных праздников я не запомню в Петербурге. Последний отличался еще тем, что на нем был и усердно танцевал эрцгерцог Альберт (сын эрцгерцога Карла), только что в тот день приехавший.

13 июля

Вчера я видел в большом бешенстве старика графа Толя от одного сделанного ему вопроса. Теперь, когда все собираются на Бородинские маневры и когда все лица, сколько-нибудь участвовавшие в славной Бородинской битве, туда особенно приглашаются, — в разговоре об этом граф Бенкендорф спросил Толя почти с удивлением:

— А разве и вы туда собираетесь?

— Вот как трактуют нас люди, которые сами не оставили для себя странички в истории, — говорит Толь. — В Бородинском деле я, в чине полковника, был генерал-квартирмейстером всей армии и первый занял позицию, а меня спрашивает, поеду ли я туда, тот, кто был тогда поручиком, кто сам, однако, считает долгом туда ехать и кому поручено заведовать приглашениями.

При этом случае также сильно досталось Данилевскому за его описание войны 1812 и последующих годов.

— Это не история, — говорит Толь, — а просто придворный календарь: кому теперь хорошо при дворе, того имя гремит на каждой страничке, хотя он не получил ни царапинки, а о других, настоящих действователях, сошедших по обстоятельствам со сцены или не пользующихся особенною милостью при дворе, и помину нет. Время затемняет историю, а лесть совсем ее стирает.

17 августа

14 числа государь уехал в Бородино на маневры, прямо минуя Москву. За ним, перед ним, вместе с ним потянулась туда целая вереница участников Бородинской битвы, военных и отставных, достигших знатности и оставшихся в ничтожестве. Петербург совсем опустел, а в Совете нашем остались одни статские члены. Из дам царской фамилии никто туда не поехал.

Теперь 23-й год, что я вышел из лицея, и следственно, 23-й год первому выпуску из этого заведения, которое в настоящем времени изменило и наружную свою физиономию, и многое во внутреннем своем назначении. Но любопытно между тем было обозреть, что в эти 22 года с каждым из нас сталось. Всех нас было 29, а какое разнообразие в житейских наших судьбах! Вот список всех с означением коротко истории каждого в той степени, в какой она мне известна. Располагаю этот список по порядку спальных комнат, которые мы занимали в лицее.

Иван Васильевич Малиновский, вспыльчивый, вообще совершенно эксцентричный, но самый благородный и добрый малый. Начал и продолжал службу в гвардейском Финляндском полку и, дослужившись до капитана, вышел в отставку полковником еще в прошлое царствование в 1825 году. Он переселился в деревню, в Харьковскую губернию, где был два трехлетия уездным предводителем дворянства, женился на дочери сенатора Пущина и теперь постоянно живет в своей деревне.

Павел Николаевич Мясоедов, служил в армейских гусарах, кажется, до поручиков или штабс-ротмистров, и вышел в отставку, тому назад лет пятнадцать или более. Женат на побочной дочери богатого помещика Мансурова и с пропастью детей живет в деревне верстах в 20 от Тулы.

Граф Сильвестр Францевич Броглио (или Брогли). Благодаря своему звучному эмигрантскому имени, он тотчас после Реставрации получил от Бурбонов орден *Лилии*, с которым и щеголял еще в лицейском мундире. Выпущен был в какой-то армейский полк, но никогда в русской службе не служил, скоро после выпуска уехал во Францию и более оттуда не возвращался, прекратив и все сношения с прежними товарищами.

Федор Христианович Стевен. Финляндский уроженец с основательным умом, скромный, добрый и благородный, один из лучших моих приятелей в лицее. С самого выпуска до сих пор он служил при Финляндском статс-секретариате, а на днях определен губернатором в Выборг, с пожалованием в 4-й класс. Женат на кузине своей, дочери покойного начальника 2-го кадетского корпуса генерала Марковича.

Барон Модест Андреевич Корф. Способности обыкновенные. Недостаток их выкупается большим трудолюбием. Человек, которому всегда и вовремя благоприятствовало необычайное счастье. Биография его изложится еще подробно в этом дневнике. Теперь он тайный советник и государственный секретарь. Женат на кузине, дочери умершего подполковника Корфа.

Александр Павлович Бакунин, человек с порядочными формами, с благородным честолюбием и с охотой к делу. Выпущен был в прежний Семеновский полк и состоял адъютантом при генерале Раевском, а по раскассировании полка перешел в статскую службу и занимал разные должности в московских губернских местах; после же жил в отставке в своих деревнях. Теперь он статский советник и Новгородский вице-губернатор. Был женат сперва на девице Зеленской, а после ее смерти женился на девице Шулепниковой.

Александр Дмитриевич Тарков был выпущен в какой-то армейский кавалерийский полк, но недолго пробыл на службе и поселился в новгородской своей деревне, кажется,

отставным поручиком. Там спустя несколько лет, в которые мы видывали его наездом в Петербурге, ему вздумалось еще сойти с ума, и скоро после того он умер.

Константин Карлович Данзас. Будучи выпущен в инженеры, он с отличием и необыкновенной храбростью участвовал в кампаниях персидской, турецкой и польской и был ранен так, что и теперь носит руку в бинте. В последнее время он приобрел особенную известность, быв секундантом в несчастной дуэли Пушкина (1837); за это его перевели, после заключения в крепости, в армейский полк на Кавказ, где он и теперь находится.

Князь Александр Михайлович Горчаков. Самые блистательные дарования, самое отличное окончание школьного курса, острый и тонкий ум — словом, все, что нужно для блестящей карьеры, служебной и светской. Он прямо из лицея пошел в дипломатию и всю почти жизнь свою провел вне России, при разных миссиях. Последнее место его, в чине статского советника, было советником посольства в Вене; но отсюда, по воле государя, он в прошлом году причислен к министерству. При выпуске из лицея он получил вторую золотую медаль, но во всех отношениях заслуживал первую.

Барон Антон Антонович Дельвиг. В лицее милый, добрый и всеми любимый лентяй, после лицея — приятный поэт, стоявший в свое время в первой шеренге наших литераторов. Дельвиг никогда не служил, никогда ничего не делал и жил всегда припеваючи с любящей душой и добрым, истинно благородным характером. Он умер в 1831 году, оплаканный многочисленным приятельским кругом.

Сергей Дмитриевич Комовский. Добрый малый, отличный сын и брат и верный, надежный приятель. Числясь в министерстве народного просвещения, он служил сперва в разных временных комитетах, комиссиях и проч., а теперь правителем канцелярии в Воспитательном обществе благородных девиц или, попросту, секретарем в Смольном монастыре.

Семен Семенович Есаков. Со светским умом, с большой ловкостью, с благородным и твердым характером, с прекрасной наружностью и со многими любезными качествами, Есаков еще в лицее подавал надежду на блистательную карьеру, но, по неразгаданным доныне вполне причинам, сам добровольно расстался с жизнью, которая, по-видимому, столь многое ему сулила. Служив с самого начала в конной артиллерии, быв уже гвардии полковником, увешанный орденами, командир артиллерийской роты, он в польскую кампанию (1831), после дела, в котором имел несчастье потерять несколько пушек — застрелился, не оставив даже никакой записки в пояснение своего поступка.

Михаил Лукьянович Яковлев. Хороший товарищ, надежный в приязненных своих сношениях, не без способности к делу, хороший музыкант и приятный композитор. По службе, которую он начал в Московском сенате, ему сперва очень не везло; но потом, с переходом во II отделение Собственной государевой канцелярии (к Сперанскому), все поправилось. Теперь он действительный статский советник и занимает место директора типографии II отделения.

Николай Александрович Корсаков был одним из самых даровитых, блестящих молодых людей нашего выпуска. Прекрасный музыкант, приятный и острый собеседник, напитанный учением, которое давалось ему очень легко, с даром слова и пера, он угас в самых молодых летах, находясь при тосканской миссии. Прах его погребен во Флоренции. Это одна из самых чувствительных потерь, которую понес наш выпуск, и имя Корсакова, если бы Провидение продлило его жизнь, было бы, верно, одним из лучших наших перлов.

Владимир Дмитриевич Вальховский. Первая наша золотая медаль: человек рассудительный, дельный, с твердой, железной волей над самим собой, с необыкновенным трудолюбием; вместе с тем добродушный, скромный и кроткий. По всем качествам души и ума, мы звали его в лицее «sapienta». И

этот человек, пошедший так быстро, так достойно отстаивавший имя первого нашего воспитанника, вдруг упал так неожиданно и, должно думать, так невозвратно! Он вышел из лицея прямо в квартирмейстерскую часть (называвшуюся тогда свитой), был с Мейендорфом в Бухарии и вообще служил с большим отличием. История 14 декабря, к которой он, впрочем, был прикосновен только слышанными разговорами, остановила было его ход; но после краткого заключения все опять пошло по-прежнему.

Он был послан с подарками к персидскому шаху, участвовал в кампаниях персидской и турецкой и в последней играл даже значительную роль при Паскевиче, пока последний не возненавидел его именно за то, что часть его славы и успехов относили к Вальховскому. Наконец он получил важное место начальника штаба Кавказского корпуса, но в прошлом году, когда государь был лично на Кавказе и открылись злоупотребления и упущения барона Розена, монарший гнев пал и на Вальховского.

Подробности и степень справедливости обвинений мне неизвестны; но кончилось тем, что Вальховского перевели бригадным командиром куда-то в западных губерниях, а как с этим вместе он попал еще и под начало к ненавидящему его Паскевичу, то принужден был со стеснительным сердцем совсем оставить службу.

Теперь он живет в отставке в деревне, в Харьковской губернии, рядом с Малиновским, на сестре которого женат.

Иван Иванович Пущин. Один из тех, которые наиболее любимы были товарищами, со светлым умом, с чистой душой, он имел почти те же качества, как Есаков, и кончил еще несчастливее. Сперва он служил тоже в гвардейской конной артиллерии, но для пылкой души его, требовавшей беспрестанной пищи, военная служба в мирное время казалась слишком мертвой, и, бросив ее, кажется в чине штабс-капитана, он пошел служить в губернские места, сперва в

Петербурге, а потом в Москве, именно чтобы облагородить и возвысить этот род службы, где с благими намерениями можно делать столько частного и общественного добра. Но излишняя пылкость и южный взгляд на средства к счастью России сгубили его. Он сделался одним из самых деятельных участников заговора, вспыхнувшего 14 декабря 1825 года, и с этим погибла вся его будущность. Пущин причислен к 2-му разряду преступников, лишен чинов и дворянства и сослан в каторгу, которая, кажется, для него еще не кончилась. К счастью, он холостой.

Федор Федорович Матюшкин. Чуть ли не оригинальнейшая из всех наших карьер, потому что из заведения, предназначенного преимущественно для гражданской службы и выпускавшего воспитанников своих в военную только в виде изъятия, Матюшкин вышел — в морскую, сделал себе в ней имя и до сих пор продолжает ее с отличием. Он — человек пылкий и вместе рассудительный. Ходил с Головниным вокруг света, участвовал в известной экспедиции Врангеля в Сибирь; имел и разные другие важные поручения, он все еще только капитан 1 ранга. Теперь он командует кораблем в Черноморском флоте. Холост.

Александр Сергеевич Пушкин. Это историческое лицо довольно означить просто в моем списке. Биографии его гражданская и литературная везде напечатаны, сколько они были доступны печати. Пушкин прославил наш выпуск, и если из 29 человек один достиг бессмертия, то это, конечно, уже очень, очень много.

Петр Федорович Саврасов. Прекрасный, с чистейшей душой, благороднейший человек, и его тоже уже нет с нами! Служив с отличием в гвардейской артиллерии и достигнув полковничьего чина, он — который в лицее и после пользовался самым цветущим здоровьем — впал вдруг в жестокую чахотку и скончался в 1831 году за границей, куда поехал на воды. Он погребен в Гамбурге, где и умер.

Барон Павел Федорович Гревениц. Человек с дарованиями, образованием и сведениями, но большой чудак, оригинал и нелюдим. Он с самого выпуска из лицея служит в канцелярии министерства иностранных дел.

Алексей Демьянович Илличевский. Еще в лицее показывал явно желчный и завистливый характер, который после отразился во всей его жизни и отравлял ее для него самого. С острым умом, с большим дарованием к эпиграмме, он писывал прежде много стихов; но хотя при смерти его (в 1837 году) в журналах назвали его «известным нашим литератором», однако известность эта умерла вместе с ним. Он служил сперва в министерстве финансов, потом долго жил в отставке и путешествовал за границей и наконец вступил опять в министерство финансов, в котором и умер начальником отделения. Как собеседник, он был чрезвычайно приятен, но друзей не имел: подозрительный и себялюбивый характер удалял его от всякого сердечного сближения.

Дмитрий Николаевич Маслов. Статский советник, со 2 нынешнего августа исправляющий должность статс-секретаря в департаменте законов. Один мой выбор его в эту должность доказывает уже высокое мое о нем мнение. В лицее мы его называли по перу и по дару слова нашим «Карамзиным». Потом, служа долго в Москве товарищем председателя коммерческого суда, он умел приобрести общую любовь и уважение купечества. При всем том он имеет разные странности, делающие из него порядочного оригинала. Он женат на дочери сенатора Мертваго и имеет двух детей.

Александр Алексеевич Корнилов. Светлая голова и хорошие дарования. В лицее он ленился и притом вышел оттуда чрезвычайно молод; но после сам окончил свое образование и сделался человеком очень путным и полезным. Он служил прежде в гвардии и дошел до полковника, а потом вышел в статскую службу, с пожалованием в действительные статские советники, и назначен Киевским губернатором; но по

неприятностям с тогдашним генерал-губернатором графом Левашовым вышел в отставку и уехал за границу. В прошлом году он, однако, снова вступил в службу и теперь Тамбовским губернатором. Женат на графине Толстой.

Сергей Григорьевич Ломоносов. Человек способный и умный, но еще более хитрый и пронырливый: в лицее по этим свойствам мы называли его «кротом». Посвятив себя с самого начала дипломатии и проведя, как Горчаков, почти всю жизнь за границей при разных миссиях, он теперь поверенным в делах в Бразилии.

Вильгельм Карлович Кюхельбекер. Как Данзас, но в другом отношении, он был предметом неистощимых наших насмешек в лицее за свои странности, неловкости и смешную оригинальность. С эксцентрическим умом, с пылкими страстями, с необузданной ничем вспыльчивостью, он всегда был готов на всякие курьезные проделки и еще в лицее пробовал было утопиться. После выпуска он метался из того в другое, выбрал наконец педагогическую карьеру и был преподавателем русской словесности в разных высших учебных заведениях. И в лицее, и после он писал много стихов со странным направлением, странным языком, но не без достоинств, и издавал вместе с князем Одоевским журнал, кажется, «Мнемозину». Все это кончилось историей 14 декабря, в которую он был сильно замешан, с осуждением в каторжную работу.

Павел Михайлович Юдин. Человек оригинальный, с острым языком и колкий насмешник. Карьера его совершенно одинакова с карьерой Гревеница. Вместе они вступили в канцелярию министерства иностранных дел, вместе получали все чины и ордена и вместе и теперь там служат в совершенно равных степенях. Граф Нессельроде иронически называет их: «Les piliers du ministere» — хотя, кажется, на них ничего не лежит.

Николай Александрович Ржевский. В лицее был мальчиком неглупым, но примерным лентяем, и совершенно ничему не учился. Карьера его была очень коротка. Быв выпущен из лицея прапорщиком в армию, он умер через несколько месяцев и первый из нас перешел к вечному покою.

31 августа

Август в отношении к погоде кончается ужасным образом и достойно целого своего продолжения. Вчера с утра задул сильнейший морской ветер — настоящая буря вроде тех, которые бывают у нас в октябре и ноябре, но и то не каждый год в такой степени. Все приморские части города залиты были водой: во всех низменных местах она выступила из подземных труб. По улицам от сильных порывов ветра едва можно было ходить и даже ездить. Нева вся наполнилась барками и судами, пригнанными с моря. Пароходы, отправившиеся было в Кронштадт, принуждены были воротиться назад из устья Невы. Несколько времени боялись такого же наводнения, как и в 1824 году. Сегодня вода постепенно сбывает, но ветер еще не совсем стих: погода сумрачная, холодная, и на даче невесело.

Дело о лаже пришло уже, по крайней мере в Петербурге, в отношении к счету денег, в совершенный порядок; но уменьшения цен, которые были исчислены прежде на монету с лажем, при разных публикациях и настояниях правительства никак еще достигнуть не могут: кроме нескольких самых значительных торговых заведений, все лавочники, все торговцы съестными припасами, все работники, наемщики и пр. хотят того же числа денег ассигнациями по курсу 3 руб. 50 коп., какое получали прежде по счету на монету в 3 руб. 75 коп. Даже белый хлеб, за который мы прежде платили по 8 коп. на монету, хотя в полицейских таксах с месяц уже переложен на 2 коп. сер. или 7 коп. ассигнациями, но нигде по этой цене достать его нельзя, и все по-прежнему платят

8 коп., т. е. в соразмерности одной копейкой более, чем до манифеста 1 июля по тогдашнему курсу составляло.

Впрочем, и нет тут мудреного, когда правительство, проповедуя только на бумаге для частных людей, само пользуется переложением для своих расчетов. Таким образом, при установлении платы на серебро, цены на табачные бандероли и на предмет общественного ежедневного употребления — гербовую бумагу — не только не уменьшены в соразмерности, но, напротив, еще возвышены.

Через Государственный Совет, при всей слабости его состава, эти несчастные меры никогда бы не прошли; но теперь, пока не открыты еще общие собрания Совета, все это делается через Комитет министров, в котором, за летним временем и Бородинскими маневрами, едва ли теперь три или четыре члена.

Особенное неудовольствие и даже ропот в публике возбуждены были такой же проделкой со стороны театральной дирекции, которая, назначив цены местам на серебро, с тем вместе под видом округления их и подняла. Но это продолжалось только три или четыре дня, а тут вдруг в афишках объявлена опять новая такса, соразмерная прежней и даже на некоторые места несколько ниже. Мне кажется, что вторая мера тут — в духе монархического правления — еще хуже первой: не надлежало, конечно, возвышать цен и впадать таким образом в явное противоречие с делаемыми частным людям внушениями; но, впав уже в такую неосмотрительность, еще менее надлежало ее отменять, как бы повинуясь требованию публики. Государю из всего этого едва ли что-нибудь известно.

2 сентября

Мой дневник настоящий калейдоскоп, только следующий вращению не руки, а ума. Пишу в нем как попало, без всякого тщания и еще с меньшей системой.

Теперь, например, пришла мне в голову, Бог знает с чего, статья о взятках. Мне во всей жизни два раза только прямо их предлагали, и оба эти случая, относящиеся к тому времени, когда я был еще начальником отделения в департаменте податей и сборов, чрезвычайно мне памятны. Один из предлагателей был простой русский мещанин: у меня производилось дело о перечислении его из одного города в другой. Он просто совал мне в руку красную бумажку и крайне удивился, когда я объявил ему, что дело сделается и без этого, и когда оно точно было сделано в тот же самый день. Другой предмет был гораздо важнее, и лицо предлагавшее — почетнее.

Шло дело об определении торговых прав финляндского купечества в России, и поверенный оного, тамошний негоциант Брун, после неоднократных со мной объяснений привез мне наконец толстую пачку ассигнаций, прибавив, что это разные документы, которые он забыл сообщить мне при прежних наших объяснениях. Считая, что тут не за что сердиться, потому что Брун меряет меня только по общему аршину, я ласково и без всякого сердца отклонил его «дополнительные документы», и дело было тоже решено согласно его желанию, которое соответствовало и справедливости. Тогда он привез мне табакерку «в знак воспоминания от финляндского купечества за оказанное ему добро», но я попросил его отрекомендовать меня просто в добрую память своих сограждан, отозвавшись, что с моей стороны буду их помнить и без наглядного знака их расположения.

Бородинские маневры повлекли за собой множество милостей и наград. Из важных и почетных лиц кто сделан шефом полка с присвоением оному его имени, кто пожалован лентами и звездами. Сверх того, есть и одна награда общая: всем участвовавшим в Бородинской битве, если они и теперь еще состоят в рядах, пожалованы в виде прибавочного

содержания те оклады, которые они в то время получали, разумеется, пока они останутся в службе. Число таких ветеранов, конечно, чрезвычайно ограничено, а прибавочное содержание совершенно ничтожно: ибо тогда оклады были самые маленькие, и все, продолжающие еще ныне службу, состояли в неважных чинах. Так, например, Паскевич, Толь, Чернышев были только полковниками.

Вес газеты наши наполнены великолепными описаниями бывших маневров, воздвижения на Бородинском поле памятника (работы графа Канкрина) и пр., но разумеется, что ныне этот военный праздник не мог иметь той занимательности, как в Калише или в Вознесенске, потому что он не был украшен присутствием дам. Всего тут примечательнее собственноручный приказ государя, отданный в день битвы (26 августа) войскам: вещь, в которой пропасть народной поэзии и знания русского сердца.

Усердие и смышленость — особенно же когда в союзе с ними твердое намерение достигнуть своей цели и энергия характера — могут чрезвычайно много. Одно из явственных тому доказательств — нынешний архимандрит Сергиевской пустыни, находящейся близ Стрельны, Игнатий Брянчанинов. Этот монастырь был прежде — и на очень близкой нам памяти — в неудовлетворительном состоянии. Теперь он во всех отношениях поставлен на первую ступень: благочиние, великолепие, мастерское пение клиросов, наружное благообразие монахов, богатейшие облачения — все соединяется вместе, достигая идеала пышного и величественного и вместе трогательного священнослужения нашей церкви. Создано множество новых зданий, церкви обновлены и украшены, и при всем том монастырю сбережены значительные капиталы. По велелепию и порядку богослужения, располагающим невольно душу к набожности, не остается ничего более желать.

Я видел множество монастырей в России, монастыри новгородские, киевские, воронежские, московские, видел и три главные наши лавры: все они далеко отстают в этом отношении от Сергиевской пустыни, и разве только новгородский Юрьев монастырь, московские Симонов и Донской могут быть поставлены в некоторое с ней сравнение. И все это сделано Игнатием в какие-нибудь пять или шесть лет при тех же почти средствах, которыми могли располагать его предместники.

Происходя из хорошей дворянской фамилии и быв воспитан в Инженерном училище, где он, состоя фельдфебелем, сделался лично известным нынешнему государю, прослужив потом в инженерах до поручиков, Брянчанинов наконец уступил давнишнему своему желанию принять иночество, долго послушничествовал по разным отдаленным монастырям, был после настоятелем в каком-то монастыре калужском и переведен сюда архимандритом, кажется, в 1832 или 1833 году. Некоторые приписывают его пострижение видам честолюбия, которых не удовлетворяло начальное военное поприще в военной службе; но другие, ближе его знающие, утверждают, что он постригся единственно по влечению сердца, быв воспитан с детства в набожности и в строгом исполнении обрядов церкви. Как бы то ни было, но, судя по результатам, этого человека нельзя не назвать гениальным в своем роде. Он заслуживает внимания даже по строгому образу жизни и по чистоте, в которой умел сохранить свою репутацию; молодой, прекрасный собой, архимандрит из дворян, из военных, со светским воспитанием[274], не мог не заинтересовать наших дам.

Разумеется, что достигнутые им по управлению монастыря результаты не могут не возбуждать зависти в монашестве

[274] Он говорит между прочим очень хорошо по-французски и очень любит изъясняться на этом языке!

и даже в духовных наших властях; но эта зависть может снедать их только втайне, ибо у Брянчанинова могучий оплот против их козней — именно сам государь, любящий и отличающий его еще со времен Инженерного училища. Я, кажется, говорил уже когда-то, что государь, быв недоволен приветствием знаменитого (покойного) Фотия в Юрьевом монастыре, прислал его к Брянчанинову — учиться, как надобно встречать государя.

7 сентября

Государственный Совет помещался с самого начала своего учреждения в Зимнем дворце[275]. Потом он был переведен в дом графа Румянцева на Дворцовой площади, где оставался до тех пор, пока все частные дома на этой площади были срыты, для возведения нынешнего здания Главного штаба и министерства иностранных дел. Тогда Совет переместили опять во дворец, сперва в так называемый Шепелевский, а после в нижний этаж Эрмитажа, где он и теперь имеет свои заседания[276]. Но при всех этих помещениях всегда более помышляемо было об удобстве для самого Совета, нежели для государственной канцелярии, которая никогда не имела не только приличных, но даже сколько-нибудь сподручных комнат для своих занятий.

Оттого с самого начала установился такой внутренний распорядок, что все без изъятия чиновники, до последнего писца, работают у себя по домам, кроме небольшого отделения государственного секретаря, или личной его канцелярии, для которой я, по примеру моих предместников, нанимаю несколько комнат при моей квартире. Дурные и даже опасные последствия подобного распорядка очевидны, и потому

[275] Близ кабинета императора Александра, который был в бельэтаже, там, где теперь комнаты императрицы.

[276] Писано в 1839 году.

я, тотчас по вступлении в должность, вошел в сношение с министерством императорского двора об отводе для государственной канцелярии более приличного и удобного помещения, нежели то, которое она занимает теперь в темных и низких антресолях над комнатами Совета. Но сношения мои были безуспешны: сперва предполагали было Инвалидный комитет, помещающийся подле Совета, перевести в Таврический дворец и нам отдать его комнаты; однако государь на это не соизволил, а других свободных комнат поблизости не оказалось. И так все оставалось по-прежнему.

Но, наконец, такой беспорядок, обращающийся, кроме вреда делам, и к порче чиновников, мне надоел и, по совещании с правящими должность статс-секретарей, я приказал, чтобы все младшие чиновники, непременно, каждый день, кроме воскресных и праздничных, собирались от 11 до 3 часов в тех комнатах, которые предназначены для государственной канцелярии. Порядок этот восприял свое начало с 1 текущего сентября, и хотя он на первых порах, разумеется, не нравится и антресоли наши крайне неудобны для занятий, однако, по крайней мере, я теперь спокоен насчет целости дел, которые прежде каждый уносил с собой на дом, и, сверх того, этим введено более порядка и удобства по внутренним сношениям.

8 сентября

Государственный Совет и в прежнее время позволял себе иногда искреннее изъяснение своих мыслей пред самодержавной властью. Так, на днях попалось мне дело 1811 года о комплектовании армии и флота, в котором столько же любопытны рассуждения Совета, сколько и отметки императора Александра. В журнале Совета, при рассуждениях о рекрутских наборах, между прочим, сказано было: «Российское войско до сих пор было единое в Европе, храбростью своей и верностью к государю и отечеству отличающееся; но

теперь едва ли с надлежащей основательностью может быть подтверждаема сия доблесть оного. Прежде всякий полководец смело мог отважиться на великие и трудные подвиги; но теперь, зная бессилие и тщедушность вновь набираемых воинов, не в состоянии ничего особенно важного предпринять». Против этой статьи государь отметил: «Несправедливо: не всякий полководец, но Румянцев, Суворов; сии никогда не были наряду со всяким. Впрочем, я вопрошаю: наборы тогдашние разве были на другом основании, как ныне; посему мне кажется несправедливо искать причину в образе набора солдат, а скорее ее сыскать можно в талантах предводителей армии».

В другом месте того же журнала упоминалось, что «ныне большая часть доставляемых рекрут не ряды храбрых защитников отечества, но одни госпитали и лазареты наполняют. Полки, сформированные в 1807 году, не суть ли очевидным тому доказательством? Полки эти, не быв употреблены против неприятеля, в один год около двух третей своего комплекта потеряли». Тут Александр написал: «Совершенно несправедливо. Полки эти были укомплектованы не рекрутами, а милицией, коей выбор точно был на том основании, на коем предполагается (в том журнале Совета) учредить впредь наборы рекрут, то есть предоставя одобрению одних предводителей. Где собственный интерес действует, можно ли положиться на 500 или более находящихся у нас предводителей?»

Позен, который вчера приехал из дальнего путешествия по России, посетив самые многолюдные и промышленные ее пункты и быв, между прочим, тоже на Нижегородской ярмарке, говорит, что манифест об уничтожении лажа везде принят с крайним неудовольствием и нигде не находит себе защитников. Все соглашаются, что надобно было принять меры против этого нетерпимого ажиотажа, но все вопиют

против тех именно мер, которые теперь приняты. Курс в 3 руб. 50 коп. введен повсеместно и исполняется беспрекословно, но цены, вопреки ожиданиям и внушениям правительства, нигде в соразмерность не упали и, напротив, даже местами поднялись. От этого кричат капиталисты, которые потерпели ущерб в своих капиталах; помещики, которые в той же сумме денег получают со своих имений менее доходов; мануфактуристы и заводчики — оттого, что рабочие требуют по новому курсу той же платы, какую получали прежде по счету на монеты; рабочие, торговцы и вообще класс промышленный принуждают их понижать цены, чего они не хотят и частью не могут сделать; наконец, чиновники — оттого, что им оставляется то же самое жалованье, когда цена денег упала.

В Москве был общий вопль во всех классах против князя Любецкого, которому приписывают эту меру, сколько по общей молве, столько и потому, что он на беду свою в один день с изданием манифеста получил бриллианты к Александровской звезде. Вопль и нарекания на него тем сильнее, что он поляк и что большая масса видит здесь какой-то злой умысел к утеснению народа. Все это вести Позеновские, к сожалению, впрочем, довольно вероятные.

Бородинские маневры кончились. Государь приехал оттуда в Москву 3 сентября вечером. Свободные гвардейские войска, бывшие отсюда на Бородинском поле, также вступят в Москву, и купечество сбирается их угостить в экзерциргаузе. Потом будет торжественная закладка храма Христа Спасителя, предположенного еще Александром в память 1812 года, начатого на Воробьевых горах, но потом несостоявшегося за совершенным неудобством местности. Храм будет в самом городе близ Кремля на берегу Москвы-реки, там, где стоял прежде Алексеевский монастырь. Когда я посетил в

прошлом году Москву, этот монастырь был уже срыт и планировали место.

Ермолов, почитающийся теперь решительно не в милости, был однако же в Бородине. И трудно бы ему было не приехать туда, когда в 1812 году он был тут начальником штаба действовавшей армии: следственно, одним из самых первых лиц. На последнем маневре, изображавшем самую битву, Ермолов был при государе вместе с графом Воронцовым и князем Д. В. Голицыным, и он много говорил с ними о подробностях сражения.

15 сентября

Опять новые вести о лаже. Граф Левашов, возвратившийся из Бородина, но бывший перед тем во Владимирской губернии, уверяет, что там дело принялось как нельзя лучше и меры правительства приняты с большой благодарностью. Простой народ в особенности говорит, что теперь только «увидел свет Божий». В Москве дело идет не так ладно. Там все еще находятся барышники и спекуляторы, которые, пользуясь старыми привычками народа, выискивают средства обманывать его на деньгах разными манерами; но местное начальство не шутит, и как эти люди все без изъятия самых низших классов, то их ловят и секут без дальнейшего суда по одному полицейскому разбору. На цены, по крайней мере, у нас в Петербурге, торговое совместничество тоже начинает производить свое действие.

Известно, что многие товары, которыми торгует Английский магазин, можно достать и в гостинодворских лавках, но всегда несколькими процентами ниже. Теперь, когда Английский магазин переложил свои цены на серебро с соответственным понижением, а гостинодворцы остались при прежних, обоюдные их цены сравнялись, и оттого все покупщики постепенно переходят от последних к первому, при уверенности за те же деньги получить товар без обману. Это

непременно заставит гостинодворцев понизить и свои цены в прежнюю соразмерность, чтобы не лишиться всех покупателей, и говорят, в некоторых лавках к тому уже и приступили.

17 сентября

Государь воротился из Москвы в ночь с 15-го на 16-е, в Царское Село. Он перелетел в 35 часов — немногим дольше, чем можно бы сделать этот переезд по железной дороге. На дороге он обогнал передового своего фельдъегеря, за что, однако же, очень разгневался.

4 октября

Зимний дворец шалит, и предсказания о нем фаталистов сбываются. Излишняя поспешность в его возобновлении являет свои последствия: везде страшная сырость, и многое надобно опять снова переделывать; так, например, и прелестная Белая зала со своими золотыми колоннами, стоившая столько денег, совсем почернела. Между тем, на беду вздумали прошлым летом сделать разные капитальные переделки и в Аничковском дворце, где теперь тоже большая сырость. От этого царской фамилии решительно негде поместиться в Петербурге, и она по необходимости должна жить еще очень долго в Царском Селе.

Вчера пришло известие, что графа Толя на возвратном пути из Варшавы сюда на польской границе перед Юрбургом разбил паралич, от которого у него отнялась целая сторона. Примечательно, что по наступавшему постепенно онемению, он вперед предчувствовал этот удар и успел еще написать несколько строк государю. Сегодня поскакал к нему отсюда его сын. По дошедшим слухам говорят, что положение его если не совсем безнадежно, то по крайней мере очень опасно.

И ужасно то, что наше безлюдье примечается не только в гражданской администрации, но и в других частях управления. В военном ведомстве из людей значащих и играющих роль разве только корпусные командиры Муравьев (Николай), Нейдгардт и начальник штаба в Варшаве князь Горчаков выходят несколько из ряду обыкновенных; прочие корпусные командиры — или люди самые посредственные, или еще ниже посредственности, как в мирное, так и в военное время. Мне сказывал это Позен, который ближе их знает не только лично, но и по делам, и на мнение которого можно положиться.

Лучшие люди еще у нас в дипломатии; но посол наш во Франции, граф Пален, говорил мне на днях, что и там теперь представляется величайшее затруднение: лондонский наш посол граф Поццо ди-Борго, за семидесятилетний старец, до такой степени упал и упадает моральными силами, что ему невозможно долее оставаться на этом важном посту.

Наши заседания под председательством Голицына идут своим порядком ничуть не хуже, чем при Васильчикове, хотя первый почти нисколько не занимается делами, не тревожит меня и не отрывает от дела беспрестанными присылками, а ограничивается коротеньким словесным докладом перед самым присутствием. Собственных идей, собственного высшего соображения нет ни у того, ни у другого, и от того оба подвержены посторонним влияниям, но у Васильчикова эти влияния совершенно затемняют всякое личное суждение, а у Голицына более прозорливости и все-таки сколько-нибудь, но более деловой опытности! Вообще Голицын умнее Васильчикова, более его имеет такта, веса и достоинства; зато последний гораздо усерднее к делам, более берет к сердцу государственные интересы, более по-своему радеет об их охранении; но результаты в отношении к Совету почти одни и те же, и я был бы очень затруднен, если бы пришлось решать: кто из них как председатель полезнее? Зато как светский че-

ловек, как homme d'esprit, Голицын неоспоримо уже имеет все преимущества перед Васильчиковым. Невозможно быть милее первого, и с ним можно проводить часы не соскучась, даже с возрастающим интересом, тогда как с последним всякий материал к какому-нибудь разговору очень скоро истощается.

Голицын был всегда очень близок ко двору, начиная с камер-пажества во времена Екатерины, и помнит все придворные отношения и интриги за 40 лет, все анекдоты, все забавное, что случилось в это время, и — все это рассказывает с необыкновенным умением. Слушая его, воображаешь себе совершенно, что читаешь какие-нибудь болтливые, но острые и веселые французские мемуары. Истинно жаль, если он не диктует своих записок в этом роде, которые были бы драгоценным запасом юмора и соли; иначе с ним умрут все эти предания, вся живая традиция четырех царствований.

12 октября

Бухарский хан прислал в подарок государю слона, который на днях сюда прибыл вместе с двумя своими адъютантами, верблюдами. Государь осматривал этого слона в Царском Селе, в присутствии одной женщины, которая не знала государя и в первый раз в жизни видела слона.

— А что это, батюшка, за зверь? — спросила она.

— Слон.

Государь, которому понравилось и это незнание его особы, и этот вопрос, с умыслом продолжал разговор и, между прочим, спросил женщину, как она довольна величиной слона?

— Чудо, батюшка, поистине чудо: всякое дыхание да хвалит Господа.

Граф Толь, при первом письме своем, отправленном к государю в близком предчувствии смерти, доставил между

прочим дневник, который при каждом его путешествии вели всегда всем его распоряжениям и приказаниям по его части. Адъютанту, который привез письмо и дневник, велено было вручить последний государю при первом известии о кончине Толя; но он понял иначе и отдал в одно время с письмом, а тут вышло довольно курьезное обстоятельство: в одном месте граф, заметив крайнюю ветхость одного дома шоссейной стражи, пишет, что непременно нужно, для предстоящего проезда государя, исправить его хоть сколько-нибудь по наружности.

13 октября

Государь чрезвычайно грустен, и русское сердце страждет за него и вместе с ним. Киселев, который уже с ним работал по возвращении из Москвы, говорит, что он все время сидел подперши лоб рукою и, рассказывая о положении императрицы, изъявлял глубокую свою горесть и малые надежды: «Что мне, что доктора говорят, будто бы у нее поменьше жар: я сам лучше всех вижу ее грустное положение». И при этом выступили у него две крупные слезы…

22 ноября

Васильчиков на днях объяснялся с государем по делу, бывшему в Комитете министров, о мерах к распространению в остзейских губерниях русского языка, и при этом зашла речь о привилегиях наших остзейцев — предмете, который, вместе со Сводом их местных законов, должен скоро подвергнуться окончательному рассмотрению. Васильчиков, хотя и русский в душе, однако русский благоразумный и потому большой защитник этих привилегий, освященных царским словом, и которых остзейское дворянство — всегда преданное нашему правительству — конечно, никогда не употребляло во зло.

— Что же касается до этих привилегий, — сказал государь, — то я теперь и всегда буду самым строгим их сберегателем, и пусть никто и не думает подъехать ко мне с предварениями об их перемене, а чтобы доказать, в какой степени я их уважаю, я готов бы был сам сейчас принять диплом на звание тамошнего дворянина, если бы дворянство мне его поднесло.

Потом, обратясь, к наследнику, он прибавил:

— Это я говорю и для тебя: возьми за непременное и святое правило всегда держать то, что ты однажды обещал.

Кстати, об остзейских губерниях. Недавно вышла книга «известного» Булгарина: «Летняя прогулка по Финляндии и Швеции» — вещь довольно пустая, сколоченная из видов, с примесью большого хвастовства. Она начинается обозрением морального состояния Остзейского края, особенно Лифляндии, где Булгарин долго жил в своем имении Карловке, в окрестностях Дерпта, где он имел бесчисленные истории со студентами из дворянства, не все относившиеся к его чести. В этом обозрении он изливает всю свою желчь на лифляндское дворянство; хотя и нет сомнения, что тут много правды, однако все представлено в преувеличенном виде и притом в самых язвительных красках, так что я не мог довольно надивиться оплошности цензуры, пропустившей такую диатрибу против дворянского сословия целой губернии. Потом выписки из книги Булгарина, именно по этой статье, перешли и в немецкие академические «Ведомости». Но как тут ругательства его сделались уже доступными тем, против кого они направлены, то вся беда пала на бедного редактора немецких «Ведомостей» Ольдекопа, который, за приложенный к переводу их труд, должен был просидеть на гауптвахте.

24 ноября

Один из наших молодых литераторов, Мельгунов, давно уже путешествующий по Германии, описывает свидание свое

в 1836 году с Гумбольдтом и заключает его так: «Но Гумбольдту все-таки 70 лет, а из нового поколения не видать до сих пор никого, кто бы мог не только затмить его славу, но даже к ней приблизиться. Гумбольдт и Шеллинг чуть ли не единственные оставшиеся великаны ученого мира Германии; но и эти великаны скоро исчезнут, и эти полубоги скоро покинут землю, едва ли оставив после себя преемников. Кругом все мелко: наш век есть век посредственности», — последние строки, к несчастью, не одно поэтическое восклицание, но сущая истина!

Не говоря об остальной Европе, страшно обернуться и на нашу Россию, где все великое, творческое, гениальное постепенно удаляется со сцены и оставляет на ней одних статистов, — Россию, где явление это тем примечательнее, что прежде мы ничему или почти ничему не учились, а теперь обилуем университетами и всеми возможными училищами, общими и специальными, и все эти училища переполнены и всякий год выпускают тучи кончивших курс студентов и пр. Возьмем только последние 10 лет, и что мы тут растеряли! В администрации угасли светлые имена Кочубея и колоссального Сперанского, умирает Канкрин и почти умер Дашков. В литературе не стало Карамзина и Пушкина, Жуковский выписался, Крылов умолк в глубокой зиме своих седин. С военного поприща сошел Дибич, а другая знаменитость — Толь — скорыми шагами близится к разрушению, и кто же заменит эти народные славы или кто обещает заменить их в будущем, по крайней мере, в близком будущем?

14 декабря

Нынче завелась у нас весьма полезная вещь, заимствованная от чужих краев, именно чтение по разным предметам публичных курсов. Чтения эти поручаются известным ученым от Академии наук, от министерства финансов и пр., и производятся большею частью даром. К числу их принадлежат и чтения о русском языке и русской словесности извест-

ного нашего филолога и журналиста Николая Ивановича Греча. Он читает, впрочем, не по поручению, а сам от себя, и не даром, а за деньги (15 руб. серебром за 15 чтений), кроме некоторых лиц, которым он прислал, так сказать, почетные билеты, в том числе и мне. Чтения эти привлекают довольно значительное стечение слушателей, до 300 и более, и вообще довольно удовлетворительны, при прекрасном органе и отличном образе чтения Греча, хотя они едва ли бы выдержали строгую критику в печати. Посреди многого дельного, путного, даже отчасти нового, в них прорывается немало и очень известного, обветшалого, иногда мысли не совсем основательные, шутки несколько тупые. Между тем, тут бывают и министры, и члены Государственного Совета, и даже дамы, хотя никак нельзя еще сказать, чтобы было в тоне ездить на Гречевы вечера, что мы едва ли и скоро дождемся при чтениях русских.

25 декабря

Так как нынче Рождество в понедельник, то сочельник, по церковному обряду, праздновался в пятницу. Зато в субботу, как бы не бывало уже поста, был большой обед у шведского посланника барона Пальмстиерна, на котором присутствовало гораздо более русских, нежели иностранцев, — в том числе и я: обед со всей дипломатическою пышностью и гастрономическою роскошью. Пальмстиерна составляет в нашем дипломатическом корпусе чрезвычайно редкое изъятие. Занимая уже очень давно свой пост, он выучился в совершенстве русскому языку и не только говорит, но и пишет на нем свободно. Привязанность его к русскому языку простирается так далеко, что он принадлежит даже к числу самых ревностных посетителей чтений Греча.

29 декабря

Я был вчера у графа Канкрина, который все еще болен и страждет невыразимо. Он теперь уже более месяца лежит в

постели, устроенной с необыкновенною его комической оригинальностью. Это огромная двуспальная кровать, страшной вышины, что-то вроде катафалка, с которого он озирает всех приходящих. Под локтями у него исполинские фолианты, на которые он упирается, как Зевес на свою молнию. При всем этом страдальческом положении и при всех этих причудах — Канкрин нисколько не прекращает своей изумительной деятельности: он весь день читает, диктует, сам пишет — словом, управляет своим министерством в полном его объеме, как самый трудолюбивый директор своим департаментом. Вчера он говорил мне, что чувствует себя совершенно изнуренным и в здоровье, и в силах, давно желал бы совсем оставить службу, но удерживается в том только страхом, что государь разгневается.

— А если государь разгневается, — прибавил он, — то вы знаете, что мне не будет покоя и от других: меня тотчас начнут преследовать и гнать, а при 17-летнем управлении министерством найдется, конечно, немало такого, за что злому намерению можно будет придраться, и, пожалуй, вздумают еще отдать под суд.

Хотя я и не думаю, чтобы в этом заключалась единственная причина, удерживающая Канкрина, однако помню еще за несколько пред этим лет сказанные мне слова, что «министру финансов, для покоя своего, надобно умирать на этом месте».

Записка о Пушкине

В 1842 году явилось в Германии сочинение «Petersburger Skizzen» («Петербургские очерки»), в котором, под псевдонимом Треймунда Вельпа, изложены были воспоминания и заметки бывшего петербургского книгопродавца, удалившегося восвояси, Пельца. Это, по обыкновению большей части иностранных сочинений о России, была горькая диатриба против нас и всего нашего, но диатриба, в которой встречались и очень живые, совершенно справедливые страницы, наиболее для характеристики наших литераторов. Особенно интересны были подробности о Пушкине, которых не мог бы правдивее рассказать и русский, если б отложился от национального самолюбия и вышел из того очарованного круга, в который, вместе с великими произведениями поэта, мы привыкли ставить его личность.

«Пушкин, — пишет Вельп, или Пельц, — получал огромные суммы денег от Смирдина, которых последний никогда не был в возможности обратно выручить. Смирдин часто попадал в самые стесненные денежные обстоятельства, но Пушкин не шевелил и пальцем на помощь своему меценату. Деньгами он, впрочем, никогда и не мог помогать, потому что беспутная жизнь держала его во всегдашних долгах, которые платил за него государь; но и это было всегда брошенным благодеянием, потому что Пушкин отплачивал государю разве только каким-нибудь гладеньким словом благодарности и обещаниями будущих произведений, которые никогда не осуществлялись и, может статься, скорее сбылись бы, если б поэт предоставлен был самому себе и собственным силам. Пушкин смотрел на литературу как на дойную корову и знал, что Смирдин, которого кормили другие, давал себя доить преимущественно ему; но, пока только терпелось, Пушкин предпочитал спокойнейший путь — делания долгов, и лишь уже при совершенной засухе принимался за

работу. Когда долги слишком накоплялись и государь медлил их уплатою, то в благодарность за прежние благодеяния Пушкин пускал тихомолком в публику двустишия, вроде следующего, которое мы приводим здесь как мерило признательности великого гения:

Хотел издать Ликурговы законы —
И что же издал он? — Лишь кант на панталоны.

Нет сомнения, что от государя не оставалось сокрытым ни одно из этих грязных детищ грязного ума; но при всем том благодушная рука монарха щедро отверзалась для поэта и даже для оставшейся семьи, когда самого его уже не стало. До самой смерти Пушкина император Николай называл себя его другом и доказывал на деле, сколь высоко стоял над ним как человек. Какое унизительное чувство — принимать знаки милости от монарха тому, кто беспрерывно его оскорблял, осмеивал, против него враждовал. Многие не захотели бы, на таком условии, и всего таланта Пушкина… Вокруг Пушкина роились многие возникающие дарования, много усердных почитателей, которым для дальнейшего хода недоставало только поощрения и опоры. Но едкому его эгоизму лучше нравилось поражать все вокруг себя эпиграммами. Он не принадлежал к числу тех, которые любят созидать. Он жаждал только единодержавия в царстве литературы, и это стремление подавляло в нем все другие».

Все это, к сожалению, сущая правда, хотя в тех биографических отрывках, которые мы имеем о Пушкине и которые вышли из рук его друзей или слепых поклонников, ничего подобного не найдется, и тот, кто даже и теперь еще отважился бы раскрыть перед публикой моральную жизнь Пушкина, был бы почтен чуть ли не врагом отечества и отечественной славы. Все, или очень многие, знают эту жизнь; но все так привыкли смотреть на лицо Пушкина через

призматический блеск его литературного величия и мы так еще к нему близки, что всяк, кто решился бы сказать дурное слово о человеке, навлечет на себя укор в неуважении или зависти к поэту.

Не только воспитывавшись с Пушкиным шесть лет в Лицее, но и прожив с ним еще потом лет пять под одною крышею (на Фонтанке, близ Калинкина моста, против родильного дома, в доме тогда графа Апраксина, после Путятина, потом Трофимова, теперь не знаю кому принадлежащем), я знал его короче многих, хотя связь наша никогда не переходила обыкновенную приятельскую.

Все семейство Пушкиных представляло что-то эксцентрическое. Отец, доживший до глубокой старости, всегда был тем, что покойный князь Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский называл «шалбером», то есть довольно приятным болтуном, немножко на манер старинной французской школы, с анекдотами и каламбурами, но в существе — человеком самым пустым, бесполезным, праздным и притом в безмолвном рабстве у своей жены. Последняя, урожденная Ганнибал, женщина неглупая и недурная, имела, однако же, множество странностей, между которыми вспыльчивость, вечная рассеянность и, особенно, дурное хозяйничанье стояли на первом плане. Дом их был всегда наизнанку: в одной комнате богатая старинная мебель, в другой — пустые стены или соломенный стул; многочисленная, но оборванная и пьяная дворня, с баснословною неопрятностью; ветхие рыдваны с тощими клячами и вечный недостаток во всем, начиная от денег до последнего стакана. Когда у них обедывало человека два-три лишних, то всегда присылали к нам, по соседству, за приборами.

Все это перешло и на детей. Сестра поэта Ольга в зрелом уже девстве сбежала и тайно обвенчалась, просто из романтической причуды, без всяких существенных препятствий к ее союзу, с человеком гораздо моложе ее. Брат Лев — добрый

малый, но тоже довольно пустой, как отец, и рассеянный и взбалмошный, как мать, в детстве воспитывался во всех возможных учебных заведениях, меняя одно на другое чуть ли не каждые две недели, чем приобрел себе тогда в Петербурге род исторической известности, и наконец, не кончив курса ни в одном, записался в какой-то армейский полк юнкером, потом перешел в статскую службу, потом опять в военную, был и на Кавказе, и помещиком, кажется — и спекулятором, а теперь не знаю где. Наконец, судьбы Александра, нашего поэта, более или менее всем еще известны.

В Лицее он решительно ничему не учился, но как и тогда уже блистал своим дивным талантом, а начальство боялось его едких эпиграмм, то на его эпикурейскую жизнь смотрели сквозь пальцы, и она отозвалась ему только при конце лицейского поприща выпуском его одним из последних. Между товарищами, кроме тех, которые, пописывая сами стихи, искали его одобрения и, так сказать, покровительства, он не пользовался особенной приязнью. Как в школе всякий имеет свой собрикет[277], то мы его прозвали «французом», и хотя это было, конечно, более вследствие особенного знания им французского языка, однако если вспомнить тогдашнюю, в самую эпоху нашествия французов, ненависть ко всему, носившему их имя, то ясно, что это прозвание не заключало в себе ничего лестного.

Вспыльчивый до бешенства, с необузданными африканскими (как его происхождение по матери) страстями, вечно рассеянный, вечно погруженный в поэтические свои мечтания, избалованный от детства похвалою и льстецами, которые есть в каждом кругу, Пушкин ни на школьной скамье, ни после, в свете, не имел ничего привлекательного в своем обращении. Беседы ровной, систематической, связной у него совсем не было; были только вспышки: резкая острота, злая

[277] Кличку, прозвище.

насмешка, какая-нибудь внезапная поэтическая мысль, но все это только изредка и урывками, большею же частью или тривиальные общие места, или рассеянное молчание, прерываемое иногда, при умном слове другого, диким смехом, чем-то вроде лошадиного ржания.

Начав еще в Лицее, он после, в свете, предался всем возможным распутствам и проводил дни и ночи в беспрерывной цепи вакханалий и оргий, с первыми и самыми отъявленными тогдашними повесами. Должно удивляться, как здоровье и самый талант его выдерживали такой образ жизни, с которым естественно сопрягались частые любовные болезни, низводившие его не раз на край могилы.

Пушкин не был создан ни для службы, ни для света, ни даже — думаю — для истинной дружбы. У него были только две стихии: удовлетворение плотским страстям и поэзия, и в обеих он ушел далеко. В нем не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высших нравственных чувств; он полагал даже какое-то хвастовство в высшем цинизме по этим предметам: злые насмешки, часто в самых отвратительных картинах, над всеми религиозными верованиями и обрядами, над уважением к родителям, над всеми связями общественными и семейными, все это было ему нипочем, и я не сомневаюсь, что для едкого слова он иногда говорил даже более и хуже, нежели думал и чувствовал. Ни несчастие, ни благотворения государя его не исправили: принимая одною рукою щедрые дары от монарха, он другою омокал перо для язвительной эпиграммы. Вечно без копейки, вечно в долгах, иногда и без порядочного фрака, с беспрестанными историями, с частыми дуэлями, в тесном знакомстве со всеми трактирщиками, блядями и девками, Пушкин представлял тип самого грязного разврата.

Было время, когда он от Смирдина получал по червонцу за каждый стих; но эти червонцы скоро укатывались, а стихи, под которыми не стыдно было бы выставить славное его имя,

единственная вещь, которою он дорожил в мире, — писались не всегда и не скоро. При всей наружной легкости этих прелестных произведений, или именно для такой легкости, он мучился над ними по часам, и в каждом стихе, почти в каждом слове было бесчисленное множество помарок. Сверх того, Пушкин писал только в минуты вдохновения, а они заставляли ждать себя иногда по месяцам.

Женитьба несколько его остепенила, но была пагубна для его таланта. Прелестная жена, любя славу мужа более для успехов своих в свете, предпочитала блеск и бальную залу всей поэзии в мире и, по странному противоречию, пользуясь всеми плодами литературной известности мужа, исподтишка немножко гнушалась того, что она, светская дама прежде всего, в замужестве за литератором, за стихотворцем. Брачная жизнь привила к Пушкину семейные и хозяйственные заботы, особенно же ревность, и отогнала его музу. Произведения его после свадьбы были и малочисленны, и слабее прежних. Но здесь представляются, в заключение, два любопытные вопроса: что вышло бы дальше из более зрелого таланта, если б он не женился, и как стал бы он воспитывать своих детей, если б прожил долее?

У кандидата Московского университета Андрея Леопольдова в сентябре 1826 года оказалась копия известной пушкинской элегии «Андрей Шенье», с надписью, что она «сочинена на 14-е декабря 1825 года». Леопольдов был предан суду, которому вменено было в обязанность истребовать, в чем нужным окажется, объяснения от «сочинителя Пушкина». Это объяснение и было истребовано, и «коллежский секретарь Пушкин» показал, «что означенные стихи действительно сочинены им; что они были написаны гораздо прежде последних мятежей и элегия «Андрей Шенье» напечатана, с пропусками, с дозволения цензуры 8 октября 1825 года, что цензурованная рукопись, будучи вовсе не нужна, затеряна, как и прочие рукописи напечатанных им сочинений; что

оные стихи явно относятся к Французской революции, в коей Шенье погиб; что оные никак, без явной бессмыслицы, не могут относиться к 14 декабря; что не знает он, Пушкин, кто над ними поставил ошибочное заглавие, и не помнит, кому он мог передать элегию «Шенье»; что в сем отрывке поэт говорит о взятии Бастилии, о клятве в зале для игры в мяч, о перенесении тел славных изгнанников в Пантеон, о победе революционных идей, о торжественном провозглашении равенства, об уничтожении царей, — но что же тут общего с несчастным бунтом 14 декабря, уничтоженным тремя выстрелами картечью и взятием под стражу всех заговорщиков?» На вопрос же Новгородского уездного суда: каким образом отрывок из «Андрея Шенье», не быв пропущен цензурою, стал переходить из рук в руки, Пушкин отвечал, что это стихотворение его было всем известно вполне гораздо прежде его напечатания, потому что он не думал делать из него тайны.

Дело это дошло до Сената, который в приговоре своем изъяснил, что, «соображая дух сего творения с тем временем, в которое выпущено оное в публику, не может не признать сего сочинения соблазнительным и служившим к распространению в неблагонамеренных людях того пагубного духа, который правительство обнаруживало во всем его пространстве. Хотя сочинявшего означенные стихи Пушкина, за выпуск оных в публику прежде дозволения цензуры, надлежало бы подвергнуть ответу перед судом; но как сие учинено им до составления всемилостивейшего манифеста 26 августа 1826 года, то, избавя его, Пушкина, по силе оного, от суда и следствия, обязать подпиской, дабы впредь никаких своих творений, без рассмотрения и пропуска цензуры, не осмеливался выпускать в публику, под опасением строгого по законам взыскания». Государственный совет согласился с сим приговором, но с тем, чтобы «по неприличному выражению Пушкина в ответах насчет происшествия 14 декабря 1825 года

(несчастный бунт) и по духу самого сочинения, в октябре 1825 года напечатанного, поручено было иметь за ним, в месте его жительства, секретный надзор». Решение сие было высочайше утверждено в августе 1828 года.

В апреле 1848 года я имел раз счастие обедать у государя императора. За столом, где из посторонних, кроме меня, были только графы Орлов и Врончено, речь зашла о Лицее и оттуда — о Пушкине. «Я впервые увидел Пушкина, — рассказывал нам его величество, — после коронации, в Москве, когда его привезли ко мне из его заточения, совсем больного и в ранах… «Что вы бы сделали, если бы 14 декабря были в Петербурге?» — спросил я его между прочим. «Был бы в рядах мятежников», — отвечал он не запинаясь. Когда потом я спрашивал его: переменился ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать впредь иначе, если я пущу его на волю, он очень долго колебался и только после длинного молчания протянул мне руку с обещанием сделаться иным. И что же? Вслед за тем он без моего позволения и ведома уехал на Кавказ! К счастию, там было кому за ним приглядеть; Паскевич не любит шутить. Под конец его жизни, встречаясь очень часто с его женою, которую я искренно любил и теперь люблю как очень хорошую и добрую женщину, я раз как-то разговорился с нею о комеражах, которым ее красота подвергает ее в обществе; я советовал ей быть как можно осторожнее и беречь свою репутацию, сколько для себя самой, столько и для счастия мужа, при известной его ревности. Она, верно, рассказала об этом мужу, потому что, встретясь где-то со мною, он стал меня благодарить за добрые советы его жене. «Разве ты и мог ожидать от меня другого?» — спросил я его. «Не только мог, государь, но, признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал в ухаживании за моею женою…» Три дня спустя был его последний дуэль».

Граф Модест Андреевич Корф (1800–1876)

Биографический очерк Владимира Васильевича Стасова

Лишь несколько дней тому назад закрылась могила над графом М. А. Корфом, и поэтому невозможна полная, во всех частях удовлетворительная биография его.

Деятельность покойного, обнимающая более полстолетия, была всегда столь обширна и многообъемлюща, что необходим долгий и основательный труд для того, чтобы с нею хорошо ознакомиться и вникнуть во все ее многостороннее значение. Необходим доступ в архивы нескольких государственных учреждений, необходимы сообщения многих из числа тех, кто был сотрудником или товарищем деятельности графа Корфа, необходимы воспоминания родственников и частных людей, близко его знавших или почему-либо бывших с ним в замечательных соприкосновениях, для того, чтобы могло быть написано полное, достойное своего предмета жизнеописание.

Но я состоял на службе при покойном последние 20 лет его жизни, я был постоянным свидетелем его кипучей деятельности, давшей столько плодотворных результатов для нашего отечества, я был также удостоен в продолжение многих лет интимных сношений с ним, изустно и на письме, и признаю своею обязанностью уже и теперь набросать, хотя бы в самых сжатых размерах, главные мне известные черты жизни — надеюсь, и не на мои одни глаза важной, интересной и значительной.

Искреннее мое желание было бы то, чтобы мой небольшой очерк вызвал пополнения, заметки или воспоминания тех, кто может помочь в его деле будущему биографу Корфа; но еще более я горячо желаю принести и мою собственную

лепту на то, чтобы мои соотечественники, быть может, недостаточно знакомые с заслугою одного из лучших и крупнейших русских деятелей, отдали ему справедливость и поставили его имя с почтением и любовью в списке тех людей, которых нам всем никогда не надо забывать.

* * *

Род баронов Корфов дал нашему отечеству на расстоянии одного столетия двух примечательных исторических деятелей: в XVIII столетии — барона Иоганна Альбрехта Корфа, в XIX столетии — барона (впоследствии графа) Модеста Андреевича Корфа. Оба происходили от отцов-курляндцев, но провели всю почти свою жизнь в Петербурге, на службе в продолжение нескольких царствований, а в зрелых своих годах, занимая высшие государственные должности, оказали России такие услуги, которые придают этим двум личностям значение истинно историческое. В натуре, характере, настроении и деятельности этих двух баронов Корфов есть что-то общее, сильно схожее, и сравнение напрашивается само собою.

Барон Иоганн Альбрехт Корф (родился в 1697 году, умер в 1766 году) прибыл в Петербург из Курляндии при воцарении императрицы Анны Иоанновны, до того времени герцогини Курляндской. Сначала, в качестве камер-юнкера и приближенного императрицы, он был употреблен на негоциации политические, где надеялись на его ловкость и оборотливость. Но вскоре он был сделан президентом — по тогдашнему выражению — командиром Академии наук, и здесь-то он выказал всю свою энергию, весь свой благодетельный почин, всю светлость своей мысли. Он разбудил Академию, основанную, по мысли Петра Великого, еще при Екатерине I, но постоянно дремавшую в какой-то восточной дремоте. При нем научная деятельность закипела по всем отраслям, и прямо по

его личной инициативе: он вошел в переписку и близкие сношения со всеми учеными, от которых мог ожидать содействия своим начинаниям, помогал им, двигал и поощрял их всеми зависящими от него способами, увещевал к единодушию, снарядил вторую экспедицию в Камчатку, которая обязана была совершить оттуда плавание к американским берегам, определить положение Японии к Камчатке и открыть возможность сообщения между морями Северным Ледовитым и Камчатским. По его мысли Академия занялась новым изданием Уложения царя Алексея Михайловича, вместе с Уложением сводным, составленным при Петре Великом; потом он занялся новым изданием указов с 1714 года по 1725 год и печатанием последовавших затем и современных законоположений. Эти работы в общей сложности своей имели ту же цель, какую осуществило впоследствии, конечно, в более обширном объеме и удовлетворительном виде, Полное Собрание Законов. Рядом с этими работами предпринято им также жизнеописание царей Иоанна Васильевича, Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, для чего высочайшим повелением предписано передать в Академию все, какие только отыщутся, журналы, дела, ведомости, письма и прочие документы тех времен; учреждено под его председательством ученое общество для очищения и усовершенствования русского языка, которое для этого обязано было, между прочим, переводить замечательные иностранные сочинения, и вместе с тем должно было озаботиться составлением первой русской грамматики и словаря и собиранием материалов для русской истории.

Сверх того, барон Корф старался привлекать на русскую службу способных иностранных ученых (например, астрономов, химиков и т. д.), в которых у нас тогда был сильный недостаток; он поощрял всеми зависевшими от него мерами молодых даровитых ученых, мало-помалу начинавших появляться и у нас; давал им места и средства существовать и

заниматься своим делом; наконец, он устроил поездку за границу для изучения естественных и математических наук и иностранных языков нескольких молодых людей, в числе которых был и Ломоносов: об этих молодых людях он имел потом постоянно самую теплую заботу и, получив от Ломоносова из Германии знаменитую его оду «На взятие Хотина», тотчас напечатал ее и поднес императрице. Он ревностно приобретал также для Академии всякие научные коллекции, кабинеты и собрания книг, какие только ему возможно было добыть, поручал академикам писать биографии примечательных русских деятелей; наконец, по мысли Петра Великого, настаивал на учреждении при Академии школы или семинарии. Знаменитый Бернулли радовался вступлению Корфа в Академию, ожидал от этого много блага для науки, и предлагал свое посредничество для сближения нашей Академии с Парижскою.

Сверх всего этого, барон Корф составил себе великолепную научную библиотеку, страстно им любимую; печатные книги и карты ее были необыкновенно полезны многим тогдашним ученым, писавшим о России (всего более Бюшингу): теперь она составляет одну из главных составных частей Гельсингфорской университетской библиотеки. Что касается его личных качеств, то он отличался необыкновенною добротою и заботою о государственном и частном благе, помогал, кому только мог, для облегчения ему средств принести пользу науке и знанию, и оттого-то нередко современники, более других состоявшие с ним в сношениях и способные оценить его, называли его «истинным другом человечества».

Но благодетельное для русской науки и русского общественного развития влияние барона Иоганна Альбрехта Корфа не было продолжительно. По интригам Бирона, опасавшегося влияния его на императрицу Анну Иоанновну, он должен был через пять с половиной лет оставить свое президентство в Академии и поехать за границу в качестве нашего послан-

ника при разных дворах, сначала копенгагенском, потом стокгольмском, и, наконец, еще раз копенгагенском. Здесь он оказал значительные услуги нашему отечеству, отвратил одну войну, устроил несколько выгодных для России негоциаций, и поэтому заслужил все благоволение и признательность двух императриц и одного императора: Елизаветы, Петра III, Екатерины II. Но ему не суждено было возвратиться в Россию: он умер в Копенгагене 70-ти лет от роду в 1766 году и, значит, никогда более не имел возможности действовать на том поприще, где принес столько пользы интеллектуальному развитию России. А как ему хотелось продолжать свою деятельность именно в этом направлении, и как ему дорога была Академия наук, о том мы узнаем из прощального письма его в Академию. Он тут говорит: «Ваше письменное напоминание я принимаю как доброжелательство, которым намерены вознаградить меня за потерю, понесенную мною с удалением от столь почтенного общества. Что я сделался известным в разных странах и, может быть, пользуюсь там некоторым уважением, которого не заслужил, то обязан единственно тому, что имел честь стоять во главе столь именитого общества».

Почти все эти черты характера, деятельности и жизни барона Иоганна Альбрехта Корфа повторились, с замечательно близким сходством в характере, деятельности и жизни того Корфа, который жил сто лет спустя, и которого потерю мы в настоящую минуту оплакиваем.

* * *

Барон Модест Андреевич родился в Петербурге 11 сентября 1800 года. Отец его был барон Гейнрих (Андрей) Уильям Казимир, курляндский помещик, находившийся в 80-х и 90-х годах прошлого столетия в прусской службе, но в 1797 или 1798 году переселившийся в Петербург и поступивший на службу вице-президентом юстиц-коллегии. В 1804 году он

сделался президентом той же коллегии, в 1819 году был сделан сенатором и умер в Петербурге в 1823 году. Мать его, Ольга Сергеевна, была урожденная Смирнова, по словам современников, женщина замечательной красоты, и так как она была русская, то поэтому дети барона Гейнриха Корфа и были крещены в русскую веру.

О первых годах жизни маленького Модеста Корфа мне до сих пор ничего неизвестно. По всей вероятности, он воспитывался дома; одиннадцати лет он поступил в Царскосельский лицей, только что тогда основанный по мысли и проекту знаменитого Сперанского, находившегося в то время на верху могущества и славы. Барон Модест Корф был один из 30 мальчиков, принятых 19 октября 1811 года в это учреждение. Документы из лицейского архива говорят, что эти 30 лучше других выдержали экзамены свои, но все-таки, по словам самого барона Корфа, у них были только «самые ничтожные предварительные сведения».

Что касается шести лет, проведенных бароном Корфом в лицее, то мы находим о них очень много интересных подробностей в записке, написанной им в 1854 году и содержащей заметки на статьи, напечатанные в то время в «Московских ведомостях» под заглавием: «Александр Сергеевич Пушкин. Материалы для его биографии». Здесь говорится очень обстоятельно и интересно обо всем, касающемся тогдашнего лицея, нарисован весь быт его, начертаны меткие портреты преподавателей и других личностей, входивших в состав лицейского персонала, наконец, представлена характеристика многих товарищей барона Корфа и рассказаны очень живо и интересно многие большие и малые события тогдашнего лицейского мирка. Невозможно передать здесь, в кратком очерке, даже и небольшую часть этих подробностей, и я ограничусь приведением здесь нескольких общих заметок о преподавании.

Г. Бартенев писал («Московские ведомости», литературный отдел, № 117): «Преподавание наук в лицее, как и все внутреннее устройство его, имело особенный характер. Уравненный в правах с русскими университетами, он не походил на сии последние уже по самому возрасту своих питомцев, которые при поступлении имели от 10 до 12 лет; но, с другой стороны, в высшем, четвертом курсе лицея преподавалось учение, обыкновенно излагаемое только с университетских кафедр. Таким образом он соединял в себе характеры так называемых высших и средних учебных заведений. Лицеисты в течение шести лет узнавали науки от первых начатков до философических обозрений». В заметке своей на это место барон Корф говорил: «В этом и заключался главный недостаток лицейского образования. Лицей был устроен на ногу высшего, окончательного училища, а принимали туда, по уставу, мальчиков от 10 до 14 лет, с самыми ничтожными предварительными сведениями. Нам нужны были сначала начальные учители, а дали тотчас профессоров, которые притом сами никогда нигде еще не преподавали. Нас надобно было разделить, по летам и познаниям, на классы, а посадили всех вместе, и читали, например, немецкую литературу тому, кто едва знал немецкую азбуку. Нас — по крайней мере, в последние три года, — надлежало специально приготовлять к будущему нашему назначению, а вместо того до самого конца для всех продолжался какой-то общий курс, полугимназический и полууниверситетский, обо всем на свете: математика с дифференциалами и интегралами, астрономия в широком размере, церковная история, даже высшее богословие — все это занимало у нас столько же, иногда и более времени, нежели правоведение и другие науки политические. Лицей был в то время не университетом, не гимназией, не начальным училищем, а какою-то безобразной смесью всего этого вместе, и, вопреки мнению Сперанского, смею

думать, что он был заведением, не соответствовавшим ни своей особенной, ни вообще какой-нибудь цели».

В другом месте своей статьи г. Бартенев говорил: «В какой степени и каким образом правила устава о преподавании применялись к самому делу, остается неизвестным». На это барон Корф замечает: «Нам, к сожалению, очень известно, или, по крайней мере, сделалось известным после, когда мы стали рассудительны. Как нас учили, видно уже отчасти из вышесказанного. Кто не хотел учиться, тот мог вполне предаваться самой изысканной лени, но кто и хотел, тому не много открывалось способов, при неопытности, неспособности или равнодушии большей части преподавателей, которые столько же далеки были от исполнения устава, сколько и вообще от всякой рациональной системы преподавания. В следующие курсы, когда пообтерлись на нас, дело пошло, я думаю, складнее; но, несмотря на то, наш выпуск, более всех запущенный, по результатам своим вышел едва ли не лучше всех других, по крайней мере, несравненно лучше всех современных ему училищ. Одного имени Пушкина довольно, чтобы обессмертить этот выпуск; но и кроме Пушкина, мы, из ограниченного числа 29 воспитанников, поставили по нескольку очень достойных людей почти на все пути общественной жизни. Как это сделалось, трудно дать ясный отчет: по крайней мере, ни наставникам нашим, ни надзирателям не может быть приписана слава такого результата. Мы мало учились в классах, но много в чтении и в беседе, при беспрестанном трении умов, при совершенном отсечении от нас всякого внешнего разъяснения». В другом месте «Заметок» барон Корф говорит: «Во все шесть лет нас не пускали из Царского Села не только в Москву (как говорил г. Бартенев про Пушкина), но и в близкий Петербург, и изъятие было сделано для двух или трех, только по случаю и во время тяжкой болезни их». «Основательного, глубокого в наших познаниях было, конечно, немного; но поверхностно мы имели идею обо всем

и очень были богаты блестящим всезнанием, которым так легко и теперь, а тогда было еще легче, отыгрываться в России. Многому мы, разумеется, должны были доучиваться уже после лицея, особенно у кого была собственная охота к науке и кто, как, например, я, оставил школьную скамью в 17 лет».

9 июня 1817 года состоялся первый лицейский выпуск. Барон Корф говорит в тех же «Заметках» своих: «Я оставил Царское Село невступно семнадцати лет, с чином титулярного советника и с прегромким аттестатом, в котором только наполовину было правды». К этому можно прибавить, что он выпущен был шестым и через две недели после выпуска определен в департамент министерства юстиции на службу, сначала без места, а в декабре того же года перемещен в общую канцелярию министерства переводчиком.

После того в течение шести лет, до конца царствования Александра I, барон Корф состоял на службе по разным ведомствам: сначала в должности редакторского помощника, а потом редактором в комиссии составления законов; в 1823 году перешел из министерства юстиции в министерство финансов и состоял здесь чиновником особых поручений, а потом начальником отделения в департаменте разных податей и сборов; в течение 1825 года был назначен управляющим делами двух комитетов: одного высочайше учрежденного для приискания способов к улучшению состояния городов, и другого, высочайше учрежденного для уравнения сельских повинностей.

Все эти должности не давали ему средства выказать свои способности: до сих пор он ничем не отличался от остальной толпы мелких чиновников, и, можно сказать, терялся в ней.

Но с наступлением нового царствования все изменилось для барона Корфа: он поступил на службу при Сперанском, и этот столько примечательный государственный человек скоро отличил его между другими и приблизил к себе, а

впоследствии положил основание всей дальнейшей государственной его карьеры.

Через месяц с небольшим после восшествия на престол императора Николая I комиссия законов, труды которой слишком долго не достигали своей цели, была преобразована во II отделение Собственной его величества канцелярии, и во главу ее был поставлен Сперанский. «Ему, для осуществления обширных его планов (создание Полного Собрания законов и свода законов) необходимы были, — говорит граф М. А. Корф в своей «Жизни графа Сперанского», — руки, а в комиссии законов их не оказывалось, потому что не только почти никто из ее чиновников ничего не делал, но немногие из них имели и способность что-нибудь делать. Сперанский принужден был начать с увольнения множества прежних чиновников; но, почти чуждый тогдашнему служебному миру, он заместил их, — не по близкой ему известности, не по какому-нибудь строгому испытанию, а почти наудачу, — несколькими профессорами, и частью молодыми людьми, окончившими курс наук в тогдашнем Царскосельском лицее и в университетах. Случайно набор новых работников вышел довольно счастливый». В числе этих молодых людей находился и барон М. А. Корф. Он был причислен ко II отделению по высочайшему повелению 4 апреля 1826 года со званием старшего чиновника и состоял в этой должности пять лет, занимая вместе с тем одно время и должность вице-директора департамента разных податей и сборов.

Эти пять лет могут быть названы истинными «учебными годами» в деле высшей государственной службы и юридического образования барона Корфа, и впоследствии в письмах к близким ему личностям (в том числе и ко мне) и в разговорах с ними он сам нередко так называл этот период своей жизни, а Сперанского — своим «учителем». Про это время вот что он рассказывает в «Жизни Сперанского»: «И собственным своим примером, и бдительным личным надзором, и щедрыми, ис-

тинно беспримерными наградами, в которых император Николай, вовсе на них не расточительный, за это дело никогда не отказывал, — Сперанский умел вдохнуть своим новобранцам необыкновенное одушевление. Работы, быв распределены по мере способностей и сведений каждого, закипели самою успешною деятельностью. Все работали много и усердно, но никто не «хлопотал», отстраняя всякий бюрократический формализм. Сперанский очень часто сам бывал в отделении и следил там за ходом и успехом занятий, а каждый вечер, в 7 часов, старшие редакторы поочередно являлись с своими тетрадями в его кабинет, и здесь, при номинальном начальнике 2-го отделения Балугьянском (эти совещания назывались «присутствием»), проходили с ним сперва исторические обозрения, потом догматическую часть (так, в домашней терминологии отделения, принято было тогда именовать «своды»), из которой ни одна строка во всех 15 томах не осталась без его личной проверки и, очень часто, переделки. Участники этих вечерних работ, или, лучше сказать, этих практических лекций, при которых, хотя они длились нередко заполночь, великий учитель до последней минуты сохранял свое полное внимание, никогда, конечно, их не забудут. Сколько каждый слышал тут метких наблюдений, остроумных замечаний, тонких выводов; какая была в этом, для молодых людей, школа высшей государственной науки и делового красноречия; какие развивались перед ними плодотворные идеи, общечеловеческие воззрения, и каким, наконец, все это было проникнуто живым участием и к делу, и к его сподвижникам!»

Без сомнения, барон Корф говорил тут всего более про то, что сам испытал, и рисовал здесь картину своих собственных занятий со Сперанским и отношений к нему.

Какая была доля участия барона Корфа в работах Сперанского, по всей справедливости названных императором Николаем Павловичем монументальными, — о том можно

судить по «беспримерным» (как он сам называет) наградам, исходатайствованным для него у императора Сперанским. В продолжение семи лет он получил три чина (коллежского, статского и действительного статского советника), ордена: Владимира III, Станислава II и I степени, звание камергера и пожалованных в разное время 29 000 руб.

В мае 1831 года барон Корф был назначен состоящим в должности управляющего делами Комитета министров, в сентябре следующего года утвержден в этом звании; спустя еще два года, в конце 1834 года, ему высочайше повелено быть в должности государственного секретаря, а утвержден он в этом звании 1 января 1839 года. Оба эти назначения состоялись по указанию бывшего начальника и покровителя барона Корфа, Сперанского. В настоящую минуту для меня не представляется возможности нарисовать даже самый краткий очерк деятельности барона Корфа в Комитете министров и в Государственном Совете, так как она состоит в неразрывной связи с историей этих двух высших государственных учреждений, и для определения ее необходимы были бы ссылки на дела и архивы их; но по крайней мере, упомяну, что собственная непосредственная инициатива барона Корфа высказывалась, между прочим, в том, что в 1842 году, вследствие представленных им замечаний на внутренние законы Государственного Совета, учрежден был, по высочайшему повелению, особый комитет, по заключениям которого и составлено бароном Корфом новое учреждение Государственного Совета и государственной канцелярии, удостоенное высочайшего утверждения. Сверх того, я замечу еще здесь, что в памяти старых сослуживцев его осталось живое воспоминание о мастерстве, которым отличались все составлявшиеся им государственные бумаги, а равно и изложение разнообразных мнений, образовавшихся нередко в заседаниях Государственного Совета. Вообще о бароне Корфе сохранилась память как о самом блестящем, после Сперанского, и

во всех отношениях выходящем из ряду вон государственном секретаре. Что сам Сперанский считал барона Корфа как бы своим наследником, мы узнаем это из одного интересного разговора его в 1838 году с этим последним, тогда исправлявшим должность государственного секретаря. После одного утомительного заседания в Государственном Совете Сперанский сказал барону Корфу: «Не нам, в наши лета, писать законы: пишите вы, молодые люди, а наше дело будет только обсуживать» («Жизнь графа Сперанского», II, 341).

В 1843 году барон Корф был возведен в звание члена Государственного Совета; с 1848 года, вскоре после того, как вспыхнула в Париже июльская революция, по высочайшему повелению назначен членом комитета, учрежденного для постоянного надзора за духом и направлением нашего книгопечатания; в 1855 году назначен председателем этого комитета, но в этой должности остался недолго, так как означенный комитет, как исполнивший временное свое назначение, закрыт в начале настоящего царствования. Сверх того, он присутствовал во множестве специальных комитетов, назначенных для рассмотрения государственных вопросов высшего значения и важности. Я не имею возможности излагать здесь подробности участия барона Корфа в деятельности этих учреждений, я могу только остановить внимание читателя на том, что главными чертами государственной деятельности барона Корфа были: светлый взгляд, более всего и постоянно направленный к истинному общественному благу; необыкновенное доброжелательство как в отношении к массе народной, так и к отдельным личностям; наконец, то гуманное направление в каждом деле, которое было основой его натуры и еще с особенной силой укреплено было в нем Сперанским. К этому надобно прибавить неутомимость в работе, энергию деятельности и такое отсутствие бюрократической формалистики в отношении к подчиненным, которое

полстолетия тому назад представлялось у нас совершенным чудом и почти беспримерным исключением.

Ко всем этим многообразным должностным занятиям прибавилось в 1847 году еще одно, имевшее совершенно особенный характер и свидетельствовавшее о высоком уважении императора Николая к знаниям и способностям барона Корфа: осенью этого года государем императором было препоручено ему преподавание великому князю Константину Николаевичу курса правоведения. Поручение это имело характер, можно сказать, вполне интимный и облекало барона Корфа тем самым высшим доверием, каким был, за 12 лет перед тем, облечен Сперанский, призванный высочайшею волею прочесть полный юридический курс государю наследнику цесаревичу, ныне царствующему государю императору Александру Николаевичу. Подобные же курсы законоведения прочитаны им впоследствии, по воле императора Николая, сначала герцогу Георгию Мекленбург-Шверинскому, а потом великим князьям Николаю и Михаилу Николаевичам — в 1851 году.

Но среди всех этих трудов барон Корф получил новое назначение, которое дало ему возможность самым блестящим образом выказать лучшие его способности и принести русскому народу ту пользу, которая дает ему место в нашей истории наравне с значительнейшими ее деятелями. 18 октября 1849 года он был назначен директором Императорской публичной библиотеки.

Едва вступив в управление ею, он совершил ряд переворотов, сделавших из нее не только одно из самых великих наших, но и европейских учреждений. Императорская публичная библиотека, какою в немногие годы она сделалась при бароне Корфе, не только смело может соперничать с лучшими европейскими библиотеками, но уступает количеством содержащегося в ней лишь двум или трем, а по благодетельному действию своему на народное знание стоит во

главе их всех. В других европейских странах публичные библиотеки в большинстве случаев служат ученым и специалистам; у нас роль публичной библиотеки несравненно обширнее: она призвана служить пользе и интеллектуальному возвышению всех; в ее читальную залу имеют право являться не одни только немногие, осторожно и опасливо рекомендуемые личности, но всякий, кто только может, в каком бы то ни было отношении, нуждаться в сокровищах и помощи библиотеки. Притом каждый имеет возможность заниматься здесь не 4 и не 5 часов в день, как это установлено во всех европейских библиотеках, но весь день, от 10 часов утра и до 9 часов вечера. (Единственное исключение составляет Библиотека св. Женевьевы в Париже, где дозволено заниматься в продолжение всего дня, до самого вечера; но это объясняется тем, что эта библиотека специально назначена для студентов Латинского квартала, большую часть дня занятых лекциями.) Все эти либеральные меры, в Европе беспримерные, существуют у нас по мысли и энергической инициативе барона Корфа.

При этом он не жалел никаких усилий, чтобы сделать библиотеку — до тех пор малоизвестную, имевшую внутри вид пустынного и скучного сарая и почти непосещаемую — изящной, привлекательной и интересною для всех. Он наполнил ее залы, на всем протяжении здания, блестящими выставками редких, полезных и любопытных предметов и изданий, которых значение, историческое, научное или эстетическое, было объясняемо нарочно избранным для того лицом в назначенные дни недели. Это были, в некотором роде, маленькие публичные курсы о множестве интересных вопросов; они читались в течение всего года и привлекали постоянно толпу народа. Множество лиц из всех классов народа, от высших и до низших, которые без того, быть может, никогда не заглянули бы в библиотеку, были теперь привлечены туда счастливой, благодетельной мыслью барона Корфа; они

чувствовали любознательность свою возбужденною, обращались к тому или другому предмету и начинали заниматься серьезно. Другие, те, что уже и сами собою преданы были делу знания, находили в стенах Библиотеки, созданной бароном Корфом, такие богатые средства для своих занятий, каких неизвестно было до тех пор нигде в России. Неутомимый в своей ревности к общей пользе, начальник библиотеки исходатайствовал у высочайшей власти обширные средства для новых приобретений, как за границей, так и в России; он не жалел никаких трудов и сношений во всех концах Европы и иногда даже в Азии и Америке, чтобы обогащать свою любимую библиотеку всем тем, что казалось ему необходимым и полезным для ее богатства. До него то, что принадлежало библиотеке, попало в нее почти случайно, она не имела в основном своем образовании определенной системы: «она сложилась (говорит барон Корф в первом своем отчете за 1850 год) постепенно, из трофеев войны, из монарших даров, из приношений частных лиц или приобретенных от них собраний и из тех современных произведений книгопечатания, которые она получает по закону. Все это делалось по мере средств, возможности и открывавшихся случаев, и оттого в составе библиотеки нет и не могло быть доселе ни единства, ни плана, или общей путеводительной нити». Сознав это, он первый занялся систематичным и правильным обогащением, и вскоре дал ей высокое значение научности и полноты.

Но особенная заслуга барона Корфа, среди всех остальных заслуг, состояла здесь в том, что он создал одно особое отделение в библиотеке, которому нет ничего подобного нигде в мире. Это «Собрание иноязычных писателей о России».

Еще юношей, находясь в стенах Царскосельского лицея (как он сам потом рассказывал одному из самых приближенных к себе лиц, покойному библиотекарю Публичной библиотеки В. И. Собольщикову) задумал он собрать и напечатать известия о всем, когда-либо и где-либо напеча-

танном об России на иностранных языках. Это ему казалось не только интересным, но и в высшей степени необходимым для нашей отечественной науки, для изучения нашей страны. И вот, без всякого руководства и чьей-либо помощи, он еще лицеистом начал составлять каталог всего, что он мог узнать и найти по этому вопросу. Но скоро богатство и недоступность материала остановили его работу, а служба в разных министерствах, а потом и при Сперанском, отняли у него все его время. Первоначальный прекрасный план был сначала отложен в сторону, до более благоприятной поры, а впоследствии и совсем забыт.

Еще большие труды и знания ожидали его на посту управляющего делами Комитета министров, потом государственного секретаря, и, казалось, затее бедного, неопытного лицеиста суждено было навсегда остаться несбыточной фантазией. Но этот лицеист сделался через 30 лет полновластным главою огромной библиотеки, которая, несмотря на все тогдашние ее несовершенства, все-таки была одною из значительнейших библиотек Европы, — и он в эту минуту вспомнил свои юношеские затеи, отыскал свои листки 1816 и 1817 годов, положил их в основание разросшейся и расширившейся теперь идеи и скоро, при помощи одного-двух надежных помощников, осуществил ее самым блистательным образом.

Не далее как через год после вступления своего в новую должность он писал в первом своем отчете: «При огромных, можно сказать, всемирных богатствах, в нашей библиотеке нет ничего своеобразного или такого, чем мог бы ознаменоваться отличительный характер русской и единственной в России Императорской публичной библиотеки. Чтобы придать ей такой характер и вместе осуществить вполне ту общую пользу, которую державная воля указала целью сего установления, необходимо совместить в ней: 1) все напечатанное в России, от введения у нас книгопечатания, и 2) все

напечатанное, когда бы то ни было, на всех языках мира, о России — словом, в общем составе библиотеки, объемлющей все отрасли знаний человеческих, устроить еще и другую, тоже всеобъемлющую отечественную библиотеку. Мысль сия еще зреет и, вообще, для полного ее совершения, требуется много времени, труда и издержек; но такому совершению положено уже некоторое начало».

Десять лет спустя, благодаря собственным своим усилиям и трудам своих помощников, благодаря богатым пожертвованиям и указаниям насчет покупок множества частных лиц в России и за границей, барон Корф имел возможность сказать в своем отчете за десятилетие своего управления: «Десять лет я неослабно и упорно стремлюсь к этой цели, и хотя, конечно, еще нельзя утверждать, чтобы она уже вполне была достигнута, но библиотека может, по крайней мере, сознательно гордиться, что по обеим специальностям (т. е., во-первых, все напечатанное на церковно-славянском и русском языках, во-вторых, все напечатанное о России, на всех языках) в ней неизмеримо более, чем есть где-нибудь, и притом множество такого, чего нигде нет, словом, что она в этом отношении первая в мире. Если приобретение произведений отечественной литературы значительно облегчалось туземностью материала, то касательно иноязычных сочинений о России, которых надлежало искать наиболее за границею, задача была несравненно труднее. Успех превзошел все примерные расчеты. Отделение иноязычных писателей о России возросло теперь до неожиданной цифры 29 564 тома, и польза такой огромной массы материалов для изучения истории и современного состояния нашего отечества уже сознана всеми учеными, которые с разных концов России приезжают пользоваться собранными здесь сокровищами».

И действительно, в целой Европе нет ничего подобного нашему отделению иноязычных писателей о России: без сомнения, в каждой стране собрание сочинений, касающихся

ее, бывает особенно обширно и превосходит все остальные; но сюда входят обыкновенно всего более сочинения, появившиеся в той самой стране: так, например, в Парижской государственной библиотеке, естественно, находится более, чем где-либо в других местах, книг о Франции, написанных на французском языке, в Лондонской государственной библиотеке — более всего книг об Англии, написанных по-английски, и т.д. Но у нас, при исключительном богатстве и полноте книг о России, написанных на русском языке, существует еще, вдобавок, ни с чем не сравненная коллекция сочинений о нашем отечестве, напечатанных во всех краях света и на всевозможных, бесчисленных, языках.

Рассказать все, сделанное бароном Корфом для нашей Публичной библиотеки, а значит, и для распространения у нас знания и просвещения, изложить историю его трудов, энергических безустанных работ и множество подробностей, обрисовывающих эту светлую и симпатичную историческую личность — значило бы писать целый том. В настоящем кратком очерке я ограничусь только тем, что приведу следующие цифры. В конце 1849 года, в минуту поступления барона Корфа директором библиотеки, в ней находилось около 600 000 печатных томов и немного более 18 000 рукописей. Через 12 лет число их увеличилось на 267 236 печатных томов и 11 485 рукописей. Эти цифры довольно красноречивы без всяких комментариев. Вместе с тем я припомню, как с бароном Корфом тягостно расставалась библиотека, когда в половине 1861 года пришла весть о назначении его главноуправляющим II отделением Собственной его величества канцелярии. Все служащие в библиотеке, находившиеся под начальством барона Корфа в течение 12 лет, давно уже слишком хорошо оценили его и понимали историческое значение всего им предпринятого и совершенного. Они два раза, один раз словесно, другой раз письменно, обратились к нему с просьбою не оставлять библиотеки, от управления

которой он думал сам отказаться, ввиду многотрудности нового своего назначения, и умоляли его оставить за собою хотя главный общий надзор за дальнейшею деятельностью библиотеки, даже при назначении, по его собственному указанию, нового главы библиотеки (тогда еще не назначенного). Барон Корф отвечал выражением искренней, горячей благодарности бывшим своим сослуживцам, но прибавил, что честное убеждение говорит ему, что невозможно для него соединить с новым назначением добросовестное и успешное исполнение прежних обязанностей; «Но, — прибавлял он, — никогда, пока продлится мое существование, не забуду я тех прекрасных дней, когда мы, соединенными силами, мирно, дружно, один другого поддерживая и одушевляя, работали на пользу науки, следственно, на высшую пользу нашей России. Благодарю вас, почтенные мои сотрудники, за эти незабвенные дни, благодарю из глубины души».

Не встречаем ли мы здесь, между искренне ценимым начальником и его сотрудниками по важному народному, общественному делу, той самой сердечной, глубокочеловечной связи, какая существовала за сто лет перед тем между бароном Иоганном Альбрехтом Корфом и достойными сотрудниками в Академии Наук, его чудесных дел и начинаний? Обоих Корфов по всей справедливости оценила, кроме многих соотечественников их, и Европа, в лице лучших умов своих: тому доказательства остались во множестве иностранных книг и журналов. В нашем же отечестве барону Корфу, крупному деятелю нашего столетия, воздана была высшая честь и со стороны верховной власти: через несколько дней после того, как барон М. А. Корф перешел из Императорской библиотеки на службу по II отделению Собственной его величества канцелярии, в качестве главноуправляющего этим отделением, 16 декабря 1861 года последовало высочайшее повеление такого содержания: «Государь Император, желая сохранить навсегда память о заслугах барона Корфа для Им-

ператорской публичной библиотеки, всемилостивейше повелеть соизволил: ту залу сей библиотеки, в коей помещается учрежденное, по мысли его, собрание всего напечатанного о России на иностранных языках, именовать залою барона Корфа». Таким образом делу истинно монументальному был поставлен исторический памятник еще при жизни самого созидателя этого дела. Вознаграждение было великое, всенародное, грандиозное.

После того бывшие сотрудники барона Корфа ходатайствовали о разрешении им поставить в этой самой зале, на свой счет, портрет его во весь рост; это разрешение было им дано, и таким образом портрет бывшего директора библиотеки будет навеки присутствовать среди всех исторических свидетельств и сказаний о России, снесенных сюда по его мысли из всех краев света и из глубины долгих столетий.

Следующие 10 лет жизни барона Корфа прошли среди трудов в качестве главноуправляющего II отделением Собственной его величества канцелярии (от 6 декабря 1861 года по 27 февраля 1864 года) и представителя департамента законов в Государственном Совете (от 27 февраля 1864 года по 1 января 1872 года). По самому существу этих государственных учреждений, барон Корф не имел уже такого обширного, как прежде, поприща для личной, непосредственной инициативы, но тем не менее и здесь выказал, по мере возможности, высокий, неутомимый почин. С самого же вступления своего в управление II отделением он учредил в нем «Общее присутствие», нечто вроде Совета министра, ставшее вскоре, по его указаниям, одним из примечательнейших и полезнейших совещательных собраний этого рода. Сверх того, следует упомянуть о возникшем по мысли и почину барона Корфа вопросе об отделении в нашем кодексе законов от административных распоряжений, чем он и придал нашему «Своду» рациональность и простоту. В течение настоящего царствования барон Корф был призван, как и в предыдущее, по воле

государя императора, ознакомить членов императорской фамилии с начальными основаниями теории права и русского законодательства: в 1859 году — наследника цесаревича великого князя Николая Александровича, перед наступлением его совершеннолетия, а в течение времени от 1864 по 1870 год — великих князей: Александра Александровича (ныне наследника цесаревича), Владимира Александровича, Алексея Александровича и Николая Константиновича.

* * *

Мне остается теперь сказать про труды барона Корфа как писателя.

Я уже говорил выше, что, еще сидя на лицейских скамьях, он задумал оригинальное, новое дело: собрать сведения о всех сочинениях, писанных о России на иностранных языках. Это дело в то время не состоялось, но через три года после выпуска из лицея барон Корф задумал еще другое дело, совершенно в России новое и до тех пор еще никем у нас не затронутое. Он составил и напечатал в 1820 году первую книгу о русской стенографии. Заглавие этой книги — нынче величайшей библиографической редкости — следующее: «Графодромия, или искусство скорописи, сочинение Астье, переделанное и примененное к русскому языку бароном Модестом Корфом». Вслед за заглавием напечатано такое посвящение: «Императорскому Царскосельскому лицею посвящено признательным воспитанником». По словам князя В. Ф. Одоевского, впервые сообщившего известие об этом сочинении, из Астье барон Корф заимствовал лишь общность системы — большая часть книги содержит в себе совершенно самостоятельное применение к русскому языку и немало практических заметок, почерпнутых из основных свойств русского языка, нигде прежде не замеченных.

Вслед за тем идет у барона Корфа ряд работ исторического и биографического содержания. К ним он имел особенную симпатию и способность. Первою из них была биография славного его предка, барона Иоганна Альбрехта Корфа, напечатанная им в 1847 году на русском языке в издании «Recueil des actes de la seance publique de l'Academie Imperiale des Sciences de S.Petersburg tenue le 11 Janvier 1847». Превосходное это жизнеописание, составленное на основании множества печатных и рукописных источников, а также фамильных записок, живо обрисовывает личность замечательного государственного и общественного деятеля XVIII века, и с такою полнотою, что впоследствии академику Пекарскому осталось лишь очень немногими новыми чертами дополнить эту биографию в его истории нашей Академии наук.

Начиная с 1854 года барон Корф печатал в «Отечественных записках», под именем «Библиографических отрывков», ряд монографий, содержавших в себе результаты произведенных под его руководством и редакцией исследований о разных любопытных предметах из области иноязычных книг, касающихся России (например: «Издания на иностранных языках «Наказа» Екатерины II»; «Матвей Меховский и его сочинение о двух Сармациях»; «Посольство в Россию графа Карлейля»; «Несколько редких сочинений, относящихся до Петра Великого и его века»; «Первые иноземные путешественники по России» и т. д.).

Затем, в 1857 году, появилось сочинение его: «Восшествие на престол императора Николая I». Важность и интерес этой книги были так велики, что в несколько месяцев было выпущено в свет три русских ее издания, и вслед за тем, в том же году, оно появилось за границей в переводах на языки: немецкий (три берлинских издания и четыре франкфуртских), шведский, финский, голландский, французский, английский и польский.

Четыре года спустя барон Корф издал, в 1861 году, капитальное свое сочинение: «Жизнь графа Сперанского», плод долголетних исследований и личных воспоминаний о значительном историческом лице, к которому барон Корф питал уважение и признательность, граничившую почти с благоговением. Несмотря на силу своих чувств, настоящая биография имеет характер вполне объективный и представляет один из значительнейших вкладов для изучения царства Александра I и Николая I.

С декабря 1856 года на барона Корфа высочайше возложено собирание материалов для полной биографии и истории царствования императора Николая I, и хотя по обширности материала, рассеянного преимущественно по многочисленным архивам, он не имел возможности делать все сам, но труд этот совершался постоянно по ближайшим его указаниям, был проверяем и исправляем им самим, а также очень часто дополнялся собственными его воспоминаниями и сведениями, почерпнутыми из обширных автобиографических заметок его, и таким образом получал все значение труда, совершенного лично и непосредственно им самим.

Но, несмотря на свои обширные занятия по государственной службе, наполнявшие все 60-е и начало 70-х годов его жизни, барон Корф все-таки находил возможность уделять частицу своего времени и любезной своей Публичной библиотеке и не переставал заботиться со всею горячностью об осуществлении того издания, которое должно было сделаться венцом созданного им собрания иноязычных сочинений о России. После долгих приготовлений и работ каталог этого отделения, начатый печатанием в 1869 году, кончен в 1873 году, при ближайшем и никогда не ослабевавшем участии в этой работе самого барона Корфа, и составляет теперь один из крупнейших материалов русской науки. Более того, забота о потребностях и нуждах Публичной библиотеки до такой

степени никогда не покидала барона Корфа, даже после того, как он перестал быть ее директором, что он всякий год испрашивал у государя императора разрешения на передачу в это государственное учреждение всей суммы, остававшейся в том году не употребленною на жалованье трудившихся под его надзором лиц из сумм, ежегодно ассигнуемых от Кабинета его величества на комиссию по собиранию материалов для истории царствования Николая I.

В тот день, когда исполнилось 50 лет со времени вступления барона Корфа в службу, чины императорской Публичной библиотеки имели, в последний раз при его жизни, возможность торжественно заявить все свое глубокое уважение и симпатию к бывшему начальнику, так долго направлявшему их деятельность к значительным целям: они поднесли ему книгу под заглавием «На память о 9 июня 1867 г. Барону Модесту Андреевичу Корфу в день 50-летия его службы». Эта книга была написана ими на 30 языках (европейских, азиатских и африканских); она содержала, кроме поздравлений и приветствий, воспоминания нескольких из числа прежних сослуживцев барона Корфа о времени его директорства и о совершенных им блестящих преобразованиях. Она отпечатана всего только в двух экземплярах, из которых один поднесен барону Корфу, а другой — хранится в Публичной библиотеке.

В последние три-четыре года своей жизни барон (позже граф) Корф чувствовал значительный упадок сил и потому, отстранясь от большинства всех прежних своих работ и занятий, проводил всякий год несколько летних и осенних месяцев в более благоприятном для него климате, на юге Германии, чаще всего в Висбадене. Это житье за границей было ему очень полезно и значительно поддерживало его. В прошлом году, воротясь в Петербург поздней осенью, он был уже сильно расстроен в своем здоровье, и можно было ожидать скорого конца. Несмотря на это, граф Корф сохранял

необычайную бодрость и светлость интеллекта во все продолжение болезни, и при каждом самомалейшем улучшении приближенные находили его всегда окруженным книгами и журналами, по-прежнему много читающим и интересующимся всем новым, совершающимся в мире политическом, общественном и интеллектуальном, — изумительный, редкий пример для всех, умеющих ценить свежесть и крепость духа в преклонных летах.

Предсмертная болезнь длилась недолго, и граф Корф скончался от старческого упадка сил (анемии) 2 января 1876 года, 75 с небольшим лет от роду. Он имел тогда звание статс-секретаря, члена Государственного Совета и был кавалером ордена св. Андрея с алмазами. Графство было пожаловано ему 1 января 1872 года, в день столетия со времени рождения его глубоко любимого, искренне чтимого учителя и наставника Сперанского.

* * *

После графа Корфа остались автобиографические записки, веденные день за днем в протяжении 30-х и 40-х годов настоящего столетия, и полные таких подробных рассказов, метких и ярких портретов, наконец, таких мастерских описаний современности, которые не могут не сделать их однажды одним из драгоценнейших материалов для истории России в первой половине XIX столетия.

Печатается без сокращений
по журналу «Русская старина», 1876 г., № 2

Содержание

Художественное издание

Модест Андреевич Корф

Записки

16+

Ответственный редактор *А. Иванова*
Верстальщик *С. Мартынович*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334–72–11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru